

— ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Григорий БАКЛАНОВ

*Избранные
произведения*

Григорий БАКЛАНОВ

*Избранные
произведения*

В ДВУХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

Григорий БАКЛАНОВ

*Избранные
произведения*

Том I



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

P2
B19

Вступительная статья
Л. Лазарева

Оформление художника
В. Медведева

Б $\frac{70302-426}{028 (01)-79}$ 64-80

© Вступительная статья, оформлена.
Издательство «Художественная литература», 1979 г.



ПО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НРАВСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ...

ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА

Есть у Григория Бакланова небольшое, всего несколько страниц, произведение — «Как я потерял первенство». То ли новелла, то ли зарисовка, — видимо, и автор затруднился в определении жанра, поставив при первой публикации подзаголовок: «Невыдуманный рассказ». Это случай из его собственной жизни. И именно с него мне хочется начать эти заметки, потому что в биографии писателя жизненные истоки его книг.

«Невыдуманный рассказ» был написан к двадцатилетию Победы: автор, которому тогда пошел уже пятый десяток, со снисходительной насмешливой отрешенностью от себя самого, нелепого, нескладного, худющего, восемнадцатилетнего, вспоминает, как первой военной зимой в эвакуации в уральском городке он пробился к командиру формирувавшемуся гаубичного полка с просьбой зачислить его в часть, взять на фронт. С юмором он рассказывает о том, какое «жалкое зрелище» являл собою в ту пору: «Даже после того, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: «Господи, и таких уже берут...» Но этот, как тогда говорили в армии, рядовой, необученный, в свои восемнадцать лет хорошо понимал, куда и зачем идет, во имя чего стремится на фронт. Кое-что выглядит — особенно сейчас, из дали годов, — мальчишески нелепым, даже смешным, но мысли были взрослыми и решения тоже, а чувство ответственности не по летам зрелым. И пусть юмор рассказа не заслонит читателю того серьезного, что проливает свет на главное в жизни и творчестве Г. Бакланова, что определило и его судьбу, и пафос его книг.

Несколько лет назад, отвечая на вопрос журнальной анкеты: «Какой день или эпизод войны Вам запомнился больше всего и почему?» — Г. Бакланов рассказал о своем первом дне на фронте: «Всю ночь мы шли свежней дорогой, которую расчистили про-

шедшие впереди трактора с волокушами. Утром из окопа я увидел немецкий передний край. Я хорошо помню чувство, которое в то утро испытал (частично я об этом уже писал в одной из своих книг). Я вдруг понял, туда глядя, что до сих пор шел дорогой, которую проложили для меня люди; это и была моя жизнь. И вот дорога кончилась. Дальше — снежное поле. Поле и немецкий передний край, перегородивший его. Я не думал тогда категориями поколений — минувшего, грядущего... Я просто увидел и понял, что откуда дорогу вместе со всеми прокладывать мне. И для этого мне моя жизнь. Так с тех пор и осталось со мной это чувство...»

«Я не думал тогда категориями поколений», — пишет Г. Бакланов, но то, о чем он рассказывает, было общим для поколения, к которому он принадлежал. Оно, это поколение, сегодня представлено в нашей литературе целой плеядой хорошо известных читателю имен. Все они, восемнадцатилетние Великой Отечественной, — Василь Быков и Владимир Богомолов, Алесь Адамович и Анатолий Аваньев, Виктор Астафьев и Юрий Бондарев, — были тогда в армии самыми молодыми, но отвечать им приходилось и за себя, и за других без какой-либо скидки на возраст. Попавшие на фронт прямо со школьной скамьи, они, как хорошо сказал однажды Александр Твардовский, «выше лейтенантов по поднимались и дальше командира полка не ходили» и «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». И этим будет многое продиктовано в тех книгах о войне, которые напишут они потом — лет через десять-пятнадцать после ее конца, — а тогда никто из них и не помышлял о занятиях литературой: все было отдано войне, тяжелой солдатской службе.

Вот те университеты, где Г. Бакланов прошел школу жизни, самую фундаментальную из всех возможных.

После этого остается о его жизненном пути сказать немного — и кратких биографических сведений достаточно. Родился Григорий Бакланов в 1923 году в Воронеже, там окончил школу и, как один из его героев, в первый раз уезжал из дому в пионерский лагерь; во второй раз — на фронт. Начал войну рядовым на Северо-Западном фронте, потом окончил артиллерийское училище, — конечно, это был ускоренный выпуск, — и уже офицером, командуя взводом управления, сражался на Юго-Западном (впоследствии он стал Третьим Украинским) фронте — на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Бакланов знает передний край войны самым основательным образом: товарищей хоронил, был ранен и контужен, недоедал, недосыпал, мерз, тащил по непролазной весенней и осенней грязи пушки на руках, а сколько перекопал в жару и мороз твердой, как камень, земли,

сколько прошагал, прополз, сколько водных преград форсировал, и так уж случилось, что то и дело на подручных средствах...

Первый рассказ написал Г. Бакланов после войны, ожидая демобилизации, затем был принят в Литературный институт имени Горького. В литературу толкнуло пережитое. Есть некая загадка в том, что поколение, которое понесло на войне такие тяжелые потери — по статистике, из каждых ста, ушедших на фронт юношей, в живых осталось лишь четверо,— дало в нашей литературе большой отряд ярко одаренных художников. Наивно предполагать, что пули и осколки почему-то щадили талантливых, наделенных художественным даром. Причина, видимо, в другом: война была ни с чем не сравнимым потрясением, пробудившим у некоторых людей способности, которых они в себе и не подозревали и которые в других обстоятельствах, быть может, так и остались бы под спудом, не были бы реализованы,— за перо заставляло братья страстное желание рассказать о выпавших на их долю великих испытаниях, которые они выдержали достойно...

Однако час для этого пришел не сразу. Как это ни странно, почти все писатели фронтового поколения — и Г. Бакланов тоже — начинали книгами не о войне. Повесть «Южнее главного удара» (первоначальное название «Девять дней»), (1957), которой открывается этот двухтомник, не первое его произведение. Но это первая его удача, книга, свидетельствующая о рождении писателя со своим видением мира, со своей выношенной темой.

Написанное до этого несет еще следы ученичества. В основе повести «В Снегирах» (1954) и первых рассказов лежал материал, добросовестно собранный, но не ставший для автора, как война, частью его собственной судьбы. Изображалась в них современность, мирная послевоенная пора, но бралась она не изнутри, между автором и действительностью, по отношению к которой он занимал позицию наблюдателя, сохранялась изрядная дистанция — преодолеть ее молодому писателю очень трудно, ему трудно «вжиться», не пережив самому.

Но быть может, эта пауза перед тем, как взяться за главное, за действительно выстраданное, этот разбег были не лишними и в конечном счете пошли на пользу. Удалось накопить некоторый литературный опыт — очень нужный. И не только литературный — пополнился и жизненный багаж. Что говорить, за годы войны они, еще совсем молодые люди, увидели, узнали, пережили такое, что в мирное время очень редко выпадает даже человеку, прожившему долгую и бурную жизнь. Но им недоставало взрослого знания повседневной обыденности мирного существования, а без такой «точки отсчета», без ясного ощущения нормы человеческого

бытия нельзя было по-настоящему осмыслить не дававший им покоя тяжкий груз фронтовых впечатлений.

Вот что писал о повести «Южнее главного удара» В. Быков: «...Первая военная повесть Г. Бакланова явилась для меня необыкновенно наглядным примером того, как неприкрашенная военная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красоты и правды. Во всяком случае, с благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся». Приводя этот отзыв, я хочу напомнить, что В. Быков, как и Г. Бакланов, офицер-артиллерист, что он участвовал в тех же ожесточенных боях у венгерского города Секешфехервар, которые описаны в повести «Южнее главного удара», и это придает особый вес его словам.

Атмосфера фронтовой жизни воссоздана автором с непревзойденной достоверностью: она возникает из множества врезавшихся в память подробностей — тех, что называют непридуманными, потому что их в самом деле придумать невозможно.

Это подробности батальные (всего один из множества возможных примеров).

Под артобстрелом через снежное поле ковыляет, опираясь на винтовку, раненый в распахнутой шинели. Время от времени разрывы закрывают его, но он, словно замороженный от осколков, бредет дальше. И вот окончилась артиллерийская обработка, сейчас начнется немецкая атака. «Ударил мина вдогон. Одна единственная. Когда ветром отнесло летучий дымок, человека не было: на снегу серым пятном распласталась шинель».

Но нельзя рассказать о солдатской жизни на войне, минуя подробности и невообразимого фронтового быта. Смерть все время ходит рядом, а все же человеку надо как-то устроиться поспать, и повесть что-то надо, и гимнастерку постирать и залатать. Никуда от этих забот не денешься, а даже самое малое требовало порой немалых усилий. Идут пехотинцы, многие на ходу жуют сухари, — они только что из боя, там было не до еды, а на новых позициях, кто знает: будет ли для этого время? Где-то раздобыл солдат лайковые перчатки и щеголяет в них — выглядит это нелепо, но ведь зима на дворе, холодно, лучше хоть какие-нибудь перчатки...

Если писатель изображает мирные будни, не так уж важно, шел ли его герой на работу пешком или ехал на автобусе, об этом можно даже не поминать, быт здесь более или менее «нейтрален», а если пехотинца, которому приходится тащить на себе пуд с малым, подбросили вдруг на машине — это для него кое-что значит, это весьма существенно. Одно дело, когда в мирной

жизни говорят: приготовь сегодня обед получше, и другое, когда командир батареи перед боем приказывает старшине: вы продуктов не жалейте,— это значит и то, что потери ожидаются большие. Очень часто быт войны неотделим от крови...

«Южнее главного удара» — это принятое у военных обозначение места действия в рамках запланированной или разворачивающейся операции. Но глубинный смысл названия повести (а лучше сказать — ее пафос) иной, он раскрывается постепенно: разворачивается не только сюжет, движется вперед и авторская мысль. Однако первоначальная «формула» дана сразу же, в первой главе. Тут в Венгрии на Третьем Украинском фронте тихо, положение стабилизировалось; успешно наступают нацеленные на Германию северные соседи, им салютует Москва, к ним приковано общее внимание.

В связи с этим и возникают размышления автора, в которых дана эта первоначальная «формула»: «На войне, как и везде в жизни, есть выигрышные и невыигрышные участки. Наступают Белорусские фронты — весь народ, все сердца с ними. А между прочим, судьба войны решается и на тех участках, о которых в час последних известий сообщают одной короткой фразой: «За истекшие сутки никаких существенных изменений не произошло». Может, только славы здесь меньше... Так ведь в этой войне люди дерутся не ради славы». И на «невыигрышных» участках требовались не меньшие мужество и доблесть, чем на «выигрышных», и жизнь одинаково была дорога, когда приходилось ею жертвовать, и там и там.

Несколько дней жестоких боев, которые ведет батарея капитана Беличенко, займут в судьбе каждого персонажа такое место, что о них даже не скажешь: длинны как жизнь. Не скажешь, потому что не всем героям повести суждено пережить это сражение: погибнут и бесшабашно храбрый Богачев, и не по возрасту рассудительный Ваня Горошко, и ревностно блюдуший армейский порядок старшина Повомарев, и многие другие. А те, кто уцелеет, столько узнают за эти дни о жизни и смерти, о долге и самоотверженности, такое откроется им и в окружающих, и в них самих,— на что в мирное время иногда уходят годы. Пройдя через эти испытания, взрослым станет по-мальчишески восторженный младший лейтенант Назаров, преодолет гнетущий его страх писарь Леонтьев.

Победа добывается сообща, всеми вместе... К этой мысли — настолько она важна и дорога автору — нас возвращает и финал повести. Но она уже на новом «витке», автор не рассуждает, «поправляет» тех персонажей, которых и на войне не оставляет суетное, тщеславное,— это итог пережитого героями, чувство,

которое они обрели в дни кровавых боев, не суливших им ни наград, ни славы: «...Для каждого иным светом осветилось все сделанное ими. Все их усилия, и жертвы, и раны — все это было частью великой битвы, четыре года гремевшей от моря до моря и теперь подхлотившей к концу».

Несомненно, повесть «Южнее главного удара» была удачей молодого писателя, но имя его стало широко известно только после следующей вещи: повесть «Пядь земли» (1959) сразу поставила Г. Бакланова в первый ряд военных писателей. И это не было капризом своеобразной литературной судьбы: «Пядь земли» более зрелое и совершенное произведение, чем «Южнее главного удара». Конечно, интерес к новой повести подогрели вспыхнувшие тогда споры о «правде солдатской» и «правде генеральской», о том, какой виделась война из окопа и на командном пункте военачальника, о «глобусе» и «карте-двухверстке», споры, в эпицентре которых оказалась «Пядь земли», но и сами они были вызваны в немалой степени тем читательским успехом, который сопровождал появление первых книг прозаиков военного поколения, в том числе и «Пяди земли». Сейчас, два десятилетия спустя, когда улеглись взвинченные полемикой страсти, яснее выступила теоретическая почва непонимания, которую верно определил Г. Козинцев: «Существо героического путают со стилем, способность к подвигу хотят сочетать с пристрастием к возвышенной речи. Не думаю, чтобы имело смысл утверждать какой-то один стиль».

Здесь нет места для подробного разбора этой дискуссии, сыгравшей свою роль в развитии нашей военной прозы, и я вспомнил о ней лишь для того, чтобы установить «месторасположение» повести Г. Бакланова в литературном процессе тех лет.

Некоторые проблемы, поставленные в повести «Южнее главного удара», некоторые мотивы, намеченные там, в «Пяди земли» получили дальнейшее развитие и более глубоко осмыслены. Впрочем, это уже не совсем те, а иногда и совсем не те, проблемы и мотивы; оказавшись в новой художественной структуре, они сплошь и рядом трансформируются, несут иную смысловую нагрузку, выполняют другие функции.

Начну с главного различия, во многом определившего все остальное. Если в повести «Южнее главного удара» Г. Бакланов видит свою задачу в доказательстве того, что судьба сражений решалась не только на направлениях главного удара, что всюду, на всех участках фронта дорогой ценой плачено за победу, — пафос «Пяди земли» точнее всего выражают слова Юлиуса Фучика, вынесенные автором как эпиграф: «...Не было безымянных

героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю». В одном случае тяжкие, но известные, обоюденные славой бои, в другом — незаметные люди, чьи имена не сбережет история: сходство есть, но акцент резко перенесен на человека. Чего ему все это стоило, через что он прошел, что вынес? «Вот этой весной. Днем в окопах по колено талой воды. Ну люди же! Глядишь: один, другой вылез на бруствер обсохнуть на солнышке. Тут — обстрел! Попрыгали, как лягушки, в грязь. А ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота!» — рассказывает один из героев повести. А что такое попасть под пулеметный огонь, когда укрыться нигде: «Впереди — воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле. Пиу!.. Пиу!.. Чив, чив, чив! Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки — так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая... Впереди меня, у края воронки, каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев. Фьюить! — падает шляпка. Фьюить! — падает стебель, перебитый у основания». Каждая пядь отвоеванной у врага земли полита кровью и оплачена жизнями многих людей. А у каждого из них одна жизнь, и где-то в тылу у каждого остались родные, для которых во всем белом свете нет никого дороже, чем он.

«Пядь земли» написана от первого лица, это была точно выбранная форма для повествования о том, что не было на войне *бегляющих героев, безликой массы, а были люди*. Такая структура обеспечивает читателю эффект присутствия, позволяет ему видеть происходящее глазами героя, который проходит через все те малые и большие испытания, что составляют содержание жизни офицера переднего края. Кривая сумятица боев раскрыта в повести таким образом, что артиллерийская канонада и треск автоматов не заглушают стон и шепота, а в пороховом дыму можно разглядеть в глазах людей решимость и страх, муку и ярость. Изображение столь приближено к читателю, что, в сущности, перестает быть лишь созерцаемой им картиной, — возникающее у него сопереживание отличается удивительной полнотой и глубиной. И не только у героя повести лейтенанта Мотовилова, перебегающего под пулеметными очередями, не хватает дыхания, — нас тоже, когда мы читаем эту сцену, словно бы обжигает смертоносным огнем.

Всестороннее художественное исследование характера главного героя «Пяди земли», когда каждый его поступок, каждое

сказанное слово, каждое движение души «на виду» — все взвешивается и осмысливается (этого, кстати, не хватало повести «Южнее главного удара», где капитан Беляченко, находящийся в сюжетном фокусе произведения, не раскрыт с достаточной выразительностью и глубиной и проигрывает в сравнении с некоторыми персонажами второго плана), — такое исследование не самоцель для автора, оно ведется для того, чтобы выяснить, в чем источник душевной силы людей, которые постоянно ходят рядом со смертью. Это и ненависть к фашизму, посягнувшему на сами основы человеческого бытия и запланировавшему превратить миллионы людей в лагерную пыль или рабочий скот. «Бывали и раньше войны, — размышляет Мотовилов, — кончались, и все оставалось по-прежнему. Это война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом». И чувство долга и ответственности, заставляющее считать этот окоп, который суждено тебе защищать, или эту высоту, которую ты должен штурмовать, главным боевым рубежом родины, и пока ты жив, пока есть у тебя силы, чтобы держать оружие в руках, никто не может здесь заменить тебя, ни на кого не имеешь ты морального права переложить эту тяжесть, даже если тебе не в состоянии. И чувство братства с товарищами, которые сражаются рядом, — со знакомыми и неизвестными, — у всех общая и такая цель, что делает близкими людьми и незнакомых: человек, которого ты увидел всего несколько часов назад, спас тебе жизнь, подвергая себя смертельной опасности, но ведь и ты, рискуя своей головой, выручил из беды кого-то, даже не зная его имени.

«...Я не хочу себе судьбы, отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души» — эти мысли навеяны герою письмами матери, которая живет в постоянном страхе за него. Вот что он мог бы ей, наверное, ответить, но даже матери он никогда не напишет того, что думает сейчас, никогда ни он, ни его товарищи ни с кем не заговорят об этом вслух. Не обо всем можно сказать словами, и тот, кто решается говорить о сокровенном чувстве, не дорожит им. Потому что речь идет не об умозрительном выводе, пусть вполне основательном, а именно о чувстве, интимном чувстве, не нуждающемся в обосновании и чужающемся громогласности. Сила и подлинность его подтвержда-

ются не словами, а только поступками,— у Толстого источником мужества сражавшимся на бородинском поле служит *скрытая* теплота патриотизма.

Имя Толстого возникло здесь не случайно: Г. Бакланов принадлежит к тем писателям военного поколения, для которых главным эстетическим ориентиром служили толстовские традиции, они в немалой степени определили направление его собственных художественных исканий. И это касается не столько изображения войны как таковой, батальных сцен, сколько проникновения в психологию персонажей, в изменяющийся, «текущий» мир забот и стремлений личности, в нравственную подоплеку поступков, в сложные, переплетающиеся, противоборствующие причины событий. Это не школа — закончил ее и выпущен для самостоятельной деятельности; связь Г. Бакланова с толстовскими традициями не прерывается и не слабеет с годами, для последних его книг она не менее, а иногда и более существенна, чем для ранних. Но именно в «Пяди земли» это направление, эта ориентация на толстовские традиции определились как принципиальная позиция.

В отличие от «Южнее главного удара», где автор погружался в прошлое, «Пядь земли» прямо обращена к современности. Нравственные уроки будущему, извлеченные из пережитого людьми на войне, создают лирическое напряжение в повести. Автор и рассказчик (дистанция между ними минимальная и есть резон в том, что о произведениях писателей военного поколения иногда говорят как о «мемуарах» солдат и лейтенантов) много, очень много размышляют о жизни и смерти, о смысле человеческого существования, о необходимости беречь мир на земле, о том, что такое человечность.

Высочайшая мера требовательности к себе, нравственный максимализм, страстное стремление во что бы то ни стало добиться справедливости — и в большом и в малом, вселенская отзывчивость, когда близко к сердцу, как собственные боль и горе, принимается все, что происходит в мире, — эти черты поколения и времени по-своему преломились в характере Мотовилова. Это было поколение романтиков; революция определила их духовный горизонт — необычайно широкий, она вселила в них веру в то, что им выпала на долю историческая миссия — покончить на земле с бесчеловечностью и злом.

Романтиками их делала одержимость идеями справедливости. Их романтический пыл не могли остудить самые угрюмые из всех мыслимых — фронтовые, окопные будни. Уже хотя бы потому, что приобретенный в войну опыт, бесчеловечность фашистов, с которой они сталкивались на каждом шагу, раскаляли их

воинствующую непримиримость ко злу и несправедливости в любых проявлениях, в любых обличьях.

«Мы не только с фашизмом воюем,— мы воюем за то, чтоб уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человеческой, правдивой, чистой». От книги к книге этот мотив звучит у Г. Бакланова все сильнее и сильнее, острее становится критика шкурничества и безыдейности, безнравственности и приспособленчества, проникающая сквозь самую изощренную социальную и нравственную мимикрию (стоит взглянуть на панораму литературного процесса конца 50-х годов, и мы увидим, что вообще в прозе резко вырос интерес к нравственной проблематике, больше внимания уделяется художественному анализу зависимости гражданского поведения человека от его нравственных устоев).

И если в «Южнее главного удара» и «Пяди земли» этот мотив реализован лишь в эпизодических персонажах (повозочный Дюбговушия, чтобы быть подальше от передовой, прикидывающийся человеком, не способным ни к какому серьезному делу, с которого поэтому все взятки гладки; Мезенцев, всегда устраивающийся так, что за него «все трудное, все опасное в жизни делают другие»), то в следующей небольшой повести «Мертвые сраму не имут» (1961) он возникает в связи с одной из главных фигур произведения и разработан подробнее.

За плечами начальника штаба артиллерийского дивизиона капитана Ищенко уже восемь лет безупречной, как ему представляется, службы. Он дока по части неукоснительного соблюдения некоего внешнего распорядка, которому в армии придается немалое значение; здесь у него наверняка все всегда было в абсолютном ажуре, в исполнительности и аккуратности видит он суть армейской службы. Ищенко не служил, а выслуживался, не обременяя себя мыслями: что защищает наша армия, за что идет война, в которой и он участвует. Для него было важно только то, что прямо задевало его интересы, сосредоточенные на продвижении вверх по служебной лестнице, на жене, на вещах, которыми они обзаводились любовно и с толком. Он полон самоуважения и чувства превосходства над окружающими, потому что все у него ладно, основательно — от уютной квартиры (ценность которой возрастала от того, что соседом был сам командир полка) до наборного мундштука, изготовленного дивизионным умельцем.

И в минуту трудную его духовная скудость, нравственная недостаточность не могли не дать себя знать. Когда потрепанный дивизион на марше напоролся на немецкие танки, в неразберихе внезапного ночного боя Ищенко, спасая свою жизнь, бежал: для него не существовало ценностей, которые защищают, не щадя

себя. Он бежал, бросив в отчаянный момент на произвол судьбы подчиненных, не подумав предупредить их о стоявших в засаде немецких танках, спасал себя, расплачиваясь их кровью, предавая их. Именно предавая,— не случайно замполиту Васичу, раскусившему его в этом бою, пришла в голову мысль, что, окажись Ищенко в оккупации, он бы и не подумал о сопротивлении захватчикам, а «тихонько опустил бы на окне белую тюлевую занавеску: и мир видно через нее, и тебя не увидят. Вдвоем с женой, за занавеской, можно и немцев переждать». И хотя Ищенко побаивается — если всплывет, как он вел себя в этом бою, его могут судить, строго наказать,— вины своей он не чувствует. Он сваливал на погибших товарищей ответственность за неславно сложившийся бой, в котором они сделали все, что смогли: у них не было сил, чтобы остановить собранные в мощный кулак немецкие танки, но они их все-таки задержали, а шесть сожгли. Ищенко не хотел разделить со всеми судьбу на поле боя, он спасал свою шкуру, а уж выбравшись оттуда целым и невредимым, тем более не собирался «отвечать за всех». И когда в штабе полка его дотошно расспрашивал о случившемся капитан Елютин из СМЕРШа, ищущий виновников, которые должны ответить за неудачу, Ищенко снова предал своих товарищей — мертвых и уцелевших, возводя на них напраслину...

Разные люди были в дивизионе: бесшабашные и осмотрительные, более выносливые и послабее, замкнутые и душа нараспашку, образованные и не очень грамотные, решительный, уверенный в себе, грубоватый Ушаков и мягкий, обуреваемый, как нынче говорят, интеллигентскими комплексами Кривошеин, начальник разведки Мостовой, который жаждет высшей, незамутненной справедливости и думает о том, что после войны даже немцев нельзя судить чохом, с каждым надо бы разбираться отдельно, и простодушный молодой разведчик, который никак не мог взять в толк, почему Ищенко бросился в сторону от своих, когда на них сейчас навалятся немцы,— но все они, непохожие друг на друга, не могли и помыслить для себя иной, более легкой, чем у их товарищей, судьбы, для всех них и этот бой, и вся война были общим и кровным делом.

Для всех, кроме Ищенко. Конечно, он был исключением. Исключением, но не казусом. В этом характере писателем верно схвачено явление, которое при обычном течении жизни очень редко выступает с такой обнаженностью уже хотя бы потому, что не может иметь столь очевидных, немедленных и катастрофических последствий,— так скрытая за гладкой поверхностью металла раковина обнаруживает себя лишь при очень больших перегрузках. Но и в мирные времена захребетничество, ржа

эгоизма исподволь, незаметно разъедает общественные связи, подтачивает моральные устои. Серьезность этой опасности ставится подчеркнуть Г. Бакланов, давая понять, что скорее всего Ищенко выкрутится, избежит возмездия. За руку-то его не поймали, а презрение тех, кто почувствовал что-то неладное в его поведении,— разве проймешь его этим. Он и дальше будет устраиваться за счет других, работая локтями, ставя подножки, не останавливаясь ни перед чем.

Фигура, подобная Ищенко, оказавшись в поле зрения писателя, ставила перед ним ряд серьезных проблем (откуда берутся такие люди, какими обстоятельствами формируются, на чем паразитируют), которые могли быть исследованы только в широком общественно-историческом контексте,— сделать это в такой небольшой повести, как «Мертвые сраму не имут», разумеется, невозможно. Но для этого писателю нужна была не столько гораздо большая площадь,— сколько необходимо было изменить, расширить угол зрения, чтобы уловить течение времени и эволюцию характеров. Внутренняя логика художественных исканий вела Г. Бакланова к роману. И хотя «Июль 41 года» (1964) не очень много по объему превышает «Пядь земли» или «Южнее главного удара»— это роман, произведение иной жанровой структуры, отвечающей новой авторской задаче.

Вскоре после того, как появился «Июль 41 года», автор в журнале «Вопросы литературы» поделился некоторыми своими размышлениями о войне, о военной литературе. Это были уроки недавно оконченного им романа. «Великая Отечественная война, как и вся мировая война,— писал Г. Бакланов,— не была чем-то отъединенным, локальным в жизни стран и народов. И характер их, и поражения, и победы во многом определялись предшествующей историей... Конечно, то, что происходит сегодня, это — современность. Но она соотносится с прошлым, как устье с истоком реки. Единая жизнь, как река, течет в берегах, и на нее невозможно нанести деления». И еще: «...Труд писателя, ставящего своей целью рассказать о времени, это в какой-то своей части непременно труд исследователя, исследователя экономических и общественных условий, формировавших характеры и отношения, вторгавшихся даже в интимную жизнь людей, исследователя характеров, сформированных временем и формировавших время».

Так представлял себе писатель ту новую художественную задачу, которую стремился решить в романе. Для этого надо было проникнуть и в дальние причины наших поражений и неудач начального периода войны. Но это лишь одна сторона дела. Крайне важна и другая: авторская установка — воссоздать взятое

в данный момент время так, чтобы в нем, как в реальном потоке жизни, непременно присутствовали, переплетаясь, вчерашнее и завтрашнее — требовала постижения того, что было залогом наших грядущих военных успехов. Рисуя один из самых тяжелых месяцев войны, Г. Бакланов не закрывает глаза на то, что нам мешало, что составляло наши слабости, зорко видит то, в чем мы были сильны, что в дальнейшем должно было изменить ход событий, хотя здесь не было и не могло быть механического равновесия. Выясняя, почему мы отступали, нужно было понять, благодаря чему мы затем одержали победу, иначе была бы искажена историческая перспектива.

При этом следует помнить, что как бы глубоко и основательно ни исследовал писатель экономические и общественные условия (Г. Бакланов справедливо подчеркивает необходимость и плодотворность такой работы для художника), роман, конечно, не историческая монография, не военно-исторический очерк: не все причины наших поражений и побед — экономического, технического и военного свойства — в «Июле 41 года» раскрыты, многие никак не отражены. Это не удивительно, сквозь «магический кристалл» романа можно как следует разглядеть только то, что отозвалось в человеческих душах, в психологии, что имеет непосредственное отношение к фактору — как тогда говорили — моральному, а в старину это называлось духом войска и народа.

Война нелегко и безжалостно проверяла, кто чего стоит, кто на что способен. Это было и строгое испытание формировавших людей обстоятельств: как они, предвоенные обстоятельства, отозвались потом, в суровое, грозное время. Все ли в них было неотвратимо, или что-то можно было изменить, да не все было для того сделано? Командиру корпуса Щербатову его сын, лейтенант, рассказывает, что во взводе, которым он командует, боец предложил из лука стрелять по вражеским танкам бутылками с зажигательной смесью — и здорово получается, рукой так далеко и точно не кинешь. Щербатов, опытный военный, отдает себе отчет, какой крови будет стоить каждый сожженный подобным способом танк. Сейчас уже ничего не поделаешь, придется против танков и таким оружием воевать. Но вся его жизнь была отдана армии, все силы ума и души — укреплению ее мощи, от этого зависела судьба революции, будущее страны, — как же вышло, что «он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, поллитровыми бутылками поджигать их, учит смекалке? Неужели он виноват, что так случилось?» Задавая себе этот мучительный вопрос, Щербатов, что очень существенно для понимания характера главного героя романа, судит прежде всего

себя, а не обстоятельства. Потому что движет им не желание как-то оправдаться в собственных глазах, снять с себя ответственность (что я мог сделать, если сложилась такая ситуация), он хочет выяснить, чего он все-таки не сделал, чтобы изменить эту ситуацию, почему когда-то опустил руки.

Неотступные трудные его думы — не разбедаящая волю к действию рефлексия, это — жесткая самопроверка, чтобы извлечь из бывшего практические уроки для себя, она укрепляет его волю к борьбе и решимость, его веру в победу. И в самые критические минуты, подымая в атаку бойцов, прорывающихся из окружения, шагая под огнем в цепи, как все они с винтовкой наперевес, навстречу неведомой судьбе, он знал твердо, что «через страдания и кровь, через многие жертвы так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстрадавшая ими победа».

Не должно быть ни малейшего зазора между служебным и нравственным долгом, то, чего не приемлет нравственное чувство, не может пойти на пользу делу, рано или поздно скажется самым пагубным образом — вот вывод, в котором укрепляется Щербатов, пережив потрясения первых недель войны. И тут кроется принципиальное отличие Щербатова от командующего армией Лапшина.

Не в том дело, что Щербатов опытнее, что он продвигался вверх по служебной лестнице, не перескакивая через ступени, а Лапшин меньше чем за два года из комбата стал командармом. Это не всегда беда: случалось, что люди, стремительно взлетевшие вверх, оказывались на месте, наилучшим образом справлялись со своими обязанностями (таков в романе молодой комдив Тройников), а бывало, что годы усердной службы не расширяли кругозора и новый масштаб задач, увы, оказывался им не по плечу (генерал Сорокин, человек в годах, с немалым командирским стажем все же не дорос до своей должности начальника штаба корпуса). Спору нет, свою роль играло, был ли человек баловнем судьбы или своим трудом, талантом, своим горбом заработал высокую должность, но главным, решающим было другое — мера ответственности, которая лежала в основе его решений и действий.

Для Лапшина она определялась главным образом благорасположением тех, кто заметил его, выделил среди других, выдвинул, потому что думает он в основном о себе, а не о деле, не об армии, которая ему доверена. Он мечется, он не способен самостоятельно принять решение. Потеряв голову — все произошло не так, как ему рисовалось, но все время помня о себе — что будет с ним, он кричит в истерике Щербатову: «Думаешь, раз-

бил от меня? Разбил?.. О-бо-жди!.. Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!» Он и теперь не может осознать: той войны, которая ему представлялась, где все пойдет как по писаному, не будет и не могло быть! А он все еще надеется: пусть сегодня не удалось, завтра он непременно закидает противника шапками.

Ошибки и промахи Лапшина (в пределах возможного, тогда никто не мог сотворить чуда — превосходство было на стороне врага) не одного лишь профессионального свойства, они коренятся в ущербности его нравственных представлений, в атрофии гражданского самосознания. Щербатов и Лапшин не только два типа военачальника — это производное, — они олицетворяют разное отношение к жизни, к делу своей жизни: один человек глубоко идейный, выполняющий свой долг не за страх, а за совесть, другой — бездумный исполнитель, неспособный к самостоятельным суждениям и действиям...

И еще один персонаж противопоставлен Щербатову в романе — это начальник особого отдела Шалаев. Не за страх, а за совесть — убежден Щербатов. За страх — считает Шалаев, — если держать всех в страхе, мы станем сильными и неуязвимыми. Он утратил идейные и нравственные ориентиры и не способен отличить правых от виноватых, не может и не желает. Страх и панику сеет вокруг себя Шалаев.

Щербатов — главный герой романа не потому только, что все сюжетные нити книги так или иначе стянуты к этому образу, а потому, что в его характере заключен самый высокий нравственный потенциал. Щербатов словно бы аккумулирует спокойную стойкость Прищемихина и неиссякаемый оптимизм Нестеренко, самозабвенную готовность Бровальского отдать себя людям и трезвый, ни перед чем не останавливающийся анализ Тройникова. В свою очередь, эти и многие другие окружающие Щербатова люди заряжаются его духовной силой, неостывающей верой в торжество нашего дела, гуманизмом и справедливостью. Об этом герое баклановского романа в «Правде» писали: «Такие люди, такие характеры, сформированные революционной эпохой, несмотря на сложные и противоречивые явления в жизни нашего общества, определяли ход событий, воплощая в своей деятельности глубинные закономерности развития социалистического строя». Выдвинув на передний план повествования этот характер, эту фигуру, «автор выбирает такую точку изображения событий, с которой открываются горизонты грядущей победы», — говорится в этой статье.

Щербатов не только главный герой романа, но и главная художественная удача писателя. И вот что примечательно: романная

структура предъявляла свои требования автору, выдвигала условия, с которыми он не мог не считаться. Надо ли говорить, что у Г. Бакланова были все возможности подробнее и глубже раскрыть молодых персонажей романа — Гончарова и Литвака, людей его поколения, — для автора «Пяди земли» это не составляло особого труда. Но вряд ли книга от этого выиграла бы, скорее проиграла, — пришлось бы потеснить Щербатова, отобрать у него какую-то часть читательского внимания. И если кое-где в романе, как мне кажется, все-таки нарушено художественное равновесие, то в иную сторону. Гончаров и Литвак занимают в произведении больше места, чем в той реальной системе человеческих и служебных взаимоотношений, центром которой стал Щербатов. Здесь дала себя знать инерция предшествующего успеха, — правда, сила ее невелика и зона действия ограничена — это касается персонажей второго плана, одного из «боковых» ответвлений сюжета...

В целом же и «Июль 41 года», и последующее творчество Г. Бакланова показывают, что он не стремился эксплуатировать собственные достижения, не собирался сеять на том поле, с которого уже собрал однажды добрый урожай. Его увлекает исследование судеб, характеров, обстоятельств, которыми прежде он не занимался, каждый раз он ставит перед собой новую задачу, которая не решается освоенными им способами, в привычных жанровых координатах.

Это одна из причин, почему после «Июля 41 года» Г. Бакланов обращается к современности. И не то чтобы военные впечатления были бы исчерпаны писателем — это невозможно, но, видно, у художника в тот момент еще не возник свежий (по сравнению с романом) подход к материалу войны, а прожитые после войны уже немалые годы, ставшие существенной частью биографии его поколения, настойчиво требовали осмысления. Но, занявшись днем нынешним, его проблемами впрямую (произведения, посвященные войне, были лишь «настроены» на них, повернуты к ним), Г. Бакланов все же остается военным писателем. И не только потому, что герои двух его написанных после «Июля 41 года» произведений, действие которых происходит уже в наше время, люди военного поколения, а в очерковых книгах о поездках в США и Канаду то и дело возникают воспоминания автора о своей фронтовой юности (кстати, эти воспоминания внимательному читателю откроют жизненную основу некоторых образов и ситуаций в военных вещах Г. Бакланова). Даже но будь этого, военное происхождение художественного мира Г. Бакланова обнаруживало бы себя в воинствующей нравственной бескомпромиссности, в резком сближении причин и следствий, когда

дурное и хорошее проявляется в человеке не исподволь, не постепенно, а сразу же и вполне определенно, в интересе к тем ситуациям, где обычное течение жизни прерывается событиями катастрофическими, где близость смерти заставляет людей задуматься над смыслом их существования. Суть нравственной позиции автора, сложившейся в тяжкие военные годы, проверенной в суровых испытаниях, остается неизменной и в его книгах о современности.

В финале «Пяди земли» герой размышляет: «Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Будет ли каждый из нас всегда чувствовать, что его, как раненного в бою солдата, не бросят в беде люди?»

Под этим углом зрения и рассматривается в повести «Карпухин» (1965) сегодняшняя мирная жизнь. Один из персонажей произведения с удивлением и грустью обнаруживает в своей семье неладное: «Старики у меня хорошие, тихие. И Тамара ведь баба неплохая. Чего не ладят? Эх, люди, чудной народ! Была война — как друг за друга держались! Неужто забыли?» В повести это маленький эпизод, но для автора вопрос — «неужто забыли?», неужели из-за равнодушия, погруженности в свои мелкие дела можно бросить в беде человека? — главный, центральный вопрос. Так он проверяет своих героев, чего они стоят, что у них за душой, так вершит над ними моральный суд. Постоянная нравственная проверка сегодняшнего бытия войной — «как раненного солдата в бою» — делает этот авторский суд высоким и строгим.

На войне воочию убеждаешься, как часто наша жизнь зависит от тех, кто рядом с нами, а их жизнь — от нас; в мирное время это не очень ясно видно — только в чрезвычайных обстоятельствах. В такой острой драматической ситуации оказывается Николай Карпухин — герой повести. Беда нависла над ним нешуточная, и, если не выручат его люди, разбита будет его и без того не очень складная жизнь. А человек он по-настоящему достойный, из тех, на кого всегда можно положиться, кто неизменно, словно по-другому и быть не могло, и в войну и потом, после нее, брал на себя самое трудное. Судьба не баловала его, несправедливо тяжкие удары ее дорого стоили Карпухину: в войну он за чужие грехи попал в штрафную роту, а в послевоенные годы за малую вину получил непомерно большой срок.

И вот новая беда подстерегла его: ночью на шоссе сбил человека насмерть, тот пьян был, выскочил прямо перед машиной. Только-только стала налаживаться у Николая жизнь: женился, жена ребенка ждет, пить бросил — одно время он, махнув на все рукой, стал попивать... И опять грозят Карпухину тюрьма; многое против него: две судимости, подозрение, что не человек, попавший под колеса его машины, а он сам был пьян, к тому же следствие и суд проходят тут, где все знали погибшего и он пользовался уважением, а Карпухин — посторонний, чужак.

Только одно может отвести от Карпухина нависшую над ним беду — непредвзятость, но на это оказываются способны не все, от кого теперь зависит его судьба, не все могут и хотят вникнуть в реальные обстоятельства случившегося. К тому же начинается кампания борьбы с пьянством: оправдать Карпухина — значит двинуться против течения, поставить под сомнение дело большой государственной важности.

Из других принципов — справедливости, внимания к человеческой личности — исходят те, кто защищает Карпухина, — механик автоколонны, секретарь парторганизации Бобков и народный заседатель Владимиров, подполковник в отставке, командовавший в войну мотострелковой бригадой. Для них суд — дело не профессиональное, а нравственное. Они убеждены, что человека можно осудить и наказать, только если он действительно виноват, если доказано, что он совершил преступление, — никакие другие мотивы не могут приниматься в расчет. Прежде всего надо видеть человека, его достоинства и недостатки, вникнуть в его судьбу — вот путеводная нить, которая не даст заблудиться в любом хитросплетении обстоятельств и принципов, вот истина, которой никогда нельзя пренебрегать.

Не бывает чужой беды, от которой можно было бы со спокойным сердцем отстраниться, на кого бы она ни обрушилась, это касается и каждого из нас. Любой, оказавшийся рядом, должен, как в бою, прийти на помощь, подставить свое плечо, взять на себя хотя бы часть груза. Мысль эта утверждается в повести Г. Бакланова с публицистической страстностью, но не публицистическими средствами. Она воплощена в емких и выразительных жизненных картинах, к ней подводит само течение событий в произведении, где большое не отделено от малого, на нее наталкивает переплетение человеческих судеб, рассмотренных автором широко, неоднозначно. В повести взят случай, а раскрыты нравственные закономерности.

Более обширный круг социально-нравственных проблем занимает писателя в романе «Друзья» (1975). Жизненный успех —

подлинный и мнимый, приспособленчество, сделки с совестью ради преуспеяния и карьеры, нравственные компромиссы и суетность, обессиливающие талант, приводящие в творчестве к бесплодию,— об этом размышляет автор романа, рисуя жизнь своих героев, их стремления и заботы, их взаимоотношения, постигая, чего они хотят от жизни, чем для них является дело, которому они посвятили себя. И по жанровой структуре этот роман отличается от всего того, что делал Г. Бакланов прежде,— «Друзья» не похожи на «Июль 41 года», образный строй нового произведения подчинен тому, чтобы выявить эволюцию характеров, убеждений, отношения к своему призванию.

Особенно хорош образ Немировского. Трансформация человека способного, умного, неплохого, но душевно нестойкого, равнодушного к жизненным благам, а еще больше к занимаемому положению, в чиновника показана в романе во всей ее неприглядности,— автор не прощает герою измены самому себе, своему любимому делу. И при этом моралист нисколько не мешает художнику: Немировский — живой и сложный человек, в нем есть всякое — вовсе не всегда он ничтожен, иногда вызывает и сочувствие. Он сохранил и некоторое обаяние — то ли благожелательности, то ли старомодной учтивости. Больше того, он, умеющий в деликатной форме угодить тем, от кого зависит, вполне овладевший искусством служебной дипломатии, тщеславно дорожащий своим местом «на виду», все-таки до конца не утратил человеческого достоинства, не все растерял на извилистых жизненных дорожках. «Я попрошу не приглашать меня за собой в лакейскую!» — резко обрывает он, выходя из себя, подхалима и лизоблуда Зотова, и не потому только, что развязность Зотова открыла Немировскому, что положение его пошатнулось,— есть тут и другое: старого архитектора коробит от хамства, ему претит пошлость. И даже смерть его — по давней привычке он прошел прямо на сцену и сел в президиум, не зная, что его туда не выбрали, чувство невыносимого стыда разрывает ему сердце,— даже это нельзя объяснить однозначно. Конечно, уязвлено самолюбие чиновника, акции которого вдруг покатались вниз. Но вряд ли это было смертельным ударом. А вот то, что он, привыкший уважать себя, привыкший к уважению окружающих, так уронил себя публично, попал в ситуацию постыдную и станет посмешищем,— это для него невыносимо. И его смерть — драма, а не анекдот, в который она бы неизбежно превратилась, если бы Немировский перед нами предстал в романе не как человек, а как олицетворение чиновничьего мирочувствования.

В образе Немировского роман «Друзья» достигает наибольшей глубины. Это образ ключевой для всей художественной структуры

произведения. Судьба Немировского бросает свой свет, придает значительность истории краха дружбы Андрея Медведева и Виктора Анохина, дружбы, переходящей в противостояние и вражду. В сущности, Анохину предстоит повторить путь Немировского, правда, в несколько ином, упрощенно-циничном варианте. Немировский начинал во времена куда более крутые и трудные. Когда-то он не устоял, поддался соблазну, Виктор же нетерпеливо ждет своего часа, лишь до времени тая — и то не очень глубоко — свое стремление во что бы то ни стало занять командное место, урвать у жизни кусок побольше и пожирнее.

Но написаны Андрей и Виктор чересчур контрастными, а главное, каждый из них слишком однотонными красками. Виктор дурен всегда и во всем, дурен так бесприсветно, что фраза Андрея: «Нам с Витькой скоро серебряную свадьбу справлять — вот сколько мы дружим», — повисает в воздухе. Трудно понять, на чем могли держаться долгие годы близкие отношения людей, занимающих противоположные жизненные позиции. Большой частью мы видим Виктора глазами Андрея, замечающего теперь в своем бывшем друге только душевные пороки, — это понятно и психологически оправдано. Но даже когда Виктор остается наедине с собой, автор не дает ему возможности ни проявить себя в чем-то по-иному, ни хотя бы как-то облагородить перед самим собою свои побуждения и поступки. Образу недостает художественной стереоскопии.

Пусть не истолкуют меня превратно: явление, которое стоит за Виктором, и вполне современно, и общественно значимо, — автор не преувеличивает его опасность, — она в самом деле серьезна. И гнев его обоснован. Но здесь моралист, справедливо стремящийся осудить отрицательное явление со всей решительностью и беспощадностью, теснит художника, который не может не считаться с тем, что жизнь пестра, что люди, как заметил однажды Лев Толстой, «пегие — дурные и хорошие вместе».

Во всех произведениях Г. Бакланова герои подвергаются нелегким испытаниям на мужество, человечность, принципиальность. В «Друзьях» они испытываются успехом, и это тоже трудное испытание. Что значит успех для архитектора? Создать талантливый проект — это еще полдела, надо, чтобы он был воплощен в жизнь. Без этого успех невозможен. Многие прекрасные сооружения так и оставались на бумаге — они были не по вкусу заказчику, многие оригинальные проекты, доработанные по требованию заказчика, превращались вординарные, а то и безобразные здания. Архитектор зависит от заказчика и не может с ним не считаться. Нет ничего зазорного в том, что архитектор хочет,

чтобы его проект понравился, плохо, когда он начинает делать не то, что дорого ему, не то, что считает нужным обществу, а то, что нравится заказчику,— он теряет свое лицо, попусту растрчивает талант. Такой ценой платят иной раз за успех.

Именно эта проблема, стоящие за ней нравственные коллизии больше всего интересуют автора, он главным образом показывает не архитектурные мастерские, где создаются проекты, а учреждения, где они рассматриваются — утверждаются или отвергаются. И изображены эти учреждения в романе не только подробнее, но и сильнее. Чинная атмосфера приемных, где царит неписанный, но строго соблюдаемый ритуал, где посвященные все понимают с полуслова, где в улыбке или отчужденном взгляде секретаря сквозит расположение или холодность начальника к этому посетителю; приподнятая обстановка больших совещаний, где можно встретить нужных людей и на ходу решить вопросы, которые в обычном порядке утрясались бы долго, где, если и нет дела, не худо просто показаться, напомнить о себе,— все это живет в романе не как фон, не как место действия, а как сила, участвующая в формировании образа жизни героев, объясняющая их поведение и поступки.

Все, кто писал о романе «Друзья», отмечали, что в нем хороши сцены семейной жизни, особенно эпизоды, посвященные детям. Это справедливо, хотя нужно отметить, что содержание этих сцен не ограничено семейной жизнью, что в большей части из них просвечивают и по-своему решаются те общие нравственные проблемы, на которых сосредоточен писатель в романе.

И особо следует сказать об образах детей у Г. Бакланова: они играют в его художественном мире очень большую роль. Они неизменно присутствуют даже в военных его книгах, и эти короткие мимолетные эпизоды заключают в себе в высшей мере важное для автора содержание. В «Южнее главного удара» это маленькая венгерская девочка, которой осколком оторвало ногу, перевязывавшая ее медсестра Тоня мучается: «У меня все время было виноватое чувство перед этой матерью... Если бы мы не доставили здесь пушки, может быть, девочку не ранило бы. Вот вырастет она... Женщина без ноги — это ужасно...» Это молдавский мальчик в финале «Пяди земли», которого приласкал герой, отвыкший от домашней жизни, от детей: «Встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колени, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем. Прогоняют еще группу

пленных. Мальчик сидит у меня на колене. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием» — так многозначительно заканчивается повесть.

Не буду продолжать дальше выписки из других произведений Г. Бакланова, возьму еще только одну из последних его книг — «Темп вечной погони». Оказавшись через много лет после войны по ту сторону океана, наблюдая американскую жизнь, писатель будет с особым интересом присматриваться к детям («Не знаю зрелища лучше зрелища человеческих детей») и неотступно думать о том, что ждет их, какая будет у них жизнь: «Когда будут счастливы люди? Наверное, все же тогда, когда у всех детей во всем мире будет детство. Счастье одних, гибель других — сегодня все еще разные концы палки. А ведь дом человека — весь мир. И нет большей заботы, чем забота о мире, в который всякий раз по твоей воле вступает рожденный тобой человек. Твое дитя».

Сказанное здесь имеет для писателя первостепенное значение: дети у Г. Бакланова — это будущее, продолжающаяся жизнь, мир на земле. Однако не будем торопиться с выводами о характере гуманизма, исповедуемого Г. Баклановым, — все-таки сказано было не все. Приведу еще одну цитату — она крайне необходима.

«Известный наш поэт, мой ровесник, — рассказывает Г. Бакланов в статье, — выступал и читал стихи, посвященные защите природы и еще чего-то. И вот там, в его речи или в белых его стихах, — не помню уже, — была фраза (строчка), которой зааплодировал зал. Он произнес с большой долей самоутверждения, что так вот получилось, что он в своей жизни никого не убил. И тут раздались дружные аплодисменты.

По логике происшедшего, по всему этому внезапному одушевлению мне, видимо, надо было почувствовать себя неловко. Ведь все четыре года войны я был на фронте, а на фронте, как известно, затем и оружие в руки берут, чтоб убивать.

Я подумал тогда, в этом зале, что, если бы во время войны человек моего поколения, то есть призывного в то время возраста, сделал бы такое гордое в прозе или в стихах заявление, это бы восприняли совсем по-иному. Во время войны считалось, что для мужчины, для человека самое достойное дело — это быть на фронте и убивать врага. Это понимание, я уверен, неизбежно и сегодня; ведь не было бы «сегодня», если бы мы не думали и не делали так тогда.

Зал в своем гуманистическом порыве просто спутал времена и многое другое».

Быть подлинным гуманистом, по-настоящему любить детей — значит, если возникает необходимость, защищать их с оружием

в руках, нести, как бы тяжело оно ни было, бремя ответственности за их судьбу — таково неколебимое убеждение писателя. Не случайно в финале «Пяди земли» маленький мальчик с таким доверием играет оружием героя...

Этими нравственными принципами руководствовался когда-то, в годы Великой Отечественной войны, двадцатилетний офицер-артиллерист, сегодня они питают творчество Григория Бакланова — немолодого уже человека и зрелого художника...

Л. ЛАЗАРЕВ

ЮЖНЕЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Повесть

*Памяти братьев моих —
Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда,
павших смертью храбрых
в Великой Отечественной войне*

ГЛАВА I

ТОВАРИЩИ

К ночи похолодало. Небо прояснилось, звезды горели ярко. Высоко в чистом, словно протаявшем кругу холодно светила полная луна; на земле под нею в голой редкой посадке четко обозначились тени деревьев.

Иногда над передовой всходила ракета, вспугнутые ею тени оживали, сумятились, звезды на небе меркли. Ракета гасла, черней становилась ночь, озябший часовой вылезал из темноты ровика погреться над трубой землянки. Он поворачивался к ней и лицом и задом, приседал, покряхтывая от удовольствия, протягивал над дымом руки, и автомат, раскачиваясь на его шее, взблескивал под луной.

Дверь землянки отворилась, полоса света встала по стене траншеи, переломилась на бруствере. В шапке на лоб, в гимнастерке, Горошко, ординарец командира батареи, вышел наружу. Он только что готовил у печки, и на свежем воздухе от него пахло мясными консервами. Поморгал, осваиваясь с темнотой, поглядел на звезды, окликнул часового. Тот спрыгнул в траншею. Увидя протянутую пачку сигарет, крепко потер занемевшие руки.

— Давай зубы погрею.

И, выловив ногтями сигарету, потянулся прикуривать. Он промерз в шинели; коренастому Горошко в одной гимнастерке было жарко, от его выпуклой груди тепло шло, как от печи.

— Тебя что, над трубой коптели? — поинтересовался Горошко снисходительно.

— Небось прокоптишься.— Часовой хитро подмигнул и тут же испуганно зачмокал губами: стала гаснуть сигарета. Глаза его, следившие, как разгорается уголек, сбежались к переносице.

За передовой с разных мест вдруг потянулись вверх светящиеся нити пуль, и скоро в воздухе стало слышно негромкое и медленное тарыхтение моторов: возвращались с бомбежки «кукурузники». Множество самых различных анекдотов ходило о них на фронте. Рассказывали в шутку, как один «кукурузник», спасаясь от «мессершмитта», стал мухой виться вокруг телеграфного столба, а «мессершмитт» при своей скорости делал километровые петли. Так они кружились, пока немец не расстрелял все патроны. Тогда «кукурузник» оторвался от столба и полетел дальше. Еще говорили, что летчики на них обходятся без карт. Пролетая над деревней, кричат прямо через борт: «Бабуся, на Ивановку в которую сторону лететь?»

Но по ночам «кукурузники» тучами поднимались в воздух и до рассвета волна за волной бомбили немецкий передний край.

Часовой и Горошко, подняв лица, некоторое время из ровика провожали глазами их черные двукрылые силуэты, медленно ползущие среди звезд.

— С вечера третий раз возят. Должно, за двенадцать перевалило, — сказал часовой, как в деревне по петухам, определяя время по самолетам. — А ну глянь, сколько на твоих намотало?

Отставив ногу, ординарец за цепочку потянул из кармана огромные немецкие часы, глянул на светящиеся цифры:

— Еще двадцать минут тебе стоять. Дрожи сильней — не замерзнешь.

Часовой добродушно выругался, повеселев, полез наверх. А Горошко вдавил окурок в мерзлую глину стены, притоптал посыпавшиеся вниз искры и головой вперед сунулся в землянку.

Свет, спертая духота, запах вина и гул множества голосов хлынули ему навстречу. Табачный дым, пластом висевший под бревнами наката, потянулся на волю и дрогнул, отсеченный дверью.

Горошко сел рядом с задремавшим в тепле телефонистом, тот испуганно раскрыл глаза и строго, будто не спал, начал вызывать:

— «Линкор»! «Линкор»! Спишь?..

Сквозь дым мигают посреди стола немецкие свечи в плошках. Колеблющийся огонь их на лицах офицеров.

Выпито уже порядочно, и говорят все враз, перебывая друг друга и смеясь.

По рукам ходит толстая стеклянная кружка, на дне ее сквозь вспыхивающее искрами венгерское вино посвечивает рубиновой эмалью и золотом орден Отечественной войны. Его «обмывают», чтоб «не заржавел». Награжденный капитан Беличенко, сдержанно улыбаясь, сидит во главе стола.

Среди загорелых лиц товарищей, обветренных зимними ветрами, его смуглое лицо отличается госпитальная бледность, какая бывает после нескольких операций, потери крови и долгого лежания в духоте палаты, пропахшей лекарствами. Он — ширококостный, плечи прямые, сильные, но чувствуется, еще не все мясо, что было,росло на них. Сегодня только вернулся он из госпиталя в полк, а тут, оказывается, орден ждал его.

Прежде можно было услышать, как пять раз подряд представляли человека к награде, тот уж, грешным делом, и дырочку в новой гимнастерке провертел, а ордена все нет: или часть неожиданно перекинули в другую армию, или будущий орденосец, не дождавшись, попал в госпиталь, или документы затерялись где-то на полдороге. А бывает, штабной писарь не счел заслугу подходящей: его, писаря, не удививши, он и не такие наградные заполнял.

Когда в сорок первом году Беличенко наградили медалью «За отвагу», на нее ходили смотреть и всех награжденных в полку можно было пересчитать по пальцам.

Но сейчас конец войны, сейчас награждают щедро и уж трудно встретить офицера не орденосца. Иную грудь и пуля не берет, такой на ней панцирь. Но все же награда есть награда, и каждый человек ей рад.

— Вы не его поздравляйте! — поднявшись над столом, кричит командир взвода управления Богачев. — Вы вот кого поздравляйте. — Он кружкой указывает на санинструктора Тоню Уварову, сидящую рядом с Беличенко. — Вот у кого сегодня праздник!

— Праздник! — Тоня зло глянула Богачеву в лицо.

Молчаливо улыбавшийся Беличенко прикрыл ее руку на столе своей ладонью.

Он вернулся в полк, когда его уже не ждали. И вообще, это была удача, что вернулся: по ранению его хотели комиссовать и отправить в тыл.

По целым дням лежал он на койке злой, заложив му-

скулястые руки за голову, темными, раздраженными глазами смотрел в потолок.

В войну имело смысл только то, что делали ребята на фронте, что сам он делал все эти четыре года.

Сосед по койке, интендантский майор, переставляя на шахматной доске фигуры, надеясь хоть не сейчас, так после вызвать Беличенко на партию, говорил:

— Что ж ты? Меня лично ты не пугает. В тылу сейчас очень нужны люди с нашей военной хваткой, с нашим умением.

Он писал деловые письма жене и знакомым, сидел на неприбранной кровати сосредоточенный, плотный, хорошо упитанный, мягкими пальцами доставал из планшетки немецкие конверты, надписывал их. Был он уже здоров, но все что-то долечивал, и между ним и остальной палатой установилась незримая холодная стенка: там шли свои разговоры, а он писал деловые письма знакомым. Обычно, получив письмо из дому, жуя сочными губами, как бы предвкушая удовольствие, которое сейчас доставит, говорил:

— Вот я вам прочту письмо от жены, очень умная женщина.

Беличенко нервно шевелил под одеялом пальцами ног, думал с тихой яростью: «Ведь убивают же хороших людей на фронте».

Однажды под вечер передавали последние известия. Вдруг в сводке промелькнула фамилия командира их дивизии. Сдержанно упоминалось о боях, и по этой сдержанности Беличенко понял, что бои идут тяжелые. И сразу все в госпитале стало досадно, скучно, и беспокойство с каждым днем росло. Комиссар госпиталя оказался хорошим парнем. Тоже был ранен, застрял после ранения в тылу — он понимал Беличенко. И вскоре, не ожидая комиссии, Беличенко выписался.

Интендантский майор, узнав, почувствовал себя оскорбленным. Потом предостерег:

— Вы справку возьмите, что были ранены, без справки не уезжайте. После войны каждая бумажка понадобится, а вы ничего не сможете доказать.

Беличенко засовывал в вещевой мешок бритву, мыло, пару белья, поглядывал на майора весело: «Все ты предусмотрел, все ты заготовил... И жена у тебя умная женщина...» Он никак не мог вспомнить, за что все эти дни ненавидел майора.

Одетый в дорогу, он зашел проститься с ребятами. Его койку в палате уже застлали свежими простынями, раненые в байковых халатах, вытертых и вылинявших от многих стирок, обедали за длинным столом и говорили об ужине, которым только и утешались за обедом; в ужин утешение было еще проще: что не доел — доспишь.

Увидев Беличенко, обступили его, жали руки, завидовали.

В коридоре ему попались навстречу санитары с носилками. Они несли из перевязочной бледного человека в свежих бинтах — на его освободившуюся койку: свято место пусто не бывает.

В тот же вечер, в час, когда палата спала в тепле и темноте и только матовые дверные стекла освещались из коридора, Беличенко в ожидании попутной машины стоял у обочины дороги на замерзшей грязи. Над головой небо тревожно озарялось прожекторами. Дул резкий ветер, и рана, с которой сняли бинты, зябла под шинелью, но впервые за это время на душе было спокойно.

...Вот ты и вернулся, Сашко Беличенко, в свой полк. Здесь у тебя все: и дом, и рубеж твой, и товарищи. Расстроганный, смотрел он в их веселые, немного пьяные лица.

Поблизости от него сидит новый командир огневого взвода Назаров, мальчишка совсем. Он прислан в батарею, когда Беличенко был в госпитале.

— ...Такая, понимаете, досада,— жалуется Назаров своему соседу, пехотному капитану.— Как раз наш выпуск и еще два перед ним попали под приказ. Если бы я месяцев на восемь раньше поступил, так я бы тоже вышел лейтенантом. А теперь вот только с одной звездочкой. И главное, война кончается.

На лице его такое искреннее огорчение, что трудно не посочувствовать. И сосед сочувственно улыбается, а в то же время следит глазами за кружкой, постепенно приближающейся к нему. Он из тех умудренных жизнью спокойных людей, что на войне далеко вперед не загадывают, за столом про войну и про бои не рассказывают и вообще больше слушают, чем говорят. Он изредка встречается с Беличенко глазами, и хотя видятся они сегодня впервые, хорошо понимают друг друга.

— Сашко! — через стол кричит Богачев.— Слышал, как на Втором Белорусском фронте даванули немцев? За четыре дня боев — сто километров по фронту и сорок в

глубину. Дают прикурить! На Первом Белорусском Варшава взята. Вон где главный удар наносится. А мы тут засели в низине у Балатона, и победу и славу просидим здесь.

Беличенко только улыбнулся ему. Что бы ни ждало впереди, каким бы ни был завтрашний день, он рад, что вернулся и этот день встретит с товарищами.

Тем временем танкист с темным при свечах лицом негромко говорил Богачеву:

— Воюем с тобой, лейтенант, а кому-то придется все это по истории заучивать. Когда, спросят, была Будапештская битва? Не знаешь? Садись, двойка!.. Я в школе терпеть не мог даты заучивать, вечно за них двойки хватал.

Глаза его из-под бровей странно блестят, издали — как будто смеются. Поболтав вино в кружке — орден на дне зазвенел о стекло, — глядя на него, танкист сказал:

— Друга у меня две недели назад перерезало. Башней. Вот так. — Он поставил кружку, ребром ладони провел поперек груди. — Поднялся он пушку зарядить, а тут как раз снаряд. Башню как сдуло. Вот с тех пор на самоходке воюю. А то уж начал бояться под броней в атаку ходить.

Богачев глянул на его коричневую щеку, на рубцы, стянувшие гляцевитую кожицу. Танкист перехватил этот взгляд, и губы его поежились усмешкой. Он кивнул головой в сторону Беличенко и Тони:

— Жена?

Богачев пьяно захохотал, обнажая крупные зубы:

— Жена не жена, а зря, парень, подметки собьешь.

Танкист оперся спиной о стенку землянки, глядя на Тоню, запел:

Теплый ветер дует, развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

Лицо его побледнело, шея напряглась. И разговоры в землянке смолкли. Нестройно, постепенно налаживаясь, голоса подхватывали песню. Она рассказывала о пережитом, и чувство дружества и тепла с особенной силой возникало между людьми, поющими ее.

Стали воспоминанием и Ростов, и Таганрог, и оттепель на Южном фронте, и друзья, навеки оставшиеся там. Станут воспоминанием и эти дни. И когда-нибудь

те, кто останется жить, вспомнят эту землянку под венгерским городом Секешфехерваром и друзей, что пели с ними вместе.

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить...

В жизни младшего лейтенанта Назарова, присланного командиром огневого взвода в батарею Беличенко, еще не было боев-пожарищ. Всего три недели назад он выехал из училища. Туда на его имя до сих пор идут письма от сестры и мамы.

Перед выпуском знакомая девушка Шура подарила ему к гимнастерке одиннадцать золотых пуговиц — большая ценность по военному времени. Шура сама пришила их, сама сузила на машинке просторную в плечах гимнастерку.

Назаров в это время сидел рядом в казенной натальной рубашке с клеймом и следил сбоку за ее руками. Правда, пуговицы оказались с гербами, и один курсант сказал, что они милицейские, но все ж это было лучше, чем пришивать простые — железные. По крайней мере, было с чем явиться в полк.

А вот сейчас, в землянке, ему почему-то стыдно и этих своих золотых пуговиц, и ушитой в плечах гимнастерки, и всего себя, такого новенького, только что выпущенного.

«Конечно, они могут так петь, — думает он, заражаясь чужим волнением, — но я тоже докажу им...»

Он не привык к вину и теперь, выпив, чувствует себя кем-то обиженным, ему грустно и хочется, чтобы случилось что-то особенное, быть может, прорвались бы немцы — тогда он доказал бы всем, и Беличенко, и Тоне в особенности, что он достоин их...

Разошлись за полночь. Прощаясь с пехотным капитаном, Беличенко задержал его руку в своей руке. Если с рассветом немцы начнут наступать, первый удар им обоим принимать на себя.

— Ну, будем знакомы, — сказал он дружески.

Тот взглянул на него, многоопытный, спокойный человек, без слов понял. И они пожали друг другу руки.

Тем временем Тоня, поджидая Беличенко, стояла в траншее. На передовой изредка постреливали. Винтовочный выстрел, как по воде, гулко раскатывался в морозном воздухе. А когда замирал, становилось пустынно и глухо. Одна стена траншеи была в тени, другая казалась

пыльно-серой, почти белой. Тоня смотрела на голые деревья посадки, неширокой полосой уходившей вдаль, и думала о матери. Она вспоминала ее такой, какой видела в последний раз.

Тоня была уже в армии, и часть их должны были вот-вот отправить. И она с утра, волнуясь, что мама не успеет прийти, все выбегала к запертым воротам. Был первый теплый весенний день, на противоположной, солнечной стороне мыли стекла в домах, и мальчишка лет шести с зеркалом в руке пускал зайчика в окно знакомой девочки. Вдруг Тоня увидела мать.

Она шла по солнечной стороне в своем лучшем темно-синем шерстяном платье с белым, пожелтевшим от многих стирок и утюга крепдешинным воротничком. Кругом все было весеннее, мокрое, все блестело, с громом рушился в водосточных трубах лед, а она тихо шла в этом зимнем платье и смотрела перед собой потухшими глазами. И с болью за каждую ее морщинку Тоня увидела, как она постарела — совсем, совсем старая уже. И этот воротничок она выгладила и пришила не для себя, а чтобы произвести хорошее впечатление на новых Тониных знакомых. Тоня хотела окликнуть ее — в горле были слезы. Она видела, как мать остановилась, расспрашивала кого-то из офицеров и улыбалась все с той же целью, чтобы для Тони произвести на него хорошее впечатление. А глаза ее оставались безжизненными.

Она постарела так за последний год, пережив одну за другой сразу две смерти: сначала отца, потом Алеши.

Никогда не забыть, как они обе провожали Алешу на фронт. На вокзале мать, совершенно потерявшаяся, все целовала его круглую, остриженную под машинку, колючую голову, словно этим думала уберечь. А Тоне было стыдно чего-то, она оглядывалась и говорила быстро:

— Ну, мама, ну, неловко же... Люди кругом... Ты его конфузишь...

Как это глупо, как стыдно сейчас!

Алеша даже не доехал до фронта: их эшелон разбомбили по дороге. Товарищ, которого привезли в госпиталь, рассказал, что осколок попал Алеше в голову. «Вот сюда», — он показал пальцем.

Там у Алеши с детства была коричневая родинка.

С этих пор маму уже нельзя было взволновать ничем, жизнь шла мимо нее. И когда Тоня сказала, что уходит

на фронт, она просталась с ней покорно и тихо, не надеясь уже дожидаться возвращения дочери.

Будут ли у них еще разлуки? Быть ли новой встрече? Или это уже навсегда останется в памяти, как мама плакала к ней по солнечной стороне в своем темно-синем зимнем платье и смотрела перед собой потухшими глазами?..

...— Стой! Кто идет? — раздался оклик часового.

Тоня вздрогнула.

— Как же это я тебе за километр буду кричать пароль? — подойдя, вразумительно спрашивал Беличенко. — Ты подпусти, чтоб штыком до горла достать, и — «Стой! Кто идет?»

Часовой молчал.

— Недавно призван?

— Третий месяц пошел.

Тоня вернулась в землянку. Свечи уже погасли, фитиль одной из них утонул в растопленном стеарине, и догорающий огонек светился синей искрой.

Наконец вошел Беличенко.

— Здравствуй, Тонюшка, — сказал он: впервые за весь день они остались вдвоем.

Она подошла к нему, с силой взяла его лицо в свои руки и, нагнув, всматривалась тревожно.

— Ты что? — ласково удивился он.

Она все смотрела на него молча.

— Так вдруг страшно стало... потерять тебя...

И, зажмурясь, крепко прижалась к его теплым, горьким от табака губам своими холодными губами.

А Богачев в это время, сидя перед зеркалом, взбивал помазком мыло в алюминиевой чашечке. Такая у Богачева привычка: если выпьет крепко, непременно садится бриться с одеколоном. Подвернув воротник гимнастерки внутрь, он долго мылил лицо. Взял опасную бритву, сощурясь, осмотрел лезвие на огонь свечи. И когда брился, рука твердо водила бритвой по щекам, холодные глаза трезво смотрели в зеркало. Вдруг усмехнулся. Он вспомнил, как сейчас шел по траншее, а Тоня стояла, и он ничего не сказал ей, только оглядел насмешливо, пыхнул папироской и прошел мимо. Это он правильно сделал, что ничего не сказал.

Вообще в жизни девчата любили Богачева, он не мог обижаться. Любили за его легкий характер, за то, что был он не жаден ни на чувства, ни на деньги. И еще по-

тому любили, быть может, что ни одной из них не удалось привязать Богачева всерьез. Он отходил к ним снисходительно. И они никогда не винили его ни в чем. Между собой ссорились, а на него не обижались.

А вот с Тоней как-то все не так получалось. Она звала его «Петя Богачев», «товарищ лейтенант». До слез смеялась, когда он начинал рассказывать про фрицев: «Ох, бедная будет та, кто за тебя замуж пойдет». Богачев однажды к слову спросил:

— А ты, значит, бедной быть не желаешь?

— Не хочу, Петя, еще как не желаю!

На следующий день — они тогда стояли на Донце, и пехота долго не могла взять «языка» — Богачев, никому не сказав ни слова, спихнул в реку бревно, придерживаясь за него рукой, поплыл под водой по течению вниз. На вторые сутки вернулся босой, мокрый по шею, притащил на себе чуть придушенного немца. Три дня после этого пил с разведчиками, из землянки неслись песни, и даже от дыма из трубы пахло спиртом. Проходя мимо, Тоня видела: поставив хромовый сапог на край нар, одной рукой картинно опершись о колено, Богачев другой дирижировал. А через неделю, ночью, вместе с рассудительным Горошко притащил Богачев от немцев пулемет и патефон с пластинками. И еще несколько раз по ночам лазал он к немцам, рисковал, добывал сведения, приносил оружие и документы немецких солдат, без шума убитых им. Тоню как будто не замечал совсем.

Но однажды за выпивкой арттехник дивизиона по дружбе стал шептать ему в ухо:

— Ей майора нужно. А ты звездочками не вышел. Или подполковника сразу, — но произнес это отдельно: «под полковника» — и захохотал, намекая на известный анекдот. — Ты меня слушай, я в этих делах черта съел...

Богачев слушал, крепким ногтем большого пальца ковырял доску стола. Глаз не подымал. Вдруг левой рукой взял арттехника за подбородок, не размахиваясь, коротко ударил в лицо. Того отливали водой.

За «языка» получил Богачев орден, а с Тоней осталось все по-прежнему. Прошло время, и опять он развлекал ее веселыми историями, она смеялась до слез, и даже поверилось Тоне, что теперь они стали настоящими друзьями. Потом друзей стало трое — батарею принял новый комбат капитан Беличенко. Богачев первый по Тониным глазам, совсем не таким, какими она смотрела на него, по-

нял, кто из троих лишний. Но Беличенко он остался другом.

Кроме него, всех людей Богачев делил на две категории: разведчики и все остальные. В бою взвод его был лучшим. Но на формировке, когда отводили в тыл, больше всего ЧП было в его взводе. Вдруг являлся бледный, жалкий ординарец командира стрелкового полка, проходившего ночью через деревню, где стояла батарея, жаловался, что украли коня. Замечательный конь был, ординарец сам лично пас, за ногу привязав к своей ноге, клянется, что не спал. И вот ночью какой-то разведчик подполз, ножом отрезал веревку от ноги, вскочил на коня и ускакал. И хотя неизвестно было, чей это разведчик, майор Ребров вызывал Богачева. При нем повторялся рассказ. Богачев слушал холодно, интересуясь только подробностями. Во взводе был страстный лошажник Альшеев. Дай ему волю, он бы со всего света лучших коней перетасил на батарею. Сам Богачев, токарь по профессии, конями не интересовался. Но находчивость в разведчиках ценил.

И пока стояли в тылу, Богачева вызывали к начальству не один раз. Потом отправляли их часть на фронт, и все грехи списывали с него разом...

...Богачев кончил бриться, налил полную горсть цветочного одеколона и, отфыркиваясь, стал тереть враз покрасневшее лицо, шею с острым кадыком. Потом поставил носок сапога на край земляных нар, плюя на щетку, начал начищать его до ясного блеска. А начистив и полюбовавшись, скинул сапоги и лег спать.

Свет печных углей на потолке землянки становился все сумрачней. Печь гасла. Никто не подкладывал.

Лежа на спине, Беличенко смотрел, как темнеют бревна наката, курил и думал. На руке его ровно дышала Тоня, он через гимнастерку чувствовал тепло ее дыхания. Тоня заснула сразу же, а он не мог заснуть. За те дни, пока он добирался к фронту на полках вагонов, тело его настолько привыкло к покачиванию и движению, что едва Беличенко стал задремывать, земляные нары стронулись, все поплыло, закачалось. Он тут же проснулся, как от толчка, и вот теперь, лежа на спине, курил.

Через каждые десять минут доносился глухо слышный под землей выстрел дежурной немецкой батареи. Долга

поддвигал снаряд, и еще до взрыва Беличенко ладонью заслонял Тонино лицо: с наката всякий раз сыпалось. Стараясь не разбудить ее, он осторожно высвободил руку, встал. При мерклом свете углей Тоня глянула на него влажными от сна, лучистыми глазами:

— Ты куда?

— Спи. Я сейчас. Спи!

Беличенко открыл дверь. Над высотой на парашюте медленно плыла осветительная ракета. Спрыгнувший в траншею часовой следил за ней, запрокинув голову. Наконец ракета погасла, только искры еще падали с черного неба, и сейчас же у немцев застучал пулемет. Очень близко, как это всегда кажется ночью.

Беличенко глубоко вдохнул ноздрями морозный воздух. Ветер дул непонятно откуда. Он то исчезал, то вдруг падал сверху, и тогда дым, подымавшийся над землянкой разведчиков, садился на трубу. И трудно было сообразить, с какой стороны доносятся звуки.

Часовой тревожно глянул на комбата:

— Слышите?

За немецкой передовой, молчавшей потаенно, возник рокот танковых моторов и далекое завывание грузовиков. При новом порыве ветра Беличенко явственно услышал эти звуки у нас в тылу. Ему даже почудилось осторожно приближающееся лязганье гусениц. Он подождал, пока ветер подует с немецкой стороны. И опять услышал танки.

— Наверное, пластинку заводят. Грамзапись, — сказал он часовому. — А вообще, черт его знает, могут быть и танки.

И, прислушиваясь к ночи, подумал: «Может, еще ничего и не будет?..»

Он хотел верить в это, но и сам он, и часовой — оба чувствовали, что позади немецких окопов происходит что-то.

Беличенко еще постоял, послушал, потом пошел к разведчикам. Кроме Вани Горошко и недавно сменившегося часового, здесь уже все спали. Горошко, наваяв грудью на стол, дописывал при копилке третье по счету письмо. Перед ним стоял немецкий бритвенный прибор, слипшийся на сторону мокрый помазок торчал из алюминиевого стаканчика. Это недавно брился Богачев.

Сейчас он спал, босые ступни его длинных ног с завязками кальсон у щиколоток торчали в проходе между

нарами, у двери стояли хромовые сапоги со смятыми портянками, сунутыми в голенища.

В землянке густо пахло босыми ногами, сапожной мазью и цветочным одеколоном. А у двери ужинал среди ночи озябший часовой, сменившийся с поста. Держа котелок в коленях и горбясь над ним, он громко глотал, скреб алюминиевой ложкой по дну. Он покосился на комбата и продолжал есть.

— А ну, разбуди Ратнера! — приказал Беличенко ординарцу. Горошко, стоя, засовывал в туго набитый карман гимнастерки письма, сложенные треугольником. Недописанное осталось на столе.

«Здравствуйте, Клава! — прочел Беличенко. — Письмо Ваше, пущенное третьего числа, я получил. Клава! В настоящее время я нахожусь в Действующей армии, или, вернее сказать, в рядах Вооруженных Сил. Клава!..»

Беличенко веселыми глазами посмотрел на ординарца.

Среди одинаково укрытых шинелями тел Горошко тормошил чье-то плечо:

— Сержант! Сержант!

А сам оглядывался: его смущало, что комбат читает письмо. Но Беличенко с интересом продолжал читать, перескочив через несколько строк:

«А во-вторых, так как годы мои еще полностью не ушли, то интересуется меня, чтоб найти в жизни хорошего друга...»

Эту фразу комбат уже встречал в Горошкиных письмах: в свои девятнадцать лет Ваня отличался постоянством. Он переписывался сразу со множеством девушек, причем познакомился с ними по почте и ни одной ни разу в глаза не видел.

Заканчивалось письмо, как и все Горошкины письма, бодро:

«Все мы, здесь сидящие разведчики, шлем Вам свой гвардейский артпривет!»

Беличенко усмехнулся.

— Это какой же гвардейский артпривет? — спросил он нарочно громко.

Ваня разумно промолчал, будто не слышал. Он стыдился признаться девушкам в письмах, что полк их не гвардейский — просто обыкновенный полк. «Сидящих разведчиков» Беличенко тоже не обнаружил. Разве что сменившийся часовой, но и тот, наевшись, уже свертывал сигарку на сон грядущий.

Вдруг тело, которое тормозил Горошко, поднялось под шинелью на четвереньки и первым делом начало искать рукавицы в соломе. Командир отделения разведчиков Ратнер сел на краю нар, сонно дыша и зевая, глянул на Беличенко мутными глазами. Натянув шинель, он вышел вслед за комбатом.

Зимний вьюжный ветер свистел в голой посадке, с бруствера мело снежком. Ратнер, теплый после сна, зябко запахнулся, зевнул и стал закуривать. Зажигалка осветила его наклоненное сосредоточенное лицо со втянутыми щеками.

— Вот что, — сказал Беличенко, — на пост сегодня новичков не ставь. И чтоб разведчики глядели лучше. Особенно к утру.

Ратнер быстро глянул на комбата. Соп с него как рукой сняло.

— Так думаю, что к утру немцы зашевелиятся, — сказал Беличенко. И, вспомнив письма, которые Ваня записывал в карман, подумал, что очень может быть, завтра их уже не придется отправить.

Они постояли еще, слушая тишину и зимний, бесприютный свист ветра. Но теперь уже тишина казалась Ратнеру тревожной.

ГЛАВА II

ПУШКИ СТРЕЛЯЮТ НА РАССВЕТЕ

Под утро Беличенко еще раз вышел из блиндажа. Морозец за ночь окреп, так что прихватывало ноздри. В траншее, в затишке, притопывал промерзший часовой, постукивал перчаткой по стволу автомата, отогревая пальцы. Ветер вольно гулял наверху и, как только Беличенко вышел на бруствер, плотно прижал к его спине накиннутую шинель, обнял рукавами, подхватил полы — вмиг выдул все тепло, запасенное в блиндаже.

Небо уже замутнелось, на востоке проглядывал зябкий рассвет, но на западе еще держалась ночь. Было тихо, диковато, пусто. В этот час всегда так на передовой, и часовых на морозе клонит в сон.

Беличенко по привычке глянул в ту сторону, где у немцев была сосредоточена артиллерия. Но там тоже было тихо. «А может быть, зря я опасуюсь? Только людей и себя переполошил», — подумал Беличенко с тем большей

легкостью, что ему хотелось верить в это. Он потянулся, зевнул, намреваясь идти досыпать, что не доспал, и тут сквозь сомкнутые веки увидел блеснувший короткий свет. Когда он оглянулся, по всему окружию горизонта сверкали немые зарницы вспышек и ухо ловило приближающийся знакомый вой. Мгновение Беличенко прислушивался, потом спрыгнул в траншею.

— Подъем! По ще-елям!

В блиндаже Тоня искала санитарную сумку. Сумка висела на колышке, вбитом в стену, а она щупала ее в соломе на нарах.

Обрушились первые разрывы. В темноте запахло пылью, пыль заскрипела на зубах.

Когда Беличенко и Тоня выскочили из блиндажа, по траншее бежали разведчики, мелькая мимо них. Откуда-то сверху, осыпав бруствер, свалился запыхавшийся Богачев. Нагнулся, подтянул одно за другим голенища хромовых сапог на своих длинных ногах.

— Все ясно: как на ночь сапоги сниму, утром немец наступает! Примета верная!

И заорал поверх голов:

— Ратнер! Стереотрубу сними!

Ратнер с напряженным лицом пробежал мимо. В момент все будто вымерло на НП. Еще не отдышавшийся Богачев, сидя в щели на корточках, затычка за затычкой докуривал сигарку. Ваня Горошко, обняв колени, сжался. При каждом взрыве веки его вздрагивали.

Снаряды ложились теперь близко: перелет — недолет.

— Нашупал, сволочь! — сказал Богачев, рукой разогнав дым над головой, и глянул на телефон, по которому Беличенко передавал команды на батарею, как будто немцы могли обнаружить этот телефон. Беличенко взял из его руки сигарку и стал докуривать, припекая губы. Он нервничал. Он всякий раз нервничал, если в бою Тоня была рядом. В такие моменты его все раздражало. И особенно его сейчас раздражали голоса в соседней щели. Туда спрыгнули переждать обстрел два пехотных радиста. И чем дальше, тем трудней им было вылезти наружу. Земля спасительно притягивала их, самым надежным местом на свете была для них теперь эта щель.

Но один из них был рядовой, а другой — сержант, он отвечал перед начальством.

— А я тебе говорю, иди! — приказывал сержант без собой уверенности.

— Куда я пойду? — уныло сопротивлялся радист. — Куда я пойду?

Он твердил это с упорством человека, который хочет жить и, кроме этого, ничего знать не хочет.

— А я тебе говорю, иди! — ожесточался сержант. — Командир батальона рацию ждет, приказание выполнять не хочешь?

«Сейчас погоню сержанта», — с холодным бешенством подумал Беличенко.

И тут каждый услышал не громкий, но сразу оттеснивший все другие звуки снижающийся вой. Этот снаряд примирил всех. Радисты затихли в своей щели. Беличенко пригнул Тоню к своим коленям, закрыл ее собой. И каждый почувствовал, что от падающего сверху у него сейчас одна защита — собственная спина.

Окоп качнуло, земля как будто сдвинулась, и все затряслось в дыму и грохоте.

С наблюдательного пункта командира полка, с других наблюдательных пунктов, которые не нащупала немецкая артиллерия, было видно, как высота покрылась распухавшими на глазах хлопьями разрывов, дым смешался с рыжей пылью, высоко поднявшейся к небу. Глядя в свои стереотрубы и бинокли, как над высотой в пыли и дыму все вспыхивает коротко, они понимали, что должны чувствовать люди под таким огнем.

Когда разрывы смолкли, в ушах у каждого еще стоял грохот и земля рушилась сверху. Тоня поднялась — песок сыпался со спины, с воротника шинели. Близко от себя Беличенко увидел ее лицо, бледные, под цвет лица, губы и несмело улыбавшиеся ему глаза, из которых еще не ушел страх.

— С тобой я смелая, — сказала она. — С тобой я ничего не боюсь.

Ветер отнес дым, и стало светло. Но никто за артподготовкой не видел рассвета и как-то даже не вспомнил теперь об этом.

Беличенко рукой искал в земле засыпанный телефон. Трубка была разбита. Он все же подул в нее — телефон не работал.

— Ставь стереотрубу! — приказал он Богачеву.

Тот, сощурился, глядел в сторону немецкой передовой, крупные ноздри его хрящеватого носа жадно хватали воздух.

Перчаткой постегал себя по плечам, сбивая пыль, и размашисто зашагал по траншее.

В соседней щели слышались голоса.

— Дай перевяжу, — сказал сержант и осторожно заинтересовался: — Рация цела?

— Навылет пробило. Вот он мне сюда, осколок, в плечо вошел, а она за спиной была.

Проходя по траншее, Беличенко увидел обоих радистов. Молодые ребята с тонкими шеями, они сидели на земле. Радист — голый до пояса, тело по-зимнему белое, раненое плечо, сразу похудевшее, жалко вздернуто. Тоня перевязывала его, и он весь сжимался от боли.

Сержант зализал сигарку, дал радисту в рот, поднес прикурить. Тот на правах потерпевшего принимал ухаживания.

— Теперь ты в госпиталь поедешь, — сказал сержант и вздохнул. — Месяца небось на три... Войну уже нехватишь...

Но, увидев Беличенко, незнакомого капитана, оробел и сделал движение встать. Тоня тоже повернула голову, встретилась глазами с Беличенко и улыбнулась ему.

В холодном свете утра далеко было видно снежное поле и черные круги разрывов на нем. По полю от передовой волокся дым. И от передовой же полз раненый, приподнимался на руках, что-то кричал и падал. И снова полз, слепо тычась в стороны. Другой раненый, в распахнутой шинели медленно шел, опираясь на винтовку. Его несколько раз закрывало разрывом, но он вновь появлялся сквозь дым, все так же медленно переставляя ноги.

Артподготовка продолжалась, и «хейнкели», гуськом заходившие на бомбежку, теперь посыпались из-за облаков, пикируя на передовую. От них плашмя отрывались черные палочки; увеличиваясь и воя, они неслись вниз. На НП вдруг все затряслось, задрожало, с брустверов потек песок. И сейчас же над высотой черными тенями скользнули наши штурмовики и скрылись в дыму.

Еще не отбомбили самолеты, когда Ратнер, наблюдавший в бинокль, обернулся со странным, будто повеселевшим лицом:

— Танки!

В стереотрубу Беличенко было видно, как они по одному появляются из-за гребня. Стали смолкать разрывы. Теперь явственно была слышна трескотня пулеметов и автоматов; началась атака. Только раненый все так же

ковыллал, опираясь на винтовку. Ударил мина вдогон, одна-единственная. Когда ветром отнесло летучий дымок, человека не было: на снегу серым пятном распласталась шинель.

Не отрываясь от стереотрубы, Беличенко достал папиросу, крепко закурил зубами.

Опять низко над головой прошли наши штурмовики. Они теперь возвращались и шли на большой скорости, не строем, прижимаясь к земле. Их стало меньше, а у последнего тянулся за хвостом черный шлейф дыма.

Беличенко подал команду. Телефонист повторял с той же интонацией, с теми же движениями губ.

Впереди НП стояли в укрытии три наши самоходки, те самые, откуда вечером приходил лейтенант-танкист с обожженной щекой. До артподготовки здесь была посадка, она маскировала, но сейчас деревья были вырублены осколками, и среди пней самоходные пушки стояли на оголенном месте.

У самоходов спереди — подушка лобовой брони, сзади и сверху они прикрыты брезентом. Они хороши в наступлении, когда устремляются в прорыв. Сейчас против них были тяжелые немецкие танки. Они медленно шли, и воздух между ними и передовой будто сжимался.

Средняя самоходка зашевелилась вдруг, попятилась из укрытия — пушка ее едва не чертила по земле. Постояв так, она сползла обратно в окоп и сразу открыла огонь по танкам. Она словно торопилась расстрелять снаряды.

Танки стали. Длинные их стволы, утолщенные на концах, повернулись все в одну сторону. Их было шестнадцать, и, в сознании своей силы, они не торопились.

Забыв прикурить, Беличенко сунул зажигалку мимо кармана, не заметил, как она упала.

— Огонь!

Высоко над головами прошелестели в воздухе снаряды, и позади немецких танков возникли на снегу два разрыва. Беличенко убавил прицел. Третий снаряд потревожил танки. Они расползлись дальше друг от друга, продолжая стрелять. Теперь уже и остальные самоходки отвечали им, а откуда-то справа оглушительно хлопала дивизионная пушка. Постепенно втягивалась вся артиллерия, и тяжелая и легкая; трудно стало различать свои разрывы. Но танки, не отвлекаясь, продолжали прицельно, сосредоточенно расстреливать самоходку. Сначала без-

звучно взметнулся огонь над ней, потом внутри стали рваться снаряды: те, что она не успела выпустить. А когда взрывы прекратились, над башней сомкнулось пламя.

— Никто не выскочил,— сказал Богачев хрипло.— И на черта он мне вчера про себя рассказывал? Обнял вот так и рассказывает, и рассказывает... Про друга своего вспомнил, какого башней перерезало. Кто знает, в какой он самоходке был? А?..

Ему не ответили. У всех в глазах был отблеск пламени, в котором горели сейчас люди.

Беличенко сидел, сутулясь перед стереотрубой, вел заградительный огонь; рот жестко сжат, каждая складка на лице отвердела. Танки то скрывались в лощине, то вновь появлялись на гребне; от этого казалось, что их больше. Два из них уже горели, остальные как будто не пытались пробиться. И атака пехоты, по всей видимости, тоже захлебнулась. Но справа и слева, на участках соседних дивизий, шел сильный бой. Земля передавала непрерывное глухое дрожание, иногда все сотрясалось, и слышно было, как там завывают самолеты.

К полудню пошел снег. Серое пятно — распластанная шинель постепенно белела, сливалась с окружающим, и вскоре ее уже невозможно было разглядеть. Снег вначале был мелкий, потом повалил крупней. Потеплело. Опустилось небо, белая даль придвинулась, мир стал тесней, и танки теперь неясно маячили на гребне лощины. Казалось, уже вечереет, а не было еще и трех часов. И каждым в этом тесном мирке овладело чувство оторванности. А справа и слева бой не утихал, и по звукам стрельбы можно было определить, что немцы там продвигаются.

И вдруг с соседней высоты, которую обороняла пехота, раздались разрывы мин, испуганная трескотня автоматов.

Теперь все на НП смотрели в ту сторону.

— Если пехоту выбьют оттуда,— сказал Беличенко,— нам здесь не усидеть.

Богачев не ответил. Он знал, что идти туда, кроме него, никому, но идти не хотелось. После вчерашнего у него было мутно на душе. Он перепил вчера, и, как всегда, утром казалось, что говорил много ненужного, стыдного. Особенно же стыдно было вспоминать, как он, третьим лишним при Беличенко и Тоне, кричал через стол: «Вот у кого праздник!» — и Тоня при всех обрезала его. Он

сейчас злился на них и на себя и не мог смотреть им в глаза.

На высоте в снежной метели возникли люди. Они бежали вниз.

Некоторое время Богачев вглядывался, вытянув шею, и вдруг сразу решил.

— Возьму с собой Ратнера, — быстро сказал он Беличенко. — И разведчиков. Трех.

Они ушли по траншее друг за другом, и у каждого на плече дулом книзу висел немецкий автомат. Они были одинаковы со спины. У последнего разведчика ремень автомата зацепился за срезанный лопатой корень, торчавший из земли. Торопясь, он отцепил его, потом бегом догнал остальных.

На повороте траншеи им встретилась Тоня.

— Куда вы? — спросила она, прижимаясь к стене, чтобы дать им дорогу.

— Идем с нами, Тоня, — позвал Ратнер.

А разведчик, шедший последним, на ходу обнял ее, получил по руке и громко захохотал, довольный.

Вскоре все увидели, как они, рассыпавшись, мелькая между уцелевшими деревьями, бегут по посадке. Крайним слева огромными прыжками бежал Богачев. В руках его — ручной пулемет с плоским круглым диском, незакрепленные подсошки качались на бегу. Рядом приземистый Ратнер мел по снегу лапами шинели.

Они скрылись в овраге, потом появились на другой стороне, все пятеро, уменьшенные расстоянием. Навстречу им катились с высоты пехотинцы, оборачиваясь и отстреливаясь. Все сшиблись, смешались — сквозь падающий снег невозможно было разглядеть, что сейчас там происходит.

ГЛАВА III

ПЕРВЫЙ БОЙ

— Лейтенант! Товарищ лейтенант!..

Кто-то тянул Назарова за ногу. Он откинул с лица шинель, сел, озираясь. Наверху стреляли. Разрывы глухо отдавались под землей, и трудно было сообразить, далеко ли рвутся снаряды.

Около Назарова ползал на коленях солдат, искал в темноте шапку и ругался шепотом. При огне люди одева-

лись поспешно и молча, и землянка была полна шевелящихся теней, множество черных рук махало по стенам.

— Вот ваши сапоги, товарищ лейтенант, — сказал тот же голос и тише добавил: — Немец наступает.

Назаров вдруг почувствовал, как сердце заколотилось под самым горлом, лицо вспотело. Срывающимися мокрыми пальцами натягивал он сапоги, они скрипели, не лезли на влажную портянку.

— «Лира»! «Лира»! — зывал в углу телефонист. — Почему не отвечаешь? «Лира», это — «Коленкор»! «Лира»! «Лира»!..

Разрывы над головой, шевелящиеся при огне люди и тени, оторванный от всего мира голос телефониста под землей, и то, что сам он в такой момент без сапог, а ночь кругом — все это слилось для Назарова в страшное слово «немцы».

Он выскочил из землянки, расстегивая кобуру пистолета, совершенно забыв, что еще не успел получить оружия и кобура по-прежнему для виду набита тряпками.

Снаружи было морозно, ветрено. Деревья шумели. Обстрел не казался здесь таким близким, даже разрывов не было видно. Глухой слитный гул шел от передовой, воздух в ушах дрожал, и снег осыпался с веток. Это был тот самый момент, когда немцы обрушили огонь на наблюдательный пункт Беличенко.

Прислушиваясь к артподготовке, батарейцы быстро, без суеты снимали чехлы с пушек. Распоряжался старший сержант Бородин, исполнявший до Назарова должность командира взвода. Сутулый от большого роста, с широко поставленными, косившими врозь глазами, Бородин в прошлой, мирной жизни был председателем колхоза. Привычки мирной жизни были неистребимы в нем. Он и приказания отдавал не командным громким голосом, а по-домашнему.

Назаров оглядел себя, расправил складки под ремнем и, вскочив на бруствер, приставил к глазам бинокль. От нервного возбуждения, от того, что он так сразу выскочил из тепла, Назарова била дрожь на утреннем холоде. Он боялся, что солдаты увидят, поймут неправильно, и ходил перед орудиями, держась прямо, строго, высоко подымая плечи в погонах. А на душе было тревожно.

Назаров ехал из училища с мечтой стать командиром взвода управления. Во взводе управления — разведчики,

он много читал о разведчиках и хотел в разведку. Его назначили командовать огневым взводом. Здесь, правда, не было разведчиков, но Назарову нравилось это название — «огневой взвод». Он с удовольствием повторял про себя: «огневой», «огневики», «командир огневого взвода». И видел себя рядом с пушками, в расстегнутой шинели, всего в отблесках пламени. Но вот он — командир огневого взвода, и сейчас начнется бой, а на душе у него — растерянность. Страшился Назаров не самого боя, а что в этом бою вдруг он окажется трусом и все это увидят и поймут. «Пусть лучше убьет сразу», — подумал он горячо.

Между тем в поле постепенно светлело, и на опушке, где стояли орудия, деревья выступили из темноты. Огневые позиции батареи располагались километрах в двух позади наблюдательного пункта. Отсюда не было видно передовой и всего, что там происходит, только отдаленный гул разрывов доносился сюда, и по нему можно было определить, какой силы идет артподготовка. Наконец восстановили связь, телефонист быстрым шепотом передавал разговоры, какие велись по линии. Скажет две-три фразы и долго слушает, а солдаты, столпившись вокруг него, терпеливо ждут. При мутном, свинцовом свете утра лица их казались бледными, с резкими тенями, а иней на стволах орудий — серым.

Назаров не знал, удобно ли ему тоже остановиться и послушать, и потому, проходя, всякий раз бросал на телефониста строгий взгляд.

Время шло. Старшина батареи Пономарев, стоявший с кухней и со всем хозяйством неподалеку в овраге, прислал сказать, чтобы отправляли людей за завтраком. С тем высоким, что было у него сейчас на душе, Назарову показались странными разговоры о завтраке. И даже оскорбительными. К тому же он был уверен, что поесть все равно не успеют, потому что вот-вот начнется бой. Но солдаты охотно доставали котелки, терли их снегом, и вообще все заметно оживилось. И Назаров почувствовал: его не поймут, если он подаст команду «Отставить!», все удивятся и решат, что младший лейтенант просто нервничает.

— Так надо послать... — начал он, огмядываясь, и увидел заряжающего Карпова. «Вот Карпов пойдет», — хотел сказать он, потому что за сутки, проведенные в полку, никого, кроме Карпова, запомнить не успел. Но, встретясь

глазами с заряжающим — тот уже заранее улыбался, понимая, что сейчас именно его пошлют, — Назаров покраснел.

Тем временем Бородин распоряжался:

— Ряпушкин, Козлов, собирайтесь. Кто от твоего орудия, Федотов? Давай посылай.

Для командира взвода завтрак принес Ряпушкин, маленький услужливый солдат. Он исполнял должность ординарца при всех прежних командирах взводов и по привычке, просто потому, что это как-то само собой разумелось, взялся исполнять ее при Назарове.

Назаров узнал в нем солдата, который деликатно тянул его за ногу. Он не помнил, с каким лицом вскочил тогда, и оттого, что Ряпушкин мог видеть его страх, почувствовал неприязнь к нему.

— Поставьте котелок здесь, — сказал он строго.

Ряпушкин, не стукнув, поставил котелок на землю, рядом с ним перевернул каску вверх дном, и Назаров сел на нее.

Ели, настороженно поглядывая на телефониста. Он выбил в бруствере лунку, установил в ней котелок и тоже ел, стоя в ровике, а телефонная трубка на марлевых тесемках покачивалась на ухе. Вдруг он схватился за нее, поперхнувшись, страшно округляя глаза, заорал чужим голосом:

— Батар-ре-е!..

Перепрыгивая через котелки, все бросились к орудиям. В рассветном сумраке Назаров, бледный, подняв руку, стоял позади окопов, и командиры орудий на два голоса нараспев повторяли за ним команду. Они одновременно махнули рукавицами:

— Ор-рудие!

Воздух толкнулся в уши, на миг осветились пламенем напряженные лица солдат и стволы ближних сосен. Вслед за тем замковые весело рванули рукоятки, и горячие гильзы, дымясь, со звоном откатились к их ногам.

— Огонь! — кричал Назаров яростно.

— Ор-рудие! — каждый своему расчету кричали сержанты, мощно раскатывая «р». И пыль все выше подымалась над орудийными окопами.

От грохота пушек, озарявшихся пламенем, оттого, что кругом все были заняты горячей работой и многие скинули с себя шинели, а главное, потому, что все эти люди и пушки подчинялись его голосу, его команде, Назаров

находился в восторженном состоянии. Он чувствовал себя **сильным**, был уверен, что немцы бегут, а до сознания никак не доходило, почему это все время уменьшают прицел.

Вдруг он увидел, как заряжающий Карпов вместе со снарядом, который он нес, ничком лег на землю и закрыл руками затылок. И остальные врассыпную кинулись от орудий, попадали на землю. Назаров оглянулся. Из-за верхушек сосен выскочил самолет, и впереди пушек с грохотом взлетела земля. Назарова сбило с ног, ударило головой о станину. Слепой от боли, он вскочил. Другой самолет низко прошел над окопами, строча из пулеметов, и мерзлая земля задымилась. Назаров побежал, споткнулся о снарядный ящик, упал, ушиб коленку и опять вскочил. И тут увидел, что все лежат, только он один под бомбежкой, под обстрелом стоит на ногах. И радость, более сильная, чем страх, горячей волной омыла его.

— Подъем! — закричал он счастливым голосом. — К ор-рудиям!

Один за другим солдаты поднимались с земли, отряхивали колени. Телефонист перчаткой пытался счистить с шинели опрокинувшийся суп, но суп примерз. Только Карпов остался лежать, закрыв руками затылок. Его оттащили в ровик, другой номер поднял лежавший на земле снаряд, вогнал в пушку.

Теперь вели беглый огонь. Назаров командовал, стоя на снарядном ящике. Он не стыдился уже ни молодости своей, ни своего звонкого голоса. И на огневой позиции все время держалось веселое настроение.

К полудню повалил снег. Стало плохо видно. С наблюдательного пункта передали команду: «Отбой!»

Тот же Ряпушкин принес обед. Назаров сидел в растегнутой шинели, золотые пуговицы на его гимнастерке были почему-то измазаны в глине; он не отчищал их. Зажав котелок в коленях, он ел, и все ели и были голодны, один Карпов лежал в ровике на земле, в мокрой от пота, замерзшей на нем гимнастерке. Назаров все время чувствовал, как он там лежит: ведь только что Карпов был жив... Но все ели суп, принесенный в том числе и на Карпова, как на живого, и говорили громкими после боя голосами.

ГЛАВА IV

ОШИБКА

К полудню, когда стихло немного, старшина Пономарев отправился на НП. В другое время он бы послал с обедом повозочного. Но сегодня, после того обстрела, которому подвергся командир батареи на наблюдательном пункте, неудобно было ему, старшине, отсиживаться на огневых позициях рядом с кухней. И вместе с обедом он отправился сам.

В своей длинной шинели, взятой на рост больше из тех соображений, что ею теплей укрываться, со строгим, голым и как бы помятым лицом, на котором и в сорок три года почти ничего не росло, он шел впереди, недоступный никаким посторонним чувствам, кроме чувства долга. Сзади тащился с термосом на спине и котелками в обеих руках повозочный Долговушин, молодой унылый парень, назначенный нести обед на НП в целях воспитания.

За год службы в батарее Долговушин переменял множество должностей, нигде не проявив способностей. Попал он в полк случайно, на марше. Дело было ночью. К фронту двигалась артиллерия, обочиной, в пыли, подымая пыль множеством ног, топала пехота. И, как всегда, несколько пехотинцев попросились на пушки, подъехать немного. Среди них был Долговушин. Остальные потом соскочили, а Долговушин уснул. Когда проснулся, пехоты на дороге уже не было. Куда шла его рота, какой ее номер — ничего этого он не знал, потому что всего два дня как попал в нее. Так Долговушин и прижился в артиллерийском полку.

Вначале его определили к Богачеву во взвод управления катушечным телефонистом. За Днестром, под Яссами, Богачев всего один раз взял его с собой на передовой наблюдательный пункт, где все простреливалось из пулеметов и где не то что днем, но и ночью-то головы не поднять. Тут Долговушин по глупости постирал с себя все и остался в одной шинели, а под ней — в чем мать родила. Так он и сидел у телефона, запахнувшись, а напарник и бегал и ползал с катушкой по линии, пока его не ранило. На следующий день Богачев выгнал Долговушина: к себе во взвод он подбирал людей, на которых мог положиться в бою, как на себя.

И Долговушин попал к огневикам. Безропотный, мол-

чаливо-старательный, все бы хорошо, только уж больно бестолков оказался. Когда выпадало опасное задание, о нем говорили: «Этот не справится». А раз не справится, зачем посылать? И посылали другого. Так Долговушин откочевал в повозочные. Он не просил, его перевели. Может быть, теперь, к концу войны, за неспособностью воевал бы он уже где-нибудь на складе ПФС, но в повозочных суждено было ему попасть под начало старшины Пономарева. Этот не верил в бестолковость и сразу объяснил свои установки:

— В армии так: не знаешь — научат, не хочешь — заставят. — И еще сказал: — Отсюда тебе путь один: в пехоту. Так и запомни.

— Что ж пехота? И в пехоте люди живут, — уныло отвечал Долговушин, больше всего на свете боявшийся снова попасть в пехоту.

С тем старшина и начал его воспитывать. Долговушину не стало житья. Вот и сейчас он тащился на НП, под самый обстрел, все ради того же воспитания.

Два километра — не велик путь, но к фронту, да еще под обстрелом... Опасливо косясь на дальние разрывы, он старался не отстать от старшины.

Не прошли и полдороги, а Долговушин упарился под термосом: по временам он начинал бежать, спотыкаясь огромными сапогами о мерзлые кочки; при этом суп взбалтывался.

Снег все шел, хотя и редкий уже. На правом фланге догорали два танка. Издали нельзя было разобрать чьи. Мазутно-черные, тонкие у земли дымы, разрастаясь сверху и сливаясь вместе, подпирали небо.

Где овражком, где перебегая от воронки к воронке, Пономарев и Долговушин добрались наконец до наблюдательного пункта батареи. Вся высота была взрыхлена снарядами, засыпана выброшенной взрывами землей. В одном месте ход сообщения обрушило прямым попаданием, пришлось перелезть завал. Здесь же, в первой щели, лежал убитый. Лежал он неудобно, не как лег бы сам, а как втащили его сюда. Шинель со спины горбом напозла на голову, так что хлястик оказался выше лопаток, толстые икры ног судорожно напряжены. При зимнем рассеянном свете тускло блестели стертые подковки ботинок. Не видя лица, по одному тому, как ловко, невысоко, щеголевато были намотаны обмотки, старшина определил в убитом бывалого солдата.

Дальше наткнулись на раненых. По всему проходу они сидели на земле, курили, мирно разговаривали. От близких разрывов и посвистывания пуль, при виде убитого, раненых и крови на бинтах Долговушину, пришедшему сюда из тыла, представилось, что вот тут и есть передний край. Но для раненых пехотинцев, которые шли сюда с передовой, эта высота с глубокими, не такими, как у них там, траншеями была тылом. Они пережидали здесь артналет, и оттого, что никого не убило, не задело, место это казалось им безопасным, и уже не хотелось уходить отсюда до темноты.

Завидев артиллерийского старшину, они стали поспешно подбирать ноги. Пономарев шел хозяйски, со строгим, замкнутым лицом — начальник. В душе он всегда чувствовал, что вот люди воюют, а он в тепле, при кухне, с портянками, тряпками, ботинками — тихое тыловое житье на фронте. Сегодня, когда начали наступать немцы и в батарее уже были убитые, это чувство было в нем особенно сильно и он был особенно уязвим. Ему казалось, что эти раненые, пережившие и страх и боль, потерявшие кровь, именно это должны видеть и думать, глядя на него, идущего из тыла, от кухни, конвоиром при термосе с супом. Потому-то и шел он со строгим лицом.

Но пехотинцы опасались главным образом, как бы их не погнали отсюда, с чужого НП, и услужливо подбирали ноги. Только молодой, рыжеватый, красивый пехотинец, нянчивший на коленях свою толсто забинтованную руку, не посторонился и ног не убрал, предоставляя шагать через них. И пока Пономарев перешагивал, он снизу вверх вызывающе глядел на него.

Послышался вой мины. Удивительно проворно Долговушин присел, а Пономарев под взглядами пехотинцев (может быть, они и не смотрели вовсе, но он это всей спиной чувствовал) с непамятостью пережил его трясоту.

Они свернули за поворот. Из дыма показалась Тоня, ведя опиравшегося на нее разведчика. Он ладонью зажимал глаза, она что-то говорила ему и пыталась отнять руку, разведчик тряс головой, мычал. Пономарев пропустил их и увидел Беличенко, быстро шагавшего по траншее навстречу.

— Ага, старшина! Давай корми людей быстро, скоро он опять начнет. И Богачеву отошли. Вон на ту высоту; видишь? Он теперь там с пехотой сидит.

В белой, испачканной землей кубанке, сдвинутой на потный лоб, с мрачно блестящими из-под нее глазами, большой, разгоряченный, комбат подошел к ним. Телогрейка его, перетянутая широким ремнем, была разорвана на плече, оттуда торчала грязная вата; глянцева, темная от времени кобура пистолета исцарапана о стенки окопов. Он первый, сутулясь, шагнул в блиндаж. Старшина задержался пошептаться с Горошко: там, где касалось обеспечения комбата, он политично действовал через ординарца.

Когда вошла Тоня, Пономарев скромно сидел у двери на уголке нар, свесив ноги в крепких яловых сапогах с яловыми голенищами до колен. Другие старшины щеголяли в хромовых сапожках, шили себе офицерские шинели. Пономарев ничего неположенного себе не позволял. Он ходил в солдатской шинели, но хорошего качества, и сапоги у него были довоенные, неизносные. Теперь ставили кирзовые голенища, а таких, как у него, яловых, таких теперь не найти. Понимающие люди знали: им цены нет.

Небольшой, жилистый, с ничего не выражавшим лицом, какое бывает у людей осторожного ума, он походил сейчас на гостя, приехавшего из деревни проведать родню и привезшего с собой гостинцы и многочисленные поклоны. Такой, если и не одобряет чего-либо, разумно умалчивает об этом. Старшина не одобрял Тониного присутствия здесь. Однако свое неодобрение выказывал только тем, что в разговоре обходил Тоню взглядом, словно ее тут не было вовсе.

Все время, пока Беличенко ел, он продолжал сидеть у дверей на тот случай, если бы, например, комбат захотел справиться о батарейном хозяйстве или отдать какие-либо хозяйственные распоряжения. Такие распоряжения Пономарев всегда уважительно выслушивал, зная, что начальство не любит, когда ему возражают, а дальше поступал по своему разумению.

— Целы у Афонина глаза,— сказала Тоня,— землей запорошило.— Взглядом хозяйки она быстро оглядела стол.— А что же ты комбату водки не нальешь?

Горошко молча налил водки, после этого отошел в угол и оттуда презрительно наблюдал, как она хозяйничает.

Обычно Беличенко посмеивался над ним: «Никак две хозяйки не уживутся под одной крышей». Сейчас он ел рассеянно, прислушиваясь к звукам снаружи. Даже водку

выпил без охоты, медленно и прикрыв глаза, как пьют усталые люди. Он рано положил ложку, встал, зализывая сигарку.

Наверху разорвался снаряд, все подняли головы. Горшко вскинул на плечо ремень автомата, готовый сопроводить, не спрашивая. У Беличенко глаза ожили. Хлопая себя по карманам, он искал зажигалку. Он не помнил, что уронил ее около стереотрубы.

— Вот ваша зажигалка, — сказал Ваня, подав. Разве ж мог он допустить, чтобы у комбата пропала такая нужная вещь? Когда шли танки, было не до нее, но после Ваня зажигалку нашел и спрятал.

Беличенко закуривал, прислушиваясь. Наверху уже все дрожало от взрывов. Дверь землянки сама медленно растворялась, край неба, видный над бруствером траншеи, от поднявшейся пыли был весь как в дыму. Беличенко пыхнул сигаркой, блестя сузившимися, недобро повеселевшими глазами, сказал:

— Мотай-ка на огневые, старшина, делать тебе здесь нечего: немец опять пошел.

За дверью давно уже томился Долговушин с пустым термосом, оборачиваясь на каждый выстрел. Раненых в проходе не было. Они все куда-то убрались. Едва Пономарев и Долговушин покинули НП, как попали под обстрел. Они перележали его в неглубокой воронке. Первым поднялся старшина, отряхнулся и вкось строго глянул на повозочного. Но тут сбоку откуда-то ударил пулемет, и они побежали не той дорогой, которой шли раньше, а влево, к видневшейся вдали рыжей полоске кукурузы: там, казалось, безопасно. Сапоги скользили, спотыкались по комковатой язи, пули высвистывали над ухом, рвали комочки земли из-под ног.

Когда наконец достигли кукурузы, у Пономарева по груди и под мышками текли струйки пота, Долговушин дышал с хрипом. Пули и здесь летали, но не так густо: они щелкали по мертвым стеблям, сбивая их на землю.

Отсюда Пономарев оглянулся. Еще не вечерело, но свету убавилось, и даль стала синей. На фоне ее хорошо были видны обе высоты, белые от недавно выпавшего снега. Над той, которую оборонял Богачев, таял дымок разрыва, точно облачко, севшее на вершину сопки. А в развилке между высотами горела самоходка, и несколько немецких танков, открыто стоя на поле, вели по ней сосредоточенный огонь.

Теперь впереди, горбясь, шагал Долговушин, сзади — старшина. Неширокая полоса кукурузы кончилась, и они шли наизволок, отдыхая на ходу: здесь было безопасно. И чем выше взбирались они, тем видней было им оставшееся позади поле боя; оно как бы опускалось и становилось плоским по мере того, как они поднимались вверх. Пономарев оглянулся еще раз. Немецкие танки расположились в стороны друг от друга и по-прежнему вели огонь. Плоские разрывы вставали по всему полю, а между ними ползли пехотинцы; всякий раз, когда они подымались перебегать, яростней начинали строчить пулеметы.

Чем дальше в тыл, тем несуетливей, уверенней делался Долговушин. Им оставалось миновать открытое пространство, а дальше на гребне опять начиналась кукуруза. Сквозь ее реденькую стенку проглядывал засыпанный снегом рыжий отвал траншей, там перебежали какие-то люди, изредка над бруствером показывалась голова и раздавался выстрел. Ветер был встречный, и пелена слез, застилавшая глаза, мешала рассмотреть хорошенько, что там делается.

Но они настолько уже отошли от передовой, так оба сейчас были уверены в своей безопасности, что продолжали идти не тревожась. «Здесь, значит, вторую линию обороны строят», — решил Пономарев с удовлетворением. А Долговушин поднял вверх сжатые кулаки и, потрясая ими, закричал тем, кто стрелял из траншей.

— Э-ей! Слышь, не балуй!

И голос у него был в этот момент не робкий: он знал, что в тылу «баловать» не положено, и в сознании своей правоты, в случае чего, мог и прикрикнуть.

Действительно, стрельба прекратилась. Долговушин отвернул на ходу полу шинели, достал кисет и, придерживая его безымянным пальцем и мизинцем, принялся свертывать папироску. Даже движения у него теперь были степенные. Скрутив папироску, Долговушин повернулся спиной на ветер и, прикуривая, продолжал идти так.

До кукурузы оставалось метров пятьдесят, когда на гребень окопа вспрыгнул человек в каске. Расставив короткие ноги, четко видный на фоне неба, он поднял над головой винтовку, потряс ею и что-то крикнул.

— Немцы! — обмер Долговушин.

— Я те дам «немцы»! — прикрикнул старшина и угрозил пальцем.

Он всю дорогу не столько за противником наблюдал,

как за Долговушиным, которого твердо решил перевоспитать. И когда тот закричал «немцы», старшина, относившийся к нему подозрительно, не только усмотрел в этом трусость, но еще и неверие в порядок и разумность, существующие в армии. Однако Долговушин, обычно робевший начальства, на этот раз, не обращая внимания, кинулся бежать назад и влево.

— Я те побегу! — кричал ему вслед Пономарев и пытался расстегнуть кобуру нагана.

Долговушин упал, быстро-быстро загребая руками, мелькая подошвами сапог, пополз с термосом на спине. Пули уже вскидывали снег около него.

Ничего не понимая, старшина смотрел на эти вскипавшие снежные фонтанчики. Внезапно за Долговушиным, в открывшейся под скатом низине, он увидел санный обоз. На ровном, как замерзшая река, снежном поле около саней стояли лошади. Другие лошади валялись тут же. От саней веером расходились следы ног и глубокие борозды, оставленные ползшими людьми. Они обрывались внезапно, и в конце каждой из них, где догнала его пуля, лежал ездовой. Только один, уйдя уже далеко, продолжал ползти с кнутом в руке, а по нему сверху безостановочно бил пулемет.

«Немцы в тылу!» — понял Пономарев. Теперь, если надавят с фронта и пехота начнет отходить, отсюда, из тыла, из укрытия, немцы встретят ее пулеметным огнем. На ровном месте это — уничтожение.

— Правей, правей ползи! — закричал он Долговушину. Но тут старшину толкнуло в плечо, он упал и уже не видел, что произошло с повозочным. Только каблуки Долговушина мелькали впереди, удаляясь. Пономарев тяжело полз за ним следом и, подымая голову от снега, кричал: — Правей бери, правей! Там скат!

Каблуки вильнули влево. «Услышал!» — радостно подумал Пономарев. Ему наконец удалось вытащить наган. Он обернулся и, целясь, давая Долговушину уйти, выпустил в немцев все семь патронов. Но в раненой руке не было упора. Потом он опять пополз. Метров шесть ему осталось до кукурузы, не больше, и он уже подумал про себя: «Теперь — жив». Тут кто-то палкой ударил его по голове, по кости. Пономарев дрогнул, ткнулся лицом в снег, и свет померк.

А Долговушин тем временем благополучно спустился под скат. Здесь пули шли поверху. Долговушин отдышал-

ся, вынул из-за отворота ушанки «бычок» и, согнувшись, искирил его. Он глотал дым, давясь и обжигаясь, и озирался по сторонам. Наверху уже не стреляли. Там все было кончено. «Правей ползи», — вспомнил Долговушин и усмехнулся с превосходством живого над мертвым.

— Вот те и вышло правей...

Он высвободил плечи от лямок, и термос упал в снег. Долговушин отпихнул его ногой. Где ползком, где сгибаясь и перебежками, выбрался он из-под огня, и тот, кто считал, что Долговушин «богом ушибленный», поразился бы сейчас, как толково, применяясь к местности, действует он.

Вечером Долговушин пришел на огневые позиции. Он рассказал, как они отстреливались, как старшину убило на его глазах и он пытался тащить его мертвого. Он показал пустой диск автомата. Сидя на земле рядом с кухней, он жадно ел, а довар ложкой вылавливал из черпака мясо и подкладывал ему в котелок. И все сочувственно смотрели на Долговушина.

«Вот как нельзя с первого взгляда составлять мнение о людях, — подумал Назаров, которому Долговушин не понравился. — Я его считал человеком себе на уме, а он вот какой, оказывается. Просто я еще не умею разбираться в людях...»

И поскольку в этот день ранило каптера, Назаров, чувствуя себя виноватым перед Долговушиным, позвонил командиру батареи, и Долговушин занял тихую, хлебную должность каптера.

ГЛАВА V

О ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕ ЖДУТ

Неопределенный красноватый свет стоял над горизонтом, и небо на юге вздрагивало от вспышек. В той стороне, ближе к Балатону, по-прежнему гремел бой. А перед городом Секешфехерваром установилась тишина. Местами пехота отошла, и высота, которую оборонял Богачев, уступом выдавалась теперь в сторону немцев. Отсюда был виден силуэт города, черный на красном зареве, с острыми, как наконечники копий, крышами домов.

Богачев не мог хорошо знать обстановку: связи с батареей давно уже не было. В темноте немцы продвигались ощупью, то там, то здесь внезапно вспыхивал ярост-

ный ночной бой, искрами летали трассирующие пули. Так на залитом пожарище вдруг вырвется пламя из груды обугленных головней, спадет и снова вырвется в другом месте. Цельной обороны не существовало, держались отдельные высоты, отдельные укрепления. Богачеву известно было лукавое чувство, которое всякий раз смущает в бою, если тебе самому приходится решать: отойти или остаться? Но он провоевал войну, не раз отступал, наступал, был в окружении, он не мог не понимать: пока держится его высота, другая такая же, третья — у немцев руки связаны. И он держал высоту.

К ночи из бойцов осталось в живых четверо, пятый — Ратнер, Богачев — шестой. Все было разрушено артиллерийским обстрелом, все переломано, траншеи местами засыпаны. Последний телефонист сидел, охватив колени, опершись на них лбом. Рукав шинели натянулся, обнажив толстые круглые часы с мутноватым стеклом, сделанным из координатной мерки. Он потряс связиста за плечо:

— Эй, солдат, войну проспипшь!

Тот, мягко качнувшись, повалился на бок. И тогда только Богачев увидел на бруствере неглубокую воронку от мины.

«Так... Этот отвоевался».

И по часам убитого сверил свои часы. Днем, когда выбивали немцев с высоты, его собственные часы стали от удара, и теперь он не доверял им.

В половине первого за немецкими окопами возник пожар. Пожар все светлел, ширился: всходила луна. Стало видно теперь косо торчащее из земли черное крыло самолета.

Это был немецкий истребитель, сбитый неделю назад. Он упал на «ничьей» земле. Рядом с ним лежал на снегу обгоревший летчик, почти голый, сжавшийся от огня. Только головки меховых сапог уцелели у него на ногах. Он сначала обгорел, а потом замерз. Разведчики, лазавшие к самолету за прозрачным стеклом для мундштуков, видели его и рассказывали после.

И самолет, и обгоревший летчик, и «ничья» земля — все это было сейчас у немцев.

Луна уже оторвалась от земли и, перерезанная пополам, повисла на конце крыла, осеребрив его своим светом. К Богачеву бесшумно подошел Ратнер, стал рядом.

— Свяznego нет? — спросил Богачев.

— Не вернулся.

— А ты где был?

За немецкими окопами взлетела ракета. Белки глаз Ратнера заблестели сначала зеленым, потом красным светом и погасли. Ракета, шипя, догорала на снегу. Несколько трассирующих очередей беззвучно оторвались от земли и ушли в низкое облако. Позже донесло стрельбу.

— В овраге, где вчера наши «тридцатьчетверки» стояли, немцы ползают,— сказал Ратнер негромко.— Я лазал — напоролся на одного.

Он достал из шинельного кармана маленький никелевый пистолет с перламутровой ручкой, подкинул на ладони. Жесткие мясистые ладони его были в глине.

— И запасная обойма к нему есть.

Оба они понимали, что означало: немцы в овраге. Это означало, что высота окружена и уже вряд ли уйти отсюда. Потому-то связи не было, потому из двух связных, посланных к Беличенко, ни один не вернулся.

— Настоящий дамский пистолет,— сказал Ратнер.— За всю войну ни разу такой не попадался. Можно было б Тоне отдать.

Он выщелкнул на ладонь патроны из обоймы, вынул затвор и все это далеко раскидал в разные стороны. В бою этот пистолетик все равно не годился.

— Ребятам говорил? — спросил Богачев.

— Нет еще.

— Будем держать высоту.

Все это время он ждал связного от Беличенко, он все-таки ждал приказа отойти и надеялся. Теперь он понял: приказа не будет.

И оттого, что неопределенность кончилась, решение принято, Богачев, как всегда в моменты риска, повеселел. Надвинув сильней ушанку, он пошел по траншее проверять посты.

Из разведчиков, которых он взял с собой, ни одного не осталось в живых. Высоту обороняли пехотинцы, те самые, которые прежде бежали с нее. Богачев не очень надеялся на них.

За первым поворотом он увидел двух бойцов: они трудились над чем-то. Богачев подошел ближе. Кряхтя и переругиваясь шепотом, они выкидывали наверх труп немца, оставшийся здесь после атаки. Завидев лейтенанта, бросили свое занятие и, потеснясь, давая пройти, стояли у стенки в шинелях с пристегнутыми к поясу полками, чем-то похожие друг на друга.

— Для новых место очищаете? — спросил Богачев нарочно громким голосом, всеело глядя на них.

Солдаты заулыбались, как и полагается солдатам, когда начальство спрашивает: «Не робеете ли?» За несколько ночных часов от постоянного ощущения, что немцы рядом и могут услышать, они отвыкли говорить громко.

— А ну, дай помогу.— Богачев взял немца за сапоги у щиколоток.— Берись!

Приладившись в тесноте, они выкинули его за бруствер. Тело глухо стукнуло, перекаатилось вниз.

— Тяжел был немец,— сказал Богачев.

— Он как гусь по осени,— отозвался солдат охрипшим от натуги голосом,— откормился на чужих полях, чужим зерном.

Другой стеснительно стоял рядом. Но все же общая работа разогрела и развеселила их.

— Так вы раньше времени огня не открывайте,— предупредил Богачев уходя.

Метрах в двадцати от них стоял пожилой пехотинец. Автомат лежал наверху, а сам он внимательно и осторожно грыз сухарь, каждый раз оглядывая его со всех сторон, выбирая край помягче.

Богачев не знал ни фамилии пехотинца, ни имени. Они столкнулись с ним, когда в густом снегопаде выбивали с высоты немцев. Лицо его ничем не выделялось из множества солдатских лиц: круглое, с широкими скулами, с морщинами у глаз. Лицо терпеливого человека.

— Вот какое дело, отец,— сказал Богачев.— Немцы в овраге позади нас, так что скоро они полезут.

Пехотинец в это время, зажмурив один глаз, пытался боковыми зубами откусить сухарь, но сухарь был крепок и только скрипел. Тогда он пососал его, отчего сильнее обозначились морщины у рта, и, перевернув, откусил с другого края, где сухарь уже размяк.

— Да я уж замечаю,— сказал он, быстро прожевывая.— Все они там друг дружке сигналы подают, уткой крикают. А какая может быть утка в эту пору?

Он опять оглядел сухарь, примериваясь.

— Ты бы размочил сначала,— посоветовал Богачев, невольно следя глазами и участвуя мысленно.

— Размочить — кипяток нужен, а где он, кипяток? А от холодной воды только в животе остынет,— со знанием дела и даже с некоторым превосходством сказал тот, как человек, который все это уже хорошо обдумал.

И вдруг спросил: — Дети есть, лейтенант? — И снизу вверх глянул на Богачева.

— Не успел обзавестись.

— Да, дети... — Пехотинец вздохнул. — Они по-другому к жизни привязывают. Пока детей нет, ты налегке по жизни идешь. А тут уж не о себе думать надо...

Он говорил это и жевал сухарь, потому что он был солдат и ему нужно было воевать. А пахло от него на морозе ржаным кислым хлебом — по-домашнему, по-мирному пахло. И Богачев почувствовал, что все то, что он хотел сказать этому пехотинцу, все это говорить не надо, потому что воюет он не по его, Богачева, приказу, а по другим, гораздо более глубоким и личным причинам.

Где-то недалеко железо скребло мерзлую землю. Богачев пошел туда. Молодой солдат, в растоптанных валенках на толстых ногах, с бурым от ветра лицом, на котором выделялись белые брови, углублял стрелковую ячейку, обрушенную снарядом. Он каской отгребал землю, сыпал ее на бруствер и прислушивался.

— Огонька нет, лейтенант? — быстро спросил он, боясь, что тот пройдет мимо, и взял с полочки, вырытой в стене, недокуренную цигарку.

Богачев щелкнул зажигалкой, боец потянулся прикуривать, но вдруг схватил его за руку своей горячей, вспотевшей от работы рукой:

— Слышшь?

Внизу, в лощине, негромко и неуверенно крикнула утка. Немного погодя другая ответила ей.

— Эта уже с час времени кричет. Погодит, погодит, и опять.

С обветренного, грубого лица тоскливо глянули на Богачева детские глаза.

— Немцы, — жестко сказал Богачев, испытывая неприязнь к этому здоровому и робкому парню.

Тот почувствовал, вздохнул и опять нагнулся прикуривать. Ближе от себя Богачев увидел его заросшую белым волосом красную, крепкую шею, полную сил и жизни, и внезапно подумал, что, может быть, это последние люди, которых он видит. Что произойдет здесь — об этом будут знать только он и они, и уже никто в целом мире.

Под луной синевато мерцавшее поле вокруг казалось пустынным, ни живой души в нем. Ночь. Тишина... Только ветер метет с бруствера пылью и снежком и качаются

стебли сухих трав, торчащих из-под снега. И всюду отрезан путь, и в тишине, в лощине, одна сторона которой все больше освещалась, накапливались немцы.

В прежней жизни Богачев всегда чувствовал, что впереди у него — тысяча лет. Он не очень задумывался, так ли, не так день прожил — впереди их бессчетно. И люди встречались и исчезали из памяти: их множество было вокруг.

Но сейчас впереди у него были не годы, а часы, оставшиеся до немецкой атаки. И вся его жизнь должна вписаться в них.

Сколько за войну было таких высот, где люди держались до последнего! Они здесь не лучшие и не худшие из всех. Но жизнь у каждого одна. Он почувствовал, что происходит теперь в этом парне, как ему одиноко и страшно и как он старается одолеть этот страх, чтоб не увидели.

— Ты не томись,— сказал он парню,— выберемся.— И усмехнулся уверенно.— Похуже бывало и выбирались. Главное — до утра продержаться.

И к слову рассказал, в каких переделках бывал с разведчиками, а вот жив. Богачев и сам верил в этот момент, что как-нибудь они выберутся. Вся война позади, не может так не повезти под конец.

Богачев шел по траншее, вдыхая морозный воздух. Может быть, считанные часы остались ему. Но все равно в эти часы он жил в полную силу. Он отбил у немцев высоту, сколько времени уже держит ее и вот теперь идет по ней хозяином. Когда Богачев вернулся, Ратнер стоял на том же месте, в окопе, до плеч освещенный луной, смуглое лицо его казалось при этом свете бледным, а глаза темными. Большими, темными и печальными. Перед ним на подсошках стоял ручной пулемет, отбрасывая на снег вытянутую тень. Богачев положил рядом свой автомат.

— Тихо?

— Тихо,— сказал Ратнер.— Скоро, видимо, начнут.

Богачев достал из кармана белую с черным орлом и свастикой пачку немецких сигарет. Там еще оставалось несколько штук.

— Кури,— предложил он.— Как раз по одной успеем.

Ратнеру попалась порванная сигарета. Он хотел было заклеить ее по солдатской бережливой привычке и уже облизнул языком, но Богачев сказал:

— Брось ты ее! — и выбрал ему сам.

Они сели на дно окопа, упираясь коленями в противоположную стенку, закурили. Метрах в десяти от них лежал на боку мертвый связист, его никелевые часы блеснули под луной.

Богачеву хотелось душевного разговора.

— Вот в это самое время, Давид, — сказал он, — наверное, говорят про наш фронт в последних известиях: «На Третьем Украинском фронте никаких существенных изменений не произошло». — Он усмехнулся, подул на пепел, сплюнул под ноги. — Репродуктор у нас дома на буфете стоит. Как откроют дверцу, так он падает оттуда. Бумажный такой, черный, проткнут в нескольких местах. Мать перед ним как перед господом богом. Сегодня послушает сводку и успокоится...

Он говорил по привычке насмешливо, стесняясь того, что было на душе. И сам он, и его довоенные друзья, и разведчики, с которыми он прошел войну, — все не любили вслух проявлять чувства. А может быть, именно этого всегда не хватало матери, одиноко жившей с ним без отца. Никогда Богачев не задумывался об этом и вот только теперь понял.

А Ратнер в это время думал о своих стариках. Он оставил их в сорок первом году в Рогачеве, когда немцы были уже близко. Ночью с проходившим через город полком он ушел на фронт, а старики остались. Они уже были очень пожилые и больны и без него не могли эвакуироваться. Сколько раз вспомнит он это, столько раз будет винить себя. И все-таки он не мог тогда поступить иначе.

Только два года спустя из госпиталя удалось ему попасть в Рогачев. Соседи рассказали, как погибли его старики. Была уже поздняя осень, и лед шел по реке. И вот всех евреев согнали в Днепр. Ожидалось какое-то начальство, их долго держали в воде, а по берегу ходили эсэсовцы с автоматами, и стояли на песке пулеметы.

Всю жизнь мать говорила, что у отца больные почки, берегла его от простуды и, чтоб он соблюдал диету, сама вместе с ним не ела соленого. А вот как умирать пришлось. Что думали они в тот страшный миг, когда по людям, стоящим в воде, среди льдин, начали с берега стрелять из пулеметов и все заметались? Два старых, беспомощных человека. Они вырастили шестерых детей, сильных, молодых, здоровых, и все же в этот страшный час были одни. Да еще на руках у них — трехлетняя

внучка Оленька, которую с границы привез погостить на лето старший сын.

И уже ничего не изменишь, не исправишь, потому что непоправимей смерти ничего нет. Нельзя даже сказать: «Родные мои, простите меня за все, за все ваши муки!» За то, что он, сын, здоровый человек, не мог защитить их. Ничего уже нельзя сделать. Можно только мстить.

И со всевозраставшим нетерпением Ратнер ждал немцев.

Они выкурили с Богачевым по сигарете и еще по одной, но тишина стояла по-прежнему. Недалеко от траншеи из бомбовой воронки торчала нога немца в сером шерстяном носке. Луна поднялась уже высоко, и тень от ноги переместилась, стала короткой.

Внезапно позади них, в стороне города, заскрежетал, завыл шестиствольный немецкий миномет, прозванный «ишаком» за этот звук, похожий на повторяющийся крик осла. Шесть огненных комет возникли в воздухе, и земля затряслась. И тут же высота заполнилась бегущими вверх, орущими, стреляющими немцами. Из-за ноги в сером носке поднялась каска и кричащий разинутый рот.

Припав к пулемету, Богачев бил длинными очередями, вспышки пламени слепили его. Рядом из автомата стрелял Ратнер. И вдруг все опустело. Они успели перезарядить диск, когда сзади снова раздались крики, и опять высота заполнилась бегущими немцами.

Богачев кинул гранату, присел, пережидая разрыв. Справа все время короткими очередями, экономя патроны, стрелял пожилой пехотинец. Потом сразу, один за другим,— несколько взрывов. Их заглушил близкий взрыв гранаты, над головой пронесло комья земли. Справа уже не стреляли. Богачев ладонью вбил новый диск, и тут шорох отвлек его. По траншее, озираясь, шел немец в белом маскхалате и коротких сапогах.

Богачев стал в тени за выступом. Незаметно вытер о штаны сразу вспотевшие длинные ладони: по привычке разведчика, он в первый момент хотел взять немца живьем. Но еще раньше кинулся к нему Ратнер. В тесноте траншеи, коротко перехватив автомат, он ударил немца по каске, ударил окованным прикладом в лицо, сбил на землю. Когда поднял автомат, близко увидел глаза немца. Они мгновенно раскрылись, в них — крик. Ратнер выстрелил.

И ни Богачев, ни Ратнер не видели, как в этот момент за поворотом траншеи, в том месте, где стоял

пожилой пехотинец, поднялась немецкая каска и скрылась тут же.

Граната с длинной деревянной рукояткой упала поблизости на землю. Она была новая, и деревянная рукоятка свежая, не захватанная пальцами. Ратнер отпихнул ее носком сапога. Граната ударилась о стенку траншеи и откатилась к нему обратно. Он ударил изо всей силы. Но спешил, попал по рукоятке. Граната юлой завертелась на месте. Оба смотрели на нее и глаз не могли оторвать, и жутко было нагнуться.

Длинная деревянная рукоятка, точно стрелка часов, обходила круг тише, тише, медленней. В последний момент Ратнер нагнулся, поймал ее и уже кинул, но граната взорвалась в воздухе перед его лицом. Он медленно сел, обтирая спиной стенку окопа, зажав ладонью глаза. Когда отнял руку, ладонь была вся в крови и лицо залито кровью. Ратнер оцупал землю, на которой сидел, оцупал перед собой стенку и по ней начал подниматься. С трудом вылез он из окопа, встал с лицом, залитым кровью, и, спотыкаясь, пошел навстречу зареву, навстречу бегущим немцам.

Богачев успел выстрелить в переднего немца, который уже подымал автомат, но тут на спину ему, так что хрустнул позвоночник, свалилось тело и придавило его. В тесноте окопа, хрипя и обдавая друг друга горячим дыханием, они боролись молча, с искаженными лицами. Немец заламывал Богачеву руки, пытался перевернуть лицом вниз, но мускулистый Богачев гнулся под ним, как стальная пружина, и, напрягшись, вырвался. Он ударил немца первым, что попало под руку: это был автоматный диск. Выхватив пистолет, выстрелил в него. Когда поднялся, немцы бежали на него со стороны луны и против света казались черпыми. Ратнера уже не было. Богачев успел выстрелить два раза и, понимая, что уже не остановит их, тоже вылез и с пистолетом пошел навстречу им. И тут красный огонь, внезапно вспыхнувший, ослепил его.

Когда Богачев очнулся, во рту была кровь и земля. Он не пошевелился, не застонал. Разведчик, он прежде всего прислушался. На всей высоте уже никто не стрелял. Где-то недалеко разговаривали. Голоса были немецкие и приближались. По траншее, повторяя все ее изгибы, двигались две глубокие немецкие каски. Они прошли так близко, что до Богачева допахнуло дым их сигарет.

Он переждал время и пошевелился — ноги прожгла боль. Но он пересилил боль и пополз среди убитых немцев, оставшихся лежать по всему скату высоты. Он полз на руках, волоча раненые ноги. Пальцы его натыкались на вывернутую взрывами рыхлую землю, на края свежих воронок. Видимо, одним из этих снарядов он был оглушен и ранен.

Богачев полз тем же путем, каким уползали отсюда связные. Взлетала ракета, он замирал, прижимаясь щекой к земле. Лицо его все было мокро от пота и растаявшего снега.

При свете одной из ракет Богачев увидел впереди себя подошвы сапог убитого немца. Под каблуками и между шпиров намерз снег. Он подполз ближе. Немец лежал, поджав одно колено к животу, словно все еще полз, но открытый глаз его был белый, заиндевевший, и мокрые ресницы смерзлись.

Богачев взял у убитого автомат, снял с пояса гранаты и с оружием почувствовал себя уверенней.

В овражке он наткнулся на своего связного. Этот уже возвращался, когда пуля догнала его. Укрыв голову полкой его шипели, Богачев закурил. Нужно было сообразить, как действовать дальше. Он один живым ушел с высоты, но в памяти его были живы и старик пехотинец, осторожно откусывавший сухарь, и парень с крепкой, заросшей белыми волосами шеей, нагнувшийся к нему прикурить, и те двое, что выкидывали из траншеи труп немца. Стоило закрыть глаза, и он видел Ратнера, слепого, с залитым кровью лицом, идущего навстречу зареву и немцам.

Богачев курил и изредка выглядывал наружу. Он решил ползти на батарейный НП. Он догадывался, что наших там уже нет, и все-таки оставалась надежда: а вдруг Беличенко там еще?

У подножия высоты он долго высматривал часового. Он определил его по слабому свечению, возникавшему временами над бруствером: забравшись в окоп, часовой тайно грелся табаком. Каска часового, смутно освещавшаяся от папиросы, была немецкая.

Богачев подполз с другой стороны и долго и трудно взбирался наверх, отдыхая в воронках. Вот насыпь наконец, глухие голоса под землей. Ветром донесло дым из трубы. От него пахло кофе. В той самой землянке, где вчера они обмывали орден, сидели теперь немцы, и Богачев слышал их смех.

Дверь землянки раскрылась, полоса света встала по стене траншеи, переломилась на бруствере. Высокий немец в шинели внапашку вышел покачиваясь. Он что-то сказал часовому со строгостью пьяного, кивнул на далекое зарево и стал нетвердо вылезать наружу, часовой услужливо подсаживал его.

Вылез, поймал на плече соскользнувшую шинель и стал спиной к ветру. С земли хорошо был виден его силуэт на озаренном небе: высокий, темный, в развевавшейся шинели, он покачивался, расставив ноги. А может быть, это только в глазах Богачева качалось все? Оттого что он полз, остановившаяся было кровь опять пошла из ран; он чувствовал, как она течет, и голова у него была слабая, и все плыло в глазах. Он прижал лоб к снегу. Земля притягивала. Это испугало Богачева. Ему стало страшно, что он потеряет сознание и немцы найдут его здесь.

Высокий немец все еще стоял, делая свое дело, ради которого из тепла вышел на мороз. Наконец он подхватил полы шинели, слез в окоп, и дверь землянки захлопнулась. Богачев ближе подполз к трубе, жмурясь от дыма. Он не очень сейчас доверял себе и потому несколько раз пальцами проверил, как вставлены запалы. Потом одну за другой кинул в трубу гранаты и, прижав автомат к себе, покатился вниз.

Два подземных взрыва потрясли высоту, искры взвились над ней. Поднялась суматошная стрельба, немцы выскочили из другой землянки, несколько солдат, стреляя, пробежали мимо Богачева. Его бы нашли, если бы он не лежал так близко; они же все бежали догонять.

Переждав, он осторожно пополз, ориентируясь по выстрелам и ракетам. В нем сейчас обострились все чувства, только в ушах стоял усиливающийся комариный звон: он потерял много крови. Кровь все текла в сапоги, но жизнь по-прежнему цепко держалась в его жилистом теле.

Перед утром Богачев руками задушил придремавшего немецкого часового и взял его документы: он верил, что выберется к своим. А когда отполз порядочно, вспомнил вдруг, что оставил там автомат.

Богачев вернулся за автоматом, долго искал его на снегу немевшими пальцами. Он уже плохо соображал, и сознание все время ускользало. Один раз, очнувшись, он увидел, что луна светит ему в глаза. Он повернулся и пополз в другую сторону, а когда вновь пришел в себя, лу-

на все так же светила в глаза ему. Только она уже склонилась низко и была большая, желтая, потом начала раздваиваться, две луны закачались и поплыли от него в разные стороны.

ГЛАВА VI

СТАРШИНА ПОНОМАРЕВ

Старшина Пономарев сидел на земляном полу под каменным сводом и думал. Ему только и осталось теперь думать. В который раз вспоминал он, как шли они с Долговушиным, как немцы подпускали их, решив, видимо, что сдаваться идут, как Долговушин еще закурил на ветру, оборотясь к немцам спиной, и как потом по ним ударили из пулемета. Задним числом приходили теперь правильные решения. Если б знать в тот момент — кинуть гранату и прыгать за ней следом в окоп. И ничего бы немцы в тесноте со своим пулеметом не сделали. Здесь так: кто первый спохватился, тот и силен. Он спохватился, да поздно. И каждый раз, доходя в мыслях до этого места, Пономарев стонал и раскачивался на полу — слишком все еще было горячо, слишком свежо.

Месяца два назад, в самый разгар нашего наступления, произошел в бригаде случай, о котором после долго и много говорили. Еще только уточнялся передний край, и вот тут-то начальник связи полка майор КокOLEв, большой любитель быстрой езды, разогнавшись на мотоцикле по грейдеру, проскочил к немцам. Ему махали из окопов, кричали, но за ветром и треском мотора не было слышно. Он тоже махал пехотинцам рукой в кожаной перчатке, кричал что-то радостное, сожмурясь от встречного ветра, блестя влажными зубами. Вот такой, счастливый, он и промчался навстречу своей смерти. После пехота видела, как к нему кинулись немцы свистать планшетку, а на грейдере лежал отлетевший в сторону мотоцикл, и колеса его бешено крутились.

Майора жалели: он был веселый, смелый человек. А Пономарев еще подумал тогда: «Все от лихости от этой, от молодой глупости. Тут война, а ему на мотоцикле кататься забава...» Уж в чем, в чем, но в лихости старшину никак нельзя было заподозрить. Скорее в приверженности к порядку. А вот еще хуже начальника связи — пешком зашел к немцам! В самом конце войны!

В подвале нахля гнилым деревом и от порожних бочек — вином; его хранили здесь прежде. Все же под землей было теплей, чем снаружи, но от сырости и каменных стен зябко, и Пономарева пронизало насквозь. Он не знал толком, ночь ли сейчас, день. С тех пор как над ним хлопнулась крышка погреба, темнота стояла одинаковая, а часы с него, как водится, сняли. Их снял рослый, раскормленный немец и, прежде чем забрать, деловито осмотрел на ладони. Часы были не новые, кое-где из-под стершегося никеля желтела медь, но шли они хорошо и долго могли бы еще служить, как все вещи, принадлежавшие Пономареву. Немец остался недоволен часами, но все же взял, уверенный, что пленному они больше не понадобятся.

Забрали все, что можно было забрать. Только партбилет не нашли, потому, быть может, что искали вещи. Под высоким простроченным поясом брюк с внутренней стороны был у Пономарева потайной кармашек.

Обрывая ногти, Пономарев здоровой рукой вырыл в земле ямку. Неглубокую: немцы искать не станут, а жителям легче будет найти. Он положил на дно партбилет, засыпал землей, старательно притоптал сапогом. Может, со временем попадетя людям на глаза, хоть что-то узнают о нем...

Он нарочно отошел в другой угол погреба, там сел на землю и начал ждать.

Пока он работал нагнувшись, кровь прилила к голове, и теперь раны сильно болели. Он ощупал за ухом толстый запекшийся рубец, где пуля снесла кожу, потом осторожно потрогал переносицу. Под пальцами захрустело, боль обожгла глаза. Пономарев долго сидел не шевелясь, отдыхая от боли.

Сверху вдруг смолкли шаги часового, зашуршало, посыпалось, потянуло холодом — это подняли крышку. Там была такая же темь. Наверху топали. Слышны были голоса, недовольные, с позевом. Заступал на пост новый часовой.

Весь внутренне напрягшись, Пономарев каждую минуту ждал насилий, надругательств и готовился к ним. Но все было буднично в эти последние его часы. И часовые передавали его друг другу, как имущество: один сменялся, другой, злой спросонья, заступал на пост и проверял, все ли на месте.

Ня одна ночь за всю жизнь Пономарева не была такой долгой, как эта. О многом успел передумать он, со многим простился. Почему-то память выбирала из прошлого одно хорошее, и Пономарев с удивлением открывал, как богата была его жизнь многими радостями. Или, может быть, на краю пути другой меркой меряется пройденное?

То он думал о доме, о семье, которой теперь уже не хозяин и не советчик, то вдруг с беспокойством вспоминал, что недополучил на батарею табак и сахар и каптер не знает об этом, а писарь ПФС Тупиков, жук не из последних, обязательно утаит теперь. Раны не беспокоили его, он знал, скоро боли не станет, и ему жаль было расставаться с ней.

Перед утром Пономарев задремал. Но и во сне тревожили его заботы, все то, что не успел он переделать в жизни. Потом неожиданно пришел к нему светлый сон о далеком счастливом времени, когда он, молодой еще, служил срочную службу.

Приснился летний синий день, белые палатки опустевшего лагеря, с одной стороны освещенные солнцем, мокрый песок линейки под ногами, два ряда побеленных, торчащих уголками из земли кирпичей, трубач, при виде старшины замерший с приставленной к колену трубой, в никелевом раструбе которой уместился весь сияющий мир. А по линейке, отражая солнце каждой пуговицей, идет лейтенант Демиденко, веселый, насмешливый, тот самый, что в сорок первом году, уже капитаном, был убит под Хомутовкой, когда прорывались из окружения. И старшина не понимал, как же это, и, радуясь, хотел крикнуть, и не было голоса. А Демиденко уже подходит, улыбаясь, по-строевому неся ладонь у виска, прежде чем подать ее...

Пономарев проснулся с легким сердцем. И тут же зажмурился: вместо солнца ему светили в глаза фонариком.

Весь еще под впечатлением сна, он в первый момент ничего не мог сообразить. А когда вспомнил, что-то большое, тревожное шевельнулось в нем и прежняя тяжесть легла на душу.

Его вывели наверх, помятого от сна, в помятой, отсыревшей, пахнувшей погребом шинели. Несколько немецких солдат без дела толпились у входа. Тут же ждал и тот рослый немец, что снял с Пономарева часы. Он был такой раскормленный, что складку шинели распирало сзади, а каска казалась ему мала. Увидев пленного, он сразу же

направился к нему, расталкивая остальных: еще что-то забыл на нем. Он взял Пономарева за плечи, повернул, внимательно оглядел сверху донизу.

Он делал это спокойно, привычно. С особенным интересом осмотрел сапоги — и головки и задники — и когда убедился, что они вполне хорошие, в обращении его с пленным появилась бережность. Пономарев понял, сапоги с него снимет он же.

Пономарева повели серединой улицы. Было позднее утро, и на солнечной стороне капало и от крыш валил пар. Белые оштукатуренные дома, красные черепичные крыши — все это имело на солнце вид праздничный.

За деревней просторно синели пологие холмы, на них виноградники, засыпанные сейчас снегом. А выше по гребню сторожами стояли тополя. В легком, пахнущем уже весной воздухе они тоже казались легкими и далекими.

Пономарев щурясь смотрел на эти далекие холмы, и к тому, что видел он и чувствовал, примешивалась горечь расставания с этим сияющим миром.

На пригретом, дымящемся крыльце сидели на порожках два немца. Один чинил мотоциклетное колесо, пальцы его были в машинном масле. Другой, повесив на перила мундир, сидел в фуражке и майке, подставив солнцу белые плечи. Он играл на губной гармошке что-то жалобное. Еще один немец, надвинув от солнца козырек на глаза, выкалывал в смерзшемся снегу канавку, отводи воду от крыльца; сверкающие осколки льда искрами взлетали вверх из-под его лопаты. Четвертый, скинув шинель на снег, колот дрова и радостно вскрикивал, когда полено разлеталось. Пахло вокруг свежим осинным деревом.

Увидев конвой и пленного, он бросил колоть дрова, разогнулся с блестящим топором в руке, вытер ладонью потный лоб и что-то сказал остальным, весело кивнув на Пономарева. Все засмеялись, а немец с губной гармошкой, прикрыв глаза, заиграл еще жалобнее, еще мечтательнее.

Для Пономарева в эти часы все имело свой печальный, прощальный смысл. Он увидел разлетающиеся поленья, почувствовал запах свежих дров и вспомнил, как в последний день дома он колот у себя во дворе дрова. Жалея его, жена отговаривала: «Что уж, Вася, на всю войну не наколешь. Видно, самим нам придется как-либо, не безрукие, чать». Это было правильно: на всю войну дров не наколешь. Но ему хотелось, уходя, оставить дом в порядке, чтобы вся мужская работа в последний раз была сде-

лана его руками. И он все колот, не налегая и не торопясь, потому что успеть нужно было много. Часам к одиннадцати жена вышла звать завтракать. Он сказал: «Сейчас», — и посмотрел вслед ей. И в этот момент совершенно просто представил и увидел с неожиданной ясностью, как, если он не вернется с войны, жена будет вспоминать и этот день, и то, как он напоследок вот здесь колот дрова. Он вонзил топор, сел на чурбашек и закурил. И курил долго. Он думал спокойно, потому что был уже не молод и это была вторая война в его жизни: сначала финская, теперь эта. Он знал, как и что на войне бывает.

Вот и сбылось то, о чем подумал он тем утром. В какой-то из недалеких теперь уже дней другими глазами оглядит жена стены дома, и пустыми покажутся они ей. Пока Пономарев был жив, он старался оберегать жену от тяжелой работы. Но в том, что происходило сейчас, не его воля.

Посреди улицы, на подтаявшей дороге, воробьи расклеивали навоз. Они поднялись из-под ног, когда провели Пономарева, и вновь слетелись, словно замкнув за ним круг.

Жителей в деревне не было видно. Несколько денщиков со своим рыскающим выражением попались навстречу. Каждый из них спешил.

Внезапно что-то стремительное со свистом пронеслось над головами, и тень самолета скакнула через крыши. Все, кто был на улице, пригибаясь, сыпанули к домам. Из-за крыш с громом взлетело облако дыма. Еще один такой же столб земли и дыма встал на огородах. Через улицу вскачь пронеслись кони со светлыми гривами, волоча по земле опрокинутую кухню без колеса. За ними, лоя руками воздух, бежали два солдата.

Когда уже все улеглось, на середину дороги выскочил немец и, задрвав автомат, дал в небо длинную очередь.

Все произошло так мгновенно, что в первый момент никто не успел ничего сообразить. И только конвойные вцепились в Пономарева и прочно держали его. Он тяжело дышал, с тоской озирался. Его затащили под навес. Из домов выскакивали немцы, застегиваясь на ходу, задирали вверх головы. В солнечном небе выли моторы, воздушный бой клубком перекатывался, видный то с одной, то с другой стороны улицы, пулеметные очереди звучали глухо.

С замершим сердцем, один среди немцев, Пономарев с земли смотрел за боем, и горькое торжество росло в нем. Вдруг на противоположной стороне закричали, замахали руками, и сейчас же из-за домов, теряя высоту, вырвался самолет и пропал за крышами, повесив над улицей поперек черный хвост дыма; тень его быстро ползла вдоль деревни, гася стекла в домах.

Пономарев не успел рассмотреть, чей самолет сбит; его сильно ударили между лопаток рукоятью автомата, и он сообразил: сбили немца. И удар уже не показался ему ни большим, ни обидным.

За селом, клубясь, беззвучно взлетело освещенное снизу облако, и, прежде чем донесся взрыв, завывая сиреной, пронеслась мимо санитарная машина. По ее четко отпечатавшимся колеям Пономарева погнали дальше. Толпа немцев, забегая с боков, тесня часовых, галдя и что-то выкрикивая, сопровождала их. «Конец!» — подумал Пономарев, когда впереди у большого дома с высоким крыльцом и множеством сходящихся к нему проводов увидел другую толпу, ждавшую молча и угрожающе. Он смерил глазами расстояние до них, и на душе у него стало строго. И чем ближе подходил он, тем сильнее поднималось в нем злое упорство.

Над головами толпы, блеснув солнцем, раскрылось в доме окошко. Какой-то чин, поставив локти на подоконник, деловито вправляя сигарету в мундштук, ждал. И вдруг Пономарев понял: это же писаря. Они и подступали к нему с той воинственностью, какая всякий раз появляется у писарей при виде хорошо охраняемого пленного. И страх в нем сменило великое презрение.

Стеречь Пономарева остался второй конвойный, мальчишка с тонкой шеей. Он дикими глазами глядел на пленного и держал наставленным автомат, готовый чуть что стрелять. Первый, придерживая левой рукой шинельный карман и отставляя зад, затопал по лестнице докладывать.

Поверх голов и крыш Пономарев жадно смотрел на край зимнего неба. Там беззвучно взмахивали белые дымки зенитных разрывов. Он все ждал, что вот сейчас земля донесет глухое слитное дрожание дальней бомбежки. Но было тихо, и только в конце деревни по-мирному урчал экскаватор, насыпая на белом снегу рыжий отвал глины.

Вскоре с крыльца сбежал конвойный. Он поспешно оглядел пленного, как бы удостовераясь, что тот не под-

ведет его перед начальством, одернул на нем шинель. Торотясь и подталкивая в спину, он погнал Пономарева в дом. В темных сенях по привычке, воспитанной всей жизнью, Пономарев машинально и старательно вытер ноги, прежде чем ступить через порог. Что ждало его за этим порогом?

В пустовой казенного вида комнате несколько немцев, сидя за столами, ощупали его взглядами. Кого-то, видно, ждали. Чтобы не смотреть на немцев и не волноваться, Пономарев смотрел в окно. К распахнутым широким складским дверям напротив подъехал грузовик. С него прыгнули солдаты и по двое стали таскать в кузов длинные бумажные мешки с болтавшимися на веревках бирками.

Они брали их из высокого штабеля, видневшегося в полутьме открытых дверей. Когда наконец дошли до пола и, отворачивая лица, вынесли на свет нижний, побуревший и подмокший, он вдруг прорвался и из него вылезла белая человеческая нога.

«Вот оно что, оказывается!» — поразился Пономарев, осененный догадкой. Теперь он понял, зачем экскаватор роет ров на краю деревни.

Сколько раз слышал он, как наши бойцы недоумевали: бьет, бьет наша артиллерия, а возьмут немецкие окопы, и там всего несколько убитых валяется. А они воп штабелями лежат, хоронить их не успевают.

«Нашим надо рассказать!» — вспыхнула в нем мысль. Он осторожно обернулся и увидел, как за столами все поднялись, точно на них холодным ветром подуло.

От дверей шел немец, старый, по-строевому прямой, в высоких подтянутых галифе, с мертвым взглядом и тонким властным ртом. Он оглядел пленного в грязной, отсыревшей шинели, избитого, с раздавленной переносицей, презрительно глянул на лужу воды, натаявшую от его сапог, и под быстрое бормотание переводчика заговорил в упор резким командным голосом: каждое слово — приказ. Пономарев оробел вдруг. Но в тот же момент разозлился.

— Ты не шуми! — У него дрожали побледневшие губы, а говорил он тихо, почти шепотом, чувствуя в висках толчки своего сердца. И зачем-то пытался застегнуть шинель, не попадая в петли, царапая крючками по сукну. — Не шуми!.. Ты на них кричи, им приказывай, а мне ты не начальник.

К Пономареву кинулись штабные, конвойный рванул его за раненую руку. Бледный Пономарев больше не сказал ни слова; он упорно смотрел в окно и не отвечал на вопросы. Когда его вывели, в нем еще все дрожало. Толкавшиеся во дворе без дела солдаты сразу же обступили его. Пономарев глядел мимо них. Он так их презирал, так ненавидел всех вместе, что они не могли заинтересовать его.

Спустя некоторое время сбежал с крыльца кто-то из штабных, крикнул, махнул рукой конвойному. Пономарев повели.

Он шел один среди чужих шинелей, чужих, ненавистных лиц. И только один раз сердце его дрогнуло и смягчилось. Он увидел выглядывавшего из-за дома венгерского мальчика. Ему было лет шесть, но это был мальчик военного времени, он понимал, куда ведут русского солдата, и смотрел на него с ужасом. Пономарев встретил его напуганный, по-детски чистый взгляд, вспомнил своих детей, и что-то больно в груди сжалось, и глазам стало горячо. Пройдя немного, он обернулся, хотел еще раз посмотреть на ребенка, но на том месте уже стоял немецкий солдат с автоматом на груди. Задрав подбородок с натянувшимся ремнем каски, расставив ноги в коротких сапогах, он глядел на крышу.

Когда уже вышли за огороды, их внезапно окликнули. К ним спешил интеллигентного вида немец в очках, с маленьким сморщенным лицом. Он издали махал худой рукой, приказывая остановиться. Остановились. Он подбежал и, запыхавшись, двигая бровями, стал говорить конвойному что-то. Тот мрачно слушал, глядел под ноги. И у Пономарева шевельнулась надежда. Она все время жила в нем, как уголек под пеплом.

Интеллигентного вида немец в это время разумно говорил:

— Это хорошая меховая вещь. Вы что, хотите испачкать ее в крови? Надо иметь голову...

Рослый конвойный подошел к Пономареву сзади и, налегая, стянул с него шинель. Он наступил на нее; расстегнув, снял с пленного офицерский меховой жилет — Пономарев охнул, когда вывернули раненую руку. Уже по одному тому, как немец в очках взял, развернул и осмотрел, видно было, что он знает толк в вещах и умеет беречь их.

Обратно в деревню он шел не торопясь, рассматривая на руке перекинутый мех. Пономарев видел это, и вспыхнувшая надежда погасла.

Его вели теперь в одной гимнастерке, растревоженная рана в плече зябла. Впереди, за крайними огородами, стояли, отступя друг от друга, две сосны. Миновали первую, и Пономарев понял, что дальше второй его не поведут.

И в тот момент, когда он подумал об этом, он не услышал за собой шагов. Обернулся. Рослый конвойный, как хомут, стягивал через голову автомат, цепляя ремнем за каску. Тогда Пономарев проворно сел и начал разуваться, упираясь носком в задник. Он не хотел, чтобы после с него стягивали сапоги, волочили спиной по снегу. Конвойные оторопело стояли рядом: стрелять в сидячего было как-то непривычно. Пономарев стряхнул с ног портянки, здоровой рукой взял сапоги за голенища, сжал их и, размахнувшись, далеко швырнул:

— Раздеритесь из-за них!..

Рослый немец испуганно проследил, куда упали сапоги, и, словно боясь, что они убегут, поспешно вскинул автомат. Но еще быстрее Пономарев глянул вверх. На сосне сидела ворона. Она вдруг сорвалась с ветки, осыпав снег: сосна закачалась, накренилась, стала валиться, и Пономарев ударился лицом в холодное и жесткое.

ГЛАВА VII

ОТСТУПЛЕНИЕ

Дом был покинут спешно, и страшный беспорядок остался в пустых, гулких комнатах. На полу валялась стоптанная обувь, нотные листы, мука была просыпана, и по ней отпечатались следы сапог. Ваня Горошко поднял один лист. На обороте его был изображен нежный мужчина с волосами женщины и в кружевах — очень странный мужчина по теперешнему, военному, времени. «Моцарт», — разобрал Ваня. Про Моцарта он слышал. Он огляделся и положил нотный лист на подоконник. Потом дулом автомата поддел вывалившийся из шкафа рукав женского пальто, вкинул внутрь и закрыл шкаф.

Он шел по дому, маленький солдат в больших сапогах, в короткой подпоясанной пехотинской шинели, в ушанке, придавившей оттопыренное ухо. Его еще три года

назад война выгнала из дому. В то время здесь был мир, и люди что-то покупали, и радовались, и слушали музыку.

Горошко забыл уж, как это в целом, неразбомбленном магазине покупают что-либо. Все эти годы он и наступал, и отступал, и шел, и полз, и лежал под огнем в грязи. Три года! А сколько километров! Иной пройти трудней, чем жизнь прожить.

В одной из комнат на обеденном столе посуда была сдвинута на край. Из нее последний раз ели еще хозяева.

А на другом краю стола, расчистив место, уже не спеша закусывали солдаты. Два хозяйских стакана пустые стоят друг против друга, луковичная шелуха, колбасные ссохшиеся шкурки, хлеб. На клеенке от ножа остались длинные порезы.

Ваня прошел в кухню. Газовая плита, блестящая эмалью и никелем, штук пять различных никелевых крапов над раковиной, по стенам — белые шкафы, шкафчики, полочки. И на них целые семейства фаянсовых бочонков от мала до велика, фаянсовые корзиночки, баночки, ящики. Черными крупными буквами надписи. Не кухня, химическая лаборатория. Ваня имел отношение к кухонному делу и названия продуктов научился разбирать на любом языке. «Культурно», — подумал он. В артиллерии любили это слово и употребляли часто. Если офицер хорошо стрелял, про него говорили: «Культурно стреляет», — и тем подчеркивалась разница между пехотой и артиллерией. Это в пехоте из винтовки можно хорошо стрелять, в артиллерии стреляют культурно или грамотно.

Горошко поставил к плите автомат, открыл кухонный шкаф. Поднявшись на носки, достал с полки банку компота. За толстым стеклом качались в соку целые желтые ягоды. Крышка тоже была стеклянная, толстая. Ваня попробовал отнять ее пальцами — не поддалась. Под крышкой была проложена красная резинка с язычком. Для чего-нибудь этот язычок предназначался, раз он существует. Горошко потянул за него. Банка чмокнула, всосала воздух, и крышка отлипла.

— Толково, — сказал Горошко, несколько удивленный. Он отпил компота и еще раз, уже со знанием дела, подтвердил: — Толково.

Закончив с этой, он поискал еще одну банку, уже вишневого.

Во дворе Беличенко чертил разведсхему. Он сидел на бревнах, кожаная планшетка лежала у него на колене, он

поглядывал в сторону немцев и ставил на бумаге красные и синие значки.

— Вот выпейте,— сказал Горошко, подойдя.

— Откуда это?

По мнению Горошко, такой вопрос задавать не следовало, и он только спросил:

— С хлебом будете или так?

— Так.

Комбат отхлебнул. Покачал головой, взглянул на Ваню повеселевшими глазами и снова отхлебнул: он любил вишневый компот.

— Отнеси Тоне. Она вишневый компот любит.

— Пейте уж,— сказал Ваня хмуро.— В дивизион вызвали Тоню. Там кто-то на мину наступил, а она же взрывается.

Комбат с интересом посмотрел на него: чем-чем, а юмором Горошко баловал его не часто. Потом опять взялся чертить, держа банку в левой руке и сплевывая косточки в снег.

Солнце светило по-весеннему, у дома на припеке вытаивала из-под снега земля, и капли с крыш уже продолбили в ней дорожку. Каждая лужа, каждая льдинка отражала солнце, и такая кругом была мирная тишина, что казалось, немецкое наступление кончилось.

— Опять в оборону становимся? — спросил Горошко.

Беличенко выплюнул последние косточки, отдал ему банку.

— Опять как будто.

Тогда Горошко уже с хозяйским интересом глянул в сторону коровника. Из его растворенных настезь, темных со света дверей высывалась рыжая морда теленка с белыми ноздрями. Если бы теленок был постарше и поопытней, он бы знал, что показываться теперь людям как раз не следует, а надо ему тихонько переждать это время, пока кругом войска и кухни. Но теленок ничего этого не понимал. Увидев человека, идущего к нему, замычал, потянулся навстречу.

— Ладно, ладно,— говорил Горошко, толкая его в лоб ладонью. Он закрыл за ним двери, припер их колом, чтобы до времени теленок не бросился в глаза кому-либо. Если они становятся в оборону, комбата чем-то кормить надо.

Когда он вернулся, Беличенко, нарисовав синим карандашом легкое немецкое орудие, смотрел на него изда-

ли и щурил глаза: хорошо ли? В армии любят красиво оформленную документацию. Чем красочней начерчена схема, чем лучше оформлен документ, тем больше доверия к нему, и высокому начальству приятно ставить под ним свою подпись. В штабе дивизии, например, держали одного писаря исключительно за то, что он лучше других умел «заделывать» подпись. Под документом слева полностью пишется должность, звание, справа — фамилия в скобках, а посредине оставляют место — это и называется «заделать» подпись. Так вот писарь не только должность, звание и фамилию писал чертежным шрифтом, но еще совершенно по-особенному украшал скобки четырьмя точками. И сколько ни грозилась перевести его в катушечные телефонисты, под конец все равно оставляли: никто лучше него не умел «заделывать» подпись командира дивизии.

— Теперь замучают бумажками,— сказал Горошко, наблюдая из-за плеча комбата.— Опять все сначала пойдет.— И усмехнулся презрительно. Разведчик, он ценил свободу. Пока фронт движется, разведчик не на глазах у начальства, сам себе хозяин. Но стоит занять прочную оборону, как сразу начинаются поверки, тренировки, учеба, учеба. Этого Горошко терпеть не мог.

Позади них с рычанием, взвихрив снежную пыль, вышел на дорогу белый танк и остановился. Откинулась крышка люка, показалась голова в шлеме.

— Вот они, эти танкисты,— сказал Горошко, словно продолжал начатый разговор.

— Какие танкисты?

— А которые около нашего энка стояли.

Когда Беличенко обернулся, на броне танка, опершись локтями и спиной о ствол пушки, стоял танкист в черных от машинного масла валенках. Кусая сухую колбасу от целого круга, он весело щурился на зимнем солнце. Шлем свой он повесил на пушку завязками книзу, будто дела все сделаны и уже войны нет никакой. Лицо его показалось Беличенко знакомым. Защелкнув планшетку, он встал, пошел к танку.

— А-а, комбат! — приветствовал его танкист, дружески улыбаясь, и сверху подал крепкую ладонь.— Колбасы хочешь? Отломлю, колбаса есть. И спирт есть.

Он подмигнул. На воздухе от него пахло спиртом.

— А я тебя увидел, дай, думаю, спрошу: лейтенант тот жив? — Беличенко показал на щеку.

Танкист стянул с пушки шлем, звучно хлопнул им по ладони.

— Убило! Да ведь как глупо убило. Самоходки ихние перед вами стояли? Ну, значит, видел, как его подожгли? Но он из самоходки выскочил. Он же шестой раз по счету горел, опыт имелся. Приходит к нам — мы за высотой в резерве стояли, — смеется: «Дайте огоньку, прикурить не успел». Потом вспомнил: приемник у него там в окопе остался трофейный, немецкий. Хороший, говорит, приемник. «На черта, говорю, тебе он сдался?» — «Нет, говорит, пойду». И вижу, не решается. Как будто чувствовал. Да, видно, заело уже. Пошел. И надо же так, от снаряда уцелел, а пулей, когда возвращался, убило.

И танкист опять хлопнул себя шлемом по ладони, и светлый чуб на лбу его подпрыгнул.

— Убило, значит, — сказал Беличенко.

Почему-то случай этот его не удивил. И дело тут не в приемнике. Слишком уж мрачен был лейтенант в тот вечер и говорил все о каком-то друге, которого башней пополам перерезало, не стесняясь говорил, что стал бояться ходить в атаку под броней. Беличенко не был суеверен, но он уже не раз замечал: как только у опытного, нетрусливого человека появится вот такое настроение, его непременно либо убьет в бою, либо ранит.

В сущности, он думал сейчас не о лейтенанте, которого почти не знал, а так, о войне вообще, у которой и нет никаких законов и в то же время есть. Как знать, может, еще и вернется Богачев. Он ведь не раз бывал в трудных положениях и выходил из них. Но в душе Беличенко уже не надеялся.

Когда пришел приказ отойти с наблюдательного пункта, высота, на которой сидел Богачев, была отрезана. Трех связных посылал к нему Беличенко. Вернулся один: не дойдя.

Ночью он слышал стрельбу в той стороне. Но чем он мог помочь? Он не был виноват ни в чем и все же знал: никогда не избавиться ему от чувства вины перед Богачевым. Он послал его отбить высоту. И Богачев отбил и держал ее, ожидая приказа. Приказ этот Беличенко не смог ему передать.

Не смог, не его вина, но он был жив, он отошел, а Богачев остался там.

— Ну, будь жив, старшина!

Беличенко хотел идти, но дорогу перегородил оркестр. Сидя на сваленных трубах, горячо сверкавших на солнце, оркестранты промчались в двух бричках, нахлестывая копей. Вид у них был помятый, но веселый. В задке последней брички, свесив ноги, сидел худой бас, через грудь опоясанный трубой. На кочках сапоги его подскакивали носками вверх, и широкая труба, как барабан, бухала: «Пума, пума, пума!»

Старшина подмигнул им вслед: «Воют!» — и захохотал.

Навстречу оркестру негусто потекла пехота. С тощими вещмешками на горбу, с котелками, с торчащими вверх дулами винтовок, почти все без касок, солдаты на ходу жевали. Так уж устроен солдат: чуть подальше отошел от смерти и — жив, снова есть хочет.

Обходя танк, пехотинцы оглядывали его. Один из них, крепкий молодой парень в сдвинутой на ухо шапке, постучал по броне прикладом и что-то сказал, насмешливо кивнув на пушку, смотревшую в тыл. Вокруг засмеялись.

— Пехота,— сказал танкист с высоты танка и откусил колбасы. Он стоял, одним локтем опершись о пушку, выпятив грудь, величественный, как памятник бронетанковым войскам.

— А между прочим, ты зря на видное место выперся,— сказал Беличенко, сочувственной улыбкой провожая пехотинца.

— У немца перерыв. Немец по часам воет.

— Ну-ну...

Вот в это время все — и танкист, и пехота, сразу отхлынувшая от танка, и сам он — услышали, как за передовой бухнул оружейный выстрел. Еще прежде чем обрвался свист снаряда, над одним из тракторов, стоявших в кукурузе за скатом, блеснуло коротко, и люди кинулись от него по снегу в разные стороны и попадали. Над трактором беззвучно вспыхнуло пламя, снег вокруг него загорелся, и донесло наконец взрыв. А люди вскочили и побежали еще резвей.

— Вот сволочь! — сказал танкист, словно радуясь удачному попаданию, но тут же посерьезнел и стал натягивать шлем. — Вчера мы тоже сараюшку пристреливали. Со второго снаряда как пыхнет вдруг, дым черный к небу потек. Что такое? А там, оказывается, за сараем немецкий танк прятался. Так нам после благодарность

превозносили за точную стрельбу. Гляди, комбат, твоя кухарка бежит.

По целине бежал Горошко с автоматом, махал издали и кричал:

— Товарищ комбат! Нам приказ сняться на новые огневые!

День был все такой же сияющий, на солнце нестерпимо горели снега. Но после этого выстрела все словно вспомнили, что война не кончена.

На батарее пушки стояли в походном положении, тракторы работали; на одном из них дрожала непрочно укрепленная труба. К Беличенко подбежал взволнованный Назаров. Оказывается, его за комбата вызывали к командиру дивизиона, там был командир полка, и в присутствии командира полка ему давали задание. Он рассказывал и заново волновался, и глаза у него были круглые. «Симпатичный парнишка», — подумал Беличенко, перенося на свою карту район новых огневых позиций. Он хорошо знал это состояние молодых, только что выпущенных лейтенантов, когда каждая встреча с начальством волнует необычайно и всякое сказанное там слово кажется особенно значительным, когда нечетко отданное приветствие может на весь день испортить настроение. С годами это проходит.

— Поведете первое орудие, — сказал Беличенко, но по привычке посмотрел не на Назарова, а на Бородина, стоявшего рядом.

Бородин кивнул.

Со стороны немцев приближался тяжелый гул бомбардировщиков. В овраг, где стояла батарея, упали их тени и выскочили из него. Потом из-за края показались самолеты. Все: и Бородин, и Назаров, и Беличенко, и бойцы, стоявшие у орудия с карабинами на плечах, и чумазы, как кочегары, трактористы, высунувшиеся из кабин, выжидательно проводили их глазами: сбросит или не сбросит? Бомбардировщики прошли низко, а выше них вились тонкие, как осы, «мессершмитты». Они шли в ту сторону, куда предстояло двигаться батарее.

Дождавшись, пока самолеты скрылись, Беличенко махнул переднему трактористу: «Давай!» Трактор тронулся, бойцы, придерживая карабины, двинулись за орудием двумя цепочками, стараясь ступать в утоптанную колею.

Из тыла донесся грохот бомбежки. Заглушив его, прошла новая волна бомбардировщиков. Беличенко выждал дистанцию и махнул второму трактористу. И второй расчет спеша двинулся за орудием.

Они шли навстречу бою, и тяжкий гул далекого артиллерийского обстрела тревогой отдавался в сердце каждого из них. И все же они спешили.

На дороге танка уже не было. И тракторы, стоявшие в кукурузе, сейчас ползали, подцепляя орудия. В тылу, за складкой снегов стеной подымался черный дым, и в этом дыму шныряли и кружились над ним самолеты.

Километрах в трех увидели следы бомбежки. На грязном снегу в кювете лежала убитая лошадь, перевернутая повозка с покалеченными трубами оркестра. Две другие лошади стояли на дороге. Одна была ранена осколками в хруп и в пах. Кровь блестящей змейкой текла по ее задней ноге, а из ноздрей при дыхании кровь вылетала мелкими брызгами и рассеивалась по снегу: он весь был красный под ее передними копытами. Лошадь дрожала крупной дрожью. Другая, здоровая, вытянув морду, горлом терлась о ее холку, о спину, грея своим теплом. Увидев проходивших людей, она заржала, влажные глаза ее смотрели на них. Солдаты молча шли мимо. И еще несколько раз видели они кровь, яркую на снегу.

Дальше была роща, обгоревшая, черная, срубленная осколками: ее-то и бомбили немцы. Снег в ней был до земли разворочен гусеницами танков. И вот на этом развороченном, закопченном снегу, среди всеобщего разрушения, стояла у дороги Тоня, маленькая издали. Она ждала подходившую батарею. Беличенко увидел ее, увидел раненых, сидевших у обочины на грязной земле в грязных шинелях и свежих бинтах, местами уже напитавшихся кровью, и пошел к ней.

— Ты как здесь? Ты все время была здесь? — спрашивал он и оглядывал ее шинель, ища чего-то.

— Саша, я не ранена, — поняв, что он ищет глазами, сказала Тоня и ласково дотронулась до его руки; кругом были люди. — Я узнала, что вас перебрасывают на южную окраину, и думала перехватить вас здесь. А тут так получилось...

Беличенко все еще не мог прийти в себя, и глаза у него были злые.

— Саша, надо раненых посадить на пушки. Им трудно идти.

Впереди, занимая всю дорогу, шли четверо раненых поздоровей. Но, увидев, что этих сажают на орудия, они тоже остановились и сели у обочины, поджидая батарею. Их подобрала.

Раненые сидели тихо, глядя вверх. Там на большой высоте кружилась над дорогой «рама» — двухфюзеляжный корректировщик «фокке-вульф». По нему били из зениток. Белые разрывы кучно вспыхивали в небе. Одно облачко возникло между фюзеляжами — так казалось с земли. «Рама» продолжала кружиться, высматривая и фотографируя. Сидевший на переднем орудии раненый с толстой от бинтов головой и заострившимся желтым носом закричал, грозя кулаком:

— Ее, стерву, и снаряд не берет!

Сощурился, Беличенко смотрел в ту сторону, откуда они шли. Сожженная роща, разбитые повозки на дороге и далеко позади костер на снегу, тонкая струя дыма, поднимающаяся к небу: это, подожженный снарядом, горел дом, во дворе которого утром Беличенко чертил разведсхему. Синели холмы по обе стороны низины, на холмах, среди высоких и узких, как кипарисы, деревьев, вставали фугасные разрывы, освещенные предвечерним солнцем. А с юга, куда двигалась сейчас батарея, слышался непрекращающийся грохот. Это от озера Балатон наступали немцы.

К ночи батарея вышла на южную окраину города. По шоссе, по бульжику, гусеницы тракторов скрежетали и лязгали, высекая искры. За ними катились тяжелые железные колеса пушек, обутые резиной. Справа и слева от шоссе — сады, в них домики дачного типа. Уцелевшие стекла слабо блестели. Ни души. Только взлетали ракеты, и небо как бы раздвигалось над домами, становясь выше. Было пусто кругом. И не ясно, где наши, где немцы.

Беличенко остановил батарею, с разведчиками двинулся вперед. Внезапно зацокали копыта, тени двух конных выскочили на шоссе.

— Третья батарея?

— Третья.

— Я тебя, комбат, в темноте по белой кубанке узнал. Чувствовалось по голосу, что говоривший улыбается. Он ловко соскочил на землю. Это был адъютант коман-

дира полка Арсентьев. На своих кривых сильных ногах он подошел к Беличенко, подал руку. Разведчик, сопровождавший его, остался сидеть в седле.

— Вам задание меняется. Ну-ка, освети карту.

Они с головами накрылись плащ-палаткой, и Арсентьев развернул карту на крыле седла.

— Вот здесь станете, за овражком. Видишь, сады обозначены? Слева у вас будут минометчики восьмидесяти двух. Одна батарея. У тебя горит? — Арсентьев зачмокал тугими губами. Под плащ-палаткой резко пахло конским потом. — Мы уже с полчаса ждем вас. Промерзли. Тут на перекрестке наш танк стоит. Подбитый. Как раз хотели подъехать посмотреть, слышим — вы едете. Значит, комбат, проведешь рекогносцировку местности.

Арсентьев со смаком произнес военное слово «рекогносцировка» и нетерпеливо переступил с ноги на ногу, подрагивая икрами. Он мысленно представлял, как бы сам провел ее, как с биноклем в руках ехал бы впереди батареи на коне, — это была его мечта: ехать на коне впереди.

— О готовности доложись в четыре ноль-ноль. Связь по рации непосредственно с командиром полка.

Тем временем батарейные разведчики обступили полкового. Как человек, знающий все тут, он с седла плетью указывал в темноту и что-то объяснял. Беличенко проследил глазами за его плетью и, пересбив Арсентьева на полуслове, спросил:

— Значит, танк этот вблизи ты не видел?

— Какой? Подбитый, что ли?

— Непонятно мне, откуда тут наш подбитый тапк взялся? — вслух раздумывал Беличенко.

Из-за облаков прорвался наконец лунный свет, булыжник на шоссе заблестел, и косо легли тени — самая длинная тень конного. На перекрестке тоже заблестели гусеницы и пушка танка. Внезапно мотор его зарычал, подбитый тапк попятился в тень, и оттуда сверкнула, рывкнула его пушка — снаряд разорвался на шоссе, осколки брызнули от булыжника. Всех как смело в кювет. Под полковым разведчиком лошадь взвилась и понесла его навстречу танку. Он все же овладел ею. Когда подъехал к остальным и соскочил с седла, нервно посмеивался.

— Мы его за своего считали, курили при нем...

Лейтенант Арсентьев сконфуженно разглядывал порванные в шагу штаны.

— Откуда она тут могла взяться, колючая проволока? Просто даже непонятно совсем.

Он еще и потому так детально разглядывал штаны, что ему стыдно было поднять глаза на Беличенко.

Как всегда в таких случаях, ни у кого не оказалось под рукой противотанковой гранаты. Хотели бежать на батарею, но танк, выпустив еще два снаряда, попятился и ушел.

— Вот тебе и рекогносцировка, — смеялся Беличенко. — И долго вы рядом с ним стояли?

Теперь смеялись все, громко и облегченно. Бойцы долго еще рассказывали друг другу, как кто прыгал через забор с колючей проволокой и как адъютант командира полка порвал штаны. Оттого что это были штаны адъютанта, рассказ получался особенно смешной.

В полночь в садах за овражком рыли орудийные окопы.

В городе взлетали немецкие ракеты и по временам вспыхивала автоматная стрельба. Где-то недалеко рокотали танки, чьи — никто хорошенько не знал, но на всякий случай курили потаясь. Потом прилетели наши ночные бомбардировщики. Невидимые, они покружились над садами в почном небе и, тоже ничего не разглядев, сбросили бомбы вблизи огневых позиций. С тем и улетели.

А в это время в одном из домов собрались офицеры подразделений, оборонявших южную окраину. Стекла на террасе были выбиты, и пол и плетеную мебель, оставшуюся здесь с лета, засыпал снег. Из пяти комнат уцелела одна, ее белая внутренняя дверь открывалась теперь прямо на улицу и сильно тянуло по ногам холодом из-под обрушенного порога.

В шинелях, в шапках, с сумками на боку, все согнулись над столом, где водил по карте коричневым от табака пальцем командир батальона капитан Гуркин, узкоплечий, чернявый, очень строгий с виду. Он объяснял обстановку и, подымая голову от карты, спрашивал командным голосом:

— Понятно?

Спрашивал тем строже, чем непонятней ему самому была обстановка.

С края стола сидел командир еще одной тяжелой батареи. В высокой черной папахе с бархатным красным верхом, положив ногу на ногу, он ловил на посок хромо-

вого сапога зайчик света от коптилки и поглядывал на двух лейтенантов.

Они сидели отдельно от всех на железной кровати, на сетке, конфузливо ели томатные рыбные консервы, поочередно опуская ложки в жестяную банку. Под взглядом командира батареи они всякий раз переставали есть. Один из них был артиллерист, другой — пехотинец, оба недавно выпущенные, присланные из резерва. Они, видимо, ехали сюда вместе, и продукты у них были общие, неделимые. Беличенко отчего-то приятно было на них смотреть, и он, слушая обстановку, нет-нет да и поглядывал в их сторону.

— Ну ладно, комбат, все это хорошо, конечно, а снаряды у тебя есть? — И Гуркин с хитрым лицом оглянулся вокруг, выжимая улыбки.

Того комбата Гуркин не спрашивал: тот был уже «свой».

— Немного есть,— сказал Беличенко, по опыту знавший, что запасов выдавать не следует.

— Полкозвы небось? — Гуркин подмигнул знающе и захохотал собственной остроте.

Боевой комплект батареи — шестьдесят снарядов — сокращенно называется «БК». Половина боевого комплекта — «полбэка». А на слух звучит как «полбыка». Вот в этом и состояла острота Гуркина.

— Я вас, артиллеристов, знаю,— он погрозил пальцем с фамильярностью старшего по должности.— Придадут в помощь, а стрелять им нечем.

Маленький Гуркин в этот момент чувствовал себя большим, владетельным хозяином, он даже позу принял. Беличенко знал привычки пехотных командиров: свою артиллерию они берегут, а приданной, какого бы она калибра ни была, стараются заткнуть все дыры — пока не отобрали, так хоть попользоваться, все равно не своя. Объяснять такому командиру, что тяжелыми пушками подавлять пулемет — все равно что по воробьям стрелять,— бессмысленно. На все объяснения он скажет: «Как так не можешь? Стреляй!»

И Беличенко только улыбался, как полагал Гуркин, его удачной остроте.

— Слушай, капитан, тебе лейтенанты присланы?

Гуркин небрежно повернулся на табуретке.

— Эти? Мне.

Лейтенанты перестали есть и смотрели на Беличенко.

— У меня командира взвода не хватает... — «Убили три дня назад», — хотел еще сказать он, но, глянув на лейтенантов, почему-то не сказал.

— Ха! Нашел где спрашивать! Знаешь, сколько у меня командиров взводов осталось? А минометчиками сержант командует. — И строго обернулся к лейтенантам: — Давай-те-ка в роты.

Лейтенанты быстро, бесшумно поднялись и вышли, ни на кого не глядя.

Когда Беличенко возвращался на батарею, он опять увидел их. В темноте, на засыпанной снегом скамейке, они увязывали вещмешки.

— Бери ты, — говорил артиллерист, протягивая банку консервов, последнюю, видимо, — ты в пехоту идешь.

— Ну что ж, в пехоту. Все равно бери ты.

Увидев проходившего Беличенко, они смутились, словно их застigli на чем-то стыдном, и стояли выжидательно и неловко. Он прошел мимо, ничего не сказав. Он понимал все, что они сейчас думали и чувствовали.

В городе стреляли. По небу шарил луч прожектора, отсвет его падал на землю, и стекла пустых домов слепо вспыхивали.

Беличенко шел и думал о судьбе этих лейтенантов. Завтра на окраине незнакомого венгерского города, очень далеко от своего дома, им предстояло встретить свой первый бой. И все, что было прожито ими до сих пор, и перечувствовано, и прочтено, все, чему их учили, о чем мечтали они, — все это было подготовкой к завтрашнему утру. Мальчики с хорошими, честными лицами. Всеми мыслями своими они сейчас в будущем, в котором жить и тем людям, что, спрятавшись в подвалах, переживают немецкое нашествие, и детям этих людей — за них тоже пришли они сюда воевать. Беличенко не знал, как сложится их судьба. Но, как бы она ни сложилась, какой бы короткой и трудной она ни была, он верил: пройдут войны, отшумят сражения и люди еще позавидуют их судьбе.

И все-таки он хотел взять артиллериста к себе в батарею. Для чего? Спасти? Уберечь? В этом сейчас не властен сам господь бог. Но среди того великого, что совершалось, не всегда было время, а главное — не у всякого было желание разобраться, какая смерть необходима, а какой могло бы и не быть: война! Без крови, как известно, война не бывает. Беличенко казалось, что он бы

сумел разумней, чем Гуркин, использовать этого мальчика, который только еще начинал жить.

На батарее кирками долбили закаменевшую землю. Увидев комбата, подошел Назаров, разгоряченный, в одной гимнастерке — он вместе с бойцами рыл окопы, — весело откозырял.

С тем чувством, с которым он только что думал о лейтенантах, Беличенко смотрел теперь на Назарова. Все чаще и чаще видел он в нем самого себя, только далекого, предвоенного. В семнадцать лет он хотел бежать в Испанию, воевать с фашистами. Он был тогда комсоргом класса и произносил перед комсомольцами горячие речи, и все его товарищи тоже хотели бежать в Испанию.

Что ж, это неплохо, что так говорилось и думалось в юности. Сейчас, на четвертом году войны, он уже не скажет, как, бывало, комсоргом: «Если родина потребует, мы умрем за родину». О таких вещах не говорят вслух. На фронте тысячи людей делают это. Но ему приятно смотреть на Назарова, словно подросток и стал с ним рядом младший брат.

— Что-то я хотел сказать вам? — заговорил он с Назаровым несколько суше обычного, потому что боялся сорваться с нужного тона. — Да, вот что: возьмите-ка мой пистолет. А тряпки эти из кобуры выкиньте. Я этот парабеллум в сорок третьем году у немецкого офицера добыл. Бьет замечательно. Только когда последний патрон выстрелите, вот так надо сделать затвором. Берите.

И Беличенко, пять минут назад не собиравшийся делать этого, отдал Назарову свой пистолет, к которому привык и который у него дважды пытались отобрать в госпиталях.

Потом он пошел на кухню. Дать отдых своей батарее он не мог, но должен был накормить бойцов перед утром.

При красноватом освещении углей Долговушин, щурясь от дыма, скуповато отпуская повару сало.

— Ты вот что, — сказал Беличенко, — ты продуктов не жалей. Понятно?

Долговушин посмотрел на комбата и понял, что было за его словами.

На соседней кухне минометчиков уже раздавали завтрак. Оттуда доносились хриплые со сна голоса, звяканье котелков. Вскоре и Долговушин стал раздавать. Бойцы подходили в шинелях внаашку, им после работы было

жарко. Многие тут же, поблизости от кухни, рассаживались есть.

— Давай, Саша, позавтракаем,— услышал Беличенко.

Это стояла рядом с ним Тоня, держа котелок супа в руке.

Они сели на бруствере орудийного окопа, подстелив на землю плащ-палатку. Ели молча. Беличенко глянул на Тоню, она поспешно опустила глаза.

— Они тогда шли по траншее,— сказала Тоня,— а я им встретилась. Ратнер еще говорит: «Идем, Тоня, с нами!» А Богачев ничего не сказал, только посмотрел и прошел мимо. И вот не могу забыть, как он посмотрел тогда. Словно чувствовал, что уже не вернется. Теперь можно сказать,— она посмотрела на него, такая вдруг жалкая,— мне все казалось, ты сердисься, что прежде мне Петя Богачев нравился. И груба с ним была поэтому. И в тот последний вечер обрезала его при всех. Не могу себе этого простить.

Беличенко тоже сейчас думал о нем. Живым стареть, а он останется в их памяти такой, каким уходил на свою последнюю высоту.

Бойцы доскребали кашу в котелках, некоторые шли за добавкой. Было так же темно, как и час и два часа назад, но похолодало, и стрельба в городе стала стихать: начиналось утро.

Вот в это время, когда на батарее кончали завтракать, прислушиваясь к стихавшей стрельбе, западнее города в рассветном холодном тумане раздалась автоматная очередь. Взрыв гранаты оборвал ее. И тогда с разных сторон, захлебываясь, застрочили немецкие автоматы. Три пушечных выстрела раздались в ответ. Автоматы стреляли долго, яростно, а когда смолкли наконец, уже никто не отвечал им.

Серыми тенями в рассветном сумраке осторожно приблизились немцы. Сначала они увидели в траншее своего часового, убитого гранатой. Они постояли над ним и двинулись дальше. Так двигались они цепью, пока один не крикнул что-то, и тогда все, сойдясь, сгрудились по краям бомбовой воронки, глядя вниз. Там ничком лежал советский офицер. Длинные ноги его в хромо-вых сапогах и замерзших в крови брюках были широко разбросаны, голова и лицо залиты кровью. Немец, который первым обна-

ружил его, прыгнул в воронку, перевернул убитого и, расстегнув шинель, достал из нагрудного кармана документы и записную книжку. Когда раскрыл, маленькая фотография выпала на снег. Ее подобрали, и она пошла по рукам. С маленькой фотографии смотрело на немцев лицо военной девушки в пилотке. Передавая ее из рук в руки, оставляя следы потных пальцев, они подмигивали друг другу и делали предположения, какие обычно на фронте делают солдаты, долго не видевшие женщин. Но их предположения были грязней оттого, что они только что боялись этого убитого и теперь как бы мстили ему за это.

Потом один из немцев, знаток русского языка, раскрыл удостоверение и прочел вслух:

— Лейтнант Бо-огачь-ёфф...

ГЛАВА VIII

ЛЕОНТЬЕВ

В двадцать два ноль-ноль по рации из дивизии был передан приказ полку отойти на новые позиции. Этот приказ сейчас же передали дивизионам, батареям, и только с батареей Беличенко не было связи. Но с вечера оттуда прибыл связной, и теперь за ним послали.

Пока в штабе шли сборы, пока снимались с позиций и подтягивались дивизионы, командир полка Миронов вышел наружу.

Кладбищенская часовня, в которой располагался наблюдательный пункт и штаб полка, и все кладбище были на окраине города, а дальше — темень и ветер. Там, во тьме, возникали огненные вспышки разрывов: и на севере, на дорогах, ведущих к озеру Веленце, и на западе, и в самом городе. А с южной окраины, где стояла батарея Беличенко, доносился гул артиллерийской пальбы.

Миронов закурил и стоял слушая.

Зимний ветер шумел в вершинах кладбищенских деревьев. На телеграфном столбе, покривившемся от взрыва, позванивали оборванные телеграфные провода. За собором часто взлетали ракеты, и каменные фигуры святых на стене собора, когда свет перемещался за их спинами, то клонились косо, то распрямлялись. И всякий раз при свете ракеты становились видны среди деревьев па-

мятники, множество памятников, холодно блестящих мрамором.

На шоссе послышался приближающийся топот множества подкованных сапог по булыжнику, и вскоре за деревьями замелькали шинели пехотинцев. Они шли быстро, сосредоточенно, стараясь не производить лишнего шума. В рукавах шинелей потаенно вспыхивали угольки цигарок.

Они снялись с позиций и сейчас, вне окопов, проходя по незнакомому ночному городу, прислушивались к стрельбе и чувствовали себя неуверенно.

Промчалась обочиной кухня. Из топки вывалилась головня, ударилась о мерзлую землю и раскатилась множеством искр. Несколько солдат, выбежав из рядов, стали поспешно топтать ее сапогами.

Мионов окликнул командира. Подошел капитан в короткой шинели. Прикуривая от папироски, скосил глаза на погоны, вытянулся.

Это снялся с позиций пехотный полк, стоявший впереди.

— Так что теперь, товарищ полковник, перед вами никого нет, — сказал капитан и твердо посмотрел Мионову в глаза. Потом оглядел носки своих растоптанных сапог, ожидая, не спросят ли еще чего-либо.

Мионов ничего не спросил. Капитан козырнул, уже прощаясь, и, придерживая на бедре толсто набитую полевую сумку, побежал догонять батальон.

Когда Мионов вернулся в штаб, связной третьей батарее Горошко уже ждал здесь. Напуганный тем, что его пришлось искать, он прибежал бегом и теперь тянулся изо всех сил, зная, что лучший способ тронуть сердце начальства — это показать выpravку.

Сидя за столом между двух ламп, сделанных из расплюснутых снарядных гильз, Мионов строго смотрел на него. Про себя он решал в этот момент, послать ли к Беличенко взвод на помощь или не посылать?

— Передашь комбату, — сказал он наконец, — полк будет занимать оборону в районе кирпичного завода. Вот. — Он показал на карте. Горошко из вежливости посмотрел на карту: кирпичный завод, как многое в городе, он знал на память. — Батарее выходить на соединение с полком. Дорогу вот в этом месте мы будем удерживать, пока вы не пройдете. Понял? Повтори.

Горошко громко повторил приказание.

— Так...— Миронов все не спускал с него взгляда, словно надеясь, что связной поймет и передаст еще и то, что не было сказано, а стояло за словами. Но лицо Горошко было непроницаемым.— Пойдет с тобой...

Щурясь со света ламп, он глянул в темноту. И один из писарей, Леонтьев, на ком случайно остановил взгляд командир полка, обмер в душе: это судьба на него глянула. Он поспешно нагнулся над раскрытым зеленым ящиком, в который укладывал бумаги.

«Надо было мне выйти,— думал он панически,— просто как будто за делом выйти. А теперь я попался на глаза». И вместе с тем продолжал надеяться, что товарищ полковник увидит его ящик и поймет, что нельзя разделять их, что он должен находиться при ящике, при бумагах. Он совершенно необходим здесь. И Миронов увидел и понял.

— Пойдет с тобой сержант Леонтьев.

В углу штаба Леонтьев обреченно собрался, затянул поясом шинель, повесил на шею автомат.

Горошко шепотом торопил его, радуясь, что пронесло гнев начальства.

К Леонтьеву подошел старший писарь:

— Вещи твои мы возьмем, когда будем грузиться. Так что не думай о вещах...

Леонтьев только вяло махнул рукой, словно был им уже не хозяин:

— Берите...

Он вышел из штаба вслед за разведчиком, отошли шагов пять, тот оглянулся и весело подмигнул:

— Ну, сержант, пошли быстрей!

Он как будто опасался, что их еще могут вернуть.

И они, перепрыгивая через могилы, между кладбищенскими деревьями и памятниками пошли к городу, где слышалась стрельба и взлетали ракеты.

Всей своей незащищенной спиной Леонтьев чувствовал, как могут выстрелить отовсюду. Из любого подъезда, из любого окна, где слабо мерцали осколки черных стекол. И когда над узкой улицей, над домами взлетала ракета, Леонтьев шарахался в тень, к стене. И только вместе с темнотой выходил оттуда.

Внезапно Горошко, шедший первым, присел. Не заметив, Леонтьев наскочил на него. А когда тот поднялся, поправил автомат на плече и пошел дальше, писарь увидел немца, лежавшего поперек тротуара. Он был без шап-

ки, и мертвые волосы шевелились на затылке. «Ветер», — догадался Леонтьев, глянув в переулок, стиснутый домами, похожий на каменное ущелье. И с жутким чувством сбошел убитого немца с шевелящимися на затылке мертвыми волосами.

Леонтьев знал много историй о том, как совершались подвиги: всю войну он заполнял на людей наградные материалы. Их столько прошло через его руки, что Леонтьева уже невозможно было удивить ничем. И если рассказывали при нем новый случай, он нетерпеливо перебивал: «Это что! А вот у нас на пятой батарее...» — и хвастал чужими подвигами, словно это были его собственные. В кратком изложении, какое обычно присылалось в штаб полка, в рассказах солдат после боя все выглядело и не страшно и не трудно: вспоминали чаще веселое. Леонтьев слушал и волновался: а ведь и он смог бы так.

Когда после успешных боев в штабе скапливались награжденные, Леонтьев иной раз по целой ночи не мог заснуть. Лежа с открытыми глазами, он заново переживал все, что писал днем. Только теперь героями были не те люди, чьи фамилии он вписывал в наградные листы, а он сам, Леонтьев. И — боже мой! — каких только чудесных подвигов не совершал он в эти бессонные ночи, пока вокруг него, во всем положившись на заводлопроизводство, мирно спали писаря. Он зажмурился до боли и видел летний день и себя, без фуражки, идущего улицей родного города. И солнце горело в лучах его ордена... А утром он с тоскливой злостью смотрел на свою одинокую медаль «За боевые заслуги». Он-то знал, что писарям и машинисткам эти медали достаются совсем не той ценой, что рядовому бойцу батареи. Недаром батарейцы слово «заслуги» обидно переделали в «услуги».

Леонтьев пошел на фронт добровольцем, мечтал попасть в разведчики. Но его назначили в штаб полка писарем. Это было так стыдно, что вначале он не решался написать правду никому из товарищей, даже домой не писал об этом, хотя смутно догадывался, что мать только обрадовалась бы: все-таки больше надежды, что жив останется. Он твердо решил при первом подходящем случае просить командование направить его в батарею хоть катушечным телефонистом. Но случай этот все как-то не представлялся.

Их полк, стоявший в тылу на формировке, вызвали на фронт неожиданно: подали эшелон, и батареи стали

спешно грузиться. В последний момент к погрузке подка-
тывали розвальни; возчики в рукавицах, стоя внизу в
санях, швыряли из соломы в раскрытые двери вагонов
буханки хлеба, белые круги замороженного молока. Но
всего полагавшегося продовольствия погрузить не успели
и по дороге на фронт разговоры в эшелоне шли главным
образом о еде. До хрипоты ругались за место у единст-
венной печки, не то что уставленной, но в три яруса об-
вешапной котелками, — домовитые пожилые солдаты все
что-то варили в них и пробовали, осторожно приоткры-
вая крышку над паром, шумно втягивая в себя с алю-
миниевых ложек. Нетерпеливая молодежь, едва получив
на человека по трети банки бобовых консервов с мясом,
тут же съедала их холодными.

На какой-то станции всех разбудили ночью и спешно
повели куда-то через пути. Пронесся слух, что ведут в
баню, и люди ворчали: никому не хотелось среди ночи
натошак идти по морозу в баню. Продрогшие, сонные,
спотыкаясь о рельсы, холодно блестящие при свете звезд,
толпясь и налетая на спины передних, они долго шли
между товарных составов. Потом выяснилось, что ведут в
столовую, и сразу все ожили.

В столовой, похожей на депо, сырые стены изморозно
блестели, от дыхания людей и близкой кухни под по-
толком — пар, в пару — мутным желтым накалом свети-
лись лампочки. Сбившиеся с ног официантки, бледные от
этого освещения и усталости — через продпункт круглые
сутки шли эшелоны, и всех нужно было накормить, —
перед каждым стукали на стол миску супа-пюре горохо-
вого, миску пшеничной каши и убегали. Кто успел по-
есть, заигрывали с официантками на ходу.

Когда вышли на улицу, мороз не показался Леонтье-
ву сильным. Может быть, оттого, что в животе было теп-
ло. И знакомая дорога обратно не была уже такой длин-
ной. Разогревшись едой, солдаты весело подныривали под
составы, иные из которых, вздрогнув, с набегающим гро-
хотом и лязгом буферов начинали катиться куда-то, виз-
жа примерзшими колесами. Многое со временем забыл
Леонтьев, но эта ночь и то, как их водили в столовую,
осталось в памяти.

С писарями отношения у него не сложились. Это все
был народ опытный, тертый, в большинстве своем из бух-
галтеров и счетоводов. Они сладостно любили вспоминать,
как, бывало, сдавали годовой отчет, и Леонтьев заметил,

что с особым почтением, с восторгом отзывались они о том пачальстве, которое капризничало, по несколько раз возвращало отчет для переделки. У него не было общих с ними воспоминаний. И он сразу чуть было не нашёл себе врагов, сказав легкомысленно, что со временем всех счетных работников заменит какая-нибудь машина вроде арифмометра.

Когда ночью под стук колес все засыпали, писаря подымались и, сидя на нарах, тайком ото всех ели копченую рыбу и шушукались. Может быть, они не всегда ели копченую рыбу, даже наверное они и другое что-нибудь приносили из вагона ПФС, но голодному Леонтьеву острее всего запомнился запах копченой рыбы. Писаря его не приглашали. Они воспитывали его: хочешь жить среди нас — переходи в нашу веру, нет — гордись. Он лежал у стены, на пустой желудок его подташнивало от запаха еды, он слышал, как они жуют со слюной, и вспоминал ржаные шаньги с картошкой, которые мать напекла ему в дорогу и которыми он тогда честно поделился с писарями. Он их ненавидел сейчас и придумывал, как со временем, когда у него все будет, а у них не будет ничего и они прилезут к нему, как он им отомстит...

Впрочем, если бы он даже на остановке и пошел в ПФС, ему бы там все равно ничего не дали. Уж как-то там чувствовали все, что хотя он тоже писарь, но от него ничего не зависит.

На двадцатые сутки полк выгрузился на разбитой станции, значительно не доехав до места. Опасаясь бомбежки, эшелон сразу же, без свистка, отошел. На востоке («Странно, что не на западе», — подумал Леонтьев) отдаленно погромыхивало, и солдаты, успевшие в тылу отвыкнуть от фронта, поворачивали головы в ту сторону, прислушивались. Они знали, что это теперь не на день, не на два, что кому-то из них это уже до конца жизни. Леонтьев тоже слушал и от сознания, что там фронт, волновался.

Утром полк влился в деревню. Это была уже прифронтовая деревня, без жителей. Из двора во двор сновали солдаты, волокли какие-то доски, солому, и помятые шинели на них были тоже в соломе, с ночи, наверно.

В зимнее утро деревня казалась белой и чистой: развалины, гарь — все прикрыл недавно выпавший снег. Писаря заняли каменный дом: четыре промерзшие стены с

пустыми окнами и небо над головой. В яме, вырытой когда-то под фундамент, а теперь заваленной битым кирпичом, они разожгли на снегу неяркий при солнце костер.

Через улицу напротив стояла под навесом пехотная кухня. Повар, крупный мужчина, стал саногом на ступицу колеса, зажмуясь от пара, зачерпнул из котла черпаком, набрал из черпака алюминиевой ложечкой и долго сосредоточенно жевал. Даже глаза закрыл, чтобы лучше распробовать, не отвлекаясь.

Снизу на него смотрел кухонный рабочий — ждал приказаний; из разбитого дома следили за ним писаря. Повар налил сверху, пожирней, в два котелка: командиру роты и старшине, крикнул кухонному рабочему:

— Пускай людей ведут!

Сам он до пояса и половина кухни были в косой тени навеса, а черпак маслено блестел на солнце.

— Надо идти,— заволновался Довгий, писарь с толстыми щеками,— а то пока наши подъедут, так это...

Он прислушался и вдруг плашмя упал в снег. В тот же момент что-то обрушилось, стало темно и душно. Леонтьева отшвырнуло от костра, ударило спиной о кирпичную стену, он забарахтался, закричал. А когда вскочил на четвереньки, костра не было. От разбросанных по снегу головешек шел пар. Один за другим подымались писаря, отряхивались.

— Позавтракали...— сказал Довгий и выругался. У него дрожали белые губы. Он зачем-то обтер ладони о штаны сзади и полез из ямы.

Ни навеса, ни кухни на той стороне улицы не было. На дороге пехотинцы с котелками молча обступили что-то. Плохо соображавший Леонтьев вслед за Довгим робко подошел. У ног людей лежал животом вверх повар. Среди нахмуренных лиц только его лицо с закрытыми глазами было спокойно. Он дышал и как будто прислушивался к своему дыханию.

Подбежал еще пехотинец, маленький, в подоткнутой шинели: за супом торопился.

— Ребята, что ж вы? Чего стоите? — зачастил он скороговоркой, суетясь за спинами. — Нести надо. Человек ведь.

Ему сказали сурово:

— Чего кричишь? Куда нести? Не видишь?

Он сразу успокоился, скромно вздохнул.

— Сержант говорит: за супом иди, Емельянов. Вот те и суп, мать честна!..

И, обйдя всех, начал на той стороне что-то собирать со снега. Леонтьев глянул случайно. Разбитая снарядом кухня, выплеснутый суп на желтом снегу, невпитавшееся пшено и картошка, от кусков мяса еще шел пар. Пехотинец руками хозяйственно собирал в котелок картошку и мясо. И вздыхал.

Леонтьеву казалось, что теперь все уйдут из деревни: ведь ясно же, обстрел мог повториться. Но писаря слова разожгли костер, а завдел Шкуратов принес топографические карты, и на снятой с петель двери стал их склеивать. Белая глянцевая бумага на морозе обжигала пальцы. И к концу дня из всех ощущений сильнее всего были холод и боль в руках. А когда штаб наконец разместился в тепле, разговор о переводе в катушечные телефонисты как-то отложился до времени. «Вот снадут морозы...» — оправдывался Леонтьев перед самим собой. Но морозы держался такие, что водка замерзала. И каждый день из батарей везли в санчасть обмороженных.

Однажды привезли лейтенанта Василенко. Он был первый и единственный пока что в полку награжденный орденом Ленина. Оттого, что люди при встречах глядели на него с почтительным удивлением, как бы все время ожидая от него чего-то необыкновенного, а поступки его немедленно разглашались, лейтенант Василенко держался надменно, дерзко шурился, разговаривая с начальством, и при малейшем возражении вспыхивал. Его привезли с отмороженными ногами: на передовом наблюдательном пункте, на болоте, окруженный немцами, он четверо суток пролежал за пулеметом в мокрых валенках. Леонтьев как раз был в санчасти, когда пронесли его, и вскоре из операционной раздался голос Василенко:

— Федька, фляжку!

Ординарец с испуганным лицом пробежал по коридору, в приотворенную дверь Леонтьев видел, как лейтенант, сидя на столе, — ноги его были прикрыты белым, — запрокинув голову, выпил всю фляжку, не отрывая от губ. Пока ему под наркозом делали операцию, он пел украинские песни высоким, страдальчески чистым голосом:

Там три вербы схлылылыся,
Мов журяться вони...

Пел и матерно ругался. А потом, увидев в эмалированном тазу свои ноги, заплакал, не стыдясь людей, и все увидели не орденосного лейтенанта Василенко, а молодого, красивого парня, навсегда искалеченного войной.

После этого случая Леонтьев отложил разговор о переводе до весны. Но весной на людях не просыхали шинели. Днем, когда припекало солнце, от спин шел пар, вечером на спины садился иней, раскисшие сапоги свистели, на огневых позициях в мелких землянках подпочвенная вода заливала нары, и батарейцы кашляли лающим, надсадным кашлем, точно у них все рвалось в груди. И чем меньше хотелось Леонтьеву на батарею, тем чаще говорил он окружающим, что вот решил подать рапорт, как бы отрезая себе путь к отступлению. Только летом обратился он к командиру полка.

Прошел после этого разговора день, стоивший Леонтьеву много душевных сил, прошел другой, и наконец явился завдел Шкуратов и с оскорбленным видом наложил на него взыскание. Вслед за завделом, узнав, дружно оскорбились все писаря. А Леонтьев обрадовался взысканию, тяжкий груз упал с его души. Но с этих пор у него появилась потребность жаловаться на свою судьбу. Кто бы ни пришел из батареи, Леонтьев к слову и не к слову ругал каторжную писарскую жизнь: «Лучше на передовую, чем здесь корпеть. Ни дня тебе, ни ночи, и погнешь, как Воронцов».

Был такой писарь Воронцов, убитый при бомбежке еще в сорок первом году, доказав тем самым, что и в штабе люди погибают. Писаря часто с гордостью напоминали о нем, словно смертью своей Воронцов сразу за всех живущих писарей выполнил норму. Прежде Леонтьеву в такие моменты бывало стыдно за них, теперь и он помнил Воронцова. И только одно не изменилось: заполняя наградные материалы, Леонтьев по-прежнему мечтал совершить подвиг. К концу войны мечтал даже с большей силой.

Но то, как они шли сейчас с разведчиком по мертвому, уже занятому немцами городу, где их ежеминутно могли убить, ни с какой стороны не походило на подвиг. Наоборот, это выглядело бессмысленным.

Горошко шел впереди, по-охотничьи неся автомат под рукой дулом книзу. Они свернули в один переулок, в дру-

гой. Потом черт занес их на огороды. Перелезали заборы, ползли, Леонтьев разодрал ладонь о колючую проволоку и все время боялся отстать.

— Сволочи! — шепнул Горошко, когда они уже лежали в кустах. — Пушки устанавливают.

И тут писарь за стволами яблонь увидел немцев. Молча, с напряженными лицами они выкатывали пушку, налегая на колеса. Слышно было их тяжелое дыхание.

Леонтьев обмер. Он лежал не шевелясь, прижатый страхом. Краем глаза он увидел, как разведчик приподнялся на локте и раз за разом махнул из-за спины рукой. Из-под пушки вырвался куст пламени.

Вместе с Горошко Леонтьев бежал, натыкаясь на деревья, падал, а сзади стреляли, и пули сбивали ветки.

Спустя время оба они сидели в овраге, запыхавшиеся, и жадно курили в рукав.

— А рыжий-то... рыжий, длинный! — захлебываясь радостью, оттого что остался жив, говорил писарь. — Ка-ак он взмахнет руками, ка-ак закричит!..

И ему казалось, что все это он действительно видел. У него возбужденно блестели глаза, лицо было все мокрое от пота.

— Рыжий? — переспросил Горошко и ладонью пощупал зашибленную скулу. И вдруг обрадовался: — А ты молодец, оказывается. Я еще иду и про себя думаю: «Небось писарек-то побаивается». А ты — ничего. Немцы рядом — лежишь себе спокойно. Нет, ты молодец. Вот рыжего какого-то разглядел. Скажи ты мне, пожалуйста, отчего это люди к концу войны так бояться стали? Вот ползу — знаю: немцы там, и нет больше ничего, а самого страх за пятки хватает. И любой так, кого ни возьми, — сказал он доверительно и подождал, не скажет ли писарь чего-нибудь.

Но тот молчал.

— Ну, вот что, — сказал Горошко уже строго, — ты комбату про эту пушку помалкивай на всякий случай. Может, ее вовсе и не надо было уничтожать. А то еще немцы взгальдятся, а нам батареей выходить тут.

Леонтьев даже с робостью посмотрел на этого парня: ему как раз хотелось рассказать всем про то, как они уничтожили пушку.

ГЛАВА IX

КОСТЬ СНОВА МЯСОМ ОБРАСТАЕТ

Когда на южной окраине города рассвело, третья батарея уже окопалась и стояла замаскированная. За снегами поднялось зимнее солнце, и все увидели немецкие танки, изготовившиеся к атаке. Они не скрывались, на глазах у всех перестраивались, и оттого, что двигались все время, их трудно было сосчитать. Но их было много.

Впереди несколько слева третьей батареей стояла тяжелая батарея другого полка. Комбата ее издали можно было отличить по высокой черной папахе с красным верхом. Он стоял у колеса пушки, одной рукой держа бинокль, другой, в перчатке, делал знаки расчёту, и, повинаясь его руке, стволы пушек разворачивались. Видно было, как работают под щитом номера, наводчик крутит колёсики поворотного и подъёмного механизмов. Батарея готовилась открыть огонь по танкам.

И то же самое, что было с самоходными пушками, повторилось здесь. После первого снаряда танки ожили. Они ждали этого, опасались идти в атаку по снежному полю, не зная наших огневых точек, и вызывали огонь на себя. Теперь всей мощью они навалились на батарею. Снаряды густо рвались вокруг нее, и батарейцы только отстреливались.

Оттуда по глубокому снегу бежал человек. Еще издали закричал рыдающим голосом:

— Что ж вы смотрите? На ваших глазах нас расстреливают, а вы стоите?

Это был лейтенант, командир взвода. Спекшиеся губы его с хрипом хватали воздух, глаза горячно блестели на мертвом, бледном лице. Крепко схватив Беличенко за рукав жесткими пальцами, он тянул его к себе:

— Комбат, открывай огонь! Открывай огонь! Прошу! При всех прошу! — повторил он с угрозой, и нервное напряжение его передавалось всем на батарее.

Беличенко чувствовал на себе взгляды бойцов.

Быстро подошел Назаров:

— Товарищ комбат, разрешите открыть огонь.

А танки все били по батарее. Одно орудие ее уже молчало. Снаряд угодил под колесо, и пушка осела набок, щит был погнут. Несколько человек осталось лежать в окопе, другие, рассыпавшись, бежали к садам.

В середине плотной группой держались четверо, окружив грузного человека в офицерской фуражке, с болтавшимся на груди биноклем. Он был выше, заметней других и, должно быть, ранен, потому что отставал; они не хотели бросать его. Близко разорвалась на снегу мина. Человек в фуражке упал плашмя, остальные побежали дальше. Но он завозился, встал на колени, и они вернулись. Было видно, как они подхватывают его под руки. Потом, бросив, побежали, а он остался лежать лицом в снегу.

— Да люди вы или нет? — закричал лейтенант. — Братьев ваших уничтожают, а вы схоронились!

Назаров ближе шагнул к Беличенко:

— Товарищ комбат, мы обязаны открыть огонь!

Ясные, честные глаза его, впервые так близко видевшие смерть и уничтожение, смотрели на Беличенко не мигая. Они выдержали его взгляд, только от напряжения и встречного ветра слезы заблестели в них.

— Если вы не прикажете, я сам открою огонь!

— Я вас расстреляю на месте! — задохнувшись, тихо сказал Беличенко.

Когда он обернулся, он не встретил ничьих глаз. А лейтенант, сорвав с головы ушанку, сжал ее в кулаке и грозил:

— Ты за это, капитан, ответишь! Мы и мертвые тебя найдем.

И той же дорогой, качаясь, с раздувающимися от ветра волосами, пошел под разрывами обратно. Этого ему никто не мог запретить. А что он доказывал даже смертью своей?

На батарее уже и вторая пушка была подбита и не отвечала на огонь немецких танков. Расчет покинул ее, последние номера уже добежали до садов. Только комбат в своей высокой черной папахе с красным верхом сидел за колесом пушки сжавшись, не желая оставлять батарею, которую сам погубил. Кому этот его героизм теперь был нужен? Нет, не мог Беличенко открывать огонь. Не имел права, поддавшись чувству, принять бой в условиях, которые навязывали ему немцы. Открой он огонь, и танки обнаружат его замаскированную батарею и с выгодных позиций, издали расстреляют ее, как они только что расстреляли соседнюю. Он отвечал за жизнь людей, но эти же люди сейчас под его взглядом отводили глаза, как перед человеком, который сделал жестокое дело. Ну

что ж, командира не обязаны любить, но воле его подчиняться должны.

На разбитой батарее оставались снаряды, и он послал за ними бойцов. Низинкой, садами, оврагами они пробрались туда и вынесли все ящики, а комбат по-прежнему сидел на батарее, оставшейся без пушек и без снарядов. Самое страшное для него сейчас было — покинуть батарею, по которой уже никто не стрелял, лицом к лицу стать перед ответственностью за нее.

Но у Беличенко не было сейчас жалости к этому человеку. Да и времени жалеть не оставалось.

Здесь, на окраине садов, третья батарея встретила танки и отбила их. После атаки два танка остались на поле среди засыпанных снегом копен кукурузы. Один из них, без левой гусеницы, еще жил, ворочал башней из стороны в сторону, отстреливаясь. Его добили в упор, и жирный дым, относимый в сторону немцев, потек к небу.

На батарее тоже пахло дымом пожара: позади нее, в садах, горел и трещал дом, вспыхнувший во время немецкого обстрела; хлопья сажи и искры несло ветром, они сыпались на пушки.

Тоня перевязывала раненых, когда оттуда прибежала женщина с безумными глазами, в изорванном платье, словно выскочившая из огня. Увидев Тоню, она стала хватать ее за руки и тянуть с собой, показывая то на бинты, то на красный крест на ее сумке, то на кровь раненого. Она умоляюще прижимала ладони к груди и что-то говорила по-венгерски горячо и быстро.

Тоня пошла за ней и долго не возвращалась, только детский крик доносился оттуда. Солдаты, подносявшие снаряды, прислушивались невольно: слишком непривычно было слышать на батарее крик ребенка, не по себе становилось. Подождав, Беличенко тоже пошел туда. В яме, среди вещей и узлов, лежала девочка лет пяти. Запрокинутое красное лицо распухло от крика и слез. Мать, обезумевшая от вида ее крови и мучений, стоя на коленях, сдавливала ей виски. Тоня, сжав губы, бледная, перетягивала жгутом ногу ребенка, оторванную осколком. Ей помогал пожилой мужчина — отец или дед девочки, — самый беспомощный из всех здесь. У него дрожали руки, он бестолково суетился, стонал, когда крик ребенка становился особенно сильным, и глаза у него были затравленные.

— Да держите же! — закричала на него Тоня. — Своему ребенку только больней делаете.

И увидела Беличенко.

— Саша, помоги.

Мужчина, как только его отпустили, схватился руками за затылок и, сморщившись, стеной, начал быстро ходить около ямы взад-вперед.

Когда Беличенко взял в руки то, что осталось от ноги, и почувствовал, как в пальцах у него вздрагивают, сжимаются от прикосновения детские мускулы, увидел, как свежий бинт мгновенно промокает кровью, он вдруг тоже закричал на венгра:

— Что же вы до сих пор сидели в этом бункере? Не уходили почему? Это же война!..

— Война, — повторил венгр покорно, как бы найдя объяснение всему: он понял это слово.

Ветром несло на них запах гари. Батарейцы, тушившие огонь — пожар был хорошим ориентиром для немцев, — приносили оттуда вещи и узлы и клали на землю. Жмурясь от жалости, они смотрели на девочку. За войну они достаточно видели смертей и крови, но к виду детских страданий все же привыкнуть нельзя.

Беличенко подозвал двух бойцов и приказал им помочь семье венгров перетащиться в тыл, подальше от огневых позиций, потому что скоро должна была начаться новая атака.

По дороге на батарею Тоня догнала его, пошла рядом.

— У меня все время было виноватое чувство перед этой матерью, — сказала она, мучаясь. — Если бы мы не поставили здесь пушки, может быть, девочку не ранило бы. Вот вырастет она... Женщина без ноги — это ужасно...

Беличенко не ответил: только что виденное стояло перед глазами.

На батарее все было готово к бою. Раненые перевязаны, убитые снесены все в одно место. Они лежали по краю бомбовой воронки, прикрытые плащ-палатками, теперь уже безразличные ко всему на свете.

Похороненные под артиллерийскую канонаду, они навечно останутся в этой земле.

Беличенко посмотрел на солдат, стоящих у пушки. Их было немного уже. Они молча ждали следующей атаки.

Но была и она отбита, а потом потеряли атакам счет. И с каждой отбитой атакой укреплялось сознание, что

хотя и нет уже никакой возможности, а все же держаться здесь можно.

К исходу вторых суток стало и людей на третьей батарее постепенно прибавляться. Сначала пришел наводчик сорокапятимиллиметровой пушки, прозванной на фронте «Прощай, родина» за то, что расчеты этих легких противотанковых пушек, двигавшихся вместе с пехотой и остававшихся впереди, когда пехота отступала, несли самые большие потери. Пушка его одна стояла под бугром: несколько раз ее чуть не опрокидывало взрывом, засыпало землей, но спустя время она вновь оживала и, отскакивая при каждом выстреле, вела частый, злой огонь по немецкой пехоте, по бортам и гусеницам немецких танков; от мощной лобовой брони снаряды ее, чиркнув, как спичка по коробке, рикошетировали. Колошился около орудия только этот рябоватый сержант в длинной, до пят, шинели, единственный из всего расчета оставшийся в живых. Он уже давно ниоткуда не получал приказаний и действовал по своему разумению: видел немцев — наводил, стрелял и бежал за другим снарядом.

Когда снаряды кончились, сержант снял с пушки замок и, неся его в руках перед животом, пошел не спеша, не обращая внимания на разрывы мин.

Полы его шинели были пристегнуты спереди к поясу, и казалось, он в подоле несет какую-то неудобную тяжесть. Взрывом сбило с него ушанку. Сержант оглянулся, аккуратно положил на землю замок и, глубоко натянув ушанку на голову, пошел опять со своей ношей. Потом побежал.

Когда он пришел на батарею, солдаты смотрели на него с молчаливым удивлением. Один сказал:

— Жить тебе, сержант, долго: как стреляли, а он пешком идет!

Наводчик положил замок, черной, обмотанной грязной тряпкой рукой, на которой белели одни ногти, вытер пот со лба — рука от усталости вздрагивала. Увидев идущего на него капитана, он как будто оробел, подтянулся — маленький, в подоткнутой шинели, в растоптанных сапогах.

— Какого полка, сержант? — спросил Беличенко.

Тот, собрав морщины на лбу, напряженным взглядом следил за его губами. И, начиная понимать, не веря еще, Беличенко сжал его плечо, встряхнул, точно заставлял проснуться:

— Сержант!..

У наводчика от мучительного желания разобрать, что говорят ему, появилось на лице виноватое выражение.

— Снаряды кончились, товарищ капитан,— прохрипел он одичавшим голосом.— Были б снаряды, а то стрелять нечем...

Сержант был глух. Его контузило еще утром прошлого дня. И когда он шел с замком орудия, а поблизости рвались мины, мир для него по-прежнему был погружен в тишину.

Он остался на батарее, заменив убитого замкового. Когда надо было сказать ему что-либо, его трясли за плечо, и он, поняв, обрадованно кивал.

Пришел еще пехотинец, худой, черный, с жилистой шеей.

— Смотри, что делает,— сказал он, ни к кому не обращаясь в отдельности и глядя на разрывы мин.— Одну от одной на метр кладет... Нет ли у кого закурить, ребята?

Ему отсыпали на сигарку. Пехотинец помялся, сказал, неловко улыбнувшись:

— Нас, видишь, какое дело,— семеро.

— А где же остальные?

Пехотинец ткнул длинным пальцем в темноту:

— Вот там сидят, охраняют.

— Кого охраняют?

— Вас, стало быть, с фланга охраняем.

Разговор происходил в орудийном окопе. Один за другим подходили батареи. Они только что стреляли по танкам, бой был удачным, и на всех потных, красных, охваченных оживлением лицах, во всех глазах еще не остыл горячий азарт боя. Все громко разговаривали, беспричинно смеялись — нервное напряжение, скопившееся в бою, требовало выхода. Многие, подходя, уже улыбались заранее, словно ожидали, что пехотинец будет рассказывать непременно смешное что-либо. Молодцеватый, широкогрудый заряжающий, вольно отставив ногу и выпятив грудь, спрашивал, указывая папиросой себе в пуговицу гимнастерки:

— Это вы-то нас охраняете? — И победителем оглядывался на артиллеристов. Оттого, что батарея недавно отбила танки, а сам заряжающий был шире и здоровей пехотинца, слова его имели особый веселый смысл. Но пехотинец не смутился и не обиделся даже.

— Смешного тут чуть,— сказал он,— а потрясти, так и вовсе не окажется. Нас тоже прежде рота была. И старший лейтенант был над нами,— говорил он, оглядываясь на Беличенко и как бы сравнивая их.— А теперь, как осталось нас семеро, так сидим, обороняемся. Пулемет есть, патронов хватает, а вот табачку припас кончился. Беда с табачком.

Теперь ему насыпали уже горсть.

— Как же вы там? — полюбопытствовал кто-то.

— Держимся,— сказал пехотинец.

Подбежал минометчик соседней батареи с набитой сумками противогазной сумкой, протиснулся наперед.

— Сам-то каких краев будешь? Не землячок, случаем? Личность больно знакомая.

Солдат живо обернулся, оглядел минометчика. Потом сказал рассудительно:

— Все мы теперь земляками стали, как свою рубеж-границу перешли,— и усмехнулся; неожиданной была улыбка на его суровом лице.— Это как в госпитале тоже... Пока в медсанбате лежишь, так все одной части и ранены в одной местности, да еще в тот же день. Отвезут тебя в тыловой госпиталь, встретишь солдата с одного фронта, и уж он тебе как земляк считается, вроде бы чем-то ближе других.

Он говорил и все оглядывался на комбата: тот как-то странно смотрел на него.

— Не узнаешь, Архипов? — спросил Беличенко вдруг и улыбнулся.

У пехотинца дрогнули короткие ресницы. Он с надеждой взгляделся, но, видимо, ничего не вспомнил.

— Может, и встречались когда,— сказал он виновато,— только не вспомню, товарищ капитан. Забыл.

— И так бывает. Ну вот что: пойдут танки с той стороны, нам времени не будет разбираться, где вы сидите. Будем стрелять, а снаряды у нас тяжелые. Так что забирай своих — и сюда. Дело на огневых найдется. А ведь я тебя, Архипов, сразу узнал,— сказал Беличенко.— Сорок первый год помнишь? Как отступали вместе?

Вокруг них тесней сдвинулись бойцы, прислушивались, некоторые улыбались сочувственно, как бывает при неожиданных встречах.

— Вот этого тогда на мне не было, конечно.— Беличенко пощелкал себя по поганам.— А было вот здесь по

три треугольника. — И он улыбался, помогал вспомнить. — И сейчас не вспомнил?

...Война началась в одно время, но каждый встретил ее в свой срок и час. Давно уже немецкие танки форсировали Днепр, а батарея, в которой командиром орудия служил сержант Беличенко, все еще стояла на опушке векового соснового бора на западном берегу Днепра. В полукилометре в тылу — деревня. Там — сады, молоко, холодное в самый жаркий день; батарейцы там дорогие гости.

Летние ночи короткие — заря светит заре, и коротка в эти ночи любовь.

— Будешь писать?

— Буду.

Сидя на земле, мусоля карандаш, солдат вписывал адрес в записную книжку. Рядом с ним девушка. Натягивая юбку на круглое колено, смотрит на него преданными глазами.

Где сейчас эта девушка? Да и жив ли солдат? А был бы жив и случилось бы идти тем же путем, встретились бы.

Но между этими двумя встречами целая жизнь пролегла.

По утрам старшина выстраивал батарею. В хромовых сияющих сапогах, затянутый в талии — образцовый старшина мирного времени, — он журавлиным шагом шел вдоль строя. Глаза влажные, сонные и оттого особенно строги, в пышном чубе запуталась соломинка — нет, не на батарее ночевал старшина. А у землянки его сидела на припеке кошка, умывалась лапкой и жмурилась на солнце. И бойцы весело указывали на нее глазами друг другу.

— Р-разговорчики! — покрикивал старшина, идя вдоль строя.

Днем — жара, медовый зной, в садах наливаются яблоки. Когда по ночам вспыхивают зарницы, яблоки кажутся белыми в темной листве.

Над этой тишиной и миром редко-редко пролетит самолет, да и то взобравшись на большую высоту. Если самолет немецкий, все сбегаются смотреть: любопытно, не успел еще глаза намозолить.

В один из этих знойных летних дней, когда и вода в реке, и воздух, и лист на дереве — все пронизано солнцем, Беличенко послали в деревню. Нужно было приве-

сти трактор из ремонта, а заодно получить сахар на батарею.

Возвращался он оттуда уже после обеда, тряся рядом с трактористом на сиденье трактора, держа в руках перед собой каску с сахарным песком. У писаря ПФС, который отнускал продукты, бумаги не нашлось, он горой насыпал песок в каску, предупредив строго, чтоб «имущество» вернуть. И вот Беличенко ехал, весело балансируя каской на рытвинах, и думал о том, что сейчас приедет на батарею и после жары искупается в речке.

Свернули к лесу. Здесь, под самыми соснами, дорога была песочная, мягкая. Метров сто оставалось до батареи, и было хорошо видно, как там чистят орудия. У крайнего слева пробивали канал ствола. Бойцы в сапогах, в летних защитных галифе, голые по пояс — лоснящиеся от пота загорелые тела их были ярко освещены солнцем, — взявшись попарно, орудовали банником, с уханьем вгоняя его в ствол. Несколько в стороне, в белой нательной рубашке, с загорелой шеей, с короткой трубкой в зубах, стоял командир взвода.

Беличенко еще раз оглянулся на деревню. Оттого что они съехали в ложок, деревня и вся местность с садами вокруг нее как бы поднялись и хорошо были видны на фоне неба. И Беличенко увидел, как той же дорогой, которой выехал он сам, выходят из деревни и разворачиваются пыльные немецкие танки. Шесть штук. Без звука, без выстрела, словно пустили картину, а звук опоздали включить.

А на батарее тем временем продолжали весело чистить пушки, и они были развернуты в обратную от деревни сторону: на луг и реку, считавшиеся танкоопасными.

Вдруг каска в руках Беличенко дернулась, так что он еле удержал ее, гора песка в ней начала быстро оседать, образуя воронку. И первое, что сделал он, — поспешно зажал ладонью дыру, чтоб сахар не вытек весь. После уж увидел, как тракторист, сидевший с ним рядом, начал клониться лбом к коленям и повалился с трактора. А трактор, все так же не торопясь, с железным скрипом и лязганьем продолжал двигаться по дороге, и Беличенко теперь один сидел на нем. Оттого что руки у него были заняты, он как-то растерялся.

Наконец он бросил каску, спрыгнул с трактора и побежал на батарею. Здесь уже разворачивали пушки; ту пушку, у которой был забит канал ствола, тоже разворачивали, хотя стрелять из нее было нельзя. И все это вместе взятое: танки, выстроившиеся перед деревней, где он только что получал сахар, полуголые батареи, спешно разворачивающие тяжелые пушки, трактор, самостоятельно, без людей идущий по пустой дороге, — все это было как в страшном сне.

Только очутившись за щитом орудия и поймав в перекрестие панорамы танк с широкими, сверкавшими на солнце гусеницами, катившийся на него, как на учениях, Беличенко сразу вспомнил все, что ему следовало делать.

Они подбили этот танк уже вблизи окопов, но остальные ворвались на батарею.

Раненный, отброшенный взрывом, Беличенко видел, как три танка гнали к реке бойцов, стреляя по ним. Тех становилось все меньше, меньше, и вот уже только командир взвода в натальной рубашке и коренастый наводчик второго орудия бежали впереди танков. Потом командир взвода упал, но поднялся и, стоя на коленях, рукой отталкиваясь от земли, пытаясь встать на ноги, грозил кулаком идущим на него танкам и что-то кричал, широко открывая залитый кровью рот.

До реки не добежал никто. К реке вышли танки, остановились на берегу, из них начали выпрыгивать танкисты. Они сбегали под берег, вздымая пыль ногами, и вскоре снизу донеслись их крики и плеск воды: день был жаркий.

Все произошло так быстро, что разум еще не успел забыть одно и свыкнуться с другим. Только что Беличенко ехал на тракторе, кругом был мир и тишина, и он единственно мечтал искупаться. А на батарее дисциплины ради чистили орудия, и бойцы, потные, разгоряченные, спешили кончить, чтобы успеть до обеда сбегать на реку.

И вот они мертвы. Голые по пояс, без рубашек лежат в луговой траве, а в реке купаются немцы. И луг и река теперь ихние.

Те немцы, что искупались уже, сойдясь на огневой, рылись в вещах убитых, разговаривали. Многие даже брюк не надели, расхаживали в мокрых прилипших трусах, босиком, с брызгами воды на теле. Привязав тол к

стволам орудий и отбежав, они подорвали их одно за другим.

Ночью Беличенко уполз в лес. Недалеко от опушки, в овраге, он наткнулся на старшину. Тот лежал на спине, бескровными, холодными руками сжимая на животе слипшуюся в комок гимнастерку, веки его были влажны и вздрагивали. Он глухо стонал.

Посветлевшими от боли глазами глянул на Беличенко, не удивился, сказал только:

— Меня, Саша, в живот ранило... Ног чего-то не чувствую... Будто нет их у меня. Погляди, ноги целы?

Ноги его в красивых хромовых сапогах бессильно, носками врозь лежали на мягкой земле.

Всю ночь Беличенко просидел около него. Было слышно, как по дороге через их огневую шли немецкие машины. Раздавались голоса, резкие сигналы, рычание моторов. Свет фар полосовал темноту: здесь был уже тыл, и немцы не опасались.

Чем больше рассветало, тем серей и бескровней становилось лицо старшины. Он еще раз открыл глаза, уже мутные, с ускользавшим взглядом.

— Ты компас мой возьми... Пригодится.

Беличенко похоронил его на краю оврага и долгим взглядом оглянулся на все вокруг: на деревья, на землю, на небо, стараясь запомнить место, чтобы со временем, вернувшись, узнать его. Не думал он в тот момент, что это только начало, что много раз придется ему запоминать места, где похоронены товарищи.

В эту ночь резко переломилась погода, и к полудню пошел дождь. Лес притих. По вершинам его шуршало, как по крыше, а внизу было сухо, темновато и тепло. Но постепенно деревья начали промокать, с веток капало, и от земли навстречу дождю поднимался пар. Мокрые стволы сосен казались обугленными снизу, будто прошел по ним низовой пожар. У Беличенко промокла повязка, от этого рана в боку болела сильнее.

Весь этот день и всю ночь он шел к фронту, ориентируясь по орудийной стрельбе и ракетам, всходявшим в тумане. Низко над лесом тем же курсом шли на восток тяжело груженные «юнкерсы», слышно было, как они гудят над вершинами сосен.

Утро следующего дня было пасмурное. Дождь перестал, но все вокруг было полно ожиданием дождя, и деревья, просыхая, осторожно шумели на ветру. Где-то сту-

чал топор, звук разносился по лесу. Беличенко вначале свернул вглубь, но передумал и пошел на звук.

На дороге стояла крытая брезентом высокая немецкая фура с невыпряженными конями. Два немца прилаживали к ней колесо. Прячась за кустами, Беличенко осмотрелся. Прямо за дорогой тянулось болото. Между бурными кочками лоснилась ржавая вода. Над болотом молочной дымкой стлался туман.

«Места подходящие,— подумал Беличенко, осматриваясь.— Тут и крикнешь — не услышит никто».

Лежа на животе, он бесшумно стащил с плеча автомат. В это время один немец нырнул под повозку. Время шло. Вода подступала к телу. Наконец немец вылез, стряхнул с мокрых рук грязь, обтер их полой шинели и полез в протянутую товарищем пачку, поровня ухватить сигарету. Он стоял спиной, и Беличенко была видна его лоснящаяся от пота, выбритая щека. Зачем-то Беличенко подождал, пока он вынет сигарету, и тогда дал по нему короткую очередь, начиная ею длинный счет.

Другой немец, бросив сигареты, кинулся за повозку. Беличенко выстрелил. Немец метнулся к болоту. Он бежал по кочкам, оскользался, по щиколотку увязал в трясине, мокрые полы шинели хлестали по его ногам. Беличенко подержал его на мушке, но еще раньше откуда-то справа, из кустов, раздалась очередь.

Они одновременно вышли на дорогу: Беличенко и пешотинец, стрелявший по немцу. Он поднял с земли пачку сигарет, обтер о шинель и протянул Беличенко, угощая. Он был высок, жилист и небрит: шея, кадык — все заросло черно-рыжей щетиной.

Они закурили. В сыром воздухе табачный дым стлался понизу и не таял.

Повозка была с шинелями, одну шинель Беличенко надел на себя; под сиденьем они отыскиали хлеб, несколько банок консервов, все это запихнули в немецкий ранец с рыжим телячьим верхом. У солдата был немецкий автомат. Беличенко тоже взял автомат убитого, запаса патронов: надо было переходить на немецкое снабжение.

Отойдя с километр в глубь леса, они сели под кустом; солдат вытащил из-за обмотки соскучившуюся без дела алюминиевую ложку. Беличенко достал нож.

Хлеб, который они ели сейчас, был их хлеб. И мясо в консервах было ихнее. Только упаковка немецкая. И лес вокруг, и вся земля здесь тоже были ихние. И вот на

своей земле они вынуждены были прятаться, оружием добывать пропитание.

Сняв сапоги, зло и туго наматывая портянку, Беличенко сказал:

— Ничего! Поглядим, как оно дальше попляшет.

Он уже понимал, что дорога предстоит им длинная: в эту ночь не слышно было орудийной стрельбы — так отодвинулся фронт. Но как бы ни была длинна и горька эта дорога, он всю ее намеревался пройти и только опасался, чтоб не подвела его рана, не загноилась бы. Он попросил солдата перевязать. Тот размотал бинт, внимательно оглядел рану; Беличенко сидел с рубашкой, задранной на голову.

— Так,— сказал солдат,— значит, есть первая отметина. Вот он, осколок, меж ребер сидит. Дышать не дает?

— Не дает.

— Я ж вижу,— сказал тот удовлетворенно и начал бинтовать. Потом, помогая одеться, добавил: — Перебитая кость крепче срастается.

Это была его любимая присказка. И еще, переобуваясь, разглаживая и натягивая на портянке каждую складочку, он всегда повторял:

— Мозоль не пуля, а с ног валит.

Так они встретились с Архиповым, вместе начали свой путь на восток, лицом к восходящему солнцу. Каждое утро оно всходило далеко от них, за орудийной стрельбой, за фронтами, за самым краем земли.

Иногда они видели дороги отступления. Раскрытые, выпотрошенные чемоданы, втопанное в грязь тряпье, раздавленные повозки. На одной из таких дорог в кювете лежала маленькая чистенькая старушка в полосатых, кольцами, домашней вязки чулках, в мужских башмаках, с холщовым, выстиранным в дорогу вещевым мешком за плечами — в нем тоже рылись. Она уходила от войны, война прокатилась мимо, оставив на дороге рваные, затекавшие дождем следы гусениц, скинула ее в кювет, и она лежала здесь, чья-то мать.

Синими утрами они видели русские деревни, дымы над трубами. Они смотрели на них из лесу, издали.

В одно такое утро Беличенко умывался из лужи, и сухой лист упал на воду. Это уже была осень. И трава вокруг стояла поблекшая, водянистая: ночью первый морозец прихватил и обесцветил ее. Беличенко глянул на Архипова, на солдат разных частей, разных полков, при-

ставших к ним за это время, — обносившиеся, худые, с нездоровыми лицами, оттого что шинели и сапоги по суткам не просыхали на них, они после ночи похода располагались в лесу: тащили хворост, разжигали костры, курили натошак и кашляли. Мысленно смерил он весь огромный пройденный ими путь, по которому со временем идти обратно, и впервые понял, что война будет долгая, не на год, не на два.

В это утро на бойкой дороге, по которой пулей проскакивали немецкие связные на мотоциклах, они натянули на уровне груди телефонный провод. И вскоре связной, вырванный из седла, тяжело ударился о дорогу и забился под навалившимися на него людьми, выскочившими из-за деревьев. Они смотали кабель, подхватили мотоцикл, связного и унесли их в лес.

Здесь Беличенко развернул добытую у мотоциклиста карту. Сидя на земле в накинутой на плечи немецкой шинели, он внимательно разглядывал ее. И солдаты, столпившись, тоже смотрели из-за его спины.

Странная это была карта для их глаз. Русские названия деревень, написанные по-немецки, переименованные русские реки, и над всем этим — *Russland*. Не Россия, не Советский Союз — *Russland*.

Они передавали друг другу это немецкое слово и с недобрым любопытством поглядывали на пленного. Он сидел под молодым кустом орешника и ладонью трогал сочащуюся кровью всю в пыли щеку, которую разбил при падении. В нем еще не остыло возбуждение недавней борьбы; сгоряча он мог и умереть смело, и совершить любой смелый поступок. Но по мере того как возбуждение проходило, все неуверенней и тревожней становилось ему; он начинал сознавать себя пленным. При нем бензин из его мотоцикла разливали по зажигалкам. Но особенно пугал его молодой смуглый русский в немецкой шинели, разглядывавший карту. Он, видимо, командовал этими людьми. Мотоциклист косился на немецкую шинель, снятую, наверное, с убитого, и ему делалось жутко.

Только один раз глянул на него Беличенко темными от ненависти глазами. Все пережитое за это время — разгром батареи, немецкие танки, гнавшие по лугу к реке бойцов; раненный командир взвода в пательной рубашке и то, как он пытался встать с земли; старая женщина в кювете; деревни синими утрами, мимо которых они шли голодные, — сквозь все это смотрел он на немца, и ни

жалости, ни пощады не было в его душе — одна ненависть.

Они с Архиповым потеряли друг друга глубокой осенью, когда вброд переходили начавшую уже замерзать речушку, последнюю на пути к своим. Архипов с бойцами шел впереди. Беличенко прикрывал. Раненный вторично, мокрый по пояс, он, отстреливаясь, перешел реку последним, расталкивая вокруг себя прикладом автомата плывущий лед. Когда, выбрался на песок, словно солью покрытый изморозью, лег лицом вниз. Не было сил, не было патронов в автомате. Вода текла с него и замерзала. На той стороне подошел к берегу немецкий танк и стрелял в темноте огненными болванками.

Было это осенью горького сорок первого года, и вот когда только пришлось встретиться. Много же времени минуло с тех пор, если Архипов даже не узнал Беличенко в первый момент.

Вскоре Архипов привел остальных пехотинцев. Каждый из них притащил с собой по две, по три винтовки и по тощему вещевому мешку.

И вот они снова воевали рядом. Из тех, кто шел тогда с ними дорогой отступления, не многие, наверно, остались в живых. Во всяком случае, на батарее не было почти никого, кто бы, как Беличенко и Архипов, в первые месяцы с боями отходил от самой границы, а потом шел по следам немецкого нашествия, отбившись от части, без патронов, без хлеба — только вера и ненависть держали их в те дни. Они оглянулись в прошлое и почувствовали себя самыми старыми здесь. Не годами — памятью, опытом. Солдаты, окружавшие их, позже начали войну, иные уже здесь только, за границей.

У немцев выстрелило орудие, и возник звук летящего снаряда. Солдаты прислушались. Беличенко заметил: никто не бросил своего дела. Тот солдат, что нес на плече снарядный ящик, продолжал идти с ним, только повернул голову на звук. И другой, откапывавший обрушенный ровик, на какую-то малую долю времени задержал на весу лопату и выкинул землю на бруствер. Им еще предстояло воевать, и они не спешили тревожиться попусту. Сразу определив, что снаряд пошел дальше, они только прислушивались, не начало ли это артподготовки.

Опыт, ценою жизни добывавшийся в сорок первом году, передался им; они заканчивали то, что начато было другими.

Ночью Беличенко сменил огневые позиции: старые были уже пристреляны. Но и на новое место к нему все шли люди, те, кому трудно становилось держаться в одиночку. Кость снова и снова мясом обрастала.

ГЛАВА X

НОЧЬ НА ЮЖНОЙ ОКРАИНЕ

Писарь Леонтьев и Горошко добрались на батарею в тот самый момент, когда там кончился немецкий артналет. Осела пыль, развеялся дым, но еще не улеглось то возбужденное состояние, какое наступает после длительного напряжения нервов. Около орудия, размахивая руками и дергая шеей, стоял солдат с растерянным и одновременно счастливым лицом, говорил, сбиваясь на крик:

— Только мы по ложке зачерпнули, ко рту несем, когда — снаряд! И откуда он, скажи, взялся, даже не слышал никто...

— Свой снаряд никогда не услышишь, — с удовольствием, словно разговор шел о вещах приятных, подтвердил командир орудия. — Чужой издаля слышно, а который в тебя, тот молчком летит.

— Ну да, ну да, — не расслышав, закивал солдат. — Пообедать думали. Только ложку зачерпнул, ко рту несу, ка-ак сверкнет! Меня об стену вдарило — огни в глазах увидал. Гусев: «Ох-ох! Ох-ох!» Пока я к нему кинулся — готов уже. А Кравчук и не копнулся. А я посередке сидел...

И он снова принимался осматривать и ощупывать на себе шинель, сплошь иссеченную осколками, поражаясь не тому, что убило обоих его товарищей, а что сам он остался жив.

Он был контужен. Оттого и кричал и дергал шеей. Все видели это, и только сам он в горячах не замечал еще.

В другом конце окопа Архипов, стоя на коленях, перевязывал раненого, совсем молодого паренька. Тот глядел на него круглыми испуганными глазами и стонал не столько от боли, как от ожидания, что вот она сейчас начнется, самая боль. Архипов понимал это и говорил с ним, как с маленьким:

— Таких солдат, чтоб вовсе не ранило, на свете не бывает. В пехотинца эти осколки да пули столько раз стучаются, что под конец уж отскакивать начинают.

Он кончил бинтовать, сделал узел и сказал, довольный своей работой:

— Ну вот. Носи, солдат. Перебитая кость крепче срастается.

Недалеко от них красавец сержант Орлов, пришедший с той батареей, которую днем уничтожили танки, лениво опершись спиной о бруствер окопа, настраивал гитару. Неожиданно все услышали приближающийся вой мины. В орудийном окопе произошло быстрое движение и стихло. Прежде чем мина разорвалась, в последний, привычно угаданный момент — не раньше и не позже — Архипов пригнулся, заслонив собой раненого. Один Орлов остался стоять, как стоял: в ленивой позе, спиной к разрыву. Только пальцы его задержались на струнах.

Архипов с сомнением посмотрел на него.

— Чего глядишь, друг? — крикнул Орлов, шурясь.

— Смелый ты парень, вот чего я гляжу. А мина, она же дура, слепая. Она ничего этого не видит, чинов-орденов не разбирает.

Орлов усмехнулся, поднял с земли еще теплый осколок, взвесил на руке. Заговорил насмешливо:

— Он за войну столько металла на меня извел — трем академикам не подсчитать. Если весь этот металлолом собрать да в дело пустить, на танковую дивизию хватит. Так что считай — из-за меня у немцев одной танковой дивизией меньше. Понял теперь?

Увидев вокруг столько людей, пушки, Леонтьев, как всякий человек, не понимающий обстановки, почувствовал себя в безопасности. Особенно после страха, которого он натерпелся, пока шли по городу.

Прежде всего он отыскал комбата. Беличенко стоял на краю ровика, нагнув голову в сдвинутой на затылок белой кубанке, кричал в телефонную трубку:

— Гуркин! Гуркин! Где ты пропал совсем?

Левую вытянутую руку его, жилистую и в темноте очень белую, перевязывала Тоня, едва достававшая ему до плеча. А из ровика снизу смотрел на командира батареи телефонист, сидевший на корточках, по лицу его старался определить: бежать по связи или еще обождать можно?

— Гуркин? — быстро спросил Беличенко и нетерпеливо оглянулся на Тоню, словно она была причиной того, что ему не отвечали.

Но Тоня, зубами затягивая бинт, легла на его руку щекой, и он позвал в телефонную трубку с внезапной нежностью:

— Гуркин... Гуркин? Что ж ты молчал?

Телефонист облегченно вздохнул. Прижимая трубку плечом к уху, Беличенко здоровой рукой поспешно откалывал на раненой рукав и поглядывал вперед орудия. Застегнул пуговицы. Со спицы его сползла шинель. Он подхватил ее.

— Так!

За полем уже возникла автоматная стрельба.

— Так, так... Так что ж ты...

Беличенко пробовал продеть руку в рукав шинели — рукав перекрутился, — он требовательно глянул на Тоню, не успевшую помочь.

— Пропускай танки на меня! — заорал он в трубку. — Пехоту, автоматчиков прижми к земле!

Услышав страшное слово «танки», да еще чтоб их пропускали, Леонтьев выскочил вперед, желая предупредить скорей, успеть.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан Беличенко!

Беличенко обернулся на этот испуганный голос. Держа трубку в руке, как молоток, двинулся к Леонтьеву.

— А ну, марш! Марш к орудию!

От неожиданности Леонтьев растерялся. После уж он почувствовал себя оскорбленным. Он хотел предупредить, сделать лучше — зачем на него кричать! У него всегда были с Беличенко хорошие отношения. Когда Беличенко представляли к ордену, Леонтьев, как только узнал, сообщил ему по секрету. Он не имел права делать этого, но он все же сообщил.

И он обиженно косился на него от орудия. Но хотя он и косился, в душе он был даже доволен, почувствовав над собой твердую руку. И он охотно переложил с себя на Беличенко ответственность за все, в том числе и за свою собственную жизнь.

— Что? — спросил Беличенко, подозвав Ваню Горошко и все еще хмурясь.

Тот передал приказание командира полка. Беличенко глянул на поле впереди орудий. Там уже сильно слышна была автоматная стрельба. Сняться сейчас с позиций —

танки могут догнать на походе. А главное — не мог он бросить пехоту, которая уже вступила в бой.

Он взял Горошко за локоть:

— Пришел, блудный сын?

И улыбнулся усталой улыбкой. С минуту смотрел в лицо ему.

— А ведь я тебя опять пошлю.

Ваня потемнел.

— Что ж, товарищ капитан, и тот раз меня, и опять в тыл меня же...

— Да не в тыл, чудак ты. И где он, тыл, вообще? — Беличенко взял из Ваниной руки окурок, который тот деликатно держал за спиной, затянулся несколько раз подряд.

Рядом с Горошко он оказался большим, широким.

— Тут без тебя на нас вон оттуда танки пошли. — Он кивнул подбородком в сторону садов. — Если б мы там не заминировали — хана нам. Да еще Орлов подбил один танк гранатой.

И Беличенко одобрительно глянул на красивого сержанта с гитарой; тот, как бы не слыша, с величайшим вниманием продолжал на слух подтягивать струну.

— Вот тебе и тыл.

Говоря это, Беличенко все время шевелил затекшими пальцами раненой, болевшей руки. Вдруг поморщился: неловкое движение отдалось сильной болью. Он бросил догоревший окурок.

— Видишь скирды на поле?

Впереди на зимнем, озаряемом вспышками небе, как два дома, темнели скирды.

— Поджечь их надо, когда танки пойдут. А ты говоришь — тыл.

Он держал Ваню за локоть. Так уж получается на войне, что в самые опасные места посылаешь самых дорогих тебе, самых верных людей.

— Возьмешь пару бутылок с зажигательной смесью. Новый у нас старшина приبلудился, у него возьмешь.

А совсем другие слова надо было бы говорить сейчас. Только эти слова почему-то всегда говорить неловко. Он все держал Ваню за локоть, и тот чувствовал себя стесненно.

Помахивая в руке гитарой, подошел Орлов, герой дня. Услышав, о чем разговор, покровительственно оглядел Ваню, подмигнул:

— Когда ни помирать, все равно день терять — так говорю?

Беличенко не любил развязных людей. Он сердито по-дождал, пока Орлов уйдет, тогда уж простился с ординарцем.

— Ну, иди, — сказал он. — Помни: ждать буду. Иди.

Горошко понимал, что это означает: поджечь скирды и осветить все вокруг, когда пойдут танки. Когда тапки идут, все живое стремится стать незаметным. О плохом Ваня не думал, но вообще-то всякое бывает на фронте. И поэтому, найдя старшину, он первым делом сказал доверительно:

— Старшина, я тут гимнастерку комбата отдал одной венгерке стирать. Еще когда мы только стали тут. Шерстяная гимнастерка, новая совсем. В случае чего, забеги возьми, я дом укажу.

Новый старшина, принявший остатки хозяйства, был рыжеусый, бравый, гвардейского вида. Ничем он не напоминал Пономарева. И только одно у них было общее: так же, как Пономарев, он больше всего на свете не терпел потерь и убытков. Вот эту черту сразу заметили бойцы, и как-то даже приятна была она им сейчас. Та самая черта, за которую при жизни больше всего в душе и вслух ругали Пономарева.

Услышав, что недостает еще гимнастерки, старшина, весь день видевший одни убытки и разрушения, набросился на Горошко, не разобрав дела:

— То есть как так отдал? Как так возьми, говорю?

Горошко поглядел — не в себе человек. И пошел искать кого-либо из разведчиков. Встретился Семынин, самый здоровый и самый ленивый из всех. Три дня назад Горошко поссорился с ним: Семынин закоптил его котелок и не почистил. В другое время он бы не обратился к нему — характер у Вани был. Но сейчас выбирать не приходилось. И, давая понять, что прошлое забыто, он рассказал ему свое дело и попросил:

— Будь другом, забеги, если отходить станете. А то гимнастерка, понимаешь, новая, комбат как раз любит ее.

— А сам-то ты что? — удивился Семынин. — Сам чего не можешь?

Горошко потушился.

— Да видишь, так дело выходит... Словом, не по пути мне.

— В штаб, что ли, опять отправляют?

— Ага.

— Так ты так бы и сказал. Ладно уж, возьму,— согласился Семынин, потому что в общем-то он был человек великодушный.

И Горошко ушел. Он вылез за бруствер окопа, глубже натянул ушанку и бегом, пригибаясь, двинулся по полю навстречу стрельбе. Над полем, как искры на ветру, в разные стороны летали трассирующие пули. Но не столько берегся он пуль, как опасался, не упасть бы. С ним были стеклянные бутылки с зажигательной смесью, а он не доверял им.

При свете взлетающих ракет с батареей еще некоторое время была видна перебегающая, все удаляющаяся одинокая фигура. Расчеты обеих орудий, стоявших метрах в полтораста друг от друга, смотрели вслед Горошко и, когда смыкалась темнота, ждали, чтобы вновь взлетела ракета. Но вот ракета взлетела, а поле было пусто, только впереди орудий качались под ветром кусты и тени их на снегу. Горошко пропал. Успел добежать или немецкая пуля нашла его? Стога все не загорались, и только усилившаяся стрельба приблизилась как будто. Менявшийся ветер носил над полем рокот моторов танков, они слышны были то с фланга, то рядом совсем, то исчезали.

Стоя возле орудия, Беличенко прислушивался к головам солдат. Они сидели на земле в окопе, пушка заслоняла их, и он только слышал разговоры.

— Это нас приказ ссадил с машин, а то были бы мы сейчас за Дунаем на формировке, в баньке парились бы. А вы б тут воевали,— оживленно говорил разбитной солдатик, пришедший вместе с Архиповым. Как бы платя за гостеприимство, он ко всем поворачивался, довольный, и голос его то затихал, то усиливался.— Это на полчаса приказу опоздать или бы немец погодил с наступлением — и все, читали бы мы про вас сводки. Мы уже по машинам сидели.

Заряжающий Никонов — комбат определил его по густому, табачному голосу — спросил:

— Чего же вы сюда шли в таком разе? Семеро вас осталось, ни начальства над вами, ни приказа — топали б за Дунай. Кто вас неволил?

— Кто? — бойко, весело засмеялся пехотинец.— Будто сам не знаешь кто? Я, если знать хочешь, имею право вовсе не участвовать.

— То есть как же это ты имеешь право?

— А так. Могу на законном основании сидеть в тылу.— Он подождал, пока всем любопытно станет.— У меня грудь куриная.

Солдата с «куриной» грудью и Беличенко встречал впервые. Ему стало интересно. Но он продолжал стоять на своем месте и слушать. А там сразу несколько голосов спросили озадаченно:

— Чего это?

— Грудь, говорю, куриная. Можете пощупать, если сомневаетесь.

Стало тихо. Видимо, в самом деле щупали.

— Меня четыре медкомиссии отставили,— весело хвастался пехотинец, пока остальные удостоверяться не оцупь.

Потом незнакомый голос, принадлежавший человеку пожилому, сказал:

— Грудь куриная, а не летаешь. Так, может, ты не сешься?

И все засмеялись.

«Все же веселый мы народ,— подумал Беличенко.— Из тех, что сейчас смеются, после боя, может, и половины не останется. И знают они это, и все же шутка у нас не переводится. А если в душу к любому заглянуть, что он несет в ней?..»

Словно подтверждая его мысли, тот же пожилой голос заговорил:

— А вот мне, ребята, через свой дом припало идти. Как посмотрел — до сих пор вижу. Хутор наш на горе стоит, место сухое, веселое. Внизу речка. Весной, как садам цвести, не хвалясь скажу, лучше нашего места не видел... Вот так он одной улицей прошел — нет улицы. А по другой не успел факельщиков пустить, тут наши его нажали. Так на той улице все деревья целые, все листочки на них зеленые. Поглядел я, как мои четверо у соседей жмутся, да и пошел дальше войну догонять. Что сделаешь? А я плотник, я хороший могу дом поставить... Как они там без меня справляются?

— Что дом! — перебил пехотинец с «куриной» грудью.— Это все отец перед войной копил, все старался, хотел новый дом поставить. Пока строили, так он вокруг все похаживает до подкладывает, с плотниками говорит уважительно, чтоб не обиделся. Отец хозяин был. Поставили, первый раз печь затопили, сели завтракать. Отец, как полагается, поллитровку на стол. «Ну, говорит,

дом поставили, теперь будем жить». И только он это сказал, девчонка наша вбегает с улицы: «Батя, война!» Было это двадцать второго июня, а еще июль не кончился, мать уже на него похоронную получила. Мне лично домов не жалко, мне только людей жаль.

Ветер явственно донес рокот танковых моторов, и солдаты некоторое время прислушивались. Из темноты по двое, по одному стали выбегать пехотинцы. Некоторые на бегу оглядывались, стреляли куда-то назад и вверх и бежали дальше, минуя батарею.

— Что делают, что делают, сволочи! — наблюдая за пехотинцами, с гневом и презрением повторял Никонов.

Солдаты уже не разговаривали, а стоя смотрели на отступавшую пехоту. Слева, из-за садов, осветив их короткими вспышками, ударила минометная батарея, и четыре огненных разрыва встали впереди. Минометчики повторили залп, еще и еще. Оттого, что бойцы у пушек ничего не делали, а только ждали, тревога, возникшая при виде отступавшей пехоты, усилилась.

Телефонист, до сих пор сидевший спокойно, стал вызывать командира батальона.

— «Каспия»! «Каспия»! — повторял он все более встревоженным голосом. Ему страшно было идти под разрывы, откуда бежали пехотинцы, и все свое желание жить он вкладывал в это «Каспия».

Но Беличенко глянул на него, и связист строго сказал напарнику:

— Посиди-ка, я сбегаю.

И, взяв катушку в одну руку, побежал по проводу, тяжело топая сапогами, носки которых он ставил вовнутрь.

Тоня видела, как Беличенко поглядывает на часы, уже несколько раз он оборачивался, будто ища кого-то, и, тотчас же забыв, начинал опять смотреть на поле впереди орудий. Брови сдвинуты, глубокая поперечная морщина разделила их, рот отвердел, и все лицо жесткое, неприязненное. Господи, если бы он понимал, какой он родной сейчас.

— Ты что? — спросил Беличенко, заметив ее рядом и глянув на нее рассеянными глазами.

Вдруг далеко впереди вспыхнуло, огонь взлетел по соломке вверх и исчез. На горящем снегу стояла скирда, белый дым густо валил от нее. Опять пыхнуло, и опять дым задушил огонь. Но вот пламя дохнуло из середины,

охватило скирду, и лица бойцов на батарее смутно осветились. Это Горошко подал о себе весть.

Отовсюду к горящей скирде потянулись трассы пуль. И несколько групп пехотинцев, попавших в свет, пригибаясь, шарахнулись в стороны, стреляя назад. Из темноты, сбоку, будто огненный глаз засверкал. Вскрикнув, светящихся огненных пуль рассеялся над головами бегущих, и все услышали грубый стук тапкового пулемета.

— Танки! — оборачиваясь, закричал наводчик, мгновенно побледнев, одни темные глаза остались на лице.

С внезапно вскипевшей злобой Беличенко оттолкнул его.

— На танки не глядят, их бьют!

Вспыхнула другая скирда, и стал виден танк, озаренный сбоку. Он шел стороной, длинная пушка его, красная от пламени, покачивалась. И еще несколько танков показалось на свет, гусеницы их кроваво блестели. Впереди падали и догорали на снегу ракеты.

Беличенко выбрал первый. Неотрывно следя в панораму, наводил орудие. Воротник гимнастерки давил горло. Расстегнул его, всей потной шеей ощутив холод и ветер. Стало легче дышать. От напряжения глаз заливало слезой. Беличенко отер его, поглядел на темное, давая глазам успокоиться, и, когда вновь глянул в панораму, танк наползал на перекрестие. Он взял небольшое упреждение и выстрелил.

Рывнуло, оглушило орудие. Открыли замок, и теплый пар, пахнувший порохом, пронесло мимо лица.

— Снаряд! — крикнул Беличенко.

Окутавшись бензиновым дымом, взрычав так, что здесь было слышно, танк развернулся на орудие, стреляя из пушки.

Беличенко стоял уже без шпнели, без пояса, в одной расстегнутой гимнастерке и кубанке на потной голове.

Крепко расставив ноги, прижавшись бровью к глазку панорамы, целился. Вдруг все закричали, раздался взрыв, и снег перед танком осветился. Но Беличенко не успел ничего понять: в этот момент он выстрелил. Весь подавшись вперед, душевным усилием помогая снаряду лететь, он увидел, как сверкнуло и взвихренный снег накрыл танк. Когда облако осело, танк стоял совершенно целый, только башня покривилась. Беличенко разогнулся. На поле горели еще два танка, и множество копеч, прежде не видных, выступили теперь на свет. Еще вставали запозда-

тые разрывы, но ни танков, ни пехоты немецкой не было. И пелена страшного напряжения упала с глаз. Беличенко вытер лоб кубанкой, снова надел ее:

— Дайте закурить.

Он наклонился над солдатскими ладонями, пахнувшими от снарядов железом и порохом, — в них бился зажатый огонек — и радостной была первая затяжка. А вокруг, света папиросками, солдаты громкими голосами рассказывали подробности боя. Беличенко слушал с недоверчивой улыбкой: он ничего этого не видел. Он этот раз был за наводчика и из всего боя видел танк в стекле панорамы.

Опершись спиной о щит орудия, который во многих местах был пробит крупными осколками, он стоял горячий, в распоясанной гимнастерке, точно хорошо поработавший плотник. Но чья-то рука уже застегивала пуговицы у него на груди. Конечно же, это Тоня. Кроме пуль, танков, снарядов и мин, оказывается, есть на фронте и такая опасность: простудиться. Он сверху смотрел на ее подымавшуюся от пуговицы к пуговице руку. А Тоня, пользуясь моментом, накидывает ему на плечи шинель.

— Ты потный, остынешь. — Смотрит повязку. — У тебя кровь на бинтах, — говорит она.

В самом деле, кровь. И он начинает чувствовать, как болит рука.

Он берет у телефониста трубку и вызывает Назарова. До второго орудия метров сто пятьдесят, так что голос слышно и в трубку, и простым ухом.

— Назаров? Живой? Хорошо стрелял... За танк спасибо. Не ты подбил?.. А кто?

И Тоня, и батарейцы смотрят на Беличенко и ждут. Им тоже интересно знать, кто подбил второй танк. Но комбат сузившимися глазами глядит поверх голов и вдруг кричит яростно:

— Танки слева! По танкам слева прямой наводкой...

Пехотинец бежал, согнувшись, метя по снегу полями шинели, сильно припадая на левую ногу. Лицо смято страхом, глаза одичалые.

— Стой! — крикнул Горошко.

Пехотинец обернулся, выстрелил назад куда-то и побежал дальше. Горошко дал над его головой очередь.

— Стой!

Пехотинец как бежал — присел, увидев Горошко, охотно прыгнул к нему в окоп. Сел на землю, озираясь.

— Куда бежал?

— Все бегут...

При свете горящей скирды Горошко разглядел его. Солдат был смиренного вида. Глубоко насунутая ушанка примяла уши, они покорно торчали вниз; лицо небритое, глаза томящиеся, светлые.

— Как то есть все бегут? — продолжал сурово допрашивать Горошко, поскольку дальше собирался попросить закурить. — Я вот не бегу.

— А ты что же делаешь здесь? — робко спросил пехотинец.

— Наблюдаю. — И Горошко широко показал рукой.

На пехотинца это произвело сильное впечатление. Раз среди такого страха и грома человек сидит, приставленный к делу, значит, знает. И даже само место, где он сидел, показалось надежным. Он охотно подчинился.

— Закурить есть? — спросил Горошко.

— А увидит.

— Кто?

— Да он.

— Разуй глаза. Где он? Нет, ты выгляни, выгляни.

Но пехотинец не выглянул. Он и так насмотрелся достаточно, век бы всего этого не видеть.

— Милый человек! — сказал он с чувством, радуясь внезапно обретенной безопасности. — Мы же все пуганые, стреляные. Одно слово: пехота... Комбат кричит: «Пропускай танки над собой!» Артюхов, сосед мой, высунулся из окопа с гранатой — тут его танк и срубил пулеметом. Я уж сжался, сажу. Как его не пропустишь? Господи, ведь этак один раз испытываешь, другой раз не захочется. Как он надо мной пронесся, как опажнул жаром.

И в робких глазах его опять плеснулся пережитый ужас.

— Вот ведь как ты немца боишься, — сказал Горошко. — А он, между прочим, сам тебя боится.

Пехотинец принял это, как вроде бы посмеялись над ним. Он ничего не ответил.

— Ладно уж, кури, — разрешил Горошко, возвращая кисет. — Я тебя, можно сказать, ради табака и остановил. Вижу, солдат шибко бежит и не в себе как будто, ну, думаю, этот не успел табачок свой искурить.

Горошко щелкнул зажигалкой, поднес огонек пехотинцу и следом за ним прикурил сам. Они сидели в одном окопе, два солдата. Тревожное, озаренное небо было над ними, и воздух вздрагивал от мощных толчков. Горошко несколько раз затаился и выглянул; пехотинец остался сидеть, как сидел, во всем охотно положившись на него, поскольку на себя самого не полагался.

Отсюда бой был виден иначе, чем с батареи. Метрах в пятидесяти от окопа жарко горела скирда соломы. За ней по самому краю поля мчались три низких танка, точно три дымовые завесы, оставляя за собой взвихренный снег, освещавшийся пламенем. А навстречу им длинными молниями вспыхивали залпы орудий.

Собственно, Горошко мог бы уже возвращаться: стога он поджег. Но, обученный действовать в одиночку, надеяться главным образом на себя и на свой автомат, он не очень смущался, что вокруг уже не было наших. Поглядывая с интересом на появившиеся в пламени пожара каски немецкой цепи, он рассчитывал, что уйти успеет.

Подпустив немцев поближе, он дал по ним очередь.

— Что ж ты? Как же ты проглядел, а? Отражать теперь надо, — вскочив, в растерянности говорил пехотинец, суется и забывая про свой автомат.

— Стреляй! — крикнул Горошко. Лицо его дрожало вместе с прижатым к щеке прикладом, один глаз при свете пламени блестел зло и весело. — Стреляй, говорю!

Вот тут, за их спинами, словно несколько паровозов сразу стали выпускать пары, «катюша» дала залп через город. Воздух над головами наполнился шумом: это, набирая высоту, неслись огненные кометы. Пехотинец упал, но Горошко, сразу сообразив, дернул его:

— Бежим!

Под прикрытием залпа они выскочили из окопа, перебежали освещенное место и уже в кукурузе упали. Когда оглянулись назад, в стороне немцев возник город из огня и клубящегося над ним раскаленного дыма. Потом земля, на которой они лежали, задрожала, как живая, и грохотанием наполнился воздух.

Горошко глядел на все это азартными глазами и откусывал зажатый в кулаке снег.

— Господи, идем, что тут смотреть, — тянул его пехотинец. — Небо вои и то все в огне. Идем, пока живые.

Огненный город погас так же мгновенно, как и возник. Только белый дым, разрастаясь, подымался в небо.

— Ты сколько воюешь? — спросил Горошко и бить откусил снег крепкими зубами. Ему было жарко, снег таял от его горячей руки.

— Месяц воюю. Месяц целый без отдыха, — пожаловался пехотинец, беспokoйно оглядываясь.

Над ними шелестели мертвые листья кукурузы, все вытянутые ветром в одну сторону. Слабо освещенные отблеском пожара, они казались теплыми. Горошко глянул на пехотинца и при этом смутном свете увидел его томящиеся глаза. И хотя пехотинцу было порядком за сорок, девятнадцатилетний Ваня почувствовал вдруг ответственность за этого человека, словно был старше его.

— Пойдем, — сказал он, встав с земли, и поправил на плече автомат.

И они пошли под уклон, скользя сапогами, хватаясь за стебли кукурузы, чтоб не упасть. Низкое зимнее небо было багрово освещено с земли, на которой шел бой. По временам за бугром вспыхивало ярче, кукуруза наполнялась множеством тревожно шевелящихся тешей, и грохот раздавался позади.

— Пойдем, пойдем уж, — торопил пехотинец, полагая, что они удаляются от боя, а на самом деле вслед за Горошко шел на батарею, в самый что ни на есть бой. Но если бы даже узнал он, куда идет, вряд ли бы он решился отстать от Горошко: одному ему сейчас было еще страшней.

Они подходили уже к садам, и там вовсе близко было до батареи, когда чуткое ухо разведчика среди звуков боя отличило с наветренной стороны негромкие голоса и приглушенное рокотание мотора, работавшего на малых оборотах.

— Пойдем, чего тебе тут интересного? — видя, что Горошко опять останавливается, испугался пехотинец.

Но тот скинул с плеча автомат и на мягких ногах неслышно перебежал к кустам, присел и увидел, как с бугра, хорошо заметный на озаренном небе, спускается темный танк. Вокруг него суетились черные фигуры людей. «Немцы!» Пока батарея вела бой, они неслышно выходили ей в тыл.

На гребне показалась еще пушка, задрапная в небо, и блеснули гусеницы второго танка, переваливавшего бугор. Горошко схватил пехотинца за отвороты шинели, пригнул к себе, заговорил, дыша в лицо ему:

— Слушай меня. Вспышки видишь? Это наша батарея стреляет. Они там ведут бой, а тут им танки с тыла заходят. Понял? Тише, говорю! Понял, что получается? Беги на батарею, скажи, а я пока задержу их. Беги все садями. Потом овражек будет, он тебя и выведет на батарею.

Он говорил это и изредка встряхивал пехотинца, чтоб тот лучше понимал. Как только отпустил его, тот зашептал жарким, захлебывающимся шепотом:

— Бежим вместе. Вместе мы скоро! Их вон сколько, что ты против них можешь? Бежим, милый человек.

— Ты пойдешь или нет? — спросил Горошко и вскинул автомат. — Пойдешь, говорю?

Пехотинец хотел еще сказать что-то, но вместо этого сморщился горько, повернулся и побежал, пригибаясь. А Горошко уже знал, что будет делать. С ним не было ни гранат, ни бутылок с горючим — один автомат был с ним. Он будет стрелять и перебегать с места на место, завяжет бой. Танки не захотят себя обнаружить. А в случае чего он подожжет стожок сена у самых садов.

Горошко лег в кустах, разбросав ноги. Под локоть ему попался камушек. Он отбросил его, чтобы руке был упор. Немцы сбегали с бугра и сразу исчезали в темноте, как только головы их опускались ниже гребня. Но те, что вновь появлялись на бугре, были хорошо видны на фоне зарева. И Горошко дал очередь.

Перебегая, он обнаружил, что пехотинец бежит за ним следом, как жеребенок за маткой. Боялся ли он один или его не хотел бросать, Горошко не понял и понять не успел. С танка ударил пулемет, снег под ногами замелькал красным, зеленым, синим. Когда Горошко поднялся и побежал, пехотинец остался лежать лицом вниз. Ваня окликнул его; тот не отвечал и не шевелился. Опять ударил пулемет с танка. Огненные струи прижали Горошко к земле, перед лицом мгновенными вспышками освещались маленькие елочки, торчащие из-под снега.

Теперь он полз к стогу. Лежа надергал сена — оно резко пахло на морозе, — достал зажигалку. Огонек задувало ветром. И едва только мелькнул он, как на свет ударили из автоматов. Немцы подбегали, и передние были уже близко. Лежа на животе, Ваня дал по ним очередь. Внезапно автомат смолк: кончились патроны. Он взглядом смерил расстояние до убитого пехотинца и понял, что если и успеет взять у него автомат, то стог уже не сможет поджечь. Тогда он расстегнул телогрейку и, за-

слонясь от ветра, зажег пучок сена. Крошечные огоньки врозь побежали по сухим травинкам и погасли один за другим. Спеша, Ваня полез в карман гимнастерки. Пальцы его наткнулись на какие-то бумаги. Это были те самые письма, которые Ваня писал Клаве и двум другим девушкам, всем одинаково сообщая, что, пока годы его полностью не ушли, он желает найти в жизни настоящего друга. Он скрутил из них бумажный жгут, поджег. Он не шевелился, пока бумага не разгорелась. Потом ослепленными со света глазами глянул в темноту и увидел бегущих с бугра немцев. Они показались ему огромными. По нему уже стреляли со всех сторон. Один немец вбежал в круг света с прижатым к животу автоматом. Всей своей напрягшейся незащищенной спиной Ваня почувствовал, как сейчас выстрелят в него, и жизнь, как крик, рванулась в нем. Но он пересилил себя, осторожно поднося к сену огонь. Немец дал очередь, отпрыгнул в тень и оттуда еще раз дал очередь.

Последним своим усилием Ваня поправил огонь. И этот свет, ярко вспыхнувший и осветивший всю его девятнадцатилетнюю жизнь, был увиден на батарее.

Назаров говорил по телефону, как вдруг услышал:

— Танки слева!

Еще не видя танков, Назаров вслед за комбатом прокричал команду: «По танкам слева прямой наводкой огонь!» — оглянулся с трубкой в руке и заметил пламя нового горящего стога. И в тот же момент низко над окопом разорвался снаряд. Назаров пригнулся. Стоявший поблизости замковый загреб рукой воздух, подзывая его, сел на станину. Назаров подбежал, но тот сполз на колени и ткнулся лбом в ноги ему. Растерявшись, Назаров под мышки тянул его вверх, зачем-то пытаясь посадить обратно на станину. Замковый был грузен, он все тяжелее сползал вниз, уже опирался о землю подгибавшимися в локтях руками и ладонью одной из них вдавливал огонек собственной сигарки. Лопнул над ухом второй снаряд, и наводчик отскочил от орудия, размахивая рукой и дуя на нее, словно ожегся. Кисти на руке не было. Бросив замкового — у того сразу же подогнулись руки, он упал, ударившись подбородком о землю, — Назаров кинулся к орудию. Вшестером, взявшись за станины, они развернули его. Но высокий бруствер окопа не давал стрелять.

И тут Ряпушкин, исполнявший при Назарове должность ординарца, схватил лопату и выскочил на бруствер. Разорвался снаряд поблизости, осколок звякнул по железу, чуть не выбив лопату из рук Ряпушкина. Тот испуганно пригнулся и стал быстро и яростно раскидывать землю. Остальные сплзу, из-за укрытия, смотрели, как он, расставив поги, работает под обстрелом. Только наводчик стоял посреди окопа, побелевшими пальцами левой руки сжимал правую, раненую, держа ее высоко над головой. К нему подбежал Бородин. Оглядываясь в сторону немцев, словно боясь не успеть, он снял со штапов топенький ремешок и, как веревкой, сильно перекрутил наводчику руку у запястья, чтобы остановить кровь.

А Ряпушкин все работал один на виду у немецких танков, и расчет смотрел на него. Так бывает перед атакой: уже все готовы, и нервы напряжены у всех, но кто-то должен первым оторваться от земли. И Назаров почувствовал это состоящие солдат. Он сдернул с себя шинель и, возбуждив себя этим резким жестом, выскочил с лопатой на бруствер. За ним выскочили остальные.

Оттого что орудие Беличенко начало стрелять в это время, танки перенесли огонь на него, и снаряды рвались теперь далеко от окопа. Бойцы быстро расчистили бруствер, у панорамы за наводчика стал Бородин. Он стрелял, подолгу целясь, тщательно наводя, и с каждым его промахом, по мере того как танки приближались, тревога и напряжение на огневой росли.

Никогда еще Назаров ничего так горячо не желал в жизни, как сейчас одного-единственного удачного попадания. И дождался наконец. Под гусеницей сверкнуло, раздался тяжкий взрыв, и танк стал.

В первый момент, когда Назаров оглянулся, он не сразу понял, что происходит вокруг. Какие-то люди, сгибаясь под тяжестью труб, бежали садами. Потом он сообразил, что это минометчики соседней батареи. Они отходят.

— Стой! — закричал Назаров, с пистолетом выскочив наперерез им. — Стой! — Он выстрелил над головами. — Мы с тяжелыми пушками стоим, а вы отступать?

Он чувствовал, что, если они не остановятся, он будет стрелять в них. И неожиданно и больно ударил его приказ комбата сняться с огневых позиций и срочно отходить.

То, что в восторге боя, по молодости, не понимал Назаров, видел Беличенко. Для батареи это была последняя возможность отойти.

ГЛАВА XI

НОЧЬ КОНЧАЕТСЯ

Только теперь, когда они покидали город, Беличенко расставался с Ваней Горошко. Он видел смерть его: когда вспыхнул стог сена, все поняли — это сделал Ваня. Но в тот момент сам он стрелял по танкам, и все они еще были вместе, в одном бою. Теперь он уходил из города живой, а Горошко оставался там навсегда.

Улица, по которой шла батарея, горела с одной стороны. В окнах черных каменных стен вихрилось светлое пламя, от нестерпимого жара вспыхивали деревья на тротуаре.

Раненые сидели на пушках, лицами к огню, и пожары отражались в их глазах. Вынужденные полагаться на чужую защиту, они тревожно оглядывались по сторонам.

В подъезде одного из горевших домов головой на улицу лежал немец в каске, с автоматом. Одежда на нем тлела. Один из раненых спрыгнул, взял у него автомат и после долго не мог влезть на пушку, забегая то с одной, то с другой стороны.

Беличенко шел у второго орудия. В коротком подпоясанном ватнике, неся левую руку на перевязи, он повесил автомат за плечо, и на его сильной спине он казался маленьким, как пистолет. Он вел батарею, но в мыслях то и дело возвращался к Ване, и один раз воспоминание больно поразило его. Подошла Тоня, держа что-то в руках.

— Саша, — позвала она, показывая ему это.

Беличенко увидел свою шерстяную гимнастерку, посмотрел на нее и ничего не понял. Он глянул на лицо Тони, похудевшее за эти дни, вытянувшееся.

— Ваня отдавал стирать ее, — сказала она. — Когда уходил, просил Семынина забрать. Говорил: комбат любит эту гимнастерку.

Вот и нет Вани Горошко, а Беличенко все еще чувствует на себе его заботу.

Тоня всхлипнула, продолжая идти рядом, и слезы текли по ее щекам. Беличенко глянул на раненых, сидевших наверху; они как будто ничего не видели, все смотрели в другую сторону. Он понимал: плачет она не только о Ване, но и о Богачеве, о Ратнере — обо всех, кого перевязала она за эти дни и кого предстояло ей еще пере-

вязать. А может быть, оттого она плакала сейчас, что была измучена физически.

Люди находились в той крайней степени усталости, когда сильней всего сон. Раненые спали, сидя на орудиях. Всякий раз, когда близко проезжали мимо горящего дома, от сильного света, от жара, который они чувствовали лицами, раненые просыпались, мутными глазами смотрели на огонь и засыпали снова.

Уже начиналась окраина города, когда заднее орудие вдруг дернулось и встало внезапно.

От толчка раненые посыпались с него, один упал на перебитый пулей локоть, задохнувшись от боли, вскочил и, молча унося прижатую к животу руку, кинулся в сторону. Это под трактором подломились мостки, и он боком всей тяжестью сполз в кювет.

Из кабины, ступив валенком на гусеницу, выпрыгнул тракторист Московка — в ватном промасленном бушлате, закопченной ушанке с незавязанными ушами, черный при свете пожара. Торопясь, зачем-то снял с головы шапку, стал на нее коленом и начал заглядывать под трактор.

Другой тракторист, Латышев, широколицый, угрюмый, вдруг медведем попер на подходивших бойцов:

— Чего, чего идете? Чего не видели?

Во всех батареях трактористы и шоферы держались независимо, как особое племя технических специалистов. Беличенко знал характер каждого и обычно старался ладить с ними. Но сейчас разозлился:

— Ты бы тогда был умный, когда трактор вел. А теперь тебе самое время помолчать.

Он слез в кювет, обошел трактор вокруг. Спрыгнул туда и Назаров. Трактор сидел глубоко и, накренившись, косо стрелял из выхлопной трубы синим дымком.

— Подгоняй второй трактор! — крикнул Беличенко.

— Трактор давай сюда! — закричали, замахали руками бойцы, и некоторые побежали навстречу, рады случаю делать что-нибудь, только бы выбраться скорей.

Подогнали. Подцепили стальной трос. Оба трактора взревели моторами, из-под гусеницы одного летела земля, он глубже осаживался, гусеницы другого, высекая огонь, скребли по булыжнику, и он боком сдвигался все ближе к краю кювета. Один за другим моторы заглохли. Стало неожиданно тихо. И все ощутили в тишине, что немцы где-то рядом. Когда тракторист неловко лягнул

по железу заводной рукояткой, сразу несколько человек оглянулись на него.

Теперь не заводился увязший трактор. Уже лазили в мотор. Московка раз за разом с отчаянием рвал рукоятку. Трактор только всасывал воздух.

Растолкав всех, к Беличенко подошел Семынин.

— Немцы там шебаршатся, — негромко и в нос, чтобы кругом не слышали, сказал он Беличенко. Но все прислушались: Семынин ходил в боевом охранении. — Застукали меня вот на той улице.

— Ты как сюда шел? — быстро спросил Беличенко.

Семынин обиделся, толстые двойные губы его стали еще толще.

— Что ж, я их на батарею поведу? Увел, а после дворами — сюда. Вас издали слышно. За танки принять можно. Вот они и опасаются.

Когда Беличенко поднял голову, все смотрели на него. Он чувствовал, как измучены люди. И оттого, что в душе он жалел их и боялся поддаться этой жалости, он сказал жестким тоном приказа:

— Будем тащить орудия одним трактором. Не возьмет сразу — будем тянуть по очереди.

Он знал, какую тяжесть взвалил на людей, и не оставлял им права выбора. Так в трудные моменты легче. Потом оглянулся вокруг, встретил глазами Назарова.

— Останешься здесь, лейтенант, — сказал он. — Трактор надо вытащить.

В это время другой трактор, зацепив сразу две пушки, пытался сдвинуть их. Бойцы, налегая на колеса, и плечом и криком помогали ему.

— Сам видишь, — сказал Беличенко.

Сейчас он уйдет, а Назаров останется, и в трудный, в опасный момент над ним будет один приказ: его совесть. Но он уже видел Назарова в бою, знал, что на него можно положиться. И Беличенко говорил с ним, как с человеком, равно отвечавшим за все.

— Ну, а если немцы — тогда подожжешь трактор.

И батарея ушла. Некоторое время оставшиеся смотрели вслед ей, потом Латышев, крикнув, полез в мотор, и все взялись за работу.

А батарея тем временем двигалась по городу. Трактор тянул одну пушку, расчет другой, оставшейся посреди улицы, слушал удалявшиеся лязганье, тарактенье и выклоны, и чем дальше все это удалялось, тем тревожнее

было оставшимся людям. Они слушали неверную тишину, оглядывались, и постепенно чувство заброшенности и оторванности от всех овладевало ими. Пушка стояла, уронив на булыжник мостовой стрелу с железной кованой серьгой на конце.

Но вот трактор возвращался, бойцы заранее подхватывали стрелу на весу, волнуясь, держали ее, чтобы прицепить орудие в тот самый момент, когда подойдет трактор. Потом они проходили мимо первой пушки, и теперь уже ее расчет провожал их глазами.

На перекрестке двух улиц, предупрежденный разведкой, двигавшейся впереди, Беличенко внезапно встретил комбата в высокой папахе с красным верхом, того самого комбата, чья батарея была уничтожена в первое утро. С бойцами, заглушив моторы тракторов, он стоял под стеной каменного дома. То ли они трактор Беличенко издали приняли по звуку за танк, то ли просто не решались идти вперед, но они стояли здесь. И чем дольше они стояли так, тем страшней становилось завести моторы, нарушить тишину, в которую они напряженно вслушивались и в которой чудились им немцы.

Даже разведку не выслали вперед, боясь оторваться друг от друга.

Комбат шагнул навстречу Беличенко:

— На огневой у меня немцы? Не видел?

За его вопросом, в голосе, каким он спрашивал, Беличенко почувствовал тайную надежду: вдруг окажется так, что можно не идти туда? Беличенко посмотрел на него, на бойцов, на тракторы и понял, почему они здесь. Их послали обратно за пушками. В бою, когда танки шли на них и часть людей была перебита, а остальные бежали, наступил момент, когда бессмысленным, преступным делом показалось спасать искалеченные пушки. Но все это, такое убедительное и понятное в бою, пока смерть стояла над людьми, теряло смысл за чертой города. Там не было немецких танков, там оставался и властвовал один неумолимый факт: командир батареи бросил свои пушки. Он был жив, он вернулся, а пушки его остались у немцев. И это было сильнее любых оправданий. С той же неумолимостью ему сказали: иди и не возвращайся без пушек. И вот он шел. И бойцы, которых пожалел он в бою, не заставил вернуться, когда они бежали к садам, а он, сжавшись, сидел за колесом пушки, теперь его же винили во всем. И тем не менее, хотя Беличенко сам видел, как

этот комбат погубил батарею, ему сейчас по-человечески было его жаль. А чем он мог помочь?

— Слушай, комбат,— сказал он,— у тебя два трактора. Мы одним тянем две пушки. Дай трактор.

На минутку в глазах комбата мелькнула надежда. Он подумал, что если поможет выйти этой батарее, то и с него таким образом снимется вина, но тут же понял бессмысленность этой надежды. Уже тем, что батарея Беличенко, двое суток после него державшая южную окраину, вышла из города, не бросив пушки, этим самым подписывался ему приговор. И, устыдившись минутного малодушия, поняв, что за просьбой Беличенко стояло: «Все равно ведь пушек вам не спасти», он махнул трактористам: — Моторы!

Какая бы судьба ни ждала его, он шел ей навстречу. И в этом одно было ему горьким утешением: он от своей судьбы не прятался.

Без зависти — чего уж сейчас завидовать! — он сказал Беличенко:

— Не могу, капитан. Дал бы трактор, да видишь сам...

И они пошли навстречу пожару, откуда отходили сейчас последние бойцы.

Многие в батарее до этой встречи осуждали Беличенко за то, что он приказал одним трактором тянуть две пушки. Они осуждали его потому, что они были люди и им хотелось жить, а всегда как-то легче, когда есть виноватый. Теперь они смотрели на него с доверием и надеждой.

В том же боевом охранении, что и Семьини, но только правее батареи шел Орлов. Он шел узкой улицей, стиснутой домами, мрачноватые шпили которых воззались в небо. Улица была завалена рухлядью, выброшенной из окон: домашние вещи, подушки валялись на мостовой, свисали с чугунных балконов.

На тротуаре стояла немецкая легковая машина с распахнутыми дверцами. Из нее свешивались через подножку руки и голова шофера с крепким затылком и волосами, упавшими на глаза. И, как всегда вокруг немецких машин, валялось здесь множество всяких вещей и тряпок, словно вывернули на мостовую сундук.

Потом дома пошли ниже, улица раздвинулась, и Орлов увидел следы недавнего боя. Шага два не добрав

до раскрытой двери дома, лежал на тротуаре, на боку, убитый пехотинец с котелком и хлебом в руках. Котелок выплеснулся и примерз, а хлеб он так и не выпустил из руки. Ни крови, ни следа пули Орлов не увидел на нем; ребячье лицо убитого было удивленным. Если бы его в этот раз не убило, а ранило только, он бы понял, что на фронте с пулями вперегонки не играют. Но он ничего этого понять не успел. Он даже не износил своей шинели — она была новая, недавно со склада.

Здесь бой шел упорный; множество автоматных гильз валялось на земле, и воронки от мин зияли одна на другой. Видно было, что пехота держалась до тех пор, пока не пошли на нее танки.

Орлов шел по следам гусениц. Несколько раз пехота наша, отступая, пыталась зацепиться, и там, где она завязывала бой, оставались убитые. Последний бой произошел в конце улицы, над оврагом. У низкорослого деревца лежал спиной на своем вещевом мешке пехотинец. Грудь его выгнулась, широкий небритый подбородок торчал в небо. Правая нога пехотинца, перебитая выше колена, неестественно подогнулась под спину.

Орлов прошел шагов двадцать и увидел брошенное противотанковое ружье. Следы от него вели к оврагу, и глинистый край был осыпан. А по другую сторону дороги стоял наш пулемет и около него — раздавленный пулеметчик. Но и танк далеко не ушел. Он стоял в кустах над оврагом. Орлов огляделся и понял все, что произошло здесь. Пэтээровец бросил ружье и спрыгнул в овраг, а пулеметчик остался. Он был один, он мог уйти — кто ему судья? Но он до последнего стрелял по смотровым щелям, убил танкиста и сам погиб. Ярость ли так была велика в человеке или такое крепкое сердце? Орлов всмотрелся ближе. Лицо пулеметчика было искажено, но все же разглядеть можно. Обыкновенное немолодое лицо; под усами запеклась кровь.

Вчера только Орлов сам подорвал гранатой немецкий танк. Но то было на глазах у всей батареи. На глазах у людей, в азарте, Орлов был готов умереть, хотя любил жизнь и знал многие ее радости. А вот так, одному...

И, главное, никто не узнает после. Два дня пролежит здесь пулеметчик, потом немцы сгонят окрестных жителей с лопатами, и те зароят его где-нибудь и место заровняют. И хотя Орлов никогда никому не признался бы в этом, в душе он считал, что прав пэтээровец. Тот — жив. Он

вернется в часть, и как расскажет о себе, так о нем и будут судить. Еще, может быть, и наградят, потому что рота восвала стойко — это сразу было видно.

Орлов оглянулся, и вдруг ему стало страшно рядом с раздавленным пулеметчиком.

С этого момента он уже не шел параллельными улицами, высматривая немцев, как ему положено было в боевом охранении, а жался к батарее. И когда он увидел немецкий танк и автоматчиков, осторожно пробиравшихся следом, он кинулся к своим не для того, чтобы предупредить об опасности, а у них ища защиты.

Среди людей, оставленных Беличенко у трактора, был писарь Леонтьев.

Стоя коленями на гусенице, сунув головы в мотор, трактористы копались в нем. Они отвинчивали непонятные Леонтьеву детали, смотрели их на свет пожара. Некоторые тут же ставили на место, другие клали на масляную тряпку, разостланную на гусенице. То Москвонка, то Латышев, не оборачиваясь, коротко бросали Леонтьеву:

— Ключ подай на двенадцать! А ну, крутни рукоятку!

Он срывался с места, делал что говорили и, подавая ключ или ветошь, старался по лицу догадаться: «Готов?» Но трактористы опять лезли в мотор.

Не занятому делом Леонтьеву было сейчас тяжелее всех. Он прислушивался, вытянув шею, и каждый близкий выстрел отдавался в его сердце.

Пошел снег. Он красной метелью кружился над домами, на фоне зарева. Спины трактористов и земля вокруг стали белыми, только на капоте трактора снег таял от тепла, и краска мокро блестела.

Вдруг трактор вздрогнул. Леонтьев вздрогнул, и тотчас же Латышев махнул рукой: «Глуши!» Они поспешно прикручивали последние детали.

Вернулся Назаров, ходивший искать кого-нибудь из жителей. Он пришел со стариком венгром. Подведя его к трактору, громко, точно глухонемому, говорил:

— Лопату нам, понял? Лопату нужно! — и почему-то показывал два пальца. — Лопата, разумеешь?

«Разумеешь» было, правда, не венгерское слово — украинское. Но все же и не русское. И Назарову казалось, что так венгру будет понятней, раз не по-русоки.

— Разумеешь? — повторял он с надеждой. Но венгр и теперь не понимал. В зимнем пальто, надетом прямо на нижнюю белую рубашку, без шапки, седой и смуглый, с густыми черными бровями, хрящеватым носом и черными, блестящими глазами, он стоял рядом с трактором и повторял:

— Нам пртем. Нам тудом...

— Пету дома, говорит, — по-своему перевел Латышев, возившийся в это время с тросом лебедки. — А нам бы как раз пародишку человек пяток — нособить.

Леонтьеву казалось, что они говорят слишком громкими голосами, но Латышев, внезапно обидясь, заговорил еще громче:

— Как же так никого нет дома? Мы у ваших дворов жизнь владем, а ты — «нет дома»... Или нас дети не ждут? Да что, когда ты по-русски не понимаешь...

Он нагнулся, показал рукой, как будто роет землю около гусеницы.

— Лопату!.. Копаты!..

Но в этот момент в переулке раздались выстрелы, топот ног по булыжнику, и оттуда, зажимая одной рукой бок и отстреливаясь, выбежал Орлов.

— Немцы! — кричал он. Добежав до трактора, упал в кювет и лежа продолжал стрелять в переулок, где ничего не было.

И тут все увидели, как из-за дома показался танк с крестами. Развернувшись, он пошел на них по переулку, ворочая башней из стороны в сторону: гусеницы его, дрожа, укладывались на булыжник.

В следующее мгновение, согнувшись низко, с бледным, некрасивым лицом, Назаров перебежал на противоположную сторону. И Леонтьев, и Орлов, и Московка, рядом лежавшие в кювете, видели, как младший лейтенант стал за дом и, прижимаясь спиной к стене, начал осторожно подвигаться, в отставленной руке держа противотанковые гранаты, а левой ощупывая впереди себя кирпичи. Так он дошел до угла, выглянул и отпрянул назад: с другой стороны танк тоже подходил к углу.

Все замерли, глядя, как он поставил одну гранату на землю, а с другой что-то делал, держа перед лицом. Назаров опустил ее, быстро выглянул за угол и отскочил. Из-под танка выметнулся огонь, раздался взрыв, танк попятился, огрызаясь из пулемета; брызнули стекла из окон

первого этажа, по всей стене дома возникли красные кирпичные дымки, ветер просвистел над головами тех, кто лежал в кювете.

Назаров изо всех сил прижимался к стене дома спиной. Он опять так же быстро выглянул, кинул вторую гранату. Когда дым отнесло, танк стоял посреди улицы, пушка его, спикивая между гусениц, упиралась в камни мостовой. И вдруг улица перед трактором заполнилась выскочившими отовсюду немцами.

Латышев, стоявший до сих пор за радиатором, сторбясь, с длинным гаечным ключом в руке, первый кинулся им навстречу. Они схватились с рослым немцем, и над головами их в поднятой руке тракториста качался занесенный гаечный ключ. Только Леонтьев видел, как со спины к Латышеву скачками на подогнутых ногах приближался другой немец.

Дико закричав, подхваченный незнакомым ему до сих пор чувством, Леонтьев выскочил наперерез немцу и ткнул в лицо ему железным дулом автомата. Тот опешил, попятился испуганно, а Леонтьев все совал в его уже окровавленное лицо дуло автомата, забыв, что из него надо стрелять. Неожиданно лицо немца взорвалось огнями, закачалось, поплыло, и мягкая душная тяжесть навалилась на Леонтьева. Он долго боролся под ней, потом почувствовал, что выныривает с большой, давившей его глубины. И когда вынырнул, вместе со звоном в ушах услышал рокотание и лязганье и ощутил, что и сам он, и все вокруг равномерно сотрясается.

— Ожил? — спросил Латышев.

Леонтьев понял, что сидит на тракторе рядом с Латышевым, привалившись к его теплому плечу. Он пошевелился — затылок обожгло болью. Леонтьев осторожно пощупал под шапкой затылок. Там было мокро, липко и все болело.

— Лежи, лежи, — говорил ему Латышев.

Вперед трактора шли с автоматами на спинах Назаров и Орлов.

— Вытащили трактор? — спросил Леонтьев.

— Сам себя вытащил лебедкой. Зацепили тросом за фонарный столб, он себя и вытянул, — довольно басил Латышев.

Кого-то не хватало, но Леонтьев никак не мог вспомнить кого: он все же плохо соображал.

— А Московка где?

Ему не ответили. Крупное лицо Латышева с твердыми складками у губ было каменным. Леонтьев отодвинулся в угол кабины и тихо сидел там. И постепенно обрывками все вспомнилось ему, и он испытал то необыкновенное чувство, заставившее его кинуться наперерез немцу. Когда Латышев глянул в его сторону, он увидел, что Леонтьев плачет. Он долго думал, о чем бы это, потом сказал:

— Это ты с непривычки. Рана твоя не очень чтобы так уж... Заживет она.

— Да не от боли...— сказал Леонтьев, стыдясь, что его так поняли.

— Не от боли, значит...— повторил Латышев, и по голосу чувствовалось, что не поверил.

А впрочем, это было даже безразлично сейчас. Главное было это чудесное, возникшее в бою чувство, которое Леонтьев испытал впервые.

ГЛАВА XII

УТРО

Город оставался позади. Уже на выезде, под мостом, каменный завал преградил путь, и батарея остановилась. Раненые, сидевшие на пушках, проснулись от внезапной остановки, оглядывались вокруг. В их сонном сознании все спуталось, и только эта ночь длилась бесконечно. В соседних улицах вспыхивала и затихала стрельба. Никто не оборачивался: к ней привыкли.

Каменный завал в рост человека — булыжник, битый кирпич, обломки стен — все это стояло на пути угрожающе и молча. Послали разведку. Она вскоре вернулась. На той стороне никого не было. Но как только стали разбирать камни, из домов, из-за железнодорожного полотна ударили немецкие автоматы, огненные трассы пуль засверкали под мостом, высекая искры из булыжника.

Немцев было немного — слабое охранение. Но Беличенко не мог вступать с ними в бой. Пока разберут завал, подтянут другую пушку, успеют подойти еще немцы, привлеченные стрельбой. И он увел батарею, решив выходить другой дорогой. Но теперь немцы шли следом, стреляли непрерывно; разведчики, отступавшие последними, сдерживали их.

Холодное безмолвие каменного города окружало людей. Над улицами витал запах гари. Серый, утренний туман полз по булыжным мостовым, по битому стеклу, всасывался черными глазницами разбитых окон, наплывал на краснеющие пятна догоравших пожаров, мешаясь с дымом. Редкие языки пламени, вырывавшиеся из-под пепла, освещали тяжелые пушки, укрытые брезентом, — по ровной дороге трактор на первой скорости тащил теперь их обе сразу, — людей с серыми, исхудалыми лицами, идущих рядом, наступающих на собственные тени, обмотки, ботинки, сапоги, — мимо, мимо шли они.

Люди, спотыкаясь, тяжело переставляли ноги, у иных глаза были закрыты. По временам то один, то другой вздрагивал, просыпаясь, поправляя оружие, движением страшной усталости потирал небритое лицо.

Усилием воли Беличенко заставляет себя не заснуть. От раны его знобит, а голова тяжелая и горячая, в глазах после многих бессонных ночей точно песок насыпан. Рядом поскрипывает на морозе, медленно вращается железное колесо пушки. И вдруг рокот трактора исчез. Беличенко явственно слышит стремительный снижающийся вой мины. Он вздрогнул, открыл глаза. Все так же качаются впереди спины солдат, скрипит колесо пушки. Заснул! Тогда он остановился у обочины, пропуская батарею.

Тоня шла за последним орудием, держась рукой за брезент.

— Может, сядешь на пушку? — спросил Беличенко.

Она покачала головой: не было сил говорить. Такая усталая, маленькая...

И вот крайние дома, огороды, сады. Дорога кончилась. Впереди некрутой подъем.

Так показалось издали. Но когда трактор попробовал взять его, гусеницы заскрежетали по обледенелой земле, и, увлекаемый тяжестью пушки, он медленно сполз вниз.

Сзади наседали немцы, разведчики вели с ними бой, отходя шаг за шагом. И тогда усталыми, обессиленными людьми овладела ярость. Срывая с себя шинели, они клали их под гусеницы трактора, рубили деревья, валили заборы, помогали криком, плечом. Падали, снова поднимались, и трактор, дрожа от напряжения, взбирался по обледенелому склону. Так втащили его наверх, он уперся гусеницей в дерево и, размотав лебедку, начал подтягивать орудие. По сторонам его шаг за шагом шли бойцы.

Вот в это время из города, из боковой уллицы, про-
рвался трактор Назарова, который все уже считали по-
гибшим. Увидев его издали, люди с криками побежали
навстречу.

По тем же самым шинелям, разрывая их гусеницами,
втапывая в землю, выбрасывая пережеванные, скомкан-
ные, он поднимался по склону.

— Давай, давай! — кричал Беличенко сверху и при-
зывно махал здоровой рукой. Он стоял на гребне рядом с
невысокой кривой яблонькой.

Назаров, радостный, подбежал к нему.

— Молодец, — коротко похвалил Беличенко, — развора-
чивайся быстро, цепляй второе орудие!

Назаров еще полон был всем тем, что они сделали,
ему очень хотелось рассказать, как они спасли трактор, что
в первый момент почувствовал себя обиженным. Но после
понял: Беличенко относился к нему сейчас, как к самому
себе. И пусть всегда так будет!

Уже сильно посвистывали пули. Но гуще они свистели
в саду, где солдаты ломали заборы и рубили хворост под
колеса пушкам. Здесь двоих ранило, а один был убит.
Никто не видел, как убило его. Нес вместе со всеми хво-
рост, а когда оглянулись — он лежал на вязанке, уткнув-
шись лицом в снег, и — кровь за ухом. Бородин перевер-
нул его на спину, солдат вяло разбросал руки.

— Берите хворост, ребята, — сказал Бородин и, огля-
нувшись, увидел, что широкогрудый заряжающий Нико-
нов рубит яблоню.

— Стой! — закричал он. — Это же яблоня!

Но тут же, смутившись, махнул рукой: руби, мол.

Когда наконец пушки были вытащены наверх, начало
светать. Внизу была еще почь, но здесь выступали из
темноты прежде незаметные предметы: и затоптанная са-
погами молодая елочка, и куст смородины, приваленный
снегом.

Весь склон, изрытый гусеницами, с раздавленными,
расщепленными, измочаленными деревьями, ключьями
втоптаных шинелей, досками, валявшимися повсюду, го-
ворил о тяжелой борьбе, которая была здесь. И люди,
взошедшие на него, увидели с гребня: начинается утро.
Город, ночь были позади.

Как только тракторы, подцепив орудия, начали спу-
скается, отступил и Архипов, все это время вместе с раз-
ведчиками сдерживавший немцев. Он приволок с собой

пулемет, рябоватый паводчик сорокапятимиллиметровой пушки принес ящик с патронами.

Кто-то должен был остаться с пулеметом, задержать немцев, дать батарее уйти.

Беличенко оглядел солдат. Лица их в этот час были бледней и бескровней, как бывает перед рассветом, словно вся ночная усталость легла на них. Кого оставить? Назарова? Бородина? Беличенко остался сам. Не ушел от пулемета и Архипов.

— Вместе с тобой начинали войну, вместе и кончать будем,— сказал он Беличенко, впервые переходя на «ты».

Остался еще рябоватый сержант.

Недалеко от кривой яблоньки кто-то вырыл просторный окоп. Здесь и расположились пулеметчики. Они сидели и слушали удалявшееся урчание тракторов. Потом показались серые тени. Немцы шли за батареей, как волки по следу, приглядываясь, держа автоматы наготове.

Пересиливая боль в раненой руке, Беличенко повел стволом пулемета. В прорези возникали и исчезали фигуры немцев. Он подпустил их ближе, и пулемет в его руках затрясся, заклокотал, вспышками освещая лицо; горячие гильзы посыпались под ноги.

Кто-то спрыгнул в окоп. Беличенко оглянулся со стиснутыми зубами, со свирепым выражением, которое было у него в тот момент, когда он стрелял,— Тоня! Этого он больше всего боялся. И еще тяжелое тело свалилось сверху, поднялось, отряхивая колени. Это был Семинин. С ним в окопе сразу стало тесно.

— Ты чего? — спросил Беличенко, потому что Тоню об этом спрашивать было уже поздно.

— Вы ж воюете.

Он потеснил сержанта плечом, поворочался и, устроив автомат на бруствере, начал стрелять, тщательно целясь. Стрелял и сержант из своего карабина.

Каждый раз, когда смолкал пулемет, немцы подымались и перебегали, понемногу приближаясь и стреляя все время.

Первым ранило рябоватого сержанта. У него пошла носом кровь, и, пока Тоня перевязывала его, он утирал кровь жестким рукавом и все порывался встать к карабину. Он не чувствовал еще, что эта рапа — последняя, а Тоня глазами указала на него Беличенко: «Плох». Она не сообразила, что можно громко говорить: сержант все равно не слышал.

Когда спустя время Беличенко от пулемета оглянулся на него, сержант сидел на земле, голова запрокинута, в полуоткрытых закатившихся глазах — слепые полосы белков, нос и губы в запекшейся крови. Беличенко переступил ногами по хрустящим рассыпанным гильзам и, обождав, пока немцы будут перебегать, дал очередь. Теперь стреляли только он и Семынин.

Стреляли, экономя патроны, стараясь оттянуть время. И между выстрелами прислушивались к удалявшемуся таракатию тракторов: они все еще были недалеко.

Внезапно один из немцев вскочил и кинулся под гору. Короткая очередь. Падая, немец несколько шагов проскользил на коленях. И сейчас же отовсюду ударили автоматы, пули густо сыпанули по щиту. Пригнувшись, Беличенко глянул на Архипова.

— Сейчас окружать начнут, — сказал Архипов то самое, о чем думал и чего больше всего боялся Беличенко.

К немцам явно подошло подкрепление. Теперь они начнут обтекать с флангов, подберутся на бросок гранаты и тогда навалятся сразу.

Серенькое утро вставало над городом. На крыши домов, на землю косо падал мелкий снег, горячий ствол пулемета сделался мокрым, от него шел пар. Снег падал на грубое, ворсистое сукно шинелей, и плечи и шапки пятерых людей, стоявших и сидевших в окопе, постепенно становились от него белыми, как бруствер, как вся земля вокруг. От дыхания снег таял на воротниках шинелей. И только у сержанта на шинели он не таял уже. Никто даже не знал фамилии этого рябоватого наводчика сорокапятимиллиметровой пушки. Последний из расчета, оставшийся в живых, контуженный, он пришел на батарею и здесь продолжал воевать с немцами, когда уже ничей приказ не висел над ним.

— Вот что, — сказал Беличенко, — четверым нам в окопе делать нечего. Подтянут немцы миномет — всех четверых одной миной накроют. Тоня и Семынин, отходите.

Тоня продолжала набивать диски. Семынин щепочкой чистил автомат.

— Ты же знаешь, мы не уйдем, — сказала Тоня.

Так они сидели в тесном окопе. Немцы приближались с трех сторон, невидимые за кустами.

Архипов долгим взглядом оглянулся вокруг, ни на чем не задерживаясь и одновременно прощаясь со всем. Потом снял с себя ремень с фляжкой, освободил плечи от

вещмешка; он расставался со всем, что уже не понадобится ему в жизни.

— Вместе начинали войну, вместе и кончаем,— сказал он. Расстегнул шинель, встал в окопе, замахал немцам шапкой и, прежде чем его успели остановить, выпрыгнул наружу.— Не стреляй, комбат, жди, не стреляй,— говорил он тихо.

Стоя рядом с кривой яблонькой, он хорошо был виден в рассветном сумраке: пожилой солдат в обмотках, за одной из них блестела алюминиевая ложка. Подняв над головой тяжелые руки, он жизнью своей выманивал немцев из укрытия.

— Не стреляй, комбат, они выйдут. Не стреляй...

Ветер отдувал полы его шинели, и казалось — он идет навстречу немцам. Смолкшие было немецкие автоматы ударили с трех сторон. Архипов пригладил ладонью волосы, успокаивая себя этим жестом, и опять поднял руки.

— Ляг! Ляг! — приказывал Беличенко сдавленным голосом.

Но Архипов все стоял под пулями без шапки. Вдруг шагнул под уклон, споткнулся и, закачавшись, упал.

Стало тихо и пусто. Стрельба смолкла. Из-за завалов, из-за кустов по одному поднимались немцы и, настороженные, с автоматами в руках шли в гору. Они шли сжимающимся полукругом. Один поскользнулся, падая, схватился за куст, ветка сломалась в его руке. Те, что шли рядом, мгновенно упали на землю. Случай этот развеселил немцев, они пошли смелей, уже не так опасаясь. Передний, в очках, достал гранату, на ходу внимательно оглядел, готовясь кинуть. Беличенко подпустил их еще и тогда наверняка дал очередь.

Всю ночь из города группами и поодиночке выходили бойцы разных частей. Они шли через позиции артиллерийского полка, их расспрашивали, и они говорили, что действительно стоит на южной окраине батарея таких же тяжелых пушек и будто командир ее сказал, что никуда отсюда не уйдет. Другие уверяли, что не батарея, а три батареи легких пушек.

Перед утром под выстрелами вырвался из города на мотоцикле командир батальона Гуркин. У него были глаза и движения пьяного человека. Размахивая пустым пистолетом, он говорил сорванным громким голосом, как, видимо, размахивал и кричал там. Везший его на мото-

цикле лейтенант, очень молодой и очень сдержанный, сказал, оправдывая комбата в глазах посторонних людей:

— Капитана миной контузило...

И, увидев командира полка полковника Миронова, вежливо спросил:

— Не ваша, товарищ полковник, тяжелая батарея в городе? Женщина еще с ними небольшая такая, санитарструктор? Мы их за три улицы отсюда встретили. Лебедками тащат пушки в гору.

С этого момента в полку слышали уже непрекращающуюся пулеметную и автоматную стрельбу и напряженно следили за ней. Миронов послал туда разведчиков, собрав их по дивизионам.

И вот, когда рассвело, все увидели батарею. Минуя последние заборы, пушки спускались в лощину. За ними цепью, перебежками отходили разведчики, среди них мелькала белая грязная кубанка Беличенко.

«А ведь это моя батарея», — подумал Миронов с гордостью, чувствуя, что волнуется.

Пушки скрылись за поворотом, и некоторое время из лощины было слышно только приближавшееся рокотание тракторов.

В тылу всходило солнце. Оно краем выглянуло из-за кромки осветившихся снегов, над ним уже хлещо кружились черные самолеты и бросали бомбы, как будто загоняя обратно в землю.

«Что это они там бомбят?» — подумал Миронов.

Тут батарея показалась из-за поворота. Краска на перегревшихся стволах пушек почернела, полопалась, и люди тоже были черны, многие без шинелей. Иных Миронов узнавал в лицо. Он узнал Тоню — она шла рядом с огромным, медленно вращающимся колесом пушки, на резиновые ободья которого налился снег. Узнал Бородину и еще нескольких. Бравый, геройского вида красавец сержант, которого нельзя было не заметить, на минуту задержал внимание Миронова. По большинство лиц было незнакомо. «Что это за младший лейтенант с ними?» — подумал он, вглядываясь. И только по гимнастерке и золотым пуговицам узнал Назарова.

По откосу, упираясь сильными ногами, поднимался Беличенко. Миронов хотел пойти навстречу, но сдержал себя. Комбат подошел, неся руку на перевязи.

— Товарищ полковник!

И те, кто шел, и те, кто был блпако, остановились, вытянув руки по швам. Всю ночь они слышали, как батарея вела бой в окружении. Каждый раз, когда смолкал грохот пушек, ждали с тревогой, не возникнет ли он вновь. И вот командир батареи от имени живых и погибших докладывал:

— Третья батарея, выполнив боевой приказ, прибыла в ваше распоряжение!

Сильный взрыв толкнул воздух, и земля под ногами дрогнула. Все оглянулись. В розовой от солнца, высоко поднявшейся морозной пыли шла длинная колонна танков. Они казались крошечными издали, но уже слышно было их железное скрежетание. Чьи это танки? И не сейчас ли предстояло полку принять новый бой?

Но от рапи уже бежал радист и кричал, делая знаки руками:

— Товарищ полковник, приказано не стрелять! Это танковый корпус со Второго Украинского фронта!

Так вот кого бомбили немцы! Только что готовившиеся в одиночку принять новый бой, люди ощутили за собой железную силу других фронтов. И для каждого ясным светом осветилось все сделанное ими. Все их усилия, и жертвы, и раны — все это было частью великой битвы, четыре года гремевшей от моря до моря и теперь подхлдившей к концу.

А немецкие самолеты все еще кружились над восходом, бросая бомбы. Но солнце подымалось за спинами солдат, всходило над снегами Венгрии, огромное, неодолимое, по-зимнему красное, и маленькими казались разрывы, пытавшиеся его заслонить.

Март 1957 г.

ПЯДЬ ЗЕМЛИ

Повесть

*Моей матери
Иде Григорьевне Кантор*

Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!

Юлиус Фучик

ГЛАВА I

Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щелей и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышим всей грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Наверное, только на войне так по-мужицкому пахнут травы.

Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?

Луна еще не восходила. Она теперь восходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас все освещается: и росы на лугу, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени. Луна осветит его перед утром.

Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики. Они привозят в глиняных корчажках горячую баранину и во флягах — холодное, темное, как черпила, молдавское вино. Хлеб, чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день. На вторые сутки он черствеет и сыплется. Но иногда привозят кукурузный. Янтарно-желтые кирпичики его так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку:

— Выбьют нас немцы отсюда, скажут: вот русские хорошо живут — чем лошадей кормят!..

Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломит зубы, и в первый момент не можем отдышаться.

ся: небо, горло, язык — все жжет огнем. Это готовил Парцвания. Он готовит с душой, а душа у него горячая. Она не признает кушаний без перца. Убеждать его бессмысленно. Он только укоризненно смотрит своими добрыми, маслеными и черными, как у грека, круглыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант! Помидор, молодой барашек — как можно без перца? Барашек любит перец».

Пока мы едим, Парцвания сидит тут же на земле, повосточному поджав под себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный — почти немислимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось: кто пришел в армию худой — поправится, пришел полный — похудеет. Но Парцвания не похудел и на фронте. Бойцы зовут его «батано Парцвания»: мало кто знает, что в переводе с грузинского «батано» означает господин.

До войны Парцвания был директором универмага где-то в Сухуми, Поти или Зугдиди. Сейчас он связист, самый старательный. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом всхрапывает, вздрогнув, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как Парцвания опять уже спит.

Мы едим баранину и хвалим. Парцвания приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя: обидишь. Так же приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов, в общем, можно понять, что у них в Зугдиди женщины не признавали за его женой монопольного права на Парцванию.

Что-то долго сегодня нет ни Парцвании, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды: Саенко, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саенко зовет его «Детка» и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног.

Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны, какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды?

У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысленно траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко.

Саенко поднимает руку над глазами, смотрит на часы. Они у него большие, со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр, так что мне со стороны можно разглядеть время.

— Долго не идут, черти, — говорит он своим тягучим голосом. — Жрать хочется, аж тошнит! — И Саенко сплевывает в пыльную траву.

Скоро взойдет луна: у немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет все бьет, и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и Парцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами в осыпающемся песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там — безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь, немец бьет вслепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов.

В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего «андрюши», длинный, в рост человека, с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще за Днестром, и теперь начал ржаветь и зарастать травой, но всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело.

В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метров по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а Парцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчажках, и потому укутывает корчажки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть.

Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лун-

ный свет. Капли росы зажигаются в нем, и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом; он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света...

Саенко приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть, разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их: на плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги, и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. С земли нам это хорошо видно.

Саенко опять ложится на спину.

— Пехота...

Позавчера это самое место днем, на «виллисе» пытались проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотицы кинулись к нему, немцы ударили из минометов, наша дивизионная артиллерия отвечала, и полчаса длился обстрел, так что под конец все перемешалось, и за Днестром прошел слух, что немцы наступают. Вытащить «виллис» днем, конечно, не удалось, и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов, как по мишеням, всаживая очередь за очередью, пока не подожгли наконец. Мы после гадали: пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют?

Луна поднимается еще выше, вот-вот оторвется от гребня, а разведчиков все нет. Непонятно. Наконец появляется Панченко, ординарец мой. Издали вижу, что он идет один и в руке несет что-то странное. Подходит ближе. Унылое лицо, в правой руке на веревке — горлышко глиняной корчажки.

Панченко угрюмо стоит перед нами, а мы сидим на земле, все трое, и молчим. Становится вдруг так обидно, что я даже не говорю ничего, а только смотрю на Панченко, на этот черепок у него в руках — единственное, что уцелело от корчажки. Разведчики тоже молчат.

Мы целый день прожили всухомятку, и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет: мы едим по-настоящему раз в сутки. А завтра опять целый день обстрел, слепящее солнце в стекла стереотрубы, жара, и кури, кури в своей щели до одурения, разгоняя дым рукой, потому что на плацдарме немец и по дыму бьет.

— Какой дурак придумал посить мясо в корчажках? — спрашиваю я.

Панченко смотрит на меня укоризненно:

— Парцвания велел, чего ж вы ругаетесь? Он говорил, в глиняной посуде не так остывает. Еще одеялами их укутывал...

— А где он сам?

— Убило Парцванию...

Панченко кладет перед нами круглый ячменный хлеб, отцепляет от пояса фляжки с вином, сам садится в стороне, один, пожевывая травинку.

Оттого что мы день прожили всухомятку, вино сразу мягко туманит голову. Мы жуем хлеб и думаем о Парцвании. Его убило, когда он нес нам свои корчажки, завязанные в одеяла, чтоб — не дай бог! — в них не остыло за дорогу. Обычно он сидел вот здесь, по-восточному поджав полные ноги, и, пока мы ели, смотрел на нас своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами, то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову. Он ждал, когда мы начнем хвалить.

— Тебя не ранило? — спрашиваю я Панченко.

Тот обрадованно пододвигается к нам.

— Вот! — показывает он штанину, у кармана навывлет пробитую осколком, и для убедительности продевает сквозь две дыры палец. И вдруг, спохватившись, поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовый табак. — Чуть было не забыл совсем.

Мы крошим в ладонях сухие, невесомые листья, стараясь не просыпать табак. Вдруг я замечаю у себя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль. Откуда она? Я не ранец, я только резал хлеб. На нижней корке хлеба тоже кровь. Все смотрят на нее. Это кровь Парцвании.

— Где вас накрыло? — спрашивает Саенко. Вместе со словами табачный дым идет у него изо рта: он всегда глубоко затягивается.

— В лесу. Как раз где снаряд «андрюши» лежит. Вот так мы шли, вот так он лежит. — Панченко чертит все это на земле. — Вот здесь мина упала. А Парцвания как раз с той стороны шел.

Это та самая минометная батарея, которую мы никак не можем засечь.

Ночью мы лежим с Васиным в одной щели. Саенко я отправил вместе с Панченко. Надо донести Парцванию до лодки, надо переправить его на ту сторону.

Щель узкая, но внизу, у самого дна, мы подрыли ее с боков, так что вполне можно спать вдвоем. Ночи все же холодные, а вдвоем даже под плащ-палаткой тепло. Трудно только переворачиваться на другой бок. Пока один переворачивается, второй стоит на четвереньках. Но больше подрывать нельзя, иначе снарядом может обрушиться щель.

Через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея, наши отвечают из-за Днестра через нас. Почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими. Это так называемый тревожащий огонь, всю ночь, до утра. Интересно, до войны люди страдали бессонницей, жаловались: «Целую ночь не мог уснуть: у нас под полом скребется мышь». А сверчок, так тот был целым бедствием. Мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины.

Я лежу сейчас и думаю о Парцвании, о хлебе, на котором осталась его кровь. Перед самой войной, когда я учился в десятом классе, был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой. Они были свежие, круглые, разрезанные наискось через верхнюю корку, и туда вставлено по толстому розовому куску любительской колбасы. Пока нам их раздавали, директор школы стоял рядом с буфетчицей, гордый: это была его инициатива.

Мы съели колбасу, а булочки после валялись во всех углах, за урнами, под лестницей. Мне вспоминается это сейчас как преступление.

Васин спит, посапывая. Мне хочется закурить, но табак у меня в правом кармане, а мы лежим на правом боку. Каждый раз, когда всплывает немецкая ракета, я вижу вагосную шею Васина и маленькое покрасневшее во сне ухо. Странно, у меня к нему почему-то почти отцовское чувство.

ГЛАВА II

Жарко. Против солнца все как в дыму. Горячий воздух дрожит над ближними высотами, они пустынные, будто вымершие. Там — немецкий передний край.

Пехотинцы отсыпаются за ночь, скорчившись на дне окопов, сунув руки в рукава шинелей. Каждую ночь они, как кроты, роют ходы сообщения, соединяют окопы в траншеи, а когда будет построена прочная оборона, все

придется бросать и переходить на новое место. Это уже проверено.

Немцы тоже спят. Только наблюдатели с обеих сторон высматривают, где шевелится живое. Редко простучит пулемет — сухие вспышки его почти не видны против солнца, — и опять тишина. Дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе.

Позади нас за лесом — Днестр, весь залитый солнцем. Хорошо бы сейчас искупаться в Днестре. Но на войне другой раз сидишь у воды и не то что искупаться — напиться до ночи не можешь. На белых песчаных отмелях Днестра не найдешь сейчас следа босой пятки. Только следы сапог, следы колес, уходящие в воду, и воронки разрывов. А выше по берегу, среди виноградников, наливающих теплым соком, греются на припеке молдавские хутора, днем безлюдные. Над ними зной и тишина. Все это позади нас.

Я смотрю на пологие высоты в стереотрубу, смотрю каждый день до тошноты. Эх, как они нужны нам! Если бы мы их взяли, здесь сразу переменялась бы вся жизнь.

Васин тем временем готовит завтрак. Врезал ножом банку свиной тушенки, поставил на бруствер, лезвие вытирает о штаны. Мы едим ее ложками, намазывая на хлеб. Едим не спеша: впереди целый день, а банка последняя. И оставлять мы тоже не любим.

Где-то близко слышны голоса. Я поворачиваю стереотрубу. Два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают. Вот так просто идут себе и разговаривают, как будто ни немцев, ни войны на свете. Конечно, недавно мобилизованные, из-за Днестра. У этих удивительная особенность: где никакой опасности — перебегают, прячутся от каждого снаряда, летящего мимо, падают на землю — вот она, смерть! А где все живое носа не высунет — ходят в полный рост. Я однажды видел, как вот такой, только что присланный на фронт солдат, смелый по глупости, шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки. Опытный, повоевавший пехотинец с умом не пройдет там, а этот ставил ногу, не выбирая места, и ни одна мина не взорвалась под ним. Метра два осталось до края минного поля, когда ему крикнули. И он, поняв, где находится, больше уже шагу ступить не смог. Пришлось его оттуда снимать.

— Мало их, дураков, учит! — злится Васин.

Мы оба, бросив есть, следим за пехотинцами. Кто-то

крикнул им из своего окопа. Они вовсе стали на открытом месте, на жаре, оглядываются: не поймут, откуда был голос. И немец почему-то не стреляет. От нас до них — метров тридцать; пройдут еще немного, и утренние длинные тени обонх головами достанут до нашего бруствера. Так и не поняв, кто звал их, пошли.

— Эй, кумовья, бегом! — не выдержав, кричит Васин.

Опять стали. Обе головы повернулись на голос в нашу сторону. Изменив направление, идут теперь к нам. Васин даже высунулся:

— Бегом, мать вашу!..

Я едва успеваю сдернуть его за ремень. Грохот! Сверху на нас рушится земля. Зажмурившись, сидим на дне окопа. Разрыв! Сжались. Еще разрыв! Над нами проносятся дым. Живы, кажется!.. В первый момент мы не можем отдышаться, только глядим друг на друга и улыбаемся, как мальчишки: живы!

— Вот сволочь! — говорю я.

Васин грязным платком вытирает лицо, оно у него все в земле. Смотрит мне на колено, глаза становятся испуганными. Смотрит на мой сапог, на землю и поднимает перевернутую банку тушенки. Там все перемешалось с песком. На колене у меня тает белый жир, по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса, оставляя соляной след. Берегли... Ели не спеша...

— Таких убивать надо! — Васин зло швырнул банку. — Воевать не умеют, только других демаскируют.

И тут мы слышим стон. Жалкий такой, будто не взрослый человек стонет, а ребенок. Мы высовываемся осторожно. Один пехотинец лежит неподвижно, ничком, на неловко подогнутой руке, плечом зарывшись в землю. До пояса он весь целый, а ниже — черное и кровь, и ботинки с обмотками. На белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь. И тень от него на земле стала короткая, вся рядом с ним.

Другой пехотинец шевелится, ползет. Это он стонет. Мы кричим ему, но он ползет в другую сторону.

— Пропадет, дурак, — быстро говорят Васин и зачем-то начинают снимать сапоги, надавливая носком на задник. Босиком, скинув ремень, приготовился ползти за раненым.

Но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю. Оттуда стоны слышны глуше. Винтовка его так и остается на поле.

И опять тишина и зной. Растаял дым разрывов. Жирное пятно у меня на колене стало огромным и грязным. Я глянул на убитого в стереотрубу. Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух.

От огорчения, что не удалось позавтракать, Васин берется за трофейный телефонный аппарат, что-то чинит в нем. Он сидит на дне окопа, поджав под себя босые ноги. Голова наклонена, шея мускулистая, загорелая. Ресницы у него длинные, выгоревшие на концах, а уши по-мальчишески оттопырены и тяжелые от прилившей крови. Потные волосы зачесаны под шпютку — отрастил чуб под моей мягкой рукой.

Я люблю смотреть на него, когда он работает. У него не по возрасту крупные, умелые руки. Они редко бывают без дела. Если рассказывают анекдот, Васин, подняв от работы глаза, слушает напряженно; на чистом лбу его обозначается одна-единственная морщина между бровей. И когда анекдот кончен, он все еще ждет, надеясь узнать нечто поучительное, что можно было бы применить к жизни.

— Ты кем был до войны, Васин?

— Я? — переспрашивает он и поднимает на меня карие, позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками. — Жестянщик.

Потом подносит к лицу ладони, нюхает их:

— Вот уже не пахнут, а то все, бывало, жестью пахли.

И улыбается грустно и умудренно: война. Обдирая зубами изоляцию с провода, говорит:

— Сколько на войне всякого добра пропадает, так это привыкнуть невозможно.

Опять бьет немецкая минометная батарея, та самая, но теперь разрывы ложатся левей. Это она была с вечера. Шарю, шарю стереотрубой — ни вспышки, ни пыли над огневыми позициями — все скрыто гребнем высот. Кажется, руку бы отдал, только бы уничтожить ее. Я примерно чувствую место, где она стоит, и уже несколько раз пытался ее уничтожить, но она меняет позиции. Вот если бы высоты были наши! Но мы сидим в кювете дороги, выставив над собой стереотрубу, и весь наш обзор — до гребня.

Мы вырыли этот окоп, когда земля была еще мягкая. Сейчас дорога, развороченная гусеницами, со следами ног,

колес по свежей грязи, закаменела и растрескалась. Не только мина — легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки: так солнце прокалило ее.

Когда мы высадились на этот плацдарм, у нас не хватило сил взять высоты. Под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться. Возникла оборона. Она возникла так: упал пехотинец, прижатый пулеметной струей, и прежде всего подрыл землю под сердцем, насыпал холмик впереди головы, защищая ее от пули. К утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе, зарылся в землю — не так-то просто вырвать его отсюда.

Из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку, но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов, шквальным минометным и артиллерийским огнем. Мы даже не можем подавить их минометы, потому что не видим их. А немцы с высот просматривают и весь плацдарм, и переправу, и тот берег. Мы держимся, зацепившись за подножие, мы уже пустили корни, и все же странно, что они до сих пор не сбросили нас в Днестр. Мне кажется, будь мы на тех высотах, а они здесь, мы бы уже искомали их.

Даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза, даже во сне я вижу эти высоты, неровный гребень со всеми ориентирами, кривыми деревьями, воронками, белыми камнями, проступившими из земли, словно это обнажится вымытый ливнем скелет высоты.

Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сражениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его — как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то.

С тех пор как мы начали наступать, сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках. И немцы сейчас же пытались сбросить нас, а мы держались, зубами, руками вцепившись в берег. Иногда немцам удавалось это. Тогда, не жалея сил, мы захватывали новый плацдарм. И после наступали с него.

Я не знаю, будем ли мы наступать с этого плацдарма. И никто из нас не может знать этого. Наступление начи-

нается там, где легче прорвать оборону, где есть для танков оперативный простор. Но уже одно то, что мы сидим здесь, немцы чувствуют и днем и ночью. Недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр. И еще пытаются.

Теперь уже все, даже немцы, знают, что война скоро кончится. И как она кончится, они тоже знают. Наверное, потому так сильно в нас желание выжить. В самые трудные месяцы сорок первого года, в окружении, за одно то, чтобы остановить немцев перед Москвой, каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Но сейчас вся война позади, большинство из нас увидит победу, и так обидно погибнуть в последние месяцы.

В мире творятся великие события. Вышла Италия из войны. Высадились наконец союзники во Франции делить победу. Все лето, пока мы сидим на плацдарме, один за другим наступают фронты севернее нас. Значит, скоро и здесь что-то начнется.

Васин кончил чинить аппарат, любит свою работу. В окопе — косое солнце и тень. Разложив на голенищах портянки, протянув босые ноги, Васин шевелит пальцами под солнцем, смотрит на них.

— Давайте подежурю, товарищ лейтенант.

— Обожди...

Мне показалось, что над немецкими окопами возник желтый дымок. В стереотрубу, приближенный увеличительными стеклами, хорошо виден травянистый передний скат высоты, желтые извилистые отвалы траншей.

Опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок. Рюк! Какой-то немец роет среди бела дня. Блеснула лопата. Лопаты у них замечательные, сами идут в грунт. Вровень с бруствером пошевелилась серая мышьяная кепка. Тесно ему копать. А каску от жары снял.

— Вызывай Второго!

— Стрелять будем? — оживает Васин и, сидя перед телефоном на своих босых пятках, вызывает.

Второй — это командир дивизиона. Он сейчас на той стороне Днестра, в хуторе. Голос по-утреннему хриловатый. И — строг. Спал, наверное. Окна завешены одеялами, от земляного пола, побрызганного водой, прохладно в комнате, мух ординарец выгнал — можно спать в жару. А снарядов, конечно, не даст. Я иду на хитрость:

— Товарищ Второй, обнаружил немецкий артиллерийский НП!

Скажи просто: «Обнаружил наблюдателя», — наверняка не разрешит стрелять.

— Откуда знаешь, что это — артиллерийский НП? — сомневается Яценко. И тон уже мрачный, раздраженный оттого, что надо принимать какое-то решение.

— Засек стереотрубу по блеску стекол! — вру я честным голосом. А может быть, я и не вру. Может быть, он кончит рыть и установит стереотрубу.

— Значит НП, говоришь?

Яценко колеблется.

Уж лучше не надеяться. А то потом вовсе обидно. Что за жизнь, в самом деле! Сидишь на плацдарме — голову высунуть пельзя, а обнаружил цель, и тебе снарядов не дают. Если бы немец меня обнаружил, он бы не стал спрашивать разрешения. Этой ночью уже прислали б сюда другого командира взвода.

— Три снарядика, товарищ Второй, — спешу я, пока он еще не передумал, и голос мой мне самому противен в этот момент.

— Расхвастался! Воздух сотрясать хочешь или стрелять? — злится вдруг Яценко.

И черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами. Все в полку знают, что Яценко стреляет неважно. И грамотный, и подготовку данных знает, но, как говорится, если таланта нет, это надолго. Однажды он пристреливал цель, израсходовал восемь снарядов, но так и не увидел своего разрыва. С тех пор Яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай, если придется стрелять. С ним всегда так: хочешь лучше сделать, а наступаешь на большую мозоль.

— Так вы ж больше не дадите, товарищ комдив! — оправдываюсь я поспешно. Это хитрость, непонятная человеку штатскому. Командир дивизии и командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково: «комдив», хотя дивизией командует полковник, а то и генерал, а дивизионом — в лучшем случае майор. Яценко любит, когда его называют сокращенно и звучно: «Товарищ комдив». И я иду на эту хитрость, как бы забыв, что по телефону не положены ни звания, ни должности — есть только позывные.

— Тебе что, мой позывной неизвестен? — обрывает Яценко. Но слышно по голосу — доволен. Это — главное.

Что угодно говорить, лишь бы снарядов дал. Мне начинает казаться — даст.

— А ты знаешь, сколько наш снаряд стоит? Пятьдесят килограммов, — ты знаешь, сколько это в пересчете на рубли?

Все ясно. Точка опоры найдена. Когда пошло в «пересчете на рубли», Яценко уже не сдвинешь.

Он говорит долго и поучительно. Он любит себя послушать. И постепенно успокаивается от собственного голоса. Под конец даже добреет.

— Нанесешь этот НП на разведсхему, пришлешь мне с разведчиком. И наблюдай за ним, Мотовилов, наблюдай! Молодец, что засек.

Хочется выругаться. Страшно мы напугали немца, что нанесем его на разведсхему. Это все равно что убить его мысленно. А он вот пока что роет.

— Я знал, что комдив снарядов не даст, — говорит Васи, когда я возвращаю ему трубку. Он как будто даже доволен, что его предвидение сбылось... Тоже мне ясновидящий!

— Ты лучше сапоги надень! — срываю я на нем зло. — И ноги подбери. Расселся, как на пляже.

А немец теперь обнаглел окончательно. Роет на глазах у всех, словно знает, что по нему не будут стрелять. Я стараюсь не глядеть в его сторону. От этого меня еще больше все раздражает сейчас. И окоп тесный, и вода во фляжке теплая, пить противно, и еще Васи с аппаратом расселся так, что повернуться невозможно. Этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп, чтоб не торчал перед глазами.

Меня еще потому все раздражает сейчас, что выход есть, снаряды добыть можно. Но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров. В шестидесяти метрах от нас — кукуруза, там — НП дивизионной артиллерии. Они все же не так трясутся над снарядами. И командир взвода там — Никольский — мальчик еще, страшно вежливый, этот не откажет. Главное — перебежать шестьдесят метров до кукурузы. Я уже знаю, что не перестану думать об этом.

Удивительно голая местность. Только несколько минных воронок, ни одного окопа, даже трава жесткая, стелющаяся: упадешь — и весь виден. Но сидеть так целый день: смотреть, как немец роет на глазах у тебя, тоже терпения не хватит.

От немцев нас загораживает гребень кювета. Можно хоть изготовиться скрытно. Затягиваю ту же ремень, передвигаю пистолет за спину, вешаю бинокль на шею.

— Будут спрашивать — отдувайся за обоих.

— А если комдив будет ругаться?

Васин очень не любит, когда начальство ругается. Прямо-таки грустнеет на глазах.

— Вот ты и скажешь комдиву, чтоб в следующий раз снаряды давал.

Васин моргает жалобно: мне, мол, хорошо говорить, а отдуваться ему. Невозможно смотреть на него без смеха.

— Не бойся, комдив сюда не придет.

Еще раз оглядываю высоты, занятые немцами. Тихо. Выскакиваю из окопа и бегу. Ветер кидается навстречу, нечем дышать. Впереди — воронка. Только бы добежать до нее! Не стреляет... Не стреляет... Падаю, не добежав! Сердце колотится в горле.

Пиу!.. Пиу!..

Чив, чив, чив!..

Словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой. Отдергиваю руки — так близко. Дурак! Не надо было шевелиться. Изо всех сил вжимаюсь в землю. Она сухая, каменистая.

Чив, чив, чив!..

Только б не в голову. Всею кожей головы чувствую, как могут попасть.

Пиу!.. Пиу!.. Пиу!..

Это уже свистят поверху. Осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажмуриваюсь от вспышки. Вон он откуда бьет! На переднем скате высоты — крошечный холмик, яблоня и в круглой тени ее — окоп. Не могу удержать дрожь глаза, когда там бьются белые вспышки. Хочется зажмуриться. Лучше не видеть, как по тебе стреляют.

Впереди меня, у края воронки, каким-то образом уцелевший желтый подсолнух; смотрит на солнце, отвернувшись от немцев.

Фьють! — падает шляпка.

Фьють! — падает стебель, перебитый у основания.

Я лежу на неудобно подогнутых руках, щекой, плечами прижавшись к земле. С земли высота кажется огромной, только краешек неба виден над ней. Я стараюсь запомнить место, где сидят пулеметчики, чтоб из кукуру-

зы, откуда оно будет выглядеть иначе, узнать его: Если он не попадет в меня и я добегу до кукурузы, тогда уж он будет в моем положении: против артиллерии, бьющей с закрытой позиции из-за Днестра, пулеметчик — то же, что я, безоружный сейчас, против него. Я лежу под его пулями распростертый и из суеверного чувства стараюсь не думать о том, что будет с пулеметчиком, если я останусь жив и добегу до кукурузы.

Последняя очередь проносится надо мной. Тишина... Только теперь чувствую, как устали все время сжимавшиеся мускулы. Отчего-то болит затылок и шея. Край бинокля врезался в грудь. Это я упал на него. Жаль, если побились стекла. У меня замечательный цейсовский бинокль.

На сколько у пулеметчика хватит терпения? Минут десять будет караулить, потом устанут глаза. Главное, чтоб немец не начал швырять мины. Если рядом упадет снаряд, еще можно остаться в живых. У меня был уже случай. Изорвало голенища сапог, а когда я вскочил и побежал, хромая, обнаружил, что еще каблук срезало. Снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх, особенно фугасный. Но от мины на ровном месте спасения нет. Она разрывается, едва ударившись о землю; осколки ее сбивают даже траву.

Осторожно за ремешок тяну из-под себя бинокль: врезался в кость, терпения нет никакого. Потом лежу, закрыв глаза. В висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время.

Наверно, прошло уже десять минут. Больше я не могу, во всяком случае. Вскрываю и бегу. Бинокль раскачивается на шее, бьет по груди. Никак не удастся поймать его на бегу. Падаю уже в кукурузе. Пулемет запоздало строчит вдогонку.

Лежа на животе, еще не отдышавшись, просовываю бинокль меж стеблей. Слепящее солнце, синеватый дымок, затянувший высоты, — все это прорезают увеличительные стекла, и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными. Их двое, оказывается. За реденьким частоколом натканного в бруствер бурого конского щавеля шевелятся две железные каски, два желтых пятна вместо лиц. Теперь я их не потеряю из виду.

По кукурузе близко от меня пробегает, пригнувшись, боец, ладонью прижимая к груди медали. Кажется, ординарец Никольского. Когда я спрыгиваю в траншею

наблюдательного пункта, он уже развешивает на колышках, вбитых в стену, мокрые тряпки: платки, подворотнички. И радостно улыбается мне крепкими зубами, стараясь показать свое расположение:

— Это по вас стреляли, товарищ лейтенант?

Все это время, пока я лежал, мечтая только, чтоб не в голову попало, он под скатом в бомбовой воронке стирал, сидя на корточках, и прислушивался: по ком это? Никто даже огня не открыл. Вот черти!..

— Лейтенант где?

— Болеет лейтенант. В той щели лежит.

Никольский лежит на земле, с головой укрытый шинелью. Дрожит так, что под сукном видно. Я долго тормошу его за плечо. Наконец он садится, откидывает с головы шинель. Расширенным зрачкам его даже в сумраке перекрытой щели больно от света, он жмурится. От лица, от шеи его пышет жаром, а руки ледяные и ногти синие.

— Никольский! — говорю я, взглядываясь в его горячно-блестящие, влажные глаза, и встряхиваю его легонько, потому что не уверен, понимает ли он меня вполне.

— Не кури, — просит он, рукой отгоняя дым от лица, — тошнит от запаха.

И зябко кутает плечи шинелью, застегивает крючок у горла.

— Как в погребке здесь.

Лицо у него желтое, губы от жара растрескались до крови, зрачки точно смолой налиты. Малярия.

— Саша! — Я притягиваю его к себе и чувствую лицом его горячее, резкое дыхание. — Пулемет обнаружил, слышишь меня? Обоих пулеметчиков видно. Не накроем — уйдут, сволочи!

Я вижу, понять меня стоит ему усилия. Он даже поморщился, оттого что больно поднимать глаза.

— С глазами что-то делается, — признался он, — то лицо у тебя огромное, то где-то далеко все. Не попаду я.

— Я буду стрелять!

— У нас там, товарищ лейтенант, цель номер два. Правее немного, — внезапно поддерживает меня ординарец.

— А ну соединяй с комбатом! — уже приказываю я телефонисту.

Все на НП сразу приходит в движение. Я иду по транше, расправив плечи, и встречные почтительно прижимаются к стенам, давая дорогу: что-что, а стрелять артиллеристы любят. Может быть, потому, что мы всегда экономим снаряды. По нас бьют, а мы экономим. Хуже нет, когда сидишь в окопе и ловишь ухом: перелет? недолет? вот он, твой, кажется! И вжимаешься в стенку, и выть хочется от бессильной злобы...

Я сажусь к стереотрубе, прилаживаю ее по глазам. Вон они оба в своих касках, как птенчики в гнезде. Только б не спугнуть. И вдруг замечаю, что и команду передаю тихо, словно они могут услышать.

— Цель номер два! — звучно, лихо, радостно повторяет за мной телефонист. — Правее ноль двенадцать!..

Над головой шуршит земля. Это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх, лежат в кукурузе на животах, ждут первого разрыва. Я медлю: сильный ветер, он неминуемо снесет дым разрыва, а мне хочется быстро вывести снаряд на цель, чтоб сразу перейти на поражение, пока они не сообразили, что к чему. Первый дал перелет.

Я командую:

— Взрыватель фугасный!

Позади пулемета овражек. Плоский осколочный разрыв не будет виден, фугасный же выбросит столбом. Телефонист озадаченно повторяет:

— Взрыватель фугасный!

Он привык, что фугасными снарядами бьют только по укреплениям: по дотам, по дзотам, а здесь — окоп.

И вдруг вся эта продуманная комбинация рушится. Пулемет внезапно начинает строчить — я вижу ясно вспышки в круглой тени яблони, — а сверху, над головой у меня, раздаются какие-то крики.

— Огонь!

Очередь обрывается, каски исчезли в окопе, грязный ватный разрыв встает позади.

Сверху опять кричат:

— Левей, левей ползи!

Кому они кричат?

— Огонь!

Дымом заволакивает окоп. Когда его сносит, каски осторожно приподнимаются. И тут я замечаю на поле ползущего человека. К одной ноге привязана катушка, к другой — телефонный аппарат. Васин! Ползет сюда. Это ему кричат. И я тоже кричу диким голосом:

— Лежать! Лежать, мерзавец!

Услышал. Замер. Обеими руками глубже втянул пилотку на голову. Опять пополз. И сейчас же — та-та-та-та-та!

— Огонь!

Разрывы сильно сносит ветром. Замолкнув на минуту, пулемет опять начинает работать. Вцепился в Васина, не отпускает живым. Больше я не смотрю туда — иначе не попаду. Наверху тоже затихли. Убит? Страшная это тишина.

— Батарее четыре снаряда беглый огонь.

Грохот, кипящий дым над окопом, и в нем, — мгновенные вспышки огня. Даже здесь все трясется, со стен ручьями течет песок. И сразу все обрывается. Тишина давит на уши. Когда ветром относит дым, вижу срубленную яблоню, сапог, выброшенный из окопа. Пулемета нет. И окоп почти целый. Он теперь не в тени, на ярком солнце, тень исчезла вместе с яблоней. Из него медленно исходит дым.

Наверху, над головой у меня, раздается рев, как на стадионе. И под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом. Пыльный, потный, запыхавшийся — живой! Черт окаянный! У меня до сих пор из-за него дрожат колени.

Васин быстро подключает телефонный аппарат.

— Ругались!.. Одна нога здесь, другая — там, чтоб найти вас...

Я сижу на снарядном ящике у стереотрубы, смотрю на него сверху. На его шею, красную, блестящую от пота, заросшую темными волосами, на его круглые плечи, мускулы под натянувшейся гимнастеркой, на его тяжелые от прилившей крови уши, оттопыренные, как у мальчишки. Молодой, здоровый, горячий, весь полный жизни. Если б одна из пуль, одна только пуля попала в него сейчас... Кажется, пора бы уже привыкнуть. Но как подумаешь, невозможно ни привыкнуть, ни понять это.

Васин снизу подает мне трубку. В ней — голос начальника артснабжения полка Клепикова.

— Мотовилов? У тебя какой пистолет, понимаешь? Отечественный? Трофейный? Я, понимаешь, специально приехал, инвентаризацию, понимаешь, провожу...

Снизу на меня смотрит Васин. В глазах сознание важности состоявшегося наконец разговора. Он ждет. Ради этого разговора он полз сюда, привязав катушку к одной, телефонный аппарат к другой ноге. Я молчу.

— Мотовилов? Ты меня слышишь, понимаешь? Ты что, понимаешь, шутки шутить, понимаешь?

Когда он волнуется, он с этим «понимаешь» как заяк. Он очень обидчив, Клепиков. Он — капитан, но ему все кажется, что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту. К командиру батареи, тоже капитану, они относятся с большим уважением, чем к нему, начальнику артснабжения, хотя должность его выше и даже единственная в полку.

— Я специально приехал, понимаешь, инвентаризацию отечественного, понимаешь, оружия произвожу!..

Я не могу даже обругать его, потому что рядом — Васин. Для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат, — у меня это еще перед глазами, как он полз и как стреляли по нему.

— А ну отойди отсюда! — приказываю я Васину.

Когда он отходит, я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все, что думаю о нем и его инвентаризации. Он кричит, что будет жаловаться, что я пользуюсь тем обстоятельством, что между нами Днестр. И голос у него жалкий. И мне вдруг становится жаль его. Не надо было его оскорблять, тем более что он все равно не поймет. Чтобы понять, ему надо побыть здесь, но здесь он никогда не бывал и не будет: на войне всегда между нами Днестр. И говорим мы с Клепиковым на разных языках. Он действительно с самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стороне и чувствует себя там на передовой. Он производит инвентаризацию личного оружия, потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне. А в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек. Наверное, Клепиковы нужны на фронте, раз даже должность для них есть. И в жизни, наверное, без них не обойтись.

Не знаю, тут есть что-то несовместимое, что совершенно понять нельзя. И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний, война для нас настолько различна, словно это две разных войны. У меня гораздо больше общего с незнакомым мне, случайно встреченным пехотинцем, с которым мы закурим вместе, перекинемся парой ничего не значащих слов, и окажется вдруг, что мы и понимаем друг друга с полуслова, и чувствуем многое одинаково.

Я уже не сержусь на Клепикова. Я действительно на него не сержусь. Я отвечаю на его вопросы. У меня не отечественный пистолет — трофейный парабеллум.

Клепиков еще некоторое время ворчит, потом успокаивается. В общем, он — незлобивый человек, хотя и обидчив. Главное, он любит, чтобы к его делу относились уважительно. Я доставляю ему это удовольствие: терпеливо слушаю его. Оказывается, трофейные пистолеты он не включает в инвентаризацию. И чтоб у меня не осталось неясности на этот счет, он разъясняет, почему он так делает. Очень логично. Но что-то надо сказать Васину. Не мог же он зря проделать весь этот путь. И я благодарю его. Пять минут назад, когда он полз под огнем, я не знаю, что мог бы с ним сделать: Сейчас я его благодарю.

— Но если еще раз так полезешь, не немцев бойся, а меня.

Васин доволен.

До вечера мы остаемся здесь. Васин угощается у разведчиков, я иду к командиру батальона Бабину, которого поддерживает наша батарея.

С яркого солнца, с пекла спускаюсь вниз, в прохладный сумрак землянки, где желтым огоньком горит свеча.

— Начальству привет!

Бабин только глянул и продолжает лежа думать над шахматной доской, подперев ладонью крепкую черноволосую голову. Он в тельняшке, в одном хромовом сапоге, другая, вытянутая нога в носке. Про него говорят: «Это тот комбат, который лежа воюет». Даже те, кто не знают его по фамилии, в лицо ни разу не видели, про такого комбата слышали. Бабина ранило в ногу осколком мины, еще когда мы высаживались на плацдарм. С тех пор он и воюет лежа, и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон. Рассказывают, был тут сначала военфельдшер — отчаянная девка, она и ухаживала за ним.

При желтом огне свечи руки, шея, лицо Бабина кажутся коричневыми. Лицо у него крупное, жесткие щеки давно уже бреющегося человека.

Напротив него, на других нарах, сбив фуражку на затылок — как она у него там держится, непонятно, — горбоносый командир второй роты Маклецов негромко, чтоб не мешать комбату думать, наигрывает на гитаре и поет: «Прощайте, скалистые горы...»

Песни комбат любит морские: до войны он плавал на Севере капитаном рыбацкого сейнера.

Я сажусь рядом с Маклецовым, достаю портсигар. В общем-то, конечно, Яценко прав, что не дал снарядов: стрелять из стоятидесятидвухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям — это все равно что из пушки по воробьям. Но рассуждать объективно можно, когда ты спокоен, а не в тот момент, когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть, а тебе еще снарядов не дают.

Привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого, щуплого телефониста. Надевает на голову телефонную трубку, усаживаясь рядом с телефонным аппаратом, старается не шуршать. Он явно смущен. Еще бы не смущен, когда выиграл у начальства.

— Где-то тут я что-то просмотрел... — неуверенно говорит Бабин.

Мне он нравится. Спокойный, упорный мужик. Но на человека, хорошо играющего в шахматы, способен смотреть как на бога.

Бабин ложится на спину, берет со стола свечу в плошке, прикуривая, втягивает весь огонек в трубку.

— Из-за чего война была? — спрашивает он, отнеся огонь от лица.

— Пулемет уничтожили, — говорю я так, словно каждый день уничтожаю по пулемету. — Двух пулеметчиков ухлопали.

Глаза Бабина веселеют сквозь дым.

— Ну, все. Скоро война кончится.

Он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом.

— Покажи.

Я показываю, где стоял пулемет.

— Рядом с яблоней? — радуется он, что зрительно помнит местность. — Так и надо дуракам: не лезь под ориентир.

Он прячет планшетку.

— А ну, расставляй еще!

— Так что ж, товарищ капитан, опять сердиться будете, — предупреждает телефонист, заранее снимая с себя всякую ответственность.

— Расставляй, расставляй! — Бабин уже сердится. Телефонист пожимает одним плечом: «Что ж, я лицо подчиненное», — и расставляет фигуры и себе и комбату.

Они успевают сделать первые ходы, когда начинается бомбежка. Бабин со стола берет трубку в рот — трубку эту он завел с тех пор, как начал воевать лежа, — дума-

ет над ходом, подперев лоб пальцами. Наверху — тяжелые удары. Подпрыгивает на столе огонек, словно хочет оторваться от свечи. Пыль, как дым, подымается из углов, наполняет воздух. Грохот давит на уши, голова становится мутной.

Откуда-то сверху скатывается связной, козыряет у дверей, вытянувшись. Он весь обсыпан землей, глаза вытаращены.

— Товарищ комбат, прислан для связи командиром третьей роты! На участке нашей роты банбит — солнца не видать!

Из-за частогокола пешек Бабин осторожно вытянул коня, держа на весу, сказал:

— Возьми карандаш на столе, возьми бумагу, напиши слово «бомбит».

Связной нерешительно двинулся к столу, взял карандаш отвыкшими пальцами. На бумагу с треском посыпалась земля сверху. Он уважительно смел ее ладонью... «Ты стоя-ала в белом пла-атье, — наигрывал Маклецов, заглядывая через плечо связного, — и платком махала...» Осторожно положил гитару на сено, вышел из землянки: до своего НП ему бежать недалеко, метров сорок.

У связного на первой же букве ломается карандаш.

— Дайте ему нож карандаш очинить, — говорит Бабин, не отрываясь от доски.

От взрывов приходят в движение бревна наката над головой. Они скрипят, трутся друг о друга, и все это сооружение начинает казаться непрочным. С потолка вниз по стене стремглав проносится мышь.

Связной старательно выводит букву за буквой, согнувшись над столом, то и дело дуя на бумагу. Бабин негромко переговаривается по телефону с командирами рот. «Кульчицкий, у тебя как?..» Даже мне на других нарах слышно, как кричит в трубку Кульчицкий. Его бомбят сейчас, и он собственного голоса не слышит.

Точно ученик, связной подал бумагу. Бабин зачеркнул «в», надписал сверху «м».

— Перепиши три раза, — и опять задумался над ходом с трубкой в зубах. Лицо напряженное, глаза остро блестят.

Я выхожу из землянки.

В небе над головой, зайдя в хвост друг другу, кружат «хейнкели». Их круг в небе — это наш плацдарм на земле. Какой же он крошечный!

Согнувшись, бегу по кукурузе к НП. Падаю, не добежав. Звенящий вой входит в меня, как штык. Закрываю глаза. Земля вздрагивает подо мной, как живая. На минуту гложу от грохота. Когда поднимаюсь, впереди черная и серая стена дыма. И на фоне этой черной, клубящейся грозовой стены особенно зелено, сочно блестят листья кукурузы. И сейчас же новый взрыв кидает меня на землю. Становится темно и удушливо.

Потом «хейнкели» улетают, сквозь черный дым проглядывает солнце. И уже вскоре над головой у нас — летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце. Оно кажется сейчас особенно ярким. Даже не верится, что пять минут назад оно тоже светило над головой и только дым заслонял его. Я отряхиваюсь. Кого-то уносят, согнувшись, по кукурузе. Еще пахнет взрывчаткой и везде разбросаны свежие комья земли.

Неужели кончится война и с такой же легкостью, с какой проглянуло сейчас солнце, забудется все? И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?

ГЛАВА III

Ночью нас внезапно сменяют.

Является командир отделения разведки Генералов, с ним Синюков и Коханюк. Коханюк во взводе новый, я его еще толком не знаю. Острый пестренький носик в веснушках, пестрые рыжеватые глаза, тонкая шея. Кто ж тебя так кохал, Коханюк, что за ворот тебе еще и кулак можно засунуть? Генералова я не видел десять дней. Он еще больше раздался вширь, лицо заблестело. По его комплекции ему бы усы, да орденов полную грудь, да под знамя — гвардеец!

— Еле вас нашли! — говорит он радостно оттого, что все-таки нашли. — На НП — нету. Мы уж по связи сюда...

Он садится на землю, сняв с головы, кладет рядом с собой новую фуражку (ого! даже фуражку завел офицерскую. Я пока что в выгоревшей пилотке кожу), платком вытирает лицо, волосы. От него пахнет одеколоном. Пока мы едим, он рассказывает новости:

— Ну, товарищ лейтенант, с вас вина бочонок: комбатом вас хотят назначить.

— А Монахов куда?

— Малярия доконала. В госпиталь увезли старшего лейтенанта.

Странно устроен человек. Вот и не нужно мне это: кончится война, буду жив — демобилизуюсь. А все равно приятно.

Васин уже собрался, он и есть почти не стал: дома поедим. Действительно, мы ж домой идем. Я встаю.

— Так вот, Генералов, делать тебе вот что...

И как только я встаю и начинаю вводить его в круг обязанностей, Генералов сразу тускнеет, а на лице Коханюка отражается тревога. До сих пор они шли, спешили, один раз попали в болото, чуть не угодили под разрыв мины, бежали, искали нас, потеряли, нашли паконец, — они возбуждены и радостны. Но постепенно возбуждение остыло. Сейчас мы уйдем, и они останутся одни. Только Синюков — этот уже бывал на плацдарме — спокойно переобувается на траве. В огневом взводе есть несколько человек старше его, но у меня во взводе их только двое таких: он и Шумилин. Он из тех солдат, что ни от чего не отказываются, но и сами никуда не напрашиваются: обошлось без них — и ладно.

— Ты что ж без шинели? — говорю я Генералову.

— А я так понимаю, нас скоро сменят?..

Это получается у него вопросительно.

— Смотри какой понятливый!

— Должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи. Младший лейтенант, фамилия у него еще такая запоминающаяся... В географии встречается.

— Чичеланов?

— Во, во! Пролив такой в школе изучали. Чичеланов, Магелланов...

— Ты, видно, сильный был ученик.

— Нет, чего? Я это дело любил...

— Понятно. Так что Чичеланов?

— В штаб дивизии для связи забрали в последний момент. Я понимаю, я тут временный.

— Ну, раз временный, в гимнастерке не замерзнешь, да у тебя ж еще и фуражка новая.

Генералов улыбается заискивающе: он, мол, понимает, что товарищ лейтенант шутит. Не нравится он мне сегодня. И мне бы надо с ним быть строгим, но отчего-то в душе мне неловко перед ним. Оттого, наверное, что я уйду и скоро буду на той стороне, а он остается здесь. И Генералов чувствует это.

— Ладно, оставляю тебе свою шинель.

И потому, что мне хочется скорей уйти, я, словно стыдясь этого, все медлю. Ребята от моего сочувствия окончательно погрустнели. Генералов еще несколько раз к слову говорит, что должны были прислать сюда младшего лейтенанта, а вот прислали его. А когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе, он выслушивает это угрюмо, словно и воевать его заставили вместо кого-то. Ничего. Это до тех пор, пока есть старший над ними, кто отвечает за все. А уйду, останутся одни — и разберутся сразу, и выроют, и сделают все.

Напоследок захожу к Бабину проститься, и потом вместе с Васиным мы быстро идем через поле к лесу. Под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зарницы оружейных выстрелов, и в воздухе над нами воет, удаляясь: опять по берегу бьет.

В лесу, сильные перед дождем, запахи цветов и трав хлынули на нас, и мы замедляем шаг. Теперь уже никто не задержит, мы отошли порядочно. Когда на плацдарме сменяют, самое сильное желанье — скорей выбраться отсюда: вдруг в последний момент случится непредвиденное и тебе придется остаться?

В лесу темней, чем в поле, и душно здесь, и отчего-то беспокойно, как бывает перед грозой. А тут еще Генералов испортил настроение. Не следовало оставлять ему шинель. От близкого болота ночи здесь бывают свежие, померзнет в одной гимнастерке, так иная ночь в шинели раем покажется. И уж не станет думать о том, что он временный здесь. Мне на фронте никто свою шинель не подстилал. И правильно делали.

Но с полдороги и Генералов, и мысли о нем — все это остается позади. Мы возвращаемся домой! Радостно снова идти по лесу, по которому десять суток назад мы шли сюда, радостно узнавать каждое дерево. Лес с тех пор сильно поредел. Множество деревьев, расщепленных словно от удара молнии, белеет в темноте. У иных сломаны вершины, иные вырваны с корнем и валяются на земле, мертвые среди живых.

Наверное, здесь нет ни одного раненого дерева. Пройдет время, затянутся осколки белым мясом, но еще долго у пил будут ломаться зубья, еще не раз человек, срубив дерево, вынет на ладонь осколок или пулю, и что-то защемят в душе и вспомнится пережитое...

Далекие, восходящие у нас за спиной ракеты освещают

черноту впереди и блестящие листья на кустах. И по мере того как мы идем по лесу, к запахам цветов и трав присоединяется свежий все более сильный запах близкой уже реки. Сейчас будет поворот, а там рукой подать до Днестра.

За поворотом мы обычно отдыхаем. Здесь в песчаный косогор, на котором растут растут сосны, держа его корнями, врыта землянка связистов. Хорошая землянка. Под самой сосной. Потолок сводом, как в русской печи. И пахнет здесь, как в сторожке: едой и махоркой. Даже дверь поставили настоящую. А от двери три ступеньки вниз и — дорога. Нет такого человека, который бы шел на плацдарм или с плацдарма и не поднялся бы по этим ступенькам, не выкурил бы сигарку у связистов на промежуточном пункте. И пока курит, не раз позавидует их тихому лесному житью. А представит себе место, куда идет сам, так и вовсе раем покажется эта землянка. Гася сигарку о подошву, пошутит: «Вам бы поросеночка завести или сразу корову, раз хозяйство такое». И однажды связисты в самом деле перевезли из-за Днестра корову, привязали к сосне около землянки — в полукилометре от берега, в километре от передовой. Даже навес соорудили над ней, чтоб незаметна была с воздуха, а травы в лесу — только ленивый не накосит. Но у коровы, как только она оказалась на плацдарме, почему-то пропало молоко. А вскоре ее убило снарядом.

Сейчас мы тоже перекурим у связистов. Тут как бы рубеж. Все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте. И если ты идешь на плацдарм, самую первую точную информацию получаешь здесь.

Сильный синий свет разрывает черноту над лесом, на миг осветились закачавшиеся вершины деревьев, и я вижу впереди себя, в том месте, где была землянка, огромную бомбовую воронку и с корнем вырванную, поваленную на дорогу сосну. Что-то торчит из песка, но я не успеваю разглядеть, что это: свет гаснет. И уже в темноте над головами у нас, над зашумевшими вершинами, выше туч тяжело и глухо грохочет. Привыкшие к артиллерийскому обстрелу, мы не сразу догадываемся, что это гром. При новой вспышке молнии, подойдя ближе, мы видим полу шинели, мешком повисший шинельный карман и ногу в сапоге, согнутую в колене. Поднявшийся ветер уже раскачивает их над бомбовой воронкой на уровне наших голов. Прямое попадание...

— И сюда достал, — говорит Васин.

Мы привыкли к тому, что на плацдарме убивает. Без этого еще дня не было. И прямые попадания не такая уж редкость, когда простреливается каждый метр. Но здесь безопасное место. Здесь наш тыл. А когда убивает в тылу, это почему-то всегда действует неожиданно.

Через Днестр мы переправляемся под проливным дождем. Он по-летнему теплый. Пахнут дождем наши гимнастерки, которые столько дней жарило солнце. Теперь дождь вымывает из них соль и пот. Пахнет просмоленная дощатая лодка, сильно пахнет река. И нам весело от этих запахов, оттого, что мы гребем изо всех сил, до боли в мускулах, оттого, что соленые струи дождя бегут по лицу.

На плацдарме, теперь уже далеко от нас, всходят в дожде ракеты, свет их туманен. Хлещут синие молнии, ослепительно отражаясь в воде. Мы гребем спиной к тому берегу, лицами — к плацдарму. Он все больше отдаляется от нас и как бы опускается за воду. И чем дальше отплываем мы, тем меньше кажется он издали, наш плацдарм. Но сколькож жизнью стоил иной метр его...

— Зальет ребят! — кричу я.

Васин из-за плеча поворачивает ко мне мокрое, веселое лицо, в которое хлещет дождь.

— Просохнут!

Лодка скребет по песку. Мы выпрыгиваем в воду, вытягиваем лодку носом на берег.

— Искупаемся?

Мокрые, сидя на мокром песке, стаскиваем через головы гимнастерки, а дождь шлепает нас по спинам. Из всего, что есть на мне, только партбилет не промок: он в прорезиненной обертке от индивидуального пакета. Я закатываю его в гимнастерку. Васин тянет у меня с ноги сапог и вместе с сапогом везет меня по песку, и мы оба хохочем. Потом он, голый, мускулистый, скачет на одной ноге, срывая с другой мокрые брюки. Рядом с ним я — худой и длинный, и я немного стесняюсь этого: ведь я же лейтенант. Мы пробегаем по лодке, раскачивающейся под ногами, и один за другим прыгаем головами вниз в черную воду. Ух ты! Даже дух захватывает — так хорошо! Когда я вынырываю из глубины, рядом отфыркивается Васин, трясет круглой головой, а река вся залита зеленым светом ракеты. Что-то холодное скользит у меня по животу, обвивает ногу. Вздвогнув от гадливого чувства, ныряю.

Водоросли! Мягкие, шелковистые. Я кидаю ими в Васина, он кидает в меня, и, брызгаясь и смеясь, расплываемся в разные стороны. Только вырвавшись с плацдарма, чувствуешь, как же хорошо жить на свете! А с берега, из окопов, что-то кричат нам приглушенными голосами. Кажется, злятся.

Захватив под мышки сапоги, гимнастерки, брюки, мы босиком бежим по песку вверх. Спрыгиваем в траншею. И, сидя на корточках, в одних трусах, курим. От мокрых пальцев наших сигарки шипят. У Васина на мокром теле то вспыхивают и разгораются, то гаснут капли воды. А вокруг стоят пехотницы и лейтенант, все в плащ-палатках, в капюшонах, голоса у них недовольные.

— Ну чего крик подняли? Он тут на голос бьет!

Я подмигиваю Васину, и мы оба хохочем. «На голос бьет!» А с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода. У этих ребят, обороняющих траншею за Днестром, здесь — передовая. Кто ж для них тогда мы, переплывшие с плацдарма? Смертники? А ведь для пехоты, сидящей на плацдарме, наш НП, расположенный метрах в ста позади них, — тыл.

— Крепко вы здесь окопались! Проволоку бы еще надо колючую: все-таки фронт.

Обиделись:

— Мы таких видали. Вы-то вот сейчас уйдете, а он по нас будет бить.

Пожалуй, не стоило их обижать. Позади них еще ого сколько народу. На фронте у каждого свой передний край. И в жизни, наверное, тоже.

Дождь постепенно стихает. Мы патягиваем на себя все мокрое и идем в хутор. На этой стороне даже воздух легкий какой-то. Совсем по-другому дышится.

У первых домов из тени дерева наперерез нам выходит патруль. Двое разведчиков нашего дивизиона, у каждого из-за плеча торчит приклад автомата. Узнав, пропускают. Просят только прикурить.

— А курить на посту нельзя, — говорит Васин строго: он любит иногда поучать.

Смеются. Это они знают, как знают и то, что прикурить мы дадим. Уходят они от нас, унося в мокрых рукавах шинелей тлеющие огоньки сигарок.

В хуторе сон и тишина. Мы идем вдоль низкого, белого под луной забора, по-южному сложенного из плоского дикого камня. На другой стороне улицы до полови-

ны дороги — тень, несколько луж блестит в разьежженных колеях. Такое чувство, словно и родился я здесь и прожил здесь жизнь и теперь возвращаюсь домой. Вот она, деревянная калитка на кожаных петлях. Ее нельзя открыть. Ее надо приподнять и перенести. Мы делаем проще: мы перепрыгиваем через забор.

Кулаком бью в раму окна. Нечего спать, раз мы вернулись. Окошко крошечное: четыре стекла, замазанных в белую глиняную стену дома, и рама крест-накрест. Все это сотрясается под ударами.

И сейчас же распахнулась дощатая дверь. Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, в трусах и босиком стоит на пороге.

— Заходите, товарищ лейтенант.

В доме сонное тепло, воздух густой, спертый. Разведчики, спавшие на полу, садятся на своих плащ-палатках, жмурясь от света лампы. Голоса до первой сигарки хриплые.

— Вы бы хоть окно открыли.

— Та они здесь такие окна, что не открываются. Прикладом выбить — это можно. Вместе с рамой.

И ухмыляются, довольные. Я скидываю с себя все мокрое, в одних трусах, босиком иду к столу по теплому глиняному полу. И только сейчас всем своим голым отгревающимся телом чувствую, что прозяб.

На столе всего столько, что страшно начинать. Лежат три фляжки, обшитые сукном, стоит посреди стола высокая, мутноватая бутылка с прилипшими к стеклу крошками соломы. Самогонка. По запаху — виноградная. Вот с нее мы и начнем.

Панченко паливает в граненые стаканы мне и Васину. Мы только двое сидим за столом. Остальные разведчики — кто боком на подоконнике, кто на кровати, кто на полу, поджав под себя ноги, — сочувствуют издали. Их Панченко к столу не допускает: не они вернулись с плацдарма, а мы.

— Ну, за то, чтоб всегда возвращаться.

И мы пьем. Самогонка крепкая, до слез. Взяв по куску холодного мяса, жуем медленно, ждем, пока дойдет. И постепенно становится тепло.

У стола хозяйничает Панченко. Кухонным ножом режет хлеб. Не кукурузный, не ячменный — высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой. Потом появляется из печи горячая баранина и коричневая от под-

ливки картошка. Все почти такое же, как, бывало, готовил Парцвания, только перца не хватает. Эх, Парцвания, Парцвания... Мы наливаем по второй.

Хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой. Об этом не думаешь там. Это здесь со всей силой чувствуешь. Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. И уезжать надолго не приходилось. Первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь, второй раз — уже на фронт. Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал того, что испытываем мы сейчас. Они возвращались соскучившиеся, мы возвращаемся живые...

Сидя на подоконниках, спинами подпирая стены, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. А в углу стоит широкая деревенская кровать с деревянными шарами. Белая наволочка, набитая сеном, белая простыня. В ногах поперек положена шинель. Конечно, это Панченко все приготовил, угрюмый мой ординарец. Он на год моложе меня. У него маленькие, вечно озабоченные глаза и крупный нос. «Нос у меня от деда», — говорит он. Брови тоже от деда. Панченко единственный в батарее кубанский казак, откуда-то из Усть-Лабинской. Я смотрю на его озабоченную, угрюмую милую морду, и в душе у меня к нему нежность. Но ему об этом знать не положено.

Многого не понимали до войны люди. Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? За всю войну только в госпитале я спал на простынях, по тогда они не радовали. Так бывало в детстве: стоит тяжело заболеть, и тебе готовят самое лучшее, самое вкусное, а ты не можешь есть. И, выздоровев, всегда жалеешь об этом.

— Ну, по последней!

Потом я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельем, и проваливаюсь, как в пух. Такую широкую деревенскую кровать невозможно ни вынести через дверь, ни внести. Ее вносят, наверное, один раз, до того, как построен дом. Ставят, а потом уж воздвигают саманные стены. Сегодня я сплю на ней один. Но от чего-то никак не могу заснуть. Жарко мне или не хватает чего-то? Я ворочаюсь, натягиваю на ухо шинель, с закрытыми глазами считаю до ста. И едва задремываю, как, вздрогнув, просыпаюсь опять. Я просыпаюсь от тиши-

ны. Даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов, привык, чтобы кто-то в тесноте дышал мне в затылок, и сейчас на широкой кровати, на чистых простынях не могу заснуть. И мысли лезут в голову о ребятах, оставшихся на плацдарме. Зажмурюсь — и опять все это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, дорога в лесу — до последнего кустика — и черные высоты, занятые немцами, при свете плывущей над ними ракеты... Нет, кажется, не усну. Я надеваю сапоги, накидываю на голые плечи шинель и осторожно, чтобы не разбудить ребят, выхожу во двор. Весь он, покатый к Днестру, освещен, как днем, стена дома ярко-белая, а черные стекла в окне блестят. И воздух свежий после дождя, пьяный. И тихо. Как тихо! Словно и нет войны на земле. Я сижу на камне, запахнув колени шинелью. Что-то дышит рядом. Лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах, косится настороженно.

— Давай подружимся, пес!

Он тихонько рычит в ответ, и черная губа приподнимается над синеватыми клыками. Потом подползает все же, мокрый нос тычется мне в колено. Я запускаю пальцы в его теплую свалывшуюся шерсть.

Впереди — оранжевая луна садится за глиняную трубу дома. Свет ее, как два бельма, отражается в глазах собаки. И что-то такое древнее, бесконечное в этом, что было до нас и после нас будет.

В школе за один урок мы успевали пройти нескольких фараонов. Сорок пять минут урока были длиннее двух веков. Персия, Александр Македонский, Писистрат, законы Ликурга, Рим, Пунические войны, что-то сказал Гасдрубал, Столетняя война... Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас бежало с удивительной быстротой и вот теперь только пошло своим нормальным ходом. Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по четырнадцать, пятнадцать лет. Как это много, если помнишь каждый прожитый день, если сорок пять минут урока за партой кажутся бесконечными, если давно мечтаешь стать взрослым, а время тянется так медленно!.. Я уже воюю третий год. Неужели и прежде годы были такие длинные?

Луна опустила за трубу, только краешек ее светится над крышей. Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас

она будет совершать свой еженощный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно.

Продрогнув, я встаю с камня, и вместе со мной до половины подымается из-за крыши луна. В доме, в тепле, я укрываюсь с головой и, подрожав под шинелью, засыпаю.

ГЛАВА IV

Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме. И первое чувство — никуда мне не нужно спешить, ни о чем не надо думать. Хорошо! Где-то война, а я в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. Да, я — комбат! Ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба, при множестве свечей торжественно объявил мне об этом.

И вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве: не взводный, а командир батареи. Окно завешено суконным одеялом, в доме прохладно, сумеречно, от побрызганного пола пахнет сырой глиной, мух ординарец выгнал, чтоб не будили; только одна жужжит где-то под потолком. Я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям. Странно, их почти нет. Наверное, потому, что я просто еще не знаю, как должен чувствовать себя командир батареи.

Я откидываю ногами шинель, потягиваюсь на сене — простыня уже сбилась, — зеваю до слез. Отдаленно бухает за Днестром орудие. По звуку — немецкое ста пяти. Босиком иду к столу по глиняному полу, наливаю из кринки молока — оно даже желтое, такое жирное, — пью с пшеничным хлебом.

Все же хорошо быть комбатом. Был бы я сейчас взводным, нужно было бы бежать докладывать, а теперь можно не спешить. Хоть маленький, а хозяин. Одно неприятно, предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком.

Кондратюк старше меня и годами и по службе. Он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор — лейтенант. Он по-крестьянски кряжистый, ноги кривоватые, сильные, сапоги носит сорок пятый размер. Широко не столько в плечах, как в бедрах и в талии, и очень силен. Ему уже двадцать пять лет, но, глядя на него, ясно представляешь себе, каким он был в детстве, парнишкой еще.

Есть люди, которых просто невозможно вообразить детьми. Словно они такими прямо и родились на свет: значительными, солидными, лысеющими, с установившимися манерами и походкой. Словно они никогда не пачкали пеленок, никогда их не звали: Петечка, Вовочка, а уже в детстве величали Петром Георгиевичем, Владимиром Авксентьевичем... Кондратюка же видишь. Был он, наверное, сопливый, уши оттопыренные (они оттопырены и сейчас), и говорит он не «ушами», а «ушима»: «своими ушима слышал...», передний зуб сколот косо, волосы на лбу торчат вверх, словно их корова языком лизнула. Вот уж действительно, у кого чего нет, тому именно этого хочется. Носить бы Кондратюку волосы назад, раз они сами туда указывают, так нет, старательно зачесывает костяной расческой набок, а уже через мпнуту на затылке и на лбу они у него торчат.

Я даже не понимаю толком, почему к нему никто не относится всерьез. Он самый старый в полку (да что в полку — во всей армии), самый старый командир взвода. Всю войну командует взводом. За этот срок на фронте взводного либо успевает убить, либо он становится генералом. Ну, старшим лейтенантом на худой конец. Кондратюк все в тех же чинах.

Его прислали к нам в сорок первом году, когда мы еще стояли на формировке. А он уже прибыл с фронта, из разбитого, попавшего в окружение пушечного полка большой мощности. И все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте. О бомбежках, о немецких танках с крестами, об автоматчиках, лезущих сквозь огонь, о том, как «мессера» на дорогах гоняются за каждым человеком. За ним тоже гонялся вот так «мессершмитт». Кондратюк в кювет — «мессершмитт» кружит над кюветом. Кондратюк в рожь — и «мессершмитт» в рожь, поливает из пулемета. «Кубики увидел у меня на петлицах и не дает житья. Что так, что так — конец приходит. Тогда я тоже разозлился, выхватываю наган и с третьего патрона снял его».

И вместе с этим несчастным «мессершмиттом», сбитым с третьего патрона, рухнул и вдребезги разбился весь фронтовой авторитет Кондратюка. Сколько раз уже собирались назначить его командиром батареи, но в последний момент обязательно передумают. Не везет человеку. И вот теперь тоже назначили не его, а меня, и мне придется

разговаривать с ним, и с этого первого разговора твердо расставить все по местам.

А в общем, чего это я с утра буду портить себе настроение? Успею еще вызвать и поговорить: война не сегодня кончается. Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие за Днестром. Ложусь на кровать и, лежа на спине, курю и прислушиваюсь. Не к орудийной надоевшей стрельбе, а к непривычным мирным звукам деревенского утра. Где-то с хрипотцой прокричал петух. Жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть.

На Украине у одной хозяйки видел я петуха, который пережил немцев. Утром взлетал на плетень, бил себя в грудь крыльями, но молча. Так что даже непонятно было, в каком смысле бил он себя в грудь. И сейчас же опрометью кидался под сарай. Сколько раз немцы лазили туда за ним, но так и не нашли. Только начихаются от пыли и лезут обратно. И до того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать, что немцы ушли, а он и после них не подает голоса. Старуха не нахвалится: «Такий розумный, такой розумный, ну як людына». Словом, всем хорош петух, только кур не топчет. И куры отчего-то к нему не идут. И старуха, хваля и вздыхая, бесславно прирезала петуха на лапшу.

Этот, по всему видно, решил лучше жизни лишиться, но не бросить кукарекать. И кукарекай себе на здоровье!

С улицы несется веселый утренний звон молотка по железу. Даже здесь, в сумеречной комнате, чувствуется, что за окном яркое после дождя утро. Когда ветром отдувает одеяло, плоский солнечный луч, пронзив сумрак, упирается в печь, и побелка вспыхивает. Табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна.

Из-за дома слышны голоса разведчиков, смех. Смех почему-то женский. Странно. На двадцать пять километров от Днестра нет мирных жителей. Откуда женский смех?

Я еще некоторое время курю лежа, но мне это уже не доставляет удовольствия. Потом вовсе становится скучно валяться здесь одному. Одеваюсь, натягиваю гимнастерку. Она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом. Панченко старался спозаранку. И стоячий воротник тоже влажен и тесен, когда я застегиваю пуговицы.

В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери. Глиняный пол, стертый деревянный порог и

вся дверь — в солнечных полосах. Я распахиваю ее и зажмуриваюсь: после сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленая листва деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит. На непросохшем песке еще не затоптанные следы крупных капель.

Издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут собрался весь взвод! Одна из девчат — полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко: при ее достоинствах и это — награда. А тот, ёрзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки — синий берет со звездочкой.

Я почему-то сначала подхожу не к ним, а к Васину. Босиком, в летних галифе, завязанных у щиколоток, в синей майке — тело у него белое, молодое, здоровое, а шея и кисти рук коричневые от загара, — он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком, что-то сгибая из жести. На земле уже стоят несколько жестяных кружек: совсем маленькая, больше, больше... Дорвался до работы. Когда он все это успел сделать? Я беру с земли самую маленькую кружку, верчу ее в руках.

— А это зачем?

Васин подымает от работы веселое, все как в росе лицо.

— Норма. Сто грамм. Чтоб старшина не обмерил.

И смеется:

— Был обрезок, я и согнул. Чего жести пропадать зря?

Я верчу кружку в руках, рассматриваю внимательно: и дно и внутри. В душе я завидую развязности Саенко. И девушкам, наверное, с ним легко.

— Вот это и есть начальство, из-за которого нельзя шуметь? — громко спрашивает младший лейтенант с родинкой. Черные насмешливые глаза смотрят с вызовом.

Сейчас надо бы на лету подхватить этот тон, брошенный мне, и тогда все будет легко и просто. Но у меня с детства неприятная особенность, с которой я не могу справиться: я краснею. Причем всякий раз невпопад, и даже, бывает, неожиданно для самого себя. Краснею так мучи-

тельно, что вокруг всем становится неловко. И сейчас вдруг чувствую, что могу покраснеть. И сразу теряю уверенность. Я беру с земли вторую кружку, хмурясь, строго осматриваю ее, словно принимаю у Васиной работу. Глупо, ну глупо же! Васин смотрит на меня, ждет. И все смотрят на меня.

— О-о, начальство строгое!

Только бы не покраснеть. Кажется, один Панченко одобряет мой строгий вид: он вообще ревниво печется о моем авторитете. Я становлюсь еще строже.

Выручил меня связной командира дивизиона Верещака. В пилотке поперек головы, с карабином, из которого он за всю войну так, кажется, и не выстрелил по немцу, Верещака козыряет, запыхавшись:

— Товарищ лейтенант, вас той... командир дивизиона звать!

Глаза, как всегда, обалделые.

— Пилотку поправьте!

Верещака хватается за нее обеими руками. Из-за отворота падает на землю окурков. Верещака подхватывает его, прячет обратно.

Начальственно строгий, как журавль, я иду за связным в штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки:

— Слишком серьезные... Девушками не интересуются.

А я ненавижу себя в этот момент. И настроение у меня окончательно испорчено.

Зато у Яценко настроение хорошее. Это видно сразу. В новом жарком кителе из английского сукна, в широченных галифе с напуском на колени и кантами, в сверкающих сапогах, в фуражке со сверкающим козырьком, он победителем стоит посреди штаба под низким побеленным потолком хаты, слушает писаря. Тот, не подмигивая — политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах, рассказывает, по каким соображениям костюм Яценко был шит раньше, чем командиру первого дивизиона. Тут, оказывается, тоже своя субординация.

С недавних пор завелись в полку два портных, и зеленые, мягкого сукна английские шипели стали срочно перешиваться на офицерские кители и брюки. Вначале были шиты костюмы командованию полка, теперь дошла очередь до командиров дивизионов. Причем шили не по какому-либо порядку, а в виде поощрения, так что тот, кто обмундировывался первым, мог считать себя в неко-

тором роде награжденным. И писарь вел свой рассказ так, что многое в нем щекотало Яценкино самолюбие.

— Видал химика? — Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать.

Это тоже поощрение своего рода, что меня приглашают послушать. Был бы я сейчас командиром взвода, Яценко не пригласил бы: с командирами взводов он строг! А теперь сразу видно, меня приблизили на определенную дистанцию. Для писаря поощрение в словечке «химик». Так Яценко называет людей ловких, оборотистых и почему-то всегда писарей.

— Химик! — шепотом повторяет Верещака с восторгом рвения, словно хочет запомнить. И хихикает: смешно!

— Никакой химии, товарищ капитан! — честно тарархится писарь; сразу видно — врет!

Яценко доволен. Зачерпнув из котелка полную горсть шелковицы, головой указывает мне на писаря. «Видал чертей? Я их знаю!» — и, как семечки, кидает ягоды в рот с расстояния, быстро прожевывая, причем все мускулы лица сразу приходят в движение. От спелой шелковицы рука его как в чернилах, а сам он в зимнем толстом кителе выглядит нахохлившимся, но доволен, поскольку награжден. Яценко наконец вытирает руку.

— Отвоялся?

И смотрит на меня с удовольствием, оглядывает с ног до головы. Это, наверное, в самом деле приятно: видеть человека, которого сам ты повысил в должности.

— А ну покажи ему список награжденных.

Яценко, отойдя к окну, заложил руки за спину, улыбается загадочно. У меня от радостного предчувствия сжалось сердце. За что? За Запорожье? Но тогда наш полк перекинули в другую армию, и говорили, наградные затерялись. А может быть, нашлись? Бывают такие случаи. Или за Ингулец?

Множество честолюбивых надежд проносится в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писаря. Что? «Звездочка»? «Отечественная война»? А может быть, «Знамя»? Под Запорожьем, говорят, к «Красному Знамени» представляли. Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался. И это приятно мне сознавать.

Буквы скачут у меня перед глазами. Орден Красного Знамени — один человек. Красной Звезды — трое. Меня

нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия как черта над обрывом. А дальше — пустота! Как же так? Я шел сюда, ничего не имея, и сейчас не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминал со стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте, на чистой стороне. Яценко хохочет:

— Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено?

— Трое, товарищ капитан!

— Видишь — трое! — Яценко чистой рукой отбирает у меня список. — Васин твой?

— Мой.

— «За отвагу». Панченко твой?

— Мой.

— «За отвагу». Парцвания твой?

Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими круглыми, черными, будто слезой подернутыми глазами: «Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе столько орденами награждено! За табак! За чайный лист! За цитрусовые! Все женщины с орденами. Стыдно, на войне был и без ордена приехал. Скажут, не воевал Парцвания». На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметней, чем орден на летчике.

— Убит Парцвания. А Шумилин награжден? Я что-то не видел его фамилию.

— Шумилин. — Яценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам. — Шумилин... Шумилин... — Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брови сошлись у переносицы. — Это какой же Шумилин?

— Связист. Лет сорок пять, пожилой такой.

— Шумилин... — Палец срывается с бумаги. — Нет, нету. Он что, подвиг какой-нибудь совершил?

— Никакого он такого подвига не совершал.

Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать.

— С сорок первого года воюет человек, какой еще подвиг нужен? За труд — за свеклу, за лен — орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопатой перекопал? Под бомбами, под снарядами... Ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой — пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме...

Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, и медаль на его груди качается и поблескивает.

— Постой, постой! — останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности. — Да ты что, собственно, меня за советскую власть агитируешь?

И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии.

— За советскую власть агитируешь, — шепчет Верещака, будто заучивая. — Товарищ капитан если скажут, так уж правда скажут... — И хихикает: смешно.

Яценко веселеет от успеха.

— Что ты меня, говорю, агитируешь за советскую власть? — повторяет он уже для слушателей. — Я ей вполне предан.

У писаря и связного — оживление.

— А то, — говорю я, с ненавистью глянув на них, — что я Шумилина четвертый раз представляю, и опять какой-нибудь писарь потерял наградные.

Писарь с медалью обиженно обрывает смех, смотрит на командира дивизиона, как бы ожидая, что тот оградит его от оскорблений.

— Тоже удивил: четыре раза... Вот этого еще из твоего взвода представляли... музыкант... фамилию забыл. Так что не один Шумилин. Да если б каждый из нас за каждое представление получал по ордену...

Яценко уже хотел расхохотаться, но вдруг нахмурился. Получилось не совсем удачно. Дело в том, что за Барвенково Яценко представляли к ордену Отечественной войны второй степени, как и многих других. Прошло время, полк опять перекинули в другую армию, и все решили, что наградные потерялись: это уже бывало не раз. Тогда Яценко за то же самое представили вторично, но теперь уже к ордену Отечественной войны первой степени, как бы возмещая долгое ожидание. И еще потому, что из трех командиров дивизионов он единственный в ту пору не был награжден. И вдруг приходят сразу оба ордена — и первой и второй степени — одному Яценко. Вот они оба на его груди, ввинченные в сукно, блестят золотыми и серебряными лучами...

Неловко получилось. Собственно, я, когда говорил, никак его не имел в виду. Но с Яценко почему-то всегда неловко выходит.

Дальнейший разговор строго официален. К шестнадцати ноль-ноль построить батарею: будут вручаться награды. Заправка, обмундирование — чтоб все как следует быть! «Слушаюсь! Слушаюсь!» Козыряю: «Разрешите идти?»

На улице уже жарко. В небе, забравшись на недостижимую высоту, кружится, и воет, и блестит в лучах солнца крошечный металлический самолет. «Рама». Белые дымки зенитных разрывов, отставая, кучно вспыхивают в небе.

Странно, как многое из того, что не имеет цены там, на плацдарме, здесь становится важным. Мы ни разу не говорили там об орденах, а сейчас я не нашел себя в списке и расстроился. Перед кем, правда, неловко, так это перед стариком Шумилиным. Он, конечно, ничего не скажет и виду не подаст, но, пожалуй, даже лучше, что меня нет в списке, — по крайней мере, не так неловко перед ним.

От ближнего дома мне машут и кричат что-то. Это разведчики второй батареи. Я машу им в ответ. Если посмотреть вверх по склону, хутор безлюден. Глянуть вниз, к Днестру, — за каждым домом народ. Лежат, сидят на земле, иные, задрав голову, приставив ладонь козырьком, наблюдают за стрельбой зенитчиков, иные без рубашек жарят спины на солнце: летом даже на фронте хорошо. В воздухе лень, зной, высоко над хутором, взбираясь еще выше, гудит самолет.

Меня вдруг словно током кольнуло. Какого это музыканта из моего взвода представляли к награде? Музыкант у меня один: Мезенцев. Я его не представлял. Комбат? Комбат в госпитале, у него не спросишь. Яценко? Первое желание — идти обратно к командиру дивизиона. Нет, не пойду. И так поговорили достаточно. Дело ведь не в медали, дело в справедливости.

Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу: Мезенцев. Он — рядовой, я — офицер, я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его. Он двадцать первого года рождения, на два года старше меня. И когда началась война, и когда немцы подошли к Днепропетровску, он был призывного возраста, но почему-то не в армии, и как-то так получилось, что остался в Днепропетровске. Говорит, уже нельзя было выехать. Не знаю, может быть. До войны он играл в оркестре на валторне. Он

это произносит так: «На валторне» — и головой и рукой делает красивый жест. При немцах он тоже играл в оркестре. Люди воевали, а он играл на валторне. Говорит, было очень тяжело. Тем не менее женился при немцах и даже двоих детей народил. И освободили мы его не в Днепропетровске, а в Одессе — вон уже где!

В полку прослышали, что он может играть на трубе, и два раза пытались его забрать. Я не отдал. Мезенцев знает об этом и тоже ненавидит меня. Если меня ранит или убьет, он очень скоро — я уверен в этом — окажется в оркестре дивизии, а то и армии.

Я ненавижу его не столько за то, что он был у немцев и даже детей там народил — черт с ним, в конце концов! — но он из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие. И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие, и он даже уверен в этом своем праве. Потому что он играет на валторне.

Когда я возвращаюсь, Васин все еще звенит молотком по ломику, только рядом с кружками уже сверкает на солнце новый жестяной котелок. Шея, грудь Васина блестят от пота, а на носу вздрагивает при каждом ударе мутная капля. Но утереть некогда: счастлив. И, глядя сверху на его белые, осыпанные веснушками плечи, глядя, как он увлеченно работает, я твердо решаю, что больше не возьму его на плацдарм.

— А ну бросай эту ерунду. Старшину зови ко мне. Быстро!

Я вдруг замечаю Мезенцева. Вышел из-за дома, ждет. Уже прослышал что-то. Он в немецких сапогах с короткими широкими голенищами на худых ногах, плечи покаты, руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, на длинной, с кадыком, шее узкая голова, вдавленные виски, плоские волосы. Совсем иначе он выглядел бы в вечернем костюме с подложенными широкими плечами, брюки скрывали бы худобу ног. Но здесь, на фронте, каждый выглядит так, каков он есть в действительности. И я с удовольствием говорю ему:

— На плацдарм со мной пойдете вы. Связистом.

— Я, товарищ лейтенант, радист.

Что-что, а права свои он знает хорошо. Он — радист. Радия сейчас в ремонте. Следовательно, пусть пока воюют другие.

— А вот вы с ихнее повоюйте, тогда будете рассуждать, кто вы, радист или связист. Вы тем будете, кем я вас сделаю. Ясно?

Молчит. Глаз не опускает. Они у него выпуклые, блестящие.

— Ясно...

Тогда я возвращаю его:

— Повторите приказание!

Здесь не строевая подготовка, здесь — фронт. Ни с одним из своих бойцов я бы не стал делать этого. Но Мезенцев еще не воевал, а уже кто-то представляет его к награде. На глазах у взвода я возвращаю его два раза подряд.

Старшина батареи, старый, хитрый, мудрый, прижимистый Остапенко, от которого почему-то всегда пахнет конским потом, хотя орудия наши на механической тяге, подходит ко мне с опаской. Он пережил уже пятерых комбатов, знает, что на все его возражения у комбатов существует одно: «Чтоб было!» — и боится нововведений, от которых обычно страдает имущество батареи. Я приказываю ему построить батарею к шестнадцати ноль-ноль, лично проверить обмундирование, оружие.

— То так... Так... Слушаюсь, товарищ лейтенант, — бормочет он, довольный пока что.

— Товарищ комбат! — кричат мне из соседнего дома, едва видного за абрикосовыми деревьями. Голос младшего лейтенанта с родинкой. — Идите к нам вареники делать с шелковицей.

И машет мне из окна.

— Вот сахару отпустишь на вареники! — приказываю я.

— Сахарю? — пугается Остапенко. Но не возражает. Комбату возражать нельзя, он старшина дисциплинированный.

Кто-то уже принес новость из штаба, и взвод приходит в движение. Васин срочно вырезает из жести недостающие звездочки для пилоток, артиллерийские эмблемы на погоны. Их тут же пришивают нитками. Срочно чистятся сапоги, разбирают и смазывают оружие.

Я иду в соседний дом, едва видный за абрикосовыми деревьями.

ГЛАВА V

Младшего лейтенанта с родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашова. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа, она, правда, из Таганрога, но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они с сестрой двойняшки — Рита и Люся — и совершенно похожи друг на друга, только по родинке ее отличали от Люси. Мне почему-то страшно нравится, что она — двойняшка и что с родинкой. Среди знакомых моих никогда не было двойняшек. И я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают.

— А у Люси тоже такой завиток на лбу?

Рукой в муке, тыльной стороной, Рита откидывает волосы со лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нету. Люся талантлива. Прошлой весной, когда шли бои под Никоподем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила.

— Помните, какая под Никоподем была грязь?

Я смотрю сбоку на ее руки, месящие тесто на вареники, на ее коротко стриженную темноволосую головку, раскрасневшиеся щеки, оживленно блестящие глаза. Рита Тамашова.

Нет, я не помню, какая под Никоподем была грязь: в то время я лежал в госпитале. Меня под Запорожьем ранило. Но к нам привозили раненых из-под Никополя, они рассказывали про эту грязь.

— Жуткая грязь, — говорит она весело. — Танки и то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов: и снаряды, и продовольствие, и патроны. И Люсино это письмо тоже сбросили с самолета. Меня как раз ранило, я лежала на плащ-палатке и редела как дура. Потому что уже несколько дней все на мне было мокрое, а тут еще холод, и я крови много потеряла. И вот тогда, чтоб развеселить, мне принесли Люсино письмо. Оно тоже было мокрое, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное. Потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно.

Как странно, она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я. Эвакогоспиталь 1688. Полевая почта 24332.

— Помните, там был хирург — грузин с усиками? Большой такой, черный, руки огромные. Такие руки, что сразу веришь.

Конечно, помнит! Три операции он ей делал. Мы переходим с Ритой на «ты».

— Так это ты только сейчас едешь из госпиталя?

— Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась.

— А я в марте выписался.

Надо же: целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал. Наверное, потому, что она была лежащая больная.

Рита подсучивает мне рукава гимнастерки: «Ты же весь в муке вымазался!» — подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговицам моей гимнастерки на груди. Я стою, задерживая дыхание, подняв руки в муке: добровольно сдаюсь в плен. Завиток у нее тоже в муке. На затылке у нее короткие волосы.

— А Люся вареники не умеет делать, — говорю я уверенно.

Рита смеется:

— Глупый! Люся талантлива!

Удивительно неприятное, лисье имя: Люся.

Я знал одну Люсю. С длинным, всегда озябшим носом, малокровная, и рассуждала о живописи. Спорит, вся красными пятнами покроеется, а мать говорит грустно, так, чтобы она не слышала: «Вы уж, пожалуйста, не возражайте ей, не спорьте: у нее после кровь носом идет».

— Люся с самого рождения талантлива?

Рита смеется.

— И у нее, конечно, здоровье слабое? И в детстве у нее был плохой аппетит?

— Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее, что она тебе не нравится?

— Почему... Наоборот, мне это все нравится.

Я сам толком не знаю, отчего злюсь на эту Люсю.

— Тебя в детстве звали «девочка с изюминкой»?

— Нет.

— Понятно. А я бы звал. У тебя родинка похожа на изюминку.

У Риты слезы на глазах: от смеха и от дыма. Уже не видно потолка, дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. Мы вместе пригибаем головы, руки наши месят одно тесто, и отчего-то делается страшно немного.

— Вы топите, в конце концов, или вы не топите?

Саенко и его дама сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, поочередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Широкие спины обоих одинаково перетянуты портупейми, плечи одинаково широки, икры одинаково толсты. Блондинка как раз в Саенкином вкусе. Они взялись вместе растапливать печь — имеется в виду в дальнейшем варить вареники — и вот уже добрых полчаса сидят перед нею на корточках и дуют, и хохочут, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников.

— Мы ее топим, а она не топится. — Блондинка кокетливо улыбается мне.

— Да вы же трубу не открыли! Вон дым течет изо всех щелей!

— Мы открыли. Ее только завалило, кажется.

— Так что вы дуете?

Смотрят друг на друга. Смеются. У Саенко, освещенные пламенем печи, блестят толстые губы.

Дым уже опустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает в сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстия в крыше и стене. Вчера в эту хату попал немецкий стопятидесятимиллиметровый снаряд из-за Днестра, пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался и теперь валяется посреди дворика, длинный, новый, величинной с молочного поросенка. Если посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду, и сквозь солому тоже.

— Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому, — говорит Рита.

— Второй раз не попадет, — заверяет Саенко. — На то и существует закон рассеивания снарядов.

— Где это такой закон существует? — интересуюсь я.

Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прямо-таки наповал убивает девчат своей учностью.

— В артиллерии существует... И вообще в природе... Разве вы не знаете? — Он усиленно подмигивает мне.

— Все же в артиллерии или в природе?

— В артиллерии.

— Так... Ну, раз ты такой грамотный, бери кастрюлю — и вдвоем шагом марш за шелковицей.

— У нас шелковицы достаточно.— Глаза Риты смотрят на меня насмешливо и твердо.

— Нет, у нас недостаточно шелковицы,— говорю я еще тверже.

Саенко хватает ведро и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только они уходят, за окном при ярком солнце обрушивается белый ливень с градом. И как только они уходят, становится вдруг не о чем говорить и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам. Белые горошины его отскакивают от железного подоконника, брызги летят на руки нам. Я опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту.

— Теперь они на час пропадут,— говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, но голос у меня ненатуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной.

На плацдарме начинается сильный обстрел, даже здесь дрожат остатки стекол. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку: «Стопятидесятипяти... Стопяти...» Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем.

— Печь, кажется, совсем погасла,— говорит Рита.

Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она идет к печи. Я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточки. Я тоже сажусь на корточки. Рита дует в печь. И я дую в печь. Пламя освещает наши лица. Наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное, круглое колено. Дрова трещат и стреляют искрами, печь разгорается, лицам становится жарко. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь, пушок на ее порозовевшей щеке и губы, освещенные пламенем. И я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы поднимаемся одновременно. Она, кажется, рассерженная, я — испугавшийся собственной смелости.

— Физкульт-привет! — говорит Рита.— Предупреждаю: аплодисменты будут по щекам.

Я готов пострадать. Я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее за плечи рукой, я ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы, родинка колет мне щеку. Ритин поднявшийся торчком погон упирается мне в ухо. И тут оба мы слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается. Снаряд

уже воев над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна.

Тррах!

Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол. Крошечные осколки блестят у Риты в волосах.

— Постой,— говорю я и осторожно выбираю их пальцами.

В доме пахнет разорвавшимся снарядом.

— В саду разорвался,— говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову.

Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, грудь гимнастерки, лицо — все в жидкой глине, словно он плашмя полз.

— Мусю убило. Идите скорей!..

Мы выбегаем за ним в сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, принакает ухом, поворачивает ее на спину, и тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови.

— Я на дереве был,— словно оправдываясь, говорит Саенко,— она внизу стояла с ведром. Меня оттуда взрывом скинуло. Поднимаюсь — она лежит...

Он вытирает руки о штаны. Рита встает с колен, подходит к нам.

Сейчас, когда она лежит в траве, Муся не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее в чернильных пятнах осыпавшейся шелковицы. Дождь смывает их. И множество спелой шелковицы, стрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее зовут: Муся.

— Ее звали Паша,— говорит Рита.— Но она почему-то стеснялась и, когда знакоилась, говорила, что ее Мусей зовут.

И вспомнила:

— Это она придумала делать вареники. Она сладкое любила.

Главное, так все хорошо начиналось...

А на плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитный грохот.

Наша артиллерия бьет уже с этой стороны, а из-за Днестра временами доносятся пулеметные очереди. И вдруг предчувствие какой-то беды охватывает меня.

— Мезенцева ко мне! — кричу я Саенко и бегу в дом, где оставил автомат. Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами.

— Товарищ лейтенант, вас комдив требует!

И, оглянувшись, не слышат ли нас, говорит тихо:

— Слух прошел, немец наступает.

Я глянул на Риту. Она смотрела на меня. Война!..

Яценко встречается мне на полдороге.

— Связи с твоими нет! Что они, спят, сволочи? Кондратюка гони на плацдарм!

— Кондратюк там ничего не знает. Я сам.

— Сам? Давай сам. Быстро! И связь, связь! Стрельбу ведем в белый свет, никто не корректирует.

Каждое слово он отрубает взмахом кулака. На кулаке даже косточки побелели, так сжат.

Подбегает Мезенцев, сопровождаемый Панченко. Мы вместе бежим с ним к переправе. Вдруг я замечаю, что Панченко не отстает от нас.

— А ты куда?

Молчит.

— Назад сейчас же!

Он остается под дождем, недовольный, даже издали я вижу, как он все не уходит.

У тех, кто попадает на навстречу нам, лица тревожные, в глазах один и тот же вопрос: «Что там?» А там все сильней обстрел и нет связи.

На перекрестке двух улиц застряла в грязи повозка. Повозочный яростно хлещет лошадь по морде. Просвистел снаряд, за домами с грохотом взлетает дым разрыва, лошадь, обезумев, рванулась, вырвала повозку из грязи и мчится по улице, вся лоснящаяся от дождя, волоча вожжи. Повозочный с криком бежит за ней.

На переправе пехота уже в боевой готовности. Стоят в траншеях молчаливые, вглядываются в тот берег, пулеметы наведены на реку. Какой-то артиллерист в плащ-палатке, в капюшоне под дождем кричит команды в телефонную трубку. Мы сбегает к лодке. Веревка, которой она привязана к колу, намочла и не отвязать.

— А ну помощи!

Вдвоем, натужась, мы вырываем кол из песка, вместе с веревкой кидаем в лодку, спихиваем ее с берега. И ко-

гда лодка уже качается на воде, прыгаем в нее через борта, разбираем весла.

Тот берег закрыт от нас дождем. И этот берег постепенно отступает, мутнеет, скрывается из глаз. Мы уже мокры насквозь, и в сапогах у меня хлюпает, и скамейка, на которой я сижу, мокрая. Передо мной узкий затылок Мезенцева, шея с ложбинкой и прилипшими к ней мокрыми косицами волос, по которым вода бежит за воротник. Напряженная сутулая спина его с немецким автоматом, косо висящим на ней, то отклоняется, то валится на меня.

Почему нет связи? Все явственней слышны пулеметные очереди, перебивающие друг друга: наши и немецкие. Артиллерийский гром грохочет за стеной дождя. И оттого, что предчувствие беды не оставляет меня, мне кажется, что мы плывем медленно, и мне противен сейчас и узкий затылок Мезенцева, и суетливые движения его слабых, разболтанных в кистях рук, в которых весла то и дело вырываются из воды.

Наконец тот берег становится различим за моим плечом: обрыв и темный лес над обрывом. Он все ясней выступает из дождя.

Лодка ударяется в песок, мы валимся друг на друга, мокрые выскакиваем на берег. Мезенцев выпрыгнул неудачно, нога подвернулась, он падает в воду.

Я уже сижу под обрывом, с автоматом на коленях, жадно сосу намокшую сигарету, когда, хромая, подходит Мезенцев. Вода потоками течет с него.

— Нога подвернулась, — говорит он, бледный, задыхаясь.

Он садится рядом со мной на песок, через мокрую кожу сапога ощупывает пальцами щиколотку.

По лицу у меня течет вода. Я вытираю ее ладонью, сигарета жжет мне губы. На Мезенцева не смотрю. Это случается на плацдарме: пока был на той стороне — ничего не болело; попал на плацдарм — нога начала подворачиваться.

От грохота и сотрясения берег над нами дрожит и осыпается, обнажая сухой песок, серые корни деревьев. У самой воды лежит оскаленная убитая лошадь. Дождь моет ее лоснящийся бок, волна полощет гриву. Рядом свежая воронка, залитая водой, какое-то окровавленное тряпье, обрывок бинта, из которого дождь уже вымыл кровь. Держась за щиколотку, Мезенцев глазами навыва-

те косится на этот бинт на песке, мокрое лицо его уже не бледно, а серо.

— Пошли!

Я бросаю окурок в воронку. Мгновенно два пескаря всплывают к нему. Смерть и жизнь — на фронте это всегда рядом! Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека — это его окровавленное тряпье полощет дождь, — и в той же самой смертной воронке, занесенные сюда волной, уже живут два пескаря. И тут же я зажмуриваюсь, сжавшись. Грохот. Дым. С обрыва нас обдает грязью. Мина!

— Пошли! — ору я, чувствуя, как трудно мне сейчас оторвать себя от земли.

С автоматами за спинами мы карабкаемся по осыпавшемуся обрыву, хватаем руками мокрые, скользкие от глины корни деревьев, лезем по ним, как обезьяны. Вылезли. Бежим. Падаем: разрыв позади! Мезенцев все сильнее хромает, но не решается отставать. Кажется, он правда подвернул ногу. Вбегаем в лес. И тут встречаем первого раненого. В мокрой, натянутой на уши пилотке, он под локоть несет впереди себя забинтованную руку. На минуту опустив ее, безнадежно машет здоровой рукой:

— Ханá! Прет всей силой... Закурить нет ли?

Я охотно достаю ему сигарету, потому что вдруг чувствую нерешительность. И даже помогаю ему закурить, заслонив огонь от дождя. Где-то я уже встречал этого пехотинца, лицо его знакомо мне.

— Наших там не видал? Артиллеристы... НП в дороге...

— Накрыло! — кричит он, как глухой. — Куда там!.. Тяжелыми бьет!.. Как даст, как даст — аж земля сдвигается. И автоматчики... Из огня лезут!..

Я сразу отчетливей слышу стрельбу по лесу и близкие крики. С треском разрывается в вершинах снаряд, мы только успеваем приземиться.

— Вон он, вон что делает, — заторопившись, бормочет пехотинец. — Лодки на берегу есть, не видал?

И тут я замечаю затравленные глаза Мезенцева, о котором я забыл в этот момент. Они только что не кричат. В них — мои мысли. То, что я самому себе не скажу, он сейчас скажет вслух: «Зачем мы идем туда, когда все отходят? Там никого уже нет!» И вовсе тайное: «Здесь мы одни, ничем не связаны, никого нет над нами. А отту-

да уже не уйти нам. И лодок не будет...» И во мне остро вспыхивает ненависть к нему.

— За мной! — яростно кричу я и бегу вперед с автоматом в руке.

Стрельба все ближе, чаще разрывы по лесу. И сильно пахнет дымом. Один раз, перепрыгивая поваленное дерево, я упал. Встаю, задыхаясь. Автомат, колени, руки — в жидкой грязи. Мезенцев сидит на земле, держит ногу в руках.

— Не могу идти, товарищ лейтенант. Ногу вывихнул. Я не обманываю. Честное слово!

Губы у него дрожат, капли дождя на лице, как слезы.

— За мной!

Я чувствую, могу застрелить его сейчас. Он тоже чувствует это и подымается с земли.

Еще несколько раненых попались нам навстречу. Каждый говорит свое. Рослый пехотинец с закушенными от боли белыми губами — осколок попал ему в пах — тычет в сторону винтовкой, опираясь на товарища.

— С фланга обходит, сволочь! Минометами глушит — головы не подынешь!

Голос звенящий, надорванный. Товарищ отводит глаза. Этот ранен легко, пристроился провожать, боится, как бы не вернули.

Я уже не бегу, а иду, потому что Мезенцев все время отстает. Я тоже выбился из сил в облепленных грязью сапогах, сердце колотится так, что в висках отдает.

Внезапно дождь кончается. Сразу светлеет. Стрельба начинает стихать. Нестерпимо яркое солнце открылось в небе. Лучи его дымным веером валяются сквозь вершины. В лесу — пар.

На черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется. Другой, пустой рукав висит, в расстегнутом вороте видны бинты, и под гимнастеркой обозначается рука, согнутая в локте. Единственный из всех раненых он говорит беззаботно:

— А ни черта там никто никого не обходит. Ну дождь же. Мы разведку пустили, немец разведку пустил. Чья-то разведка на мины напоролась. А может, их вовсе градом на проволоке повзрывало. Тут он с перепугу стрельбу

открыл, тут мы напугались. Я сам шестнадцать мин пошвырял, а где разорвались — ни одну за дождем не видел.

Белые ровные зубы его блестят весело, глаза блестят. И все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым. Разве можно в бою верить раненым?

Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки и когда потом меня везли в медсанбат, я был уверен, что наступление наше провалилось. И в медсанбате (а там лежали исключительно раненные во время этой контратаки) все говорили, что Запорожье нам теперь не взять — будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили: мы же оттуда, мы лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи, — значит, они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа — ему кажется: фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит. Но я-то чего верил?

Жарко. Я расстегнул гимнастерку на потной груди. Наверное, и ребята живы. «Накрыло!» Он, этот солдат, контуженный был, оттого и кричал, как глухой. Я его про наш НП спросил, а он про себя говорил, про снаряд, которым его контузило.

Мы доходим до опушки леса, и я вдруг слышу голоса своих разведчиков, а потом и вижу их. Вон они сидят под деревом и спорят, а за деревьями мокрый луг блестит против солнца, как сквозь дым.

— Синюков! — обрадовавшись, кричу я. — Коханюк! И бегу к ним.

— Живы?

Они, словно испугавшись, вскакивают, стоят передо мной потупясь.

— А Генералов где?

Молчат. Ни тот, ни другой не поднимают глаз. Я оглядываюсь и теперь только замечаю Генералова. На мокрой траве, метрах в двадцати пяти отсюда, он лежит навзничь. Гимнастерка на впалом животе задралась, лицо с открытыми глазами выполоскано до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода.

Дождь хлестал в него уже лежащего, и теперь от обмундирования Генералова подымается пар.

— Почему вы здесь? — спрашиваю я.

В первый момент я как-то даже не обратил внимания, что они не на НП, а в лесу, метрах в шестистах позади него: рад был, что живы.

— Почему вы не на НП? Связи почему нет?

— Связь есть,— говорит Синюков.

— Почему не отвечали?

Молчат. Мнутся. Коханюк совершенно растерян.

— Садитесь!

Садимся на траву. Постепенно картина проясняется. У меня не зря было плохое предчувствие, не зря мне казалось, что должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП. Начался дождь, начался этот суматошный обстрел в дожде, в плохой видимости. Потом у них перебило связь. Потом откуда-то прополз слухок: «Немцы наступают...» И они побежали. Я знаю, как это бывает. Как вдруг возникает страх, что все отойдут и ты останешься один. А тут еще не видно никого и только сплошной губительный огонь.

Может быть, вовсе и не в предчувствии дело. Когда на плацдарме сменяют, больше всего хочется скорей уйти отсюда, пока ничего не случилось, пока тебя не задержали в последний момент. Мне в тот раз очень не понравилось настроение, с которым оставался Генералов. И надо было что-то сделать. А когда начался обстрел, вот это и гнало меня сюда, и заставляло торопиться, и мне казалось, что без меня там случится беда.

— Как его убило?

— Свои,— говорит Синюков мрачно.— Вон оттуда стреляли.— Он указывает на поле.

Оказывается, им кричали. Синюков слышал. И Генералов слышал, конечно. Но не остановился.

— Все бежали,— подавленно оправдывается Коханюк.

Он и сейчас не понимает, как же это так получилось: все бежали и все на месте, только они трое здесь. Но ведь и я, когда встретил в лесу первого раненого и он сказал: «Прет всей силой!..» — я услышал крики и близкую стрельбу по лесу и тоже на минуту поверил, что все отходят. Коханюк не врет. В тот момент он был уверен, он своими глазами видел, что все отходят. Когда смерть рядом, когда разрывы подгоняют — и не то увидишь. Но вот за это на фронте расстреливают на месте. Потому что

не останови одного — и паника перекинется на всех. Это так же, как взорвется один снаряд, и от детонации взрываются другие. Тут тоже что-то взрывается в мозгу, и люди видят то, чего нет. И бегут с потемненным сознанием. А после — стыд и ничего не могут понять.

Между стволов деревьев в небе стоит жаркое после дождя, дымное солнце. Пар идет от земли, от мокрой, потемневшей коры, от наших гимнастерок. В лесу еще пахнет порохом: ветер с поля согнал сюда дым разрывов, — но сладкий запах разогретой лесной малины пересиливает его. И все после дождя яркое, молодое, свежее. Слепящий солнечный свет ломится меж стволов, и пронизанные им листья деревьев невесомо лежат на воздухе. А от ветки к ветке протянулась на солнце хрустальная паутинка; капли, сверкая, дрожат на ней.

После дождя и разрушений с особенной силой ко всему вернулась жизнь — и цвета и запахи. А на сочной, молодой траве, еще не помутневшими глазами уставясь на солнце, лежит убитый человек, и на его лице, от которого навсегда отхлынула кровь, сквозь желтизну все сильнее проступает синеватая бледность.

Никто никогда не упрекнет меня в его смерти. В каждой батарее, в каждом взводе может оказаться трус. Но Генералов не был трусом, я знаю это.

Нелегко отправлять человека на опасное дело, особенно если сам ты в это время не подвергаешься опасности. Тебе неловко перед ним, и, как бы облегчая его — а на самом деле себя одного только, — ты начинаешь сочувствовать. И этим сочувствием малодушно взваливаешь на него дополнительную тяжесть. Он уже сознает себя несчастным, как бы даже страдающим за кого-то другого. И в трудный момент, помня твое сочувствие, он пожалеет себя. И Генералов пожалел себя.

Я вижу его лицо, когда он, оставаясь на плацдарме, угрюмо выслушивал мои приказания и все повторял, что должны были прислать командира взвода восьмой батареи с запоминающейся фамилией, а вот прислали его, Генералова. Он не был трусом, он им стал. Он слишком долго просидел за Днестром, оттуда наблюдал войну, а издали она всегда страшней. И вот позорно погиб.

Сидя на опушке леса под деревом, я вызываю тот берег, докладывая командиру дивизиона обстановку.

— Так какого же черта они молчали до сих пор?! — кричит Яценко: оказывается, у него уже несколько раз

командир полка запрашивал обстановку, а он ничего не мог доложить.

Объясняю: Генералов убит, связь была прервана. Больше не объясняю ничего. Не к чему. У Генералова есть мать. Мать не виновата ни в чем. Пусть наравне со всеми получит извещение: «Пал смертью храбрых». Когда притупится горе, хоть это будет утешением ей.

— Ну так ты смотри теперь! — предупреждает Яценко, словно от меня зависит, чтоб обстрел не повторился. И торопится закончить разговор. Он доволен, что я уже здесь, что связь восстановлена, а главное, доволен, что может наконец доложить обстановку командиру полка. И спешит поэтому.

Пока я говорю по телефону, Синюков под громкие охи Мезенцева стаскивает с его ноги сапог, разматывает мокрую портянку. Щиколотка действительно распухла. Мезенцев сидит под кустом, упираясь руками в землю. Нога поднята вверх, она выражает укор мне. Синюков без всякой брезгливости держит в своих руках его мокрую ступню с грязными, давно не стриженными ногтями на искривленных пальцах, ощупывает ее с интересом: ему бы санитаром быть. И, не предупредив, вдруг дергает сильно. Задохнувшись от боли, с расширенными зрачками, Мезенцев хватается за свою ногу, лезет по ней вверх, хватая Синюкова за руки. Но постепенно ужас и боль в его глазах сменяются чем-то другим, робким, похожим на изумление. Он еще не верит, но боли уже нет. Без сил он сидит на земле. Синюков, довольный, свертывает над ним папироску. Работа сама говорит за него. Кажется, они собрались сидеть тут до вечера. Мезенцев на правах пострадавшего греет босую ногу на солнце и все не налюбуется на нее.

— Пошли! — говорю я.

Синюков сразу мрачнеет. Гасит папироску.

— Куда же идти, товарищ лейтенант? — басит он угрюмо, глядя под ноги себе и почему-то особенно выделяя «товарищ лейтенант». — Белый день, он сейчас увидит — из минометов начнет швырять.

Тогда Мезенцев тоже подает голос:

— У меня вывихнута нога! Я не могу надеть сапог!

В голосе его дрожат слезы: все видели, как он страдает, все видят, какая несправедливость с моей стороны. Я ничего не говорю. Я только смотрю на него, и он надевает сапог. Куханюк взваливает на спину тяжелую катуш-

ку. Напрягшаяся шея его становится еще тоньше. Катюшку эту должен бы нести Мезенцев, но Коханюк ничего не говорит. Оглушенный всем случившимся сегодня на его глазах, он вообще ничего не говорит и готов идти, куда будет приказано: хоть назад, хоть вперед.

Мы сначала идем, потом перебегаем, потом бежим, рассыпавшись. Обстрел застигает нас на болоте. Мины с чавканьем рвутся между кочками, обдавая вонючей грязью. Горячие осколки шипят в воде. И каждый раз, падая от мины в воду, я приподымаюсь на руках после разрыва, смотрю, целы ли Синюков и Коханюк. Гнев мой уже давно остыл, и меня грызет сомнение: может быть, и в самом деле надо было переждать до вечера? Конечно, умели бежать, умеете возвращаться. Но у Синюкова дети. Не помню сколько, много что-то. Они ведь ни при чем.

Мезенцев не может бежать, и его тащат поочередно под руки. Всю войну играл на валторне, и даже теперь мы под руки ведем его воевать. В первой же воронке я приказываю бросить Мезенцева:

— Стемнеет — по связи придете!

Последние метров тридцать — пустое, голое, со всех сторон открытое место — проскакиваем пулей по одному: Синюков, я, Коханюк. Бегу, вжав голову в плечи. В кукурузе спрыгиваю в щель на кого-то.

— Поосторожней!

Человек зло ворочается подо мной. Высвободился. Рядом с моим лицом — его лицо. Неприятное лицо. Толстые щеки, узкие недобрые глаза, до черноты прокуренные мелкие зубы. На нем немецкая пятнистая куртка — разведчик, конечно.

— Квартирантов тут не требуется!..

Мне, чтоб ответить, надо прежде отдышаться. Сверху свешиваются еще ноги, зад — Коханюк вместе с катушкой плюхается на дно окопа. Становится тесно. Сдавленный нами разведчик в углу мокрыми бинтами завязывает руку. Пуля прошла ему по пальцам. Один оторвала совсем, другой висит на коже и на мясе, еще два задеты только.

— Ты бы прежде, парень, спросил, в чьем окопе сидишь. Кто его рыл ночью? — говорит Синюков. Стоя на коленях, он откапывает засыпанный землей телефонный аппарат. Пробует продувание, вызывает тот берег. Связь есть.

— Хозяева, значит, вернулись, — презрительно подводит итог своим наблюдениям разведчик. — Далеко бегали?

— Далеко, парень, далеко, — добродушно басит Синюков. После того как мы побывали под обстрелом, он заметно повеселел. — А палец этот, гляжу я, тебе уж ни к чему.

— Тебе, что ли, отдать?

Синюков с профессиональным интересом наблюдает, как разведчик пытается прибинтовать оторванный палец. Меня отчего-то знобит. Солнце еще жжет сильно, а я никак не могу согреться. Наверное, оттого, что все на мне мокрое. И глазам больно глядеть на свет.

— Нет, парень, не мучься, — решает Синюков. — Самое лучшее тебе его отрезать. Хочешь — могу!

Разведчику жалко палец. Он все смотрит на него.

— Говорят, срастается кость. Если сразу на место приставить... Не до этого было. На мины мы напоролись на нейтралке. Тут он из пулеметов полосанул... Я и не заметил вгорячах. После уж гляжу — такое дело... У нас случай был: тоже вот так палец оторвало. Но он сразу успел. Ничего, срослась кость. Главное дело, сразу успеть.

— Сразу! У нас лучше был случай: голову человеку оторвало. А он, не будь дурак, схватил ее и — обратно на место тем же манером. Прибегает в медсанбат, рукой придерживает. Там ему все как полагается пришили — приросла. Так до сих пор носит. Одно плохо: зубы дергать нельзя. Говорит, с зубами можно голову оторвать напроць.

— Про себя рассказываешь?

— А что, заметно?

Они вместе осматривают палец. Синюков трогает его.

— Ну? Давай?

Разведчик думает, потом решается вдруг:

— Ладно. Сразу только. Мою финку бери, она острая.

Синюков с улыбкой — учи, мол! — достает свой нож, вытирает лезвие о штаны. К операции он приступает не спеша. Разведчик не отворачивается, держит руку. Чик! — и нет пальца, и Синюков уже бинтует ему кисть.

Неожиданно Коханюка начинает рвать. Он стоит на коленях в углу, руками и лбом упирается в стенку окопа. Его выворачивает наизнанку. Мы не смотрим в его сторону. Разведчик презрительно кривит губы.

Потом, бледный, зеленый, с глазами, мокрыми от слез, Коханюк лопаткой вычищает из окопа позорные следы своего малодушия. Синюков и разведчик, словно породнившись, сидят рядом, курят, поглядывая друг на друга. Дым сплетается над их головами, тает в кукурузе. Много времени должно пройти, ко многому Коханюк притерпится, пока выйдет из него солдат.

Меня знобит уже так, что стучат зубы. И ногти на пальцах синие, и глаза болят — поднять невозможно. А когда потягиваюсь, ноют сладко все мускулы. Укрыться бы сейчас с головой и дышать себе на руки. Но шинель моя, которую я оставлял Генералову, на дне окопа втоптана в жидкую грязь. Она теперь два дня будет сохнуть. Я сижу, сжавшись, пытаюсь согреться во всем мокром. Лечь даже нельзя: окоп залило дождем.

— Малярией прежде не болели, товарищ лейтенант? — спрашивает Синюков.

Я уже и сам знаю, что это — малярия. Нет, прежде я не болел ею. Но здесь все переболеют. Потому что мы сидим в низине, а немцы на буграх. У них там на ветру и комаров нет.

— Да-а,— многозначительно вздыхает Синюков.— Кто не был здесь, тот побудет. А кто был, тот... не забудет.

Потом он лопаткой выкидывает из окопа грязь, пока не обнажается сухое дно. И я ложусь и, закрыв глаза, пытаюсь согреться. Я даже дышу с дрожью. Ладони я зажимаю между ног. Пальцы — так замерзли, что занемели. А глаза горячие. Укрыться бы!..

Просыпаюсь от духоты, весь в поту, словно меня завалили подушками. Скидываю с себя чью-то шинель.

Над низиной, над мокрым после дождя полем — розовый туман. Солнце спустилось за высоты, и он подымается все выше. В кукурузе тоже туман, так что видно шагов на сорок, не дальше.

Я долго пью из фляжки противно теплую воду. Чью-то маленькие хромовые сапожки качаются на весу, постукивают каблуками о стенку окопа. Скошенным глазом я слежу за ними. Потом подымаю глаза вверх. Колени, натянувшаяся юбка, португепя косо через грудь... Рита! Младший лейтенант с родинкой! Сидит в своем синем берете на бруствере окопа, независимая, улыбается и качает ногами.

— Принимай акрихин, болящий.

И, порывшись в сумке, протягивает мне на розовой ладошке две ядовито-желтые пилюли. Я беру их с ладошки губами. И пока запиваю водой, Рита пробует мой лоб. Мне неприятно, что лоб у меня потный, липкий, а она его своей рукой трогает.

— Ты теперь здесь будешь? — спрашиваю я.

Рита как-то странно улыбается, отвечает не сразу:

— Здесь...

ГЛАВА VI

Странная тишина стоит на плацдарме вот уже третью ночь. Последний раз ровно трое суток назад отгрохотал залп «катюши». Огненные кометы стремительно пронеслись под звездами в сторону немцев, и там долго рвалась и дрожала земля, а дым, освещенный снизу, стеной подымался за высотами. Потом свет погас, смолкло все и установилась тишина.

Обычно перед вечером, когда отяжелевшее солнце садится в пыль, у нас начинается приступ малярии. Потом, вымученные, слабые, с болезненным блеском в глазах, мы вылезаем ночью из окопов и слушаем эту непривычную тишину.

За время войны в нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, не показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились тесно, стояли, упершись лоб в лоб, без корма, без питья и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности.

Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи, приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность, внезапная тишина на фронте настораживает нас. В такие моменты мы тесней держимся друг к другу. И роем, роем, каждую ночь глубже зарываемся в землю.

В эти ночи мы сдружились с Никольским. Всякий раз, когда стемнеет, он приходит сюда, и мы разговариваем, а чаще он что-нибудь рассказывает, а я лежу на шинели, слушаю и смотрю на звезды. В первый год на фронте у меня тоже была сильна эта потребность перед кем-то раскрыть душу. Я мог влюбиться в человека, который тер-

пеливо слушает меня. Сейчас я больше люблю слушать. Хорошо так слушать и думать о своем.

Я сижу на земле, поджав под себя ноги (этому я научился у Парцвани), и курю в рукав. Где-то фыркает лошадь в тумане, слышны приглушенные голоса солдат. Слова доносятся неразборчиво. Я люблю эти ночные приглушенные солдатские разговоры, хрипловатый голос между двумя затяжками, запах махорочного дыма. Меня почему-то волнуют они, как хорошая песня. Ведь и песня дорога не сама по себе, а тем, что связано с нею. Часто — дорогими воспоминаниями. Можно забыть все, годами не вспоминать о пережитом, но однажды ночью по степной дороге промчится мимо грузовая машина с погашенными фарами, и вместе с запахом пыльных трав, бензина, вместе с обрывком песни и ветром, толкнувшим в лицо, почувствуешь вдруг: вот она промчалась, твоя фронтовая юность. И снова все ярко встанет перед глазами, потому что это уже в крови на всю жизнь...

Никольский приходит в тот же час, что и вчера. Он вообще аккуратен.

— Мотовилов?

— Я.

Заслонив звезды, он останавливается надо мною в наброшенной шинели с погонами, отчего кажется с земли высоким и широкоплечим. Шинель он никогда не застегивает — его издалека слышно, если идет по кукурузе, — носит ее на плечах, как Чапаев носил бурку. Это по молодости лет. Между нами, правда, разница — год, но я уже воюю три года.

Никольский садится рядом на землю, аккуратно подобрвав шинель. Он бережет ее: это первая его шинель и вдобавок офицерского покроя. Наверное, хочет привезти домой: «Вот в этой шинели я прошел войну!..» Я тоже когда-то хотел сохранить шинель, в которой первый раз был ранен. Вся пола ее и рукав были ржавые от моей крови. Потом я хотел сохранить плащ-палатку, пробитую двумя пулями как раз у меня между ног. Потом еще что-то берег... Все это проходит.

— А ты желтый стал от акрихина, — говорит Никольский и смотрит на меня ласковыми глазами. Наверное, он был хороший сын у матери. Отзывчивый, честный. И соседки, наверное, хвалили: «Такой вежливый!..» Со своими бойцами Никольский на «вы».

— Знаешь, — сообщает он новость, — в двести двенадцатом, левой нас, вчера «языка» взяли. Тащили его через нейтралку, — по голосу слышно, что Никольский улыбается, — а пехотинец-узбек в окопе сидел. Заснул он или испугался — вдруг стрельбу открыл. Всю очередь всадил в немца. Ночь же, не видно ни...

Тут он лихо произносит короткое ругательство, которым на фронте выражают многие оттенки чувств, даже восхищение, если настроены добродушно. Но почему-то, когда произносит это слово Никольский, становится неловко. И неловко за него, что он не чувствует этого. А Никольский не чувствует и говорит волнуясь:

— Командир полка, когда узнал, за голову взялся. Еще хорошо, успели этого пехотинца под стражу взять, а то бы разведчики ухлопали его тут же. Они пока лазали за «языком», одного потеряли. Говорят, будут судить его. Как думаешь, что могут дать?

Он некоторое время ждет ответа, потом говорит, призвав все свое мужество:

— Я думаю, могут расстрелять!..

И я замечаю, что глаза у Никольского испуганные. Я ложусь на шинель лицом вверх. А черт его знает, что могут дать! Если бы я вот так лазал за «языком»... убить можно. Тут многое зависит от командира полка. И от обстановки. Судят ведь не за один проступок, а еще за то, в какой обстановке он совершен. В прошлом году при мне расстреляли перед строем младшего лейтенанта. Со своим взводом он сидел в боевом охранении. Подползли немцы, забросали гранатами. Он отбивался, пока мог. С тремя бойцами, оставшимися в живых, отошел. Не отошел бы — остался там. Он был не хуже и не трусливей других. Его расстреляли в пример другим. Потому что была тяжелая обстановка и был приказ: «Ни шагу назад». Случись это в другой обстановке, жил бы он до сих пор.

Никольский еще что-то говорит об этом солдате, но я уже не слушаю. Лежу и смотрю в небо. Какие стоят ночи! Теплые, темные, тихие южные ночи. И звезд над головой сколько!.. Я читал, что в нашей Галактике примерно сто миллиардов звезд. Похоже на это. Наклонишься над бомбовой воронкой, а они глядят на тебя со дна, и черпаешь котелком ржавую воду вместе со звездами.

Еще месяц назад — садится солнце, а в небе обрывком белого облака уже высоко стоит луна, постепенно разгораясь и желтея. Теперь ночи стали заметно длин-

ней. А когда немецкий снаряд разрывается за Днестром, в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы. Мы пришли сюда — они еще только-только зацвели. И уже поспевают виноград, и уже замечено, что от него чаще приступы малярии. Сколько нам осталось здесь таких тихих ночей?

У землянки Бабина поют на два голоса. Это горбоносый командир второй роты Маклецов и Рита. Сам Бабин не поет; если зовут его, стеснительно улыбается: у него нет слуха. Но песни любит. Они поют «Темную ночь». Я не могу слушать ее спокойно.

Темная ночь.

Только пули свистят по степи,
Только ветер шумит в проводах,
Тускло звезды мерцают...

Я чувствую, как песня теплой рукой берет меня за горло. Уже несколько раз я давал себе слово не ходить к Бабину. На другую ночь после того, как я вернулся на плацдарм, я по привычке пошел к комбату. Около землянки телефонист, с которым он обычно играл в шахматы, рыл себе отдельную щель: у Бабина была Рита. Оказывается, она и есть та фельдшерица, которая высаживалась с ним вместе на плацдарм и ухаживала за ним, когда его ранило. И еще я видел случайно, как Бабин снимал с ее ноги сапог. Целый день и полночи Рита лазала по передовой: у каждых трех из пяти пехотинцев — малярия. Вернулась вся в глине, охрипшая от усталости. Бабин посадил ее на нары, сам ухаживал за ней, снимал сапоги. Он размотал множество навернутых одна на другую портянок — в них была маленькая босая нога с розовой ступней и розовыми пальцами. Бабин ладонью обтер ступню и, держа ее в руках, улыбнулся, словно это была нога ребенка. А Рита, не стесняясь его, сидела усталая, добрая, и было ей хорошо — это я почувствовал сразу. Даже сейчас, вспомнив, я заерзал на шинели, поспешно достал табак.

— Знаешь, — говорит Никольский, тоже слушая песню, — до армии была у меня девушка. Хорошая девушка. Мы учились с ней вместе...

Я глубоко затягиваюсь несколько раз подряд. У меня тоже до войны была девушка. Женя Астафьева. Она была хорошая физкультурница. Синее трико, синяя обтягивающая майка, голубенький поясок. Фигура как у мальчиш-

ки. Почти никакой груди, и высокие, золотистые от загара, сильные ноги бегуньи. У нее были глаза немного навыкате, близорукие и от этого как бы затуманенные. Очки носить она стеснялась.

Женя жила на краю города, за военным городком, за еврейским кладбищем. Там росли старые дубы, и окрестные жители — большинство их недавно переселилось сюда из деревни, перевезя избы, — в воскресные дни, одевшись ярко, шли на кладбище с гармонью, как в парк. Сидя в траве среди могил, выпивали поллитровочку, парни лапали девок — покойники на это не обижались. И наверное, не один будущий житель Воронежа был зачат здесь, среди могил, в мирном соседстве с покойниками.

После уроков — мы учились во вторую смену — я шел провожать Женю. Вначале мы шли по асфальту, мимо ярких витрин магазинов, потом по булыжнику, блестящему под одиноким фонарем, потом по пыли вдоль деревянных заборов, за которыми, распирая их, росла сирень. Здесь уже не горели фонари, на углах улиц стояли водопроводные колонки — зимой вокруг каждой намерзал ледяной бугор, так что самой колонки не было видно, — а ставни на окнах и зимой и летом закрывались рано. Я провожал Женю темными улицами и мечтал, чтоб на нас напали: в то время я занимался боксом. Но взять Женю под руку я так и не смог решиться; мы обычно шли независимые друг от друга, в левой руке Женя размахивала отцовской полевой сумкой. Однажды на уроке я написал Жене по-английски: «Ай лав ю». Написать по-русски: «Я люблю тебя» — было слишком страшно. Ее ответ я долго переводил со словарем. Вышло что-то странное: «Всякому овощу свое время». Несколько дней после этого я не провожал ее домой. А потом все пошло по-старому.

Я не знаю, где сейчас Женя. И если признаться, я даже плохо помню ее лицо. Почти не вижу его. Но я много раз мысленно ходил по улицам своего зеленого Воронежа. Трехэтажный проспект Революции с веселыми звонками трамваев, синими молниями, вспыхивающими на проводах, двумя потоками людей, до поздней ночи движущихся под деревьями навстречу друг другу, шаркая по асфальту одной огромной подошвой. Ярко освещенный подъезд ДКА — Дома Красной Армии, глаза девушек, празднично блестящие в свете огней, звуки военного оркестра из парка. И всегда у входа в парк — цветы. Вначале связанные ниткой тонкие пучочки ландышей, потом

сирень, пышные букеты, потом розы — они стояли тут же на асфальте, в ведрах с водой и обрызганные водой, и парни дарили их девушкам. Ни в одном городе я не видел столько цветов. Ни в одном городе летними вечерами улицы не пахнут так табаком и петуньями. А может быть, это потому мне кажется, что Воронеж — мой родной город? В Кольцовском сквере каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год, число и месяц. Потом пришли немцы, и время остановилось.

Мы любили с Женей перебегать обкомовскую площадь посредине, где это почему-то не разрешалось. Торжественная и пустынная, она блестела вечером под фонарями; с одного края — ее все в электричестве здание обкома с черными мраморными колоннами, с другого — кирпичный недостроенный театр за деревьями. Отсюда к маслозаводу шла улица, как туннель: деревья над головой смыкались с домами, и балконы второго этажа были посреди зелени.

А под деревьями стояли парочки и, затихнув, ждали, пока мимо них пройдут... Их нет теперь, этих улиц. После войны отстроят новый город, родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, — того города уже нет. Он погиб под бомбами, взорван немцами при отступлении и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид зданий, они не передают то, что знали в нем и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовется то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснешься воспоминания. Очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь. И с каждым новым поколением рождается новая.

— ...Понимаешь, — говорит Никольский, — пришла она провожать меня на вокзал. Чистая такая, широкий белоснежный воротничок на платье, глаза ясные, чистые. И двух братьев за руки держит. Принаряженные мальчишки. Словно ничего не случилось, словно и войны нет. А тут солдаты. Девушка-санинструктор в красноармейских засаленных штанах пробежала с котелком, так глянула на Наташу, на ее белый воротничок, на братьев, что мне стыдно стало. А Наташа как будто ничего этого не

видит, смотрит на меня спокойными, ясными глазами. Может быть, я все это наивно говорю. Но когда я увидел, как санинструктор подбежала к теплушке, а оттуда сразу протянулось к ней, наверное, двадцать солдатских рук... Я не знаю, как объяснить тебе, но только это и есть самое главное в жизни. Я гордился бы, если бы к Наташе вот так же радостно протянулись руки. А она чужая была там среди всех и, главное, не тяготилась этим. Мы говорили до войны: порядочность, честность. А ведь на фронте эти понятия совсем иначе выглядят. Я тебе правду скажу: с Наташей мы даже не целовались. Ни разу. И никому она не позволяла себя целовать, я знаю. Но я думаю: смогла бы она быть на фронте, как та девушка-санинструктор, как Рита? Ведь в этом сейчас вся порядочность и честность. И для меня это сейчас главное в человеке.

Он, пожалуй, красив: высокий лоб, курчавые виски, длинные пальцы одаренного человека. И рост хороший. Но было бы легче, если б не Бабин правился Рите, а вот он...

За спиной Никольского постепенно светлеет: что-то горит на левом фланге. Меж стеблей становятся видны комья земли, освещенные с одной стороны. Свет пожара мешается с лунным светом. И хорошо в тишине слышны голоса Риты и Маклецова.

Мне хочется, чтобы Никольский ушел, а он сидит и смотрит на меня.

— Как думаешь, — немного погодя спрашивает он, — будет немец сегодня наступать?

Каждую ночь на плацдарме, когда расходятся спать, кто-нибудь вслух спрашивает об этом. Ведь наш плацдарм — полтора километра по фронту, километр в глубину, а позади — Днестр. И мы стали немного суеверными. Как правило, мы не говорим наверняка: «Нет». На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим: «А черт его знает». Но сегодня у меня плохое настроение.

— Ни черта он не будет наступать! — говорю я.

Он сидит еще некоторое время и уходит наконец. Тогда я иду к Бабину.

Горбоносый Маклецов в своей фуражке на затылке сидит боком на бруствере с гитарой, наигрывает что-то неопределенное. Бабин обнял здоровое колено, с закрытыми глазами посасывает короткую трубочку. У ног его, поло-

жив морду на лапы, — овчарка. Когда я подхожу, она приоткрывает один глаз и снова закрывает его. Я здороваюсь, сажусь. Рита внезапно потянулась всей спиной, португеза косо врезалась в грудь.

— Хорошо здесь, комбат. Даже воздух другой. Знаешь, если долго лежать в госпитале, в самом деле заболеть можно. Я видела таких: на фронте водку хлестали, а там у них язва желудка открывается. Один погиб смертью храбрых от воспаления легких. В войну! — У Риты зябко поежились полные плечи. — Помнишь, у Островского Аркашка Счастливец рассказывает, как жил у родственников: в час обедают, после обеда спят до пяти, потом чай пьют со сливками. И мысль: а не повеситься ли?

— А чего, правильно, — оживился Маклецов. — Это я по себе лично знаю. У нас в палате один лейтенант...

Бабин вынул трубку изо рта. Смеясь одними глазами, спросил:

— Обожди, Маклецов, ты «Лес» читал?

— Я за войну ни одной книги не прочел, — сказал Маклецов с достоинством.

— Ну это тебе полагалось еще до войны прочесть.

— А раз полагалось, значит, прочел.

— Все-таки: читал или не читал?

— Да что вы навалились, товарищ комбат, всякую инициативу сковываете! Лес. Я в сорок первом году в окружении в таких лесах воевал, какие тому Островскому сроду не снились!..

Бабин смотрел на него, любуясь. И вдруг захохотал от души.

— Да нет, в самом деле, — растерялся Маклецов, оглядываясь за поддержкой на меня и на Риту. — Я в этих лесах ревматизмом на всю жизнь запяса, а вы мне Островским глаза колете.

— Молодец, — сказал Бабин. — Вот за это тебя ценю.

Маклецов окончательно растерялся.

Из землянки вышел начальник штаба капитан Зыбуновский, в суконной фуражке, в шинели, застегнутой на все пуговицы, с замкнутым выражением лица. Сел, передвинув полевую сумку на живот, достал какие-то сведения. Сразу стало скучно.

— В роте у Кондакова все больны малярией. — Он поднял глаза на Риту и опустил. — В роте у Маклецова, — Зыбуновский посмотрел на гитару, которую держал Маклецов, — осталось не более пяти здоровых...

— Можете не подсчитывать, — оборвала Рита; при виде Зыбуновского у нее в глазах появляется электричество. — Эти пять тоже заболеют. Если их не убьет прежде.

Странный человек Зыбуновский. Добросовестный очень, исполнительный на редкость, сам лазает по передовой, подвергая себя опасности. Вдобавок от малярии у него что-то с печенью, и он страшно мучится. И все же не дай бог быть под его командованием! Есть люди, которые всю жизнь борются с беспорядком в мелочах. Заметит Зыбуновский какой-нибудь беспорядок — и страдает, и зудит, и зудит, и борется. А то, что война идет, этого он как будто даже не замечает.

— Непонятная постановка вопроса, — говорит Зыбуновский терпеливо. — Я не медик, но я тоже мог бы сказать: «И эти заболеют». Но я так не говорю, потому что мы обязаны бороться с малярией.

— А я говорю! От малярии лекарство одно: перемена места. Ясно вам? Возьмем эти высоты, двинемся вперед — забудем про малярию.

Зыбуновский ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги. Сказал тихо, как всегда, когда на него повышают голос:

— Этой задачи командование сейчас перед нами не ставит. А с малярией мы должны бороться имеющимися у нас средствами. Есть акрихин, есть, видимо, еще какие-то лекарства...

Рита спросила:

— Вы женаты, Зыбуновский?

— Я не понимаю, при чем тут моя жена, — помолчав, сказал Зыбуновский совсем тихо.

— Жалко мне ее, вот что.

Зыбуновский сложил бумаги, встал:

— Я могу уйти?

Бабин, который все это время посасывал трубку, опершись широким подбородком о колено, приоткрыл один глаз. Он остро блеснул.

— Вот человек, — сказала Рита, когда начальник штаба ушел. — Обязательно перебьет настроение. Спой, Афанасий.

— Это я могу.

И Маклецов, закрыв глаза, сильнее зазвенел струнами. Запел он, конечно, свою любимую, про то, как «оба молодые, оба Петя, оба гнали немцев по полям».

И один снарядом был контужен,
И гранатой ранен был другой,
Завязали бинт ему потуже,
Чтобы жил товарищ дорогой.

В этом особенно жалостливом месте Маклецов даже сфальшивил от усердия.

— Афанасий! — крикнула Рита, показав на свое маленькое ухо.

— Я тоже заметил, — сказал Бабин, обрадовавшись и боясь, что ему не поверят. — Честное слово, слышал. Вот в этом месте.

Он хотел пропеть, но было тихо, все смотрели на него, и он смутился:

— Ну вас к черту!

— Разрешите доложить, товарищ комбат? — Рита сидя козырнула, приложив руку к своему берету. — Ничего такого вы слышать не могли по причине полного отсутствия слуха.

— Ладно, — сказал Бабин. — Вольно!

Но самолюбие его было задето. Я все время присматриваюсь к Бабину. Малярия здорово высушила его. Лицо стало жестче, виски запали. Особенно плечи похудели и руки с широкими запястьями. Он просто некрасив сейчас. Я ловлю себя на том, что мне это приятно. И отворачиваюсь. Ведь есть же в нем что-то, чего нет во мне!

— Давай, Афанасий, грустную споем, — говорит Рита.

Мне тоже отчего-то грустно. Может, оттого, что она рядом.

Вздохнув, Рита поет негромко, а Маклецов мягко вторит ей:

Чорнії брови, карії очі,
Темні як нічка, ясні як день...

Она сидит напротив меня на бруствере, свесив ноги в коротких сапожках, зажав руки в коленях. Глаза, затуманенные песней, влажны. Я не знаю, хорош ли голос у Риты, только что-то происходит в душе у меня.

Ой, очі, очі,
Очі дівочі,
Де ви навчились зводити людей?..

Может быть, это ночь виновата южная, может, песня, но скажи сейчас отдать жизнь — отдам с радостью!

Маклецов ладонью зажимает вдруг струны, и я слышу приближающееся к нам тяжелое дыхание двух людей и шуршание плащ-палатки о стебли.

В плащ-палатке, расширяющейся книзу,— офицер, невысокий, в фуражке. Сопровождает его солдат с автоматом и вещмешком за плечом. Подойдя, офицер обежал всех глазами, остановился на Бабине.

— Комбат Бабин?

— Бабин.

— Будем знакомиться. Брыль. Прибыл к тебе замполитом.

И, козырнув, подал руку. Бабин пожал ее, не вставая. Овчарка все время следила, подняв голову с лап.

— Учти,— сказал Бабин, смеясь одними глазами, и вытер мундштук трубки, блестящий от слюны,— три замполита было у меня. Трех пережил.

— Учту,— сказал Брыль.— Нарочно надуюсь и переживу тебя. Особенно если покормишь.

И улыбнулся широким ртом, обнажив мелкие, тесно составленные зубы. Он явно понравился Бабину. Есть безошибочный барометр: ординарец комбата Фроликов. Обычно прижимистый по части продуктов, он вдруг появился словно из-под земли, ошастливил всех улыбкой и побежал готовить ужин.

Брыль кладет на землю шинель, которую до этого нес на руке под плащ-палаткой, кивает автоматчику, и тот ставит на землю вещмешок. Здраваясь с Ритой, он опять козырнул:

— Брыль.

Среди нас, желтых от малярии, он, полнокровный, выбритый, свежий, выглядит человеком из другого мира.

— На плацдарме еще не были, товарищ капитан? — спросил Маклецов, присматриваясь к нему.

— Не был. А что?

— Значит, еще заболете малярией,— сказал Маклецов удовлетворенно.

Я встал.

— Ты куда, Мотовилов? — окликнул Бабин.

— Кто Мотовилов? — Брыль быстро обернулся.— Ты?

— Я.

— Ну вот видишь, вполне мог забыть.

Передвинув на колено полевую сумку, туго набитую, как у всех политработников, он достает два письма-треугольничка:

— Держи!

И пока он достает их и отдает мне, все смотрят на его полевую сумку и ждут. Но больше никому писем нет.

— Оставайся,— говорит Бабин.— Ром есть.

Я чувствую на себе взгляд Риты. Мне хочется остаться.

— Спать пойду,— говорю я, зевнув для убедительности. И иду к себе, один под звездным южным небом. А в душе все еще звучит: «Ой, очі, очі, очі дівочі, де ви навчилися зводити людей?..»

ГЛАВА VII

Оба письма от матери.

«Сыночка! Утром искала я какую-то справку, и попала мне твоя фотография. Ты, трехлетний, в рейтузах, сидишь на игрушечном коне и ручонками вцепился в гриву. Словно вчера это было, так ясно помню я этот зимний день, и сугробы, и как я вела тебя фотографироваться. Ты еще не хотел надевать варежки, я держала твою руку в своей. Такая она была мягкая, теплая! И вот ты уже на войне... Всю ночь ты мне снился маленький, гладил меня ладонками по щекам, и я проснулась в слезах. Береги себя, родной!..»

А дальше коротко о себе: «Здорова... обо мне не беспокойся. Работы сейчас на здравпункте много. Да это и хорошо: пусто дома без вас. Я очень сдружилась с моей санитаркой Анной Саввишной. У нее тоже сыновья на фронте. Мы и едим вместе. После приема Анна Саввишна кипятит чай...»

Чем старше я становлюсь, тем почему-то чаще и чаще вспоминаются мне обиды, которые причинил я матери. В восьмом классе мы уже относились к ней снисходительно. Мы спорили с братом о прочитанных книгах, и, если мать иногда пыталась вставить слово, мы вежливо умолкали. Она терялась: «Может быть, я не понимаю...» — «Ты-таки не понимаешь, мама»,— говорили мы покровительственно и казались себе в этот момент очень умными. Она мало читала. Но мы прочли эти книги потому, что у нее не было времени читать их: она работала на нас. Одна, она растила нас двоих на свою зарплату зубного врача.

Мне было девять лет, когда от фабрики, где мама работала на здравпункте, дали нам комнату в большом шла-

кобетонном доме, как раз над аркой, так что зимой пол был всегда у нас холодный. Прежде здесь помещалась какая-то контора, и когда мы переехали, пахло в комнате пылью, окурками, чернилами, дощатый пол был в чернильных кляксах, а стены на уровне спин вытерты и замаслены до черноты. Мама позвала женщину, вдвоем с ней белила потолок, разведя клеевую краску с мукой, красила стены: это было дешевле, чем звать маляра. Стоял ноябрь, земля уже замерзла, но снег не выпал, от этого было еще холодней. Мама часто выбегала на улицу раздетая, потная и простудилась. Она сама поставила себе диагноз: воспаление легких. Приходили врачи, приходили родственники, и как-то я услышал случайно, что боятся кризиса, потому что она сильно истощена и может не выдержать.

Удивительно, как в девять лет я ничего не понимал. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы, несколько человек, делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся сказать. Хорошо помню, как я подумал в тот момент: если мама умрет, никто в школе не станет требовать у меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы. В груди у нее все клокотало и хрипело. При странном свете с пола, от которого все тени были на потолке, она казалась непохожей на себя. Лицо было в тени, блестели только влажный лоб, скула и худые ключицы. А на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболел, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало. Я убежал на кухню, стал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки, и молился. Впервые в жизни молился. «Господи, родной, дорогой, не нужно!.. Любимый господи, сделай, чтоб мама не умерла!.. Пусть меня ругают за рамку, только чтоб она не умирала!..»

То ли мы стали взрослыми, то ли мать наша постарела, но мне отсюда она кажется маленькой, нуждающейся в моей защите. Я вижу, как они сидят с санитаркой вечером на здравпункте, две матери, у которых сыновья на фронте. Лампа свешивается на фарфоровом блоке (в детстве мне все хотелось высыпать оттуда свинцовую дробь), множество никелевых щипцов в стеклянном шкафу, и за-

пах лекарств и гвоздики. Они пьют кипяток с пайковым сахаром и пайковым хлебом — четыреста граммов хлеба на день.

Мне не забыть, как в сорок втором году на Северо-Западном фронте возвращался я из медсанбата в полк. Держался еще морозец, но в небе стояло весеннее солнце, и воздух был весенний, и таяло на припеке. Где-то в районе Бологого увидел я лагерь пленных. Колья, колючая проволока, размешанная ногами грязь со снегом. А около проволоки, повесив винтовку на плечо, часовой вдвоем с немцем разматывал веревочку, и оба смеялись, и немец на морозном воздухе откусывал хлеб и прятал его в карман. Я вдруг закричал на часового. Уже не помню что, помню только, он испугался: «Ты чего? Ты чего?» — и стал подгонять немца в глубь лагеря, оглядываясь на меня как на бешеного: его война не коснулась.

Всякий раз после этого, когда я видел сожженные деревни, расстрелянных людей наших, находил в карманах убитых немцев фотографии повешенных, мне вспоминался этот смеющийся немец, откусывающий хлеб. Мать моя получает по карточке хлеба столько же, сколько и он: четыреста граммов.

Когда мы вернемся с войны, ты не будешь работать. Мы посадим тебя за стол... Я не знаю, где это будет, потому что и дом наш разрушен бомбой. Но мы посадим тебя за стол и будем сами ухаживать за тобой и подавать тебе. Ты достаточно поработала на нас в жизни, теперь будем работать мы, взрослые твои сыновья.

При свете карманного фонарика я дочитываю на колене второе письмо. Сквозь строки — тревога за меня. Как война изменила все понятия! Бывало, стоило заболеть одному из нас — и сколько волнений, страхов. А вот сейчас старший брат ранен, четвертый месяц лежит в госпитале, и матери спокойно за него. Больно, ранен, но — жив! А я на фронте. И все тревоги за меня.

Родная моя! Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах. Одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей. Ежемесячно сотни таких, как я, выпускают училища, сотни нас убивают на фронтах. Когда планируется крупная операция, заранее учитывают неизбежные потери. Об этом нельзя не думать, хотя люди эти еще живы, это нельзя не учитывать, потому что без точного расчета нельзя воевать. И уже заранее, до начала операции, известно — при-

мерно, конечно, не с точностью до единиц, — сколько будет убито в этих боях, сколько отвезут в госпитали, сколько потом снова вернется в строй. А вместе с тем, как любая из этих единиц, я — это только я, и никто больше. Лейтенанта Мотовилова, выпущенного в таком-то году Вторым Ленинградским артиллерийским училищем, можно заместить на должности командира батареи другим выпускником училища, и тут не будет никакой беды. Но меня, рожденного тобою на свет, не заменит тебе ничей сын. Пусть он лучше, способней, умней — я тебе вот такой дорог. Меня мог бы заместить на земле и в твоём сердце мой сын. Но если убьют меня, его не будет. Пуля, убивающая нас сегодня, уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь.

Нас миллионы сыновей у нашей родины, готовых отдать за нее жизнь. Смерть одного из нас в бою — не смертельная для нее потеря. Но у тебя нас только двое. И все же я не хочу себе судьбы, отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров, и хлеб, и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых, я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души. Я знаю, ты поймешь это.

Передвинув пистолет на живот, я ложусь на нары, на свежие хрустящие кукурузные стебли. Только вчера кончили строить эту землянку, и все в ней еще не обжитое. Жирно блестят непросохшие глиняные стены со следами лопат, на косо срезанном корне выступили капельки воды. А от бревен наката, которые еще вчера ночью были дровами, пахнет свежей древесиной. Весь потолок заслонила черная тень от головы Коханюка. С телефонной трубкой, привязанной к голове, он коленями стоит на соседних нарах, топчет над свечой сало, сонными глазами глядя на огонь. Сало трещит, брызгает синими искрами, черные от копоти капли падают в плошку, и пахнет в землянке жареным.

Я переворачиваюсь на другой бок. Снять, что ли, сапоги?

Упираясь носком в задник, я поочередно стягиваю их до половины: когда нога в голенище, подъем не жмет. Поправив под щекой полевую сумку, с головой укрываюсь полою шинели, чтоб свет коптилки не резал глаза.

Мне часто снится один и тот же сон: голубая лунная дорога и пехота, густо идущая по ней. Завязанные ушанки, пар от дыхания, поднимающийся над ними, иней на спинах, иней на дулах винтовок, и визг, визг множества сапог по замерзшему снегу. А высоко в небе — звезды, тоже в морозном пару. Если глянуть вперед из-за качающихся спиц — впереди между снежными отвалами дорога сходится клином.

Собственно, это даже не сон. Это первая моя ночь на фронте. Но она почему-то часто снится мне. Нас тогда выгрузили из эшелона, и всю ночь мы шли к фронту, засыпая на ходу и натываясь на передних. Один пехотинец выколол глаз о штык впереди идущего. Никто не знал, где медсанбат, его перевязали тут же, и он, сразу ставший покорным, держась обеими руками за лицо, продолжал идти с нами к фронту, куда вела кем-то проложенная для нас голубая снежная дорога.

К утру мы были в окопах, дорога здесь кончилась. Когда поднялось солнце, я спал, сжавшись, упершись коленями в одну, спиной в другую стенку окопа, глубоко сунув руки в рукава шинели. Меня растрясли, кто-то из солдат сказал: «Погляди немцев, ты ж еще не видал их». Семнадцатилетний, я выглянул из окопа.

В воздухе сыпались и блестели на солнце морозные иглы, впереди лежали нетронутые снега, и в них, метрах в ста от нас, — снежная траншея. Это и был немецкий передний край! И от одного сознания, что там немцы, место это сразу отделилось от всего окружающего, стало особенным, не похожим ни на что. С жутким чувством вглядывался я воспаленными от бессонной ночи глазами. Что-то темное мелькнуло в снежной траншее, как мышь, и скрылось. «Немец!» — догадался я, пораженный. Немец был в ста метрах от меня.

И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор — это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет. Она кончилась здесь. Ее преградили немцы. Отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я. Для себя и для тех, кто идет за нами.

...Спит Синюков за моей спиной, посапывая во сне. Сквозь плащ-палатку, заменяющую дверь, слышно гуденье ночных самолетов, изредка бухает на плацдарме разрыв. Мы лежим в ста пятидесяти метрах от пехоты,

еще метров восемьдесят — и немцы. Тут край нашей земли. Тут кончаются все дороги. Сколько суждено пройти мне вперед? Шаг? Но этот шаг — вся моя жизнь.

ГЛАВА VIII

Далекий артиллерийский гул будит нас. В мутном бескровном рассвете мы стоим в окопах, вслушиваясь. Артиллерийский бой идет на севере. Там, выше по течению, у нас где-то еще плацдарм. Внезапно ракета прорезает дымный рассвет. Повиснув над передовой, брызгает огнями. Мы ждем. У немцев по-прежнему тихо. Ракета гаснет, оставив висеть в воздухе оборванный шнур дыма.

Когда за Днестром подымается солнце, первая волна самолетов проходит на север. Крылья их снизу блестят в утренних лучах. Три звена отрываются от остальных, свернув с курса, делают круг над нами и заходят бомбить немцев. Истребители вьются выше, прикрывая с воздуха. Мы вылезаем из окопов. Днем, не прячась, стоим в полный рост, смотрим бомбежку: немцам сейчас не до нас. По всему склону, по гребню высот земля взлетает навстречу самолетам. Мы что-то кричим, машем руками и не слышим своих голосов. Самолеты делают еще круг и улетают. Пыль и дым растут вверх, потом ветер разносит их по плацдарму. Когда небо расчистилось, листья кукурузы, недавно еще блестящие от росы, были рыжие и бархатистые на ощупь.

До вечера не стихает дальний артиллерийский гром на севере. Мы отчего-то становимся раздражительны. Обычные разговоры внезапно кончаются ссорами. Так проходит день.

Ночью от нас забирают медсанбат. К нам из-за Днестра переправляется противотанковая артиллерия. Одна батарея низких длинноствольных пятидесятисемимиллиметровых пушек становится позади нашего НП. Артиллеристы — молодые широкогрудые ребята — роют огневые позиции в кукурузе, расспрашивают нас про немцев. Хорошего они ничего не ждут: истребители танков. Их кидают всякий раз туда, где немцы будут наносить танковый удар. Но нам с ними становится уверенней.

От них мы узнаем первые сведения. Будто бы еще до рассвета на том плацдарме немецкие танки ворвались в медсанбат. Раненых расстреливали прямо в землянках.

Тех, кто выползал наружу, давили гусеницами. Говорят, врач пытался защитить их. В люке танка поднялся офицер, спокойно застрелил его из пистолета. Спаслись только две медсестры: на рассвете в одних рубашках они переплыли Днестр.

— Сколько километров тот плацдарм? — спрашиваю я.

— Одиннадцать по фронту, девять в глубину.

Одиннадцать на девять — это девяносто девять квадратных километров. Почти сто! По сравнению с нами — целое государство. Наш плацдарм, как его ни крути, как ни меряй, хоть в ширину, хоть в глубину, — полтора квадратных километра земли. Если немцы теми же силами навалятся на нас, дело наше плохо.

Ночью к немцам уползает разведка за «языком». Возвращаются ни с чем. В одном месте наши позиции соединяются с немецкими. Здесь когда-то мы заняли первую линию немецких траншей, вторую взять не удалось, и ход сообщения остался. Немцы устраивают в нем засаду и перехватывают пехотного повара с термосом супа. Он успевает крикнуть. Крик его между двумя автоматными очередями слышен был даже у нас. Сбежавшимся пехотинцам удается отбить повара, но уже мертвого.

Всю эту ночь мы спим и не спим. Небо облачное, далекие огненные зарницы вспыхивают на севере, словно там стороной проходит гроза, и в воздухе тоже тревожно, как перед грозой. Особенно беспокойно к утру: наступление всегда начинается на рассвете. Но рассвело, и мы идем спать. Днем опять слушаем дальний артиллерийский гром. Временами кажется, он приблизился. Но это всегда так, если долго вслушиваешься.

Я замечаю, Мезенцев становится вдруг разговорчивым. Есть люди, которые в определенных обстоятельствах становятся разговорчивы. Даже крикливы. Таких я встречал в окружении. Задним числом они всегда лучше других знали, чего не следовало делать. Вот если бы их спросили раньше, всего бы этого не случилось. Они громко искали виновников прошлых ошибок, только об этом могли кричать и ничего не способны были предложить, как будто теперь это уже и не важно.

Оказывается, Мезенцев прежде еще понимал, что плацдарм наш — бессмыслица даже с военной точки зрения. Это вовсе не главное — захватить плацдарм. Полтора квадратных километра земли, — разве можно здесь отбить серьезное наступление? А если отобьем, так сколь-

ких жизней будет стоить каждый метр? Разве это окупается?

Все это он говорит безмолвному Коханюку. С Коханюком удобно спорить: он всегда молчит. И поскольку не возражает, можно даже понять так, что согласен. Но вхожу я в землянку, и Мезенцев сразу умолкает. Беспокойно поглядывает на меня, пытаюсь понять: слышал я или нет?

Я ложусь на нары, при свете коптилки рассматриваю уцелевшие листы немецкого иллюстрированного журнала. Во всю страницу — рисунок: солдаты, в порыве устремленные вперед. Трубач трубит, задрав вверх трубу, словно на ходу пьет из фляги. Один солдат отстал, подтягивая сапог, но и он устремлен вперед, а трубач призывно машет ему рукой...

Я уже, наверное, десятый раз рассматриваю этот рисунок. Почему-то он меня раздражает. На другом конце нар, поджав под себя ноги, как мусульманин, раскачивается и мычит Синюков с закрытыми глазами, словно молится под низким накатом. Сегодня утром осколок разорвавшегося снаряда вошел ему в одну щеку, вышел из другой. Вместе с кровью Синюков выплюнул на ладонь обломки зубов. Вот уже несколько часов сидит он так, зажмурясь, зажав ладонью рот, полный крови и боли, раскачивается и мычит. Даже есть не может. Я лежал однажды в черепном госпитале и видел там челюстно-лицевое отделение. Жуткие мученики. Отчего-то у них часто возникает инфекция. Подвязанные детской клеенкой, с распухшими, воспаленными, нечеловечески толстыми губами, с какими-то проволочными сооружениями в незакрывающемся рту, они обливаются потоками слюны, и, когда ходят, слюна тянется за ними по полу между ног. Их поят жидким, но все равно каждый раз еда для них — мучение. Мне почему-то кажется, что Мезенцев, когда говорил: «Разве это окупается?» — глазами указал на Синюкова. Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно: — Так, значит, плацдарм — бессмыслица?

Мезенцев молчит. Он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону.

— Что же не бессмыслица?

Он уже не рад, но и отступать некуда. К тому же тревожная обстановка придает ему смелости.

— Не бессмыслица, товарищ лейтенант, это — жизнь, — говорит он грустно, как мудрец.

— Чья жизнь?

Коханюк встает и выходит к стереотрубе. Мезенцев вдруг решился.

— Товарищ лейтенант, вы культурный человек, — подымает он меня до своего уровня. — Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, — он кивнул на дверь, — дороже мне, чем моя жизнь. Да он и не может ценить ее так. Что он видел? Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим, и когда нас обстреливают, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх: «Как бы обо мне не подумали плохо!» Очень важно Синюкову, что о нем думаю я, если он, может быть, никогда не сможет говорить?

Синюков начинает мычать, как от сильной боли. Я молчу.

— Война — это временное состояние, — говорит Мезенцев, все больше волнуясь и покрываясь пятнами. Тяжелый дальний гул толкается в дверь землянки. — Я видел на базарах калек. Ихние товарищи, которые случайно избежали такой же судьбы, после войны постесняются позвать их в гости. Кончится война, и жизнь всех нас разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже... Что говорить, товарищ лейтенант, обстреливают нас всех вместе, а умираем мы все же врозь, и никому не хочется первым. Я только хочу сказать, что человек должен управляться разумом, а не ложными чувствами.

Я смотрю на него. Сколько хороших ребят погибло, пока мы шли к Днепропетровску, пока освобождали Одессу, где он до последних дней играл немцам на валторне. Они погибли, а он жив и рассуждает о них своим грязным умишком. Это еще он не все говорит, что думает, остерегается. А попади с таким в плен...

— Значит, ты не связан ложными чувствами?

Я уже сижу на нарах против него, и он чувствует себя спокойно.

С первых сознательных дней никто из нас не жил ради одного себя. Революция, светом которой было озарено наше детство, звала нас думать обо всем человечестве, жить ради него. Мезенцев почти ровесник мне. Он в то же время учился в школе, так же, как и все мы, сидел на комсомольских собраниях, быть может, даже выступал с правильными речами.

— Вот знай: пока я здесь и жив, ты с плацдарма не уйдешь. Ты каждый метр его исползаешь на животе, тогда узнаешь, окупается он или не окупается.

И долго еще после этого разговора во мне все дрожит.

Ночью я прощаюсь с Синюковым. Их двое было, стариков, в бывшем моем взводе: он и Шумилин. Теперь Шумилин только. От непрерывной боли, от потери крови Синюков сразу постарел, в глазах тоскливое, покорное выражение, как у больной собаки. Впервые я называю его по имени-отчеству: Василий Егорович. До сих пор он был Синюков. Он уже не вернется на фронт. Месяца четыре пролежит в госпитале, а к тому времени война кончится.

— Приедешь домой — полон рот стальных зубов. С ними лучше: по крайней мере, не болят.

Он все понимает. Понимает и то, что детям его, быть может, повезло даже: неизвестно, как у нас здесь сложится обстановка. Он сам прежде любил пошутить, а сейчас только мычит и подает мне левую руку, безвольную, потную, слабую. И с завистью смотрит, как Коханюк, который будет сопровождать его к берегу, на корточках жадно докуривает сигарку, держа ее в ногтях.

Они уходят вдвоем. И мы остаемся вдвоем: я и Мезенцев. Я уже давно собирался заново проложить нашу связь по болоту. Она идет везде по полю, но в одном месте линия особенно часто рвется. Если немцы начнут наступать, под обстрелом здесь чаще всего будет рваться провод. А исправить его под обстрелом днем — только связисты понимают, что это значит. Но мне все не хотелось переносить связь на болото: там хуже слышимость.

Я зову к себе Мезенцева, приказываю взять три катушки провода и заново проложить линию по болоту. Прежнюю смотать. Показываю ему на карте и на местности. Он принимает это как наказание. Козыряет: «Слушаюсь!» — глядит в землю. На своих тонких ногах он уходит в темноту, качаясь под тяжестью трех катушек и аппарата.

Начинается обстрел. Бьют по болоту. Мины рвутся с каким-то странным чавкающим звуком. Я смотрю на часы. По времени Мезенцев должен быть уже там. Иногда слышно, как долго воеет снаряд, потом звук обрывается. Разрыва нет. Это фугасные снаряды. Они успевают так глубоко уйти в болотистый грунт, что уже не могут выбро-

сильно его силой взрыва. И рвутся под землей почти беззвучно. Я правильно сделал, что решил проложить связь там. Провод больше всего перебивается осколками, прямые попадания редки. На болоте осколков почти нет.

Обстрел длится недолго. Когда стихает, опять слышен дальний бой на севере. Меня внезапно вызывает из-за Днестра Яценко.

— Мотовилов? Где у тебя этот... как его... ну, трубач твой?

Я молчу, насторожившись.

— Мотовилов! Куда ты пропал?

— Я не пропал...

— Чего ж ты молчишь? Трубач твой, говорю, где? Музыкант этот? Слышишь?

— Слышу.

— Посылай его ко мне. Да куда ты пропадаешь каждый раз?

— Мезенцева послать я не могу, товарищ Второй.

— Как так не можешь? То есть как так не можешь, когда я прика...

Голос его в трубке пресекся. Слово ножку стула прижимаю к уху. Это Мезенцев, ничего не подозревая, прервал связь. Я даже рад, что так получилось. Иначе я не мог бы сам поехать за Днестр.

И пока иду по лесу, мысленно разговариваю с Яценко. До каких пор это будет продолжаться? Всю войну Мезенцев скрывался от фронта, сюда, на плацдарм, чуть не силой тащили. Случись что — любого из нас предаст, и мы же еще виноваты окажемся, что доставили ему моральные переживания. В конце концов дело даже не в нем. В справедливости дело. Люди что угодно сделают, если знают, что это справедливо. А как я могу требовать от остальных, когда он у меня на особом положении. Все же видят.

Ночью являюсь в штаб и говорю все это Яценко, горячась и волнуясь. Против ожидания, он терпеливо выслушивает и вообще кажется смущенным.

— Вот как ты сразу в философию ударяешься. Ох и народ у меня в дивизионе! Ну что мне с ними делать? Покатило? Ночью покинул плацдарм, приехал сюда учить командира дивизиона. А там в это время немцы начнут наступление... — Он все еще улыбается, но как-то кисло, и сузившиеся глаза недобро блестят. — Вам, собственно, кто дал разрешение покинуть плацдарм? Вы приказание

мое получили? Почему не выполнено до сих пор? Почему вы здесь? Рассуждать научились? Смирно!

И я стою. Потому что, независимо от того, что я думаю о Яценко, есть армия, есть дисциплина, есть вещи выше наших личных взаимоотношений и обид.

— За попытку невыполнения приказа командира дивизиона, за самовольное оставление плацдарма — пять суток ареста!

Ухожу ожесточившийся. Пять суток ареста... Напугал до смерти. Надо было спросить только: «Разрешите пять суток отбывать здесь?» А, да что я, ради Яценко воюю?

В темноте, окликнув, догоняет меня Покатило. Поглаживая маленькие уши, улыбаясь, идет сбоку. Он мягкий, культурный человек, умница, я уважаю его, и мне неловко, что он все это слышал и сейчас идет рядом со мной.

— Милый вы мой, — говорит Покатило ласково. — Какой же вы молодой еще! Я завидовал, на вас глядя. Как вы горячились и как вы еще не политичны в жизни!

Мне неприятен сейчас этот его покровительственный тон.

— А я не желаю быть политичным.

— Это легче всего сказать, но жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься. А между тем положение Яценко действительно сложное. Это хорошо еще, что у вас, кроме горячности и молодости, никаких серьезных доводов, а так вы и не замечали, как все время наступали ему на больную мозоль. Вы знаете, что такое приезд с проверкой командира бригады? Да еще когда ожидается немецкое наступление? Тут мать родную забудешь, что угодно обещаешь. А Яценко знал его слабость: командир бригады мечтает у себя организовать ансамбль не хуже армейского. И похвалился комбригу: «У нас, товарищ полковник, музыкант есть в дивизионе. В оркестре играл!» — «Музыкант? Пришлешь!» Вот как это делается. А вы с моральными категориями. Вы правы, да только не ко времени ваша правота. Не станет же Яценко звонить теперь командиру бригады и объяснять все это...

— А почему не станет? Начальство беспокоить неловко? Вот так и отступаем перед подлостью. Мол, не все же такие слабодушные, кто-нибудь да задержит.

— Пойдите, пойдите! — Покатило с ласковой улыбкой смотрит на меня сбоку.

Меня раздражает сейчас эта его улыбка.

— О чем, собственно, звонить командиру бригады?

— Как о чем?

— Нет, вы не горячитесь. Давайте разберемся все же. Что сказать командиру бригады? Что Мезенцев по своим моральным качествам должен не в тылу сидеть, а пройти весь курс наук на передовой?

— Хотя бы.

— Так. Но ведь это вы знаете, каков Мезенцев. Допустим, я догадываюсь. А командиру бригады откуда это знать? Он ни вас, ни Мезенцева в глаза не видел. Что вы ему скажете, вот если б вы говорили? Что Мезенцев у немцев был? Так миллионы людей были в оккупации, и это беда, а не вина их. Что он при немцах в оркестре играл? Так крестьянин пахал и сеял, рабочий в мастерских работал. Не для немцев — чтоб с голоду не умереть. И то, что Мезенцев женился в оккупации и двоих детей произвел, — поверьте, это тоже суду не подлежит. Я понимаю, для вас не то главное, что он в оркестре играл, а то, что он по внутренним качествам готов был служить немцам. Но именно это и недоказуемо сейчас, хотя это — главное, это — его суть.

— А почему это доказывать надо, когда это и так ясно? Вам же ясно и без доказательств.

Покатило улыбается покровительственно.

— А потому, что, руководствуясь одними предположениями, интуицией, мы за здорово живешь можем и честных людей укатать сколько угодно. Вы поинтересуйтесь, я вас уверяю, у Мезенцева и справки есть, удостоверяющие, каким было его поведение при немцах. И вообще с внешней стороны у него все обстоит благополучно, я в этом не сомневаюсь. Вы не заботитесь, как с внешней стороны выглядят ваши поступки. Бросили без спроса плацдарм, приехали доказывать моральную сторону дела. Да если командир бригады узнает в такой момент, вам же еще и влетит, а не Мезенцеву. У таких, как он, всегда с внешней стороны все обстоит благополучно, это уж будьте уверены. Ну да что! Вы меня лет на двадцать моложе? Как раз на те двадцать лет, за которые собственным опытом узнают все это.

И он козырнул, прощаясь. Я тоже козырнул. У меня было такое чувство, словно он смеется надо мной.

Как же так, всем ясно, что Мезенцев — мерзавец, и в то же время по каким-то глупым формальным соображениям ты ничего не можешь с ним сделать? Почему зрячим людям нужно доказывать, что черное — это черное? Да

еще, выходит, не докажешь, потому что есть справки, удостоверяющие обратное. И умный, порядочный, симпатичный человек словно бы соглашается с этим, говорит, что жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься. Как он не понимает, что эти рассуждения унижительны? Я никогда не соглашусь с этим. Мы не только с фашизмом воюем, мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человеческой, правдивой, честной.

И вместе с тем я уже понимал, что командиру бригады действительно невозможно звонить. Человека легко убедить, если смотришь ему в глаза и ты прав. Но по телефону, когда он, наверное, забыл уже о Мезенцеве, когда все мысли его сейчас сосредоточены вокруг готовящегося немецкого наступления, доводы мои покажутся ему мелкими и даже глупыми какими-то.

Кричал, грозился: «Ты с плацдарма не уйдешь!.. Ты каждый метр исползаешь на животе!..» А теперь поеду передавать ему приказание Яценко.

Самое интересное, что Мезенцева заберут, но числиться он по-прежнему будет за моей батареей, как все тыловые лодыри числятся за батареями и взводами. Так что на его место даже не пришлют радиста. Я только сейчас это сообразил. Он будет играть на трубе, а оставшиеся бойцы должны воевать за него. И за себя и за него. Вот если он проштрафится, тогда его обратно сошлют в батарею по месту «прописки». Но Мезенцев не проштрафится.

Разведчики спят, когда я вхожу к ним. Только Шумилин при копилке пишет письмо крупными буквами, сильно давя на карандаш, так что края бумаги поднялись. Он встал, головой под потолок, широкий в кости, сутулый, словно огромная тяжесть легла ему на плечи и гнетет. Лицо больного человека. А может, свет такой?

— Собирайся! Со мной пойдешь, — говорю я.

Он как-то сразу непривычно и жалко переменялся в лице, засуетился бестолково. Проснулись разведчики, неодобрительно, молча наблюдают, как собирается Шумилин. Они знали, что на плацдарме Мезенцев, не понимают, почему я вдруг сменяю его, а я не имею права ничего объяснять им. Приказание есть приказание, его не обсуждают.

— Товарищ лейтенант, — обратился ко мне Васин, — разрешите пойти вместо Шумилина.

— Я вас не спрашиваю!

Я делал несправедливое дело, знал это и потому раздражался. Но я не знал тогда, отчего так испуганно переменялся в лице Шумилин, когда я приказал идти со мной на плацдарм, отчего у него был вид тяжелобольного человека.

Мне показалось, что он собирается медленно, я крикнул на него:

— Долго ты будешь возиться?

Много раз после, когда Шумилина уже не было в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на нем сердце, — на безответных людях легко срывать сердце.

Я вышел первый при общем молчании; Шумилин — за мной. Молча шли мы с ним к берегу, молча сели в лодку, молча гребли на ту сторону. На середине реки что-то сильно и тупо ударило в лодку. Придержав весла, я глянул за борт. Близко на черной воде качалось белое человеческое лицо. Мертвец был в облепившей его гимнастерке, в обмотках, в красноармейских ботинках. Волна терла его о борт, проволакивая мимо. И тут впервые я услышал, что далекий, все эти дни тревоживший нас артиллерийский гром смолк. Непривычная стояла тишина. Неужели там, севернее, все кончено? Я осторожно отгреб веслом, стараясь не задеть мертвеца, приплывшего оттуда. И некоторое время мы еще видели, как, удаляясь, что-то белеет на воде.

Мы высадились на берег, почему-то стараясь не производить шума. Было облачно и темно, особенно в лесу. Только смутно различалась песчаная тропа под ногами. Мы миновали землянку связистов, в которую попала бомба. Густой трупный запах стоял в этом месте, мы прошли торопясь, задерживая дыхание. И после еще разительней и чище были запахи леса.

Издали слышали мы глухие шаги многих ног по песку. Они приближались. Сойдя с дороги на всякий случай, мы ждали. Первым, спотыкаясь о корни, шел солдат, бритый, без пилотки, в тяжелых сапогах, неподпоясанная гимнастерка расстегнулась на полной белой шее, голова склонена к плечу, руки заведены назад. Он шел так, словно его подталкивали в спину. За ним близко прошли два автоматчика, сумрачные, с автоматами в руках. За автоматчиками, тоже без пилотки, спутанные волосы упали на лоб, высокий, бледный, в наброшенной на плечи длинной шинели, придерживая ее руками на груди, мягко ступал

по песку Никольский. Он первый увидел меня, улыбнулся испуганной, какой-то жалкой улыбкой и поторопился пройти. Прибавя шаг, прошли автоматчики с автоматами в руках, а я все стоял, ничего не понимая. Потом кинулся за ним:

— Никольский! Саша!

— Нельзя, товарищ лейтенант. Не положено,— отгораживая его своими автоматами, говорили конвойные не очень уверенно. А Никольский уходил не оборачиваясь. Я видел его согнутую спину. Он спешил уйти, как от позора.

ГЛАВА IX

Оказывается, к нам перешел немецкий солдат. Прошел каким-то образом передовую, прошел дальше и наткнулся на спящего часового. Солдат спал у входа в землянку, обняв винтовку. Немец хотел разбудить его, но испугался, что часовой застрелит, и сел ждать. А в это время в землянке, охраняемой спящим часовым, спал Никольский. Он как раз обошел посты и, вернувшись, хотел написать письмо и так и заснул с карандашом в руке, обессиленный недавним приступом малярии. Раньше всех на плацдарме малярия началась у него, он был моложе нас и больше ослабел. Но теперь уже только одно имело значение: он в ту ночь отвечал за посты и караулы и заснул.

Несколько дней назад он сам рассказывал мне, как боец, заснув в окопе, застрелил «языка», которого разведчики тащили через передовую. «Как думаешь, что могут дать?..»

Хуже всего то, что обстановка у нас неясная. Только что немцы наступали на севере. Готовятся сбросить нас в Днестр. В такой обстановке любой проступок втрое тяжелей. Я вижу, как его вели, как он от позора торопился скорей пройти мимо меня. Неужели штрафбат?

Я вхожу к себе на НП, и Мезенцев сразу же вскакивает, стукнувшись головой о низкий накат. Сапоги в какой-то болотной дряни. От мокрых штанов, облепивших худые ноги, пахнет болотом. Докладывает, что приказание мое выполнено. Глаза бегают, боится, наверное, что не отпущу. Если немцы правда начнут наступать, с каким бы удовольствием я оставил его здесь!

— Отправляйтесь за Днестр!

У меня от омерзения даже рот полон слюны.

— Слушаюсь, товарищ лейтенант, — говорит он тихо и сразу же начинает собираться.

К Бабину я опаздываю. Немца уже привели. Его час таскали по передовой, и он на местности показывал систему обороны и огневые точки. Он сидит ближе всех к свету. Длинные редкие с сединой волосы зачесаны назад. Перхоть и вылезшие волосы на плечах, на воротнике. Сухое лицо. Погасшие, словно присыпанные пеплом глаза. В них смертельная усталость. Напротив него командир полка Финкин, полнокровный, крупный, вместе с инженером, оживленно переговариваясь, что-то помечает на карте. Землянка полна людей, все курят, и огни трех свечей тускло видны сквозь дым. От двери я замечаю Бабина. Положив крупные руки на стол, он сурово смотрит на немца.

— Чего он перешел к нам? — тихо спрашиваю стоящего рядом со мной лейтенанта.

Тот ответил тоже шепотом:

— Семью у него при бомбежке убило в тылу. Говорит, давно хотел перейти, за семью боялся.

И хохотнул, обнажив желтые от табака зубы:

— Брешет, как все.

— А еще чего говорит?

— Говорит, наступать будут здесь. Срок точно не знает. Видел сам, как химические снаряды разгружали.

Немец в это время, отвечая на чей-то вопрос, заговорил хрипло. Переводчик, сосредоточенно упершись взглядом в стол, напрягая лоб, переводит:

— ...Мы никогда не слышали о человечности. Поощрялась жестокость, жестокость, жестокость! Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему. И ничего не добилось. Нам сказали, защищать надо сильного. Злом стали утверждать добро. И возшло зло. Кровью и ненавистью затоплен мир. Теперь эта ненависть хлынет на Германию. Надо остановить безумие, охватившее людей...

Кто-то рассмеялся недобро:

— Чего ж он раньше не останавливал, когда по нашей земле шли?

Немец оглядывается растерянно, не понимая чужого языка. Но Финкин поднял от карты ставшие строгими черные навывкате глаза, и все стихло.

— Пусть говорит, — сказал Брыль, словно в улыбке очеря все зубы. — Ради чего они сейчас воюют?

Немец, выслушав, хрустнул пальцами, заговорил тоскливо:

— Все спуталось: законы, право. Справедливо то, что полезно нации. Право то, что нужно Германии. Но если и остальные нации скажут так? Страшно, страшно подумать!

Он словно хотел, чтобы мы сочувствовали, мы, потерявшие в этой войне куда больше, чем он. Стояла недобрая тишина.

— Прежде-то была цель? — настаивал Брыль.

Ему перевели, и немец заговорил, затравленно поглядывая на переводчика:

— Мы никогда не оправдывали жестокости. Народ не может оправдывать жестокость. Мы — нация, стесненная со всех сторон. Каждый год рождается полмиллиона немцев. Земля истощена. Гитлер говорил нам: это война за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины. Но мы не понимали это буквально. — Словно испугавшись, он щитом поднял ладонь. — Мы искали в этих словах высший государственный смысл, быть может, недоступный нам. Ужасные средства, но мы верили, что есть цель, которая оправдывает их. Потому что, если это буквально, если за этим ничего нет, — разум отказывается понимать. Тогда мы ужасно обмануты...

Я чувствую, как у меня начинают дрожать пальцы. Они же еще и обмануты! Если бы они победили нас — ничего, на сытый желудок оправдали бы и средства, и цели, и Гитлер был бы хорош. Это они сейчас за голову схватились, когда расплата нависла. Его не слова привели в чувство — бомба, убившая его семью. А пока только наши семьи погибали под бомбами, так все вроде шло как надо и они искали в этом высший смысл.

Есть вещи, о которых стыдно вспоминать. Перед самой войной шла у нас картина «Если завтра война». Там было место, как сбили нашего летчика над Германией и он попал в плен. И немецкий солдат, открыв ворота ангара, помогает ему бежать на самолете и винтовкой салютует ему с земли...

Этой зимой у убитого немецкого солдата я нашел фотографии наших расстрелянных летчиков. Их согнали в лагерь смерти, отобрали теплую одежду в мороз. Они поняли: это конец. И решили бежать. Массовый побег

семисот летчиков. Босиком, по снегу, без шинелей, из глубины Германии. Некоторые ушли за двадцать километров на распухших от голода ногах. Потом их находили замерзшими. Я видел эти фотографии. Сжавшиеся на снегу люди, пытающиеся сберечь тепло. Иные в одном белье. Босые обмороженные ноги. А тех, кто еще был жив, пригнали обратно в лагерь и здесь расстреляли. Все это снято с немецкой аккуратностью: выражение лиц, выстрелы, падающие под пулями люди, позы расстрелянных.

У каждого народа, самого кроткого, найдутся свои садисты и выродки. Но ни одна страна не пыталась еще уничтожать целые нации, всех, до одного человека. Коммунистов — за то, что они коммунисты, славян — за то, что они славяне, евреев — за то, что евреи. Я читал письмо немки к мужу на фронт. Она жаловалась, что детская меховая шубка, которую он прислал из России, была в крови. И рассказывала, как она остроумно, аккуратно, не повредив вещи, отмыла кровь и как выглядит их дочь в этой шубке. Вот — цели. И такие же средства. Застрелил ребенка и снял меховую шубку, словно шкурку содрал со зверька.

Не существует высоких целей, которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели, и тут ничего не удастся оправдать.

Каждому из нас столько надо забыть, чтобы начать сочувствовать, а мы не имеем права ни прощать, ни забывать.

— Чего ты добиваешься? — это Бабин прервал Брыля. — Не ясно тебе, какие у них цели? Ты войну провоевал.

— А я с первого дня добиваюсь, — говорит Брыль упрямо, — каждого пленного расспрашиваю, хочу понять. Не могу поверить, что весь народ такой. Потому что поверить в это — значит стать таким же, как они.

Резко откинув плащ-палатку, вваливается адъютант командира дивизии с того берега.

— Пленный здесь? — спрашивает он почему-то испуганно. И, обежав всех глазами, увидел немца. — Срочно к командиру дивизии!

Я выхожу из землянки. Со света в первую минуту перед глазами черно. Где-то поблизости разговаривают солдаты. Лиц не видно, слышны только голоса:

— Человек-то, главное, хороший был, вежливый.

Кто-то, засмеявшись, сказал хрипловатым от махорки голосом:

— А я бы на месте лейтенанта хлопнул того немца втихую, и — концы.

Я иду к себе в землянку. Долго в эту ночь не могу заснуть. Я думаю о Никольском, о себе, о наших ровесниках. Где-нибудь в Австралии вернулся сейчас мой ровесник с работы, ужинает у себя дома. Война там, в России, за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко, беспокоят каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои.

Понимаешь ли ты, мой ровесник, что это и за тебя война идет, за твоих будущих детей? Бывали и раньше войны, кончались, и все оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом. По-разному коснулось нас это время. Ты еще учился в школе, когда мы взяли в руки оружие. Сегодня наш окоп преградил путь фашизму.

В сущности, мы тоже до войны были очень беспечны, хотя и знали, что нам предстоит. Родятся после войны новые поколения и будут тоже беспечны, как беспечна молодость. Надо, чтоб они знали, какой ценой добывалась для них жизнь на земле.

ГЛАВА X

Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. Гудение перемещается, тревожа пехоту. Оно то стихает, то уже танки рычат на высотах, и слышно ляганье и даже как будто немецкие голоса. Когда ночью метрах в трехстах от тебя танки, начинаешь сразу чувствовать непрочность обороны — всех этих ямок, окопчиков, не везде соединенных в траншеи, по которым сидят пехотинцы с автоматами в руках.

Меня вызывает Яценко:

— Что там у вас?

Докладываю обстановку: за передовой ползают немецкие танки.

— Чего они там ползают?

Чего они ползают — я тоже не знаю, но, пользуясь случаем, прошу прислать мне радию и двух радистов. Моя рация давно разбита, а в седьмой батарее есть и не нужна им фактически.

— Вы там, оказывается, спать мастера! — говорит Яценко многозначительно. И делает паузу, чтоб я мог прочувствовать, что ему, капитану Яценко, известно все: и случай с Никольским, и многое другое, и даже то, что я, быть может, надеялся по наивности скрыть от него. — Ясно?

— Ясно!

Молчит. Я жду. Яценко молчит. По линии — тишина. Момент, когда наконец надо принимать решение, никогда не доставлял удовольствия нашему комдиву.

— Ладно, пришлю тебе рацию.

Только в такой обстановке и можно у него чего-либо добиться. Отказывает он обычно не из каких-нибудь вышних, неведомых нам соображений, а просто потому, что уверен: комбатов надо держать строго, иначе они разбалтываются. И если они просят что-либо, на первый раз лучше отказать.

Я посылаю на берег Коханюка встретить радистов. Часа через полтора Яценко опять вызывает меня:

— Ну, что у вас?

За дверью в проходе — радисты, оба невысокие крепыши, серьезные, лобастые, похожие друг на друга, как новорожденные щенята, уже колдуют около радики. Докладывают: радисты прибыли. Голос у меня хриплый со сна.

— Ты что, спал? — спрашивает Яценко недовольно.

Почему-то начальству всегда пеловко признаваться, что ты спал. Даже ночью. Признаешься в этом, как в собственном упущении.

— Отдыхал, товарищ капитан, — говорю я, помня, что в армии не спят, в армии отдыхают в лучшем случае.

— Танки как себя ведут?

— Ползают.

— А ну дай по ним три снаряда, чтоб не ползали!

Три раза красный огонь вскидывается на высотах. Гудение стихает на время. У меня еще в глазах огни, когда из темноты является Бабин. С палкой в руке, хромая, он подходит веселый, молодцеватый: по передовой лазал. А вид такой, словно этой палкой зайцев в траве гонял. За ним тенью — автоматчик с автоматом.

— Ты стрелял?

— Я.

— Молодец. Пехоте веселей, когда артиллерия не спит. Курить есть?

Он садится на бруствер, выколачивает трубку о рукоять палки. Овчарка, бесшумно возникнув из темноты, ложится рядом с ним, вытянув передние лапы.

— Роздал свой табак. И вот его ограбил.— Бабин кивнул себе за плечо, на автоматчика. Потом говорит ему: — Закури и можешь идти.

Автоматчик ушел. Приминая табак в трубке, Бабин сидит, задумавшись.

— Старик мне там попался. Наш, архангельский. Покурили мы с ним... Я бы так ордена давал,— сказал Бабин неожиданно.— «Пехотинец?» — «Пехотинец». — «На!» И больше бы ничего не спрашивал. Вот этой весной. Днем в окопах по колено талой воды. Ну люди же! Глядишь: один, другой вылез на бруствер обсохнуть на солнышке. Тут — обстрел! Попрыгали, как лягушки, в грязь! А ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота! Вот она кому вливается, война! Мы здесь покуриваем, а он даже оправляется в окопе, если днем. Потом саперной лопаткой подденет с землей и выкинет за бруствер, чтоб ветер не в его сторону.

Бабин прикурил, загородясь. Я видел, он волнуется.

— Как-то в поезде, из госпиталя ехал, слышу, рассказывает один — сколько раз он в атаку ходил... Брехня! Больше трех раз пехотинец в атаку не ходит. Либо вчистую, либо в госпиталь!

Опять за передовой слышны танки.

— Дай еще снарядов несколько,— просит Бабин.

И пока я передаю команду, он неодобрительно наблюдает за радистами.

— Не люблю я эту вашу музыку,— говорит он, кивая на рацию.

Радисты дисциплинированно молчат.

— Как бой, так у нее питание садится, связи ни черта не добьешься. Только немцев привлекает. Один раз из-за такой шарманки засекли мой КП.

И с детским любопытством идет посмотреть в стереотрубу, как будут рваться снаряды.

— Ты что до войны делал? — спрашивает Бабин, когда мы отстрелялись.— Учился?

— Учился.

Он опять садится на бруствер, концом палки сбивает головки трав в росе. Он в каком-то бесшабашном настроении. Такое бывает перед боем, когда случайно ока-

завшемся с тобой в окопе человеку можно вдруг рассказать всю свою жизнь.

— В жизни, — говорит Бабин, — я тех людей уважал, которые чего-то умели, чего я не умел. Жил у нас охотник — ненец. Егор звали. Сколько он за сезон тюленей набьет, никто столько не мог. Было мне двенадцать лет. И вот стащил я у отца винтовку и погиб бы в тот раз, если б рыбаки со льдины не сняли. Целый день носило на ней по морю. А все же двух тюленей добыл.

И я почувствовал, ему и сейчас приятно вспомнить об этом.

— В другой раз позавидовал я крановщику. Удивительный был крановщик в порту. Так я на него ходил смотреть, всю шею выломал. А когда подрос, оказалось, это, в общем, дело несложное. Но все равно я ему и сейчас благодарен. Много таких дел встречалось мне в жизни. Встретится — про все забуду, пока сам не одолею.

Бесшумно бродит по небу луч прожектора. Белый отсвет его падает на землю. Когда луч оказывается над нами, хорошо видно лицо Бабина, смелые сощуренные глаза, следящие за концом палки, и в них затаенная усмешка. И я понимаю сейчас Риту, больно, а понимаю.

Многое вперед простил я ему в эту беспокойную ночь, когда по небу бесшумно бродил луч прожектора, а за передовой, метрах в трехстах отсюда, слышны были моторы немецких танков.

— Все же одно дело так мне и не далось, — сказал Бабин, вкось ударив по траве так, что воздух зафырчал под палкой. — Хотел я научиться на аккордеоне играть. У моряков это вообще принято, море без песни не живет. Другой раз запрუსь в каюте, слушаю сам себя — получается. Оказалось, слуха нет. Ну ладно, нет, так развить можно! Как считаешь?

И он глянул на меня подозрительно и самолюбиво, словно боясь насмешки. Меня опять вызвали из-за Днестра, и я долго докладывал обстановку. Когда отдал трубку, Бабин спросил вдруг:

— Кто у него дома остался?

Я понял, что он спрашивает о Никольском.

— Мать у него, сестренка.

— Отца нету?

— Отец — полковник. На Первом Украинском воюет. Соседи почти что.

— Что ж он к отцу из училища не поехал?

— А ты бы поехал?

Бабин долго рисовал палкой. Луч прожектора то освещал его, то уходил за Днестр. Потом к первому лучу присоединился второй. Они встретились в одной точке, замерли — гигантский голубой циркуль встал за Днестром, концами впившись в землю.

— Это еще не дорого стоит: к отцу в адъютанты не пойти. Хуже, когда силенок не считаешь, размахнешься широко, да один замах и останется. Я мальчишкой был, мне война по песням в виде тачанки представлялась. Конь, гривы, тачанка несется как бешеная, а в задке я строчу из пулемета по белякам. И до того мне на войну хотелось — сказать тебе не могу! А война видишь какая. Скажем, на Донце ходил я со своим батальоном в разведку боем. Потерял тридцать шесть человек. А добыл знаешь что? Немецкую солдатскую книжку. Как же так это покажется: тридцать шесть жизней, и все ради одной солдатской книжки? Да в наступлении их сотнями валяется! Так? А вот теперь с другой стороны поглядим, что оно значит на самом деле: добыли мы книжку убитого солдата эсэсовской танковой дивизии «Мертвая голова». Дивизии этой на нашем участке не было. Появилась недавно. Что это значит? На девяносто процентов с уверенностью можно сказать, что он тут наступать будет. И правда, на четвертый день ударил. Так мы уже знали, готовились. А не добудь мы этой солдатской книжки — посчитай, сколькими жизнями расплатился бы. Я это говорю к тому, что не всем на войне достается флаги водружать. Больше воюют безвестно. Хотя у них имена есть, и люди они не хуже, и смелости у них не меньше. Мы тут тоже сидим вроде бы на задворках войны. Другому в трудный час покажется: «Господи, да что мы их держим, эти полтора километра? По сто километров отдавали без боя, а тут вцепились зубами, метра отдать не хотим!..» А наш плацдарм в немецкой обороне как нож в теле. Куда он ни сунется — чувствует в себе этот нож. И рад бы выдернуть, и не может. И руки связаны. А попробуй без такого плацдарма с ходу форсировать Днестр и — в наступление. Знаешь, сколько дивизий положишь тут? Во скольких концах России заголятся по убитым мужьям, сыновьям?

Никогда после, ни до этих пор не говорили мы с ним столько. Он все сидел, и ему не хотелось уходить. Спросил вдруг:

— У тебя брат есть?

— Есть.

— Вот в этом я тебе завидую,— сказал Бабин, как говорят о сокровенном.— Друг — хорошо, а когда рядом брат, родная кровь... Я один. Убьют — на мне фамилия кончится. Мать у меня в молодые годы здоровая была, веселая, у нее детей много могло быть. А как-то шли они с отцом из гостей. Мороз. По реке шли, по льду. Отец пьяный был. Он вообще-то отчаянный, а когда выпьет, одна мать с ним справлялась. И провалился в прорубь. Не будь матери, утонул бы в тот раз. Привела она его домой, весь обмерзший, как льдина. Раздели, выпил стакан спирта, укрыли всеми шубами. Утром встал — хоть бы что. А мать застудила себя. Все болела с тех пор, и уж больше детей не было. У нас в деревне я вообще не замечал, чтоб жен жалели. Но отец жалел ее. Корову сам доил! Женился он рано и смолоду себя не обижал. Бабы из-за него в открытую дрались. А рыбаки побаивались. Человек он был суровый и здоров страшно. Не одну слезу мать из-за него пролила. А тут как подменили: идет утром с подойником, хоть люди, хоть кто — ничего ему не позор. Только одно просил... Выпьет, вернется поздно, станет перед матерью на колени: «Маша! Может, одного еще, а? Сына! В руках подержать!..» Проснусь ночью, слушаю, так даже мороз прохватит. А мать с ним сурово говорит, с пьяным.

Мне вдруг захотелось сказать ему с внезапным самоотвержением, что я понимаю Риту. Но я сдержался и только спросил:

— Жив отец?

— Утонул. Рыбаки редко на берегу умирают. Рассказывали, лодку их перевернуло килем вверх. Болтало их, болтало так, потом льдина показалась недалеко. Отец хорошо плавал. Видит, остальные выбились из сил, взял бечеву в зубы, поплыл, чтоб их после на льдину вытащить. А был в конёвых сапогах. Вот до сих пор. Они-то его и утянули. А тех спасли.

Собака у ног его внезапно подняла голову с лап, предостерегающе зарычала. Кто-то шел к нам. Мы всматриваемся! Маклецов! Афанасий Маклецов. Прошлой ночью его, раненного в плечо, увезли с плацдарма, и он ругался и скрипел зубами, пока Рита перевязывала его. И вот уже возвращается. Маклецов подходит, останавливается над нами. Нерешительно поглядывает на Бабина.

— Сапоги жмут, — говорит он. И, проворно сев на землю, начинает разуваться, помогая себе здоровой рукой. При этом ворчит: — Чертова старуха приказала мне сапоги не давать...

— Ты, собственно, чего вернулся? — спрашивает Бабин холодно.

— Чего... Вы, значит, здесь, а я, значит, там сиди?

— Ну и что?

— Ну и нет ничего. Только перевелись дураки. Она, эта старуха, два часа во мне какой-то спицей ковырялась. Знаю я таких любознательных. Ей дай волю, начнет людям головы пересаживать: у одного срежет, другому пришьет.

— Ну, ты при этом, факт, не прогадаешь.

— Ладно. Прогадаю не прогадаю — желаю при своей оставаться.

Стряхнув портянки, Маклецов шевелит пальцами. В воздухе пахнет его босыми ногами. Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно, и оттого сидит надутый, словно его оскорбили в лучших чувствах. Бабин вдруг начинает хохотать, и сразу Маклецов превращается в дурашливого мальчишку.

— Слушай, комбат, будь другом, дай сапоги. У тебя в землянке запасные стоят, я знаю. А то неавторитетно в роту босиком идти. Я ж командир роты все-таки. И немец завтра наступать начнет. Какая у бойцов может быть устойчивость, когда командир уже заранее разулся?

— Тебе это откуда известно, что он наступать начнет?

— А вы что, не знаете?

Маклецов смотрит на меня, смотрит на Бабина, снова на меня.

— Вы в самом деле не знаете?

Из землянки показался радист. Маклецов махнул на него:

— А ну, скройся! — Подождал. — Завтра немец наступает. Вы разыгрываете меня или правда не слышали? В медсанбате все говорят. Я как узнал, думаю: «Буду я тебе здесь лежать...» Подзываю санитаря. Есть у них один, всю войну при медсанбате воюет. Прижился, как кот в тепле. «А ну, говорю, иди сюда, милый. Табачок есть?» Закурили мы с ним. Между прочим, курит офицерский. «Теперь, говорю, снимай сапоги». Он было туда, сюда. «Тихо, тихо! А то я могу тебя самого к себе в роту взять». Тут он добровольно разулся.

Бабин смотрит на него смеющимися глазами.

— Эх, Маклецов, Маклецов! Характер у меня мягкий, вот что тебя спасает.

— Значит, дашь,— заключил Маклецов.

На правом фланге начинают строчить пулеметы, немецкие и наши. Сразу взлетает несколько ракет. Бабин встал.

— Ну, бывай!..

Рука у него большая и сильнее моей. Наверное, потому, что я моложе. Он спросил вдруг:

— Ты как, в предчувствия веришь?

— А что,— говорю я,— предчувствия другой раз не обманывают. Вот же, скажем, животные чувствуют опасность задолго. Я думаю, наука это еще объяснит.

— Считаешь, объяснит...— сказал он, упрямо думая о чем-то. И глянул мне в глаза.— Не нравится мне немец сегодня. Я уже командиров взводов предупредил. Как бы он нам к утру не устроил сабантуй. Так договорились: снарядов не жалея. Чтоб пехота поддержку чувствовала.

Он уходит в призрачном свете ракеты, идет по кукурузе, почти не хромя, с палкой в руке. У ноги его бесшумно серой тенью скользит собака. Маклецов идет за ними, здоровой рукой несет за ушки сапоги, шаркает босыми ногами по росе.

Крупная желтая звезда, поднявшись высоко, горит над черным лесом. Как-то однажды Маклецов наигрывал на гитаре, а Рита сидела на бруствере, зажав ладони в коленях, закрыв глаза. Она еще не пела, но песня уже звучала в ней. И вот эта желтая звезда низко стояла над землей. Я ее запомнил с тех пор. Она ярче и крупнее других звезд. И всходит каждую ночь. Я люблю смотреть на нее.

Перед утром темнота сгущается. Танков не слышно. Повсюду на плацдарме стрекочут в траве кузнечики, и воздух звенит от них.

Постепенно небо над высотами отделяется от земли, и становятся различимы какие-то странные предметы, похожие на наклоненные телеграфные столбы. Поднялся ветер. Мигают и меркнут звезды. Один радист спит, свернувшись в окопе, другой борется со сном у щитка рации, и лицо его после ночи кажется измученным и бледным. Начинает рассветать. Воздух посвежел от росы и влажен; это чувствуется лицом. И шинели наши, и волосы влажны.

А когда я провел по холодному стволу автомата, ладонь стала мокрой.

Теперь уже можно различить, что это не столбы, а пушки с задранными вверх стволами. Они стоят открыто на высотах, как никогда не стоит артиллерия.

И вот первый луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы видим, что это не немецкие, а наши стоятидесятидвухмиллиметровые орудия, а на их задранных вверх стволах повешены артиллеристы. В стереотрубку они хорошо видны. Распоясанные, босые, как будто старающиеся достать землю пальцами ног, с опущенными вдоль тела руками, головы склонены к плечу, они мерно покачиваются на ветру, поворачивая к нам свои мертвые лица, освещенные восходящим солнцем. Это, наверно, с того плацдарма приволокли захваченную батарею, втащили на высоты и на стволах, захлестнув веревки за дульные тормоза, повесили батарейцев в устрашение нам.

Пять часов. Тихо. Я спускаюсь в землянку. Над столом на стене — ходики. Разведчики привезли нам их из-за Днестра. Над циферблатом пара глаз со сверкающими белками. Качается маятник, слева направо бегают веселые белки: тик-так! тик-так!.. Я вдруг замечаю, что сижу, опершись локтями о колени, сжав в ладонях виски. Поспешно достаю табак, скручиваю папиросу. Как я все же не умею владеть собой при людях! Ложусь на спину и курю. Над моим лицом накат в одно нетолстое бревно. Выше — слой земли. Мину он еще выдержит. И то легкую. Снаряд разнесет его.

Неужели на том плацдарме все кончено? Я представляю себе, как их вешали. По времени это, очевидно, было тогда, когда мы сидели с Бабиным и разговаривали. А в полукилометре отсюда им надели веревки на шею и подъемным механизмом начали подымать ствол, как это обычно делают при стрельбе на дальние расстояния. А они стояли босые. Сначала подымался один ствол, потом натянулась веревка, потом человек начал отрываться от земли. Почему в такие минуты люди стоят? Им дают лопаты, и они сами роют себе могилу. Ведь у них железные лопаты в руках. Что это, покорность или великое презрение? Люди умирают с песней. Кричат под залпами вещи слова, которых не слышно за выстрелами. Почему не борются? Или есть что-то такое, что не может переступить человек, оставаясь человеком? Фашисты переступили. Рассказывают, даже в газовых камерах люди оставались

людьми. Матери, сдавливая друг друга телами, пытались освободить детям место, чтоб им не тесно было стоять. Там, в темноте, когда пускали газ и смерть душила людей, с какой яркой силой среди них, обреченных, вспыхивали человечность и любовь! И немцы учли это. Потом они уже казнили детей отдельно. Потому что матери, видя смерть своих детей, становились опасны. Даже это они учли! Бывала холера, бывала чума, это — фашизм.

Я стараюсь не смотреть на часы поминутно. Хорошо долго не смотреть, а потом глянуть сразу, когда пройдет много времени. Я жду, пока пройдет много времени. Потом смотрю на часы. Прошло шесть минут. Начнет он сегодня или не начнет? Если в семь не начнет, значит, все. Надо дожидаться семи.

Интересно, какие калибры немецкой артиллерии я помню? Пятидесятимиллиметровая танковая пушка. Семидесятипяти. Нет, семидесятипяти — это французская пушка. Мы однажды захватили такие. Впрочем, и у немцев есть. А какая пушка на «фердинанде»? Длинный ствол, дульный тормоз, как кулак, прицельный огонь. А калибра не помню. Интересно другое: сколько у них здесь танков? Никогда не забуду, как этой зимой немецкие танки купали нас пятерых в воронке от авиабомбы. Там было целое озеро, лед, разбитый минами. Мы спрыгнули туда. Скроемся под водой — выглянем. Стоят. А один танк вообще стал у края воронки и ведет по кому-то огонь. Жизнь бы в тот момент отдал за одну противотанковую гранату.

Ровно без десяти минут семь над нами тяжелое гудение самолетов. Я выскакиваю из землянки. Двенадцать двухмоторных «петляковых» проходят над плацдармом. Первые тяжкие удары. Столбы земли и дыма у немцев. Немецкая передовая скрывается в дыму. У нас пехота тоже попряталась. Она уже ученая, наша пехота. Знает, что бьют по немцам, а попадают иной раз по своим. Зато на командных пунктах все выскочили из ровиков. Маклецов у себя открыл стрельбу вверх из автоматов, салютует бомбардировщикам. Мы тоже выпускаем вверх по целому диску.

«Петляковы» долго бомбят передовую и что-то еще за высотами. Когда они улетают, мы опять залезаем в окопы.

Восемь часов. Солнце уже припекает, воздух сух, и небо с утра выцветшее. День будет палящий. И, как все-

гда перед жарким днем, голова мутная, усталость во всем теле и сильно сохнет во рту. Пью и не могу напиться.

Деять часов. Жду еще полчаса и иду спать.

Я так и не понял, заснул я или нет. Я вскочил оттого, что ясно услышал орудийный залп. В следующий момент я сидел с бьющимся сердцем, вслушиваясь. Но даже пулеметы не стреляли на передовой. Наверху, в сухом от солнца окне, радист пробовал самодельную дудку, старательно выводя на ней белорусскую «Перепелочку». Как раз это место:

А у перепелочки ножки болят,
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка,
Ты ж моя, ты ж моя невеличка...

Звук камышовой дудочки, тонкий и печальный, дрожал в знойном воздухе. Что же это? Я только что отчетливо слышал орудийный залп. Или, когда я задремывал, он раздавался в мозгу у меня, словно лопнула до отказа натянутая струна?

Я вышел из землянки, ладонью растирая затекшую щеку, — сухой, слепящий свет ударил в глаза. Над лесом дыбом стояла лиловая туча, и на фоне ее свет солнца был разительно ярок. Клубящийся верхний край тучи снежно белел, он уже достиг солнца, а тень холодком ползла по земле. И этот резкий свет, и надвигающаяся на него тень — все было какое-то предгрозовое.

Тень закрыла передовую, начала краем взбираться на высоты. И когда она перевалила их, короткими молниями сверкнули артиллерийские залпы. В тот же момент воздух с шумом стал раздираться множеством летящих снарядов.

Сжавшись в окопах, мы ждали. Зажмурясь. Упираясь лбами в колени. Грохот обрушился сверху, в дыму и пыли потопив все. В какой-то миг показалось, что задыхаюсь. Я разорвал воротник гимнастерки. Сверху рушилась земля. На головы, на согнутые спины, словно заживо погребая нас.

На сколько рассчитана артподготовка? На полчаса? На час? Надо пережить. Когда она кончится, начнется главное: пойдут танки. А позади километр земли, обрыв и — Днестр.

ГЛАВА XI

Оглухшие, засыпанные землей, мы поднимаемся в полуобвалившихся окопах, воспаленными глазами вглядываемся из-за бруствера, — танки! Они идут, обтекая высоты, в пыли и дыму, танки. В бинокль я вижу, как движутся над кукурузой бронированные желтые башни с длинными стволами, а позади, по примятым просекам, бежит пехота, сквозь дым блестя касками. Я смотрю и не могу оторваться, у меня наступило какое-то торможение. Рев моторов движется на нас, и ни одного нашего разрыва на всем поле.

— Связь! — кричу я наконец.

Шумилин подает трубку. Мельком вижу его лицо, землистое от вьевшейся глинистой пыли. Сухие землистые губы. Рядом Коханюк ставит стереотрубу. Она валится ему на руки. Снова ставит. Снова валится. Глядит на меня испуганными глазами.

— Ножку выпусти! — кричу я ему.

И тут же забываю о нем: первый разрыв мой встает на поле. Значительно впереди.

— Товарищ лейтенант! — кричит мне радист. Кажется, Теплов. Я еще не запомнил их хорошенько. Большие, косящие от волнения глаза. Пыльные ресницы. Указывает на поле. В пехотной траншее происходит какое-то движение. Один пехотинец выскочил. Ползет на четвереньках.

— Сволочи, что делают!

Пехотинец вскочил, путаясь в полах шинели, бежит к нам. Упал. Больше не встает.

Трах!

Меня обдаёт землей. Радист, только что стоявший рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся. Вздрыгнул. Затих. Одна нога остается поджатой к животу.

Трах!

На минуту глухну. Рот полон теплой тошнотной слюны. И тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля.

— Огонь!

Уже все поле в разрывах. Мгновенные вспышки в дыму. Мелькнув, исчезают автоматчики. И снова возникают. Справа, оглушая, хлопают противотанковые пушки.

— Огонь!

Кто-то дергает меня за ремень:

— Пригнитесь, товарищ лейтенант!

И тут вижу, как впереди бруствера все расчистилось — и телько мгновенно возникающая пыльца и треск разрывных пуль. Кукурузу точно сбрило.

Пробив дым разрывов, выскакивает танк. Орущая толпа автоматчиков.

— Огонь!

Что-то говорит Шумилин. Вижу, как шевелятся его серые губы, и ничего не пойму. Хватаю трубку. Нет связи! Шумилин стоит у аппарата точно приговоренный. Второй радист возится на дне окопа у своей рации. Спешит.

— Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!..

Пальцы от поспешности дрожат.

— Ну!

— Сейчас, сейчас...

Он готов заплакать. Чертова техника! Пока боя нет, хоть последние известия слушай. Как бой — отказывает.

— Быстро по связи! — кричу Шумилину и стараюсь не смотреть на поле, чтоб не видеть приближающийся танк.

Шумилин хватается аппарат, катушку и только подымается над бруствером — тррах! Еле успеваем присесть. Он оборачивает ко мне странно изменившееся лицо, с посветлевшими, какими-то отчаянными глазами, хочет что-то сказать, но говорит только: «Стреляют!» — растерянно и жалко.

— Связь давай! — кричу я на него, боясь поддаться жалости.

Засуетившись, он поспешно лезет из окопа. Последними уползают за бруствер его длинные, в глине сапоги.

— Провод дерните! — кричит он уже оттуда. — Чтoб не спутать мне.

И едва успевает отползти — тррах!

— Шумилин!

Высунувшись, ищу его глазами. Нету. Потревоженная кукуруза указывает след. У меня отлегло от сердца: жив.

— Товарищ лейтенант! — зовет меня радист. Он нашел повреждение. Повернув рацию задней стенкой ко мне, показывает дыру от осколка. Всовывает в нее палец. Лицо радостное: он не виноват.

Стискиваю зубы, чтоб не обругать его. И тут замечаю Коханюка. Сидит в углу окопа, острый носик в крупных

каплях пота, широко распахнутые вздрагивающие глаза. Вот бог послал разведчика. С ним не воевать, нос ему угирать.

— Гранаты неси! — кричу на него, чтоб не видеть его рядом.

В кукурузе артиллеристы разворачивают пушку. Успеют или не успеют? Оттого, что я ничего не делаю в такой момент, меня все раздражает. И Коханюк и радист. Набрасываюсь на радиста:

— Выкинь ты свою рацию к чертовой матери!

Не отрывая от меня испуганных глаз, он пятится в землянку, уволакивает рацию за собой. Какие-то стекла пересыпаются в ней и гремят.

Тррах!

Я успеваю заметить, откуда бьет. Это из посадки справа, «фердинанд». Высунется, выстрелит и упятится назад. Если его не уничтожить, он эти пятидесятисемимиллиметровки в кукурузе расщелкает по одной. А у меня связи нет.

— Связь! — кричу я Коханюку. — Ну, быстро!

Тут сзади наклоняется в окоп чье-то незнакомое грязное лицо.

— Артиллеристы?

— Ну!

— Девятьсот шестнадцатого полка?

— Лу, говори!

— Связист ваш там, в воронке. Раненый.

Хватаю автомат:

— Ждите здесь.

Выскакиваю из окопа. Петляя, бегу между разрывами. Кукуруза кончается. Пустое, голое место. Низкая трава. Разрыв! Падаю. В бомбовую воронку скатываюсь головой вниз. На дне ее, на чьей-то шинели, лежит Шумилин, голый до пояса. Рядом мальчишка-пехотинец, тоже раненый и перевязанный уже.

— Да лежите вы, дядя, — просит он плачущим голосом, беспокойно оглядываясь и удерживая Шумилина.

Но тот опять пытается встать, хрипит:

— Помощь мне!

И вдруг увидел меня. Глаза, горячечные, сухие, потянулись ко мне иступленно:

— Помощь мне, товарищ лейтенант! Жена умерла, получил письмо... Нельзя умирать мне... Детишек трое... Помощь мне надо!..

И рвется встать, словно боясь, что, лежащего, смерть одолеет его.

— Сейчас перевяжу! Лежи!

А вижу, что ему уже ничего не поможет. Руки, ребра — перебито все. Даже голенища сапог исколоты осколками. Он истекает кровью. Снаряд, видно, разорвался рядом. Как он жив до сих пор? Наверное, одним этим сознанием, что нельзя ему умирать.

— Сейчас, сейчас, — говорю я и не могу выдержать его просящего взгляда.

— Намучився я з ним, — жалуется пехотинец. — Тут такэ робиться, а вин нэ лежить. Нэ чулы, товарищ лейтенант, отбили немца?

— Отбили...

Я рву рубашку Шумилину на широкие полосы, бинтую, и они сразу же намокают кровью. Так вот почему Шумилин не хотел идти на плацдарм. Дети! Этого я еще не понимаю, но чувствую, что ради детей на все можно пойти. Даже на унижение. И все-таки он ни на кого не переложил свою судьбу.

По краю воронки, загораживая небо, пробегает боец. От его сапог сыплется вниз комья глины. Еще один пробегает. Все туда, к Двещтру... Пехотинец смотрит на них снизу, оглядывается на меня. Потом карабкается из воронки, цепляясь за землю здоровой рукой. Я его не удерживаю — сам не знаю, отчего вдруг покалел.

Шумилин дышит неровно, широкие ребра то проступают сквозь кожу, то опадают. И все ближе, слышней клочкотание в горле.

— Снаряд... в ногах разорвался, — поворачивает он сквозь это мокрое клочкотание. — С танка... Не слышал даже... Там...

И пытается показать рукой, но только чуть шевелит голым плечом. Перебитая рука, обескровленная, с белыми синеющими ногтями, остается бессильно лежать на земле.

— Порыв где? На болоте?

— Не проложил он, — стонет Шумилин.

Как не проложил? Я сам посылал туда Мезенцева проложить по болоту связь. Вернулся дрожащий, мокрый еще...

Сознание то разгорается, то меркнет в глубине зрачков, и взгляд у Шумилина ускользающий. Кажется, он уже не понимает меня. Только стонет:

— Там... питка... Наверху...

И все гытается показать рукой.

— Понятно! Лежи!

Наверху происходит что-то странное. Отсюда видно только желтое от пыли небо и вспыхивающие в нем ослепительно белые разрывы зениток. Но стрельба явно приблизилась. Я не могу бросить Шумилина живого и не могу больше оставаться здесь. Тряпки под моими руками уже все напитались кровью. Глупо, но мне кажется, что они вытягивают из него последнюю кровь. Ее невозможно остановить. Зрачки Шумилина закатываются под верхние веки, но он усилием возвращает их назад, словно не давая себе уснуть. Я закрепляю последний бинт. Беру его катушку, аппарат.

— Шумилин, — стоя над ним, говорю я громко, чтоб он слышал меня. — Сейчас я пришлю санитаров. Понял меня? Минут двадцать обожди.

Он начинает беспокоиться, сознание сразу возвращается к нему. Не оборачиваясь, лезу из воронки. Рыхлая земля едет под сапогами вниз, крошится в руках. Уже сверху оглянулся. Шумилин силится встать. Кровь пошла у него горлом, течет по небритому подбородку, по голой груди, на бинты. Он захлебывается ею, но расширенные, как от удушья, испуганные глаза пытаются остановить меня. Понял, что я бросаю его.

Много раз после вспоминал я, как смотрел на меня умирающий Шумилин. Я и до сих пор вижу его глаза. И уже никогда ничего не смогу ему объяснить. Но за Днестром стояли мои пушки и не стреляли, потому что не было связи. А немецкая артиллерия с закрытых и открытых позиций крушила все на плацдарме. Мне пужно было воевать. И, отвернувшись, чтоб не видеть, я выскок из воронки.

С аппаратом в руке, согнувшись, бегу по полю.

«Ви-и-у-у!» — из-за края поля нарастающий вой мины. Падаю. Прижимаюсь щекой к жесткой, щетинистой, сухой и теплой щеке земли. Разрыв! Прижимаюсь изо всех сил. Как трудно от нее оторваться! Еще разрыв! Отрываю себя от земли.

Среди многих проводов, ползая на коленях, ищу свой провод. Отсюда поле подымается постепенно, и мне не видно, что там происходит, кроме встающих дымов разрывов. Изредка в кукурузе появляются люди, бегут вниз стороной, словно скрываясь от кого-то. По частой стрель-

бе противотанковых пушек, по сплошной трескотне пулеметов и автоматов чувствую, каков накал боя, и кажется, он приближается сюда.

В одном месте, зажав в кулаке провод, лежит пехотный связист в обмотках. Рядом воронка мины. Голова связиста втянута в плечи. Успел только сжаться во время разрыва и так и остался уже. Не зная, чей это провод, я соединяю концы и ползу дальше. Вдруг точно такая же связь, как моя, попадаетея мне: красный глянцевый провод. Но мой должен идти по болоту. Я все же подключаю аппарат. Кричу, кричу — и на том и на другом конце провода молчат. Неужели в обе стороны порыв? Взяв провод в руку, бегу по нему к Днестру. Порыв оказывается близко. Нахожу второй конец. Лежа срываю зубами изоляцию, подключаюсь:

— «Щука», «Щука», я — «Карась»!

И — радостный голос из-за Днестра:

— Товарищ лейтенант!..

Это мой провод. Значит, Мезенцев не проложил тогда связь. Сволочь! Теперь я вспоминаю: как раз тогда начался обстрел по болоту. Я еще подумал: «Неплохо, пусть поучит его». Такого поучишь. Пересидел где-то, отключившись, и вернулся мокрый, будто по болоту лазал. Вот он отчего беспокоился, в глаза не смотрел. «Товарищ лейтенант, вы же культурный человек...» Недаром я всегда ждал от него подлости. Нагадил и скрылся. А Шумилин убит. Всю войну провоевал. И детей трое. За кого-то теперь сиротами.

Я лежу под обстрелом, сращиваю провод. В трубке уже голос Яценко:

— Мотовилов! Где ты провалился, черт бы тебя взял? Что у вас там происходит? Связь перебило? Связистов по линии гони. Жалеешь их! — кричит он оттуда.

Несколько мин обдают меня землей. Проклятое место. От грохота уши точно заложило. Чей-то связист, рыскавший по полю на четвереньках, валится на бок. И вдруг что-то взорвалось во мне.

— Чего вы кричите! — ору я в трубку, стараясь перекричать все, что творится вокруг. — Вы на меня сейчас не кричите! Ясно?

С тяжелым гулом, придавив на земле все звуки боя, проходят над плацдармом наши бомбардировщики. Я еще долго не могу говорить, во мне все дрожит. Потом докладываю обстановку.

За гребнем уже черной стеной встает дым, и земля подо мной вздрагивает от бомбовых ударов. Отключаюсь и иду туда. Пот ест лицо, щиплет потрескавшиеся губы. Внезапно в кукурузе часто и оглушительно захолопали противотанковые пушки, раздались крики, и, мгновенно возникший, песется сюда рев мотора. На бегу стягиваю через голову автомат. Ремень зацепился за пилотку, пилотка падает. Подбираю ее и вижу вдруг: низко над кукурузой, распластав крылья, всдыхивающие мгновенным огнем, идет на бреющем полете наш штурмовик. Под ним, стремясь уйти, ломится меж стеблей немецкий танк прямо на батарею. И видно, как артиллеристы, стоя на коленях за щитами, торопятся.

Пак! пак! пак! пак! — частят пушки.

Из кукурузы, пригнувшись, выскакивают несколько пехотинцев.

— Стой! — кричу я.

Над нами, толкнув ревом мотора, проносится самолет. Один пехотинец, не видя, набегает на меня. Раскрытый, задыхающийся рот, опустошенные страхом глаза.

— Стой!

Он останавливается.

— Ложись!

Двое других тоже ложатся. Близкий взрыв. Танк стоит, развернувшись в обратную сторону.

— За мной!

И первый бегу по кукурузе, обвешанный катушкой, телефонным аппаратом, биноклем. Аппарат, сползая на живот, бьет по коленям. Автоматная очередь. Падаю. Отползаю в сторону. Еще очередь. Горячий удар по ноге. Выше колена. Прижимаюсь к земле. Сверху падает на меня срезанный пулями кукурузный лист. Земля сухая, теплая, лезет в нос. Осторожно оглядываюсь. Пехотинцев уже нет. Смылись все-таки. Чувствую, как кровью намокает штанина, и от этого сразу слабею. Тошнота подкатывает к горлу. Немец где-то рядом. И видит меня. А мне он не виден.

Над нами самолет делает круг. Я лежу ничком. Катушка на спине, по ней меня сразу можно заметить. Осторожно отстегиваю лямки, шевелю плечом — катушка сваливается на землю. Немец не стреляет. Это, должно быть, танкист. Ему надо пробиться к своим. Я тихонько просовываю приклад автомата меж стеблей, трясусь слева от себя кукурузу. И сейчас же — очередь! Не видит ме-

ня, на шорох бьет, туда, где шевелится кукуруза. Немного погода трясует стебли правой. Их сейчас же срезает. Вот он откуда бьет! Метрах в шестидесяти от меня, озираясь, отползает с автоматом в руках танкист в черном, вываленном в пыли обмундировании. Прижимаясь к рыхлой земле, осторожно ползу за ним. Раненую ногу жжет, колено мокро от крови. Немца уже плохо видно, только мелькает за стеблями. Плечом вытираю потную щеку. Прикладываюсь к автомату. Пот заливает глаза. Немец то возникает на мушке, то исчезает. Не разглядеть. Тогда резко свищу. Шевеление стихло. Потом за стеблями понемногу приподнимается светловолосая голова. Даю очередь. Голова падает. Жду. Тихо. Подношу к глазам бинокль. Приближенный десятикратно, танкист лежит затылком ко мне, так близко, что кажется, дотянешься рукой. Крови не видно. Несколько стеблей у самой головы срезано пулями до основания, торчат низкие пеньки. Не попади первый, вот так бы я лежал сейчас.

Недалеко от танка, в широкой борозде, оставленной гусеницей, валяется другой танкист, без мундира, в нижней рубашке. Сколько их было? Трое? Четверо? Выскакивали, видно, через нижний люк. Танк стоит совершенно целый, пятнистый, как немецкая плащ-палатка. Только без гусеницы, и спереди оплавившаяся дыра. Если забраться под него, лучше НП не выдумаешь. Немцы по нему стрелять не будут.

Бросив катушку и аппарат, хромая, бегу по кукурузе в свою землянку. Каждый шаг горячей болью отдается в ногу. Пули уже посвистывают густо, сшибая верхушки стеблей. Бегом, ползком добираюсь, спрыгиваю в траншею. Пусто. Ни Коханюка, ни второго радиста нет. Все брошено. Только убитый по-прежнему лежит в углу, засыпанный по плечи землей. Ждали, наверное, меня, приказаний никаких нет, танки, обстрел. Быть в бою и не стрелять — не у всякого нервы выдержат. Забегаю в землянку. После жары и солнца — сыроватый дух погреба. Плащ-палатка с нар содрана, шинели моей нет. Только фляжка висит на колышке, вбитом в стену. Срываю фляжку. Пью, перевожу дыхание и снова пью. Вода выходит из меня потом. Пустую фляжку бросаю на нары. Прислушиваюсь к стрельбе сверху, расстегиваю брючный ремень. Рана пустяковая, но перевязывать трудно. Такое место, что повязка едет вниз, на колено. Вот если немцы захватят в таком положении, с подолом гимнастерки в зубах.

Кое-как закрепляю бинт, поспешно застегиваю ремень и сразу чувствую себя уверенней. В тугой повязке рана спокойней. Передав на тот берег, что буду менять НП, отключаюсь, с автоматом в руке перемахиваю через бруствер.

Кто-то, тяжело дыша, лезет ко мне под танк. Отрываюсь от бинокля. Сержант с красным, потным лицом.воротник гимнастерки расстегнут, пыльный чуб торчит изпод пилотки, веселые глаза подмигивают дружески.

— Молодец, лейтенант! — хрипит он, и шея надувается. — Самый мировой НП.

В трубке докладывают мне с огневых позиций:

— Выстрел!

Два мощных разрыва встают в кукурузе перед «фердинандом».

— Твой? — хрипит сержант.

Мне некогда ответить. Самоходка пятится, сейчас уйдет в посадку. Кричу новый прицел. Разрыва жду с замершим сердцем. Взлетела земля. Уходит!

— Пять снарядов, беглый огонь!

Взрывы. Дым. Огонь. Черные смерчи земли. Когда опять становится видно, «фердинанд» стоит на оголенной перепаханной земле. Как будто даже не подбитый. Стоит и не шевелится больше.

— Сволочь! — говорит сержант. — Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло.

От самоходки пригибаясь бегут три черные фигурки.

— Дай по ним!

— Ну да! — говорю я. — Снаряды тратить!..

Мы смотрим друг на друга и смеемся. И отчего-то вдруг легко становится, словно груз с плеч.

— Житуха вашим огневикам! — завидует сержант. — Детей нарожать можно. Так и сидят за Днестром?

— Так и сидят.

Под танком бензиновая вонь. А в стеклах бинокля — слепящее солнце, желтая кукуруза, зной. По всему полю встают дымы разрывов. Среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. Пулеметы захлебываются. Уже ясно, что оборона устояла. Сейчас немцы перегруппируются и полезут снова.

Сержант куда-то исчез. Возвращается с буханкой хлеба и какими-то бумажными стаканчиками. Лезет под танк, прижимая их к груди. Хрипит:

— Рубать хочешь?

Двоим нам тесно под танком, но веселей.

— Ты где голос потерял?

— Танки шли...

Он распечатывает один стаканчик. Мед. Вот бы чего сейчас: холодной колодезной воды. Чтоб зубы ломило. У меня до крови растрескались губы, язык распух. Даже слюны во рту нет. Сержант опять исчезает. Вижу, как он по широкому следу гусеницы ползет к убитому танкисту. Что-то делает около него. Возвращается с фляжкой. Лежа на животе, задрав голову, — на здоровой шее напрягаются все мускулы, — пьет. Потом передает мне. Ром. Все же пью. Растрескавшиеся губы щиплет, как от спирта.

Сержант финкой достает тянущийся мед из бумажного стаканчика, ест, подмигивая мне хитрым глазом:

— Так воевать можно!

И хохочет. Зубы у него влажно блестят сладкой слюной. Мне становится завидно. Беру второй стаканчик, отламываю хлеба. Лежа под танком плечо в плечо, едим и наблюдаем. Мед белый, отдает каким-то лекарством.

— Он у них искусственный, — говорит сержант: он все знает. — Синтетический.

И опять подмигивает. Это у него привычка. Оказывается, я здорово хотел есть. Жую хлеб, и песок хрустит на зубах. Сухая земля, и трава, и хлеб — все под танком воняет керосином. С полным ртом, прожевывая, сержант кивает вверх на днище танка:

— Не пробовал, башню не заклинило?

— Не пробовал. Снаряды видел. Есть.

Мне тоже пришла в голову эта мысль: в случае чего — стрелять из танка. Сержант ест, напряженно думает.

— Ты пушку ихнюю знаешь?

— Сообразим, — говорит он. — Наводчик же.

После меда горло дерет от сладкого, невозможно без воды. Проткнув пустой стаканчик финкой, сержант кидает его за плечо.

— Запасливый народ немцы. Покормили и снаряды оставили.

Он пучком травы вытирает лезвие, поплевав на него. И тут слышим мину. Она разрывается метрах в двадцати от нас. И сейчас же вторая. За танком. Отползаем вглубь. Закрываем головы руками. Неужели заметил? Еще несколько мин рвутся вокруг нас. Железные осколки со звоном бьют по броне, по гусенице. Дым. Ничего не вид-

но. Когда редеет дым, видим танки. Пятнистые в желтой кукурузе, они движутся со всех сторон, выплескивая из стволов длинные молнии. И по всему полю резко бежит пехота. Хватаю трубку, дую, кричу... Перебило связь!

— Лейтенант! — хрипит сержант откуда-то сверху. — Э, друг! Давай сюда!

Лезу к нему в нижний люк. Ударяюсь головой о какой-то железный угол. Слепой от боли, шарю пилотку в темноте. Руки натыкаются на что-то скользкое и мокрое. На минуту гадливое чувство. Вытираю ладони о тряпье. Впереди, в низком сиденье, запрокинутая голова танкиста, слипшиеся в крови волосы.

— Порядок! — Сержант лязгает затвором.

Мы разворачиваем башню, ждем, чтоб не открывать себя раньше времени. Видно только вперед и немного вбок, и мы плохо понимаем, что происходит. Танки идут не все. Штук пять остановились в низине и оттуда ведут прицельный огонь. Чьи-то самолеты ревут над нами.

— Давай!

Выстрел глушит. Подаю снаряд. Танк наполняется газам. Трудно дышать. Он целится долго. Мне ничего не видно, от этого я нервничаю, мне кажется, он пропустит танк.

— Давай!

Он ждет. Потом выстрел. Падает к ногам горячая гильза. Торопясь стреляет. Стою со снарядом в руках. Выстрел. Снаряд. Танк где-то близко. Не вижу, чувствую только. Стреляй же! Спина его как каменная. Вместе с выстрелом отклоняется. И сейчас же принимает опять. Кричит что-то.

— Что?

Он отклоняется, и я вижу: в кукурузе горит танк. Сержант гладит казенник пушки. Смеется. Черная от копоти рука вздрагивает. И тут вижу, левей нас в посадке сбилась наша пехота. Над головами чья-то рука трясет пистолетом. А сверху пикируют на них «мессершмитты». И два танка, обходя горящий, стреляя с ходу, мчатся сюда.

— Стреляй!

Когда он принимает к пушке и я перестаю видеть, мне опять кажется, что он медлит. Выстрел. Глохну. Снаряд. Выстрел. Поле сквозь узкую прорезь все в разрывах. Солнце перевалило высоты, слепит глаза, и трудно стрелять. Раскаленное солнце. И дым. И кажется, все в танке раскалено. Сержант рукавом размазывает по лицу грязь. Мы

стреляем, стреляем, оглохшие, и что-то кричим, не слыша своих голосов. Это как иступление.

Еще один танк горит в кукурузе. Кто подбил? Быть может, мы. Подавая снаряд, слышу частую стрельбу противотанковых пушек. Кукуруза горит. И дым все сильнее. Клоками его несет через нас. Откуда дым? Он уже слепит. И пахнет гарью. Мы уже плохо видим друг друга. Это где-то близко горит. Я подаю снаряд и кричу ему в ухо:

— Погляжу, где горит!

Не отрываясь, он дергает головой. Я выползаю через нижний люк. Горит кукуруза позади нас. Горит земля. Сплошной черной полосой. Дым уже накрыл противотанковую батарею. Она стреляет оттуда, из дыма. Ветром огонь несет к нам. Едкий белый дым ползет по земле. От танка до кукурузы метров сорок. Сухая трава. По ней огонь пойдет как по шнуру. В танке горючее в баках. И снаряды. Спасение одно: перекопать землю. Но ничего не успеем и нет лопат. Нам уже не уйти. Я возвращаюсь в танк.

— Что там? — кричит сержант, обернувшись, протирая слезящийся глаз.

Не отвечаю, беру снаряд.

— Горит где?..

— Стреляй!..

Глаза наши встречаются. И он понимает все. Сузившимися, похолодевшими зрачками смотрит на меня. Больше мы не говорим. Стреляем, стреляем как одержимые. Солнце раскаленное, огненное. Кашель рвет горло. И голова пухнет. И ярость подымается в душе. И отчего-то обидно. Не знаю, на что. Но так обидно никогда еще не было в жизни.

Осколки бьют в броню, как в колокол. Разрыв! Разрыв! Потом сразу резкий свет, словно вспыхнуло все, ударяюсь обо что-то твердое, и — пустота. Подымаюсь на дрожащих ногах. Сержант стонет, держась за живот. Переступая по выскальзывающим из-под ног гильзам, подхожу к пушке. Стою, держась за нее. Перед глазами все плывет. Слабыми руками пытаюсь развернуть ее. Заклинило.

Сержант сидит внизу белый, сжав губы. По пальцам течет мокрое и черное. Я наклоняюсь к нему, он пытается улыбнуться:

— Ханá!..

Как в тумане тащу его через нижний люк. И когда вылезает, вижу: горит весь плацдарм. А из огня все еще стреляет противотанковая батарея. Цельной обороны уже нет. В разных местах вспыхивает, перемещаясь, стрельба. Только немецкие танки, стоя открыто, стреляют в огонь из длинных стволов, добывая тех, кто еще сопротивляется.

Пытаюсь взвалить сержанта на бедро. Он тяжелый, размякший, у меня не хватает сил. Разрыв! Сержант перестает стонать...

— Сейчас, сейчас...

Я тащу его ползком. Трава уже дымится. Огненные искры, красные хлопья сажки летят в лицо. Замечаю, что гимнастерка на мне тлеет. Прихлопываю ладонями огонь. Дым ест глаза. Прижавшись лицом к земле, дышу и ползу опять. В ушах звон. И отовсюду пересекающиеся огненные трассы.

— Сейчас, сейчас! — Я повторяю это, как в беспмятстве.

Сердце колотится в висках. Кто-то, хрипя, дышит рядом. Оглядываюсь. Это я дышу. Кашель душит. Подсовываю два пальца за воротник, дергаю, обрывая пуговицы. Нет воздуха. Сердце выскочит сейчас. И тащу, тащу его на себе, ничего не соображая, задыхаясь, с разведенными дымом, слепыми от слез глазами, через огненные искры, через трассы пуль, с шипением впивающихся в землю.

Руки мои проваливаются. Окоп. И сейчас же страшный взрыв. Там, где была батарея. Больше она не стреляет. Втаскиваю за собой сержанта, волоку по ходу сообщения. Чья-то брошенная землянка. Солома на нарах вся шевелится, кишит мышами. Они бегут сюда отовсюду, с писком выскакивают из-под ног. Огонь и дым гонят их сюда. Я разрываю на сержанте гимнастерку. Он лежит безжизненно, отвернув голову. И тут вижу крошечную ранку над ухом. И кровь. Я тащил его уже мертвого. И руки мои в его крови.

Кто-то в тлеющей шинели сваливается сверху. Сидя на дне окопа, с обезумевшими страшными глазами, размазывает по лицу копоть, кровь и пот. Сухое рыдание, как спазма, рвет его горло:

— Пропали! Горит все!..

Я глянул вверх и увидел над собой солнце. В черном дыму стояло над плацдармом слепое, расплывшееся солнце.

Уже в сумерках мы контратакуем. Гаснущая за высотами беспокойная заря светит в лицо нам. После короткой артподготовки, поддержанные минометами, мы выскакиваем из леса, и нам удается сбить незакрепившихся немцев. Мы гоним их по черной, покрытой пеплом, кое-где дымящейся земле. Пуля перебила у меня автомат, и я бегу с одним пистолетом. Около брошенных артиллерийских позиций, среди убитых коней, зарядных ящиков, разрытой снарядами земли завязывается рукопашный бой. Новая волна немцев накатывается на нас. Они выскакивают из-за гребня, черные со стороны света. Длинный немец с занесенной рукой — в ней что-то блеснувшее — пробежал на меня. Я успеваю скрестить над головой руки. Удар приходится в них. Поймав за кисть, удерживая другой рукой, выламываю запястье. Близко задохнувшиеся от боли расширенные зрачки, табачная вонь чужого рта, сдавленный крик. Зверея, мы ломаем друг друга. И тут страшный удар сзади — и все, качнувшись, повернулось перед глазами: и немец, и накренившаяся полоса заката... Удар о землю на минуту вернул сознание, и я вижу, как множество ног в обмотках, только что бежавших вперед, с той же быстротой мимо, мимо меня бегут обратно. Выстрелы. Крики. Дым близкого разрыва. Я пытаюсь ползти за ними, кричу. Кто-то дышащий с хрипом, пробегая, кованым ботинком наступил мне на руку. И с облегчением чувствую, как беспмятство паваливается на меня...

Никогда я не видел такого холодного, пустого, далекого неба, какое было надо мной в эту ночь. Я очнулся от холода на земле. Знобило. Во рту был железистый вкус крови. Где-то отдаленно стреляли, и красные пули цепочками беззвучно летели к далеким звездам и гасли. Я осторожно потрогал затылок, вспухший и мокрый, — боль обожгла глаза. Лежа на земле, я плакал от слабости, и слезы текли по щекам, а свет звезд дробился в глазах. Потом я почувствовал себя тверже.

Недалеко от меня темнела убитая лошадь, стертая металлическая подкова голубовато блестела на торчащей вверх задней ноге. Я вспомнил, что тут артиллерийские позиции, и сообразил, что сюда придут. Пошарил около себя на земле пистолет. Его нигде не было. Одна граната уцелела на поясе. Встав на четвереньки, пополз, часто останавливаясь от слабости и прислушиваясь. Две черные тени в касках, хорошо видные на фоне неба, двигались стороной, бесшумно. Иногда они останавливались там, где

слышался стон. Красный огонь, удар выстрела, и, посто-
яв, они двигались дальше. И снова останавливались, сно-
ва вспышка, выстрел — и дальше шли. Переждав, я по-
полз со всей осторожностью. Ладонями по временам я
чувствовал теплый пепел, земля кое-где еще дымилась, и
ветром раздувало красные угли.

Я полз по своей земле, где каждая тайная тропочка,
любой бугорок знакомы, памятны, не раз укрывали от
пули. Тут по ночам вылезали мы из щелей и блинда-
жей — и те, кто жив сейчас, и те, кого уже нет, — ложи-
лись на траву, дышали полной грудью, расправляли затек-
шие за день суставы. Сколько раз всходил из-за леса мо-
лодой месяц, старел, наступала глухая пора темных но-
чей — лучшее время для разведки, снова нарождался мо-
лодой месяц. На наших глазах поднялась здесь кукуруза
и скрыла нас от наблюдателей, потом она стала желтеть,
и это тоже было хорошо: не нужно было обновлять мас-
кировку. И вот — пепел. И земля эта — чужая, и я упол-
заю с нее один, а недалеко черными тенями движутся
немцы и достреливают раненых. И так же, как всегда,
светят над землей звезды, и уже показался из-за леса
желтый рог молодого месяца, но свет его сейчас опасен
мне.

Уже близко уцелевшая кукуруза. За ней — дорога. А
там — лес. Важно скрыться в лес. Я узнаю это место.
Здесь когда-то пехотный шофер пытался проскочить днем
на «виллисе», крутанул резко и вывалил полковника.

Внезапно близкий щелчок взведенного курка. Вздрос-
нув, припав к земле, оглядываюсь. Пепельное небо. Чер-
ные стебли кукурузы. Кто там? Наш? Немец? Но немцу
зачем прятаться? А может быть, раненый. Мне кажется,
я слышу дыхание. Или это кровь шумит в ушах? Земля
подо мной начинает дрожать. Идут танки. Два немецких
танка и бронетранспортер приближаются по дороге. Если
в кукурузе немец — все! Он крикнет.

Танки проходят, освещенные луной. В башнях стоят
танкисты. В косом свете вспыхнувшего фонарика — пыль
как дым. Лежа снимаю гранату. Не кричит. И уже шелох-
нулась надежда: наш.

За танками негусто валит пехота. Короткие сапоги,
вдымающие пыль, тускло блестящие каски, расстегнутые
мушкетеры, засученные рукава. Некоторые несут автоматы,
положив поперек шеи, держась руками за ствол и за при-
клад. Задние идут по плечи в пыли. И еще один танк,

замыкающий. За рокотом и лязганьем не слышно шагов. Мы лежим затаившись, вжимаясь в землю: я и тот в кукурузе. Это наш, наверное, такой же, как я, раненый. Я осторожно ползу к нему.

— Не стреляй! Свой!

Человек приподымается с земли. Панченко!

— Ползти сюда, товарищ лейтенант!

И ползет мне навстречу.

— Держитесь за меня.

Неловко он пытается обхватить меня за спину.

— Постой. Я сам.

В неосевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу. Неотдышавшиеся, сидим в кустах, в тумане и шепчемся, как гуси в камыше.

— Мышкó! Панченко!

Я говорю какие-то слова и, точно слепой, трогаю его лицо руками, глажу по щекам. Я чувствую — могу разреваться. А он жмется: неловко ему. И мне уже неловко, и мы молчим, смотрим друг на друга и молчим, и хорошо бы закурить сейчас. Мы только что могли пострелять друг друга.

— Мышко! Черт окаянный! Ты знаешь, как ты меня напугал?

— Я сам злякался!

И улыбается.

— А ты искал меня?

Искал, оказывается. Ползал по полю от убитого к убитому, переворачивал лицом к свету и полз дальше. Пехотинец какой-то сказал ему, что видел, как убило меня, и он полез сюда. Из всех людей в эту ночь он один не исверил, что я убит, и, никому не сказав, полез за мной. Это мог бы сделать брат. Но брат — родная кровь. А кто ты мне? Мы породнились с тобой на войне. Будем живы — это не забудется.

Мне отчего-то ничего не страшно сейчас. Самое большее, что могут сделать немцы, — это убить нас. Но это, в конце концов, не самое страшное. Сколько уже лет ведут они бесчеловечную войну, а люди остаются людьми.

— Дэ ж ваша пилотка? — Панченко уже критически осматривает меня.

Нету пилотки. Мне всегда доставалось от тебя за непорядок. Ругай и сейчас. Я не понимал прежде, что это приятно — когда тебя ругают.

— И галихве в крови.

— Вот видишь, опять виноват. Не сердись, Мышко, наживем новые галифе. И пилотку наживем, было бы на что надевать.

— Та вы ж и ранены, наверное?

— Не буду больше.

Он укоризненно смотрит на меня своим маленькими, как бы томящимися от усилия мысли глазами. А мне расцеловать хочется его длинноносую, угрюмую, милую морду.

— Дайте ж перевязку.

— Пошли.

И мы след в след, так, чтоб не хрустнуло под ногой, пробираемся по лесу. Туман подымается из кустов. Пахнет близкой рекой и туманом. Он скрывает нас. В сыроватом воздухе я чувствую от своей гимнастерки, от рук запах гари. Лес полон немцев. Мы слышим их голоса, шаги и несколько раз, затаившись, пережидаем, пока они пройдут.

Где-то близко стучит пулемет. Немецкий. Короткими очередями ему отвечает наш. В тумане звук его глуховатый. Мы идем на этот звук.

Луна уже высоко над лесом, когда мы в тумане переходим к своим.

ГЛАВА XII

Натянув на уши воротник шинели, я лежу под берегом головой в песок. Руки заледенели, а дыхание горячее. И мерзнет спина. Никак не могу отогреть спину. Кутаюсь плотней в шинель, сжимаюсь, чтоб не дрожать. И оттого, что сжимаюсь все время, болит затылок, болят все мускулы, ломит икры ног. А глаза горячие — невозможно поднять.

Кто-то осторожно трясет меня за плечо. Стягиваю с лица шинель. Белый свет режет глаза.

— Нате вот. Пейте.— Панченко, сидя на собственных пятках, протягивает мне фляжку. Из горлышка идет пар.

Беру ее озябшими руками. Кипяток с ромом. Пью, обжигаясь. Яркое солнце отвесно стоит над головой, а я в шинели не могу согреться. От сверкания воды в Днестре у меня из глаз на небритые щеки текут слезы. Вытираю их плечом, чтоб Панченко не видел. Он сидит отвернув-

шись, за двое суток на плацдарме он похудел и почернел, лицо стало шершавое, скулы заострились.

Кто-то рядом, в ржавой от крови, ссохшейся на груди гимнастерке, шепчет, как в бреду:

— Ванюшку Сазонова взяли в лодку, а мне места не хватило... Не пустили...

Тот берег, близкий, зовущий к себе, как жизнь, отрезан от нас водой. Я стараюсь не смотреть туда. Отдаю Панченко фляжку. Лечь, укрыться с головой и не смотреть. Шум ссоры привлекает меня. Ближе от нас в водомоине, проточенной в песке ливнями сверху, два бойца ссорятся из-за места и уже толкают друг друга. Один щуплый, молоденький, в накинутах на плечи шинели. Другой — мордатый, в одной бязевой рубашке с болтающимися у горла завязками. Он, видно, пришел сюда позже, но посильней и толкает щуплого в грудь. Тот не защищается, только при каждом толчке подхватывает спадающую с плеч шинель.

— Я же раньше занял! Вырой себе! — говорит он звенящим обидой голосом, и губы у него дрожат.

Мордатый, сопя ненавистно, отталкивает его в грудь, молча, тупо, и вдруг, исказившись, бьет левой, сжатой в кулак рукой в лицо. Тот зажимает лицо ладонью, и только незащищенные глаза, полные ужаса, обиды, боли, не отрываясь смотрят на мордатого: «За что?»

Я поднимаюсь с песка с похолодевшими щеками, от волнения начиная плохо видеть. И в тот же момент: ви-и-у... бах! Оглушенный, осыпанный песком, отряхиваюсь. Ко мне под обрывом бежит Фроликов, заслоняя голову рукой, кричит издали:

— Товарищ лейтенант!

Мордатый уже отполз в сторону и в отвесной стене песка обеими руками по-собачьи скребет себе нору, озираясь. Там, где они толкались недавно, лежит распластанная на песке шинель. Панченко, подойдя, приподнял ее, потрогал что-то и опять накрыл шинелью. Возвращаясь, он вытирает пальцы о голенище сапога.

— Товарищ лейтенант! — подбежал задыхающийся Фроликов. — Комбат велел вам идти к нему.

Проходя мимо водомоины, я глянул туда. Из-под шинели торчали большие солдатские растоптанные сапоги и худая рука с детской, вывернутой вверх грязной ладонью. А мордатый рыл, уже по локти углубясь в песок. С минуту стоял я над ним, сдерживая желание ударить сапогом.

Затихнув, он ждал. Я перенес через него ногу, как пьяный. И долго еще ладонью прижимал щеку, расправляя мускул, сведенный судорогой.

У Бабина уже собралось несколько командиров. Рядом с ним, подогнув под себя маленькую ногу в хромовом сапоге,— Караев, замполит соседнего полка. Он горбоносый и, по глазам видно, горячий. Большая голова в жестких курчавых с проседью волосах, несоразмерно узкие плечи, весь маленький, с маленькими желтыми кистями рук. Когда я подхожу, Караев кричит кому-то, волнуясь, от этого сильней чувствуется гортанный акцент:

— Не бывает отчаянных положений, бывают отчаявшиеся люди!

Командиры сумрачно молчат. Землисто-серые лица. Воспаленные глаза. Оттого, что в щетину набилась песчаная пыль, лица кажутся сильно заросшими. На многих бинты в запекшейся черной крови, и мухи липнут на кровь. Кивнув знакомым, сажусь.

Мне почему-то неприятны слова Караева, как всякие красивые слова в такой момент. Здесь люди, прошедшие войну, а на войне бывают и отчаянные положения, и отчаявшиеся люди. Все бывает, на то и война. Позапрошлой ночью при мне немцы добивали раненых, и я видел, и лежал, затаясь, и ждал, что вот сейчас меня тоже заметят. Кончится война, останусь жив, так, наверное, еще не раз мне это будет по ночам сниться.

Рядом со мной пехотинец, по виду из пожилых солдат, в солдатских ботинках, перематывает обмотку. На плечах его пузырями вздулись мягкие офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек. Завязывая тесемку, говорит, не подымая глаз:

— Этой ночью, когда раненых перестали переправлять, пятеро у меня сразу померло. И раны не очень чтобы так уж... Могли бы жить.

Кто-то выругался тоскливо сквозь зубы. Командир пешей разведки в зашнурованных на икрах брезентовых сапогах, с нервным лицом глянул на него темными раздраженными глазами и, подняв финку, опять швырнул ее в песок. Он начертил круг в песке между параллельно поставленных подошв, положил в центре щепку и, подымая финку за конец, швыряет ее натренированной рукой и раздражается, что не может попасть в центр.

Слышно, как у ног Бабина дышит овчарка. Высунула мокрый дрожащий язык и часто носит боками: жарко. А я не согреюсь в шинели. И еще двое-трое таких же озябших от малярии, словно зимой, кутаются, подняв воротники.

Позади нас плещется Днестр, блестящий на солнце, желтый песок того берега, зеленые сады, заслонившие хутор, синее чистое небо. Днестр в этом месте не широк, но жизни не хватит переплыть его.

Я смотрю, как Рита в яме, вырытой под корнями дерева, водкой промывает Маклецову плечо. Маклецов тяжело дышит, у него сохнут воспаленные, распухшие губы, он то и дело облизывает их. Лицо желтоватого, нехорошего оттенка, глаза беспокойные. Мне кажется, у него началось заражение крови. Трое суток назад, убежав из медсанбата, он переплыл Днестр; я и сейчас вижу, как он шел за Бабиным по кукурузе, неся в руке сапоги, которые снял с санитаря. Неужели это было только трое суток назад? Рита стоит перед ним на коленях, юбка обтянула ее бедра, и многие поглядывают на нее.

Трое суток назад нас было два полка. И еще минометы, противотанковая, дивизионная артиллерия, тылы. Верных четыре тысячи человек. Четыре тысячи! Остатки двух полков жмутся под обрывом по берегу. Выгоревшие добела гимнастерки, бязевые рубашки, обмотки, бинты, бинты... А сверху немцы. Нет окопов, только норы в откосе. В какую сторону ни посмотри, все роют, роют — саперными лопатами, обломками досок, скребут руками, крышками котелков, зарываясь в песок.

Мы так тесно сблизь под берегом — люди, повозки, лошади, техника, — что каждый снаряд попадает. Песок у воды в свежих ранах воронок, волна лениво зализывает их. Наша артиллерия с того берега бьет через нас; при каждом разрыве сверху валятся комья земли. Немецкие снаряды, провизжав над нами, рвутся ввысь. И все живое снизу теснится под берег, в мертвое пространство, хоть радиатором, хоть колесом, хоть краешком попасть сюда. На минуту затихает возня, потом в гуще разрывается снаряд, и все опять приходит в движение. Повозки, машины, кухни, сдавливая друг друга, лезут под берег, — крики, треск, матерная брань, пронзительное лошадиное ржание. Мы прижаты к Днестру. Ни от нас, ни к нам переправы нет. Даже раненых нельзя переправить. От связи остались клочья. Только теперь я понимаю, как это

было на том плацдарме. Вот так же все сбились под берегом, прижатые к воде, потом — артподготовка... Мы только слышали ее. А ночью в мою лодку толкнулся мертвец...

На левом фланге снаряд поджигает грузовую машину. Она горит при ярком солнце, стоя всеми четырьмя колесами в воде. Овчарка у ног Бабина начинает скулить, оглядываясь на людей. Близкий огонь тревожит ее.

Ко мне подсаживается Рита.

— Нагнись. Дай голову посмотрю.

Она руками наклоняет мою голову, начинает разматывать бинт. Через одинаковые промежутки на нем повторяется все увеличивающееся кровавое пятно. Сжимаю губы, когда она отрывает от живого. Потом сижу, нагнув голову, с бинтом в руках, а она трогает пальцами края раны, и мне это приятно. В натянувшихся поперек складках юбки — песок. Между юбкой и голенищами сапог — голые ноги. Грязные колени. Одно колено ссажено до крови, сочится, и песок прилип к нему.

Оторвав влажный, окровавленный конец и бросив, Рита тем же бинтом делает мне тугую повязку. И когда бинтует, лицо ее с поднятыми вверх, косящими от близкого расстояния глазами — рядом с моим лицом. Она дышит носом, чуть сопя; я чувствую ее легкое дыхание и задерживаю свое. Две тонкие усталые морщинки легли у губ. Я их не видел прежде. И что-то сжимается во мне.

— Ты бы колено себе перевязала, — говорю я, когда она уже застегивает санитарную сумку.

Рита равнодушно глянула на свою ногу, ниже натянула юбку.

Последним приходит Брыль с левого фланга. Когда он прибыл к нам несколько дней назад, румяный, крепкий, он казался человеком из другого мира. Сейчас у него землистое от усталости лицо, провалившиеся глаза. Говорит шепотом: всю эту ночь он с пулеметчиками сдерживал немцев и сорвал голос от крика. Садится на песок, просит соседа, едва слышно сипя, при этом на шее от напряжения вздуваются все вены:

— Дай докурю!..

Когда я вскоре глянул в его сторону, Брыль уже спал, уронив голову. В желтых от табака пальцах дымился газетный обжуганный окурочок.

— Что делать будем? — спросил Бабин, обведя всех тяжелым взглядом и остановившись на Брыле.

Сосед толкнул его. Вздрогнув, Брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой.

С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Когда командира другого полка, раненного автоматной очередью в живот, переправили с последней лодкой, она просила, чтоб ее пустили сюда с того берега. Ее не пустили.

Несколько мин разрывается вверху одна за другой: ви-и-у... бах! Ви-и-и-у... — еще воеет над головой, а вверху уже рвется: трах! трах! трах!..

— Это еще у него мортир цету, — говорит кто-то, пригнувшись: осколки долетают сюда, — а то б он нам давно навел концы.

Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, с зазубренными, рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся.

— Вот так и там было. — Бабин кивнул на север. — Прижали к Днестру и — артподготовка! Артподготовки здесь мы не выдержим.

Мы молчим.

— Выход один: вырваться из-под огня! Как только он начнет артподготовку — рвануться вперед!

— А пушки?

Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескровным лицом и забинтованной головой.

— Пушки бросим?

И тут в нас прорывается ожесточение этих дней.

— У него танки, а мы с чем? С этим на танки лезть? — Маленький, ощеренный лейтенант трясет в воздухе автоматом.

Кто-то хохотнул зло:

— Два полка было!..

— У меня в роте двадцать шесть человек!

Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из карманов бумаги, рвет и закапывает в песок. Слепым от ожесточения, нам нужен сейчас виновник. Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок.

— Не поведу людей на смерть! Умирать, так здесь!

И вдруг:

— Молча-ать!..

В нависшей тишине Бабин, поднявшись, идет к нему. Бледный, с черными страшными глазами. Сапог наступают на пистолет, вдавливают его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина.

— Иди! Туда иди!

Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину.

— Плыви на ту сторону! Один! Спасайся!..

Опять внизу разрывается снаряд, в самой гуще, среди повозок. Пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней, волоча разбитую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулись за ними. Повозочные задерживают остальных, хлещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад на берег и оттуда заржал. Мать ответила ему из Днестра, но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой.

Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверху начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде. Слева — направо. Справа — налево. Вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая... Широкая рыжая мокрая спина несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде всплески. Наконец и он смолк. Только жеребенок бегал по берегу, пугаясь волн, и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками.

— Я не умею плавать, товарищ капитан... — сказал старший лейтенант странно прозвучавшим, потерянным голосом. У него дрожали губы.

Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным в песок пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримо отделило его от нас.

— Снять с него погоны, — приказал Бабин хрипло.

С песка поднялся Брыль. Подойдя к старшему лейтенанту — был он на полголовы ниже его, — жмурясь брезгливо и жалостливо, дернул раз, другой, оставив на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно-бледный, он стоял как неживой, и казалось, сейчас упадет на песок.

Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть.

— Пусть идет, — сказал Бабин, все так же не глядя. — Пусть один воет.

И мы все видели, как старший лейтенант ушел. На минуту дым разрыва закрыл его; но тут же он снова показался. Он шел у воды по мокрому песку среди обломков и разбитых машин куда-то на левый фланг.

Бабин пальцами помял горло. Заговорил не сразу. И голос был хриплый:

— Как только начнется артподготовка, командирам рот, командирам взводов поднять бойцов! Коммунисты — вперед! Вперед, не останавливаясь! Не лежать под огнем! Когда сзади смерть, люди на пулеметы полезут.

Сузившиеся глаза его горят холодно и яростно. И я чувствую, как его возбуждение передается всем. Я начинаю дрожать. Это уже не от малярии.

— Смешаться с немцами! Гнать не отрываясь! Взять высоты! И ни черта пам танки не сделают. Не могут они давить своих!

Он повернулся к начальнику артиллерии:

— Орудия выкатить! По пять пехотинцев на орудие хватит?

— Хватит!

— Командиры рот, дать по пять человек на орудие! Выкатить на руках, огнем поддерживать пехоту! И — вперед! Вперед! Другого спасения нет.

Мы уже вскочили на ноги. Командир пешей разведки сунул финку за голенище брезентового сапога, в лице его отчетливо проступило жесткое, решительное выражение.

— Я к ребятам пошел!..

— Примешь его роту! — Бабин кивнул на то место, где стоял старший лейтенант. Кричит поверх голов: —

На левом фланге Брыль. Справа — Караев. В центре поведу я.

Нас охватывает нетерпение. Не спавшие по несколько ночей, измученные, ожесточившиеся, прижатые к Днестру, мы ждали последнего боя с мрачной решимостью. Пути назад не было. И надежды тоже не было. Сейчас нам начинает казаться, что это возможно: прорваться сквозь огонь. Сколько осталось до артподготовки? Никто не знает. Может быть, она начнется сейчас. Торопясь, мы расходимся. В последний момент Бабин задерживает меня:

— Останься!

Фроликов на песке вскрывает банку мясных консервов. Слышно, как дышит Маклецов. Жар сжигает его. Он все время пьет из фляжки и тут же опять облизывает сухим языком вспухшие, лоснящиеся губы — они у него какие-то багровые. Мне кажется, это от жары и солнца у него быстрее идет заражение. Глаза от температуры маслянистые, в них беспокойный горячий блеск.

— Поведешь его роту, — говорит Бабин мне.

Маклецов пугается:

— Комбат! Я могу еще!..

И, пересилив себя, сел, опираясь руками. Белый, даже глаза посветлели от боли.

— Да лежи ты! — не выдерживаю я.

Он ложится без сил. Дышит часто. На висках выступил пот. Мы стараемся не смотреть на него.

Близко разрывается снаряд. Фырча, проносятся осколки. Стон. Придерживая туго набитую санитарную сумку, Рита бежит туда, мелькая пыльными голенищами сапог. Не добежав, останавливается: пехотинцы уже волокут убитого вниз, спиной по песку. Если так продлится, он выбьет нас по одному.

— Посади меня, — попросил Маклецов.

Я сажаю его спиной к откосу. Он смотрит на Днестр, смотрит на тот и близкий и далекий берег, где ему уже никогда не быть.

— Не верил я, что меня убьют, — говорит он.

— Брось, Афанасий, — говорит Бабин. — Что ты, первый раз, что ли? Кто раньше, кто позже — это мы вот после боя поглядим, кому какой черед.

И я тоже говорю что-то в этом роде, стараясь не встречаться глазами.

Вернулась Рита. Фроликов ставит раскрытую банку консервов. В коричневой жиже крошки желтого жира и мясо крупными волокнами.

— Есть будешь? — спрашивает Бабин.

Я не хочу есть. Во время приступа малярии меня от одного вида мяса тошнит. Рита тоже не хочет есть. Бабин ест один. Достает мясо пальцами и жует без хлеба, прислушиваясь к выстрелам наверху. Виски то западают глубоко, то надуваются. А Рита смотрит на него. Как смотрит! Кто она ему? Жена? Мать? Вот такого, худого, желтого, вымученного лихорадкой, она любит его еще больше. Я не могу видеть, как она смотрит на него.

Отворачиваюсь и смотрю на Днестр. К берегу прибило труп немца. Ноги раскинуты на песке подошвами в нашу сторону, а сам в воде до пояса. Накатывается волна, подпирает его под затылок, под спину, и немец как будто силится сесть. Потом волна отходит, он падает навзничь, раскинув руки.

Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю Бабину:

— Она с нами не пойдет. Скажи ей, комбат, пусть здесь остается. В конце концов, здесь раненые.

Рита живо повернулась на песке в мою сторону, белая от злости:

— Тебе что надо? «Скажи ей, комбат...» Ты что лезешь?

Бабин поднял на нее нахмуренное лицо — ничего не сказал. Ну и черт с вами! Встаю и иду в роту Маклецова. По крайней мере, не видеть все это.

Рота — человек сорок пять, — сжавшись, ждет под песчаным обрывом. Потом приползают еще восемь: раненые. В окровавленных бинтах, многие без гимнастеров. Один в разорванной тельняшке, прижав к животу забинтованную руку, раскачивается взад-вперед, словно ребенка укачивает. Рядом с ним пехотинец, вытянув длинные худые ноги в обмотках, щелкает затвором винтовки. Ближе ко мне — Саенко с автоматом на коленях, затяжка за затяжкой сосредоточенно досасывает мокрый окурочок и поглядывает на него, словно боясь не успеть. Их трое моих здесь: Панченко, Саенко и радист. Коханюка видели в первый день на берегу, нес перед собой забинтованную руку, как пропуск. С пей и вошел в лодку. А эти двое —

Панченко и Саенко — сами переплыли ко мне с той стороны, как только узнали, что отсюда никого не выпускают. Опасность лучше всякой проверки сортирует людей. И сразу видно, кто — кто.

Над нами появляется корректировщик, двухфюзеляжный «фокке-вульф».

— Прекращай шевеление! — кричат по плацдарму.

Гасят сигарки. Мы жмемся под откосом. Выгоревшие гимнастерки сливаются с песком. И вправо и влево по всей кайме берега, перестав рыть, сжались в песке люди. Ждем. Трудней всего ждать. Сейчас он начнет. У меня сразу пересыхает во рту.

Корректировщик все кружится. То одним крылом, то другим блеснет в белесом небе. Вдруг словно подземный толчок почувствовали мы. И сейчас же, заглушая хлопки выстрелов, в воздухе приближающийся вой и шипение. В последний раз оглядываюсь на берег, на котором лежу, и таким спасительным, надежным показался он мне в этот момент... В следующий момент мы уже вскакиваем.

— Впере-од!

Яростные лица. Разинутые рты. Рушатся первые разрывы. Дым. Пыль. Мельком вижу на обрыве слева овчарку. Крутится, заглядывает вниз. С автоматом на шее прыгаю на откос. Хватаюсь за корни. Лезу, лезу, держась за них. Корни обрываются. Падаю спиной вниз. Внизу Саенко бьет кого-то в дыму сапогами. Тот сжался на песке, не встает, только закрывает руками голову. Саенко срывает с плеча автомат. Дальнейшего я не вижу. Лезу на обвалившийся откос. Впереди карабкается пехотинец в обмотках. Один за другим возникают над краем откоса солдаты. И сейчас же исчезают за ним, согнувшись, с автоматами в руках. Взрыв! Сверху падает пехотинец в обмотках. Переворачивается через спину, чуть не сбивает меня. Винтовка его, воткнувшись штыком в песок, раскачивается упруго. И еще один пехотинец. Уже наверху. Вцепился побелевшей рукой в траву, лежит ничком. Я выскакиваю на откос.

Ви-и-и-у!..

Падаю. Нечем становится дышать. Чувствую его спиной, лопатками... Вот он! Закрываю ладонями голову.

Гах!..

Мпмо! Вискакиваю.

— Вперед!

Из двух пехотинцев, лежавших рядом, встает один. Бежит шатаясь. Левой мелькнули за дымом Бабин и Рита. Не бегут, идут. За ними ползет собака, оставляя широкий кровавый след. Где Саенко? Панченко? Никого не вижу. Врываемся в лес. И вдруг — та-та-та-та-та!

Стою за деревом боком, вытянувшись. Пули низко стучатся о стволы. Оглядываюсь осторожно. Повсюду за деревьями, за кустами лежат пехотинцы. Мы вырвались из-под снарядов. Только не лежать, иначе уже не оторвешься от земли. Пулемет торопливо дожевывает ленту. Осека.

— За мной-ой!

Какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня, размахивает яростно автоматом, держа его за ствол, как дубину. Слева ударил пулемет и смолк внезапно. За деревьями мелькают немцы. Они бегут навстречу нам. Солдат исчезает. Из-за него выскакивает немец. Засученные рукава. Ощеренное, как будто улыбающееся, лицо. Стреляю. Саенко обгоняет меня. Еще чья-то широкая спина в тельняшке. В голой, с перевязанным локтем, загорелой руке — немецкий автомат. Лес кончился. Впереди меня, согнувшись, бежит немец. Никак не могу его догнать. Бегу, стреляю по нему и что-то кричу. Автомат дрожит в руках, как живой. Потом перестает дрожать, а я все жму на спусковой крючок. Внезапно немец оборачивается. Помертвевшее маленькое лицо. Подымает автомат. Страшно медленно. А я не могу остановиться, бегу на него, и все это как во сне, и ноги сразу становятся слабыми. Задохнувшись, вижу вспышку перед глазами, успеваю упасть. Когда подымаю голову, Саенко что-то делает с немцем, придерживая кубанку рукой.

— Нател!

Кидает мне запасной магазин к автомату. Сзади накачивается: «А-а-рра-рра!..» Разгоряченные лица, кричащие рты — все поле в бегущих людях. Ботинки, обмотки — пехота, набежав, обгоняет нас. Стоя на колене, перезаряжаю автомат. Потом бегу за ними и тоже что-то кричу, и оттого, что кричу, легче бежать. Окна наши — позади. Чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают, удаляясь. Под ногами каменистая осыпающаяся земля. Галька. Бежать становится тяжело. «Это высоты. И вдруг — пусто. И я тоже лежу на земле. И только: та-та-та-та-та-та!..»

И ветерок над спинами. И пули: чив! чив! цвик! Это бьет сверху. Из немецких окопов. Лбом, грудью вжимаюсь в землю. Нет ни укрытия, ни воронки — весь на виду.

Ж-ж-ж! — как жук, рикошетит надо мной расплюснутая пуля. Рядом хрипит кто-то и стонет. Приоткрываю глаз. Нога в ботинке дергается впереди меня, скребет подковкой каменистую землю.

Я упал на правую руку. Пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе. Надо кидать из-за спины, лежа. Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной проходит пулеметная очередь, сжимаюсь сильнее. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскальзывает. Несколько мин беспорядочно разрывается по склону. Сейчас немцы придут в себя. И вдруг — крик. Дикий, страшный:

— Танки!

Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает. Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там — танки. И пулемет сверху. Это — истребление.

— Лежать! — хриплю я в землю.

Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очереди! Я успеваю сорвать с пояса гранату. Взрыв! Это кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальке бежим вверх. Из дыма на меня — чье-то искаженное лицо. Ударяю гранатой. Глаза над бруствером. Огромный хрипящий Саенко валится на них. Прыгаю в траншею. Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки. Молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом.

— Давайте скорей!

Солдат подымает лицо — Панченко! Оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншее. И только устлавливаем на другую сторону — немцы! Лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, вода ими перед животом, падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки — мечущися фигурки немцев. Бегут. Пропадают. Бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия.

— Ленту! — кричу я.

Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под

кубапки на ухо по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем: опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду.

Разрыв!

Вжимаю голову в плечи.

Разрыв! Разрыв!

Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по траншее за спиной у меня, матерится, кричит:

— Гранаты!..

Надо снять пулемет. Свист. Вой. Грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец! И не могу оторваться от пулемета.

В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики, ИЛ-2, и немцы катятся вниз по склону.

Потом я сижу без сил на дне траншеи на пулеметных гильзах. Несколько бойцов сидят рядом. Дышат. Лица мокрые от пота. Правей ложатся разрывы. А где же танки?

Сверху сваливается Папченко. Почему-то босой. Хрипит пересохшим горлом:

— Пить!

На черном лице одни глаза. Кто-то дает фляжку. Пьет, задыхаясь, с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли. Сквозь пыль сочится ссадина. Над головой у нас гудение самолетов и пулеметные очереди: др-р-р! др-р-р! Глухо за толщей воздуха. Почему Папченко босой? Я смотрю на него и что-то ничего не могу сообразить. Перед глазами туман. У меня, кажется, жар. Это малярня. И слышу плохо.

— Где танки?

Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Папченко отрывается от фляжки. Блестят мокрые зубы.

— Вот они, танки!

И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, подымается густой черный дым. Папченко смеется и опять пьет. Мне тоже хочется пить. Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая.

По траншее быстро идет Брыль.

— Собрать оружие, патроны, гранаты! Сейчас опять полезут!

Мы поднимаемся. Глядя на него, я вдруг вспомнил о Бабине. Впервые за весь бой. Беру его за португею:

— Бабин где?

— Там! — Он кивает головой назад вдоль траншеи и торопится пройти, но я удерживаю его за португею.

Я хочу спросить о Рите и боюсь. Поняв, Брыль, говорит:

— Все там. Живы.

И, разжав мою руку, уходит быстро. Уже издали, за поворотом траншеи, опять слышен его голос:

— Собрать оружие, гранаты, сейчас снова полезет!..

Отчего-то во рту у меня вкус крови. Плюю на ладонь — кровь.

ГЛАВА XIII

Ночь проходит тревожно. С вечера мы отбиваем еще две атаки. У немцев, не переставая, работают пулеметы, рассеивая над черной землей огненные трассы пуль. Они с шипением врезаются в бруствер. Из низины, затопленной туманом, часто бьет скорострельная пушка, прозванная «Геббельсом»: ду-ду-ду-ду-ду!.. — и оттуда вылетают вверх прерывистые струи огненного металла. По временам ржаво скрипит шестиствольный миномет, у нас все дрожит и трясется от взрывов, и земля осыпается.

Небо низкое. Тучи глухо обложили его. Южнее нас и на севере, где был плацдарм, — а может, уцелел он? — облака безмолвно вздрагивают: это отсветы боя на земле. Там давно уже слышен небывалой силы артиллерийский гром, и воздух, дрожа, неприятно действует на уши.

Всю ночь к нам прибывает пехота с того берега. Люди идут сюда по выжженной земле, на которой еще остались необрунные трупы и чернеют остовы сгоревших танков; попав теперь в наши окопы, где не выветрился дух немцев, они говорят отчего-то вполголоса.

Усталость валит солдат с ног. Засыпают с открытыми глазами, посреди разговора, с недокуренной сигаркой в руке. У пулемета спит пулеметчик, ткнувшись лицом в бруствер, не разжимая рук. Приехала кухня, но даже запах еды не будит людей. Сильней всего сейчас сон.

В полночь, отправив Панченко на тот берег за связью, я оставляю за себя пехотного лейтенанта и спускаюсь в

блиндаж. Воздух спертый. Надышано и накурено так, что немецкая свеча в плошке, задыхаясь, едва мерцает сквозь дым. Спят от порога. В проходе, на нарах — вповалку. Табачный дым ест глаза. А может быть, это от усталости? Колеблюсь минуту, потом втискиваюсь между двумя храпящими телами и засыпаю, будто проваливаюсь в темную воду. Последнее, что слышу, — немецкий пулемет. Где-то близко.

Будит нас громкий крик:

— Подье-ом! Немцев проспали!

Подымаю тяжелую, мутную со сна голову. Все тело болит, как избитое. В глазах от многих бессонных ночей будто песок насыпан. Кругом меня шевелятся в соломе солдаты, взлохмаченные, у многих подняты воротники шинелей, голоса хриплые спросонья; ругаются, кашляют, сворачивают курить. Кто-то опять укладывается спать.

— Подъем!

Парень в дверях, подняв автомат вверх, дает очередь. Снаружи тоже слышна суматошная стрельба и крики. Выскакиваю из блиндажа. Наверху творится странное что-то. Солдаты открыто ходят по высоте, палят вверх из автоматов, бухают из винтовок, словно война кончилась.

— Немцы где?

— Проспали немцев!

Оказывается, лазала разведка и никого не обнаружила. Всю ночь пулеметчики прикрывали отход немцев, а когда туда полезли перед утром, и пулеметчики смылись.

С пехотной разведкой лазал Саенко по доброй воле, вернулся обвешанный трофеями, приволок откуда-то ящик янц. Мы пьем их сырыми. Разбиваем с одного конца и пьем, запрокинув голову. Где же все-таки немцы? Никто ничего толком не знает. Нет немцев — и все. Саенко достает из обоих карманов вязкие парашютики от немецких осветительных ракет — у нас они идут вместо носовых платков — и раздает всем желающим, стоя в шикарной позе. Лицо его самодовольно лоснится.

— Вы бы поглядели, товарищ лейтенант, какая там огневая позиция стопяти. Я ее сразу узнал. Наша цель номер шесть.

И подмигивает мне узким глазом:

— Все не верят нам. Разделали как бог черепаху. Пойдете глядеть?

— Стой! — говорю я. — Остались еще яйца?

— Есть.

— Грузи на плечи — и шагом марш в гости!

И мы идем к Бабину. По дороге снимаю грязный бинт с головы и чувствую облегчение оттого, что ветерком обдувает подсыхающую ссадину.

Бабин стоит на насыпи своего блиндажа, расставив ноги в сапогах, голый по пояс, а Фроликов с полотенцем на плече льет ему на спину из котелка. Комбат, задыхаясь под холодной струей, изгибается, шлепает себя ладонями по мокрой груди: «Ух! Ух!» — испуганными глазами показывает себе на спину между лопаток, и Фроликов льет туда. «Ах хорошо!»

— Комбат! — кричу я еще издали. — У тебя кто-нибудь яичницу жарить умеет?

— А война?

Вода потоками заливает ему лицо, он жмурится от мыла.

— Обождет война, давай яичницу есть!

Фроликов, целя струей из котелка комбату на затылок, улыбается. И часовой у входа в блиндаж улыбается и чешет мясистую, в мозолях, ладонь об острейший штык.

Над нами, заглушив голоса, низко проходят наши бомбардировщики. Идут спокойно, куда-то далеко. Бабин, не разгибаясь, чтобы вода по желобку спины не затекла в брюки, что-то кричит и весело указывает на самолеты снизу. С мокрого локтя бежит струйка воды. Я с удовольствием и даже с завистью смотрю на его мускулистое тело. Он пожелтел от акрихина, малярия подсушила его, а видно, силен был очень. Под правой лопаткой у Бабина старый, затянувшийся коричневой кожей широкий шрам. На плече круглая вмятина толщиной в палец — след пули. Когда он подымает руку — вмятина становится глубже. Весь послужной список на теле, стоит только рубашку снять.

Фроликов, сорвав с плеча, кладет ему на руки чистое полотенце. Бабин трясет мокрыми черными волосами и разом зажимает полотенцем лицо.

— Ты вообще понимаешь что-нибудь во всем этом? — говорю я, когда гул самолетов отдаляется и снова становится возможно говорить.

Бабин растирает суровым полотенцем выпуклую, без волос грудь, смеется. Галифе, пыльные сапоги в брызгах воды, она сверкает на солнце.

— Передавали,— он кивнул под ноги себе, на насыпь землянки, где был телефон,— два фронта наступают: наш и Второй Украинский. С двух плацдармов рванули. Танки Второго Украинского, говорят, в Румынии уже. Немцы их догоняют. Вот как война двинулась на запад: впереди наши танки путь указывают, сзади немцы, сзади немец — мы. Вчера бы нам это сказали, а?

Да, если бы вчера нам это сказали... На войне никогда не знаешь дальше того, что видишь.

Откуда-то возникает звук летящего снаряда. Он долго воеет, приближаясь, и разрывается у подножия высоты.

— Понял, где немцы? — говорит Бабин.— Даже выстрела не слышно.

Голый по пояс, он берет у Фроликова бинокль с болтающимся ремешком, и мы оба смотрим в ту сторону. Солнце, желтая от зноя степь, и по краю степи, за деревьями, медленно движется сильно растянувшаяся колонна маленьких — отсюда — грузовиков.

— Тебе связь еще не подтянули? — спрашивает Бабин быстро.

— Какая теперь связь! Наши, наверное, уже с огневых снимаются.

— Жаль. А то бы дать по ним разок, чтоб не ездили!

Из блиндажа выскакивает Рита. Подтянув юбку над коленями, покрасневшая, с оживленно блестящими черными глазами, вылезает из траншеи, кидает Бабину чистую рубашку:

— На, надевай! А бриться?

Бабин проводит рукой по щекам -- спорить трудно.

— Господи, что бы вы, мужчины, без нас делали?

— Определенно пришли бы в упадок.

— И запустение,— добавляю я.

Рита сочувственно качает головой:

— Остричь пытаетесь... Вам только это и остается.

И строго Бабину:

— Сейчас же снимай с себя все и надевай чистое. Стирать буду.

— Понимаешь,— говорит Бабин,— у нас тут идея возникла: позавтракать раньше всех дел. Его, например,— он указывает на меня,— могут в любой момент забрать у нас и кинуть поддерживать другой полк.

— Меня ваша мощная идея не трогает. Я хочу стирать. Хочу голову мыть в Днестре. Хочу тебе обед гото-

вить. Посмотри на себя: от тебя половина осталась. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ. Со старым толченым салом для запаха. Учти, Фроликов, нужно старое хлебное сало. Я тебя быстро откормлю. И пусть он тоже приходит борщ есть.

— А кто нам пока что яичницу зажарит?

— Фроликов. Родина призвала его на эту должность — пусть жарит.

— Ладно, — говорю я, — завтракать все равно придем. У нас еще одно дело есть.

И мы уходим с Саенко смотреть свою работу: бывшую нашу цель номер шесть. Когда ведешь огонь по батареям, стоящим на закрытых позициях, редко видишь результаты своей стрельбы. О них догадываешься. Прекратила батарея стрельбу — подавил. Видишь, как там что-то рвется, — уничтожил. И часто эта «уничтоженная» батарея после ведет по тебе огонь. Тогда говорят, что она ожила. Моя батарея за войну тоже много раз «оживала».

Мечта каждого артиллериста — близко поглядеть результаты своей стрельбы. Но даже в наступлении это не всегда удается: идешь где-то стороной и видишь чужую работу. Я с удовольствием хожу по брошенным оружейным окопам, считаю воронки. Наши, их не спутаешь. Несколько прямых попаданий в окоп. Во мне подымается профессиональная гордость. Все разбито, брошены зарядные ящики, но пушки увезены.

— В металлолом повезли, — говорит Саенко. Я не спору. Куда бы ни повезли, раз такое наступление — недалеко они уедут.

Отправив Саенко встретить связистов, я иду на левый фланг. Кто-то говорил, что там действовали штрафники. Но штрафников уже нет, и никто ничего не знает о Никольском.

Я возвращаюсь по тем местам, где была наша оборона, и мне несколько раз попадаются похоронные команды. Все здесь такое памятное и уже чем-то чужое, опустевшее без нас. Окопы, брошенные землянки, в которых живут теперь воспоминания. Я нахожу свой первый НП — щель в дороге. Около него в закаменевшей земле мелкая воронка от мины и ничком лежит убитый немец, серый, как земля под ним. Сколько дней просидели мы здесь?

Недалеко от щели — разбитая осколком, обгоревшая и уже ржавая винтовка. Это здесь убило миной двух пе-

хотинцев, утром, когда мы с Васиным собирались завтракать. А вот так я полз. Шестьдесят метров. И от туда бил пулемет. Разве расскажешь когда-нибудь тем, кто не был здесь, что значило проползти шестьдесят метров.

Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни?

Мимо меня, подскакивая на кочках, мчится пехотная кухня. Чубатый повар в колпаке держит в вытянутых руках вожжи. На высотах встает разрыв. Ни черта, правит прямо на разрыв, нахлестывая коней. Вот такая война пошла!

Еще издали Фроликов замечает меня.

— Идите скорей, товарищ лейтенант! — кричит он.

На двух камнях стоит у него огромная сковорода, и в ней пузырями вздувается великолепная яичница с салом, с зеленым луком. Фроликов жарит ее, используя подручные средства: распорол немецкий заряд и кидает в огонь длинную, как макароны, взрывчатку. Она горит химическим желтым пламенем, жирная копоть хлопьями садится на яичницу, он выковыривает ее ножом.

— Лень тебе хворосту набрать?

— Лень! — И смеется.

Рита коленом решительно уминает на земле узел с бельем, связывает его рукавами гимнастерки. Бабин в ослепительно белой рубашке кончает бриться перед зеркальцем. Оттянув кожу на похудевшей шее, вода бритвой по ней, подмигнув мне в зеркало: «Видал, что делается?»

— Садись, быстро брейся, — говорит он. — Артиллерист должен быть всегда выбрит и слегка пьян.

Рита подняла красное лицо с упавшими волосами, черные глаза оживленно блестят. На верхней губе капельки пота.

— А ему нечего брить.

— А мне нечего брить.

— Не слушай ее. Она, видишь, настроена яростно. Какую-то стирку выдумала...

— Не слушай меня. У тебя шикарные усы. Я даже могу их поцеловать.

И вдруг в самом деле целует меня. В губы. Влажными горячими губами. Сумасшедшая девка. Ну что требовать, когда сумасшедшая!

— Я бегу за водкой,— говорю я, чувствуя, что краснею.

— Он мужчина, он не может без водки! — И Рита хочет.

Я бегу в свой окоп и слышу, как она хохочет. Потом слышу далеко возникший звук снаряда. Спрыгиваю. Хохот обрывается раньше. Потом разрыв. Я выскакиваю с фляжкой. И тут дикий, какой-то животный крик Риты. И вместе с этим криком во мне все обрывается. Помертвев, чувствуя только, что уже ничего изменить нельзя, бегу туда. Рита стоит на коленях. Когда я подбегаю ближе, она падает на что-то. Я хватаю ее за плечи, тяну к себе:

— Рита!

Она вырывается, а я тяну:

— Куда тебя? Рита!..

И вдруг я вижу ее глаза. Безумные, не видящие ничего. Но она жива. Жива!

Я сажусь, обессиленный. У меня дрожат губы. От испуга за нее со мной что-то случилось. Не могу встать. Рукой не могу пошевелить. Отнялись ноги. Я все вижу и ничего не соображаю. Чья-то широкая в кисти, страшно знакомая рука лежит на земле. И тут слышу Ритин захлебывающийся голос:

— Где? Где? Алеша, родной, куда?

Я почему-то забыл о Бабине и теперь понял, что ранен он. Сжав губы, отстраняя Риту рукой, он силился подняться с земли с напряженным, нахмуренным лицом, вслушиваясь во что-то, слышное ему одному. Потом что-то сломалось в нем, кровь потекла у него из угла рта, а он, захлебываясь, пытался улыбнуться крупными синеющими губами, словно стесняясь, что напугал нас. И это было несовместимо и страшно. Взгляд его наткнулся на меня, мне показалось, он меня зовет.

После я понял, зачем он звал меня. Он умирал, чувствовал это и, беспомощный, глазами просил меня помочь Рите в этот первый, самый страшный для нее момент. Это ее пытался он ободрить вымученной улыбкой. Но со мной

что-то случилось от пережитого испуга. Счастливым началом дня, то, что мы должны были сейчас завтракать, внезапный снаряд и все это сразу происшедшее, во что я еще не мог поверить, перемешалось в моей голове, и я только тупо стоял с фляжкой.

А уже бежали сюда люди, тесно обступали нас...

На всю жизнь запомнился мне последний, заставивший всего меня вздрогнуть, жуткий в своем одиночестве среди людей крик Риты:

— Алеша!..

Мы хоронили Бабина жарким августовским полднем в лесу. В невеселой песчаной земле, обрубив лопатой корни, вырыли ему могилу. Лес теперь был редкий, и солнце жгло в нем, как в поле, а уцелевшие деревья, все сплошь израненные осколками, были в горячих потоках смолы. И сильно пахло потревоженной сырой землей и свежим деревом.

Без пилоток мы тесно стоим, окружив могилу, а двое солдат с лопатами что-то еще подрывают в ней, торопясь, чувствуя на себе взгляды всех. Бабин лежит на свежей насыпи, завернутый в плащ-палатку, черноволосый, несчастливо желтый, с запекшейся на синих губах кровью; на левой щеке его ниже уха клочок недобритых волос. Я стараюсь не смотреть на него. Кто-то шепотом говорит, что орден Красной Звезды тоже надо было снять и сдать в штаб. И все почему-то говорят шепотом, стесняясь своих голосов. Рядом со мной Брыль тихо рассказывает кому-то, как он пришел в батальон и, ничего не думая тогда, пообещал пережить Бабина. И вот получилось, пережил...

Солдаты выпрыгивают из могилы, подобрав лопаты, скрываются за спины стоящих. И сейчас же на насыпь поднялся Караев. Голос его в тишине показался мне резким:

— Товарищи бойцы и командиры! Сегодня мы хороним...

Я вздрогнул и оглянулся, нища глазами Риту. Ее не было. Я почувствовал облегчение.

Сегодня утром Фроликов поливал ему на спину, и Бабин просил еще, и ухал под холодной водой, и шлепал себя ладонями, веселый, мокрый, живой, а я с завистью смотрел на его мускулистое тело и считал рубцы... Вот

так кончится война и кто-то еще погибнет от последнего шального снаряда, и с этим разум не примирится никогда.

Незнакомый майор, проталкиваясь в первый ряд, задерживая дыхание, толкнул меня. Я посмотрел на него и случайно увидел над ним на дереве серую, вздувшуюся от дождей пузырями фанерную дощечку и почти смытую надпись на ней. С трудом различая буквы, я прочел: «Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня!»

В стертом артиллерийским огнем лесу эта довоенная надпись внезапно поразила меня. Неужели все, что произошло и пылает уже четвертый год, возникло от крошечного огонька, который вначале не затоптали, а потом уже невозможно было погасить?

Караева сменяет на насыпи майор, который проталкивался в первый ряд. Мне уже беспокойно становится, что Риты до сих пор нет. Я осторожно выбираюсь из толпы и иду искать ее. Несколько солдат, торопящихся туда, попадают мне навстречу. Один бежит со смущенной и счастливой улыбкой человека, который боялся опоздать, но в последний момент увидел, что успеет.

Я долго ищу Риту и, когда уже начал не на шутку тревожиться, вдруг увидел ее. Она сидела на поваленном дереве. Не решаясь подойти сразу, я смотрел на ее спину, на косою залоснившийся след портупей от плеча к ремню. Потом сел рядом виновато.

Надо было что-то сказать ей. Но что сказать сейчас, когда нет таких слов? Она смотрела перед собой пустыми, погасшими глазами. Щеки ее горели, на них следы высохших слез. Я вдруг понял, почему она не пошла туда. Она была Бабину женой и другом, самым близким человеком, прошедшим с ним через все. Но там, на могиле, среди незнакомых офицеров, и сама она, и ее слезы выглядели бы иначе. А может быть, она и не думала об этом.

— Рита, — позвал я осторожно.

Она не обернулась, быть может, не слышала, продолжая все так же смотреть перед собой. Я подождал и опять позвал ее:

— Рита.

Тогда она живо повернула голову, и в первый раз глаза ее блеснули. Они блеснули на меня открытой не-

навистью. Я ни в чем не был виноват перед ней. Если б я мог сейчас умереть вместо Бабина, я бы сделал это. Но это не зависело от меня.

Позади нас раздался недружный залп. Я видел, как спина Риты вздрогнула. Она поднялась и быстро пошла отсюда, торопясь уйти дальше, но второй залп догнал ее и толкнул в спину.

Я еще долго сидел один на поваленном дереве. Только теперь, когда Рита ушла, я понял, что весь этот горький день во мне жила смутная надежда. Я почувствовал ее, когда потерял.

Ночью снимается с позиций и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе и так за нее больно!

Всю ночь над высотами, все так же впереди нас, ярко горит желтая звезда, и я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут. Сириус, Орион... Для меня это все чужие имена, я не хочу их знать.

ГЛАВА XIV

Мы лежим у дороги, босиком, на пыльной траве: Саенко, Васин, Панченко и я. Саенко разбросал толстые ноги с мясистыми ступнями, по ним ползают мухи, лицо накрыл от солнца черной кубанкой и спит. Панченко тоже спит на боку, головой на вещмешке с продуктами, охраняя их даже во сне, а от кого — неизвестно.словно едет в вагоне поезда, где по военному времени всякое может случиться. Он и воюет как будто между дел, а главным образом — добывает продукты, готовит, кормит. Хозяйственные дела одолевают его даже во сне, лицо у него озабоченное, а на ремне вместо гранат — три фляжки.

Мы одновременно смотрим на него: Васин и я. Уравновешенный, знающий себе цену, как всякий мастеровой человек, Васин относится к Панченко со сдержанным юмором. Мы встречаемся глазами, и Васин улыбается. Я впервые замечаю, что глаза у него на солнце рыжие. А вообще краспвый парень. Смуглый, волосы с рыжиной, а

брови черные, как нарисованные углем. И шея крутая, гордая. Сидит, поджав под себя босые ноги, что-то выстругивает из палки, опустив длинные, рыжие на концах ресницы. Он хотя и мал ростом, но на иного высокого глянет, будто сверху вниз.

А ведь скоро мы все расстанемся. Ленивый, гладкий, богатырски спокойный Саенко утруждать себя, изнурать работой не привык. Ему легче к немцам в разведку слазать, чем вырыть окоп. За этого я не беспокоюсь, жизнь у него будет как августовский разморенный от зноя полдень, когда в тени и то шевельнуть рукой лень. Бабы его любят, у него к ним тоже характер мягкий, и жененка — попадетса она ему, наверное, худая, сердитая: таких, кто много перебрал, под конец самого приберет к рукам какая-нибудь невзрачненькая — будет денно и нощно не прощать ему, что прежде за другими ее не замечал, и точить его, и точить, и ворочать за него в хозяйстве. Но Саенко «такий козак», что растолкать его трудно. Между прочим, из всех моих разведчиков он один ни разу не ранен, хотя на фронте с начала войны.

Лучше всех я представляю себе жизнь Папченко. Этот — трудяга. Вернется к себе в колхоз и будет работать, честный, упорный до невозможности. А через несколько лет уже и многодетный. Таким трудягам почему-то нелегко в жизни. И живут они не очень богато.

Мне даже грустно становится, что придет час, когда все мы разъедемся. И не будет уже того, что связывало нас и каждого из нас делало лучше, чем он сам по себе в отдельности. Э, да о чем я! До конца еще надо дожить.

Я ложусь на спину, чувствуя щекой нагретый ворс шинели, с удовольствием шевелю на солнце пальцами босых ног. Солнце стоит в зените, небо синес, безоблачное, хорошо видны сияющие дали, и только по самому горизонту тают тонкие встающие дымы. Там далекое, непрскращающееся гудение, тяжелая артиллерия глухо кладет разрывы: гук! гук! Вот уже куда отодвинулся бой.

Над нами гудит наш самолет, очень высоко, то взблескивая на солнце серебряной мухой, то исчезая в синеве, и тогда только по звуку можно за ним следить. Одним глазом из-под пилотки я наблюдаю за ним. И впервые

завидую летчикам. Хорошо, должно быть, купаться вот так в синем солнечном небе, то взмывая вверх, то переворачиваясь через крыло. Я засыпаю под гул самолета, не прячась от бомб, только накрыв лицо пилоткой от солнца.

Когда просыпаюсь, Панченко уже нет рядом, Васин сидя натягивает сапоги. Поблизости от нас у дороги расположилось семейство молдаван. Согнанные войной с родных мест, они теперь возвращаются от немцев и сели отдыхать; рядом с нами им, видимо, спокойней. Оказывается, только что проехал командир бригады и сейчас по дороге движется мимо нас штаб. Я замечаю среди других Мезенцева на рыжем высоком коне. Он тоже видит нас и хочет проехать незаметно, но в последний момент, заторопившись, вдруг подъехал:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

У Саенко, который спал, накрыв лицо кубанкой, заблестел один глаз.

Под Мезенцевым лоснящийся от сытости конь. Я босиком сижу у дороги в пыльной траве. Солнце сверкает на глянцевом крыле седла; мне кажется, я на расстоянии ощущаю запах нагретой солнцем новой кожи и конского пота. А за спиной Мезенцева в защитном чехле — труба. Она раз в десять легче радики, которую он прежде таскал на спине.

— Трубишь?

Он пожал покатыми плечами:

— Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу. Я не напрашивался. Знаете, товарищ лейтенант, — говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам, — кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с винтовкой, знаю. А вообще вы не думайте, что в бригаде легко. Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе, по крайней мере, свободней было.

Да, вот так и скажет после войны: я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет и в нос ткнет.

Я смотрю на него снизу. Он во всем новом, еще не стиранным, не потерявшем цвета. И ремень на нем новый, светлой кожи. И маленькая кожаная кобура на боку. На коне, в подогнанном обмундировании Мезенцев уже не выглядит таким сутулым и тощим. Только шея все такая же длинная, с торчащим кадыком, словно выгнутая вперед. А старика Шумилина нет в живых...

Я чувствую, Мезенцеву беспокойно среди нас. Конь под ним вертится, он удерживает его, но почему-то не отъезжает. С каким легким сердцем вздохнул бы он, если б узнал, что и нас тоже нет на свете. Наверное, в прошлой его жизни немало есть людей, с кем бы он не хотел встретиться. Впрочем, он уже почти оторвался от нас. Главное — и в будущем успевать вовремя отрываться, чтобы нежеланные свидетели оставались позади и ниже.

К Мезенцеву подъезжают конные. Передний, раскормленный и крепкий, с сильными ногами в стремянах и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полнотной груди, вытирает платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. В потной руке — поводья. Этот тоже из ансамбля, плясун, кажется. Я уже давно заметил, что у таких вот нестроевиков и выправка и вид самые строевые, и обмундирование сидит на них как влитое. Взять его, заткнутого в ремни, украшенного медалью, и моего Панченко в засаленных брюках, в стираной-перестираной, белой от солнца гимнастерке, в пилотке, за отворотом которой вколоты иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам — скажут девки, что Панченко где-нибудь всю войну отпирался при кухне, а вот этот и есть самый настоящий фронтовик.

— Корешков встретил? — сиплым от жары голосом спрашивает он у Мезенцева, покровительственно кивнув нам с высоты седла.

И все трое смотрят на виноград, который принес Панченко в плащ-палатке и раскладывает.

— Друг, а ну подай кисточку! — нетерпеливо ерзая штанами по гладкой коже седла, кричит он сверху.

Панченко продолжает нарезать хлеб, стоя коленями на плащ-палатке. Он как будто не слышит.

— Слышь, солдат!

С земли встает Саенко, надев кубанку на встрепанные волосы, распоясанный идет к нему, оставляя в пыли дороги широченные босые следы. Подойдя, охлопывает лошадь ладонью, словно любитесь. Хлопает по заду, подкованные копыта переступают около его босых ног, вдавливаясь шинами.

— От конь, так то правда конь-огонь! На таком коне еще бы шапку да шапку добрую...

И делает что-то неуловимое. Взвившись, конь диким галопом, боком несет вояку по дороге. Еле удерживаясь

в седле, тот издали грозит и кричит что-то. Саенко хохочет, стоя посреди дороги босой.

— Эй, лови! — кричит он и, взяв с плащ-палатки, кидает кисть винограда.

Музыкант ловит ее на лету, по все же обижен. А Саенко, великодушный, как победитель, спрашивает третьего музыканта, самого скромного на вид:

— Представлять когда будете?

Тот смущенно пожимает плечами: мол, от нас не зависит, наше дело такое — как прикажут. Саенко и ему дает виноград.

Один только Панченко за все это время даже не повернул головы, словно и не было ничего: он резал хлеб. Характер у него железный.

Больше мы не говорим о них. Лежа на животах вокруг плащ-палатки, голова к голове, едим виноград. Я лежу чуть боком, чтоб удобней было раненой ноге. Скоро рана нагноится, тогда бинты будут отставать легко, без боли.

Мимо нас по дороге в мягкой густой пыли проносятся машины. Ветер сбивает пыль на ту сторону, и трава там вся пепельная. Только мы не спешим: наши пушки утром переправились через Днестр и еще не подтянулись. Все это, стремительно и весело мчащееся к фронту, на рассвете завтрашнего дня, когда мы вступим в бой, будет позади, а мы — впереди. И мы не спешим. Все-таки я надеваю сапоги, разведчики тоже обуваются: дорога уже не безлюдна, и лежать так — неловко.

Мы едим черный виноград, каждая ягода словно дымком подернута, а сок теплый от солнца. Подносишь ко рту тяжелую гроздь и на весу объедаешь губами. Сок винограда, пшеничный хлеб, солнце над головой, сухой степной ветер — хорошая штука жизнь!

Позади нас останавливается машина, резкий сипловатый сигнал. Оборачиваемся. Комдив Яценко вылезает из кабины полуторки с брезентовым верхом, голенища его сапог сверкают сквозь пыль. В кузове машины Покатило — он улыбается, поглаживая двумя пальцами усики под носом, кивает дружески — и начальник разведки дивизиона Коршунов в накинутаой на спину от ветра шинели с поднятым воротником. С ними несколько разведчиков.

Оправляя гимнастерку под ремнем, подхожу к командиру дивизиона. Он стоит у подножки, тонким прутиком

похлестывает себя по голенищу. Подбритые брови строго сдвинуты, тонкие сомкнутые губы, смелый взгляд. На нем его парадный суконный костюм, лаковый козырек фуражки бросает на лоб короткую тень.

— Загораете?

Левой рукой застегиваю пуговицы у горла.

— Чего ж ты говорил, что днем на плацдарме головы не поднять? Не поднять, а мы в машине едем!

И Яценко хохочет громогласно и оглядывается за одобрением наверх, в кузов. Стою перед ним по стойке «смирно». За спиной моей шепотом ругаются два ординарца — мой и его, прибежавший с двумя котелками.

— Лень тебе самому набрать? Вон его сколько на виноградниках. Привык на чужом горбу в рай ехать.

— Ладно, ладно, — урезонивает Панченко вышестоящий ординарец. — Вы тут загораете, а мы вон едем новый ИП выбирать. Сходишь еще, не разломишься. Меня вон машина ждет.

Яценко ставит сапог на подножку, расстегивает планшетку на колене. Под целлулоидом — карта. Правая половина, с Днестром, затерта до желтизны, вся в условных значках и пометках. Левая, западная, — новенькая, сочные краски, на нее приятно смотреть.

— Там Кондратюк подтягивается. — Строгий взгляд в мою сторону: мол, смотри, случится что — не с него, с тебя спрос.

— Кондратюк справится, — говорю я.

— Так вот. Высоту сто тридцать семь видишь? — Он показывает на карте. — В ноль часов тридцать минут вот в этой балке за высотой сосредоточишь батарею. Задача ясна? Дальнейшие приказания получишь от меня там!

— Слушаюсь!

Покатило из кузова показывает рукой за кабину, машет туда: мол, там встретимся. Я чувствую к нему душевную близость. Ординарец Яценко, пробежав, лезет через борт с двумя котелками, полными винограда. Вдруг я замечаю у колеса машины незнакомого, скромно стоящего лейтенанта. В первый момент, когда я глянул на него, — это было как испуг, мне показалось — Никольский! Словно возникло что-то в стеклах бинокля, отодвинулось, затуманилось, как при смещенном фокусе, и на том же месте близко и резко увидел я совершенно другого человека.

— Товарищ капитан,— спросил я, полностью овладев голосом,— левой нас штрафники действовали. Не слышали, как у них? Где они сейчас?

— Штрафники? — Яценко щелкнул кнопкой планшетки, откинул ее за спину, снял с подножки сапог.— Слышал, тряханули их немцы,— сказал он, блеснув глазами.— Так что многие искупили. А тебе, собственно, штрафники зачем? — И щурится на меня испытующе, знает еще что-то, но не говорит, ждет.— О дружке беспокоиться? Который спать здоров? Ладно уж, открою секрет, хотя и не положено. Не успел он попасть в штрафбат, легким испугом отделался. Победа! Все добрые! Небось уже своих догоняет. Егоров!

Младший лейтенант подошел, козырнув.

— Вот тебе новый командир взвода в батарее. Вчера прислан. Одно с тобой училище окончил.

Почему-то младший лейтенант смущается от этого сопоставления и опять козыряет.

— Так все ясно? — уже из кабины, выставив локоть, кричит Яценко.

От заведенного мотора крылья полуторки трясутся.

— Действуй!

И машина тронулась рывком. Пекатило и Коршунов стукнулись спинами о кабину и тут же скрылись в пыли, поднятой над дорогой множеством колес.

— Значит, Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище окончили?

— Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище, товарищ комбат. Оно теперь еще ордена Ленина. Второе ЛОЛКАУ.

Нет, он не похож на Никольского, и все же что-то общее в облике есть. Мы идем с ним к плащ-палатке. Разведчики, вскочив, тянутся. За них можно не опасаться, службу знают. Это потому, что посторонний человек со мной. Что ж, мне приятно.

Я представляю разведчиков новому командиру взвода. Садимся на плащ-палатку. Он — с краешку, стесняясь и их и меня. Держится напряженно. Слишком резкая для него перемена. Недавно еще — училище, до этого — дом. Наверное, мама волновалась, когда поздно возвращался домой. И вдруг ссадили с машины на полдороге: вот твоя батарея, вой. Так эти годы все мы вступали в самостоятельную жизнь. Еще хорошо, что попал он к нам во

время наступления. Я попал в полк, когда отступали. Это было хуже.

— Где ж оно теперь, наше училище? Я его в Светловодске кончал.

— Оно и сейчас в Светловодске, товарищ комбат, — говорит он не очень уверенно, как бы опасаясь, что разглашает военную тайну.

Да, Светловодск. Река Светлая. Только отчего-то Светлая была тогда вся в нефти и пахла нефтью. И когда мы стирали в ней обмундирование (на все про все вместе с портянками полагался кусочек мыла в двадцать граммов!), гимнастерки после были в нефтяных пятнах.

— Она и сейчас в нефти, — говорит младший лейтенант, почему-то обрадовавшись.

Как интересно, ничего не изменилось. Те же выходы в поле зимой в сорокаградусный мороз, когда замерзает смазка на орудиях, но командир батареи идет впереди в легких хромовых сапожках. И курсанты, которые прибыли в училище прямо со школьной скамьи, поражаются такой его нечеловеческой выносливости, не подозревая, что в сапогах у командира батарей шерстяные носки, пальцы обернуты газетой и еще две пары теплых портянок... Те же тактические занятия, похожие на войну, как игра. Мы прибыли в училище с фронта, многое уже повидали и во время тактических занятий, когда не видело начальство, старались перекурить.

Была еще в Светловодске река Мата — р. Мата, как она значилась на топографических картах. На этой речонке, в редких кустах, выбирали мы огневые позиции. И многие поколения курсантов до нас и после нас выбирали там огневые позиции. И наверно, кто-то и сейчас там выбирает их. И так же, как я когда-то, прибыл в часть младший лейтенант. Только отчего он такой молодой? Оттого, наверно, что много времени прошло с тех пор. И столько уже позади. И километров и друзей. Вот уже и плацдарм позади. Как это просто до войны говорилось: ни пяди своей земли не отдадим. Вот она, пядь нашей земли, и каково это — не отдать ее!

— Ну что ж, лейтенант, принимай взвод. Вот твои разведчики. Панченко, сразу говорю, забираю с собой. А больше никого из взвода не отдавай, а то и Саенко, по-

следнего разведчика, заберут. Связисты придут сейчас, они связь сматывают. И командир отделения с ними. Радисты нам по штату положены. Нету ни одного. И радики нет. Придется тебе заводить. Да ты ешь виноград, а то сейчас подтянутся пушки — и двинем вперед. Это отсюда фронт далеко кажется. А ночью уже там будем. Ешь, пользуйся случаем, выбирать НП пошлю тебя.

Он говорит:

— Спасибо, товарищ комбат, — и вежливо берет одну ягодку.

Он все время поглядывает на мои штаны. Что такое? Я тоже смотрю и замечаю на штанине старую, засохшую кровь. На нее-то он и смотрит с волнением. А, черт, давно надо было отдать постирать. Ему это, конечно, все в героическом свете представляется.

Мимо — к фронту, к фронту! — мчатся грузовики с прицепленными сзади, подскакивающими на дурых шинах минометами. Солдаты, все молодые, хорошо обмундированные, сидят по бортам машин. Какую-то новую часть вводят в прорыв. А от фронта, по этой стороне дороги, между машинами и нами, гонят сквозь пыль пленных. Минометчики перегибаются через борта, чтобы разглядеть их, мы сидим, ждем. Уже видны лица. Бронзовые от жары и солнца. Пот течет с висков. Расстегнутые мокрые шеи. Идут толпой. Молодые, крепкие, невзрачные, в очках, высокие, маленькие. На одних лицах все погасила серая усталость, другие возбуждены, словно только что выхвачены из боя, на третьих — страх. Мундиры, кепки с длинными козырьками. Непокрытые головы, пропыленные, черноволосые, светловолосые, стриженные, лысые. Ноги в коротких сапогах шагают нестройно, вразнобой, частя. Пот, жара, пыль.

От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок. Под мышками темные круги до карманов. Глаза просят пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Немцы проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть.

— Спасибо, товарищ лейтенант, — говорит боец, напившись. — А то от жары голос потерял.

И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы насыпаем ему полную пилотку винограда. Он благодарит еще раз и убегает. А пленные все идут. Егоров смотрит

на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит немцев.

Из толпы пленных кто-то кричит нам и поднимает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом месте среди дымчато-синих мундиров немцев видно зеленое обмундирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат: «Руманешты! Руманешты!»

— Что им, медаль за это? — говорит Саенко.

Я тоже ничего не понимаю. Словно очнувшись, Егоров отрывает взгляд от пленных.

— Видите ли, — говорит он, — дело в том, что Румыния вышла из войны... По радио передавали.

Вот, оказывается, какие события творятся в мире! А над головами пленных еще несколько раз поднимается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо.

Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает — делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает, — и несет консервы семейству молдаван.

Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему, а Васин, небольшой, коренастый, с выпуклой грудью, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно трясет головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти.

— Вот. Выменял. — И смеется.

На мальчонке короткая, с короткими рукавами, когда-то белая, а теперь грязная и разорванная на животе рубашонка. Короткие обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги с туго торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоляных волос, — они даже не блестят, такие пыльные. А лицо тонкое. И большие, как черные мокрые сливы, печальные глаза. Они чем-то напоминают мне глаза Парцвани.

Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет, я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Несмело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне. А я тем временем глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать.

Далеко, у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колени, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем.

Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колени. Я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую от солнца голову, а он играет моим оружием.

Январь 1959 г.

МЕРТВЫЕ
СРАМУ
НЕ ИМУТ

Новеллы

В полночь была перехвачена немецкая радиограмма. При свете керосиновых ламп ее расшифровали. Это был приказ командующего группой, посланный вдогон. Немцы меняли направление танкового удара.

Нужно было срочно закрыть намечавшийся прорыв. Из артиллерийских частей, стоявших поблизости, был только дивизион тяжелых гаубиц-пушек и зенитный дивизион. Ночью они получили приказ спешно выдвинуться в район деревень Новой и Старой Тарасовки, занять позиции и преградить путь танкам.

Но когда приказ был отдан и получен, немцы с марша перенесли еще южнее острие танкового удара. Однако об этом уже никто не знал.

ГЛАВА I

То, что называлось тяжелым артиллерийским дивизионом, было на самом деле две неполные батареи: три пушки и четыре трактора. Утром только они вышли из боя и стояли в ремонте. У одного трактора был разобран мотор и сняты гусеницы, три других ожидали своей очереди. Впервые за долгое время бойцы выжиарили и выстирали с себя все и после многих суток непрерывных боев спали в жарко натопленных хатах, раздетые, во всем чистом.

А по снежной, сильно всхолмленной равнине, холодно освещенные высокой луной, двигались уже немецкие танки. Но люди спали, раскинувшись, в одном белье, даже во сне всем телом ощущая покой и тепло.

Белый дым подымался над крышами, на улицах было светло от луны, и часовые, жадно вдыхая на морозе запахи жилья, тепла и дыма, мечтали, как вскоре сме-

няться и, поев горячего, раздевшись, тоже завалятся спать.

Только в одном доме еще не спали. Ярко горела почищенная ординарцем керосиновая лампа, на всех гвоздях по стенам висели шинели, и на кровати в углу, куда свет достигал слабо, шинели и оружие были свалены в ногах. За столом сидели командир дивизиона майор Ушаков, невысокий, крепкого сложения, с обветренным, грубым, сильным лицом, замполит капитан Васич и начальник штаба капитан Ищенко. И с ними была военврач другого полка. Она догоняла свою часть и заночевала в деревне. А тут как раз топили баню — редкое счастье на фронте зимой. И вот с не просохшей после мытья выщейся черноволосой, коротко постриженной головой, в свежей гимнастерке, она сидела за столом, чувствуя ежеминутно внимание всех троих мужчин.

А пятым за столом был восьмилетний мальчик, хозяйкин сын. Он стоял у Васича между колен. Кончиком финского ножа вырезая для него птицу из дерева, Васич перехватил его робкий взгляд.

Мальчик смотрел на ярко-синюю консервную банку, на которой была нарисована розовая, глянцевая, нарезанная ломтиками колбаса. Он смотрел на эту нарисованную колбасу. Васич взял банку, ножом выложил колбасный фарш на тарелку, подвинул хлеб.

— Ешь, — сказал он.

Босые ноги мальчика нерешительно переступили в темноте на глиняном полу между сапогами Васича. Два глаза, блестевшие в свете лампы, шмыгнули по лицам. Потом коричневая, обветренная лапка быстро взяла колбасу с тарелки. Жевал он с закрытым ртом, опустив глаза. Васич не смотрел на него. Сейчас мальчик все же привык, а когда первый раз его угощать стали, он, взяв еду и глядя в пол, сразу же ушел за кровать и там, в темноте, затихнув, ел беззвучно и быстро.

— Комиссар! — крикнул Ушаков через стол. — Она оказывается, тоже под Одессой была!

Он указал на врача. И, считая нужным немедленно отметить такое дело, хозяйски оглядел стол:

— Арчил!

В дверях возник ординарец Баградзе. Гимнастерка его была засалена на карманах и на животе, рукава завернуты, сильные волосатые руки он держал отставленными,

и пальцы и ладони блестели от жира. Пахло от Баградзе жареным луком.

— Две минуты, товарищ майор!..— заговорил он, сильно двигая усами и тараща глаза.

Повернув черноволосую голову, зная, что она хороша в профиль, военврач с интересом смотрела на ординарца. Она понимала, что все эти приготовления и суета из-за нее, и была оживленна, и щеки у нее горели.

Из-за спины ординарца, потеснив его, просунулась хозяйка-украинка в длинном фартуке.

— Он же ж не жарить. Положил на угли, тай сма-
лыть. Там мясо чорне зробилось, як вугиль.

И улыбнулась: мол, така чудна людина!

Баградзе с живостью обернулся к ней, глаза его горели яростью. Но еще живей Ушаков скомандовал:

— Одна пога здесь, другая — там!

И оглянулся победителем.

Васич, понимавший, для кого это представленье, не подал виду. Они давно воевали вместе, и он знал Ушакова. Жесткой рукой с короткими пальцами пригладив светлую челку на лбу, Ушаков сказал:

— Помнишь, комиссар, Одессу? Атака — пилотку на бровь, каску на бруствер!..

Глаза его сдержанно блестели. И военврач смотрела на него.

— Молодые были, дураки,— сказал Васич. Коленями он чувствовал, как мальчик ест, глотает большие куски, весь напрягаясь. Он глянул на военврача и Ушакова. И, добродушно улыбнувшись, пошутил только: — Человека почему-то без запчастей выпускают. Отобьют голову, после пилотку надевать не на что.

— Брось, брось,— перебил Ушаков, обнажая стальные зубы, вставленные после ранения.— Брось, комиссар!

Он пристукнул ладонью по столу, твердостью снимая любые возражения. Ему нравилось говорить «комиссар»: это был комиссар его дивизиона и его дивизион, а он — командир дивизиона. И еще в слове «комиссар» было со времен революции нечто такое, что не вмещалось в теперешнее слово «замполит».

— Это вот Ищенко так говорить. А ты сам такого духа, я знаю. Тебе только разные там теории мешают.

Ищенко, не принимавший участия в разговоре, поскольку разговор не касался его лично, спокойно улыбался и разглядывал на свет лампы свой наборный мунд-

штучок из алюминиевых и прозрачных пластмассовых колец: он любил вещи, и ему, начальнику штаба, часто дарили их. Этот мундштучок выточил для него артмастер. Он курил, улыбался и чувствовал превосходство над обоими, наблюдая, как они ухаживают за врачом: он был женат.

Ушаков повернулся в его сторону, и ремни на сильном теле скрипнули.

— А ты чего смеешься? Письмо из дому получил? Как ты там жене описывашь: «Мицно целую, твуй Семён»?.. Так, что ли?

Но и сейчас Ищенко не смутился. А Васич, осторожно вырезая клюв птицы, улыбнулся бессознательной, но верной тактике Ушакова: тот поодиночке разбивал своих возможных соперников.

— А ну, покажи фотографии, — приказал Ушаков, взглядом пригласив врача посмотреть, обещая нечто смешное. — Показывай, показывай!

Все с той же улыбкой превосходства Ищенко стряхнул пепел в консервную банку, положил мундштучок на стол — под ним сразу начало растекаться молочное пятно дыма. Из нагрудного кармана он достал записную книжку, из записной книжки — конверт, а из конверта — потертые фотографии. Пока он их вынимал, слышно было, как за дверью ссорятся ординарец и хозяйка. Потом, качая головой и неодобрительно улыбаясь, вошла хозяйка, видимо, изгнанная из кухни.

Это были обычные предвоенные фотографии. В лодке. Ищенко в трусах, с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, сощурившийся от солнца, и его жена, в белом платье, с белыми лилиями на коленях, уложенными так, чтоб не запачкать платье. На пляже. Лежа рядом в песке, подперев щеки ладонями, оба они смотрят в объектив. У нее загорелое, ровное, почти без талии, сильное тело в узеньком лифчике и узеньких трусиках. И, наконец, в своем окне: он и жена выглядывают из-за тюлевой занавески. И тоже солнечный день, и она опять в этом белом платье, которое она несет на себе как символ чистоты, а лейтенант Ищенко в сознании человека, давшего ей все это, заложил руку за портупею.

— Вот здесь, — сказал Ищенко, показывая пальцем за рамку фотографии, — здесь жил командир полка, полковник товарищ Сметанин. Через стену от нас. Правда, в другом подъезде.

Он всегда говорил это, когда показывал фотографии. И еще он охотно и подробно рассказывал, как он любил свою жену и как все ей покупал.

Военврач взяла одну карточку в руки. И когда она, в погонах, сапогах и портупее, глянула при свете керосиновой лампы на молодую женщину в окне, что-то грустное, как тень сожаления, промелькнуло в ее лице. Но она тут же отдала карточку, и лицо ее приняло насмешливое выражение, какое бывало у нее, когда за ней ухаживали. А на фронте за ней ухаживали всегда.

— От це було життя! — сказала хозяйка, стоя за спиной и тоже глядя на фотокарточки. — Боже ж мий, та неваже ж правду було таке життя?

Васич посмотрел на нее. Сколько раз он слышал, как вот так вспоминали о прошлой, довоенной жизни. И хотя не все тогда было хорошо и не всего хватало, вспоминали о ней сейчас, как о великом счастье. Потому что был мир и все были вместе.

Пригнувшись в двери, влез в хату старшина дивизиона, гаркнул простуженным голосом:

— Товарищ майор, старшина Иванов прибыл по вашему приказанию!

Мальчик испуганно вздрогнул, и плечи его затряслись, словно он всхлипывал.

— А кто тебе приказывал? — откинувшись на стуле, поверх погона глядя назад на старшину, удивился Ушаков.

— Ну, голос у тебя, старшина! — сказал Васич недовольно и погладил рукой худые лопатки мальчика. — Орешь, как на кавалерийском смотру. Ты же в хате.

А хозяйка, оправдывая мальчика перед людьми, говорила:

— Ляканый вин у нас. Туточки немец стояв у хати. Ладний такий з себе, лаявся все, чому потолок низкий. И не сказати, щоб лютий був. Другие знаете яки булы! А цей — ни. Суворий тильки. Порядок любив. А воно ж мале, дурне, исты хоче. И, як на грех, взяло со стола кусок хлеба. Привык, шо своя хата — взять можно. А немец схопив його. «Вор! — каже. — Вор! Красты не можна, просить треба». С того часу сяде за стил, покличе його, як цуценя, дасть хлеба. И все учить, учить, пальцем о так погрузуе. Йому б «данке» сказать, а воно с переляку уси слова позабуло, мовчить тильки. А немец гнивається. Поставить його вон туда в угол, пистолет

наводить. «Пу!» — каже. Воно и заикаться стало. Уж я ховала його. Немець на мене ногами топоче: «Мамка! Сын мне гиб! Гиб! Воспитывайт!»

Она рассказывала просто, почти спокойно. Только по щекам сами собой привычно текли слезы. И, видя их, мальчик волновался, что-то хотел сказать, но у него сильно вздрагивала грудь и западало под ключицами.

— Вы не напоминайте ему, — остановила ее военврач. — Видите, он волнуется.

— Чого нагадувать, такого не забудешь.

И, уже выходя в дверь вместе со старшиной, Васич слышал, как она говорила:

— Вы як пишли до бани, вин все шинели ваши нюхав. Мале ще, батька не помятае, а запах ридний не забув с того часу, як батько на фронт йшов, до дому забигав попрощатись...

В темноте сеней, где сильно пахло жареным бараньим мясом, Васич сказал, плохо различая лицо старшины:

— Вот что, старшина, это я тебя вызывал: сапоги надо пайти, поменьше какпе-нибудь. Есть у нас?

— Кто их знает... Может, есть бывшие в употреблении. Сорок третий размер...

Старшина рукой потирал подбородок, в глаза не глядел. Из осторожности он всегда вначале бывал непонятлив.

— Думай, что говоришь, старшина! Ты же умный человек.

— Сапоги-то? — уже другим, осмысленным голосом переспросил старшина, поняв, что речь идет не о военвраче, которая сидела с ними за столом, а о мальчике. — Сапоги должны быть. Там для мальчика и одежки кой-какой найти можно. Если поискать...

— Поищи, — сказал Васич убедительно. — И пришьешь. Лучше, когда уходить будем.

На столе Ищенко аккуратно складывал фотографии. Мальчик держал в руках недоконченную игрушку, встретил Васича ожидающим взглядом. Васич сел, и они вместе продолжали вырезать. У него в самом деле что-то получалось: парнишкой он научился этому у отца. С тех пор как живет человечество, сын учится от отца, перенимает каждый его шаг и гордится, становясь похожим на него... Между сапогами Васича стоял на глиняном полу босой мальчик, солдатский сын, и Васич осторожно касался коленями его худого тела. Где сейчас его отец,

по каким дорогам идет с винтовкой? А может, уже и нет его в живых? Волна нежности затопила вдруг Васича. Такая сильная, что глазам стало горячо, и у него задрожали руки, державшие нож. Но он справился с собой: мальчик смотрел на его руки.

Кто-то в сенях пытался с той стороны открыть дверь. Видимо, Баградзе. Хозяйка поспешила помочь, и через порог, чуть не сбив ее, шагнул солдат в заметенных снегом, каменных от мороза валенках, в опущенной и завязанной ушанке. Слепленными после темноты ярким светом лампы глазами он обежал хату, увидел командира дивизиона и, приложив одну рукавицу к ушанке, другой рукой выдернул из-за борта шинели пакет.

Ушаков читал стоя, а все смотрели на него и на солдата и уже знали, что отдых кончен. На валенках солдата таял снег.

В открытую дверь вошел Баградзе, торжественно неся перед собой в поднятых руках доску и на ней жаренное куском, блестящее от растопленного жира, сильно пахнущее баранье мясо. Он поставил его посреди стола и скромно отступил на шаг. Но никто, кроме мальчика и солдата, пришедшего с мороза, на это мясо сейчас не смотрел.

Ушаков положил приказ на стол, обернулся к солдату:

— Командиров батарей, командиров взводов — ко мне!

Хлопнула дверь за связным. Твердой рукой Ушаков налил из фляжки в четыре стакана, все еще не говоря никому, что в приказе. Увидел хозяйку — и ей тоже налил.

— Выпейте с нами посопок на дорогу, — сказал он, подавая ей стакан. И усмехнулся. Он усмехнулся над самим собой, что понадеялся обмануть судьбу. Знал же он по собственному опыту, что приказ сняться с позиций приходит в тот момент, когда наконец закончена землянка и впервые затопили в ней печь. Ну что ж, попарились в баньке — и на том спасибо! Это тоже не перед каждым боем случается. Нет, он не жаловался на свою судьбу. Он солдат. Он выбрал ее добровольно. И он гордился ею.

И, чокаясь с военврачом, Ушаков, не хитря и ничего не скрывая, с откровенным сожалением посмотрел в глаза ей. И она ответила ему таким же взглядом.

— Ну, чтоб дома не журились!

Они выпили стоя, а мальчик снизу смотрел на них, и в детских глазах его была взрослая тревога. Ушаков стряхнул капли на пол, поставил стакан. Потом через стол кинул пакет Васичу:

— Читай!

И уже другими, чужими глазами оглядел дом, в котором пробыли они недолго.

ГЛАВА II

Поднятые по тревоге люди выскакивали с оружием на мороз, застегиваясь на ходу. В селе кричали:

— Пер-вая ба-гарея!

— Огневики третьей!

— Филимонов, Филимонов! Заводи, так твою так!..

— Р-равняйся!..

Трещал где-то плетень. Ржала лошадь. Испуганные, наскоро одетые жители стояли у домов. Дети жаллись к матерям. Мимо них, бухая сапогами, отовсюду бежали вооруженные бойцы.

В одной улице уже строились. Поднятые со сна и теперь сразу продрогшие на морозе, люди ту же затягивали ремни, стучаясь друг о друга оружием, нервно зевали. Ветер выдувал из шинелей остатки тепла.

За спинами строящихся бегал с жалкими глазами молодой боец в хлюпающих сапогах.

— Ребята, портянки мои кто взял?.. Портянки за печку вешал..

И тут наткнулся на старшину. Старшина со всей верой в порядок строил батарею. И вдруг увидел человека, который это построение нарушал.

— Опять ты, Родионов? — спросил он зловеще и тихо.

И Родионов, ни в чем ни разу не замеченный, покорно принял это «опять», поскольку в такую минуту был без портянок.

Бухнул близкий винтовочный выстрел. Цепочка трасирующих пуль беззвучно потянулась к звездам, в немую высь. После донесся треск автоматной очереди. Несколько бойцов, остановившись на бегу, глянули вверх и побежали еще быстрее.

Как всегда в таких случаях, оказалось, что не одних портянок Родионова не хватает в дивизионе. Почти одновременно с Васичем к Ушакову подбежал командир вто-

рой батареи Кривошеин. Не отрывая пальцев от края ушанки, вытягиваясь тем старательней, чем более виноватым себя чувствовал, начал докладывать, что трактор, у которого разобрали мотор, — это его трактор, и больше тракторов в батарее нет, и пушку тянуть нечем. К тому же у пушки сломана стрела, а командир огневого взвода отравился консервами. Словом, получалось, что сам он готов выступить хоть сейчас, но батарея его раньше утра выступить не может.

Ушаков, маленький, в кавалерийской шинели до пят, которая должна была делать его выше ростом, туго затянутый ремнями, в круглой кубанке, коренастый, стоял на снегу рядом со своей короткой тенью, снизу вверх, щурясь, смотрел на командира батареи. По опыту он давно знал несложную истину: если все неполадки, нехватки собрать вместе, выяснится, что при таком положении воевать нельзя. Однако воевали.

Со стороны Васич паблюдал за ними обоими.

— Видал артиллериста? — Ушаков недобро повеселел. — Давай ему платок слезы утереть. Стоит в таком виде перед командиром дивизиона. Интеллигенция!..

— Между прочим, — сказал Васич, — ты тоже интеллигенция. По всем штатным расписаниям. Тем более артиллерийский офицер.

— Брось, брось! — Ушаков погрозил ему шерстяным, в перчатке, коротким пальцем. — Артиллерист, не отрекаюсь. А это ты брось! Ты мне давно эту статью припаять хочешь.

Васич заметил благодарный взгляд Кривошеина. Тот, кажется, принял его слова в защиту себе. И это было неприятно, как неприятен был ему сейчас сам этот человек, в трудную минуту пришедший просить снисхождения.

Мимо пробежал тракторист третьей батареи разогревать трактор. В поднятой руке его, на палке, обмотанной тряпьем, металось красное с черной копотью пламя солярки, горящие капли падали в снег. И оружие и лица бойцов, попадавших навстречу, тревожно освещались этим светом.

— Ты что пришел, собственно? Пожалеть тебя? Сказать немцам, мол, обождите воевать, командир второй батареи не собрался?

Маленькие глаза Ушакова блеснули презрительно. Он отвернул рукав шинели, глянул на часы, забранные круглой решеткой.

— Десять минут сроку! Ясно?

Командир второй батареи молча козырнул.

Толпой, что-то жуя на ходу, прошли разведчики. Все без шинелей, в ватниках, со стереотрубами, биноклями, у каждого под рукой дулом книзу — автомат. И с ними, на голову выше всех, начальник разведки дивизиона капитан Мостовой. Бесшумные и ловкие, привыкшие в любой обстановке полагаться на себя и на свой автомат, они раньше всех снялись и ушли вперед.

А уже дрожала земля под ногами: по улице двигалось орудие с трактором. Рядом с гусеницей бежал сержант, что-то крича и показывая трактористу, но голоса его за рокотом мотора не было слышно.

С лязгом, грохотом, обдавая теплом, прошел второй трактор. За орудием спешили огневики, взволнованные и сосредоточенные. С крыльца, придерживая на груди распахнутую шинель, сбежала военврач:

— Уходите?

Ушаков повернулся к ней.

— Такая наша служба! — сказал он с веселым, особенным выражением, блестя глазами, потому что за спиной его в это время проходил дивизион. И вдруг позвал, как в песне поется: — Едем, Галю, с нами, с нами, с козаками!..

Она засмеялась и под взглядами проходивших мимо солдат ответила в тон ему:

— А коня дадите?

— Двух дадим!

— Поехала б, да нельзя: служба!

И хотя ничего особенного не было сказано, солдаты, спешившие мимо, почему-то улыбались и глядели молодцевато.

По закаменевшей грязи тархтели уже колеса повозок, когда вдруг низко просвистело и за домами с грохотом, сотрясая землю, четыре раза взлетело рваное пламя. Все обернулись в ту сторону. И тогда военврач совсем по-бабьи, по-сестрински притянула к себе Ушакова — он был ниже ее ростом:

— Дай я тебя поцелую!

Она крепко поцеловала его при всех. За все, чего не было у них, и уже не будет.

— Дайте ж я и вас поцелую.

И Васича она тоже поцеловала. От ее неприсохших,

коротко постриженных волос пахло на морозе земляничным мылом. Васич еще долго чувствовал этот запах.

За селом они догнали дивизион. Он медленно двигался, растянувшись по снежной дороге, — темные пушки, темные, цепочкой, люди. Ветер, незаметный среди домов, в открытом поле был силен, он косо сдувал снег, замечая пушки в чехлах, и люди на ходу отворачивались от ветра. И вскоре за снегом и ветром пропало из глаз село, словно опустилось за холм вместе с заметными крышами и верхушками тополей. Только холодная луна светила сверху и двигалась вместе с ними в голую снежную равнину.

ГЛАВА III

«Дайте ж я и вас поцелую...»

— Дай я тебя поцелую!

Став на носки, она горячими ладонями взяла его за лицо, притянула к себе.

— Боже, какой ты огромный! Я, кажется, никогда не привыкну. И лицо огромное. Как у волка.

С шапкой в руке, в шинели, подпоясанный, Васич стоял перед ней, сутулясь от неловкости и от своего большого роста.

— И пахнет от тебя сапогами и кожей...

Он увидел у нее слезы в глазах. Она отвернулась.

— Мать моя провожала отца на фронт, когда меня еще не было. И вот я тебя провожаю. Неужели это всегда так, из поколения в поколение?

Она стояла лицом к окну, маленькая, смуглая, в своем белом халатике, сунув руки в карманы, такая родная, что у него сдавило сердце.

В дверь заглянула операционная сестра.

— Дина Яковлевна...

Она повернулась от окна, глаза были уже сухие, только сильнее обычного горели щеки. Отогнув завязанный рукав халатика, сняла с руки часы, положила на стеклянный столик.

— У меня сейчас операция. На двадцать минут. Ты сиди, жди здесь. Потом я провожу тебя.

Он не решился ничего сказать ей, чтоб не волновать перед операцией. В маленьком, сильно заставленном кабинете тылового госпиталя, среди стекла, никеля, белой масляной краски Васич осторожно сидел на краешке сту-

ла, держа шапку на колене. Ему хотелось курить, но он не решался здесь и так и сидел все двадцать минут, почти не меняя положения, а рядом с ним на стекле тикали ее часы.

Потом быстро вошла Дина, — Васич сразу же встал, — возбужденная, немного побледневшая, пахнущая лекарствами и спиртом, повернулась к нему спиной.

— Развяжи!

А сама уже стягивала рукава халата.

— Дина! — сказал он, со всей убедительностью прижимая шапку к сердцу, потому что хорошо знал ее характер, и на лицо его сейчас было жалко смотреть со стороны. — Понимаешь...

За окном было сорок градусов мороза. И до станции — три километра полем. Мысленно он видел, как она возвращается одна полем по такому морозу.

— Я понимаю, — сказала она. — Развяжи!

Он покорно начал развязывать, надеясь только на чудо. И чудо в образе операционной сестры заглянуло в дверь.

— Дина Яковлевна!..

Ей пришлось опять идти делать срочную операцию, а он остался ждать.

— Дай слово, что ты будешь ждать!

Он дал слово и сидел, мучаясь, слушая тиканье часиков на стекле. За окном остановилась крытая грузовая машина. Выписанные из госпиталя солдаты прыгали в кузов, кидая через борт вещмешки. В дверь ворвался начхоз в халате поверх шинели:

— Товарищ капитан! Что ж вы делаете? Я бегаю, бегаю, ищу, ищу...

— Тихо! — сказал Васич. — Тихо, тихо!

На клочке бумаги он написал коротенькую записку: «Дина! Понимаешь, машина пришла, я ничего не мог сделать. Все равно дальние проводы — лишние слезы».

Положил на записку часы и на носках вышел тихонько...

И вот уже год, как он осторожно притворил за собой ту дверь. Была тогда зима, уральская зима. И вот опять зима, но только на Украине. Метет поземка по сапогам, по колесам идущих впереди пушек. Горбятся на ходу солдаты в шинелях, с вещмешками на спинах, с торчащими над погоном вверх заиндевелыми дулами карабинов.

Сколько тысяч километров снегов отсюда до Урала разделило их?

Она любила спать сжавшись. Сожмется вся, подберет колени к подбородку и вот так спит: ночью комната быстро выстывала и она во сне мерзла под суконным солдатским одеялом.

Маленькая, сжавшаяся в комочек, она лежала сейчас в его сердце, и ему тепло было нести ее сквозь вьюжную зимнюю ночь.

— Комиссар! Ты чего улыбаешься? Спишь?

Под корявым деревом, росшим у обочины, заложив руки за спину, стоял Ушаков.

— Идет, улыбается... Сон, что ли, приснился? — говорил он, пока Васич шел к нему.

— Похоже на сон...

Сквозь облака — луна мутным пятном, ветер по целине и дымящаяся на всем пространстве снежная равнина.

— Ты по карте не интересовался, сколько до фронта осталось? — спросил Ушаков. — И чего они там молчат, не стреляют? Перерыв на обед или война кончилась?

Васич ласково смотрел на него. Он хорошо знал Ушакова, но сам он сейчас никакой тревоги не чувствовал и потому состояния его не понимал.

— Слушай, — сказал он, просто желая сделать Ушакову приятное. — Давай-ка я правда с разведчиками вперед схожу, погляжу, что там.

Холмы, холмы, холмы... Бездомный свист поземки по буграм, темное низкое небо, ближний лес, как эхо, гудит под напором ветра.

Сквозь летящий снег они втроем шли от леса. Васич глянул на Мостового, глянул на разведчика со странной фамилией Халатура: заметенные плечи, шапки — белы, лица, нахлестанные ветром, горят. Мостовой вдруг сел на снег.

— Обожди, капитан, переобуться надо.

Пока он снимал сапог, Васич слезающим от ветра глазами вглядывался в сторону передовой. Там, за холмом, как в дыму, изредка подымалось тусклое свечение. А когда ракета гасла, из снегов доносило грубый стук пулемета, стерегшего тишину. Повторенный лесом, он обрывался, и опять только поземка свистела над голой равниной. В самом деле, почему такая тишина? Васич нетер-

пеливо оглянулся на Мостового. Сидя на снегу, начальник разведки дивизиона с осторожностью разворачивал сбившуюся портянку, словно отдирая от раны. И тут Васич увидел его ногу. Она была обмороженная, распухшая, синяя.

— Где это ты? — спросил он, сморщась, как от боли. Мостовой сухим концом портянки обернул ногу.

— А вот когда автоматчики прорвались. В валенках был, промокли, а тут же ж морозом схватило. Самая поганая обувь.

Покатые сильные плечи его шевелились под натянувшейся телогрейкой. И спина под телогрейкой была мускулистая. И кисти длинных рук мускулистые.

— Думал завтра в санбат смотаться, пока вы тут воюете. Спиртику культурно попить, с сестрами за жизнь поразговаривать.

Он снизу весело подмигнул Васичу одним глазом; другой, с оторванным веком, оставался в это время все так же неподвижен и строг. Давний след пули, застарелый, неровно затянувшийся шрам рассек его левую половину лица от подбородка до перебитой, клочками торчащей вверх брови. И у Мостового было два лица: одно веселое, бесстрашное, молодое, а другое — изуродованное лицо войны. Когда Мостовой хохотал, это лицо с оголенным глазом только морщилось, горько и умудренно.

— Вот тоже, — без особой связи, а просто потому, что думал об этом, заговорил Мостовой, — в сорок первом под Хомутовкой выходили мы из окружения. Слышал Хомутовку? Ну, окружение окружением, а тут захотелось молочка холодненького попить. Взяли мы с сержантом Власенкой котелок — хороший был парень, после ему, когда прорывались, миной обе ноги оторвало — и по подсолнухам огородами в деревню. А немцев в деревне не было. Только мы кринку выпили, хозяйка за второй в подпол полезла — ребятам думали принести, — когда два немца в двери. И автоматы на нас наставили. Мы даже за оружие схватиться не успели. А жара была, я тебе говорю, мундиры на них мокрые от пота. Также, видно, шли молока попить... Сидим. А они стоят. Хозяйка сунулась было из подпола, увидела и крышку над собой захлопнула. Тогда немец, постарше который, сказал чего-то другому по-своему, подходит ко мне, взял за плечо и ведет к двери. А я иду. И вот скажи, как это получается, до сих пор понять не могу: немец мне этот до уха. Там его вместе

с автоматом взять — делать нечего. И брал же я их после. А в тот раз иду послушно... Тем же манером выводит Власенку на крыльцо, показывает на лес: «Гей!» Иди, мол! Думали, в спину стрельнет. Нет, не стрельнул. Приходим к своим, рассказываем. А был у нас капитан Смирнов...

Мостовой, весь покраснев от усилия и боли, за ушки натягивал сапог на распухшую ногу, говорил прерывисто. Сбоку стоял разведчик, готовый помочь, и каждое усилие Мостового отражалось на его лице.

— Так тот Смирнов услышал... приказал арестовать нас... за подрыв морального...

Нога проскочила наконец в сапог. Мостовой перевел дух, кровь медленно отливала от лица.

— Теперь пойдет,— говорил он, поднявшись и наступая на ногу с осторожностью.— Главное дело было впихнуть... Теперь разойдется... Вот что ты мне скажи, комиссар. Кончится война, ладно. Ну, в мировом масштабе дело ясное, кто тут прав, кто виноват, кому чего. А один человек, хоть этот немец, который нас отпустил? Как думаешь, смогут после войны с каждым разобраться? С каждым! Или он за эти годы такого наворочал на нашей земле, что про то забывать надо? А?

— Забывать ничего не надо,— сказал Васич.— Ты хлопчика видел в хате у нас? Тоже не надо забывать. Немец его учил не воровать, на всю жизнь заикой сделал. В его хату пришел, за его стол хозяином сел, его хлеб ест, а когда хлопчик с голоду к своему хлебу потянулся,—вор! Свой хлеб надо у немца просить, да еще «данке» сказать. Вот как. И кто честности учит? Фашист, который всю Европу ограбил, давно уже забыл, какого он вкуса свой, немецкий, хлеб!

— И то правильно, и другое не откинешь,— сказал Мостовой.— Вот я живой здесь стою, а мог бы давно в концлагерях сгнить. Немцы тоже разные, и один за другого отвечать не должен.

— Были б одинаковые, дело б легче решалось. Тут и думать нечего. Вся беда, что они разные — и хорошие и плохие — одно поганое дело сообща делают.

Для Васича разговор этот был трудный. Он был убежден, что никакой Гитлер за восемь лет не сможет сделать со страной то, что сделал, если нет к тому подходящих социальных условий. Надо хорошенько взглядеться в прошлое Германии, чтобы понять, как на жирной почве во-

инствующего мещанства за крошечный срок, всего за восемь последних лет, пышно и зловеще расцвел фашизм. Но он сказал только:

— Вот он отпустил тебя. Может, не хотел свои руки пачкать кровью: все равно война кончится. Может, на самом деле честный человек. Но честный, самый честный немецкий солдат, который Гитлера ненавидит, он все равно идет против нас, стреляет в нас, Гитлеру добывает победу!

— То так,— сказал Мостовой, и видно было, что какая-то своя мысль прочно засела в нем.

Если война, которой хлебнул он достаточно, раны, испятнавшие его сплошь, не смогли разубедить и озлобить, слова не разубедят. Да Васич и не хотел разубеждать. Лучше эта крайность, чем другая.

Ветер, набегом хлынувший с холмов в ложину, закружился, взвихрил мчащийся снег, что-то мягко ударило Васича по ногам и метнулось, темное, в струях снега. Разведчик свистнул, кинулся следом и скрылся в белом вихре. Вернулся он, неся надетую на ствол автомата шапку-ушанку.

— Думал, заяц! — говорил он, запыхавшийся, довольный, что догнал.

Ушанка была нахолодавшая, забитая снегом, но внутри, где засаленная подкладка лоснилась, она хранила не выветренный на морозе запах головы хозяина — запах пота, волос и мыла. И две иголки с белой и защитного цвета нитками были воткнуты в ее дно. Васич и Мостовой, державший ушанку в руке, переглянулись. Потом все трое цепью пошли в сторону передовой, откуда ветер принес ее. Они шли медленно, вглядываясь в несущийся под ноги снег. Хромая, Мостовой нес в одной руке ушанку, в другой — автомат. И вскоре они увидели свеженаметенный холмик. Подошли ближе. Из-под снега виднелись плечи, непокрытая голова, насунувшийся на нее воротник шинели. Убитый лежал пичком. Ветер гнал через него скользящие струи снега, шевелил мертвые волосы, и они были вытянуты в ту сторону, куда бежал человек, — к лесу.

Став на колени, разведчик перевернул убитого. Со спины пересекла его пулеметная очередь: в четырех местах на груди шинель вырвана клоками, лопнула перебитая португоя. Трое живых стояли над ним, держа в руках его ушанку с самодельной, вырезанной из консерв-

ной банки звездочкой. Васич прислушался. Из-за холма уже явственно доносился захлебывающийся на ветру, прерывистый рокот моторов: это подтягивался дивизион.

Трое двинулись дальше. Не пройдя и пятидесяти метров, нашли второго убитого. Он был раздавлен танком.

Васич, Мостовой и разведчик двинулись по заметным следам танка и вскоре наткнулись на бронетранспортер. Подбитый, стоял он в низине, в снегу, без гусеницы, сильно обметенный с наветренной стороны.

— Товарищ капитан, тут гильзы стреляные! Патронов до хрена! — кричал Халатура, успевший все облазить и теперь возившийся около счетверенного зенитного пулемета.

На передовой все так же редко постреливали, взлетали и гасли ракеты: там было тихо. А здесь, в тылу, в трех километрах от передовой, стоял недавно подбитый немцами бронетранспортер.

— Танковая разведка прошла, — глухо сказал Мостовой, и изуродованная щека его дернулась несколько раз подряд. — Можем угодить между танками и разведкой...

Васич еще раз оглядел это место, и тяжелое предчувствие шевельнулось в нем.

А с холма, перевалив его, стреляя в низкое небо искрами из выхлопной трубы, уже спускался первый трактор с орудием. На огромном пологом снежном склоне — маленький черный трактор, маленькое черное орудие и крошечные люди, бегущие под уклон по бокам его, — все это приближалось сюда. С обнаженной ясностью Васич увидел, как малочислен дивизион для такого боя с танками.

И вместе с этой отчетливой мыслью была другая, взволновавшая его. Он подумал вдруг, глянув на этих радостно бегущих по снежному склону людей, из скольких деревень, городов собрали их, сведя в крошечное подразделение войны: один из трех дивизионов 1318-го артиллерийского полка! Во скольких концах России следами и болью отдастся каждый снаряд, который разорвется здесь сегодня!

Пять километров холмов было позади, и три еще оставалось до места. И на каждый из этих холмов по обдутому ветрами, обледенелому склону пушки тянули вверх лебедками, вниз осторожно спускали на тормозах.

Светящаяся, зеленая, как волчий глаз, стрелка компаса указывала навстречу ветру: дуло с севера. Ушаков, носивший компас на руке как часы, обдернул рукав шинели, заложил руки за спину.

— Так что думает начальник штаба?

В длинной шинели, с биноклем на груди, Ушаков стоял на холме. Серая каракулевая кубанка с наветренной стороны была белой, снег набился в ворс шинели.

«Спит и видит себя генералом», — подумал Ищенко неприязненно.

Мимо них, спеша покурить на ходу, проходили батареи, надвигался рокот последнего трактора, взявшего подъем.

— А мне везло, — говорил чей-то веселый голос. — Как зима — рацит! Отлеживаюсь в госпитале до тепла. Вот не пришлось в этот раз!

Другой пожаловался виноватой скороговоркой:

— Я, ребята, с себя рубашку постирал. Поначалу-то она с печи теплая показалась, а теперь облегла — не согреюсь никак.

— Он тебя согреет! — хохотнул в темноте прокуренный махорочный басок. — У него враз просохнешь!

Ушаков всем туловищем обернулся на голоса. Проходивший мимо командир второй батареи Кривошеин, заметив, что товарищ майор кого-то ищет, понимая, что ищут, конечно, его, со всей старательностью подсчитав ногу, козырнул, нарочно попадаясь на глаза. Обычно он сторонился командира дивизиона и не понимал его. В самые сильные морозы Ушаков ходил вот в этой кубанке. Даже на уши ее не натянет. Крайнее, что мог позволить себе, — это потереть ухо перчаткой. Кривошеин был обыкновенный человек, и у него на морозе мерзли уши. И, между прочим, он не считал это таким уж большим преступлением.

Но после того, как он прибежал сообщить, что батарея его не может выступить в срок, — говорил тогда правду и тем не менее сейчас шел вместе со всеми, — Кривошеину хотелось загладить неприятное впечатление о себе. И, проходя рядом с пушкой, в грохоте трактора чувствуя себя выше ростом и сильнее, он приветствовал товарища майора. Ушаков отвернулся. Лицо у него было кислое. И в его лице, как в зеркале, командир второй батареи с безжалостной ясностью увидел себя таким, каким был на самом деле: немолодой уже, неловкий чело-

век в завязанной под подбородком ушанке, почему-то старающийся казаться строевиком. И то, как он, криво вздернув плечо, козырнул...

А Ушаков тут же забыл о нем. Среди забот, одолевших его, эта забота была не того сорта, чтоб о ней помнить.

— Я не слышал, что думает начальник штаба? — повторил он, все так же держа руки за спиной.

Ветер хлестал полами его шинели по голенищам сапог.

— По имеющимся данным, — сказал Ищенко, — противник должен сейчас выходить в район Старой и Новой Тарасовки.

И против воли получилось это у него вопросительно.

— Умный у меня начальник штаба! — восхитился Ушаков, глянув в глаза Ищенко. — Не боевой, правда, но — голова!

Ему казалось, что раздражает его Ищенко, а раздражала его неясная обстановка и местность, невыгодная для него со всех сторон.

Он уже выслал вперед командира первой батареи и огневиков с кирками и лопатами рыть огневые позиции. Успеет он прийти туда раньше немцев, сможет принять бой с танками, каким бы тяжелым этот бой ни был. Он сам выбрал эти позиции, на них можно было драться. Но если не успеет... Ушаков посмотрел вниз. Там, на другой стороне оврага, неуклюжий поезд — трактор и орудие, — одолев глубокий снег в низине, начал карабкаться сквозь метель по обледенелому склону. Собственная тяжесть влекла его вниз. Если танки достигнут их на походе, Ушаков даже не сможет открыть огонь, потому что вверх орудия тянут лебедками, вниз спускают на тормозах. Непривычное состояние собственного бессилия раздражало его, и это раздражение он срывал на Ищенко.

— Ну, а еще какие у нас «имеющиеся данные»?

Он шевелил пальцами за спиной. Лицо его с маленькими глазами и толстыми губами было красно от ветра. Но, прежде чем Ищенко успел ответить, Ушаков увидел подымавшегося к ним Васича. Он, наверное, упал где-то и сейчас снятой с головы ушанкой на ходу оббивал с себя снег.

— Ну, а ты, комиссар, какую мысль толкнешь? — спросил Ушаков еще издали.

Васич подошел, тяжело дыша после подъема, обождал, пока пройдут солдаты, сказал, понизив голос:

— Там, внизу, бронетранспортер подбитый.

— Чей бронетранспортер?

— Наш. Подбит недавно...

Ушаков внимательно посмотрел на него. Некоторое время в тишине слышен был отдалявшийся рокот трактора. тяжелое дыхание идущих мимо людей и свист ветра. И в этом свисте ветра за холмом, куда двигался дивизион, вспыхнула вдруг беспорядочная автоматная стрельба.

ГЛАВА IV

Первыми увидели немцев разведчики. Из нескошенного, засыпанного снегом пшеничного поля стали подниматься головы. Черной, колеблющейся на ходу, изломанной цепью они приближались сквозь снег. Головы в касках... Плечи... Руки с автоматами. Все это подымалось из пшеницы по мере того, как немцы приближались.

Разведчиков вместе с Мостовым было четверо. Они лежали в замерзшей водомоине, разбросав ноги. Ждали. Потом их осталось трое: одного Мостовой послал назад предупредить дивизион.

Ветер дул от немцев, и напряженным ухом уже различимы были шаги и шуршание мертвых колосьев, сквозь которые они шли. А может, это казалось. Лежавший рядом с Мостовым разведчик то и дело хватал с земли снег сохнувшими губами. И оглядывался назад, где громко рокотали в низине тракторы.

Взлетевшая далеко ракета не поднялась над гребнем, только осветила край низкого неба, словно из-за туч. И на этом осветившемся небе хорошо и крупно стали видны с земли приближающиеся немцы. Они шли сюда на звук трактора. Начав с левого фланга, Мостовой успел насчитать двенадцать голов, и свет погас. Он зубами стянул с правой руки перчатку, прижал к щеке холодный приклад автомата, повозившись, надежно упер локти. Немцы приближались — черные, наклоненные вперед тени, по мушке смещаясь вправо. Одни сдвигались с нее, другие всходили на мушку.

А в это время на середине подъема трактор лебедкой тянул снизу пушку. На гусенице его сидел на корточках тракторист Никитенко в черных от солярки и масла под-

шитых валенках. У радиатора грел руки солдат, беспокойно оглядываясь. Оказался он тут по той самой причине, по какой во время боя обязательно кто-нибудь окажется возле кухни. Боясь, что его прогонят, он всячески старался услужить трактористу. Заметил, что тот хочет прикурить, — поспешно достал из кармана «Катюшу», высек искры и, раздув шнур, поднес к папироске. Одновременно рассказывал, крича, как глухому, потому что работал мотор, и трактор и Никитенко, сидевший на гусенице, мелко дрожали.

— Это заспорили немец с русским: чья техника сильней? Вот немец достает зажигалку. Щелк! — и подносит прикурить. А наш русский дунул в нее — только дымом завоняло. «Теперь, говорит, погаси ты мою». Достал из кармана «Катюшу», высек огонь. Уж немец дул-дул, дул-надувался, она только ярче разгорается.

И он помахал в темноте ярко тлевшим шнуром.

— Брось огонь!

Разведчик в ватнике, с автоматом на шее, неслышно появившийся перед ним, ударил его по руке, сапогом втоптал огонь в снег. Тракторист сам поспешно прямя папироску в пальцах.

— Бешеный, ей-богу, бешеный, — обиженно говорил солдат, ползая по снегу на коленях, отыскивая свое раскиданное имущество. Он наконец нашел и кремень, и кусок напильника, и шнур в патронной гильзе, вымокший в снегу. С сожалением отряхивая его, погрозился в ту сторону, куда ушел разведчик: — «Брось!» Связываться не хотелось, а то б я тебя, такого храброго!..

И тут оба, и солдат и тракторист, услышали близкую автоматную очередь. Тракторист поднялся во весь рост на гусенице, пытаясь понять, откуда это. Когда он оглянулся, солдат исчез.

А еще ниже, на другом конце троса, толкали в это время орудие. Облепив его со всех сторон, крича охрипшими голосами, с напряженными от усилия зверскими лицами, упираясь дрожащими ногами в землю, батарейцы толкали орудие вверх — руками, плечами, грудью. Под напором ног земля медленно отъезжала вниз. Шаг... Шаг... Шаг... Медленно, с усилием поворачивается огромное, облепленное снегом колесо пушки. Оскаленные рты, горячее, прерывистое дыхание, пот заливает глаза, щиплет растрескавшиеся губы. От крови, давящей на уши, рокот мотора

наверху глохнет, глохнет, отдаляется. Тяжелые толчки в висках... Сердце пухнет, распирает грудь... И нет воздуха!.. А ноги все упираются и переступают в общем усилии.

— Пошлó! Пошлó! Само пошлó! — кричит командир второй батареи Кривошеин. Ему жарко. Он развязал ушанку, одной рукой упирается в щит орудия, другой машет. Ему кажется, что жесты его, голос возбуждают людей, и он сам возбуждается от своего голоса. В этот момент он не думает ни о немцах, ни о предстоящем бое. Все мысли его, все душевные усилия сосредоточены на одном: вытянуть наверх пушку. Шаг, еще, еще один шаг!..

...Мостовой задержал на мушке высокого немца — тот шел в цепи озираясь, — повел ствол автомата с ним вместе. Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который еще оставалось жить немцу. У самой черты он задержался: чем-то этот немец напомнил Мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенко в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо, а на мушку взмошел другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск.

На батарее увидели бегущего сверху от трактора солдата; он что-то кричал и махал руками, словно хотел остановить батарею. Вдруг он упал. И сейчас же по станине со звоном сыпанул железный горох. Один из солдат, толкавший пушку, тоже упал и отъехал вниз вместе с землей, по которой, упираясь в общем усилии, продолжали переступать ноги батарейцев. Но ударил сверху трассирующими пулемет, и люди отхлынули за пушку, не слыша, что кричит им командир батареи. Попадая в снег, срывая с себя карабины, они клацали затворами, озирались, не понимая, откуда стреляют по ним. Наверху, надрываясь, рокотал трактор, дрожал натянутый трос, и пушка еле-еле ползла вверх, гребла снег колесами. Опять ударил сверху пулемет. Солдат, бежавший от трактора, переждав, вскочил и побежал. И еще несколько человек сорвались и побежали.

— А ну стой!.. Стой! Стой, кто бежит!..

Снизу, хмурясь, с прутиком в руке шел Ушаков. Среди тех, кто бежал от пушки, и тех, кто бежал навстречу им, чтобы остановить, он один шел своим обычным шагом. И по мере того как он проходил, люди подымались из снега, облепляли пушку, которую до этого момента толкал один командир батареи.

Похлестывая себя прутиком по голенищу сапога, Ушаков прошел мимо орудия, словно заговоренный, навстречу транспирующим очередям, единственный из всех, очевидно, знавший в этот момент, что делать.

Но и он в этот момент тоже еще не знал, что надо делать, и потому шел властно уверенный, холодный, собранный, похлестывал прутиком по голенищу: множество глаз смотрело на него, он чувствовал их.

С того времени, как Ушаков услышал стрельбу, он понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось: танки настигли дивизион. И настигли его здесь, в ложине, когда две пушки висят на тросах, а третью трактор тянет по глубокому снегу. Спустить пушки вниз, занять круговую оборону? Танки обойдут их и с короткой дистанции, прикрываясь холмами, расстреляют тяжелые, малоподвижные орудия, стоящие открыто. И Ушаков впервые пожалел, что часть батарейцев с одним командиром батареи отправил вперед рыть орудийные окопы. Он поступил правильно: иначе он не успел бы в срок занять огневые позиции. Но сейчас эти люди нужны были ему здесь.

Ушаков не был суеверен. Но когда он увидел подбитый бронетранспортер, место это показалось ему дурным. И на него неприятно подействовало то, что именно здесь немецкие танки настигли дивизион.

Пулеметная очередь ветром тронула кубанку на его голове. Ушаков поправил ее рукой. Но когда поднялся над гребнем оврага, пришлось лечь: над полем сквозь дым поземки неслась огненная метель, и снег под нею освещался мгновенно и ярко. Это в хлебах безостановочно работали два пулемета, и множество автоматов светящимися нитями прошивали ночь.

Лежа за гребнем оврага, как за бруствером, Ушаков вглядывался в темноту трезвыми глазами. С остановившегося, смутно маячившего бронетранспортера прыгали в пшеницу немцы, рассыпались по ней, стреляя из автоматов. Нескольких над землей срезали короткие очереди. «Мостовой!» — понял Ушаков. И сейчас же вся масса

огня, сверкавшего над полем, дрогнула, метнулась туда, откуда стреляли разведчики. Трассы пуль остро врезались в землю, шли по ней; оттуда никто не отвечал. И Ушаков догадался: немцы растеряны. Они напоролись на разведчиков, они слышат из оврага рокот моторов и, оцетинясь огнем, стреляя из всех автоматов, ждут в хлебах, пока подойдут танки, выгрызают время. Даром отдают это время ему. «Эх, лопухи, лопухи!» — быстро подумал он, заражаясь азартом боя, снова веря в свою счастливую звезду. Он оглянулся. Баградзе лежал рядом. Притянув его к себе за борт шинели, врезая свой взгляд в его синевато мерцавшие в темноте, косившие от волнения глаза, Ушаков говорил:

— Передашь комбатам: орудия отводить к лесу. К лесу! Ищенко найди. Он поведет.

Баградзе, беззвучно шевеля губами, повторял, как за гипнотизированный.

— Взводá управления ко мне! С гранатами! Ясно? Беги! Автомат дай сюда!

И, взяв автомат ординарца, Ушаков выглянул из-за гребня. Там, где, невидимые отсюда, лежали разведчики, мелькнуло над землей что-то темное и быстрое. Упало. Еще один вскочил под огнем, быстро-быстро перебирая ногами, вжав голову в плечи. Брызнувшая из темноты, под ноги ему пулеметная струя смела его. Ушаков дал очередь. Туда, где билось короткое пламя пулемета. Он слал очередь за очередью, прикрывая отход разведчиков, вызывая огонь на себя. И вскрикивал всякий раз, когда перебежавший немец падал под его огнем.

Потом он услышал дыхание и голоса множества людей, лезших к нему снизу. Оглянулся между выстрелами. Васич со взводом спешил сюда.

— Диск! — крикнул Ушаков.

Чья-то рука, заросшая черными волосами, страшно знакомая рука подала диск. Ушаков вбил его ладонью. Низко по гребню, задымив снежком, резанула пулеметная очередь. Несколько голов пригнулось. Ушаков увидел Васича близко — потное, влажно блестящее при вспышках лицо. Он говорил что-то. Ушаков не разбирал слов. Оборвав Васича, показал рукой на поле:

— Гляди! Лощинку видишь? Поперек поля?

Он кричал так, что вены напряглись на шее. Васич увидел лощинку. Она шла параллельно немцам, преграждала им путь к дивизиону. И он понял план Ушакова.

— Туда?

Ушаков кивнул. Крепко взял его за плечи:

— Задержишь танки! Гранатами, зубами, чем хочешь! Не отходить, пока не отойдут орудия! Ясно? Беги! Пять человек оставишь со мной!

Васич поднялся со снега. До лощинки метров десять открытого места. Он вглядывался в него. И первый, пригибаясь, в длинной шинели, перебежал этот кусочек поля. Хлестнула запоздалая очередь. Пустота. Голый снег. Пулей проскочил по нему солдат и скрылся.

— Огонь! — крикнул Ушаков.

Пятеро, они прикрывали огнем взвод. Солдат за солдатом — согнувшиеся тени — мелькали на виду и скрывались в лощинке.

Оторвавшись от автомата, Ушаков глянул назад. Две пушки еще спускали на тросах, и только третью тянул внизу трактор. Медленно! Медленно!

— Товарищ майор! Товарищ майор!

Баградзе совал ему в руки автоматный диск.

У немцев в пшенице сверкнуло, и сейчас же знакомо и низко завывало над полем.

— Ищенко где?

— Начальник штаба сказал: абэспэчу отход! — яростно сверкая глазами, кричал Баградзе.

Вой мины был уже нестерпимо близким, гнул к земле.

— Беги назад! Скажи Ищенко: быстрей! Как мертвые там! Быстрей! Пока танков нет!

Он слышал, как вместе с осыпавшейся землей покатились вниз Баградзе. Оборвался, повиснув, вой мины. Тишина... И — грохот разрыва. Блеснувший в глаза огонь. Вместе с грохотом разрыва кто-то большой, дышащий с хрипом, упал рядом с Ушаковым. Они поднялись одновременно. Голубев. Командир взвода управления третьей батареи. Сосредоточенное, по-молодому взволнованное лицо. Расстегнутая, бурая от ветра могучая шея.

— Товарищ майор! — пришепетывая, докладывал Голубев, задохнувшийся от быстрого бега. — Прибыл... со взводом.

— По одному! — Ушаков ткнул в сторону лощинки. — Давай!

Новая мина уже выла над головой. Голубев вскочил. В левой руке — маленький при его огромном росте ручной пулемет. Ушаков жадно глянул на него. Он еще ничего не успел сказать, как Голубев понял сам.

— Возьмите, товарищ майор! — говорил он, по-мальчишески радуясь возможности отдать то, что самому дорого. — У ребят еще есть!

«Врет, — Ушакову приятно было смотреть на этого здорового, боевого парня. — А молодец!»

Внизу двое солдат, согнувшись, бегом пронесли длинное противотанковое ружье. Они одновременно присели от близкого разрыва, потом побежали еще быстрее.

Голубев выхватил из кобуры пистолет, махнул взводу: — За мно-ой!..

Голос его заглушил разрыв мины.

Устанавливая подсошки пулемета, Ушаков видел, как Голубев бежал огромными прыжками. И со злой яростью, со сладким мстительным чувством он дал из пулемета длинную очередь по немцам.

За вспышками пламени, бившегося на конце ствола, коротко освещавшего темноту, он не сразу увидел танки. Раньше он услышал, почувствовал их. Стала вдруг смолкать ружейная и автоматная стрельба, становилось тихо, и вскоре только железное лязганье и рычание властвовали над полем. Сквозь дым поземки танки ворочались в нескошенной высокой пшенице.

Ушаков схватил пулемет, крикнул пятерым: «Не отставать!» — и они, маскируясь за гребнем, побежали вперед, во фланг немцам.

Уже у самой лоцинки пуля догнала Мостового. Он спрыгнул вниз, рывком расстегнул широкий ремень с пистолетом и гранатами, висевшими на нем, скинул телогрейку, шапку сунул на бруствер. Ее сейчас же сбило оттуда: над головой немцы сыпали из автоматов светящиеся пулями.

Здоровой рукой Мостовой стянул с себя гимнастерку, еле пролезшую через его широкие плечи. Левый рукав бязевой рубашки, черный от крови, лип к руке. Торопясь, пока немцы не пошли, он стащил рубашку через голову. Из маленькой пулевой ранки толчками выбивало кровь. Он понял: перебита артерия. Кровь текла по руке, капала с локтя. Сидя на земле, он поддерживал раненую руку. От его потного, голого по пояс тела на морозе шел пар. Разведчик изо всех сил перетягивал ему жгутом руку у плеча, чтоб остановить кровь.

— Сильней! Сильней! — просил Мостовой, краем глаза наблюдая за полем. Он увидел, как в хлебах зашевелились танки. Заметенные снегом, они двинулись, смутно различимые сквозь поземку. Они шли, ощупывая впереди себя землю пулеметным огнем. Близкая очередь рубанула по краю лощинки.

— Быстрее! — крикнул Мостовой, а сам уже надевал на одну руку телогрейку, тянулся к противотанковому ружью.

Танки шли, властно подминая все звуки боя. У переднего огнем сверкнула пушка. Тугой, горячий звон ударил Мостовому в голову, к горлу подкатила тошнота, рот наполнился слюной. На минуту в дыму разрыва он потерял танк. И сейчас же опять увидел его.

В лощинке все время переползали, лезли по ногам. Не отрываясь, Мостовой вел за танком ствол длинного ружья. Нажал спуск. Вместе с сильным толчком в плечо увидел, как по башне танка чиркнул синий сернистый огонь и пуля косо ушла вверх. Он выстрелил еще раз, и опять на танке сверкнул длинный синий огонь. Пули чиркали по броне, как спички о коробку, и косо уносились вверх, догорая на лету.

Мельком Мостовой увидел свою левую руку. И удивился, что она не чувствует холода. Он упирался в снег голым локтем и не чувствовал холода. Он вообще не чувствовал руку. Но она крепко держала ружье, и он успокоился.

А танк неся на него вместе с белой метелью, она кутала его гусеницы, и оттуда, из метели, остро и косо вылетали огненные трассы пуль. Что-то крикнул разведчик. Чего он кричит? В одной телогрейке на голом теле Мостовой обливался потом. Или это снег таял на груди? Приклад ударил его в плечо.

— Патрон!

Как чужую, Мостовой увидел на снегу свою кровь. Весь снег, где он упирался локтем, был черным от крови. От его крови. Но боли не было, и рука держала ружье.

Какие-то голоса кричали около него. Он слышал их сквозь звон в ушах. Близкая пулеметная очередь огненной плетью хлестнула перед ним. Кто-то, перебегая, наступил на его раскинутые, обмороженные ноги. Мостовой не отрываясь целился. Среди выстрелов, огня он вел на конце ружья танк.

Чего они кричат? Кто бежит? Стрелять надо тех, кто бежит. Не разжимая стиснутых челюстей, он целился. Мелькнуло рядом испуганное лицо разведчика. Танк поворачивал башню. В глаза, в сердце мертвой пустотой глянуло дуло орудия. Прыгнуло вверх, закачалось. Только не спешить. Щурясь, он сдерживал палец, нажимавший спуск. И уже не дышал. Он задержался, нажал, и спусковой крючок сорвался легко и бессильно. И в тот же миг перед сощуренными глазами Мостового сверкнул огонь. Ему показалось, что это ружье взорвалось в его руках.

Ослепительно сверкнувший огонь и еще что-то острое вошло в него, в мозг его, в тело, вошло безбольно и мягко, словно не было в нем ни костей, ни нервов. И Мостовой почувствовал странную невесомость, кружение и пустоту. Но и летя в пустоте, он еще боролся, он чувствовал, что его отрывают, и не давал оторвать себя от земли, хватался за нее руками, которых у него уже не было.

Вечность, в течение которой он еще сознавал, больно, трудно расставаясь с жизнью, так и не поняв, что расстается с ней,— все это для постороннего глаза слилось в короткое мгновение.

Люди, с гранатами прижавшиеся к земле, пока башня танка, поворачиваясь, дулом выбирала кого-то из них, видели, как орудие остановилось, сверкнуло пламенем. И сейчас же перед головой Мостового, слившейся с ружьем, в тот самый момент, как ружье выстрелило по танку, взлетел огонь. Потом с земли, держа руками окровавленную голову, поднялся солдат. Танк с ходу ударил его в грудь, подмял, пронесся над ложиной. Но тут в вихре снега, несшегося с ним вместе, все осветилось изнутри, сотряслось от взрыва, и люди упали на землю. А когда поднялись, танк стоял без башни, и красное пламя с черной каймой копоти развернулось и махнуло над ним, как воткнутый в него флаг.

— Куда? Назад!

Ищенко на бегу размахивал в воздухе пистолетом. Но за грохотом мотора тракторист не слышал его, и трактор продолжал идти. Железный, обдающий жаром, запахом горячего масла и солярки, он прошел близко, укладывая под себя на снег дрожащие гусеницы. За ним шло

орудие на высоких колесах; бежал расчет с охапками хвороста, с какими-то жердями, подпихивали, подкладывали, некоторые срывали с себя шинели, стелили под колеса пушки.

А в черном небе, над ложиной, над этими людьми, неслись светящиеся пули.

— Где комбат?

Несколько голов обернулось. Из-за станины выскочил командир взвода в шапке, в гимнастерке, с портупеей через плечо, весь новенький, как пряжки на его амуниции. Ищенко смутно помнил его в лицо и не помнил фамилии. Один из тех лейтенантов, которых после боя присылают пополнять убыль в дивизионе и которых после следующего боя уже не хватает.

— Почему орудие здесь? Где командир батареи?

— Туда нельзя, товарищ капитан! Крутой подъем.— Оторвав руку от виска, лейтенант указывал на высоту, загородившую дорогу.— Низом быстрее. Обойти...

Все было правильно: они отходили к лесу. Ищенко только показалось, что они повернули обратно, в бой.

— Тянетесь, как мертвые! — закричал он.— Там люди погибают, а вы тянетесь, черт бы вас взял! Где командир батареи?

— За командира батареи я, лейтенант Званцев! — докладывал командир взвода, дыша паром, и от его гимнастерки подымался пар.— Командир батареи послан вперед выбрать огневые позиции!

И он был счастлив и горд, когда говорил: «За командира батареи я, лейтенант Званцев!» Оттого, что он впервые в своей жизни остался за командира батареи, оттого, что его орудие раньше всех выйдет сейчас на позицию, и откроет огонь по танкам, и даст всем отойти.

Сугулясь, в длиннополой шинели, с опущенным пистолетом в руке, Ищенко стоял над лейтенантом, шире его и выше ростом, с ненавистью глядя в его залитое крутым румянцем, пышущее здоровьем лицо. Из-за того, что его орудие еще здесь, а не в лесу, он, Ищенко, тоже должен быть здесь. А там, позади, еще два орудия, и за спиной Ищенко, как напоминание, что нужно идти туда, под обстрел, дышал разведчик, которого он взял сопровождать себя.

— Быстро к лесу! — приказал Ищенко и крупно зашагал назад.

Он шел в сторону боя, и разведчик с автоматом, не отставая, шел за ним, словно вел его под конвоем. И чем ближе подходили они, взбираясь по крутому боку оврага, тем сильнее накаливалось в Ищенко раздражение против этого разведчика, свидетеля каждого его шага, каждого движения.

А тот шел, положив руки на ствол и приклад автомата, висевшего у него на шее, и чувствовал себя постыдно. Там, на поле, под разрывами, под огнем танков дрались и умирали ребята, его товарищи, а он здесь в безопасности, бегал за капитаном с батареей на батарее, и на каждой батарее капитан кричал и тряс пистолетом.

Вдруг Ищенко, онемев, увидел немецкие танки. Они стояли. Стояли открыто, заметаемые снегом, и ждали. Как раз там, за высотой, куда Званцев вел орудие.

Еще не успев ничего решить, подчиняясь инстинкту, Ищенко молча, на полусогнутых ногах пригибаясь, побежал вниз. Он побежал не на батарею, которая продолжала идти, не подозревая, что идет прямо на танки, ожидающие ее. Он кинулся в сторону. В сторону от людей, кого обязан был вывести или с кем вместе — умереть. Инстинктом, опытом, некогда переданным ему другими, обострившимся умом Ищенко осознал мгновенно, что сейчас легче уцелеть одному. Уцелеть... Вырваться!.. Он бежал и знал, что начнется позади него.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан, куда вы? — не понимая, что случилось, и единственно тревожась за начальника штаба, которого ему было поручено охранять, кричал сверху разведчик. Он не видел танков и стоял открыто спиной к ним.

Оттуда блеснула длинная молния, позже донесло стук пулеметной очереди. Долго еще Ищенко слышал голос, пронизанный болью, зовущий на помощь:

— Товарищ капита-ан!..

Задыхаясь, хватая ртом воздух, Ищенко бежал через кусты. Одного только жаждал он сейчас страстно: чтобы разведчик замолчал, замолчал наконец, не стонал так громко. И исполнилось. Он услышал близкую автоматную очередь, и голос разведчика пресекся.

Ищенко упал в снег. Сердце колотилось в горле, в висках. Он не мог бежать, только бессильно вытирал шапкой лицо.

В той стороне, куда Званцев вел орудие, хлестали уже пулеметные трассы, и все там было в этом мгновенно сверкающем, несущемся отовсюду, стремительном огне. Ищенко метнулся в другую сторону. Упал. Прополз открытое место, коленями, руками гребя снег. В кустах опять вскочил. Бежал, согнувшись, с зажатым в руке пистолетом. Пули низко летели над его спиной, над хлястиком шинели, и он бросался из стороны в сторону.

Он знал: если не вырваться сейчас — конец. Танки с фронта и с тыла двинутся теперь навстречу друг другу, и все, что окажется между ними, будет раздавлено. Но еще есть щель, еще можно проскочить. И он бежал, по стрельбе угадывая направление. Не туда, где сейчас тихо: там, в темноте, тоже танки. К ним, под гусеницы, пулеметным огнем погонят немцы сбившихся в кучу людей.

Ищенко бежал кустами, пережидал, нырял под трассы и снова бежал. Молча. Со взведенным пистолетом в руке.

Немец вскочил, темный в свете зарева, пригнувшись, метнулся к воронке. Короткой очередью Ушаков пришил его к земле. Оглянулся назад. Сквозь снег увидел, что дальше отсюда орудие подходит уже к лесу. Метров пятьдесят еще, и оно станет на опушке, и под прикрытием его огня отойдут остальные. И тогда он снимет цепь и тоже отойдет к лесу. А там можно драться, когда спина защищена.

— Гляди! — крикнул он Васичу, подползшему к нему в этот момент. Лицо Ушакова было возбуждено, стальные, мокрые от слюны зубы блестели в красном зареве. — Видишь?

Приподнявшись, он рукой в перчатке указал назад.

И тут из-за поворота лощины, почти от леса, огненным веером ударили по орудью пулеметные трассы. Что-то мутное сквозь метель, темное, низкое вышло наперерез, сверкнуло огнем, и, прежде чем донесло выстрел, все увидели, как там, у орудия, заметались на снегу люди. А по ним в упор бил танк из пулемета, и снова сверкнула его пушка, и снова — разрыв!

Ушаков вскочил с земли. Он не видел, что по нему стреляют. Скрипнув зубами, он побежал под уклон, вниз, туда, где стоял подбитый бронетранспортер. Там зенит-

ный пулемет. Бронебойные патроны... Успеть развернуть... Прикрыть людей огнем!.. Мысль эта билась в нем, пока он бежал вниз, под гору.

Васич увидел, как справа, слева от Ушакова возникли две параллельные огненные трассы. Он бежал в середине, без шапки, прижимая локти к бокам. Между двумя трассами возникла третья струя огненного металла. Она вонзилась в Ушакова, прошла через него, и он упал.

Трассы погасли. Танки в пшенице зашевелились, лязгая, стреляя огнем, двинулись на людей, лежавших с автоматами в ямах, в воронках от снарядов.

Двинулись, чтобы сомкнуться с другими танками, вышедшими наперерез, от леса.

А Ушаков еще бежал. Мыслью он бежал туда, к бронетранспортеру, где был зенитный пулемет. Его надо развернуть. И Ушаков полз по снегу, приподымался, падал, опять полз, весь в снегу, оставляя за собой широкий кровавый след. Он еще не чувствовал, что убит, он жил. И ему повезло в последние секунды его жизни: с яростной силой над ним заклокотал зенитный пулемет. Кто стрелял? Быть может, он сам? Все мешалось в его мутнеющем сознании. И только одно было явственно: над полем, над бегущими людьми, прикрывая их, неслись к танку огненные трассы. Ушаков закричал, вскочил, весь устремляясь туда... Умиравший человек едва заметно зашевелился со стоном, и поднялась голова: волосы в снегу, мокрое от растаявшего снега лицо, мутные глаза. Он еще увидел ими, как там, куда бил пулемет, вспыхнуло ярко и загорелось.

Горел немецкий танк. Это было последнее, что видел Ушаков, и умер он счастливый.

Он не знал, что это горит наш трактор, подожженный немецким снарядом.

ГЛАВА V

Он не видел, как уже по всему полю, по открытому месту, проваливаясь в снег, бежали люди — к лесу, к лесу, — а танки сквозь метель гнались за ними, в спины били из пулеметов, и люди падали, и некоторые еще ползли.

Сорвав голос, Васич пытался собрать людей:

— Сюда! В овраг!

Но люди не слышали: смерть была за спиной.

— Сюда-а!..

Он дал очередь над головами бегущих.

Несколько человек, появив, кинулись к оврагу. Падал, закувыркались через головы в облаке снежной пыли. Внизу, вскочив, затравленно отряхивались, кто-то смеялся некстати, нервным, лающим смешком. И сейчас же над краем оврага, отрезая темное небо, понеслись светящимся веером пули.

— Стой! — крикнул Васич, пресекая первое инстинктивное стремление людей бежать, и тряхнул поднятым автоматом.

Близко горел трактор. Овраг был залит дрожащим красным светом. И в этом мутном свете косо неслась красная метель. Люди стояли, обступив Васича. Запавшие виски, провалившиеся щеки, в блестящих глазах отражался пожар. Они смотрели на Васича этими испуганно блестящими глазами. Он остановил их, он крикнул: «Стой!» — он должен знать, что делать дальше. Наверху, среди разрывов и рева танков, пулеметные очереди выкашивали живых, тех, кто еще метался по полю. А они сбились здесь, освещенные пожаром, и танки могли появиться в любой момент.

Низко, все снижаясь, пронеслись вдогон друг другу стаи огненных пуль: из метели надвигался к краю оврага танк.

— Кто бежит? — Васич тряхнул над собой автоматом. Он видел, как несколько человек присело под пулями, беспокойно озираясь. — Никому не бежать! Вон пушки!

Он указывал автоматом в сторону пожара. Одна пушка; брошенная всеми, завалилась набок: левое колесо было отбито. Трактор, державший ее на тросе, горел наверху. Около другой суетился расчет. Они на руках скатывали ее вниз, надеясь открыть огонь, но уже видно было, что не успеют, и они понимали это и только жались вокруг, не решаясь бросить.

— Подрывай пушки! — крикнул Васич. — Кто побегит от пушек — стреляю!

Из лиц, с одинаковым выражением смотревших на него, выхватил глазами лицо старшины.

— Старшина, веди!

А сам побежал ко второй пушке, на ту сторону оврага. По ней уже косо, навесным огнем рубили пулеметные трассы.

— Подрывай! — Он издала, на бегу махал рукой. — Подрывай пушку!

Они поняли. Кто-то рослый, торопясь, кинул гранату в ствол, и все врассыпную бросились от орудия, попадали в снег. Почти одновременно ударили два взрыва. Вскочив, люди побежали дальше, освещенные со спин. И вместе с ними по красному от пожара снегу бежали, вытянутые вперед, их тени.

Когда достигли замерзшего русла ручья, Васич оглянулся. Пот из-под шапки заливал глаза. Он вытер его жестким рукавом шинели. Туда, где стояли пушки, уже вышел танк. И башни других танков смутно маячили сквозь метель и зарево. От них, сверкая, неслись длинные огненные струи, неслись вдоль оврага, сюда. Бежавший впереди солдат остановился, выпрямился, пошел боком, боком, схватился за деревце. Он стоял в снегу, качаясь, и деревце все ниже гнулось под его тяжестью. В тот момент, когда Васич подбежал, макушка деревца стремительно взлетела вверх, и он едва не споткнулся об упавшего поперек дороги человека. На откинутой руке его еще шевелились пальцы, гребли снег, но глаза уже мертво закатились под лоб.

Русло ручья, заваленное снегом, петляло. Задыхаясь, обливающиеся потом люди бежали, пригибаясь в кустах. По ним вдогонку били пулеметы, и над согнутыми спинами мгновенно сверкало. Но лес был рядом. Темный, он приближался из метели. Лес! Жизнь!.. И вдруг оттуда в упор ударили автоматы. И люди заметались в красных, зеленых, желтых огненных струях, бьющих отовсюду. Вспышки на искаженных лицах. Вспышки на снегу. Крик ужаса и боли.

— За мной! — властно закричал Васич, заглушая все голоса. И те, кто упал на снег, и те, кто полз, увидели, как он встал перед ними во весь рост с яростным лицом и автоматом в поднятой руке, словно заслонив их собою от пуль и немцев. — За мно-ой!

Васич бежал, прижав к боку бьющийся в ладонях автомат. Он не видел — знал, чувствовал, что за ним, рядом с ним в едином слившемся крике бегут люди на выстрелы, выставив перед собой огненные трассы пуль. В метели все сплелось, смешалось. Каски. Распяленные в

крике рты. Рвущиеся из земли огненные вспышки гранат. Чье-то черное, вскинутае взрывом тело...

Среди деревьев, с шипением вливаясь в стволы, неслись расплавленные струи металла. Но это уже вслед, вслед... Лес распахнулся навстречу.

А в трех километрах отсюда огневики, посланные вперед рыть орудийные окопы, все еще долбили мерзлую землю. Скинув шинели на снег, распоясанные, в одних шапках, с ремнями через плечо, они работали без перескура: командир батареи торопил их, поглядывая на часы. Потом и он сам взялся за кирку. И когда взмахивал ею над головой, под мышками обнажались темные, все увеличивающиеся круги. У солдат от потных спин шел пар, и от земли, там, где пробили мерзлый слой, тоже подымался пар, и она казалась теплой внутри.

Все время, пока они работали, южнее, недалеко где-то, слышен был бой: разрывы снарядов и частая пулеметная и автоматная стрельба. Но здесь, перед ними, где ожидался прорыв танков, фронт был устойчив, только чаще обычного взлетали над передовой ракеты.

Эта непонятно отчего возникшая южнее и все усиливающаяся стрельба будила тревогу.

К пяти часам, когда окопы были закончены, бой прекратился. Солдаты разобрали шинели, сидя в свежих ровиках, горячими от лопат и кирок руками свертывали сигарки, курили, жадно насасываясь табачным дымом впервые за много часов.

Притоптав сапогом окурок, командир батареи вылез на бруствер, долго стоял, вслушиваясь в ночь. Северный ветер свистел над равниной, в пустые орудийные окопы порошило снежком. Еще гуще стала темнота перед утром. Время близилось к шести. Дивизион все не шел.

И никто из них — ни командир батареи, ни эти солдаты, отдохавшие в затишке, — не знали, что и они сами, и вырытые ими окопы — все это было уже в тылу у немцев.

Двадцать шесть человек собрал Васич в лесу. Двадцать шесть оставшихся в живых, не понимающих хорошенько, как после всего они еще живы. В порванных, обожженных шинелях они сидели на снегу, держа автоматы на коленях, неотдышавшиеся, размазывали по ли-

цам пот, грязь и кровь, и многие даже не чувствовали еще, что ранены. Кто-то страшно знакомый, без шапки, стоял под деревом на коленях, горстью хватал снег и прикладывал к виску. Снег тут же напитывался кровью, он отбрасывал его, сгребал горстью новый и прижимал к виску. По щеке его текли растаявший снег и кровь, телогрейка на груди и колени ватных брюк были мокры. Проходя мимо, глянув в лицо, Васич узнал его: Халатуря. Тот самый разведчик, который ходил с ним и с Мостовым. И Васич обрадовался, увидев его живым.

Рядом с Халатурой солдат, хрипло смеясь, свертывал трясущимися пальцами сигарку, нервно дергал головой.

— Как он нас, а?.. Ка-ак он нас!..

И прыгающие пальцы просыпали табак.

Другой, взведя пружину, хмурясь, заряжал на колесах автоматный диск, торопился, поглядывая в сторону выстрелов. Еще слышны были танки и далеко где-то немецкие голоса, перекликавшиеся по лесу. Бил с бронетранспортера миномет, и мины, задевая за ветки, рвались в воздухе, как шрапнель. Сюда, в глубину леса, пока еще достигали редкие пули.

Васич стоял под деревом, спиной опершись о ствол, сунув руки в карманы шинели. Он знал, что немцы продвигаются по лесу, скоро они будут здесь. Но он все не давал приказа отойти. Где-то еще должны быть люди. Отбившиеся, прорвавшиеся поодиночке. Не может быть, что это все и больше никого не осталось. Он отходил последним, где-то бродят поблизости те, кто раньше пробился в лес. И он все ждал и не уводил остатки дивизиона. Люди, сидя на снегу, прислушивались к голосам и выстрелам: они как будто приблизились.

Подошел Ищенко.

— Люди беспокоятся. Чего мы ждем?

Васич поднял на него глаза. Он смотрел на него и что-то хотел вспомнить. Что-то важное, с ним связанное.

— Ты отходил с первой батареей?

— Нет,— быстро сказал Ищенко.— Первую вел Званцев. Я как раз был у них перед этим... Перед тем, как танки прорвались. А что? Ты почему спрашиваешь?

Но Васич не заметил его беспокойства. Он думал о своем: «Должен был еще кто-то пробиться в лес. Не могли все погибнуть».

— Из тех, что с тобой отходили, жив кто-нибудь?

Ищенко молчал. Он боялся этого вопроса.

— Посто́й, ты с какой батареей?..

Тогда Ищенко закричал:

— Ты что, проверяешь меня?

Васич посмотрел на него, и тяжелос подозрение шевельнулось в нем. Он опустил глаза. Он медленно вспоминал. Ищенко не было ни на второй, ни на третьей батарее, когда он приказал подорвать пушки.

— Вот! Вот! — кричал Ищенко, показывая на шинели дырки от пуль и осколков, просовывая в них палец. — Вот где я был!

«Неужели бросил людей?»

Васич стоял, глядя вниз.

— Послать разбитый дивизион под гусеницы танков! Без рекогносцировки! Не разведав, не уточнив! Нами затыкали дыру, как амбразуру чужим телом! Кто отвечает за это? Они проехали по нас! Давили людей танками! Рядом со мной срезало связного! Очередью с танка! Вот!

Он опять проткнул дыру на рукаве. И когда его палец прошел тем путем, каким вот здесь прошла пуля, случайно не убившая его, он содрогнулся. Содрогнулся от ненависти к людям, пославшим его под танки, и от жалости к себе. Им никакого дела не было до всей его прожитой жизни. Он, безупречно прослуживший столько лет, провоевавший всю войну, мог сейчас, как те, порезанные из пулеметов, раздавленные танками, валяться на снегу. И теперь за то, что он жив, его хотят сделать виновным!

Вспыхнула над лесом ракета, и Васич близко увидел его лицо. Бледное, зеленоватое при падающем сверху химическом свете, оно дрожало от нервной судороги, комкавшей его. И странный лес окружал их: черные, движущиеся вокруг деревьев тени на зеленом снегу.

— Ты что предлагаешь?

Сдерживаясь, он спросил тихо.

— Раньше надо было предлагать! Когда отправляли! Разбитый с тремя пушками дивизион против «тигров»!.. У меня пять патронов в пистолете. Кто отвечает за это?..

А в самой глубине сознания билась мысль: отвлечь. Отвлечь Васича, пока подозрение не укрепилось в нем. И рядом с этим — жалость к себе. Такая, что ломило сердце. Если его жизнь для них ничто, так он сам должен бороться за нее. Сам!..

— Что ты сейчас предлагаешь?

— Судить! За все, что произошло здесь!

Длинная автоматная очередь пронеслась над ними, и при ее мгновенном огненном свете глаза Ищенко блеснули.

— Замолчи!

От тяжелых толчков крови в ушах Васич плохо слышал. Приблизившееся, выкрикивающее безумные слова лицо Ищенко, близкие выстрелы, ночь, осветившаяся вдруг трассами пуль, засверкавшими среди деревьев... Люди уже вскочили на ноги и стояли сгрудясь. Если они услышат то, что кричит этот человек, если поверят, что кто-то виноват во всем происшедшем, они не смогут бороться, не выйдут, погибнут здесь.

— Замолчи!..

Голос, которым Васич сказал это, испугал Ищенко. Но выстрелы приближались, и отчаяние придало ему смелости.

— Правды боишься? — закричал Ищенко. — Поздно...

С единственным желанием спасти этих людей, которых он вывел сюда из-под огня, Васич потянулся к кобуре. В тот момент, когда он почувствовал пистолет в своей руке, лицо Ищенко — белое, расплывшееся пятно — отшатнулось от него и горячие пальцы вцепились в его руку. Вместо глаз Ищенко чьи-то другие, испуганные глаза.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Лейтенант Голубев держал его за руку. А уже бежали под выстрелами солдаты, и вслед им в черноте ночи сверкали меж стволов огненные трассы пуль. Люди, пригибаясь, на бегу отстреливались назад. Васич вырвал руку с пистолетом, но Голубев еще крепче схватил ее. Мимо пробежали трое. Средний, Кривошеин, прыгал на одной ноге, обняв за шею двух других, и солдаты волокли его.

— Пусти! — сказал Васич.

С пистолетом в руке он отступал последним. И всякий раз, перебегая от дерева к дереву, видел, что Голубев ждет его. Обойма кончилась. Он сорвал с шеи автомат. Целясь из-за деревьев, бил короткими очередями по вспышкам и снова отбегал, пригибаясь, метя по снегу полами шинели.

В густом, засыпанном снегом сосняке Васич опять собрал людей и повел их на северо-запад. На карте, лежащей у него в планшетке, поместился только краешек этого леса — опушка, где они прорвались, опрокинув ве-

мецкую засаду. Дальше карты не было. Он вел людей по компасу. И люди, с доверием следовавшие за ним, не подозревали, что он ведет их наугад. Знал об этом один Ищенко, но он теперь молчал.

Васич шел впереди, сутулясь больше обычного, словно всю тяжесть разгрома нес на своих плечах. И когда он оглядывался, всякий раз ловил на себе отчужденный, испуганно-недоумевающий взгляд Голубева. Тот поспешно отворачивался.

Все дальше от выстрелов уводил Васич остатки дивизиона. Он вел их в тыл к немцам, в глубину обороны: там, не на пути передвигавшейся массы войск, было сейчас безопасней. Солдаты несли на себе раненых и их оружие. Последним шел Баградзе с длинным, туго набитым белым мешочком в руке. Даже когда прорывались в лес, он, потеряв автомат, оставшись с одним наганом, не бросил этот мешочек. В нем, завернутая в промасленную бумагу, лежала целая вареная курица, жареное баранье мясо, хлеб, несколько крутых яиц и соль в плоской коробке. А на поясе Баградзе булькала обшитая сукном немецкая фляжка с водкой. Все это он нес для командира дивизиона. Он шел последним и оглядывался назад: он все еще надеялся, не мог поверить, что майора Ушакова нет в живых.

Багровое пламя горящих танков долго в эту ночь металось по ветру, смутные отсветы его, освещая поле и край леса, дрожали на снегу, на стволах деревьев, на лицах и шинелях убитых. Бой отодвинулся, но здесь по временам еще раздавались взрывы, и пламя и искры высоко вскидывались вверх. Потом пламя погасло. И лес и поле опустились во тьму. Еще светился раскаленный металл, и от земли, вокруг догоревших танков, шел пар, и снег таял на ней. Но он уже не таял на лицах убитых. Разбуженные в теплых хатах, где они после многих суток босв впервые спали раздетые, во всем чистом, даже во сне ощущая покой и тепло, поднятые среди ночи по тревоге, они этой же ночью досыпали на снегу вечным сном под свист поземки.

А ветер выл и выл, тоскливо, по-зимнему. В небесной выси за облаками своим путем плыла холодная луна, еще недавно освещавшая путь этим людям; поле под ней то светлело, то хмурилось. И снег все мело и мело между крошечными, коченеющими на ветру бугорками тел.

ГЛАВА VI

Высунув бинокли из хвои, Васич и Голубев наблюдали за черной точкой, медленно приближавшейся к ним. В безмолвии лежала снежная равнина под низким зимним небом. Было позднее утро, но солнце еще не показывалось. Только по временам сквозь облака ощущалось тепло его, и тогда снег светлел и резче видна была на нем движущаяся черная точка.

У Васича мерзли ноги. Он шевелил пальцами в тесных сапогах. Рядом возился Голубев. От голода у него глухо урчало в животе, он всякий раз сбоку испуганно поглядывал на Васича, нарочно громко сморкался, крикал, терся боком о ствол сосенки, и на шапку, на спину ему падал сверху снег. Вдобавок ему нестерпимо хотелось курить, так, что рот был полон слюны. Он сплевывал голодную слюну в снег и опять приставлял бинокль к глазам.

Черная точка, увеличившись, разделилась на две, и они вместе приближались. С той стороны, откуда двигались они, шла через поле линия связи на шестах. Провод был зеленый, немецкий. У нас тоже пользовались этим трофейным проводом. Оставалась маленькая надежда, что это могут быть наши связисты.

Далеко за краем поля возник звук мотора. Он приближался, и земля начинала дрожать. С низким рычанием прошла за складкой снегов тяжело груженная машина, невидимая отсюда; только снежный дымок, взвихренный колесами, поднялся над гребнем, заслонив связистов. Когда он рассеялся, уже отчетливо видны были две человеческие фигуры на снегу. Они то сходились, сливаясь вместе, то просвет возникал между ними. Вдали затихал звук мотора.

— Товарищ капитан! — зашептал Голубев озябшими губами. — Разрешите, возьмем их. Перережем связь — сами в руки придут.

Васич глянул на него. От холода лицо Голубева было бурым. Придавленный шапкой, свешивался на бровь курчавый чуб, весь в снегу. Молодой, здоровый парень. А тут еще замерз.

— Лежи! — сказал Васич.

Из-за двух немцев не мог он рисковать всеми людьми. Этих двух взять нетрудно. Но за ними придут другие. И впереди целый день.

Опять с тяжелым гудением, так, что земля под ними начала дрожать, прошла внизу машина, невидимая за складкой снегов. Когда она в облаке движущегося снега показалась на поле, то была далеко и ее невозможно было рассмотреть. Но те двое уже различались простым глазом, а в бинокли видны были даже светлые пятна лиц между шапками и туловищем.

Вдруг проглянуло солнце, на короткий миг осветив снежное поле. И при этом ярком зимнем солнце еще мрачней стало низко нависшее пасмурное небо. Теперь в бинокли виден был и цвет шинелей. Это были немцы.

Васич смотрел на немцев и уже не чувствовал холода.

— Товарищ капитан, разрешите, — попросил опять Голубев, дрожа всем телом от нетерпения. — Мы их запросто возьмем.

Он говорил шепотом, потому что в бинокль немцы казались совсем близко.

— Лежи! — сказал Васич не сразу.

Солнце опять скрылось, и шинели немцев стали черными. Оба они стояли на месте, словно не решаясь идти дальше. Так они стояли долго, потом начали удаляться.

Оставив Голубева наблюдать, Васич слез в овраг, отряхиваясь. Люди, спавшие на снегу вповалку, зябко натянув на уши воротнички шинелей, просыпались. После того, что произошло ночью, после короткого сна на снегу, во время которого они только промерзли, они просыпались подавленные. При белом зимнем свете лица были желтые, несвежие. У Баградзе за одну ночь щеки заросли черной щетиной до глаз. Он потерянно сидел один, и у Васича, когда он глянул на него, что-то больно сжалось в груди: смерть Ушакова еще больше сблизила их.

— Корми людей, Арчил, — сказал он.

Тот поднял на него глаза и сейчас же опустил их. В этих словах для него другой смысл был главным. Приказывая раздать всем то, что он, ординарец, нес для командира дивизиона, Васич впервые сказал вслух, что Ушакова нет. Расстелив на снегу плащ-палатку, Баградзе резал курицу, и губы у него дрожали.

Кто-то перевязал уже Халатуру. В маске свежих бинтов, промокших и запекшихся на виске, его желтое, монгольского типа лицо было маленьким. Один глаз затек, по другой, узкий, черный, живой, глядел всеело.

Васич подошел к Кривошеину, сел рядом с ним на снег. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. Сквозь

сильную бледность уже явственно около губ и носа проступила синева. Он истекал кровью. Она все шла и шла, наполняя брюшину. Всем нужно было дожидаться здесь ночи. И только одному ему нельзя было ждать: если что-либо еще могло спасти его, так это немедленная операция.

Кривошеин открыл глаза, долго смотрел, не узнавая, потом издали, из глубины вернулось сознание, и взгляд осмыслился.

— Вот видите...— сказал он и улыбнулся бескровными губами.— Я лежал и думал, как мелочи вырастают в глазах людей, когда нет настоящего несчастья.

Он говорил тихо, с перерывами, с усмешкой.

— Перед самым боем меня больше всего волновало, что я неумело поприветствовал командира дивизиона. Не сам бой... не возможность вот этого...— слабой рукой он указал на себя,— а то, что я смешон, неловок. Люди не идут в бой умирать. Живые думают о жизни...

«Ему лет тридцать пять,— думал Васич.— Есть ли у него семья?» Но он не решился спросить об этом.

Если бы Кривошеин попал сейчас на операционный стол, в хорошие руки!.. Васич увидел руки Дины, крупные, с длинными пальцами; ногти острижены до мяса; руки, в которых характер виден не меньше, чем в лице. Он никогда прежде не встречал таких умных, одухотворенных рук. А может, он просто любил их? Странно, что все началось с неприязни. После операции она вошла в палату, глубоко сунув руки в карманы, так, что на плечах под халатом остро проступили углы узких погон. За нею следовала палатный врач — с историями болезни на согнутой руке, как с младенцем. Обе они остановились у его кровати. Она долго, уверенно отдавала распоряжения, а его тошнило после наркоза и до холодного бешенства раздражал резкий, властный голос этой женщины. Ни он, ни она в тот момент не думали, что два с половиной месяца спустя, лежа у него на руке, похорошевшая, с жарко горящими щеками, она скажет ему: «Ты помнишь, с какой ты ненавистью смотрел на меня?»

А после, приподнявшись на локте, долго вглядываясь в его лицо влажно блестящими в темноте глазами, она сказала:

— Подумать только, что ты мог попасть не в мои руки!..

При зеленом свете месяца сквозь морозное окно у нее зябко вздрогнули голые плечи.

— Ведь я сшила тебя из кусков.

И бывало ночью, раскрыв на его груди ворот бязевой рубашки, она гладила ладонью рубцы на его теле, рассказывала ему про каждый из них и целовала.

— Какие у тебя мощные ключицы! — говорила она с гордостью, любовно трогая их.

А он говорил, что она изучает на нем анатомию. Она брала в свои руки кисть его руки, пыталась охватить пальцами запястье, и пальцы ее не сходились.

— Знаешь, в форме ты даже не выглядишь таким сильным.

Но когда один за другим прибывали санитарные поезда, — еще ничего не сообщалось в сводках, но здесь, в госпитале, все уже знали, что начались сильные бои, быть может, наше наступление, — она возвращалась после операций немая от усталости, с синевой под глазами и быстро засыпала на его руке. Он осторожно вставал, садился у окна, обмерзшего доверху, курил и смотрел на нее. Она спала, а он смотрел на нее. Он чувствовал себя сильным оттого, что есть на свете эта маленькая женщина, оттого, что она спит, сжавшись в комочек, и ей спокойно спать, зная, что он здесь.

К полуночи комната выстывала. Он бесшумно открывал железную дверцу печи, складывал костериком с вечера приготовленные дрова и щепки и, сидя на корточках, поджигал их. Она просыпалась от потрескивания березовых поленьев.

— Мне стыдно, — говорила она, поеживаясь в тепле под одеялом, — но я ничего не могу с собой сделать. Это защитная реакция организма. После всех бессонных ночей.

И она опять засыпала и просыпалась, когда уже пел чайник на раскалившейся до малпного свечения плите и в комнате было жарко. Ночью, вдвоем, не зажигая огня, только открыв дверцу печи, они пили чай. Трещали дрова, трещали на улице деревья от мороза, мохнатое от инея окно было синим, а скатерть на столе и сахар в сахарнице — красными от пляшущего огня.

— Я растрепанная, да? — спрашивала Дина, трогая рукой волосы, и глаза ее счастливо блестели. — Ты не смотри. А хочешь, смотри. Все равно я счастливая.

И на руках ее, на губах, на лице были отсветы печного огня...

Дина пишет: у них — сын. «Такой твой сын, ты даже представить себе не можешь! Даже мизинец на ноге твой, подвернутый, даже родинка на правом плече, на том же самом месте, только крошечная. Маленький Васич. Будь жив, родной! Без тебя ему по каким-то законам даже не хотят дать твоей фамилии...»

— Я хотел попросить вас, — сказал Кривошеин. — Тут, внизу, весной вода в овраге. Размывает все. Так чтоб не внизу похоронили. Не хочется, знаете ли...

Васич сказал:

— Вечером мы прорвемся к своим.

— Я уже не дождусь.

Он сказал это с твердым сознанием, спокойно, своим тихим голосом. И после долго смотрел на вершину сосны, сквозь облака скупо освещенную солнцем.

— У вас семья? — решился спросить Васич. Кривошеин все так же лежал на спине и смотрел на снеговую вершину сосны.

— Тут ничем не поможешь... Если прорветесь, сообщите, где похоронен. А может быть, и этого не надо.

И он закрыл глаза, потому что очень устал.

А кругом в овраге солдаты в это время ели. Держа в черных от пороховой копоти и грязи руках холодную баранину, с жадностью рвали ее зубами, громко высасывали куриные кости, грызли сухари. Они ели впервые после боя, после этой страшной ночи. Кто поел раньше всех, сворачивал сигарку сальными пальцами, стараясь не смотреть на тех, кто еще ест.

Васич отошел от Кривошеина, сел на скате оврага. Сейчас же Баградзе на промасленной бумаге принес ему кусок мяса, соль и хлеб.

За лесом, за снегами на юго-восток отсюда шел бой. Глухо, как удары о землю, доносило разрывы снарядов. Васич ел и слушал этот дальний бой, не удалявшийся и не приближавшийся.

Сверху скатился Голубев, весь в снегу. Он был рад, что его сменили, что сейчас поест, что можно наконец двигаться, и один производил шуму больше, чем все остальные.

— Скотинкой обзаводимся?

Он радостно хлопал себя руками по застывшим бокам, подмигивал. И тут только Васич заметил вертевшуюся в овраге среди солдат, неизвестно как попавшую сюда деревенскую собаку, тощую, рыжую, с острой, как у лисы, мордой. Должно быть, она пришла из леса, куда загнала ее война: поблизости нигде деревни не было. Кто-то бросил ей высосанную кость, и она, поджимая хвост между ног, дрожа худым телом, на котором проступали все ребра, поползла к ней. Грызла ее на снегу, рыча и скалясь. И люди, сидевшие по обоим скатам оврага, смотрели на нее и прислушивались к звукам дальнего боя: глухим ударам разрывов и едва внятной на таком расстоянии пулеметной стрельбе. По временам за складкой снегов с низким гудением проходила тяжело груженная немецкая машина. Было пасмурно, как перед вечером, а день еще только начинался.

Васич сидел, опершись локтями о колени. После еды в животе согрелось, тепло потекло по всему телу, горячие глаза слипались. Он положил тяжелую голову на руки и перестал бороться со сном. Вздрогнув, он проснулся, как от толчка. Огляделся вокруг налитыми кровью глазами. Но все было такое же: и пасмурный день, и овраг, и люди в нем: иные из них дремали, иные, томясь, ходили взад-вперед. После короткого сна, в котором все неслось, рушилось, кричало и сталкивалось, он проснулся внезапно, и время остановилось. Наяву оно текло нестерпимо медленно. И снова тяжесть случившегося легла на душу.

Неужели нет Ушакова? Он опять увидел, как тот бежал без шапки, с прижатыми локтями, и две пулеметные струи, возникшие по бокам его, и третью, сверкнувшую посредине.

Васич сидел на скате оврага, на снегу, положив руки на колени, нахмуренный, и, хотя он ничего не говорил, люди чувствовали силу, исходящую от него, и подчинялись ей. И силу эту чувствовал Ищенко, все время тайно наблюдавший за ним. Теперь, когда непосредственной опасности не было, когда по ним не стреляли, он жалел о том, что говорил в лесу. Как это у него вырвалось?

«И ему поверят! — думал Ищенко. — Одно слово, и жизнь человека может быть перечеркнута. Восемь лет беспорочной службы, вырос до капитана, учился...»

Даже сейчас о годах учебы он думал как о тяжелом подвиге своей жизни. Трудом и терпением брал он то,

что некоторые умники хватали на лету. И они открыто смеялись над ним. Смеялись до тех пор, пока ему, дисциплинированному, требовательному курсанту, хорошему строевику, не присвоили звания младшего сержанта. Два эмалевых треугольничка привинтил он к своим петлицам, и сразу все эти умники увидели, что он не глупей их. От двух треугольников до четырех капитанских звездочек — целая жизнь. А сколько терпения! Его прислали в полк одним из восемнадцати командиров взводов. Он стал одним из десяти командиров батарей, потом поднялся до одного из трех начальников штаба дивизионов. Вверх пирамида сужалась, но он рос. И вдруг вся жизнь, все его будущее — в руках этого человека. Он ненавидел сейчас Васича смертельно. И вместе с тем понимал: надо что-то сделать, как-то изменить впечатление о себе, может быть еще не укрепившееся.

А Васич ни разу не глянул на него: не мог, холодело сердце. Но и, не глядя, видел. Он видел лицо Ищенко, когда тот ночью в лесу, раздетый страхом до своей сущности, кричал: «Теперь поздно, раньше надо было думать!..» Что поздно? С немцами воевать? В тот момент он готов был предать всех. И уже предал. Из жалости к себе. За тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью. Это закон войны. И Васич подумал холодно: «Выйдем — будем его судить».

Вскоре Ищенко увидел, как Васич позвал к себе Голубева и они вместе стали совещаться о чем-то, расстелив карту на коленях.

«Мне надо подойти,— понукал себя Ищенко.— Он не имеет права отстранять меня. Я начальник штаба. В конце концов, я капитан и он капитан».

Но хотя оба они были равны по званию и даже в известном военном смысле положение Ищенко было предпочтительнее, он чувствовал, что не может встать и подойти, хотя имеет на это все права. Что-то другое, что не выдается вместе с очередным званием, заставляло людей подчиняться Васичу. Эту силу, исходившую сейчас от него, Ищенко чувствовал на расстоянии. И он все сидел, страдая, мучаясь, понукая себя и все же не решаясь встать и подойти.

К полудню потеплело. Густо повалил снег. Он опустился в безветрии большими мягкими хлопьями. Даль исчезла, как в густом тумане, опустилось небо, а снег все падал беззвучно, поглощая звуки вокруг. На черные

остовы сторевших танков и тракторов, на выжженную до корней трав землю вокруг них, на шинели, на лица мертвых, на замерзшую кровь. Он ложился на поле боя, хороня убитых, расстрелянных из пулеметов, и к полудню только свежие холмики белели на нем.

Овраг, извилисто разрубивший лес, раздвинул его, и в небе, среди голых вершин дубов, среди дымчатых, отягченных снегом вершин сосен образовалась широкая просека. Оттуда, из шевелящегося белого пространства, падали крупные серые хлопья. Шапки людей, спины людей, сидящих в овраге, были белы под слоем снега. Одни сидели в позе долгого ожидания, сунув в рукава озябшие руки, другие спали, натянув воротники шинелей на уши.

В густом снегопаде бой за лесом стал глуше, отдаленней, но он не прекращался весь день. И весь день — к фронту, к фронту — проносились немецкие машины, и земля сотрясалась. Пользуясь плохой видимостью, наблюдатели наверху подползли близко к дороге и лежали в кустах. У них не было белых маскхалатов, но они лежали неподвижно, и снег закрыл их. Только лица, бинокли и руки виднелись из снега. И перед их биноклями машины проносились по дороге, машины со снарядами, машины с немцами — дрова в костер незатухавшего боя.

Под артиллерийскую далекую канонаду медленно текло время в овраге. Внезапно собака села на снег и завывала. И вой ее, низкий, протяжно-тоскливый, повторил зимний лес. Это умер Кривошеин, тихо, словно заснул. Подняв вверх острую морду, собака выла по покойнику, а снег все шел и шел...

ГЛАВА VII

Докурили по последней сигарке. Между деревьями морозно дымилась багровая заря. Она гасла, и снег на лапах сосен был уже синий, холодный. Быстро темнело.

— Посидим перед дорогой?

— Насиделись за день!

В сумерках голоса звучали негромко, в них — трудно сдерживаемое нетерпение.

— Пошли?

Васпч посмотрел вверх. Над вершинами леса — гас-

нущее небо. Ни одна звезда не освещала им путь. Он махнул рукой:

— Пошли!

И все полезли из оврага по крутому боку, спеша, осыпая ногами снег. Только один остался там. Навсегда остался в мерзлой земле, которую днем живые выдолбили для него ножами и кинжалами.

Наверху, отдышавшись, двинулись через лес в синих густеющих тенях, держа оружие наготове. Молодые сосны, росшие густо, царапали иглами по шинелям, и долго еще после того, как люди прошли, качались потревоженные ветки. С них падал снег.

На опушке Васич остановил всех.

— Никитенко! Чеботарев! — негромко позвал он.

Лица уже плохо различались. Подошел Никитенко в черных от машинного масла и копоти подшитых валенках, в ватном бушлате. Вторым, вразвалку, отодвинув плечом стоявшего на дороге солдата: «Посторонись, друг!», подошел Чеботарев. Он был поменьше ростом, но молодцеватый, снизу вверх смело глянул в глаза.

Эти двое могли вести машину, и Васич не хотел рисковать ими в ночном суматошном бою, когда все пули шальные. Он оглядел обоих. У Чеботарева был автомат.

— Поменяйся с ним! — приказал Васич, кивнув на бойца с карабином. — Гранаты есть?

Чеботарев неохотно достал из кармана две гранаты-«лимонки», еще неохотней отдавал свой автомат.

— Что мы, товарищ капитан, красивей всех? — самолюбиво говорил он, чувствуя перед остальными неловкость.

— Ждите здесь, — сказал Васич. — В бой не ввязываться. Захватим машины — позовем.

И он увел остальных дальше. У дороги, в кустах, замерзшие наблюдатели встретили их. Старший, трудно двигая непослушными от холода губами, докладывал с хрипотцой:

— Идут все в ту сторону. За час, — он щелкнул ногтем по наручным часам с зелеными фосфорическими цифрами, — три штуки проскочили.

Бойцы стояли сгрудясь, слушали с напряженными лицами. За спиной Васича, по-детски открыв рот, дышал Голубев. Блестела в темноте пряжка португали на груди Ищенко.

— Последняя крытая была. Под брезентом немцы пели по-своему.

И улыбнулся: рад был, что кончилось их одинокое сидение в кустах.

Уже стемнело, и только поле впереди светилось от выпавшего недавно снега. Темное небо, поднявшись над лесом, легло одним краем на поле, придавило его. И в ту сторону стремилась накатанная, слабо мерцавшая дорога. От нее доносило ветром едва внятный на морозе запах бензина. Запах этот сейчас будил тревогу.

Васич разделил людей на две группы. Одну увел Голубев, с другой он сам залег у дороги.

Лежали молча, слушая тишину. Дыхание морозным инеем садилось на шапки. Помня запрет, никто не решался курить. От этого еще медленней текло время. Позади погромыхивал фронт. Ночью он словно приблизился. Бухали орудийные выстрелы, мгновенными зарницами вспыхивали за лесом разрывы.

Вдруг кому-то послышалось:

— Едут!

Приподымаясь, вглядывались слепыми в темноте глазами. Но собака, сидевшая на снегу, опершись на вытянутые передние лапы, не обнаруживала беспокойства. И чем напряженней вслушивались, тем только сильнее шумела кровь в ушах, и уже ничего невозможно было разобрать. Опять лежали. Ожидание томило людей. Начали сползаться по двое, по трое. Шепотом зашелестели рассыпанные, отрывочные разговоры, готовые смолкнуть в любой момент. Два раза прибежал от Голубева связной, пригибаясь в темноте, как под пулями. Там, видно, тоже не терпелось.

Когда услышали наконец, с захлестнувшим сердце волнением, боясь ошибиться, какое-то время берегли тишину. В шуме ветра над равниной явственно слышалось далекое, по-комариному тонкое завывание мотора.

— Рассыпья! — скомандовал Васич.

Но люди уже сами перебежали на свои места. Повизгивая, беспокойно вертелась собака.

— Лежать! — крикнули ей.

Рядом с Васичем разведчик, сидя на снегу по-татарски, телефонным проводом спешно связывал три гранаты вместе. Рукавицы он скинул, и они болтались у рукавов телогрейки на шнуре.

Снова прибежал от Голубева связной.

— Товарищ капитан, лейтенант велел передать: мы до вас пропускаем!..

— Нехай пропускают,— затягивая зубами узел, невнятно буркнул разведчик, и единственный сожмуренный от усилия глаз его блеснул из бинтов холодно и трезво.

Теперь отчетливо слышно было нарастающее гудение нескольких моторов, далеко где-то бравших подъем. Замерзшая земля, на которой лежали люди, чугунно гудела под ними, тряслась все сильнее. И это дрожание неприятно передавалось всему телу, всем внутренностям. Стало трудно удерживать собаку. Ей сжимали челюсти, и она скулила жалобно, со слезой.

Машины смутно возникли на дороге и опять исчезли в лощине. Они долго гудели там. Временами казалось, удаляются. Потом на подъеме возник передний «оппель» — широко разнесенные черные колеса, давившие толстыми шинами снег, мощный радиатор, широкий бампер,— все это, перевалив гребень, двинулось по дороге, быстро увеличиваясь. Васич смотрел с земли, и машина казалась огромной. Она стремительно приближалась. В снежную пыль, поднятую ею, доверху кутались кабины двух других, шедших следом.

В черном стекле передней вспыхнул уголек сигареты, смутно осветив кабину изнутри. И Васич увидел лицо немца, сидевшего за стеклом. Он уверенно сидел в машине, мчавшей его, властно смотрел на дорогу перед собой, как он, наверное, смотрел уже на сотни других дорог.

Васич не мог на таком расстоянии, ночью, видеть его. И тем не менее с обострившейся ненавистью он отчетливо увидел это лицо врага.

Заскрежетало в коробке передач: переключали скорость. Опять вспыхнула в стекле сигарета и, прочертив в воздухе красную дугу, подхваченная ветром, полетела в снег. В тот же момент Васич приподнялся на одной руке, пересиливая голосом рев трех моторов, крикнул:

— Огонь!

Он кинул гранату, целя в кузов, и упал ничком. Ни он, ни рядом упавший разведчик не видели, как под черным днищем машины и за нею вырвались из земли два куста пламени. Грохот взрывов, визг тормозов, треск ломающегося дерева, крики... И все это прошла автоматная очередь. Зазвенели разбитые стекла.

Едва просвистели над головой осколки гранат, Васич вскочил. Взорванная машина поперек загородила дорогу; с нее под выстрелами прыгали черные фигуры в шинелях. Но во второй машине, твердо ступив сапогом на подножку, в полный рост стоял в открытой кабине немец и, уперев в живот автомат, веером сеял над дорогой трассирующие пули. А шофер под прикрытием огня пытался развернуть машину. По ним стреляли.

— Машину береги! — закричал Васич, подняв над собой растопыренную пятерню. Под самые ноги ему брызнула трассирующая очередь. Он выстрелил из пистолета и побежал к немцу. И еще несколько человек бежали за ним, стреляя. Немец стоял, держась рукой за дверцу, качался вместе с нею. Когда Васич подбежал, он плашмя рухнул на дорогу. Выбитый при падении автомат скользнул по снегу в сторону. На другую подножку впрыгнул разведчик с забинтованной головой, в упор, через стекло застрелил шофера.

Стреляли отовсюду — из-под машин, из кювета; прыгали в кузов, стуча сапогами, и оттуда били по немцам. Не успев закрепиться, они бежали по полю в своих широких шинелях, проваливались в снег, падали, стаи светящихся пуль неслись оттуда. Но на дороге люди открыто перебегали от машины к машине, снимали оружие с убитых, в несколько голосов звали куда-то запровавшего Никитенку. Выстрелы еще раздавались, но все было кончено. Так быстро, что где-то по снежной целине, подгоняемый ветром, еще скакал уголек выброшенной сигареты, рассыпая красные искры. Тот, кто выбросил его, по-прежнему сидел в кабине. Подбежав, держа пистолет в левой руке, Васич дернул дверцу — немец мягко вывалился под ноги ему. Он не был похож на того властно-уверенного врага, которого представил себе Васич. Этот немец был старый, ссохшийся, маленький. При падении шапка слетела с него, и о дорогу с костяным стуком ударилась голая, совершенно лысая голова. Ей уже не могло быть холодно даже на снегу, и все-таки Васич испытал неприятное чувство, обыскивая его. Он взял документы, снял полевую сумку: немец был в каких-то чинах. Поднявшись, увидел суетившихся на дороге людей и среди них рослого Голубева. Крикнул:

— По машинам!.. Голубев! Проезжай вперед!..

Когда Васич вскочил в кабину, Чеботарев уже сидел за рулем. Стоя на подножке, держась рукой за открытую дверцу — точно так же, как до него стоял здесь убитый им из pistolета немец, — Васич махнул Голубеву проезжать, пока они разворачиваются. Последние солдаты прыгали с оружием в кузова машин. И тут Васич заметил мечущуюся на дороге собаку. Она металась между машинами и лесом, словно звала людей в лес. Несколько голов стало кликать ее. Она радостно залаяла, побежала к лесу. Но, видя, что никто не следует за ней, остановилась. Боялась ли она немецких машин, или не хотела покидать эти места, где, может быть, лежало под снегом остывшее пепелище деревни, или уже лес властно манил ее, но она все стояла в отдалении и лаяла. И тут раздался хлопок выстрела. Васич увидел из-за кабины, как в небо светящейся звездой косо взлетела ракета и вспыхнула там. Яркий свет опускался сверху на дорогу, и все, что было на ней, выросло навстречу ему.

— Проезжай!

Васич махнул рукой. Машина Голубева тронулась, миная тела убитых. Держась за ее борт, бежал, подпрыгивал отставший солдат. Его поспешно втянули в кузов.

Как только Чеботарев тронулся следом, медленно обходя взорванную машину, с поля, где залегли уцелевшие немцы, брызнули огненные трассы пуль, засверкали около бортов и впереди, светящейся стайей низко пронеслись над кабиной. Кто-то вскрикнул в кузове. Люди попадали на дно. Сжав губы, Чеботарев вел машину, заставляя себя смотреть на дорогу. От пуль его защищало сбоку только пробитое стекло кабины. Мотор рычал все сильнее, машина дрожала от напряжения, но левое заднее колесо ползло с дороги в рыхлый снег.

— Бей по вспышкам! — закричал Васич сорванным голосом. — Прижимай к земле!

Он не видел — слышал только, что с передней машины тоже стреляют.

— Огонь! Огонь! Не давай головы подняты!

И, подталкиваемые его криком, люди стреляли из-за борта в поле, где вспыхивало в темноте короткое пульсирующее пламя...

Содрогаясь, как живая, машина медленно выползла на дорогу. И как только оба задних колеса зацепились за твердое, вся сила, клокотавшая в моторе, рванула ее с места; дорога, слившись в белую полосу, понеслась под

сапогами Васича, стоявшего на подножке; ветер толкнул в лицо, едва не сбив с него шапку. И люди, перебегая на ходу к заднему борту — их швыряло в кузове, — стреляли назад. Там при свете догоравшей ракеты выскочили на дорогу несколько немцев, паливших из автоматов, но и они, и дорога, и взорванная машина на ней — все это стремительно откатывалось назад, уменьшаясь. В стекле кабины с тремя пулевыми пробоинами и брызнувшими во все стороны белыми трещинами качалась снежная дорога. Она неслась навстречу из темноты. Пулевые пробоины в стекле скакали вверх-вниз, не давая взглянуть, ветер гудел в них, как в горлышке бутылки. Васич открыл дверцу. Ветром толкнуло в лицо. Он зажмурился. Впереди по дороге тряско бежали высокие немецкие фуры, запряженные каждая двумя першеронами. Машины быстро нагоняли их.

Придержав шапку, Васич заглянул в кузов. На полу, сидя спинами к ветру, солдаты жадно курили из рукавов первую с тех пор сигарку.

— Живы? — крикнул Васич.

— Живы! — ответили ему разногласно и весело.

Глаза, лица людей дышали неостывшим азартом боя.

— Прикройсь!

Быстрая езда, ветер, бивший в ноздри так, что трудно было дышать, холодок близкой опасности... Васич захлопнул дверцу. Поднял стекло. Ветер пресекся, и на минуту исчезло ощущение быстрой езды. Только гудел мотор и давило на уши.

В боковом стекле замелькали повозки с крутящимися колесами, тяжело бегущие мохнатые лошади, с передних сидений оборачивались лица немцев — все это, возникнув, исчезало. Глаза Васича через стекло на мгновение встретились с глазами немца-ездового, и тот с изменившимся лицом закричал вдруг что-то, указывая на машину рукой.

«Разглядел!» — обожгла мысль. Он сбоку глянул на Чеботарева. Тот почти лежал на руле, носком сапога придавливал газ.

— Разглядел немец, — сказал Васич вслух.

Узкие глаза Чеботарева азартно блеснули.

— Разглядел — полдела. Догони!..

Неслась навстречу дорога. Ветер угрожающе гудел в пулевых пробоинах, клочьями рвался по сторонам. Васич отодвинулся в глубину кабины, в темноту. Радостный

холодок теснил сердце. С правой стороны понеслись деревца посадки. Мелькнула машина с поднятым капотом и двое немцев, влезших головами в мотор. Дорога была здесь сильно изрыта гусеницами. Васич всматривался в темноту, но стекло блестело в глаза. Он опустил его. Сквозь кинувшийся в лицо ветер увидел в посадке мрачные темные тела танков. Немцы сновали между ними. Один немец с ведром перебежал дорогу перед самыми колесами, добродушно погрозил кулаком.

— Сбавь газ! — приказал Васич. И, поймав удивленный, непонимающий взгляд Чеботарева, объяснил: — Дорога к фронту. Немцу туда торопиться незачем, он гнать не станет.

Близкий орудейный залп ударил в уши, в темноте сверкнули длинные молнии. «Легкая батарея, — определил Васич, мысленно отмечая место, где она стоит, так же как в посадке он считал танки. — Только б дорога не перекопана. Тогда проскочим...» Он верил, что не успели перекопать: фронт не установился, шли подвижные бои. И еще раз подумал: «Тогда проскочим».

Они уже опять мчались во всю мощность мотора и не чувствовали этого, потому что мыслью мчались еще быстрее. Дорога летела под колеса, в свисте ветра проскакивали назад километры, но фронта все не было видно. Вдруг засигналил им впереди красный огонь фонарика. Это регулировщик требовал остановиться. Быстрый взгляд Чеботарева. Васич кивнул. Весь слившись с машиной, он знал, чувствовал, как сейчас будет. Они не остановятся. Удар! — и проскочат дальше. И ждал этого удара. Но тут сознание толкнуло его.

— Тормози!

Впереди на дороге могла быть пробка.

— Тормози! — крикнул он. Его бросило на стекло, откинуло назад. Визг тормозов второй, мчавшейся за ними машины. И — тишина. Они стояли. На щеках, в ушах Васич еще чувствовал ветер. Он тяжело дышал. К машине шел немец. Васич открыл дверцу. И сразу услышал фронт: близкий грубый стук пулеметов, частую строчку автоматов и потрясший воздух разрыв снаряда. Фронт был рядом. Васич спрыгнул на землю. Он увидел немца, подходившего к машине, — это был офицер, — увидел стоящий с краю дороги мотоцикл с коляской; от этого места, протоптанный множеством колес, отходил в поле съезд, и столб с прибитыми стрелками указывал направ-

ление. Но главное — он увидел, что дорога впереди свободна.

А немец подходил, и на груди его, пристегнутый кожаной петлей за пуговицу, покачивался фонарик. Он шел к машине, на затоптанной снегом подножке которой была примерзшая кровь немца. И на железном полу кабины, смешавшись с растаявшим снегом от сапог, была кровь. И немец шел сюда. Он смотрел на Васича. Он не мог не видеть его. Но Васич спокойно стоял рядом с немецкой машиной, а немец был так уверен, что в сознании привычное впечатление заслоняло то, что видели глаза.

Васич подпустил его ближе, шагнул навстречу и в упор выстрелил в грудь. Он не заметил, что из-за машины, сбоку, подходил к нему еще автоматчик. В тот момент, когда немец отшатнулся, падая, Васича сильно ударило. Вздрогнув от толчка, он обернулся, увидел перед собой присевшего солдата-немца и в его руках брызжущий огнем автомат. Это была смерть, он понял сразу, но отчего-то не мог ничего сделать, ни крикнуть, ни отскочить, а только стоял и прикованно смотрел на этот брызжущий в него огонь.

Огромная черная тень сзади прыгнула на немца, и все покатилося.

Потом Васич чувствовал, что его под мышки тащат куда-то вверх. Сознание возникало и обрывалось, и то, что видел он, не было связано. Он увидел потолок кабины, увидел над собой лицо Голубева при красной вспышке огня. Что-то нужно было сказать Голубеву. Важное что-то. Васича больно тряхнуло и потом уже все время трясло, и от боли он терял мелькавшую мысль.

Ветер хлынул ему навстречу. Щеками, лицом, уже покрытым смертной испариной, он почувствовал этот холодный ветер, и ему стало легче.

ГЛАВА VIII

Таяло. За окном на маленькой деревенской площади грязь и снег размешаны колесами. У коновязи рыжий, блестящий на солнце жеребенок, задрал пушистый хвост, пугливо делал свое дело; от свежего навоза шел пар. Жеребенок вдруг отпрыгнул в сторону и скрылся из виду: через площадь, разбрызгивая сапогами жидкий снег, быстро прошел озабоченный Баградзе с охапкой хвороста.

Ищенко остро позавидовал ему. Он сидел посреди комнаты за столом. По-весеннему горячее солнце ломилось сквозь пыльные стекла, блестело в графине с водой. В дымной, накуренной комнате было жарко от солнца.

Ищенко сказали сесть, как только он вошел. А трое — командир полка полковник Стеценко, капитан Смерша Елютин и замполит майор Кораблинов, хмуро сидевшие до этих пор за столом, встали сразу же и отошли в разные углы комнаты. Они встали, чтя память погибшего дивизиона, встали перед ним, живым, вышедшим из этого боя, потому что бой, в котором они сами участвовали, был несравним с тем, из которого вышел он с горстью уцелевших людей.

Но Ищенко не почувствовал этого. Он шел сюда на допрос, боялся этого допроса, и, когда ему сказали сесть, он сел, как подсудимый. Его настораживало их какое-то непонятное отношение к нему. Он не доверял им, сидел напряженный и на вопросы отвечал точно: ни больше, ни меньше того, о чем его спрашивали.

В какой-то момент отношение к Ищенко переменялось — он это почувствовал сразу. Командир полка странно глянул на него темными, прижмуренными глазами и отвернулся к окну. И с тех пор молча курил у окна: Ищенко видна была его прямая спина, мускулистая прямая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал до низкого потолка хаты. Каждый раз, отвечая на вопрос, Ищенко взглядывал на командира полка, в нем инстинктивно искал защиты. Но видел только смуглую щеку, сожмуренный от табачного дыма глаз и кончик его черного уса. Замполит нервно ходил по комнате или вдруг садился на кровать, раскачивался, сутулясь, зажав ладони в коленях. Он был самый молодой, недавно назначен на эту должность, и его Ищенко не боялся.

Вопросы с обдуманной последовательностью задавал Елютин. Обняв себя руками за могучие плечи, он почесывал спину об угол этажерки, но глаза из-под крупного с вальсипами лба смотрели холодно и пристально. Всякий раз, встречая их взгляд, Ищенко чувствовал перебой сердца и противную слабость в коленях.

Он помнил Елютина еще в погонах летчика, в хромовых сапогах на меху: его прислали к ним в полк из авиационной части. Сейчас на Елютине были армейские кирзовые сапоги, на плечах — артиллерийские погоны.

— Значит, третья батарея к лесу уже подходила? — спросил Елютин.

— Первая,— терпеливо поправил Ищенко.

Елютин все время путал номера батарей и расположение. Но Ищенко казалось, что он не случайно путает, и, весь напрягаясь, он старался следовать за его мыслью, предугадать дальнейший вопрос.

— Ну да, первая! А танки уже видны были? Стрелять можно было по танкам?

Над деревней, придавив все на земле гулом моторов, шла большая волна бомбардировщиков; стекла в хате тонко зазвенели. Слышно было, как в сенях и по крыльцу затопали сапоги ординарцев: побежали глядеть. Елютин, улыбаясь, подмигнул Кораблинову на окно, за которым проходили в небе бомбардировщики: мол, вот оно, его родное, кровное. И хотя Ищенко понимал, что это не ему дружески улыбаются, ему так хотелось быть равным среди них, что губы его сами, произвольно и унизительно, растянулись в ответную улыбку. Он тут же погасил ее, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, быстро вытер пот с лица.

— По танкам, говорю, могли уже стрелять? — повторил Елютин вопрос, когда гул отдалился и снова стало возможно разговаривать.

— Орудие было в походном положении... Надо было привести в боевое... Стать на позицию...

Если бы об этом бое, во время которого почти безоружные люди сожгли шесть танков, дрались до последней возможности, дрались и умирали, не пропуская немцев, если бы об этом бое рассказывал Ушаков, которому нечего было стыдиться, он бы рассказывал с болью, но и гордостью. Ищенко оправдывался. Он мог оправдываться только за себя, но он рассказывал о дивизионе, и получалось, что в действиях всего дивизиона — и тех, кто жив, и тех, кто погиб в бою,— было что-то постыдное, что он старался скрыть.

А за окном стояли две пробитые пулями немецкие грузовые машины, и в кузове одной из них, на плащ-палатке, лежал убитый Васич.

— Мы хотели успеть отойти к лесу. Чтобы спина была прикрыта. И там стать на позицию. А то танки могли с тыла обойти...

— «Стать на позицию...», «Походное, боевое положение...» — перебил Елютин.— Вот в соседней бригаде...

Тоже ваши системы — стопятидесятидвух... Комбат... Как его?..— Протянув руку в сторону замполита, Елютин нетерпеливо щелкал пальцами, прося подсказать.— Еще он в оккупации был...

— Харсун?

— Харсун! Вел батарею в походном, как ты говоришь, положении, видит — танки! Ни в какое боевое положение он ее не приводил, времени у него на это не оставалось. Развернулся, ахнул! Ахнул! Восемь снарядов — два танка горят! Получай орден!

С точки зрения артиллериста, Елютин говорил невысказанные вещи. Когда пушка в походном положении, ствол специальным механизмом оттянут назад. Из нее не то что стрелять, ее зарядить в таком виде невозможно. В артиллерии это знает последний повозочный.

Елютину кто-то что-то рассказывал об этом случае, и он уверенно говорит сейчас вещи, которых ухо артиллериста просто слышать не может.

Первое движение Ищенко было объяснить, что так не бывает. Но он вовремя сдержался. Он понял, этого Елютин ему не простит — слишком уж это стыдно. И он побоялся возбудить в нем личную неприязнь к себе. Ищенко глянул беспомощно на замполита, на командира полка. Никто из них почему-то не поправил Елютина, словно они не слышали. Стеценко все так же стоял у окна. Вынув трубку изо рта, он постучал ею о подоконник, выбил пепел, зарядил табаком и снова раскурил, хмурясь.

— Так. С одним вопросом как будто разобрались маненько,— удовлетворенно подытожил Елютин. И от этого «маненько», от общего молчания Ищенко стало страшно. Елютин подошел к столу, переложил какие-то бумаги и, отойдя к этажерке, опять обнял себя за плечи. Издалека донесся грохот бомбежки. В хате все затряслось, вода в графине покрылась рябью.

Это добивали прорвавшуюся немецкую группировку. Сутки подходившие артиллерийские части вели бой с танками — с марша в бой, с марша в бой — и преградили им путь. Сегодня с утра распогодилось, и при ярком весеннем солнце авиация доканчивала дело. Волна за волной бомбардировщики шли туда и сбрасывали груз сверху.

Стеценко обернулся от окна с трубкой в руке.

Теперь уже, когда операция заканчивалась и смысл ее был ясен, он знал о судьбе дивизиона то, чего не мог знать Ищенко. Когда ночью была перехвачена радио-

грамма и обозначилось направление немецкого танкового удара, он получил приказ срочно выдвинуть в район Старой и Новой Тарасовки первый дивизион своего полка, находившийся ближе всех к месту прорыва. И хотя тремя пушками невозможно было остановить всю эту массу двигавшихся танков, с военной точки зрения приказ, полученный Стеценко, был правилен. Задержать немцев хотя бы на короткий срок, выиграть время, пока подойдут артиллерия и танки, задержать теми силами, которые имелись поблизости, иначе прорыв мог разрастись и стоил бы еще многих и многих жизней.

Уже для командира корпуса подразделение, которое он приказал срочно ввести в бой, было просто первым дивизионом 1318-го артиллерийского полка. Но для Стеценко это был дивизион его полка. С этими людьми он прошел войну и многих из них любил. И он понимал, в какой бой посылает их. Но война есть война, а они — солдаты. И вдруг случилось непредвиденное: немцы изменили направление танкового удара. С военной точки зрения это тоже было понятно и объяснимо: внезапность, инициатива в бою — ради них жертвуют чем угодно. Но там были его люди, не успевшие окопаться, зарыть орудия в землю. Ночью на походе столкнулись они с немецкими танками. Командир полка знал это в масштабе всей операции. Но то, что произошло в дивизионе, видел Ищенко, и об этом он спрашивал его. Он ничего уже не мог изменить сейчас, но он хотел знать, как дрался дивизион, как погиб Ушаков. Слава живет и по-смертно. С труса даже смерть не смывает позора. И безразлично, как люди будут вспоминать твое имя, люди, ради которых ты жил и погиб. Понимал ли Ушаков, что бойцы его дерутся не зря? Не в их силах было остановить танки, но тот, кто с честью погиб в этом трудном бою, не ведает срама после смерти.

— Как погиб Ушаков?

Ищенко хотел сказать, что сам он в этот момент с ним не был, знает только со слов других, но подумал о следующем вопросе, который сейчас же задаст ему Елютин: «А где вы были?» И ответил, опустив глаза:

— Ушаков пал смертью храбрых.

Ушаков был любимцем Стеценко. Ищенко знал это. Он помнил, как летом прошлого года их отвели на формирование и в лесу они праздновали годовщину полка. Ушаков, пивший много, но не пьяневший, — он только

становился медлительней в движениях и глаза у него тяжелели, — среди общего шума налил себе полный стакан водки и, блестя четырьмя орденами на широкой груди, блестя стальными зубами, поднял стакан над головой в красной, обмороженной руке:

— Батько! Пьем за тебя!

Стеценко двинулся к нему. Они чокнулись, выпили: лысеющий, но все еще по-кавалерийски стройный Стеценко и небольшой, грубого, крепкого сложения Ушаков. Ладонью разгладив усы, Стеценко в губы поцеловал Ушакова, и глаза у него были покрасневшие и влажные. И у многих офицеров глаза были влажными от слез. У Ищенко тоже стояли в глазах слезы, сквозь них радужным видел он мир и только завидовал Ушакову.

— Ты видел, как он погиб? — спросил Стеценко, глядя на него тяжелым взглядом. Ищенко ответил:

— Видел...

Но что-то в голосе его было такое, что командир полка отвернулся к окну, сильно дымя трубкой.

Опять вопросы задавал Елютин. Как отходили в лес? Кто отходил последним? Так... Так... И по мере того как Ищенко отвечал, неясное подозрение все больше укреплялось у Елютина.

— Ну, а люди еще могли оставаться в лесу? Или все вышли?

— Могли, — сказал Ищенко подавленно. Он вдруг почувствовал, что отсюда бой видится совсем иными глазами. Как объяснить Елютину, когда он не был в этом бою?

А Елютин задавал железные вопросы:

— Вы офицер. Имеете вы право отойти, пока не отошли все люди? Бросить людей? Когда капитан покидает корабль?

— Но в лесу командование принял на себя Васич, — сказал Ищенко. — Люди выполняли его приказ.

Он чувствовал сейчас только жалость к себе. Ушаков убит. Васич убит. И все хотят свалить на него. Почему теперь он должен отвечать за всех?

К столу подошел Кораблинов. Понятно, он замполит, хочет выгородить замполита. Ищенко никто не будет выгораживать.

Кораблинов налил стакан воды, звучно, в три глотка, выпил; поставил стакан и сразу же отошел, словно брез-

гуя быть с Ищенко рядом. На граненом стакане сверкала в солнечном луче капля воды. Ищенко хотелось пить, сухой язык еле ворочался в пересохшем рту. Но он боялся налить себе воды, чтоб не увидели, как у него дрожат руки. Он держал их под столом на коленях, и от потных ладоней коленям было жарко.

А Стеценко все так же курил у окна и не оборачивался. И Кораблинов отошел как можно дальше в угол. Никто не хочет делить с ним ответственность. Все на него!

Ищенко вдруг заговорил о том, о чем даже не думал за минуту перед этим. Он говорил теперь, что если бы дивизион вели ближе к лесу, то, может быть, они успели бы развернуться и открыть огонь по танкам (о том, что около леса снег был глубокий и тракторы не прошли бы там, он уже не помнил сейчас). Он говорил, что разведка, с которой Васич ходил, только в последний момент предупредила их, когда уже было поздно. Он никого не думал подводить, он только не хотел отвечать за всех.

Елютин оживился.

— Так... так... — говорил он заинтересованно, словно докопавшись наконец до истины.

Торопясь и захлебываясь, Ищенко говорил не то, что было, и даже не то, что он думал сейчас, а то, что, как ему казалось, ждал от него Елютин. И только одно выходило явственно: если бы его, Ищенко, спросили раньше, с ним посоветовались, всего бы этого не случилось.

— Ну, а вы-то, вы-то где были? — перебил его Елютин.

— Я в бою был. Я все время в бою был! — сказал он пересохшим голосом. И, боясь, что ему не поверят, стал показывать пробитую пулями и осколками шинель. — Со мной рядом очередь с танка убило связного. — В этот момент он сам верил, что это было так. — Вот! Вот!

И он опять протыкал палец в пробойны. Он показывал не раны, а всего лишь дыры в шинели.

Стеценко обернулся от окна. Смуглое лицо его было коричневым от прилившей крови.

— Идите!

И столько брезгливости было в его голосе, в глазах, глядевших на него, что Ищенко поспешно вышел, захватив с собой шапку.

Кто-то в коридоре отскочил от двери, кто-то уступил ему в сенях дорогу.

Не разбирая дороги, по мокрому снегу Ищенко пошел от крыльца. «Судить будут», — подумал он, но как-то

тупо: очень болела голова. Он сам не заметил, как окзался около машин. На одной из них в кузове с открытым бортом (видно, подходили смотреть), лежал на плащпалатке Васич. Смутное сознание вины перед ним, мертвым, шевельнулось у Ищенко. Он уже не чувствовал ни ненависти к Васичу, ни обиды на него. Было только хорошо, что он что-то там не так говорил про него. Но он тут же успокоил свою совесть: Васич мертв, ему уже ничего не нужно и не страшно. Мертвые сраму не имут. Что бы там ни было, дома у него получают обычное известие: «Пал смертью храбрых...» А вот он, Ищенко, живой... «А за что меня судить? Какие у них доказательства?» И опять в душе у него защемило от страха, когда он вспомнил, какими глазами командир полка смотрел на него и как он сказал это «идите!».

Но день был по-весеннему ярок, а Васич лежал желтый, с запекшимися кровью губами, и на руках его почему-то тоже была засохшая кровь. Глядя на него, холодного, мертвого, Ищенко с особенной животной силой почувствовал, что сам он жив. Жив! И этот радостный, слепящий блеск солнца, и запах весны в воздухе, чего уже никогда не почувствует Васич,— все это для него, живого! И рядом с этим сознанием все остальное, даже страх его, все это было не главным.

Кто-то звал его:

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Он оглянулся. У разрушенного сарая на снегу горел бесцветный при ярком солнце костер. А вокруг костра в стелющемся по сырому воздуху дыму сидели солдаты, все те, кто ночью вырвался с ним вместе на этих машинах. Прокопченные, обросшие, с красными от недосыпания и дыма глазами, они, надев на шомпола куски сала, жарили над огнем шашлык. Ищенко пошел к ним. Он увидел жарящееся сало, капли жира, с треском падающие в огонь, услышал запах и с особенной силой, с которой он воспринимал сейчас окружающий его весенний мир, почувствовал, как он хочет есть. Ему пододвинули перевернутое ведро, он сел у костра на лучшее место, и Баградзе прямо из огня дал ему в руки шомпол с нанизанными на него кусками прожарившегося сала.

— Ну что, как, товарищ капитан? — робко заглядывая ему в лицо, спросил Голубев. Все они, сидевшие здесь у костра, чувствовали смутную вину оттого, что из всего дивизиона только они вырвались и живы. И они надея-

лись, что с часу на час подойдут еще люди. И даже перед ним они чувствовали некоторую вину, потому что, пока они здесь ели, его допрашивали там за всех. Ищенко понял это и понял, какими глазами они взглянули бы на него, если бы знали сейчас, что произошло. И ему стало не по себе. Но он все же ел сало: ему очень хотелось есть. И жир капал с его пальцев, тек по подбородку.

Издали донесся глухой гром бомбежки. Возвращаясь, самолеты облегченно и весело взблескивали на солнце металлическими крыльями.

— Как там, товарищ капитан? — повторил Голубев свой робкий вопрос, когда опять стало слышно голос, и кивнул головой в сторону штаба полка. Ищенко не смотрел на него. Он ел и смотрел в костер. С полным ртом он ответил невнятно.

ПОЧЁМ
ФУНТ
ЛИХА

Рассказ

Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно расклапывающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.

На второй день мира за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.

Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то

пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сделал с ним, заставив воевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась, перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: «Ты — солдат, и я — солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все». Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.

Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал «герра офицера». Вначале — от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как «герр офицер» кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегают, звенит эмалированным подойником жена. В восемнадцать лет она уже родила ему сына и теперь, в тридцать два, никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака.

В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты... Чтобы у меня не возникало сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.

Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Сбравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про козака, ускокавшего на вийноньку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.

Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать «герра офицера», она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики, она бегала из коровника в дом, из дома в коровник, обдавая запахом хлеба, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, случалось, на бегу мазнет кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под этим домашним видом чувствовалась все же тщательно скрываемаая военная выправка.

Вот так и в это утро, пока я завтракал, он сидел у стола, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его.

Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить.

У нее был муж. Коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвертом году на фронте.

Заспанный командир отделения разведчиков Марго-слиц, в гимнастерке без ремня, босиком, подошел к ней, взялся за кадку. Она не отдавала ее из напрягшихся рук, и некоторое время, стоя посреди двора, они тянули кадку

каждый к себе. Потом Маргослин легко понес ее на плече, а Магда шла сзади с темным даже в солнечный день лицом. Так они скрылись за сараем.

Я не видел ни разу, чтобы кому-то из хозяев мои разведчики старались помочь: ни хозяйке, обладавшей такими пышными достоинствами, ни мальчишке. Единственная, кого они жалели, была Магда, старуха, все потерявшая на войне и работавшая на людей, которые не только ничего не потеряли, но, кажется, еще и обрели.

Я доел яичницу со сковородки, налил себе второй стакан вина. Оно было светлое, прозрачное, только что из погреба, и пустой стакан с оставшимися на нем мокрыми следами пальцев долго еще покрывался на столе холодной испариной. Потом я надел португею — хозяин почтительно присутствовал при этом, — затянул широкий офицерский ремень и, чувствуя каждый мускул, с особенным удовольствием чувствуя тяжесть пистолета на бедре, надел офицерскую фуражку и вышел во двор. Даже провоевав такую войну, человек в двадцать два года, в сущности, остается очень молодым, если могут быть важны все эти мелочи, да еще в глазах немца.

После холодного вина солнце во дворе слепило, а под окном у белой стены сверкал и лучился иссиня-черной эмалью и никелем мотоцикл. Вздрагивающего от заведенного мотора, я вывел его со двора и едва успел поставить ноги на педали, как он рванулся подо мной, и полевая дорога понеслась, стремительно раздвигаясь навстречу. Я мчался по ней вверх, к голубой стене неба, и это была правда, что кончилась война и мы в Германии. За всех, кто не дошел сюда. Я до отказа прибавил газ и чувствовал уже только ветер на зубах и нетающий холодок под сердцем — острый холодок жизни.

За перевалом была еще деревня, и там стоял Володя Яковенко, начальник разведки другого нашего дивизиона. Тоже с четырьмя разведчиками. По каменистому подъему в лесу, помогая ногам, я взобрался на перевал, и оттуда, с оглушительным треском, стреляя назад из выхлопной трубы, мотоцикл ворвался в улицу. Деревья, ставни домов, палисадники — сквозь пелену слез все слилось в две остановившиеся по сторонам глаз солнечные полосы.

Вперед — развилка улиц, куча булыжника посредине. К Яковенко — направо. И в тот момент, когда я уже поворачивал, накрепко вместе с мотоциклом, из-за дома

выскочил щенок. Прямо под колесо. Все произошло мгновенно, руки сработали быстрее сознания. Я успел отвернуть, затормозил. Меня вышибло из седла, ударило о землю и еще волокло по пыли, а я хватался за нее ладонями.

Вгорячах я вскочил. У дома мальчик лет трех держал на руках щенка. Он не убежал, только с ужасом смотрел на меня круглыми глазами и изо всех сил прижимал щенка к себе.

От удара о землю у меня лопнули галифе на коленях, сквозь пыль на обожженных ладонях проступала кровь. Смятый мотоцикл лежал на куче булыжника, заднее колесо его крутилось. Я сел на камень. Ноги у меня дрожали. Я выплюнул изо рта землю. В тупом сознании прошла одна отчетливая мысль: «Вот так разбиться мог. После войны...» От Яковенко уже бежали сюда разведчики. Они доставили меня в дом по частям: отдельно меня, отдельно фуражку, которую кто-то из ребят разыскал на другой стороне улицы.

Пока с меня стягивали сапоги, Яковенко стоял рядом со стаканом водки в руке.

— Пей,— говорил он.— Кости целы? Как, ребята, целы кости?

И пальцами щупал мне голову.

— Терпишь? А здесь? Цела! Значит, можно, пей!

Когда все ушли, он сел рядом со мной на кровать. И тут только я заметил, что у него лицо больного человека. От него пахло водкой.

— Знаешь,— сказал он,— я был в концлагере. Тут, оказывается, концлагерь находился. В трех километрах отсюда. Я вчера ездил туда.

Он вытер ладонью лоб.

Я знал, что у него в сорок первом году под Киевом погиб отец, комиссар танкового батальона Яковенко. А два года спустя к ним домой пришел человек и сказал матери, что он был в плену в одном лагере с их отцом и бежал оттуда, из Германии. Отец их бежать уже не мог и просил только передать семье, что жив. Мать написала об этом на фронт сыну, не зная, надеяться ли, верить?

С тех пор у Яковенко была одна тайная надежда: вот мы войдем в Германию, и он узнает об отце. И чем ближе был конец войны, тем нетерпеливее становилась эта его надежда.

Вчера впервые увидел он наконец немецкий концлагерь. Тем же путем, от ворот лагеря до крематория, которым прошли здесь сотни тысяч мучеников, шел он по земле, впитавшей их кровь. Он уже знал, что, если и был среди их навсегда исчезнувших следов след его отца, никто никогда не расскажет ему об этом.

— Там канава такая. За крематорием. — Он вдруг сильно побледнел. — Мухи над ней. Зелёные... Я не сразу понял... Только вдруг страшно стало. Запах, наверное... Там человеческий жир, в канаве. Людей сжигали, и стекало туда...

Он раскачивался, сутуло сжав коленями руки.

— Знаешь, — сказал он, — я на одно надеюсь: отец комиссар был. А комиссаров они в плен не брали... И потом, этот человек сказал, что в лагере фамилия отца была Яковлев. Не Яковенко, а Яковлев. Может, спутал с кем-нибудь? Мать больше ни разу его не видела.

Что я мог сказать ему? Я сказал, что это очень может быть, и даже наверное, и лично я знаю несколько таких случаев. Вот, например, в нашем полку, когда мы прорывались из окружения...

Яковенко сидел, покачиваясь, глаза были закрыты, лицо от скул бледно, а на порозовевших висках и на лбу выступил пот.

Ночью, внезапно проснувшись, я увидел над собой на потолке широкую тень: плечи во весь потолок и втянутую в них голову. Подперев кулаками виски, Яковенко сидел за столом, две свечи в блюдечке освещали снизу его лицо. Услышав, что я не сплю, он в тапочках на босу ногу, в галифе, в распоясанной гимнастерке пересел ко мне на кровать.

— Мне там сказали, пепел... пепел сожженных людей на дороги вывозили. Поля удобряли пеплом.

Он потер горло. У него сохло во рту, и голос был пересохший.

— Я вернулся, спрашиваю их: «Знали про это?» — «Никс, никс!» Не знали, говорят. Так идите смотреть! — Расширившаяся шея его налилась кровью. — Не идут. Не хотят идти. Понял? Рядом людей жгли. Пеплом удобряли землю. А они теперь хлеб жрут.

Он встал, огни свечей заколебались, тень руки метнулась по стене к полке. Взяв оттуда вещь, Яковенко перевернул ее клеймом к свету: «Видишь?» Клеймо было французское. В колеблющемся свете глядели на нас со

стен, с полок вещи, вещицы, странно не подходившие одна к другой. Это были вещи из разных семей, никогда прежде не знавших друг друга, говоривших на разных языках, собранные воедино вещи людей, быть может, теперь уже уничтоженных. А во дворе стояли коровы, вывезенные из Голландии, свиньи, привезенные из Дапии. И в нескольких километрах отсюда — концлагерь.

Я не мог на следующий день смотреть на поля. «Пеплом удобряли землю...» Я все же не хотел верить в это. Я знал уже, как легко при желании вину одного или нескольких переносят на всех. Но молчали все. И те, кто знал, и те, кто догадывался, и даже те, кто не одобрял.

Мы спускались под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой, пепельно-серой земле — молодой, чуть припыленный хлеб. Он сочно лоснился, набирая силу. И я не мог смотреть на эту землю, на этот хлеб.

В голубом идилическом небе Германии плыли чистые, сверкающей белизны облака. Тени их невесомо скользили по земле. Мир и тишина. По скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливым — встречать похороненных!

Мы въехали в улицу, развернулись у двора, и разведчик погнал коней обратно — он торопился, — а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было, хозяева же, едва завидев меня, скрылись в коровнике и там быстро шептались. Несколько раз оттуда выглядывали их взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло.

Я сел на лавку, вытянув ногу, которую больно было сгибать, хотел закурить. Но на мне были синие галифе Яковенко, а я забыл переложить в них свою зажигалку. Хозяин уже шел сюда. Я намочил палец и стал слюнявить сцарапанный на боку ремень.

Хозяин был приветливей, чем всегда. Увидев в руках моих сигарету, сразу же, но без торопливости, как доброму знакомому, поднес огонь прикурить. После этого тоже сел на лавочку — мужчина с женщиной.

Еще прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у нее было гневное и вместе с тем испуганное, готовое к движению.

Хозяин ничего этого не замечал. Он курил трубку, и солнце освещало нас обоих на лавочке под окном. А тем временем к нам шел его сын с записной книжкой и карандашом в руках. Он остановился передо мной, держа раскрытую книжку перед глазами, прокашлялся, словно собираясь петь. Я смотрел на него снизу. Когда он заговорил, плечи его опустились, шея от волнения вытянулась.

Он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. Но он настойчиво повторял слова и снова, и я разобрал наконец. Оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью.

— Erschoss, erschoss! ¹ — повторял он, показывая, как это было сделано.

Через двор, блестя новой кожаной курткой, прошел враскачку Маргослин. На разведку вышел, потому держался независимо. Мальчишка не видел его. С пятнами волнения на лице он говорил:

— Это была хорошая свинья. Она имела тридцать килограммов веса и еще могла расти. Но это уже были тридцать килограммов полноценного свиного мяса. И каждый килограмм стоит...

Он уже несколько раз сказал «kosten» ². С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал стишок: «Guten Tag, Frau Meier! Was kosten die Eier? — Acht Pfennig. — Acht Pfennig? Das ist zu teuer...» ³

В эту войну был эсэсовский генерал Майер, палач и садист.

Подтянув ноги под лавку, упираясь в нее по сторонам тела ладонями, хозяин слегка покачивался. Костлявые плечи его поднялись, голова ушла в них. За все время он не сказал ни слова, он слушал и с закрытыми глазами кивал дымившейся трубкой. Я глянул на его руки, пальцами охватившие доску. Это были большие рабочие руки. В их морщины и вокруг больших ногтей въелось что-то черное. Земля? А быть может, пепел?

Хозяин кивал дымящейся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было подсчитано всей семьей. Я должен был убедиться и сам увидеть, что

¹ Застрелил, застрелил! (нем.)

² Стоит (нем.).

³ Добрый день, фрау Майер! Сколько стоят яйца? — Восемь пфеннигов. — Восемь пфеннигов? Это слишком дорого... (нем.)

меня здесь не обманывают, что за хорошее свиное мясо с меня возьмут по умеренной цене. У него побледнел нос и движения рук были торопливые. Близко поднеся записную книжку к глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: «Soldat Makaruschka», — и посмотрел на меня. Я не сразу понял, что это, выговоренное с трудностями, чужое на слух «зольдат Макарушка» и есть Макарушка, самый молодой из моих разведчиков.

Он пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Босой, одичавший и — по глазам было видно — голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. В селе этом его никто не знал, он появился здесь весной, когда еще не сошел снег, и был тоже бос, а сквозь рваные штаны виднелись синие от холода колени. Женщины считали его придурковатым, жалея, изредка кормили. По той же самой причине, что укрепилась за ним слава блаженного, он не был угнан в Германию.

Он сразу привык к разведчикам, но долго еще, рассказывая что-либо, говорил о нас «русские», как говорили немцы, а от них — жители оккупированных областей. Был он тихий, безобидный и теперь, когда отъелся, очень сильный физически. Не помню уже, кто первый окрестил его Макарушкой, но имя это удивительно подошло к нему, здоровому, кроткому парню, и все звали его так, а настоящего имени никто не помнил. Однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жителей согнали в школу, забили двери, а здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там, в огне, погибла его мать. И все же, как ни внезапна была облава, многие матери успели попрятать детей. И спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках двухлетнюю сестренку. У оврага всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себе: что в этот последний момент держал сестренку на руках.

— Мне б ее на землю поставить. Маленькая, затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Ночь ведь. А она испугалась вся, держится за меня, не оторвать. Ноготочки у нее были, так впилась вот сюда мне. — Он пока-

зал себе на шею. И я подумал тогда: сколько ни проживет он на свете, всегда будет он чувствовать эти впившиеся в него ноготки двухлетней сестренки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть.

«Она еще могла расти...» — сказал хозяйский сын о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и никто не имел права безнаказанно стрелять в нее. И отец, сидя на скамейке в домашних туфлях, кивал дымящейся трубкой.

Я смотрел снизу на мальчишку. Ему четырнадцать лет, и голос у него еще ломается, не отвердел еще. Ему столько же, сколько было Макарушке, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом, ночью, выполз из общей могилы и уполз в лес и там один, как зверь, травами залечивал раны.

Этот в четырнадцать лет еще не изведал, почему фунт лиха, но он уже хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счетом в руках стоит передо мной, уверенный в своем праве предъявлять нам счет.

Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час, ушли, очень недовольные нами. В глаза они не смотрели, щеки хозяйки были воспалены от высохших слез. Только сын, молодой управляющий, все еще хлопотал по хозяйству.

За фермой, позади ухоженных полей, садилось в тесноте солнце, обламывая лучи об остроконечные крыши. Яркий закатный свет дрожал в прозрачном воздухе, а в комнате был уже сумрак.

Я услышал, как стукнула калитка. Потом — незнакомые, шаркающие шаги. В окно мне косо видна была часть двора. Я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, волочил ногу, но по двору шел так, что я почувствовал: он когда-то уже бывал здесь. Дойдя до ворот свинарника, он заглянул в его темную глубину. Он не видел, что из-за поленицы дров за ним наблюдает сын хозяина. А тот выступил вперед, готовый грозно окликнуть, но тут что-то изменилось в его лице: он узнал этого человека.

Шаги слышны были уже по крыльцу. Занавеска на окне отрезала туловище, и я видел только ноги в стоптанных туфлях, подымавшиеся по ступеням. Человеку больно было наступать на правую ногу; едва наступив на нее,

он перескакивал на здоровую, а больную плашмя волочил за собой.

Он не сразу нашел ручку двери, некоторое время я слышал его тяжелое дыхание с той стороны. Наконец дверь открылась, он ступил через порог. Это был старик в серой, не имевшей цвета и, видимо, не своей одежде: она вся висела на нем. Он оглядел комнату, и опять мне показалось, что он уже бывал здесь когда-то.

— Здравствуйте! — сказал я из темноты простенка.

Он вздрогнул, быстро обернулся с каким-то странным выражением глаз. Но это не был испуг. Разглядев, кто перед ним, он снял с головы круглую лагерную шапку:

— День добжий, пан товажищ!

И, не сразу находя русские слова, помогая себе жестом, обвел рукой комнату:

— Той... пап Рашке есть дома? Нах хауз?

— Дома, дома. Сейчас его нет, — говорил я отчего-то громко, словно от этого русский язык становился понятней ему, и тоже помогал себе жестами рук. — Но вообще он здесь. Хиер.

— Хиер... — повторил человек и поблагодарил: — Дзенькую. Спасибо, товажищ.

Я выдвинул ему тяжелый дубовый стул.

— Вы садитесь.

— Дзенькую бардзо. Мне тшеба пана Рашке зобачить.

Он сел, остро обозначились худые колени. Теперь видно было вблизи, что это не старик, а очень замученный человек с провалившимися висками и серым бескровным лицом.

— Он придет, — сказал я.

Макарушка внес сковородку. В ней — свинина, сочная, зажаренная куском, и жаренная в свином сале картошка. Все это было горячее, шипело, пахло, и запах раздражал голодного человека.

Я отпустил Макарушку, выложил со сковородки половину мяса и картошки на тарелку, подвинул ему. И увидел ужас в его глазах, глядевших на свинину.

— Ниц! Ниц! — он тряс головой.

— Да ешьте, ешьте, — настаивал я. — Мне сейчас еще принесут.

Но он слабой рукой упирался в тарелку. И я уступил, ничего не понимая. Я налил ему вина. Он поблагодарил глазами и пил жадно: ему хотелось пить. Виски его то надувались, то западали, на руке, державшей стакан от-

четливо видно было запястье — браслет из сухожилий — и кости, лучами идущие к пальцам. На заросший, огромный от худобы кадык, двпгавшийся вверх-вниз, смотреть было страшно.

Он закашлялся, не допив, и кашлял долго, мучительно, до синевы налившихся кровью. Потом, обесспленный, с выступившими слезами, долго не мог отдышаться, руки его тряслись.

— Вы здесь жили раньше? — спросил я, видя, как ему неловко за свою слабость. — Вы знаете этот дом?

Он смотрел тем взглядом, каким смотрят глухонемые, но губам стараясь понять, что им говорят.

— Вы не понимаете по-русски?

— Так, так, — кивал он. — Розумно. Помалу.

— Я говорю, вы здесь жили?

— Так, — сказал он. И отрицательно покачал головой.

Мне вдруг показалось, что он не вполне разумен: такие у него были глаза. Он опять оглядел комнату.

— Пóляк, — сказал он. И посмотрел на меня. Потом повторил: — Пóляк, — объясняя этим свое положение здесь, положение человека, силой угнанного в Германию.

— Моя жóна... Ма жена була тутай. Тут. — Он указал в окно на коровник. Подымать руку ему стоило усилий. — И сын муї... Когда сын уродил...ся и закричал, жóна заслонила ему уста. Так, — он зажал себе рот рукой. И когда худая рука его закрыла половину лица, глаза стали больше, в них было страдание. — Чтоб ниц не слухал! Але сховать можна тылько мартвего. Тылько мертвого... Раз она кормила его грудью, млеким... До обора, — видя, что я не понял, он показал на коровник, — туда, до обора вшед немец. Ниц не жекл. Ниц не говори! Тылько посмотржел на дзецко, на сына, як его карма млеким. Вона не могла ми объяснить, як посмотржел, тылько плакала и држала... дрожала, когда то мовила. Цо моглем зробиц? Цо? Працовалем у другого немца о там, в тамтей деревне, але цо моглем зробиц? Былем безсильны...

Серые сухие губы его, словно зацементованные от холода, шевелились медленно. В ранних сумерках свет окна стеклянно блестел в его остановившихся глазах, взгляд их был обращен внутрь.

— Теперь я вижу, як он посмотржел. Он, господаж, давал ей есць, цоб могла працювати, а хлопчик брал ее сил... После того она ховала хлопчика, як шла в поле.

Муви, цо услышала його кжик... крик. Але я мыслю, тот кжик она всякий час мала в сердце. Она бегла с поля и слухала, як хлопчик, наше дзецко кжичало. И свинарник,— он показал рукой, не найдя слова.— Доска... Понимаешь?

— Доской приперт? Закрыт снаружи?

— Так. Она чула, она открыла. Когда вшед туда, много свишей. Когда...

Он опять показал руками, и я догадался:

— Распихала свишей?

— Так. Так... Там увидзела нашего хлопчика. От того часу видзела тылько то. Когда зовсим разум ее помешался и больше не могла праковать, немец взял ее за руку и одправадзил в гору до обозу... До лагерю, понимаешь? Там було крематориум. Не ведзала, докуд ее проводзено... Докуд ее ведут. И то було ее счанстье.

В сумерках лицо его было почти неразличимо, только тени вместо щек и блестяли глаза в глубоких глазницах. Слышно было, как во дворе на два голоса тихо поют разведчики.

— Полтора рокы быдем в лагерю и дожил. Абы прийти тутай...

Я вспомнил, как мальчишка, сын хозяина, смотрел на поляка из-за дров. Я подошел к окну, крикнул Маргослина. Песня оборвалась, слышно было, как, приближаясь, скрипела кожаная куртка. Маргослин остановился под окном, подняв лицо вверх.

— Приведи сюда мальчишку,— сказал я.

Опять в сумерках заскрипела кожаная куртка. Слышны были голоса, шаги во дворе, за сараями, вокруг дома.

Было уже совсем темно в комнате, только светились два окна в стенах и в темном углу — зеркало.

— Там комора. Така велька комора... камера. Вот эти-ми рукамы зроблена.

Он показал свои руки и сам посмотрел на них.

— Туда людзей загоняли. И жоны, и деца. Деца с забавками... З игрушками... Им говорили — там есть баня. И людзи шли. И деца. Там,— он показал на потолок,— тако оконко. Туда вускали газ. Газ... И моя Катажина не ведзала, докуд ее ведут, и то було ее счанстье... Така млада. Она тут. И татем. Везде.

И я опять увидел мелькнувшую в его глазах искру безумия. И в то же время он был в полном рассудке.

Я спросил, знает ли он деревню, куда уходит почевать хозяин, и сможет ли идти с нами? И теперь мы сидели молча и ждали.

Наконец вернулся Маргослин. Мальчишки нигде не было, как я и ожидал.

Вчетвером — поляк, Маргослин, Макарушка и я — шли мы через лес. Лупа, поднявшись наполовину, никак не могла вырваться из расщелины горы. Она была огромная, медно-оранжевая, а гора перед ней — черная. Наконец, оторвавшись и всплыв, она стала быстро подниматься вверх, вправо, все уменьшаясь. И когда стояла высоко, в белом свете ее, таинственно изменившем ночной мир, увидели мы деревню: синеватые стены домов, мокрый скат черепичных крыш, в темных окнах — переливающиеся стекла. Мы шли задом. От дворов тянуло сонным, застойным теплом хлева, мочой, а снизу — свежей сыростью: там, под нависшими кустами, блестел по камням черный ручей. К нему вели вниз мокрые от росы каменные ступени.

Двое взяли дом и сарай под наблюдение, двое тихо вошли во двор, пустой и словно выметенный под луной. По деревянной лестнице мы поднялись на сеновал, собака внизу, охрипнув от лая, кидалась с цепи, валившей ее на спину. Но ни в одном окне не зажегся свет, ни одна дверь не открылась.

На сене, белея в темпоте, лежали рядом две перины. В них еще остались вмятые следы тел. Мы ощупали светом фонариков все углы наверху в сарае, в доме, во дворе. Тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было и назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на Запад. Все трое.

Жители говорили, что это были очень нехорошие люди. Некоторые говорили даже, что он был нацист. Или брат его был нацист. Все это они говорили теперь.

— Что же вы раньше молчали?

Они пожимали плечами:

— Мы боялись...

Одна только Магда не говорила о них ни хорошего, ни плохого. Она вообще не разговаривала. Еще несколько дней она приходила, как всегда, рано утром, задавала корм свиньям, подметала двор, доила коров — несла свои обязанности, исполнение которых механически привязывало ее к жизни. И надоенное молоко стояло во всех бидонах и кисло.

Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни как черные дни своей жизни. Тогда мальчишке было четырнадцать лет, и голос у него еще ломался. У многих тогда ломался голос. Теперь он окреп.

А в те первые, считанные дни мира стоял передо мной четырнадцатилетний худой немец со счетом в руках. Я вижу его и сейчас — с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нем знать, он хотел получить за свинину. И он был уверен в своем праве предъявлять счет.

ИЮЛЬ
41 ГОДА

Роман

ГЛАВА I

Пакет доставил офицер связи на рассвете. В пути он понал под бомбежку; пыльного, бледного от потери крови, его провели к командиру корпуса, но от дверей он пошел сам, твердо ступая, лоя подошвой качавшийся, уходящий из-под ног пол.

Командир корпуса генерал Щербатов, встав от стола, встретил его строгим взглядом. Он еще не знал, что в пакете, но вид человека, доставившего его, ничего хорошего не предвещал.

Докладывая наизусть, офицер связи в какой-то момент перестал слышать свой голос. Сквозь горячее, прихлынувшее к ушам, он слышал только усиливающиеся гулкие толчки своего сердца, а лицо и губы обморочно немели. И с единственной страшной мыслью: «Не упасть!» — он подал пакет в пустоту, туда, где только что стоял командир корпуса, а теперь, раздвинувшись, два человека плыли в стороны друг от друга, образуя посредине пустое пространство...

Ординарцы, курившие на пригретом, подсыхавшем на утреннем солнце крыльце, видели, как офицер связи шагнул через порог — белый из темноты сеней, бескровные губы сжаты, глаза глядят мимо. Остановился. И прежде чем его догадались подхватить, мутнеющие зрачки покатались под лоб, и как стоял — успел только рукой схватиться за воздух — рухнул на спину, с костяным стуком ударившись затылком о доски пола.

А вскоре в рассветном тумане, сквозь который уже грело солнце, разлетелись по всем направлениям связные, нахлестывая коней.

В пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу срочно наступать. Вырвавшийся недавно из окружения, потеряв там большую часть тяжелой артиллерии

и боеприпасов, корпус состоял фактически из 116-й стрелковой дивизии. Но недавно в него влилась другая дивизия, только что прибывшая на фронт. Она выгружалась в разных местах и неодновременно, этой ночью удалось наконец ее собрать.

Корпус стоял в лесах, бои шли севернее. Там наступала немецкая группировка, с каждым часом продвигавшаяся все дальше. Вклинившись глубоко в оборону, преследуя отступающую армию, группировка эта одновременно создавала реальную угрозу корпусу. Но и он опасно нависал над ее правым флангом, и момент для удара был выбран удачный.

Приказом о наступлении командующий армией подчинил Щербатову еще одну дивизию, 98-ю стрелковую, которой командовал генерал Голощеков. Она должна была выгружаться где-то в радиусе семидесяти километров или уже находиться на марше, и приказывалось найти ее. Но Щербатов знал то, что, видимо, не знал еще командующий армией: дивизии этой не было. Она не дошла до фронта. Ее разбомбили в эшелонах, в пути. Единственный полк, успевший выгрузиться и двигавшийся на машинах днем, походной колонной, заметила немецкая авиация, слетелась отовсюду и уже не выпустила живым. На песчаной вязкой дороге Щербатов видел колонну грузовых машин, растянувшуюся на два километра. Они стояли среди бомбовых воронок, сгоревшие, пробитые осколками. Но были и совершенно целые машины. В кузовах вповалку лежали бойцы. Как сидели они тесно, с винтовками между колен, так лежали сейчас, расстрелянные сверху из пулеметов. Молодые, крепкие ребята, во всем повором, с противогазами в холщовых сумках, со скатками через плечо, шныре в касках на головах. Возможно, даже увидели самолеты и смотрели на них снизу: любопытно — немецкие, не видели еще ни разу. И далеко по обе стороны от колонны лежали в поле убитые: кто успел выскочить и бежал и за кем после гонялись самолеты.

Вот эту дивизию подчинили теперь Щербатову приказом о наступлении.

Постепенно стали прибывать командиры, вызванные на совет. Первым прибыл полковник Нестеренко, могучий, красный и седой, в выгоревшей гимнастерке, но в новых ремнях и сверкающем оружии.

Командир другой дивизии, входившей в корпус Щербатова, полковник Тройников, по годам почти что годился

Пестеренко в сыновья. Он опоздал на совет. В одиночку разбойничавший над дорогой «мессершмитт» погнался в степи за его машиной. И если б не адъютант, сидевший сзади, Тройников, наверное, не заметил бы, как выскочил самолет из облачка.

Дважды зайдя издалека, «мессершмитт» пикировал на них, стремительно сближаясь со своей тенью. И все это вместе в сумасшедшем вихре несло по степи: крошечная машина, вздымающая хвост пыли до небес, огромная тень, простертыми крылами скачущая за ней вслед по рытвинам, и сверху с металлическим звоном косо скользящий к земле самолет, блестящий и маленький по сравнению со своей тенью. Машина резко кидалась вбок, тень перескакивала ее. Свист, треск пулеметов над головой, хлещущие по земле очереди. Самолет взмывал вдаль, и только обезглавленный хвост пыли некоторое время сам двигался по дороге, словно сохранив стремительность погони.

Тройников мог бы скрыться в лесу, но там был штаб корпуса, он не хотел навести на него «мессершмитт». И снова все начиналось сначала: машина выбиралась на дорогу, а из-за края степи уже несся на нее самолет. Опять, сливаясь, дорога летела навстречу. Скорость была такая, что в какой-то момент Тройников физически почувствовал, как все остановилось, повисло в пространстве: и машина, и самолет в воздухе. Исчезли звуки, только ветер давил на уши. И в эту пустоту со свистом пушечного снаряда косо ворвался самолет. Он взмыл у самого горизонта.

В последний раз «мессершмитт» пошел в лоб. Солнце светило встречно, и тень его осталась за холмами. Она выскочила оттуда, когда пулеметные очереди уже мели по дороге, гоня навстречу машине пыль. Был мгновенный и острый холодок под сердцем, но голова осталась трезвой и руки прочно держали руль.

— Пригнись!..

Туда, навстречу хлещущим пулеметным очередям, толкнул Тройников машину и проскочил. Не сбавляя скорости, оглянулся. Он увидел затылок адъютанта, с которого ветер сдул волосы наперед. Адъютант смотрел вслед исчезающему в небе самолету.

Пыльный, успев только руки помыть, вошел Тройников на совет. В нем еще дрожал неостывший азарт. Тем

сдержанней, холодней был он внешне. Только в черных, горячих глазах посвечивало что-то.

Начальник штаба корпуса генерал-майор Сорокин, которому предстояло ознакомить командиров с задачей, покачал головой:

— Заставляете себя ждать, полковник!

Он волновался, как школьник перед экзаменом, и опоздание Тройникова в такой момент воспринял как личный выпад. И уже все в Тройникове показалось ему неприличным: и молодость его, и пышущее здоровье, и даже то, как он послал планшечку на длинном, до колена ремешке.

Покраснев сквозь загар, отчего лицо его стало смуглей, Тройников сказал сдержанно:

— Прошу простить за опоздание.

И занял свое место. Сорокин поднялся, костистыми кулаками уперся в стол.

— У всех приготовлены карты?

И откашлялся.

Незадолго до войны, совершенно неожиданно для себя, Сорокин был произведен в генералы. Он и сейчас еще не понимал хорошенько, как это ему удалось взять рубеж, который для многих остается предельным. Недаром же в армии говорят: полковник — это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит лейтенант.

Он до сих пор испытывал возбуждающее удовольствие, нечто вроде радостного шока, когда ему приносили на подпись бумаги, и в левом нижнем углу, выведенное писарским каллиграфическим почерком, он видел: «Начальник штаба 3-го стрелкового корпуса генерал-майор», а в правом, взятое в прямые скобки, — «Сорокин». Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся у него теперь при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и спицу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись. Этот акт был исполнен для него некоего торжества, а писарям казалось вначале, что он сердится, не любит подписывать бумаги.

Большую часть жизни своей Сорокин потратил на то, чтобы, повышаясь постепенно, небойко, проходя все ступени и ступени и даже задерживаясь на них, дорасти до начальника штаба полка. Он понимал, что карьера его лишена блеска, — ну что ж, зато она была основательна, и он находил удовольствие в том, чтобы ставить ее в пример молодым.

И вдруг, когда он уже был немолод и уже не был честолюбив, в какие-нибудь три года он из начальника штаба полка вырос до начальника штаба корпуса и генерал-майора.

Никто не верит в свою неодаренность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен (во всяком случае, не глупей других), и способностями бог не обделил его, да только обстоятельства против него сложились... Во что, во что, а уж в это каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их даны людям чаще всего в обратной пропорции.

Сорокин понимал, конечно, что между начальником штаба полка и начальником штаба корпуса — существенная разница. Но раз вышестоящее начальство, люди ответственные, видели его в этой должности, — значит, они видели в нем те скрытые возможности, которых сам он не видел в себе до сих пор. И он увидел их. А увидев, поверил в себя. Эта вера отражалась теперь во взгляде его, в походке, в том, как он ставил ногу в своем новом генеральском, с твердым голенищем, бутылкой шином сапоге. И все-таки утрами, когда дух подавлен (утром только дети просыпаются румяные и свежие, и им сразу же хочется играть, а в его возрасте по утрам — дурной вкус во рту, мысли всякие, и с беспощадной резкостью видны все морщины), — утрами, когда он, не разогревшийся даже гимнастикой, а только уставший, брился перед зеркалом и видел свою седеющую грудь, оттягивал лишнюю кожу на шее, складки которой становилось все трудней выбривать, когда он смотрел на свои пальцы, плоские на концах и теперь большей частью холодные, — томил сомнение: поздно, ох поздно пришло это к нему... Годков бы хоть на пяток пораньше.

Война и сразу обрушившиеся тяжелые поражения смяли Сорокина. Это было так все непостижимо, непохоже на то, во что он верил и что знал. И главное, он не чувствовал в себе сил изменить что-либо. В горькие часы ночного раздумья за одно только упрекал он свою судьбу, что дожил, своими глазами увидел это.

Сегодняшнее утро было утром его торжества. Он разрабатывал план наступления. С чисто выбритыми, раскрасневшимися, вздрагивающими щеками, ежеминутно от-

кашливаясь, потому что садился и глух голос, он ставил задачи командирам дивизий.

В просторной горнице лесника с низкими окнами в толстых бревенчатых стенах, со свежим сосновым потолком и выскобленным полом командиры тесно стояли над оперативной картой, расстеленной на двух столах. Сквозь двойные невыставленные рамы и герани на подоконниках ломилось утреннее солнце, жгло спины и шею. Над склоненными головами, среди которых уже посвечивали загаром лысеющие затылки, плыли, колышась, пласты табачного дыма, попадая то в солнце, то в тень. Худая с спущенными венами рука Сорокина вела указкой по карте, прочерчивая оперативную мысль. И в строгой тишине раздавался только его глуховатый голос.

Командир корпуса генерал Щербатов со стертым до серебра времен гражданской войны орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, каких теперь уже осталось немного, как и людей, некогда получавших их, сидел, нагнув широколобую голову, молчаливым своим властно подтверждающим каждое слово Сорокина.

Комиссар корпуса, полковой комиссар Бровальский не мог усидеть на месте. Отойдя в тень, ягодицами опершись о прижатые к стене руки, он переводил глаза с одного лица на другое, и во взгляде его светился наивный восторг. Он чувствовал себя как человек, приготовивший подарок, о котором люди еще не знают, и заранее предвкушал удовольствие того момента, когда подарок будет вскрыт и показан всем.

Тихо на краешке стола курил начальник особого отдела Шалаев. Он носил в петлицах две шпалы — скромное звание «батальонный комиссар». Но, возможно, по другой линии было у него и другое звание. Он смотрел не на карту. Зорко прищуренными, неулыбчивыми глазами вел он по лицам. И курил. Синеватый дымок его папюсы вставал в солнечном луче.

На равнине, прикрыв левый фланг лесом и ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиация не было, рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой. Чтобы как-то выровнять положение, уменьшить основное преимущество немцев, Щербатов решил начать атаку не на рассвете, когда впереди оставался весь световой день и авиация немцев могла хозяйни-

чать над полем безнаказанно, а начать ее за два часа до захода солнца.

Это было смело и непривычно. Ночью бой распадается на множество одиночных боев, управлять людьми на расстоянии становится почти невозможно, и Тройников понимал, что труднее всего будет его необстрелянной дивизии. Но он слушал с захватывающим интересом. Его только отвлекала дрожь ног Бровальского, которую он все время ощущал рядом с собой.

С того момента, как было произнесено вслух то, что составляло изюминку плана — начать атаку за два часа до захода солнца, — Бровальский уже неотступно стоял позади Сорокина, смотрел через его плечо, с трудом унимая нервную дрожь ног. Сам он практически в разработке плана не участвовал, но он присутствовал на всех стадиях составления его. И его радость, радость политработника, была, как всегда, не за себя, не за свои личные успехи, а за успех людей, с которыми он работал, за чьей спиной незримо стоял. И результатом его работы всегда были не сами дела, а люди, совершавшие эти дела. Он же оставался в тени, согретый сознанием, что нужен людям.

Сейчас со все возрастающим нетерпением, которое ему становилось трудно сдерживать, он ждал, когда будет произнесено то, что составляло вторую особенность плана. И когда это было произнесено, он незаметно отошел в тень к стене. За все время им лично не было сказано ни одного слова, но он выложил свой душевный заряд, и теперь от стены влюбленными глазами смотрел на людей, которые этот заряд получили. Быть может, они даже не подозревали этого, но он радовался за них.

Второй особенностью плана было решение Щербатова начать атаку внезапно, без артподготовки. Корпус не мог надеяться на то, что боеприпасы ему подвезут. Приходилось рассчитывать на себя, надо было беречь снаряды, чтобы контратакующие немецкие танки встретить огнем.

Тройников посмотрел на командира корпуса. Тот сидел все так же, положив перед собой на стол руки, сцепленные пальцы в пальцы, — руки, в которых он сейчас держал судьбу всей операции. Лицо было неподвижно, веки опущены. За все время, пока говорил начальник штаба, он ни разу не поднял их. И вдруг нечто похожее на зависть к нему невольнулось у Тройникова. Зависть к широте, к масштабам и возможностям, сосредоточенным в его руках. Что это: частная отвлекающая операция или

начало большего? А если начало, тогда сейчас уже должна прорисовываться главная цель.

Щербатов поднял голову, странным взглядом обвел всех присутствующих, посмотрел на часы:

— Прошу высказывать соображения.

И опять прикрыл глаза веками, приготовясь слушать. В лице его отчетливо проступило петерпеливое выражение. Все планы, все наилучшим образом выбранные средства имеют тот постоянный недостаток, что в ходе операции они могут оказаться просто негодными. Две вещи никогда до конца не предугадаешь: меняющуюся обстановку и волю противника. Его могло бы разубедить в своих опасениях только одно: еще одна полнокровная дивизия, которую в решительный момент он бросил бы на весы боя. Этой дивизии никто из присутствующих здесь командиров дать ему не мог. Она погибла, не дойдя до фронта. Все остальное Щербатову было безынтересно.

Он давно уже переступил ту грань человеческого самолюбия, когда чрезвычайно важно знать мнение окружающих о себе, когда человек, похваливший тебя, начинает вдруг безотчетно нравиться, становится интересным, близким, чуть ли не другом тебе, с ним хочется еще и еще говорить. Это честолюбие перегорело в нем, оставив в душе горстку пепла. За все время совета ни один уголек не затлелся в ней, хотя были в плане моменты, которые в общем могли бы доставить ему удовлетворение. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не рассеняться, прислушиваясь единственно к своему внутреннему чувству. Щербатов хотел выверить план на людях. Он по опыту знал: то, что наедине с собой иногда кажется особенно удачным, на людях вдруг вызывает резкое чувство стыда. Он сидел и слушал, опустив глаза. Он ни разу не испытал стыда. Но и радости он тоже не испытал.

— Кто еще? — спросил Щербатов, когда Нестеренко, закончив, сел.

— Разрешите, — сказал Тройников.

Он встал, но в этот момент Бровальский подошел к командиру корпуса, что-то тихо сказал ему, показывая на часы, и, прощально улыбнувшись всем, как бы прося не отвлекаться, вышел — отлично сложенный, мускулистый, с выправкой строевика. В этот час у него уже собрались отдельно политработники, и он шел не только ознакомить их с задачей корпуса, но и вселить в них радостную уверенность. Чтоб эту радостную уверенность ко-

миссары, парторги и комсорги понесли в батальоны, в роты, донесли до сердца каждого бойца переднего края.

Тройников спокойно ждал. Он единственный из всех присутствующих еще не воевал и понимал, какой отпечаток кладет это на все его предложения. В голосе его чувствовалось явное колебание, когда он сказал:

— Средства достижения цели выбраны наилучшие. Но я не вижу цель.

Впервые за весь совет Щербатов с живым интересом глянул на него. Сощурился, словно приходилось разглядывать издали, смотрел он на человека, который не видит цели. Сам он, если б его спросили, не видел значительно большего. Не только цели, но и средств достижения ее. Для серьезной операции у него просто не было их. И серьезных данных разведки тоже не было. Он готовился наступать почти вслепую. И все эти хитрости в плане, которыми Бровальский гордился, все это вынужденное, не от силы, от слабости. Как хитростью и смекалкой победить авиацию противника...

Но тут на углу стола завозился Шалаев.

— Нехорошо-о... — сказал он и покряхтел, уверенный, что его не перебьют, что к словам его и даже к его кряхтению прислушиваются со вниманием. — Нехорошо! Не видеть цели, когда идет война с фашизмом... И это говорит советский командир!..

Как человек, сказавший нечто удачное, он оглянулся, уверенно ожидая в этом месте встретить сочувственные улыбки. И не встретил ничьих глаз. Тишина затягивалась. И чем дольше затягивалась она, тем неуютней, хуже начинал чувствовать себя Шалаев. Он уже догадался, что сделал что-то не так.

Выждав время, Тройников посмотрел на него. Совершенно спокойными стеклянными глазами. Потом посмотрел на командира корпуса.

— Прошу продолжать! — повысил голос Щербатов, наливаясь гневом. Лицо его покраснело, заметней стала седина. Некоторое время слышно было одно его тяжелое дыхание. Если у него на совете, в его присутствии считали возможным ставить под сомнение политическую сознательность одного из двух его командиров дивизий, осмеливался в пазидание всем, как мальчишку, учить полковника и коммуниста азбучным истинам, то в первую очередь это было оскорбление ему. А этого Щербатов принять не мог, и значит, этого не было.

Когда Тройников заговорил вновь, все отчего-то старались не смотреть друг на друга. А на углу стола сидел бледный до желтизны Шалаев и, не владея лицом, нервно улыбался. Ожидай он заранее, что слова его вызовут такую реакцию, он бы не сказал их. Но с ним случилось то, что случается с людьми, слишком уверенными в себе. Все время, пока шел совет, он следил не за ходом военной мысли, в которой он, быть может, и не так хорошо разбирался, а за тем, как реагируют на полученный приказ командиры частей и соединений. Нестеренко реагировал правильно, так, как и следовало ожидать. И хотя в биографии его были моменты, о которых забыть не пришло время, Шалаев в определенных границах доверял ему и с удовлетворением видел, что не ошибся.

Тройников же заявил сразу и вполне определенно: «Я не вижу цель». Не видеть цель, когда идет война с фашизмом, — такие слова нельзя было оставить без ответа. Тем более что они могли повлиять на других командиров. И он ответил на них должным образом.

Но хотя слова Тройникова были совершенно определены и ясны, теперь он видел, что в них содержался другой, военный смысл, который здесь поняли все и вовремя не понял он один. Вот это обнаруживать не следовало. А главное, он перешел ту грань, которую ему переходить не разрешалось. Это было все равно что превысить власть. За превышение власти не хвалили.

С этой минуты в нем зрела безотчетная ненависть к Тройникову, такая, что временами обмирало сердце. Он не мог удержаться и взглядывал на него, бессознательно отыскивая те черты, которые эту ненависть могли укрепить.

И в то же время безошибочным чутьем, которое в равной мере есть у животных и у людей, особенно у людей нерешительных, позволяя им иногда выглядеть смелыми, чутьем этим Шалаев чувствовал, что Тройников не боится его. Командир корпуса бывал несдержан в гневе, но, читая в душах, Шалаев видел, что перед той силой, которая негласно стояла за ним, Щербатов нетверд. И, будучи всего батальонным комиссаром, что соответствует майору, он держался с командиром корпуса уверенно. Эта уверенность сегодня подвела его.

Во все время совета — и пока Тройников говорил, и после, когда он сидел, слушая соображения других, — он, как холод пещерой, чувствовал ненависть, психодивущую

на него от человека, на которого он ни разу с тех пор не взглянул.

А за окном было уже позднее утро, солнце растопило смолу на стволах сосен, ею сильно пахло в лесном воздухе. Под навесом сарая ординарцы, забавляясь, повалили на землю щенка и по очереди соломинкой щекотали его тугой, раздувшийся от молока живот. Щенок, вывалявшись в пыли и сухом конском помете, скалил молодые клыки, лязгал ими, пытаясь укусить. Ординарцы хохотали, смачно сплевывая и куря, как по уговору не замечали лесника, хозяина дома. Высокий жилистый мужик в зимней шапке, под которой он прятал лысину, с бородой святого и глазами разбойника, он то из-за одного угла появится, то из-за другого, то веревочку подберет с земли, то гвоздик — мало ли добра раскидано, где военные стали на постой! — а сам глядел-глядел, чтоб солдаты цигарками не спалили сарай. За смехом и разговорами о пустяках ординарцы и связные помалкивали о главном, томилась, ожидая, когда кончится совет.

Множество телефонных проводов с крыльца и из форточек штаба тянулось в лес, чтобы донести в штабы дивизий и дальше зашифрованные приказы, когда придет время передать их. Но уже по другим проводам, идущим от сердца к сердцу, дошел до людей главный смысл происходящего.

Отпустив всех, Щербатов еще некоторое время работал с начальником штаба над картой. Потом он отпустил и Сорокина, тот ушел, забрав папку с документами и карандашами, и Щербатов остался один. И то неприятное, что не забылось, а только отодвинулось за делами, теперь напомнило о себе. Он оглядел избу, проходя, глянул на угол стола, где сидел Шалаев. Никто, возможно, не заметил и не понял, почему он, вдруг рассердясь и покраснев, повысил голос на командира дивизии, была только общая неловкость, но он-то хорошо понимал причину и знал. И рана, о которой напомнили, заняла сильнее.

Все это началось не сегодня и не вчера, а много раньше. Он даже не смог бы сказать точно, когда это началось, но один момент он запомнил ясно. Он тогда впервые испытал унижительное чувство, отголосок которого прозвучал сегодня в его душе.

Тогда собрания шли часто, и бывало так, что на одном собрании человек выступал с разоблачениями, а уже на следующем про него говорили: «Как мы оказались настолько политически близорукими, что смогли проглядеть врага, продолжительное время безнаказанно орудовавшего среди нас?» И вот на таком собрании капитан, один из его командиров рот, тихий, бесцветный человек, вдруг попросил слова. И пока он шел по проходу, очень спокойный, обдергивая на себе гимнастерку, все что-то почувствовали. Закрытый по грудь трибуной — только плечи и голова его поднимались над ней, — он прокашлялся в кулак, показав свою плешивую макушку.

— Товарищи!

И с этим словом, положив обе руки на трибуну, он прочно утвердился на ней.

— Политический момент, который переживает сейчас наша страна, титаническая борьба, которую ведет наша партия под руководством верного продолжателя дела Ленина, гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина (он первый заплодировал, высоко подымая руки над трибуной, как бы показывая их, и в зале, и в президиуме заплодировали, многие с восторгом), эта борьба, товарищи, требует от каждого из нас не только бдительности, но и партийной принципиальности.

Он говорил глуховато, званием он был младше многих, но с тем, что он говорил с трибуны, он как бы поднялся надо всеми. И каждый вслушивался, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти.

— Давайте спросим себя, как коммунист коммуниста, спросим, положив руку на сердце: «Всегда ли мы искренни перед партией? Всегда ли мы оказываемся способны стать выше личных, приятельских отношений?»

И, положив руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой:

— Нет, товарищи! Не всегда! Вот среди нас сидит полковник...

Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза, глаза своего подчиненного, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошел по рядам.

— ...Вон там в углу сидит полковник Масенко.

И весь зал обернулся туда, куда указал палец с трибуны, и каждый, кто знал Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его: белый, пригвожденный, сидел он, чем-то незримым сразу отделившись ото всех.

— А ведь вы неискренни перед партией, товарищ Масенко! Я бы на вашем месте вышел сюда, — в тишине раздался четкий стук костяшек пальцев по доске трибуны, — и рассказал присутствующим коммунистам... В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троцкистов? Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?..

А по проходу уже шел, почти бежал пожилой полковник Масенко, рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо, его прошиб пот, он шел, утпываясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшее обвинение. Перед ним отводили глаза.

— Я скажу... скажу!.. — кричал он еще снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где еще стоял капитан: — Я скажу-у!

Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко... Приятный скромный человек с боевой биографией. Троцкист!.. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-я-яй!..

А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающе тряс щеками, и постепенно из-за общего шума пораженных открывшимся людей стал все-таки слышен его голос:

— Я был. Да. Я был послан... Я по заданию партии... А вы, голубчик... Вы как же? Вы почему меня видели там? Как вы там были? И я еще скажу. Я сам хотел сказать... выйти. Я назову.

Щурясь с яркого света сцены в зал слепыми от волнения глазами, он кого-то искал и не мог разглядеть.

— Я назову...

Зал затих.

— Вот... вот, пожалуйста... Капитан Городецкий был тогда... посещал. Полковник Фомин.

Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами все выше подымался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то еще.

— Вот... Сейчас... Вот...

И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он, ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый, со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его жизнь может быть зачеркнута крест-накрест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать, но он сидел перед надвигавшимся, оцепененне сковало его. А потом вместе со всеми он обернулся на того, кого указал трясущийся палец Масенко.

Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе, но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих: ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поспать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти: либо прошлые связи, либо был за границей.

Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестипэтажный, серый, со всех четырех сторон окружив собой двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочники для малышей, выровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них залпвали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся парадные дети, и среди них — тайком проникшие сюда дети с соседних дворов.

Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины: люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидание опустынились на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет.

В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. В чью постучатся дверь? Напротив жил профессор-хирург. Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола. Туда, где лежал пистолет. Теперь по почам он перебирал бумаги. Готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была

гражданская война. Славные имена друзей, их письма, все это теперь могло стоить жизни.

Бесшумно вошла жена в халате поверх почной рубашки. Так они сидели: он — в кресле, она — на краешке дивана, запахнув халатик на коленях, босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча — больше глаза на белом лице.

Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей, спокойной жизни. За ее толстой обивкой умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой и те, кому важно было, чтоб все это совершалось в тишине, и те, у кого крик души рвался наружу. Только шже, ниже по спирали лестницы затихавшие шаги многих ног.

Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек — человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине; сверху и машина и люди казались расплюснутыми на асфальте. На виду всего дома, спасаясь от взглядов, от позора, профессор, спеша, сам сунулся непокрытой головой вперед, в распаханную для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца — гулко отдалось в каменном колодце двора, в припущенной тишине.

Взревев мотором, машина скрылась, а на том месте, где стояла она под дождем, осталось сухое пятно на асфальте и трое дворников в белых, словно на праздник надетых, фартуках.

У жены вдруг начался озноб. Она легла на диван и под двумя одеялами не могла унять дрожь. Он грел в ладонях ее ледяные ступни, а перед глазами, смотревшими в одну точку, в темный угол, стояло одно и то же — как сосед его, профессор, непокрытой головой вперед сам сунулся в распаханную дверцу машины, припущенно склонив шею. И было в этой припущенности что-то такое, чего Щербатов понять не мог. После не раз он видел, как невиновные вели себя виноватыми, но в тот момент это объяснение не шло на ум.

Они были всего лишь добрые соседи. Общая лестничная площадка не соединяла и не разделяла две семьи. Но дети их учились в одной школе, бегали друг к другу за

уроками. И сознание, что там, за той дверью, двое детей, не давало покоя. Щербатов разговаривал с сыном и ловил себя на том, что думает о тех детях. За столом жена смотрела на сына — и вдруг глаза ее наполнились слезами.

Однажды вечером, вернувшись домой раньше обычного, он застал соседку. Еще в передней жена шепотом предупредила, кто у них, и робко заглянула при этом ему в глаза. Щербатов вошел. Женщина поднялась ему навстречу, испуганно покраснев. Она знала, что, входя к ним в дом, она подвергает их опасности, и только в его отсутствие решилась зайти: с жены другой спрос, жена не работала. Щербатов почтительно поздоровался с нею. Она заторопилась уйти, но ее уговорили остаться. Она была причесана и одета особенно тщательно и, понимая, что это могло показаться странным в ее положении, как бы предупреждая вопрос, сказала:

— Туда, в приемную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе — прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление, а в окошке старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла: там, в приемной, где все связаны одной судьбой, люди сторонятся друг друга. Как будто думают: «У них мужья действительно враги народа, но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится». Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники — она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего... — Она медленно покачала головой, глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одной видное. — Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадает.

Уже встав и уходя, рассказала вдруг:

— Сегодня там девочка лет четырнадцать, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим: матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то. Одна. От поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? И ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась. Как мышка. Потом еще. И вдруг окно раскрылось, и через него рукой вот так он ткнул ее. Так, что она упала на нас... Знаете, это только ребенок мог сделать. — У нее вдруг мурашки пошли по щекам. — Мы, взрослые, самое большее — можем заплакать. Она бросилась на это окно, как звереныш, она была

в него кулаками, кричала: «За что вы меня ударили? За что? За что?..» И что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть. Вы не поверите, он выбежал из дверей и сам при всех принял у нее посылку... Он не нас испугался, он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине и иметь вид закона. А он нарушил что-то.

Больше соседка не заходила к ним. И вскоре уже передачи послала их старшая дочь, Ира. И ей, и отцу. Как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.

ГЛАВА II

Среди тысяч сыновей, вместе составлявших 3-й стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист — командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом, только лет ему было поменьше, чем сыну, едва-едва за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен и снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, видя его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого растет сын, такой же дурак, как ты когда-то. Но он — твой сын, и его мать отпустила с тобой на войну.

Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем.

...Однажды Андрей прибежал из школы возбужденный. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачеркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола, в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания, на котором разбиралось дело его сверстницы Иры, дочери соседней. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок: перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском собрании осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них.

— Понимаешь, отец, — рассказывал Андрей, запово переживая, — мы ей говорим: «Тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты — комсомолка!» А она, как дура, стоит перед всеми и твердит свое: «Моя

мама — честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошее говорила про товарища Сталина».

«Да ты пойми, говорим мы ей, они тебе всего не рассказывали». Объяснили ей, поняла, кажется, и — опять свое: «Моя мама — хороший человек». — «Значит, органы НКВД арестовывают невиновных, так по-твоему?»

Это говорил ему Андрей, сын, и лицо сына дышало искренним возбуждением. Щербатов спросил осторожно:

— А если б тебе сказали, что вот я, твой отец, — враг народа. И ты должен отречься от меня...

— При чем тут ты? — Андрей обиделся. — Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал! А она сама созналась, что отец ее по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Научные!.. Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право? Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли! Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с Вещим Олегом! Оказывается, если перевернуть тетрадку вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин. Там позади него — полки с книгами. Так из книг можно составить: «Гитлер!» Я сам проверял!

Щербатов смотрел на него.

Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были живые люди, которых он знал, под чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону Царицына несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же если не единственным, так величайшим полководцем революции был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда единственным именем, вобравшим в себя все, было имя Сталина. Оно было так же несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал.

Поколебать эту веру? А с чем оставить его в душе? Слепая вера страшна, но страшно и безверие. Быть может,

впервые в тот раз вдвоем с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким.

...Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошел к штабу. Светила луна из-за черных зубцов сосен, и в свет ее по росе вышли двое. Щербатов сразу увидел Андрея. А с ним была женщина. В юбке, с пистолетиком на боку. В пилотке набок. И, конечно, завитая. Вся в кудряшках. И старше его. Во всяком случае, опытней. Сразу видно. А Андрей держал ее руку. Они стояли под луной на расстоянии друг от друга, и Андрей, смеясь, рассказывал что-то и был счастлив. Но оттого, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно. Как будто они просто знакомые. Просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что они не просто знакомые. И передернул плечами. Он испытал брезгливое чувство за сына. Дурак! Молодой и дурак! Цены себе не знает. Разве это нужно ему? В пилотке, с пистолетом...

Он отошел от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты.

— Пришел? Здравствуй.

Щербатов подал руку, и сын с внезапно заблестевшими глазами стиснул ее изо всей силы. Рука отца была шире, ее неудобно было жать, Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка! Головки хромовых сапог его блестели росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастерки пахло лесом, вечерним туманом — молодостью пахло.

— Сейчас будем обедать, — сказал Щербатов.

И тут в дверь вошел Бровальский.

— А-а!.. — сказал комиссар, увидев их вдвоем. И, дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представлял его Щербатову: «Какков!..»

— Ты здесь будешь? — спросил он погоды. — Так я поеду.

Это «ты» не было выражением полной душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся «ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар не едины.

— Съезжу погляжу, как там и что, — сказал Бровальский небрежно, как о несущественном, улыбнулся и под-

нял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки.

Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали свое движение к переднему краю, всё, что было в штабе, устремилось туда, и Сорокин, и Бровальский вот тоже, словно бы им неловко друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства; чтобы требовать к себе внимания и тем самым еще больше увелпчивать путаницу и неразбериху.

— Ну что ж, езжай, — сказал Щербатов и кивнул, как бы подтвердив необходимость поездки. И они остались с сыном вдвоем.

— Отец, — сказал Андрей, — это правда?

И глянул на него своими правдивыми глазами, в которых не то что мысль, тень мысли была уже видна — мать глядела из этих глаз. Щербатов нахмурился, засовывая угол салфетки за воротник, кашлянул густо. Не потому нахмурился, что Андрей не имел права спрашивать его об этом: лейтенант, даже если он сын командира корпуса, — все равно лейтенант, тем только и отличающийся от других, что с него больший спрос, и не потому, что это была немужская черта — проявлять несдержанность, а потому, что ему не по себе стало под устремленным на него честным, спрашивающим взглядом сына. И он нахмурился. Андрей покраснел до выступивших слез. И все же не мог скрыть радости. Потому что это — правда. Потому что готовилось наступление. Отец не случайно вызвал его к себе. И когда вошел ординарец с бутылкой водки в полотенце — он охлаждал ее в ведре с колодезной водой, и с бутылки сейчас капало, — Андрей и на него взглянул счастливыми, еще влажными и оттого особенно снявшими глазами.

Ординарец, усатый и немолодой, достаточно на своем веку потяпувший лямку, понял эту радость по-своему: как не обрадуешься у отца за столом после солдатской-то каши на травке! Она и хороша, и полезна для солдата, пшенная каша, да плешь пересдаст. И, шевеля в улыбке усами, он с особенным, отцовским чувством, не заискивая, а единственно радуясь за Андрея, незаметно пододвигал ему что повкусней и налил ему полную, до краев стопку.

Снизу Андрей улыбнулся ему. Он понимал, почему ординарец так на него смотрит. Это было выражением любви и уважения к его отцу. И, чокнувшись с отцом, Андрей поднял стопку, показывая ординарцу, что мысленно чокается с ним.

Они только сегодня узнали, сегодня поняли все, какой у него отец. А он всегда знал. Он не мог говорить этого, потому что отступали. Если бы знал отец, как больно, как тяжело было отступать! Не за себя. Что он, в конце концов! Тысячи лейтенантов таких, как он. Убьют — другого поставят, не худшего и не лучшего. Но отец... Как пестерпимо было ему, когда он, умней, талантливей, мужественней всех этих немецких генералов, и — отступает.

С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда, осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки, прокрадывался к отцу в кабинет. Черные клеенчатые (тогда они казались ему кожаными) кресла, крепкий запах табака, отцовская спинка у стола в кресле и — тишина. Особенная тишина. А на стене сквозь дым блесло оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Комбриг! Это его отец был комбриг. Потом начдив! Комкор! Как это звучало: «начдив»! Чапаев был начдив.

Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров, из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки, пропахший пылью походов, припеся ее с собою на плечах гимнастерки, на сапогах. Жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров.

Все товарищи знали этот день, когда возвращался его отец. И они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком прокрадывался с ними в кабинет и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать. Снять его оттуда он даже сам никогда не смел. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца.

Все, что делал отец, было окружено в доме уважением. И то, как он выходил к столу, когда уже все за столом сидели, и особенно как он, закрывшись, часами работал в своем кабинете. На цыпочках проходя мимо двери, около которой всегда стоял в коридоре запах крепкого табака, Андрей слышал тишину и изредка в ней

скрип пружин отцовского кресла. Это уважение и тишину в доме строго берегла мать. Особенно в последние годы. В эти годы уже взрослый Андрей, просыпаясь среди ночи, всегда слышал шаги в отцовском кабинете. Скрип, скрип, скрип... — из угла в угол сухо поскрипывали сапоги. И слышен был шепот матери. Днем она всегда была сдержанна, ровна, строга.

По целым ночам из-под двери кабинета светила в коридоре желтая полоса света и слышался шепот матери. Было это тревожно, хотелось не думать об этом. В эти предвоенные годы исчезли лучшие товарищи отца. Андрей помнил их живыми. Веселые, сильные люди, смеясь, они сажали его к себе на колени, обтянутое синим диагональным или походным галифе — гоп! гоп! гоп! гоп! — и он подпрыгивал, словно на коне, счастливый и гордый. Они исчезли один за другим, вдруг, и отец по целым ночам ходил по кабинету из угла в угол, и по целым ночам светила из-под двери желтая полоса. Происходило что-то страшное, о чем в доме никогда не говорил с ним. Это нельзя было понять, можно было только не думать и не верить. И Андрей верил, и основой его веры был отец.

Не в летное, не в кавалерийское, не в танковое — он пошел в пехотное училище, идя дорогой своего отца. А когда началась война, он встретил ее вместе с отцом, под его командованием. И сейчас он снова гордился им. Он знал, отец не любит таких слов, он никогда не посмел бы их сказать ему. Он только поднял на него глаза, полные любви и гордости. Щербатов нахмурился.

— Отец! — сказал Андрей, а про себя подумал: «Черт! Водка, наверное». — Отец, если разрешаешь, налей еще одну.

Широкая рука Щербатова с бутылкой протянулась к нему. Она была рядом с ним, на весу. Отцовская рука. И Андрею за все, что она дала ему, за радость, которую он испытывал сейчас, вдруг захотелось поцеловать ее, широкую отцовскую руку. Но он сдержался. Он опустил лицо к тарелке, чтобы отец не увидел его слез.

Они говорили о матери: Щербатов только что получил от нее письмо, для себя и для сына. Андрей ел и читал письмо, держа его перед тарелкой. Чудачка мать...

— Знаешь, отец, у нас командир роты вот такой. По плечо мне. Он, когда приказывает, вздрагивает от своего голоса и становится на носки. И руки держит самоварчиком...

Андрей рассказывал и сам же смеялся, и половинцу слов из-за этого нельзя было разобрать. Это у него с детства. Когда-то Щербатов учил его, что нельзя смеяться первому: ты рассказываешь, дай посмеяться другим. Он учил его быть сдержанным. А может, не это главное?

— И понимаешь, вчера псчез вдруг боец. Говорят, местный. Не из моего взвода. Так наш командир роты...

Андрей вдруг спохватился, робко глянул на отца. Глаза были выповатые. Он забыл в этот момент, что отец его — командир корпуса, и, рассказывая так, он подводит своего товарища, командира роты. Щербатов сделал вид, что не слышал. Да, этому он тоже учил его. Он учил его, что заслуги отца — это еще не заслуги сына. Все, чего должен Андрей достигнуть в жизни, он должен достигнуть сам. Потому что не знал, будет ли и дальше у Андрея отец. А если это случится, ему будет трудней, чем многим его товарищам. Он не мог сказать Андрею, но готовил его к этому. Сын должен был выстоять. Выстоять и остаться человеком.

Он учил его быть честным. Многое менялось в жизни, многие люди менялись на глазах. Но есть вечные человеческие ценности. Среди них — честность. Честь. А вот сейчас ему хотелось сказать Андрею, чтобы тот пошел к нему адъютантом. Почему адъютантом у него должен быть чужой, а не его собственный сын? Отец и сын — в этой войне они должны быть вместе. Об этом просит в письме мать. Но даже ради матери он не мог этого предложить Андрею.

Щербатов смотрел, как ест сын, молодой, страшно голодный. Смотрел на его наклоненную голову, маленькое покрасневшее ухо, за которое когда-то в детстве трепал его. На плечи, уже налпвшшиеся силой, — португеза врезалась в них.

— Стой, отец! — Андрей даже ест перестал, вспомнив, и шлепнул себя по лбу. — Вот бы забыл! Понимаешь, у меня во взводе боец есть. Оказывается, инженер московского завода. Страшно головастый мужик. Я даже не понимаю, зачем такого взяли на фронт? Глупо. Что от него пользы с винтовкой? Убьют, и только, а он инженер. Отец, можно что-нибудь сделать?

Щербатов только усмехнулся.

— Просто глупо, — сказал Андрей. — Был бы он летчик хотя бы. Вот слушай, что он придумал. Обыкновенный лук, почти как у индейцев. — Андрей засмеялся, как

в детстве.— Мы пробовали. Берешь бутылку с зажигательной смесью и стреляешь. На пятьдесят метров бьет. И точно бьет. Рукой так не кинешь. Знаешь, как удобно из окопа по танкам бить?

Щербатов едва не вздрогнул. Те в танках, в броне, под прикрытием самолетов, а его сын с луком, как индеец, готовится бутылками стрелять в них. И он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке. Неужели он виноват, что так случилось?

— Отец,— сказал Андрей, прощаясь,— я рад, что мы вместе. Знаешь, как я в детстве завидовал тебе! Ты прости, что я тебе так говорю, ты не любишь этого, но ты знай: за меня ты стыдиться не будешь.

И он посмотрел на отца своими правдивыми глазами, взгляда которых Щербатов вынести не мог сейчас.

Он стоял у окна и видел, как Андрей напрямик идет через поляну, идет легко и радостно по траве, дымчатой от росы. Мальчик. Его сын. Которого мать отпустила с ним на войну.

ГЛАВА III

Всю ночь по дорогам и бездорожно шли полки, перемещаясь вдоль фронта. В слитной людской массе, застряв и возвышаясь над нею, двигались пушки, повозки. Запах бензина, конского пота и махорки витал над походными колоннами. Рано поднявшаяся луна закатилась за лесом, и люди шли в кромешной тьме, в плотной, стоявшей над дорогами пыли. Скакали офицеры связи с приказами, кого-то поворачивая с полноты, кого-то направляя в другую сторону. Радостный подъем первых часов начинал сменяться усталостью, спешкой, раздражением.

Все это несметное множество людей и техники, из окопов, из лесных укрытий с первыми сумерками хлынувшее на дороги, чтобы к рассвету исчезнуть, раствориться в окопах и лесах, теперь, казалось, запутывалось, стискивая друг друга, сбиваясь на мостах и гатях. А над ними, тяжелым гудением сотрясая воздух, проходили немецкие бомбардировщики, волна за волной, все на восток, на восток, на восток, где не утихал бой. И далеко на юге шел бой, и на севере вздрагивала земля от бомбовых уда-

ров, явственно приблизившихся ночью. Но впереди фронт немо молчал, изредка расцветая сериями взлетающих ракет; свет их, не пробиваясь, гаснул за лесом.

Захваченный общим движением, сжатый со всех сторон, Тройников остановил машину, не глуша мотор, сидел, положив руки на руль, а навстречу текли войска. Июльская ночь была душной, и пыль, вздымаемая тысячами сапог, висела над дорогой. Он слушал шаг пехоты, звяканье оружия, пригнутого снаряжения. Ощущение близкого боя уже владело людьми. Они проходили в пыли рядом с его машиной, узнавали, оборачивая на ходу лица. И в этих молодых, сдержанно-веселых лицах, на миг возникавших перед машиной из темноты и вновь исчезающих в темноте, в сотнях людей, проходивших под его строгим взглядом, он чувствовал сейчас то же, что чувствовал в самом себе. Он слышал шаг солдат, идущих с полной выкладкой, обрывки разговоров долетали до него. Не команды и приказы, а вот это возбужденное, равно владевшее им и его людьми, чувство собственной силы и ожидание боя было сейчас главным и необычайно значительным. И то ощущение физического здоровья, которое он знал в себе и особенно остро испытывал только в своей дивизии, он испытал и сейчас. Не роты и батальоны, а нечто нераздельное, здоровое, молодое, горячее двигалось мимо него и с ним вместе в бой. Голова его была холодной, а сердце, которым Тройников умел владеть, билось сильными, ровными ударами в такт их мерным шагам.

Он толкнул машину вперед, и лица, фигуры бойцов в гимнастёрках, сторонящиеся к середине дороги, как бы на миг застывая в движении с занесенной ногой или рукой, быстрее замелькали навстречу.

Издали еще, подъезжая к мосту через мелкую речонку, Тройников услышал голоса и шум, и пехота оттуда шла с веселыми лицами, оставшие бегом догоняли товарищей. Тройников вылез из машины. Он узнал раздававшийся у моста голос начальника штаба корпуса Сорокина с генеральскими раскатами и старческим беспомощным дребезжаньем. Сам Тройников взыскивать со своих офицеров и солдат мог, дивизия была его. Но он не любил, когда это делали другие, тем более вышестоящие начальники. Сунув ключи от машины в карман, Тройников медленно пошел туда среди двигавшихся навстречу и расступавшихся перед ним солдат.

На мосту, который по заверениям мог бы выдержать танк, провалилась легкая пушка. И больше всех теперь недоумевали те, кто главным образом был виноват. Ну и, как водится, машина с начальством, которой и ехать тут было ни к чему, которая могла сейчас находиться на любой из дорог, к случаю оказалась именно здесь.

— Вот, полюбуйся на орлов! — издали заметив Тройникова, закричал начальник штаба. — Твой и Нестеренкина!

И в голосе его была личная обида человека, который все так хорошо составил, рассчитал и учел, и вот из-за нераспорядительности, из-за ротозейства, из-за какой-то несчастной пушки все рушилось и приходило в хаос. А уже напирали сзади машины и другие пушки, на дороге, сжатой с двух сторон лесом, образовывалась пробка.

Для Сорокина не имело значения, чья это пушка. Главным было, что рушился его продуманный во многих деталях план. Но для Тройникова как раз это имело значение. Одно дело, если это Нестеренкина пушка, и совсем другое дело, если это пушка его. В определенном смысле это сейчас был даже вопрос чести. Но выходило, кажется, что провалилась под мост его пушка. И командир батареи, растаян, в присутствии вышестоящего начальства жаловался еще:

— Он, товарищ полковник, у меня бойца увел!

Красивая складывалась картина. Мало того что пушка под мостом, так еще кто-то из Нестеренкиной дивизии увел у них бойца. С заложеными за спину руками Тройников повернулся туда, куда указывал капитан. Там стоял старший лейтенант, артиллерист. Под взглядом командира дивизии он по-строевому отчетливо приложил руку к козырьку, но явно не робел. В нем чувствовалась несконьянность человека, знающего себе цену и готового за свои действия отвечать. И обмундирование на нем сидело как влитое. Штатский человек, сколько бы ни старался, как бы ни затягивался, все равно видно, что в форму он влез, как лошадь в широкий хомут. А этот словно родился в ремнях, и гимнастерка на его сильном теле сама сидела именно так, как единственно она и могла сидеть.

Опытным глазом Тройников все это увидел и оценил, но каждое из этих качеств, при других обстоятельствах расцениваемое со знаком плюс, теперь тем сильнее было

направлено против старшего лейтенанта, чем более жалким по сравнению с ним выглядел растяпа капитан.

С холодным любопытством Тройников оглядел его. Смел! Сам Тройников не робел перед начальством, но это еще не значило, что в отношении него кто-то из подчиненных мог позволить себе подобие. Тем более офицер другой дивизии.

А Сорочки все еще кричал, и капитан вытягивался перед ним, пытаясь оправдываться. Ему то было обидно, что у него увели бойца и никто не хочет принять это во внимание. И не мог понять: раз его пушка под мостом, он уже ни в чем прав быть не может. Чем больше обижен, тем более виноват.

— Ты разберись тут, Тройников! — приказал Сорочки, строгостью прикрывая свою беспомощность. — Чтоб через десять минут пробка рассосалась. Это твой, между прочим, твой орел отличился: чужого бойца увел...

Так вот что оказывается! Это меняло картину. И Тройников заново оглядел старшего лейтенанта. «Смел!» — подумал он, на этот раз уже с одобрением. Теперь он заметил и двух бойцов с карабинами, стоявших за его плечом, — оба по виду и по духу такие же, как их комбат. А батареи поблизости не было. Батарею и того самого бойца, из-за которого шел спор, видимо, отправил вперед. Старший лейтенант начинал ему нравиться.

— Как фамилия? — спросил Тройников строго, поскольку подобных действий он одобрять не мог.

Комбат опять козырнул, и с ним вместе подтянулись оба разведчика.

— Старший лейтенант Гончаров, товарищ полковник! Глаза глядели весело. Кажется, не глуп.

— Почему не знаю?

Улыбка, едва заметная, тронула губы комбата:

— Прибыл в вашу дивизию недавно, товарищ полковник!

Врет! По глазам видно. Но обстановку оценить сумел. И Тройников уже с удовольствием оглядел его, запоминая.

— Надо помочь Нестеренке, — сказал он, чтобы все слышали, и приласкал взглядом растяпу капитана, уже за одно то его полюбив, что он, такой неудачливый, был не в его дивизии. Да в его дивизии и не мог быть такой. — Поможем, раз в беду попал!

И оглянулся, уверенный, что кто-то, кто ему нужен,

окажется за его спиной. И действительно, за спиной его оказался командир проходившего мимо батальона.

— Так точно, товарищ полковник, поможем, — доложил командир батальона, на лету смекнув.

До сих пор пехота, видя гневающегося генерала, сама, без команды, делала «шире шаг!», тем более что Сорокин никому определенно ничего не приказывал, а кричал сразу на всех. И ни у кого не возникало охоты понастыть ему на глаза. Но теперь тут был командир их дивизии, и он сказал: «Надо помочь». Направляясь к своей машине, Тройников видел, как солдаты посыпались под мост, где лежала провалившаяся пушка, и уже раздавалось: «Раз, два — взяли!.. Еще — взяли!.. Сама пойдет! Сама пойдет!..»

Перед утром Тройников вернулся на свой КП. Издали заметя командира дивизии и весь подобранный, часовой с трофейным автоматом на груди приветствовал его. Тройников по своей привычке строго глянул солдату в глаза, окинул взглядом его всего от носков сапог до звездочки на пилотке.

Часовой был молодой, крепкий парень, давно влегший в солдатскую лямку и несший ее легко. Он охотно тянулся перед командиром дивизии, но не слишком, а весело. Вот такие были бойцы его дивизии, на каждого приятно посмотреть. Ответив на приветствие, Тройников вошел в землянку.

Все то мелкое, что занимало его на дорогах — его ли пушка придет раньше или пушка другой дивизии, — все это отошло сейчас на задний план. Тройников достал карту из планшетки, расстелил ее на столе — от движения воздуха в сыром сумраке землянки заколебались желтые огни свечей — и, закурив, уперевшись в расстеленную карту ладонями, задумался.

Да, он не воевал еще, предстоящий бой будет его первым боем. Но у него были свои преимущества перед теми, кто перенес разгром, окружение, отступал от самых границ. Бесследно это не проходит.

Как в большинстве людей живет подспудное ощущение, что вся жизнь, которая промелькнула до них, была как бы подготовкой к тому главному, что началось с их появлением, так Тройникову казалось, что основное начинается только теперь. И перед тем, что начиналось, он был тверд. Стоя над картой, он думал не о потерянных километрах — не ими измеряется успех. Он думал о том, как будет из-

менее ход войны. Чем тяжелее положение, тем крупнее должен быть риск. Он чувствовал в себе силы, верил, что его час придет.

Отвлек Тройникова адъютант, явившийся доложить, что командиры полков, вызванные на рекогносцировку, прибыли.

С холма видно было поле, реку и деревню за рекой. И весь этот очерченный тающим горизонтом простор полей, с деревенькой вдали, с блеском реки и лесом, с желтыми хлебами, зеленым лугом, с высоким летним небом, вместе с облаками, отраженными в реке, казался остановившимся, неправдоподобно мирным.

Тройников подозвал первым к стереотрубе командира 205-го стрелкового полка Матвеева, рукой указал за реку, за луг — на деревню:

— Видишь деревню? Будешь ее брать.

Матвеев, черноволосый, крупный, на последнюю дырочку затянутый по животу широким ремнем, с мясистыми щеками и страшными на этом полнокровном лице тоскующими глазами, долго смотрел на деревню, потом так же долго смотрел на карту, придерживая ее на планшетке толстыми пальцами, — ветер трепал углы.

— Может не удастся в лоб, — сказал он наконец, поспевав, и потянул себя за ухо.

Тройников глянул на его яркие тугие губы, медленно произносившие слова. В этом сильном мужском теле с богатой растительностью была немужская душа. По необъяснимой причине она досталась Прищемихину, который рядом с Матвеевым казался подростком. Подросток с морщинистым лицом, узкими глазами, в которых мелькала быстрая мысль, большими оттопыренными ушами и вздернутым носом, в поздрии которого было глубоко видно. Был Прищемихин опытен в военном деле, и хотя задача пока что ставилась не его полку, он, времени не теряя, прикидывал ее по карте.

— Ну и прав немец, что не удастся в лоб, — сказал Тройников. — Дурак он, что ли? А поверить, что мы дураки, в это он поверит: не мы его, он нас бьет. Брать деревню будешь ты. А возьмет ее Прищемихин. Понял? Удар твой ложный. Немца притянешь на себя, свяжешь его в бою, а Прищемихин тем временем выйдет в тыл. Иди сюда, Прищемихин.

Река, оглябая деревню, текла до леса и там, разлившись широко, заворачивала на запад в отлогих берегах — от нас на левом фланге, от немцев — на правом. И по нашему берегу в зеленой осоке кое-где стеклышком на солнце блестела в низине вода. Это было болото, обмелевшее сейчас и подсыхавшее в июльскую жару без дождей. Болото, река, а за рекой на том берегу по лугу — немецкие позиции.

— Разведку посылал? — спросил Тройников.

— Ходила, — сказал Прищемихин, скромно умолчав, что ночью сам лазил с разведчиками по болоту и даже на той стороне побывал. Он вдруг улыбнулся, мелкие морщины пошли по всему лицу, верхняя короткая губа поднялась, оголив крупные зубы. — Начистоту говорить можно?

— Говори, я послушаю.

— Ходила разведка. Ничего, болото перебрести можно. Только днем под огнем по кочкам оскользаться... Так я их до рассвета еще там положил.

— Где там? — Тройников глядел на него глазами испуганно-радостными.

— В осоке лежат.

— Где? Не вижу! — кричал Тройников, вскинув бинокль к глазам. — А ну, кто видит? Смотрите все!

Он оттого заставлял сейчас смотреть всех, что гордился Прищемихиным, отличал его и хотел, чтоб все видели это.

Но во всех биноклях только блестела река и на немецком зеленом луговом берегу заметно было кое-где шевеление. А на нашем берегу простерлось болото под солнцем — кочки, трава и вода. И ни души.

— Жить хотят, оттого и не видно никого, — сказал Прищемихин и усмехнулся. — Это на учениях, бывало, сколько ни гоняй, только отвернулся — один голову высунул, другой задницу, хоть стреляй их. А тут не ученье — война. С ночи в осоке лежат, брюхом в воде. Водки каждому двойную норму выдал, но — не куря! Предупредил строго. Деревню возьмете — закуривай! Старшинам с ночи приказ дал: «Кухни держать под парами!» И маршрут: как пехота в деревню войдет, чтоб раньше артиллерии с кухнями там быть.

Командир резервного полка Куропатенко, коротко остриженный и все равно рыжий, как осеннее солнце, захохотал от души:

— Да ты правду говори. Прищемихин, — может, твои в деревне уже?

— Зачем в деревне,— поскромничал Прищемихин.— Мои в болоте лежат. Я так мыслю.— Развернув карту на колени, Прищемихин поднял палец у себя над головой и кому-то погрозился.

Всем в дивизии было известно: Прищемихин не «думает», не «предполагает», а — «мыслит». Даже к ординарцу своему обращался он так: «Ты пасчет ужина сегодня как мыслишь?» Был он солдатом еще той германской войны и, выросши до командира полка, пройдя все ступени — и взводного, и ротного,— остался солдатом по своему нутру. И хотя не раз посылали его на курсы командного состава, бой он все равно видел по-своему, не сверху, а снизу.

— Я мыслю так: немец на той стороне по лугу редко сидит, так кое-где порыл окопчики неглубокие. Глубоко нельзя, вода близко подступает. На ночь он в деревню спать идет, вместо себя ракетки пошвыривает, реку освещает. Тут нам главное дело не перемудрить. Откуда он меня ждать может? От леса. Лес к самой воде подступает, там скрытно сосредоточиться можно. Так я в лесу одну роту оставил. Командир роты — парень молодой, но мыслит правильно. Ударит оттуда для отвода глаз, но с умом, чтоб людей зря в трату не дать.

Тройников слушал его, улыбаясь. Мельком глянул на Матвеева. Нахмуренный, тот завистливо сопел. На широкой переносице между бровями проступил пот.

— Добро! — сказал Тройников.— Действуй. Одним батальоном выйдешь деревне в тыл, двумя, не задерживаясь,— вперед. До скрещения дорог. Возьмешь высоту плюс пять полей, оседлаешь дороги — и сразу окапывайся. Это твоя главная задача. Дальше высоты не иди! — Он погрозил Прищемихину.— Понял? Ужинаю у тебя, раз у тебя кухни в первом эшелоне идут.

ГЛАВА IV

Настал день, и дороги опустели. Все исчезло. Скрылось в землю. Остались только бесчисленные следы ступавших здесь ночью сапог, перечеркнутые колеями повозок, вдавленными следами гусениц,— над всем этим, казалось, еще витали голоса.

Всходило солнце. На траве, на холодных телах танков, укрытых в лесу, обсыхала роса. Хорошо было сейчас

сидеть в свежевырытом окне. Сверху — солнце, сухой полевой ветерок по брустверу, а от не прогретой в глубине земли прохладно спине сквозь гимнастерку. Гудят вытянутые пудовые ноги, отходя понемногу, а голова легкая, и так сладко сейчас потянуться всем млеющим телом. Война ничего не отменила, только все чувства стали острее на войне. И нет слаще утреннего сна в окне после такой ночи. Сквозь дрему бухнет орудийный выстрел, а ты сидишь, вытянув ноги, не размыкая век...

Гончаров потянулся, заложил руки за голову, зевнул, глядя на Литвака масляными глазами:

— Ну вот, Борька, мы и встретились.

Борька Литвак, тот самый солдат, которого он почью забрал из чужой батареи, поднял от котелка лицо, улыбнулся стеснительно и добро. Он был голоден и ел так, словно домой попал. Слив в ложку последние капли из котелка, он облизал ее по-солдатски и сунул за голенище.

— Слушай, а за мной не придут?

— Неохота?

— Суп у вас гороховый здорово варят.

— Тем и славимся.

Они были однолетки и года четыре сидели в школе на одной парте. Но сейчас Гончаров выглядел старше и крупней. С ним произошла та перемена, которая быстро наступает в армии у молодых людей. Он развился физически, расширился в груди, в плечах, а сознание ответственности за многих людей — и равных ему по годам, и годившихся ему в отцы — проложилось на лице его ранний отпечаток мужественности и серьезности. Эту перемену, как незримую грань, разделявшую их, Литвак смутно чувствовал. И отчего-то неловко было называть его Юркой.

А Гончаров смотрел на него с суровой ласковостью, как на младшего старший брат.

— Курить научился?

— Есть, товарищ комбат, тот грех, — сказал Литвак, шуткой обходя неловкость.

Он взял у Гончарова кисет: «Ого!» Кисет был резиновый, трофейный, немецкий, и у Литвака даже некоторой завистью и уважением заблестели глаза.

Гончаров расстегнул отложной воротник гимнастерки, подставил ветерку голую грудь. Дым табака щекотал ему ноздри, но не хотелось стряхивать с себя дремоту в эти последние короткие минуты, которые он еще мог позволить себе подремать, пока разведчик устанавливает стерео-

трубу, а телефонист на соннышке клюет носом над аппаратом. Борьке же оттого, что он встретился со школьным другом, и попал к нему в батарею, и поел хорошо, и теперь закурил, показалось вдруг с легкостью, что война отодвинулась на долгий срок — надо же в конце концов людям поговорить!

— Старшина батареи у вас кадровый? — спросил Гончаров.

— Угу.

— Сверхсрочник?

— Мало сказать...

— Я вижу. — Гончаров улыбался сонной улыбкой. — Это он для тебя специально подобрал персональные сапоги. Из бросовых. Чтоб каждому виден был в них человек умственного труда. Старшины-сверхсрочники вообще любят студентов. Историков обожают особенно.

— Когда-то ты тоже собирався историю изучать. Помнится мне.

— Был такой факт биографии. Да вовремя сообразил: если все историю будем изучать, некому ее защищать окажется. А как выяснилось, это тоже необходимо. Слушай! — спохватился вдруг Гончаров. — Ты как в армии вообще? У тебя ж что-то вены на ногах и один глаз ни черта не видят.

Литвак скромно опустил глаза:

— Видишь ли, я убедил военкома, что я — снайпер.

— А на меньшее ты не соглашался?

— Нет, почему. Он поверил. Ты же знаешь мою силу убеждения. Только потом меня почему-то направили в артиллерию.

Гончаров строго смотрел на него смеющимися глазами. И вдруг расхохотался, не выдержав, окончательно стряхнув с себя сон.

Прошлое, отдаленное не таким уж долгим сроком, было теперь рядом с ними. И за дымкой времени чем неясней вспоминалось оно, тем казалось милей.

— Помнишь Петьку Москаленко? — спросил Литвак. — Ведь я тебя к нему ревновал.

— Где он сейчас?

— Не знаю. Знаю только, что поступил на физмат.

Да, Петька Москаленко. Худой, длинный, выше всех в классе, с маленькой головой, узким лбом и синими-синими глазами. Был Петька сыном уборщицы студенческого общежития. Обычно перед праздниками она при-

ходила в школу, робко стояла под дверью учительской, не решаясь войти. И когда ей говорили, что у сына ее незаурядные способности, она пугалась, кланялась и только просила учителей:

— Вы уж как-нибудь с ним постройте. Отца-то у нас нет, а сама я что могу?

Эти ее посещения школы для Петьки Москаленко были мучением, он покрывался красными пятнами, и лучше в это время было на него не смотреть. А у Гончарова отец был архитектор. На городской площади вокруг памятника Пушкину стояли старинные чугунные фонари, отлитые по его проекту. И было в городе здание авиатехникума, построенное Юркиным отцом. Это здание и эти фонари весь класс бегал смотреть. Они были не то что предметом гордости, но как бы принадлежали классу, их строил Юркин отец. Гончаров приходил в школу отглаженный, в начищенных ботинках, отличный спортсмен, кидал в парту портфель и сидел на уроках со скучающим видом. А Петька Москаленко рядом с ним грыз карандаш и, уставясь в одну точку остро блестящими глазами, решал дифференциальные уравнения. Или по целым урокам напролет они разговаривали. И тогда кто-нибудь из учителей не выдерживал:

— Гончаров, повторите, что я только что рассказывал!

Этой минуты, как представления, ждал весь класс. Гончаров откидывал парту, вставал, покачивая плечами, шел к доске и там, повернувшись лицом к классу, слово в слово повторял то, что говорилось на уроке. А потом, помолчав, глядя в лицо учителя ясными безжалостными глазами, начинал дополнять его рассказ такими подробностями, от которых класс замирал в восторге.

Они с Петькой никогда не учили уроков и всегда всё знали. Это было высшим шиком. Им пытались подражать, но это кончалось плачевно. Они были не просто хорошими, они были блестящими учениками, и за это учителя прощали им многое. И все-таки что мог Петька Москаленко, не мог никто. На его худых плечах в маленькой голове с узким лбом свободно помещались и логарифмы, и дифференциальные исчисления, которым никто его не учил, потому что в школе это не проходят, а мать у него была неграмотной женщиной и больше всего на свете почитала и боялась учителей. За три месяца на спор он выучил английский язык и не только читал, но говорил.

Считается, что ревность бывает только в любви. В дружбе тоже кто-то всегда первый, а кто-то страдает и мучится ревностью, быть может, не меньшей даже, чем в любви. Ревностью мучился Борька Лптвак. И тем она была безнадежней, что на него вообще не обращали внимания. Гончаров дружил с Петькой Москаленко, и к ним в дружбу никто кроме допущен не был. Кончилась их дружба внезапно. На уроке английского языка. Расширились ли в тот раз как-то особенно или терпению учительницы настал предел, но она вдруг закричала не своим голосом:

— Москаленко!

Петька в этот момент не разговаривал. Обернувшись назад, он играл на листе бумаги в морской бой. Он с достоинством встал.

— Вам должно быть стыдно! — сказала она ему по-английски. Он был ее лучший ученик, и ей казалось, она могла рассчитывать на его помощь. И вот тут Петька с неожиданной жестокостью, так, чтоб слышал весь класс, сказал ей по-русски:

— Если вы не можете установить дисциплину, так Москаленко тут ни при чем и нечего на него кричать.

Все видели, как у учительницы задрожали щеки, она как будто хотела закричать на него, но вдруг бросила журнал и с заблестевшими в глазах слезами выскочила из класса. Стало тихо. И в тишине Гончаров сказал:

— То, что ты сделал, — подлость.

Он сидел, а Москаленко все еще стоял за партой.

— И ты извинишься перед ней.

Но уже другие законы вступали в силу: на Петьку Москаленко смотрел весь класс и ждал. Он был герой, как он поступит сейчас? И это чувство оказалось сильнее, у него не хватило мужества, которого требовал от него Гончаров по праву их дружбы. Тогда Гончаров при всех ударил его по лицу. Они покатались в проход между партами среди завизжавших девчонок, и тем страшней была эта драка, что никто не мог их разнять. Сильней их в классе был только Шурик Хабаров, дважды остававшийся на второй год. Но он ненавидел их обоих всей сплotted ненависти, на которую способен бездарный человек. Его тетради, исписанные четким, каллиграфическим почерком, приводили в восторг учительницу черчения и в безнадежное уныние повергали всех остальных учителей.

И он стоял, сложа руки, и смотрел, как они дерутся. Кинулся разнимать их Борька Литвак. Так всех троих вместе и повели к директору. Борька шел как герой. Он готов был, хотел пострадать. Но, несмотря на то что у него была разбита губа, директор почему-то сразу решил, что он не виноват. И с этой не принятой во внимание разбитой губой, с великим позором пришлось Борьке одному выйти из кабинета на глазах всего класса, который дружно дежурил под дверью.

— Дураки мы были порядочные, — сказал Гончаров и прикурил от зажигалки. — А в общем — нет. Так и нужно.

Он сидел в окопе, по-хозяйски свободно, спиной к немцам. Сильные плечи опущены, ремни португези ослабли на них. Из-под низко надвинутого козырька фуражки блестя на огонек папиросы улыбающиеся воспоминанию глаза. И только вздрагивающие ресницы, пушистые, длинные, черные — девчачьи ресницы, — были от прежнего Юрки. Но сейчас они подчеркивали мужскую красоту лица.

А впрочем, того Юрку тоже никто в классе по-настоящему не знал. Он был сын уважаемого человека, архитектора, и то, что он приходил в школу выглаженный, с детства знал английский язык, — все это было как бы само собою разумеющимся: он вырос в благополучной семье. Но однажды Литвак пришел звать Гончарова на каток, и дверь ему открыл робкий, нетрезвого вида человек.

— Вы к Юрочке? — говорил он, почему-то заискивая перед Борькой и смущая его этим «вы». — А Юрочки дома нет...

При этом он испуганно оглядывался на вышедшую следом молодую здоровую женщину с грубым лицом, ставшую позади него. Она подозрительно и хмуро смотрела на Литвака и не уходила. И, стесняясь самого себя, стесняясь своего припудренного носа, он бестолково суетился, шаркал по полу, стараясь держаться на отдалении. Но и на отдалении от него пахло водкой.

Это был отец Гончарова. И когда Юрка узнал, что Литвак был у них и видел отца, он покраснел до слез, и долго еще Борька чувствовал в нем враждебность к себе. Только позже, когда доверие было восстановлено, Гончаров показал ему карточку своей матери: молодая-молодая, загорелая, она босиком стояла на песке, в майке, в сатиновой юбке, держа на плече еще маленького сына. Вся она,

освещенная солнцем, была такая счастливая, что у Борьки Литвака, смотревшего на фотокарточку, даже сердце сжалось: он знал уже, что ее нет. Она была секретарем заводского комитета комсомола, но на заводе у них произошел взрыв, и она погибла. С тех пор отец стал потихоньку пить, а домработница — та самая здоровая женщина с грубым лицом — постепенно весь дом и отца забрала в руки. И Юрка, жалея отца, опустившегося, безвольного, запуганного человека, презирая его, не мог ему этого простить.

Из всего класса только Петька Москаленко, а теперь еще Борька Литвак знали, что Гончаров, приходивший в школу в чистых рубашках и сверкавших ботинках, стирал себе, гладил и штопал сам. С тех пор как эта женщина стала в доме тем, кем она стала, Гончаров все для себя делал сам. Он ненавидел ее, презирал отца, но была еще в доме маленькая двухлетняя девочка. Черноглазая, вся в черных кудряшках, белая, румяная, крепкая, как орех. Маленький деспот, которому он позволял делать с собой все, приходя от этого в совершенный восторг. Когда он, гордясь, показывал ее первый раз Литваку, Борька поразился, как все лицо его стало другим. У Литвака тоже была сестра, старшая, правда, с которой он дрался. И был брат. Но, кажется, даже больше них он любил Юрку. И вдруг Гончаров, не сказав ему ни слова, подал документы в военное училище. Борька переживал это молча, как измену.

И вот в суматохе двигавшихся ночью войск они встретились на фронтовой дороге, два школьных товарища, и теперь вместе сидели в окопе. На себе самом никто не замечает прожитых лет. За эти годы Борька Литвак из мальчика, боявшегося драк и физической боли, превратился в мужчину, худого, жилистого, с острым кадыком, за которым рокотал неожиданный бас. И он сказал этим басом:

— А знаешь, скажи ты мне тогда хоть слово, я бы все бросил и пошел с тобой в училище.

Улыбаясь из-под козырька фуражки, Гончаров смотрел на него. Они действительно в те годы вместе собирались поступать на истфак. Если вспомнить, большинство в их классе хотело изучать не математику, не физику, а историю. В них жило ощущение значительности происходящих событий. Через Спартака и все восстания рабов, через баррикады Парижской коммуны, соединенные еди-

ным током крови, они чувствовали себя наследниками всей истории человечества, которую их народ с новой страницы начал в семнадцатом году. Они верили, что в грядущих боях каждому из них многое предстоит совершить, многое под силу, и в то же время готовы были по приказу идти рядовыми. Гончаров не помнил сейчас точно, как это произошло и с чем было связано, просто он понял однажды, что классовые битвы, к которым все они готовились, ждут их не когда-то, а уже начались, раз в Германии у власти — фашизм. Он понял, что изучать историю время еще будет, но защищать ее время пришло. И он пошел туда, где, по его мнению, пролегал тот момент передний край. Один из всего класса, в то время как остальные еще сидели за партами. И вот они встретились снова уже на войне, но в разном качестве. Борька примчался на войну, вооруженный одним патриотизмом, собиравшись воевать не уменеем, а в общем числе. Убедил военкома, что он снайпер. Все это похоже на него, но кажется, он еще не представляет себе точно, с какого конца и как заряжается винтовка образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тринадцатого года. И все же он рад, что они встретились и сидят сейчас в одном окопе.

— Слушай, Борька, — сказал Гончаров. — Ты Иринку Жданову помнишь? Ты в нее ведь влюблен был когда-то. Абсолютно безнадежно, все это знали.

— Самое смешное, что я в нее и сейчас влюблен. И ты уж совсем не поверишь, но у нас — дочка. Маленькая такая дочка, вот такая, и тоже Иринка. Пожалуйста, не раскрывай на меня глаза, потому что я сам иногда тоже начинаю сомневаться. Но в то же время дочка — это непреложный факт. Когда ее держишь на руках — просто нельзя не верить.

— Вот что бывает, когда настоящие мужчины уходят в армию и оставляют в тылу хороших девчат! — говорил Гончаров, глядя на Литвака так, словно тот неожиданно вырос в его глазах. И тут разведчик позвал от стереотрубы:

— Товарищ комбат!

— Что стряслось? — спросил Гончаров, все еще глядя на товарища.

— Вот поглядите. Представление, честное слово...

Разведчик улыбался, но не по-хорошему, обижено морщил обветренные губы. Пожалев недокуренную паш-

росу, Гончаров раз за разом затаился, сильно щурясь, притоптал окурок и поднялся к стереотрубе, зачем-то застегивая на крючки воротник гимнастерки у горла.

Наблюдательный пункт был вырыт на переднем скате высоты, обращенном к немцам, в густой траве и замаскирован травой. Она уже начинала вянуть под солнцем, и запах свежего сена почувствовал Гончаров, прилаживая во глазам стереотрубу, к которой для маскировки тоже были привязаны пучки травы.

Внизу было пшеничное поле, уже побелевшее, шелковистое под ветром; стелющиеся волны, как тени, пробегали по нему. И всюду в пшенице минометы, легкие пушки — окопы, окопчик, ямки. Множество людей, зарывшихся в землю по грудь, перебегающих от ямки к ямке, скрыто было в хлебах; отсюда, с высоты, Гончаров видел их спины. А дальше, где поле кончалось, — другие окопы: передний край. Там сидела пехота. Впереди нее уже не было никого, только пустое пространство, кусты и в этих кустах — немцы. И странно, непривычно еще было чувствовать и сознавать, что все то зеленое за гранью кустов — осока, озерцами блестящая в осоке река, дальний отлогий луговой берег и деревенька на нем, — все это было у немцев. Поле созревшего хлеба у нас, а деревня у них.

Но еще прежде чем Гончаров все это целиком охватил взглядом, он увидел то, что хотел показать ему разведчик, перекрестием наведя стереотрубу и уступив около нее место. В перекрестии сквозь тонкие черные деления, напесенные для стрельбы, Гончаров увидел блестящую в осоке воду и в этой воде головы купающихся немцев. И еще немцы в трусах и сапогах бежали от деревни к реке. Один размахивал на бегу полотенцем, другой у самой воды прыгал на одной ноге, согнувшись, стаскивал с себя штаны. В стеклах стереотрубы Гончаров крупно, близко видел зеленый луг и бегущих по нему немцев, их белые на солнце тела. И в воде тоже блестяли, плескались и выпрыгивали мокрые белые тела.

Это были немцы, но Гончаров с острым любопытством смотрел на них, не находя в душе у себя враждебного чувства. Светило утреннее солнце, и там, в низине, у реки, трава, наверное, была еще влажной. И они бежали по этой траве, веселые и голые, как мальчишки. словно не

было войны, а было только раннее деревенское утро, и они бежали под уклон к реке искупаться до завтрака.

Когда он обернулся от стереотрубы, то самое, что было в душе у него, увидел он на лице разведчика. Разведчик стеснительно улыбнулся, словно в мыслях был в чем-то виноват. Гончаров похолодел лицом.

— А ну, передай на батарею, — приказал он телефонисту и увидел, как Борька Литвак быстро обернулся, что-то хотел сказать. Но уже прошелестел над ними первый снаряд и разорвался в реке, столбом вскинув воду. На миг головы скрылись в осоке, а потом еще веселей пошла возня в реке. Друг перед другом немцы играли с опасностью, как бы не понимая, что та веселая игра, в которую они играют сейчас под снарядами, не всегда кончается весело. Один снаряд разорвался близко на берегу. И тогда немцы стали выскакивать из воды. Хватая одежду, мокрой гурьбой бежали они по лугу вверх. И если бы добежали до деревни, искупавшиеся, запыхавшиеся, проголодавшиеся от острого ощущения опасности, они бы с яростным аппетитом набросились на еду и смеялись бы, рассказывая друг другу, как купались в реке и русские стреляли по ним, — веселое военное приключение, «*meine Kriegserinnerungen*».

— Бат-тарее три снаряда беглый огонь! — крикнул Гончаров, уже зажегшись азартом. И приник к стереотрубе, слыша над собой шелестящий полет снарядов, мыслью направлял их.

Зеленый луг, по которому вверх бежали немцы, взлетел перед ними. И сзади, и с боков, и все смешалось в дыму и грохоте, и здесь, на НП, задрожало, затряслось, и земля посыпалась с бруствера.

Когда разрывы смолкли и низовой ветер от реки, смешав дым, поволок его вверх к деревне, луг постепенно расчистился. Среди неглубоких пятен воронок на нем вразброс лежали двое немцев, белые в зеленой траве. Один был совершенно голый и в сапогах.

Гончаров оторвался от стереотрубы. Рядом с ним с опущенным биноклем в руках стоял Литвак.

— Вот так их учить! — сказал Гончаров, и голос у него был хриплый. — А ты как думал?

Но Литвак опустил перед ним глаза. И оба почувствовали отчуждение, возникшее между ними, как будто голые, купающиеся немцы, по которым стрелял Гончаров, не были в этот момент солдатами.

До самого вечера, выслеживая в стереотрубу артиллерийские цели, Гончаров не раз еще мыслью и взглядом возвращался к тем двум немцам, лежащим на лугу, на похолодевшей к закату траве.

ГЛАВА V

Солнце садилось за деревней, за лесом, и к нему, как дым в раскрытую топку, со всего неба тянулись серые, встречно освещенные облака. Они шли над полем, волоча тени по хлебам, по окопам, гася блеск орудийных стволов и касок, шли через нашу передовую, через немецкую, за реку, в тыл, прощально глядя землю и людей, зарывшихся в ней.

Уже не часы, минуты остались до свистка, и в эти минуты из всей непрожитой жизни можно было только успеть докурить последнюю сигарку. И пехотинцы тысячами губ, торопясь, досасывали ее, тысячами глаз попеременно выглядывали из-за бруствера — туда, куда одним облакам можно плыть беспрепятственно.

А за рекою, в деревне, немцы ходили, как у себя дома, стояли во дворах, и над домами, из труб летних кухонек и походных солдатских кухонь уже подымался предвечерний дымок.

Три «мессершмитта», развернувшись над полем по дуге, ушли, со звоном моторов вонзаясь в закат. За каждым остался таять в воздухе розовый след.

И наступил тот миг, когда вдруг сразу, словно с последним вдохом, вошло все в грудь: и вечер, светящийся на закате, и воздух над полями, и земля, с которой надо было сейчас подняться в атаку. Но, обрывая мгновение, взвилась вверх ракета. И тут же на бруствер траншеи вспрыгнул лейтенант — маленьким и четким против солнца виден был он издали, с наблюдательного пункта, откуда смотрел Тройников. С поднятой вверх рукой, обернувшись назад, он что-то прокричал беззвучно. И по всей линии стали выпрыгивать из земли бойцы.

Они бежали по полю в летних гимнастерках — позже донесло их яростный многоголосый крик. Изломанная цепь скатывалась по низине, за ней, догоняя, бежали одиночные бойцы, рассыпанные на всем пространстве: те, кто позже выскочил из окопов. Вся низина, только что

пустая, наполнилась бегущими людьми, они накатывались на немецкие окопы.

Тройникову видно было, как немцы выскакивали из кустов, от речки, полуголые, в трусах прыгали в окопы, спешно надевали каски на головы, иные на бегу натягивали на голые плечи мундиры. Застыгнувшие врасплох, они действовали как отдельные части хорошо отлаженного механизма, сразу придя в согласное движение. И уже в центре по атакующим ударил пулемет:

Та-та-та-та-та-та-та-та!..

Он впелся в общий крик, вначале неслышный, потом вырос из него, и еще несколько пулеметов ударили с разных концов. Цепь закачалась на бегу, как под напором встречного ветра. Люди падали, переползали, и уже кое-где на поле, вспархивая, замелькали дымки: пехота, лежа, окапывалась. Но правее атакующая цепь все же переплеснула краем своим через бруствер немецкой траншеи. Там, скрытый от глаз, страшный тишиной своей, начался рукопашный бой. А в центре, в кустах, немецкий пулемет работал безостановочно. Какой-то высокий немец бежал к нему по траншее; голова его то ныряла, то снова показывалась за бруствером.

Выметенное пулеметным огнем поле было пусто. На нем вставали первые разрывы мли. Спешно окапывалась распластанная, прижатая к земле пехота. В небе плыл по ветру над полем розовый дым бризантного разрыва.

Случайно в бинокль попали четверо бойцов. Хоронясь в высокой траве, они ползли к немецкому пулемету. И еще двое, согнувшись, касками вперед, бежали под уклон, катя за собой пулемет. На бегу развернули его, попадали за щитком в траву, разбросав ноги, и поверх голов и спиц пулеметная струя резанула по кустам.

— Давай отсечной огонь! — крикнул Тройников начальнику артиллерии, указывая за реку. Там видно было, как от деревни на рысях спешат три артиллерийские запряжки и бежит под гору немецкая пехота. — Зеваешь!

Но начальник артиллерии, молодой, с подстриженными усами, только вскинул уверенно бинокль. И почти в то же время несколько снарядов накрыли немецкую пехоту, и один удачным попаданием разметал вырвавшихся вперед коней.

— Отчетливо работаете, артиллеристы! — блеснув глазами, прокричал в трубку начальник артиллерии и со лба на затылок пересадил кубанку.

Но Тройников строго глянул на него:

— Ты пулеметы мне уничтожь!

Над прикатой к земле пехотой разгорался артиллерийский бой, но так же, не медленней и не быстрее, садилось солнце, и во встречном свете его розовым светящимся дымом залита была низина, блестела трава и река, и когда на миг вскакивали и перебегали согнутые черные фигурки, вместе с ними вскакивали их косые тени. Пехота, краем своим зацепившаяся за немецкую траншею, опять поднялась, и еще несколько человек вскочили туда, но остальные залегли под огнем.

Жадно напиваясь табачным дымом, не отрывая бинокля от глаз, Тройников смотрел на левый фланг. Там сейчас начиналось главное. На левом фланге поднявшийся из болотной осоки полк Прищемихина форсировал реку. Перемокшие и продрогшие за день, они с берега посыпались в воду, расколов предвечернюю закатную гладь реки. Вплавь, вброд, неся над головами оружие, они сносили к тому берегу, шатаемые течением. Над вспененной, взбаламученной на всем пространстве рекой качалось множество крохотных черных голов и рук. Ударил было пулеметы с лугового немецкого берега, распевавшая пенные брызги по воде, но быстро смолкли: мокрый до нутра полк Прищемихина, бодря себя криками, невнятно доносившимися из-за реки, бежал по лугу наизволок. Поздно спохватившись, выручая своих, открыла огонь немецкая артиллерия. Редкие разрывы скидывали вверх розовые на закате дымы. Ветром валило их и тянуло вверх по косоугру. И туда же, вырываясь из-под разрывов, вслед за дымами, бежала пехота, обтекая деревню с фланга.

Положив планшетку на колено, на трепыхавшемся от ветра листке бумаги Тройников быстро набросал карандашом записку Прищемихину. Писал и взглядывал в бинокль. По самому лезвию горизонта в стрелах предвечерних лучей скакала крохотная артиллерийская запряжка. Над ней беззвучно взмахнул дымком бризантный разрыв. «Не достал!» — с сердцем пожалел Тройников. И, сложив записку, вручил связному:

— Скачи!

Еще пехота не вошла в деревню, но он видел: перелом наступил. Надо было, чтобы Прищемихин, не задерживаясь, оставив один батальон с тыла доканчивать бой за деревню, развивал успех, раньше немцев

вышел на скрещенье дорог и был готов встретить их там.

И тут случилось непредвиденное: залегший под огнем полк Матвеева вдруг поднялся в атаку. Повзводно, поротно люди подымались и шли, бежали с криком, падали, и снова какая-то сила отрывала их от земли. Ничего не понимая, Тройников в первый момент с восторгом смотрел, как они идут, красиво, гордо, не кланаясь пулям. Но вдруг тревога коснулась его. Он не сразу понял, что переменялось, только стало страшно смотреть, как люди идут на пулеметы.

С белым, исковерканным гневом лицом он схватил телефонную трубку, но на том конце провода, на КП полка, оставленный для связи телефонист отвечал, что командир полка Матвеев в ротах. И пока посланные Тройниковым связные под огнем бежали туда, бессмысленное истребление продолжалось.

А случилось вот что. Еще не видя со своего КП, что полк Прищемихина выходит деревне в тыл, Матвеев почувствовал внезапно, как немцы дрогнули. Их пехота за рекой, бежавшая к окопам, вдруг без видимой причины заметалась по лугу. Там спешно, жерлами в тыл, разворачивали пушки, какие-то повозки хлынули из деревни на луг, всё перемешав. И уже после всего этого на гребне за деревней возникла редкая цепь. Тоненькие, плоские и черные в ломающихся лучах солнца, все одинаково наклоненные вперед фигурки двигались по гребню вверх, как мишени на стрельбах. По ним стреляли, но они всё двигались, и пули не поражали их.

И, увидя все это, почувствовав, как дрогнули немцы, Матвеев испытал мгновенную, ожегшую его радость и страх. Страх, что немцы уйдут. Это же чувство владело сейчас его людьми, лежавшими на поле под огнем. Последний бросок оставался до немцев, и ничего не было сейчас сильнее желания достать немца штыком. За раны, за убитых в атаке, оставшихся лежать на поле. И Матвеев отдал приказ, тот приказ, которого ждала пехота:

— Вперед!

Замполит Корниенко схватил его за руку, глянул зрчки в зрчки:

— Куда? На пулеметы? С ума сошел!..

Лицо смуглое, остроскулое, до желтизны бледное.

— Прочь! — закричал Матвеев, наливаясь яростью, и увидел своего адъютанта.

Адъютант смотрел на него с восторгом верующего. И, чувствуя необходимость чего-то необычного, чего сейчас ждали все, он оттолкнул Корниенко и выхватил пистолет:

— Я сам поведу пехоту!

Он бежал по полю с поднятым вверх пистолетом, огромный, яростный. Так он же возьмет деревню! Не Пришемпхни, а он, столько положивший здесь людей.

— Вперед-ед!..

Сухой воздух рвал ему горло. Сквозь пленку слез он видел радужный, расколотый на созвездия мир. И вместе с ним, с ним рядом, в едином крике, в едином дыхании, по всей низине, залитой розовым светящимся туманом, неумолимо и грозно накатывалась цепь, его пехота, его полк.

— Вперед-ед!..

Он еще бежал вперед с раскрытым ртом, как вдруг почувствовал: оборвалось что-то, соединявшее его с людьми. Он гневно оглянулся. По всему полю лежали в траве бойцы, живые среди мертвых. И только адъютант с на- смерть бледным лицом, весь странно кренился, слотыкаясь, бежал к нему, зажав рукой бок.

И еще не веря, надеясь еще, а вместе с тем уже чувствуя весь позор, всю жуткую непоправимость случившегося, готовый в этот момент кричать, стрелять, бить, Матвеев пытался поднять залегшую пехоту. Какой-то боец рядом с ним каской, погтями скреб землю, зарываясь в нее. Матвеев пнул его. Боец вскочил. И еще несколько человек вскочили на ноги. Только одно могло сейчас оправдать и жертвы, и кровь, и смерть — победа. Вот она, деревня, вот она рядом... И Матвеев, крича, стреляя вверх, поднял в атаку людей. И с близкой дистанции, в упор, в живот, в грудь ударили по ним пулеметы.

Дрогнувшие было немцы, готовые уже бросить позиции, спастись за рекой и бежать, пока не замкнулось кольцо окружения, увидели бегущую на них пехоту. Это накатывалась смерть. От нее нельзя было спастись бегством, в поле она настигла бы их. И они сделали то единственное, что могли сделать, на что толкал их опыт, страх, желание жить: они встретили ее из окопов пулеметным и автоматным огнем.

На узком пространстве приречного луга, каждую весну заливаемого водой, в третий раз поднялась в атаку пехота. В третий раз вел Матвеев свой полк на пуле-

меты. И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему ни прощения, ни пощады, эта пуля, не мпновавшая столько, словно сжалившись, нашла паконец и его.

ГЛАВА VI

Пленные немцы, человек тридцать, сбившись кучей, стояли посреди улицы, а вокруг толпились красноармейцы и всё новые подбегали глядеть на них. Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу дымчато-серых хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых все они словно выросли, в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких пилотках — был отталкивающе резок. Немцы глядели исподлобья, с потаенной тревогой, иные со страхом. И все им сейчас было лишним, все, что привлекало внимание к ним. Особенно руки, в которых они недавно еще держали автоматы и стреляли по этим толпящимся вокруг них людям, в чьей власти теперь была и жизнь их и смерть. Руки особенно хотелось им сейчас скрыть, и Гончаров это почувствовал. Он видел, как один немец нагнулся и быстро, стараясь, чтоб не заметили, выкинул оставшуюся за голенищем плоскую автоматную обойму. Другой, рядом с которым она упала, отпихнул ее каблуком.

До сих пор Гончарову случалось видеть одиночных пленных, как правило, тщательно охраняемых. Когда их вели или везли куда-то, они, уже успевшие оглядеться, и покурить, и понять, что немедленная расправа им не грозит, вели себя, как правило, нагло. Эти же были только что выхвачены из боя. Неотдышавшиеся, в поту и пыли, многие с еще не погасшими глазами, они стояли посреди улицы, согнанные толпой. Гончаров с щемящим холодком любопытства вглядывался в их лица. Крайним стоял офицер в высокой фуражке, в хромовых по колена сапогах с твердыми голенищами, небольшой, в пенсне. Прямоугольные подрагивающие стеклышки их вспыхивали прожекторным блеском, он оглядывался вокруг себя веселыми, навязате, наивно-глупыми глазами, не сомневаясь, что русским чрезвычайно интересно видеть его, германского офицера, и он давал им эту возможность. Привздернув руки в локтях, он поворачивался,

показывал себя, словно его должны были фотографировать. Виски его под фуражкой свеженостриженные, и выбритое лицо лоснилось, и Гончаров на расстоянии почувствовал от него запах одеколона и пота. Он не сообразил, что так далеко он не мог бы чувствовать запаха. Одеколоном и потом пахло от старшины, стоявшего впереди, но зрительное впечатление подстриженного и выбритого немца настолько слилось с запахом, что обычный тройной одеколон, с которым сам он не раз брился, казался ему сейчас специфически немецким и его чуть не начало мутить.

Рядом с офицером высокий молодой немец в расстегнутом мундире, с пропыленной светловолосой головой приближал к разбитому рту платок и после смотрел в него пустыми, невидящими глазами. Он тяжело дышал, часто облизывал сухим языком розовые от крови зубы. И еще один немец попался на глаза, тот, что каблучком отпихнул обойму. Он улыбался блудливо и беспокойно: обойма, отлетевшая недалеко и видная в пыли дороги, тревожила его. И Гончаров с растерянностью в душе почувствовал, как у него непроизвольно шевельнулось сочувствие. Все было не так, как ему представлялось. Этот немец стрелял и, может быть, убил кого-то, а вот шевельнулось к нему сочувствие. И то же самое, что почувствовал он у себя в душе, увидел он на лицах толпившихся сзади бойцов. Было скорей любопытство, чем ненависть.

Вокруг стояли бойцы полка Прищемихина, те, кто первым ворвался в деревню, с тыла обойдя ее. Они ворвались внезапно, раньше, чем немцы успели организовать оборону, полк их в этом бою почти не понес потерь, и все трофеи, все пленные были ихние. Не столько ожесточение, как щедрость победителей владела ими сейчас.

— А ну, разойдись! — закричали издали, и немцы начали тесней жаться, боясь расправы.

— Р-разойдись! — кричал боец, распихивая толпу, он вел еще пленного.— Самого главного веди! Сторонись!

И бойцы, расступаясь и оглядываясь, улыбались, предчувствуя шутку. Немец был старый, сморщенный, в очках: он не понимал языка, но чувствовал, что смеются над ним,— значит, оставят жить. И, ловя этот смех на лицах, он улыбался охотно и заискивающе, готовый потешать.

Но постепенно все больше сбегалось бойцов полка Матвеева, те, кто в лоб штурмовал деревню, и настроение

начало меняться. Еще не остывшие после боя, многие раненые, в горячах не чувствуя боли, они налитыми кровью глазами, зло глядели на немцев, и шутки постепенно смолкли.

Было светло еще, но из тучи, зашедшей над деревней, накрапывал дождь, крупный и редкий. Капли ударяли по гимнастеркам на горячих телах, печатались в пыли, темными пятнами крапили мундиры немцев. Среди увеличившейся толпы тесная, сбившаяся куча их сделалась меньше. И в какой-то момент заколебалась на весах доброта и ненависть. Но тут нехотный лейтенант, отстранив рукой стоявших впереди него бойцов, подошел к тому немцу, что каблуком отпихнул от себя обойму, и, вдруг покраснев, хмурясь по-молодому, спросил, указав пальцем ему в грудь:

— Du bist Bauer? ¹

— Nein, nein! ² — Немец почему-то испуганно затряс головой.

— Lehrer? ³

— Nein.

— Arbeiter? ⁴

— O, ja! Ja! ⁵

Тогда лейтенант, взяв немца за плечо, повернув его и пригнув, указал под ноги, где позади перемпнавшихся сапог лежала в пыли отброшенная им автоматная обойма:

— Твоя? (Немец стал энергично отказываться.) Как же ты, Arbeiter, стрелял в них? — Лейтенант показывал пальцами на бойцов, словно считал их. — В рабочих! Auch Arbeitern! Verstehen ⁶? И ты стрелял в них!..

Он говорил то, чему его учили в школе, слова, святей которых, как ему казалось, нет и не может быть, поняв которые немец не мог не усовеститься. Но отчего-то Гончарову, думавшему прежде так же, сейчас было стыдно за лейтенанта в присутствии немцев.

— Чего говорит? Чего говорит-то? — переспрашивали бойцы рядом с Гончаровым, мешая друг другу слушать. Постепенно смысл сказанного и то, что лейтенант стыдит немца, дошло до всех. И, сломав стену отчуждения, бойцы надвинулись на пленных, обступили их тесно, разбив-

¹ — Ты крестьянин? (нем.)

² — Нет, нет! (нем.)

³ — Учитель? (нем.)

⁴ — Рабочий? (нем.)

⁵ — О, да! Да! (нем.)

⁶ Тоже рабочие! Понятно? (нем.)

шись на группы. В одной угощали немца махоркой и хототали, хватаясь за бока, видя, как он кашляет от за-тяжки:

— Не терпит немец нашей русской махорочки.

И понимающе перемигивались, словно не за немцем была уже часть России.

— Гляди, гляди, дым из ушей пошел!.. Ку-уда ему!..

От другой группы кричали:

— Ребята, кто по-ихнему может? Тут чего-то расска-зывает интересное...

И только там, где обступили офицера, не слышно бы-ло голосов. Вокруг него стояли молча и отчужденно, стоя-ли и смотрели. А он, все так же блестя пенсне и наивно-глухими глазами навывкате, каждому вновь подходивше-му говорил одни и те же несколько фраз:

— Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены. Я тре-бую вернуть мне все эти вещи.

Не понимая ни слова, бойцы с интересом смотрели ему в рот, как будто сам факт, что он говорит, был поразите-лен. А еще их веселило, что он говорит одно и то же.

Подошедшему Гончарову, увидев в нем офицера, не-мец повторил:

— Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены. Я тре-бую вернуть мне все эти вещи и примерно наказать ви-новного, — добавил он с должной твердостью.

Гончаров молча смотрел на него. Офицер опять повто-рил свои фразы, и бойцы засмеялись:

— Как на работе. Пять минут пройдет — опять гово-рит.

Вдруг какое-то движение произошло в толпе, все ста-ли оглядываться, расступаться, и даже немцы, что-то по-чувствовав, построились тесней. По улице двигалась от-крытая машина командира корпуса. Перед ней расступа-лись, и на лицах бойцов возникало то исправное строевое выражение, которое не выражает ничего, кроме знания начальства, в присутствии которого почему-то всег-да вспоминаются не успехи, а все упущения и грехи.

Машина остановилась против пленных, и сразу от рас-пахнувшейся дверцы до немцев по прямой взгляда сам собою образовался коридор. Генерал Щербатов, не вылезая

из машины, смотрел на пленных тяжелым взглядом полуприкрытых веками глаз. Он смотрел долго и молча, ни любопытства, ни интереса не было на его лице, а было что-то другое, от чего стало совсем тихо, так, что слышно было, как в опускавшихся сумерках редкие капли дождя стучают по сильно вытянутым картонным козырькам фуражек немцев. Ему не мешало и не стесняло его, что столько людей в это время смотрят на него. Только лейтенант не смотрел на командира корпуса. Опустив глаза, он стоял около немцев и чего-то со страхом ждал.

— Вот так будет со всеми, — сказал Щербатов, обращаясь прямо к немцам, уверенный, что его и без переводчика поймут. — Так будет с каждым из вас! А тех, кто не сдастся на нашей земле, в землю вобьем.

Среди красноармейцев, обступивших пленных, произошло внезапное и общее душевное движение. Только что настроенные на другой лад, они теперь с радостью и презрением к немцам чувствовали, что генерал выразил именно то, что каждому из них хотелось сказать. И это же почувствовал Гончаров. Слова командира корпуса были самые обычные слова, но сейчас они странным образом разрешили многие колебания в его душе. Мельком поглядев ему на глаза лейтенант. С восторгом, с гордостью, с обожанием смотрел он вслед удалявшейся машине. Гончаров не знал, что лейтенант этот был сын командира корпуса Андрей Щербатов.

ГЛАВА VII

Среди ночи Гончаров проснулся озябший. Сквозь дыры в высокой крыше сарая светила луна, дымными полосами носо делила пустое пространство сверху вниз. На улицах отдаленно еще слышны были песни, взвизги и смех девочек, солдатские голоса, гармошка, а за селом — редкая стрельба. Село это взяли уже в сумерках с налета. В него ворвались с двух концов, и немцы, которых не успели перестрелять, бежали, остальных после переловили по огородам, в подсолнухах, и, когда вели, жители кидались на них, били всем, чем попадя, бросали комками сухой земли, плевали, норовя попасть в лицо, так что солдатам приходилось еще и защищать их.

Гончаров зевнул, заворочался в сене.

— Ой, кто здесь?

В лунном свете, в открытых дверях сарая спдела на краю ящпка, снятого с колес, военная девушка и причесывалась на память. Гончарову показалось в первый момент, что волосы ее мокры, словно она купалась при лунном свете. Накидывая шинель, он подошел к ней.

— Ой, товарищ старший лейтенант, как вы меня испугали, прямо слова до слух пор сказать не могу,— говорила она кокетливо, подвигаясь и уступая место рядом с собой.

Гончаров сел рядом на край изгрызенного лошадыми деревянного ящпка с остатками сена на дне, поправил сползшую с плеч шинель. Прикуривая, сбоку внимательно посмотрел на нее. Она была коренастая и, видно, сильная, какими бывают девушки, рано начавшие заниматься физическим трудом. Он встречал таких девчат на земляных работах, на строительстве дорог. Едят они в летнюю пору хлеб, лук, картошку, молоко, если деревня окажется поблизости, а все здоровые, толстые, веселые.

Доплетя, она кредельком связала на затылке свои короткие реденькие косы. Уши у нее были открытые, и что-то в ней тронуло Гончарова.

В обвисшие на петлях широкые ворота сарая светла луна, и они сидели двое в лунном свете. Мокрый после дождя голубой мир, тревожная военная ночь лежали перед ними. Гончарову вдруг показалось, что все это происходит не с ним и уже было однажды, быть может, в песне. И тоже была ночь, и тишина, и далекие в ночи выстрелы. И военная девушка в шинели сидела рядом...

— Что ж вы одни? Вон все с гражданскими девушками гуляют,— сказала она и пренебрежительно по отношению к «гражданским» девушкам дернула плечом.

Ему стало жаль ее. Он мягко обнял ее за плечи.

— Что это вы, товарищ старший лейтенант? Зачем это вы позволяете? — говорила она, словно сердясь и как бы даже сопротивляясь.

Закрыв глаза, Гончаров ладонью гладил ее по лицу. И такая затопляющая нежность охватила его, что стало вдруг трудно дышать. Он взял ее на руки и качал на коленях, как маленькую, и голова его кружилась. А она смеялась неловко, стыдливо, сдавленно. Губы у нее были обветренные, и она только неумело раскрывала их, подставляя сомкнутые влажные и холодные зубы.

А потом в какой-то момент лицо ее с зажмуренными изо всех сил, вздрагивающими веками расширилось, заполнило все, стало вдруг ослепительно, нестерпимо красивым, так что сердце задохнулось на мгновение. И долго после они лежали на сене рядом, она на его руке, и все как будто покачивалось, а звуки были далекими-далекими.

— Я думала, ты и не заметишь меня,— говорила она, горячо дыша ему в шею и через расстегнутую гимнастерку любовно трогая кончиками шершавых пальцев мускулы на его груди. А он пытался и не мог вспомнить, как ее зовут. Аня? Люба? И было целовко, и от этого еще большую вишневатую нежность чувствовал он к ней.

— Вспотел даже.— Она засмеялась стыдливо и благодарно. Ладонь ее была горяча.— Плечи у тебя сильные какие. А вот не грубый ты с девушками.

Он вслепую гладил ее по волосам. В соломенной крыше сарая, надавливая на нее, шуршал ветер, и временами свежую его струю сквозь щели Гончаров чувствовал на своем лице. И под тихий шорох ее слов, под это шуршание и ночной шум ветра он то засыпал, то просыпался, лежа на спине. Внезапно она вздрогнула. Он сел мгновенно и молча. В лунных воротах сарая, перегородив их собою, стояла большая черная тень.

— Лошадь! — сказала она, первая же рассмеявшись над своим испугом.

Это была немецкая лошадь, тяжеловоз с широкой, как печь, спиной и коротко подрезанным хвостом. И — слепая. Они увидели это, когда подошли к ней. На морде у нее засохли вытекшие глаза, слезы и кровь. Она отпрыгнула от людей, споткнулась о перевернутую телегу, рухнула на колени; сильно дернувшись всем телом, вскочила. И нелепым слепым галопом поскакала через улицу.

— Вот ведь странно, как подумаешь,— сказала девушка.— Есть люди русские, есть немцы, а лошадь, чья б она ли была, все равно лошадь. И жалко ее одинаково. Так мне на войне лошадей жалко! Они ж не понимают ничего. И когда ранят их, тоже не понимают. А еще больше детей жалко. Я на детей смотреть не могу, они мне потом снятся.

После, когда они сидели на лавочке у стены сарая, она спросила доверчиво:

— Ты чего меня никак не называешь? Имя тебе мое не нравится? Меня вообще-то Ольгой хотели назвать. А записывать бабка пошла. И записала Надеждой. Ее

Надеждой звали, и меня по себе записала. Хорошо еще Феклой не сделала. Восемьдесят пять лет ей было, а здоровая — об дорогу не расшибешь. И вот вступи ей в голову: лечиться. Кому, бывало, фельдшер какое лекарство выпишет — и она тут. Не уйдет, пока ей не нальют в ложку. Так прямо с ложкой и шла. Выпьет и говорит: «Вот теперь полегшало». Если б не лекарства, она б до сих пор жива была. А тут мы в город переехали, лекарства в городе вольные, ну она и года не прожила, померла.

Гончаров кутал ее полой шинели, и они сидели, согреваясь общим теплом. Наискосок через улицу, в кашаве, лежал убитый немец. Он лежал ничком, под луной блестела его откинутая каска и пряжка на спине.

— Чудно, как вспомнишь, — сказала Надя и тихо засмеялась. — Она знаешь как ела? Все за столом сидят, а она в углу на кровати. Подойдет с ложкой, зачерпнет и несет к себе в угол, на хлебе. Там съест и опять к столу идет. Так взад-вперед и ходит. Обсмеешься, бывало.

Уже догорели пожары, запах гаря витал в воздухе, мешаясь с сильным и чистым запахом влажной земли и трав. Высоко-высоко, заплутавшись в почном небе, ощупью пробирался на восток самолет. Там изредка мерцали вспышки зенитных разрывов и по временам доносило глухой подземный артиллерийский гром. А когда он стихал, еще осязаемей становилась тишина. И в ней слышен был плач и причитания в голос по мертвому. Это на краю села лежали расстрелянные немцами жители. На конном дворе, шесть человек. Одна среди них была женщина.

Гончаров видел их, когда ворвались в село. Почерневшие на солнце, с распухшими лицами, с раскинутыми в соломе босыми ногами. У женщины волосы свалились одним комом, как пакля, в ших — солома, сухой помет и запекшаяся кровь. И отдельно ото всех у стены рубленой конюшни сидел мальчик лет одиннадцати, уронив изо рта на грудь засохшую струйку крови.

Теперь, когда стихла на улицах гармошка, особенно явственно доносился плач с того конца села, где лежали убитые люди, только сейчас обласканные родственниками. А из ближних садов слышался счастливый шепот и заглашаемый поцелуем смех. Все было рядом: и горе, и песни, и короткая любовь. Завтра ребятам этим в солдатских гимнастерках предстоял новый бой. Но жизнь, уходящая с ними в бой, не могла исчезнуть. В минуту бед-

ствий и истребления она властно, с небывалой силой боролась за себя. И укрытые звездной полой июльской ночи, они должны были отлюбить за все подаренные им вперед и не прожитые годы. Чтобы после них на земле, когда пройдут войны и бедствия, жили их сыновья, становясь старше своих отцов.

А рядом с Гончаровым на скамейке сидела военная девушка, и он кутал ее полой шинели, как ту единственную, которой у него еще не было.

ГЛАВА VIII

Ранним утром, захватив с собой адъютанта, Тройников прибыл к командиру корпуса. Утро было ясное, летнее, низкое солнце слепило встречю. Двенадцать километров с фланга на фланг промчались с ветерком. Скорость, ветер, дрожание сильного мотора под ногами — от всего этого горячей начинала ходить кровь и дышалось хорошо. Уже перед хутором случайная тучка, постигнув, опрокинула на них крупный дождь. И сразу все вокруг засверкало на солнце.

Через поваленный, раздавленный плетень Тройников загнал машину под навес мокрых яблонь. Вся земля в саду была перерыта, кора со стволов яблонь содрана до мяса ворочавшимися здесь стальными телами танков. Над облитым дождем дрожащим капотом машины подымался пар. Тройников повернул ключ зажигания, машина вздрогнула последний раз и затихла. И сразу слышна стала тишина, посвист, щелканье, возня птиц над садом, сквозь них — отдаленное погромыхиванье артиллерии, и совсем далеко, за горизонтом — гудение одного заведенного мотора, то усиливавшееся, то ослабевавшее. Это невидимые отсюда бомбардировщики спозаранку везли свой груз.

После стремительной гонок по тряской в воронках и рытвинах дороге земля под подошвами сапог в первый момент показалась незыблемо прочной. Придерживая планшетку, Тройников взбежал на крыльцо. Гимнастерка просыхала на плечах, ремни туго скрипели на теле. Ответив на приветствие выскочившего адъютанта, коротко приказал: «Доложи!» — и огляделся с крыльца.

Наискосок через улицу, на ребре сгоревшей железной кровати с сеткой сидела женщина лицом к солнцу и покрывалась платком. А ниже ее, на земле, как на полу, си-

дела девочка. вытянув маленькие босые ступни, и крутила ручку уцелевшей швейной машины, глядя на блестящее никелированное колесо. От их дома осталось пепелище да закопченное кирпичное основание, на котором он прежде стоял, а вместо стен с четырех сторон ограждала сторевшие живыми сирень и вишни, некогда росшие под окнами. Девочка вдруг повернула голову. Несколько мальчишек, толкаясь и отнимая друг у друга, гонялись по улице за листками бумаги, которые ветер выслепил из подбитой немецкой машины. Без колес, брюхом на земле, желтопятнистая легковая машина стояла у обочины, все четыре дверцы ее были распахнуты, и ветер, продувая через них, нес эти яркие — красные, зеленые, желтые — папчатые листки. Они прилипали к заборам, к джамам и медленно плыли по ним.

У Тройникова не было своих детей, и — в двадцать шесть лет полковник и командир дивизии — он не был женат. Вернее, был женат, но разошелся и уже два года с удовольствием чувствовал себя холостяком. Но сына ему хотелось давно. Товарища. С которым он бы делал тысячу всяких мужских дел.

Прошлой осенью, возвращаясь из отпуска, с моря, с юга, весь из мускулов и бронзовой кожи, еще чувствуя на ней морскую соль и солнце, он заехал на несколько дней к сестре. Сестра была младшая, любимая, единственная. У них с мужем, бухгалтером маслозавода, было уже двое детей, и свой домик, и садик на окраине города. И, само собой, дальние планы женить брата.

Победаив с шуршом, человеком молодым, но солидным, уважаемым на маслозаводе и уважающим себя — сестра за хлопотами только раз успела присесть к столу, — Тройников вышел в сад и там на расстеленном одеяле лег под вишней. И с давно забытым ощущением тишины, покоя и мира заснул под шум ветра в листве. А когда проснулся, сестра вынесла только что покормленного четырехмесячного сына, в короткой распашонке и голого, гордясь, положила его брату на грудь. И сама присела рядом на край одеяла, располневшая, с полными руками, на которых трещал ситцевый халатик, с пятнами вытекшего молока на груди, которого у нее хватало бы еще двоих выкормить, красивая той особенной здоровой красотой, какая бывает у молодых матерей.

И странное чувство испытал Тройников, когда маленький человек с трясущейся головой и бессмысленно бле-

стящими глазами, пахнувший своим особенным молочным запахом, начал шевелиться, пытаясь ползти по нему, упираясь погами, коленями, влажной лапкой цепко схватил за губу, а потом всю грудь измочил слюной. Тройников лежал под ним, боясь дышать, замирая от чего-то, чего он прежде никогда не знал и даже не представлял, что это может быть. А сестра смеялась, глядя на них...

Сейчас Тройников с крыльда смотрел на женщину и девочку на пенслице. Они не плакали, они были даже веселые как будто.

Адъютант позвал из дверей, и Тройников, оторвав взгляд, вошел. Вместе с начальником штаба Сорокиным и Бровальским Щербатов кончал завтракать. Дощатый, вымытый и выскобленный стол был завален яичной скорлупой, на нем посредине лежал хлеб, не армейский из формы, а круглый, домашний, на тарелке — свежее крестьянское масло комом с каплями воды на нем. Бровальский стоя из глиняной корчажки разливал молоко в толстые кружки.

— Садись с нами! — приветствовал он Тройникова, не отрывая глаз от белой, блестящей на солнце струи молока, чтоб не перелить. — Молока хочешь? Парное. Еще теплое.

Тройников увидел свежее масло, хлеб, молоко, льющееся через глиняный край корчажки, и ему вдруг захотелось молока и черного хлеба. Но он отказался. Он сел на табуретку у стены, разглядывая носки своих хромовых сапог, сквозь пыль отражавших солнце.

Наконец ординарец убрал со стола, вышел. Щербатов подвинул к себе карту:

— Докладывайте.

Тройников быстро встал, подошел к карте. Взглянул на командира корпуса. Крупное лицо его с каменными складками в углах губ было неподвижно, он поднял на Тройникова ничего не выражавшие глаза и опустил их. Тройников почувствовал, что волнуется. Слишком дорого было то, что он хотел доложить, страшно, что вдруг не поймут, не поверят.

С того времени как началось наступление, он не спал еще ни часу. Запяв указанные ему рубежи и закрепляясь на них, он всю ночь по разным направлениям конной и пешей разведкой прощупывал противника. Он убедился: тыл наступавшей немецкой группировки был пуст и обещивался только одним — стремительностью продвиже-

ния вперед. По дорогам к фронту двигались транспорты с боеприпасами, с оружием, мчались связные на мотоциклах. Несколько транспортов и связных он перехватил. Ни о каком русском корпусе, появившемся в тылу у них, они еще ничего не знали, они были уверены, что попали в плен к солдатам одной из разбитых частей, пробиравшихся из окружения, и держались высокомерно. Ночью коротко допросив, Тройников направил их в штаб корпуса. И чем больше данных скапливалось у него, тем ясней ему становилось: военная удача сама идет к ним в руки.

Не всегда операция проходит так, как задумано поначалу. Бывает, что успех обозначится не там, где его ждали, а на неглавном, третьестепенном направлении. Он может стать решающим, этот случайный успех, если, вовремя оценив обстановку, развить его, сюда бросить главные силы.

Такая ситуация создалась сейчас. Ее надо было не упустить, только не упустить, использовать немедленно, новыми глазами увидеть развернувшийся бой. Отвлекающий удар корпуса, разработанный вначале робко, на недостаточную глубину, с единственной целью оттянуть часть сил на себя и тем ослабить давление немецкой группировки, дал вдруг неожиданные результаты. Войдя в прорыв между фронтом и тылом, корпус внезапно стал хозяином положения в тылу. Перед ним, незащищенный, обнажился становой хребет наступающей немецкой группировки. И теперь уже речь шла не об отвлечении сил, не о каких-то вспомогательных действиях. Нужно было решиться сюда перенести центр тяжести. Один смелый удар всей силой, собранной в кулак,— и стремительный темп немецкого наступления будет сломлен.

— Прикажите полковнику Нестеренке прикрыть мой левый фланг,— говорил Тройников волнуясь,— и, даю слово, мыотрежем его. Мы заставим его заметаться! Только не останавливаться. Станем — конец! Своими руками отдадим ему в руки победу.

Он говорил вещи, которые нельзя не понять, а поняв, нельзя не зажечься. Но он ничьих не встречал глаз. И чем дальше говорил, тем большую чувствовал вокруг себя пустоту и неловкость. Бровальский, встав, ходил по комнате, наступая всякий раз на одну и ту же скрипевшую половицу, как на больной зуб, и морщась при этом. Щер-

батов курил, и дым папиросы подымался над его головой в свет солнца, косым столбом протянувшийся из окна. И только Сорокин чем дальше, тем неодобрительней покачивал головой.

Не знал Тройников и не мог знать, что этой ночью со всем тем, что он предлагал сейчас, Щербатов посылал своего начальника штаба к командующему армией Лапшину, и всю ночь они с Бровальским ждали, веря, надеясь и боясь верить. Не один раз за эту ночь Щербатов выходил из дома и подолгу стоял в темноте, приглядываясь к далеким зарницам и вспышкам, ловя на слух приглушенное стрекотание пулеметов и взрывы, долбившие землю. Потом шел обратно в дом, где у керосиновой лампы, шурясь в темный угол, сидел Бровальский, курил папиросу за папиросой. Под конец, не выдержав, Бровальский сбегал к ординарцам, принес фляжку, два стаканчика, на двоих одну холодную картофелину в кожуре, разрезал ее пополам на ладони. Чокнувшись, выпили молча, без тоста, подумав только. За окно уже было страшно смотреть: там вот-вот должно было начать светать. Уходило последнее время, остававшееся на перегруппировку войск, если думать об операции. Выпили еще по одной, и тут наконец-то Щербатова позвали к телефону. Когда брал трубку, сжалось сердце: перед чем? И все-таки надеялся еще.

— Авантюристы! — с первых же слов, как только Щербатов назвал себя, закричал командующий армией. — Я вам посамовольничаю! Выполнять приказ!

Это кричал человек, потерявший контроль над собой, находящийся в том состоянии, когда чем довод разумней, тем больший вызывает гнев. Даже телефонисты на узле связи стояли навтыяжку.

Перед утром — уже светало — вернулся Сорокин. Сколько километров мчался в открытой машине, но и ветер не охладил его. Начал рассказывать — задрожали губы, едва-едва справился с собой. Сорокин и не перед такими робел, а тут командующий армией во гневе!

— Какие наступления? Слушать не стал, карту нашу швырнул мне... Штаб весь на колесах, мы прибыли, так пока до командующего дошли, нас чуть не щупали руками, верить не хотели, что мы отсюда, на машине и дороги не перерезаны. Где немцы — никто не знает, ждут, вот-вот к штабу прорвутся. Мы побыли, так и нам казаться стало... Так кричал, так кричал, за всю мою службу —

мальчишкой был, лейтенантом — на меня так не кричали...

У него опять запрыгали губы. А Щербатов, как сел за стол, сжав голову руками, так и сидел, окаменевший. Корпус уже в тылу, уже навис над коммуникациями. Только ударить!.. Пройдет ночь, день — и будет поздно. И другого такого случая не будет. Единственно правильная мысль всегда кажется безумной. Именно в тот момент, когда она нужней всего. Правильной она становится задним числом. И ничего нельзя было изменить. Чтобы решиться, Лапшину надо было обладать тем, чем он не обладал: способностями полководца. Способностью пойти на риск и в решительный момент, взяв события в руки, преодолеть кризис, вызванный большим риском. Этой способности он был лишен. И, наверно, не подозревал даже, что она вообще существует. А не веря себе, он тем более не мог поверить кому-то из подчиненных, разрешить то, на что сам бы не решился. Самое трудное — решиться, самое гибельное — ничего не решать. Но и одним своим корпусом без поддержки с фронта Щербатов тоже ничего сделать не мог.

Тройников этого не знал и не мог знать. И чем убежденней, горячней говорил он, чем неопровержимей были его доводы, тем трудней становилось слушать его.

— Как это вы вот так, не разобравшись, честное слово, беретесь судить...— страдая не столько за себя, как за Щербатова, сказал Сорокин с внезапной обидой.— «Либо мы противника, либо он нас»... «Середины на войне не бывает»... «Упустить инициативу — значит отдать ее в руки противника»... Что еще? Неужели мы трое всего этого не знаем? Сидели, ждали, пока научат нас!..

Тройников покраснел. Случайно взгляд его упал на руки Сорокина, собиравшие карту со стола. Старческие, бессильные руки с плоскими на концах пальцами, со вздутыми венами, через которые замедленно протекала холодная кровь. В такие ли руки брать судьбу и властно ломать ее? Он повернулся к Щербатову и встретился глазами с ним. В хмуром, тяжелом взгляде Щербатова, твердо устремленном на него, он увидел что-то враждебное. Но это на минуту только. Щербатов прикрыл глаза веками, глубоко затаившись.

— Продолжайте.

Тройников молчал. Исход сражения решается в сердцах людей, и в первую очередь в сердце командующего.

И Тройников почувствовал: исход этого сражения решен. Еще до того, как оно начнется. Что-то оборвалось у него в душе. И уже не для того, чтобы убедить, а потому, что слова эти сами поднялись в нем, сказал:

— Иван Васильевич, родина у нас одна. Без нас она обойдется, но нам без нее не жить.

При этих словах что-то дрогнуло у Бровальского в лице, и он остановился. Он видел только спину Щербатова и его массивную наклоненную голову. Он чувствовал его боль. Но Щербатов сдержался. Он сказал только:

— Идите и выполняйте свои обязанности.

ГЛАВА IX

За три недели до начала войны вот так же, как сегодня к нему Тройников, ездил Щербатов к командующему армией. Они стояли тогда вблизи границы, и среди местного населения уже шли упорные слухи, что немцы со дня на день начнут войну. Слухи эти пресекали со всей решительностью, но на базарах, в очередях люди поговаривали открыто. Однажды после какого-то совещания Щербатова позвал к себе командир погранзаставы и в бинокль показал ему немецкие артиллерийские батареи на той стороне, замаскированные плохо, стоявшие почти что открыто. «Они у меня все по числам отмечены,— сказал он.— Вот эту третьего дня установили...»

— Ты наверно сообщил? — спросил Щербатов, хотя об этом и спрашивать-то не надо было.

— Как же, каждый раз сообщаем.

— Ну?

— Нам главная задача — не поддаваться на провокацию.

И совсем уж доверительно рассказал, что два дня назад ночью они задержали перебежчика. Коммунист. Немец. Перебежал, чтобы предупредить; что скоро начнется война.

— У нас интересоваться не полагается. Знаю только, что отправлен дальше под усиленным конвоем. Но слышать пришлось, будто провокатор. Конечно, все может быть. В середку не залезешь... Шпионов мы сейчас против прошлого года в двадцать пять, в тридцать раз больше ловим. Все с рацнями. Так что повидать пришлось. Но этот не похож.

Начальник погранзаставы посмотрел на Щербатова своими широко от переносицы поставленными глазами, внимательно, серьезно так посмотрел, немолодой, спокойный, твердый человек:

— Я вам, Иван Васильевич, говорить всего этого не имею права. Узнают — у меня голову снимут с плеч долой. Но я так считаю: на что она и голова, если проку от нее никакого. Вы не подумайте чего другого... У меня тут жена, дочь. Я жене прочно сказал: что со всеми будет, то и с тобой. В тыл тебя отправлять не буду, ты жена начальника погранзаставы, раз угрозы нет — значит, ее и для нас с тобой нет. Так что не о себе речь. Но я вам, как коммунист коммунисту. Может, по вашей линии дойдет, вам-то, может, больше поверят. Мнение у меня такое: до самого-то верха, до Сталина, — он оглянулся, произнеся это имя вслух, словно здесь, в непосредственной близости границы, выдавал тем самым нечто секретное, — до него, боюсь, сведения наши не доходят. Может, огорчать не хотят...

Щербатов уехал в смутном настроении. На границе особенно ощутимо пахнуло на него тревожной близостью войны. И многие факты, имевшие вдали от границы какое-то объяснение и смысл, здесь теряли всякую видимость смысла. Творилось что-то странное. В соседней танковой части хорошо если треть старых танков было боеспособных. Остальные надо было ремонтировать, но не было запасных частей, и даже заявки на них не принимали полностью. Все ждали новые танки — «тридцатьчетверки», «КВ». Они прибывали единицами, их только начинали осваивать. Срочно из пополнения набирали танкистов, набирали в пехоте, в кавалерии. Но нужно было время обучить их. Будет ли это время? Сколько осталось его? А может, война уже стоит у границ?

Вдруг начали переоборудовать аэродромы. Для новых типов самолетов нужно было увеличить взлетные полосы. Самолеты эти пока что редко кому из летчиков удалось повидать, они прибывали считанными экземплярами, но аэродромы в их округе стали переоборудовать сразу все. Работы были поручены войскам НКВД, велись они широким фронтом, и закончить могли их только глубокой осенью. А пока что авиацию согнали на немногочисленные аэродромы мирного времени, придвинутые близко к границе. И там она стояла скученная, беззащитная от бомбового удара. Что это, твердая уверенность, что война

в ближайшие месяцы не начнется, или полное незнание обстановки? Но даже твердой уверенностью, даже этим нельзя было оправдать такой страшный риск, ставящий нас на грань катастрофы.

Чем больше думалось, тем необъяснимей, непостижимей казался каждый факт. А они вспоминались десятками. Командир авиационного истребительного полка рассказывал Щербатову, как на их аэродром сел вдруг немецкий бомбардировщик: «Вы бы поглядели на них, какие они вышли из самолета. По морде каждого видно — фашист. Держатся нагло, вот так на нас глядят! Ни черта они никакую ориентировку не потеряли. Но — куда там! Наехало высокое начальство, как по тревоге, любезностей им полные руки отвесили, накормили в командирской столовой, только что пирогов на дорогу не завернули. Нельзя — друзья! Будь моя воля — эх, я б этих друзей заклятых!..» — он выругался по-русски, хоть этим облегчив душу.

Случись все это в другом месте, можно было бы усомниться, не поверить. Но это происходило не где-то, а здесь, у них. Как было совместить: по всей стране ловят шпионов, газеты пишут о бдительности, и отпускают с почетом немецких летчиков, разведавших военный аэродром. Неужели так велик страх спровоцировать немцев? В XX веке войны не начинаются из-за того, что задержали самолет, нарушивший границу. А когда хотят начать войну, за предлогом дело не становится.

Слепому иной раз легче, чем зрячему. Он не видит, он может не знать. Но Щербатов на беду свою не был слепым. По одному полку от каждой его дивизии работало на строительстве укреплений. Их строили вдоль новой государственной границы, и было еще очень далеко до их завершения. А тем временем в тылу, там, где была старая граница, отодвинувшаяся на запад, уже разрушали прежние укрепления. С них сняли вооружение, готовые доты засыпали землей. Не построив новых укреплений, разрушать старые — этого он понять не мог.

Он решил поехать к командующему армией, убедить его, что ждать нельзя, надо действовать, пока еще время есть. Армией, в которую входил стрелковый корпус Щербатова, командовал генерал Лапшин. В финскую войну он еще командовал батальоном, под Выборгом получил полк, а потом стремительно вырос до командующего армией. Для такого роста в мирное время мало бывает даже

самых блестящих данных. Нужны еще причины внешние. И эти причины Щербатов понимал. Когда в короткий срок были объявлены врагами народа многие командующие округом, командармы, комкоры, комдивы, даже командиры полков и армия оказалась обезглавленной, должен был неминуемо начаться стремительный рост снизу. И вот командиры батальонов выросли в командармов. Выросли-то выросли, а пригодны ли — проверить это могла только война. Людей мирных профессий проверяет мирное время, военных проверяет война. Те, кто от первых шагов создавали Красную Армию, а теперь исчезли по одному бесследно, так, что имена их, некогда славные, было опасно произносить, те тоже вырастали стремительно из рядовых в командармы. Но они вырастали в бою, а не за столами. И Щербатов, едучи к Лапшину, не мог не думать об этом, хотел бы и все же не мог обольщаться.

Генерал Лапшин, назначенный командармом недавно, пока еще чувствовал себя в этой должности, как только что выпущенный лейтенант в ремнях: новые, скрипят, и всем показаться хочется. Он принял Щербатова дружелюбно, покровительственно и по-простому.

— Разговор ко мне, говоришь? — Лапшин раза два прошелся по кабинету взад-вперед, резко скрипя по доскам кожаными подошвами, стал перед Щербатовым. Бритый наголо, с блестящей от загара головой и шеей, с суровыми черными длинноволосыми бровями на бритом лице — каждая бровь толщиной в ус, — Лапшин был невысок и крепок, покатые плечи его, спину и грудь под гимнастеркой округлял легкий жирок.

— Разговор...

Подняв бровь торчком, Лапшин из-под нее снизу вверх сверкнул на Щербатова глазом.

— А вот что мы с тобой придумаем, — и его «ты» было тем начальственным в новой, демократической манере сказанным «ты», которым награждают подчиненных в знак особого расположения и которое предполагает ответное «вы». — Сегодня дома я один, холостякую, дело субботнее, пойдем ко мне домой, а там и поговорим по душам.

Дома Лапшин своим особенным способом заварил чай, к слову попотчевав гостя чем-то вроде анекдота: «Почему мужчина заваривает чай лучше женщины? Потому что женщина знает, сколько надо класть заварки, а мужчина не знает и на всякий случай кладет на ложку больше».

Некогда, будучи еще ротным, слышал Лапшин эту сказку от командира дивизии и теперь, став командующим армией, завел себе все так же, как когда-то слышал и видел у других. И привычки себе завел. Привычки в армии — дело не последнее. Пока ты мал, они никого не интересуют, разве что ординарца. Любит, например, старшина-сверхсрочник пить крепкий чай. Ну и люби себе на здоровье. Сиди хоть все воскресенье в гарнизоне в начищенных сапогах и пей чай. Но совсем другое дело, когда командующий любит крепкий чай. Это каждому и узнать интересно, и рассказать. Потому что это не так просто, у больших людей ничего зря не бывает.

Щербатов сам давно уже был в положении человека, за действиями которого наблюдают тысячи глаз, каждое слово которого — особенно если это удачно сказанное слово — подхватывается и передается многоусто. Он ничего почти не знал о прошлой службе Лапшина, но, опытным военным глазом наблюдая его сейчас, в домашней обстановке, видел и понимал цену всему.

Было начало июня. Весь день стояла сильная жара, и теперь, под вечер, в марлевой занавеске, затянувшей окно от комаров, воздух был недвижим. И в этой духоте Лапшин пил крепкий чай стакан за стаканом, не потев, только голова и шея его коричневели и блестели сильнее. В коверкотовой гимнастерке с портупеей, перехлестнутой через плечо, с орденом Боевого Красного Знамени на груди, он был похож на тех командармов, чьи портреты исчезли уже давно.

— Так о чем тревога? — спросил он.

— Тревога вот о чем: я на этих днях объезжал части своего корпуса — нехорошее настроение вблизи границы. Население соль, спички запасает, разговоры всякие в очередях. В общем, как перед войной. И факты тревожные есть...

— Так уж тревожные?

— Пока не видишь — ничего еще, а поглядишь... Павел Алексеевич, смотреть невозможно, как мы, верные договору, ему эшелон за эшелонем хлеб гоним, нефть, а он к нашим границам пушки везет.

Щербатов говорил это и сам еще не знал, что меньше чем через три недели его корпусная артиллерия будет расстреливать последний уходящий к немцам эшелон нефти и артиллеристы радостно закричат, своими глазами увидев, как от удачного попадания рвутся и горят на пу-

тях цистерны, не думая в этот момент о том, что расстреливают свою же собственную нефть.

— Так ты что, пушек его испугался? Мы — люди военные, нам пушек бояться вроде бы не к лицу, — сказал Лапшин, давая разговору тон бодрости, который, как привык он, обычно тут же подхватывался. И уверенный заранее, сверкнул глазами из-под бровей.

Щербатов некоторое время смотрел на стол.

— Боюсь я не пушек. Боюсь, что мы правде в глаза взглянуть не хотим. А правда в одном: война у границ. Это можно сейчас утверждать с достаточной вероятностью. Разрешите быть откровенным?

— Валяй.

Щербатов стал рассказывать факты, которые знал, которые, отправляясь к Лапшину, собрал специально. Он старался дать почувствовать ему ту тревогу, которой уже был пронизан воздух, убедить Лапшина, что надо срочно сообщить в Москву, просить разрешения хотя бы рассредоточить авиацию, привести войска в боевую готовность, вывезти в тыл семьи командного состава. Сделать самое первое, самое необходимое и понять, понять, что это — война. Что немцев, фашистов нельзя задобрить. С ними, как с бандитами, разговор может быть только один — чем ты сильнее, тем они смиренней.

Лапшин слушал, покручивая бровь. Потом откинулся на спинку стула, охватил ее руками позади себя и смотрел на Щербатова, чуть-чуть улыбаясь, как человек, который знает гораздо больше того, что ему хотят сообщить, больше того, что сам он имеет право сказать, и потому вынужден только слушать и поражаться наивности и легковесности суждений. Он сидел, не сомневающийся, что все, что нужно, делается, и враг, когда придет время, будет отброшен и разбит — малой кровью, могучим ударом.

— Эх, Щербатов, Щербатов! Какой же ты оказался политически незрелый человек! А ведь командир корпуса! Ай-я-яй! «Укрепления демонтируют в тылу, вооружение снято с них.» Так это где? За сотни километров от границ. Ты что, отступать собрался? Немцев на нашу землю хочешь пустить? Встречать их думаешь там? Знаешь, как такие настроения называются? Это называется — боязнь врага. Это у тебя пораженческие настроения. Негоже! Мы врага будем бить здесь, если он посмеет посягнуть на священные рубежи нашей Родины. И здесь его разобьем!

Голая голова его блестела уверенно, уверенно 'блестели глаза из-под сурово сдвинутых бровей, и весь он был олицетворением непоколебимой уверенности. Он гордился ею, как высшим достижением, доступным пока еще не всем. «Врага мы будем бить здесь». Чем бить, когда танки стоят разобранные? Мыслью? Слепой, гордящийся своей слепотой, как наградой свыше.

Щербатов сказал тихо:

— Товарищ командующий, самые передовые люди, вооруженные самыми передовыми идеями, могут оказаться бессильны против вооруженных бандитов.

— Насчет идей это ты брось!

— Это говорил Ленин.

— Вот видишь!

И Лапшин покачал головой. В сознании своего превосходства он смотрел на человека, временно поддавшегося панике.

Вдруг далеко в гарнизоне запела на закате труба. Щербатов слушал ее, закрыв глаза. Из далекого далека через годы и воспоминания, тревожа в душе самое дорогое, шел к нему звук трубы, некогда на всю жизнь повзвавшей его. Уже давно смолкла труба, а он все слушал ее, бережно храня тишину.

Но, видимо, каждому труба пропела свое.

— Мы — солдаты, — сказал Лапшин твердо и встал. — Наш долг — выполнять приказ. Скажут умри — умрем!

Щербатов тоже встал, посмотрел на него.

— Солдатский свой долг мы выполним, он прост. Солдат за одну винтовку отвечает. Но и с винтовкой в руках... Когда первый раз мы брали винтовку в руки, в семнадцать лет, мы знали тогда, что идем в бой за все человечество. И не было на земле ничего, за что бы не отвечали мы. Неужели ж теперь, когда командуем тысячами людей, с нас спрос меньше?

Но и на это Лапшин только улыбнулся чуть-чуть и покачал головой, как бы еще раз сказав: «Какой же ты политически незрелый человек!..»

А через несколько дней он сам позвонил Щербатову. Утром рано, Щербатов только собирался ехать с проверкой в один из артиллерийских полков, когда прибежали за ним из штаба. В трубке он услышал веселый голос Лапшина:

— Щербатов? Газеты сегодня читал? Не получил еще? Ну вот получишь, прочти внимательно. Там на твой счет

тоже есть. Понял? А когда прочтешь, выпей перед обедом сто грамм. Разрешаю. А за кого выпить — сам догадаешься.

Щербатов с трудом дождался газет. Но еще раньше, чем они пришли, он услышал по радио текст сообщения ТАСС. Потом прочел его своими глазами. За восемь дней до начала войны он читал:

«...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...»

Такое не могли сообщать, не располагая проверенными данными. Значит, видят, знают, отдают себе отчет. И вот предупреждают народ сохранять спокойствие, не верить слухам.

Найдя новое русло, мысль устремилась по нему, и весь этот день прошел как в угаре. Щербатова еще раз вызвал Лапшин, приказав немедленно прибыть, как потом оказалось, к обеду. Когда он, опоздавший, вошел, было уже достаточно выпито, шумно, сквозь папиросный дым блестели красные лица. Но Щербатову налили штрафную, налили еще, и лица в дыму засияли одной общей дружеской улыбкой. Пили за него. За того, кто сквозь бури и грозы, сквозь любые политические штормы твердой рукой ведет корабль вперед, глядя вдаль всевидящим орлиным взором. За его великое мужество и силу духа, за его беспримерную прозорливость, позволяющую ему вести народ от победы к победе. За Великого Рулевого нашей эпохи. И все громко говорили, перебивая друг друга, а во главе стола, рядом с Лапшиным сидел дивизионный комиссар Масловский, бледный от выпитой водки, как все нездоровые люди. На его белом лице темные глаза горели сильно и страстно, не всякий мог выдержать их

взгляд. Светловолосый, он издали казался моложавым, и только вблизи было видно, что волосы его почти сплошь седые, а лоб в тонких морщинах. Щербатов все время чувствовал себя под его взглядом.

А потом как-то так получилось, что они трое — Лапшин, Масловский и Щербатов — стояли в углу комнаты отдельно ото всех. Щербатов стоял спиной к углу, держа стакан в руке, а перед ним с налитыми и поднятыми стаканами в руках стояли Лапшин и Масловский и говорили о самом сокровенном, говорили о нем. Между ними никогда не было душевной близости, но сейчас они чувствовали ее, хотелось говорить по душам.

— Каждый из нас может ошибаться, — говорил Щербатов, чувствуя потребность в исповеди и не замечая, что это можно и так понимать, будто он кается за прошлый свой приезд к Лапшину. — Каждый из нас может что-то недопонимать...

— А каково ему! — торжествующе перебивал Лапшин. Он сознавал себя здесь человеком, наиболее близко стоящим к нему, и этого никому не хотел уступить. Сияя коричневым глянецом головы, он улыбался загадочной улыбкой, намекая на что-то, как человек, которому многое доверено, да немногое можно сказать. А Масловский, бледный, с темными раздраженными глазами, тяжело дышал, и одно веко его нервно подергивалось. И они никак не могли выпить своих стаканов, потому что друг перед другом хотелось сказать еще и еще: «Ведь каждый из нас... А каково ему!» Они испытывали великий восторг самоуничужения. Но где-то в глубине души Щербатов чувствовал фальшь происходящего. И, чувствуя, все же говорил. Что-то заставляло его говорить.

А среди ночи, проснувшись от головной боли, он вспомнил все это с мучительным стыдом. Было стыдно и гадко. И особенно гадко вспоминать, как они стояли в углу, и прорвалась в нем эта потребность говорить перед другими о своей преданности, о том, что обычно человек держит в себе. Что заставляло его говорить это? Водка? Водка только сделала нестыдным то, чего трезвый стыдится. И отчего вообще радость? Что изменилось? Он пытался собрать уверенность, которая была у него днем, и не мог. Сейчас это почему-то не удавалось. А может, просто все обрадовались возможности зажмуриться? Зажмуриться и не видеть опасности? Ты не видишь — и ее уже нет. Он

заново перечел сообщение ТАСС, и теперь все в нем казалось необедительным.

Этой ночью он слушал радио. Что говорит сейчас мир? Вдруг ворвался рев самолета и сквозь него торопливый, захлебывающийся голос диктора. Говорили по-немецки. Над каким городом кружил этот самолет? Сквозь свист и хаос, сквозь обрывки музыки Щербатов нашел Париж. И твердая немецкая речь раздалась так близко, что Щербатов убавил звук и закрыл окно. Немца прерывал хохот многих здоровых глоток и аплодисментов. И снова говорил он что-то смешное. И снова хохот и топот ног.

Щербатов шарил по станциям с волны на волну. При- тихшая Европа говорила по-немецки и плакала по-немецки, передавала немецкую музыку, и веселилась, и танцевала под нее. Во Франции, в Дании, в Голландии, в Бельгии, в Норвегии, в Польше, в Чехословакии — на всех волнах раздавалась немецкая речь. В Белграде и Афинах звучало одно и то же немецкое танго, сладкое и медленное. «Происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся на Балканах, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям». Все это, казавшееся убедительным и таким логичным днем, сейчас выглядело по-иному. «Надо полагать...» Самое странное, что, казалось бы, заинтересованы в таком опровержении немцы, но не они опровергают, а мы за них. И тон какой-то просительный, словно представляем на подпись или просим подтвердить.

Лондон, который теперь бомбили еженощно, под звон колоколов передавал богослужение. Москва давно закончила передачи, и люди спали мирным сном. От западной границы до Дальнего Востока страна спала, убаюканная, и видела сладкие сны. Как остановить надвигающееся? Щербатов знал, что командующий соседней армией писал лично Сталину, предупреждая об опасности, пытался посоветовать ряд срочных мер и за это по личному распоряжению Сталина был снят и отозван, обвиненный в трусости и пораженческих настроениях. Об этом шепнул ему вчера Лапшин и, отстранившись, прищурясь хитро, погрозил пальцем. Мол, учти и помни, что мог я с тобой сделать и не сделал.

Как лечить болезнь, когда запрещено даже называть ее? Безопасно одно: быть слепым. Зажмуриться и выра-

жать уверенность. Говорить то, что хотят слышать. А что, если за завесой строжайшей секретности охраняется от взглядов наша неподготовленность? И никому не разрешено приблизиться с советом: вокруг, как ток смертельного напряжения, пропущен страх.

Самое ужасное, что во всем этом, противоестественном и гибельном, была своя непостижимая логика. Щербатов не мог разгадать ее, но чувствовал, что она есть. И каждый факт, в отдельности казавшийся случайным, диким, был следствием чего-то и одновременно причиной. Все началось не сегодня, а где-то раньше. Развязанные, пущенные в ход события развивались теперь самостоятельно по своей внутренней логике, со всеми последствиями, которые вначале невозможно было предвидеть. Никто в отдельности гибели не хотел, и все вместе делали то, что вело к гибели.

И все-таки на другой день Щербатов ждал, что появится немецкое опровержение. Он хотел еще надеяться, хотел ошибиться. А потом пришла простая мысль, осветившая все по-иному, — это дипломатический шаг, рассчитанный, продуманный на несколько ходов вперед дипломатический шаг. Ему не известны причины, почему избран такой путь, он не знает всего, что за этим шагом ожидается, но, несомненно, теперь должны обнаружить себя те признаки, по которым будет оценена обстановка и многое другое. Язык дипломатии сложен, разбираться в нем дано не всем, а то, что непосвященным кажется странным, может иметь и свое значение, и свой скрытый смысл. В сущности, это разведка боем, пока что бескровная. Быть может, опровержение получено уже, но по каким-то соображениям не сочли его приемлемым. Быть может, предприняты новые шаги. Тут тоже нужна выдержка, нужно время.

Но дни шли, а немцы ничего не подтверждали и не опровергали. И то, что оставалось по-прежнему неясно людям, вершившим политику, привыкшим распоряжаться судьбами тысяч и миллионов, — простым людям, каждый из которых, если глядеть сверху, быть может, и неразличим в общей массе, каждому из этих обычных, обремененных дегтишками и страхами людей здесь, вблизи границы, давно уже было ясно. Они делали то, что всегда делали люди в ожидании чужеземного нашествия: запасали соль, спички, хлеб. Те из них, кто думал здесь переждать нашествие, ночами, втайне от соседских глаз, зарывали в

землю самое дорогое; другие готовились в путь. Вещи прятали в землю, люди уходили в себя: слишком неудобно и небезопасно было говорить вслух об очевидном. И, странное дело, чем умней, доверенней, информированней был человек, тем глупей и беспомощней он действовал на поверку. А те, кому надеяться было не на кого, а надо было самим думать за себя и за своих детей, кто пользовался одними слухами, трижды перевернутыми, ни на что не похожими, те при всей бессмысленности и видимой бестолковости своих действий делали единственно правильное, что им оставалось делать.

И только армия, как будто ничего не менялось, продолжала жить по распорядку мирного времени. Артиллерия проводила учения на полигонах, танки, многие из них разобранные, стояли в ремонте, и по всем подразделениям готовились к вечерам художественной самодеятельности. После Щербатову об этом дико было вспомнить. Но это было так. На 22 июня, на воскресенье, были назначены спортивные соревнования и игры, этим соревнованиям придавалось большое значение, и подготовка к ним шла полным ходом.

В ночь с пятницы на субботу Щербатова вдруг вызвали в штаб к телефону. Понимая, что случилось нечто чрезвычайное, он быстро оделся и только успел выйти на крыльцо, как подкатила его машина. Шофер выскочил, с поспешностью виновато полез под капот: что-то не ладилось в моторе. Щербатов не стал ждать. Сказав: «Исправишь — догонишь», пошел пешком. Было ветрено, моросил дождь. Глубоко сунув руки в карманы плаща, Щербатов шел по улицам спящего городка, и ясное ощущение — «вот оно, начинается» — подкатывало под сердце.

В штабе о звонке никто ничего не знал. Щербатов еще допрашивал дежурного, когда послышался звук мотора и сейчас же раздались несколько автоматных очередей. Щербатов с пистолетом в руке выскочил из штаба, дежурный бежал за ним. В переулке посреди мостовой горела его машина. Он дернул дверцу — шофер был убит.

В эту ночь он поднял корпус по тревоге. Для него сомнений не оставалось: война начнется с часу на час. Он вызвал артиллерийские полки с полигонов, командирам дивизии отдал приказ скрытно вывести войска в леса к государственной границе. Уже на исходе ночи, проехав

на машине тридцать километров, поднял с постели командира соседнего авиационного соединения, известного в свое время военного летчика Бобринева, имя которого было окружено множеством легенд. Коротко рассказав о своем решении, Щербатов посоветовал ему рассредоточить самолеты.

— Думаешь, начинается? — спросил только Бобринев, глядя на него испуганными и восхищенными глазами.— От это так самодеятельность!

Не успев одеться, он стоял спиной к окну в синем гимнастическом шерстяном тренировочном костюме, скрещенными на груди руками подпирая мощные грудные мышцы, коротко постриженный, похожий на боксера. А Щербатов на отставленном стуле сидел посреди комнаты, одетый по-походному, в боевом снаряжении, в дождевнике, в заляпанных грязью сапогах, и пахло от него дождем, кожей амуниции, оружейным маслом и бензином — запахом дальних военных дорог. И за окном, не глуша мотора, стояла машина, на которой он приехал и опять уезжал в ночь.

— Эх, да я ж ведь тоже любитель хорошей самодеятельности! — оживился Бобринев, зачем-то быстро причесывая короткий торчащий ежик волос.

Они простились крепким мужским пожатием, глянув друг другу в глаза.

Весь остаток ночи и день Щербатов не появлялся в штабе. Носясь на машине из полка в полк, сам проверял боевую готовность, знал, что его ищут. По многим телефонам требовали его, множество мотоциклистов с приказами мчались за ним по разным дорогам — его нигде не было.

Уже под вечер в лесу, в дивизии Нестеренко, разыскал его начальник штаба Сорокин. Он приехал вместе с Бровальским, который, прервав свой отпуск, самолетом вернулся из Москвы. Щербатов сидел на пне и по-походному ел суп из солдатского котелка. Фуражку он снял, положив рядом с собой на траву, и ел, откусывая черный хлеб от ломтя, который не выпускал из руки, придерживавшей котелок на колене. И лицо у него было оживленное, и веяло от него силой.

Сорокин со страхом смотрел на его широколобую, наклоненную над котелком голову, всю в крепких волосах, нигде еще не начавшую лысеть, чуть только тронутую сединой, смотрел так, словно эта голова уже не принадле-

жала ему. Он знал, что занесено над нею. Самое страшное, что мог совершить Щербатов, он совершил, в такой обстановке нарушив приказ. Весь день проведя у телефона, отвечая на яростные звонки командующего армией, грозившего трибуналом, он ехал сюда, доведенный до крайней степени испуга, содрогаясь от мысли, что необдуманные, поспешные действия Щербатова могут быть расценены немцами как провокация и вызвать конфликт. Он ехал лично передать приказ, убедить, пока не поздно, зная, что уже выехали и Щербатова ищут Масловский и прокурор. Но сейчас, докладывая все это, он вместе с жалостью и страхом чувствовал свою смутную вину перед этим человеком, словно совершал предательство по отношению к нему, и пальцы его рук, вытянутых по швам, дрожали.

Щербатов доел суп, ни разу не подняв головы, пока начальник штаба и комиссар стояли над ним, как над больным, находящимся в опасности. Поставил котелок на траву, достал портсигар из кармана галифе, размял папиросу в пальцах, мундштуком постучал по крышке и закурил.

— Ну? — спросил он, сквозь папиросный дымок снизу шурясь на Бровальского. — Что в Москве?

Он спросил благодушно, как человек, находящийся в послеобеденном, заторможенном состоянии; из глаз его только после нескольких затяжек исчезло сонное выражение.

Бровальский нервно заходил по лесу.

— Ни черта не понимаю! — сказал он и оглянулся, нет ли посторонних, но, кроме них троих и Нестеренко, никого поблизости не было. — Утром ехал на аэродром, москвичи с авоськами, с гамаками, с детьми едут на дачу. Жара. Настроение предпраздничное. А из гостиницы, где я стоял, вдруг с вечера выехали все иностранцы. В вестибюле ступить было некуда, весь пол заставлен чемоданами. Иностранные такие чемоданы с наклейками. Сидят на них, как беженцы на корабле, волнуются, ждут машин. Все выехали. Только немцы остались...

Он вдруг покраснел. И оттого, что все видели это, скрыть было невозможно, он остановился со злым, мрачным лицом.

— Ни черта понять не могу! Три дня назад выхожу из номера... Вечером. Вдруг оттесняют. Какой-то переполох в коридоре. Коридорные, официанты, какие-то еще лю-

ди стоят у лестницы, как почетный караул. А по лестнице подымается немец. В штатском. По выправке — военный. Прошел сквозь этот почтительный строй с зубочисткой в зубах. Тогда уж пустили нас.

Но то главное, отчего он покраснел, что жгло его и сейчас, этого он не рассказал. В тот самый вечер, когда подымался по лестнице немец и всех поспешно оттеснили, очищая проход, Бровальский ужинал с дамой в ресторане. Их столик был близко к дверям, и в ресторан вошли два немца. Летчики. Они огляделись и направились к их столику, где были свободные места. И один из них уже галантно улыбался даме и отраженно Бровальскому, прежде чем спросить разрешения сесть. Ничего приятного, кроме испорченного вечера, который по вполне понятным причинам ему хотелось провести вдвоем, немцы эти с собой не несли, и тем не менее, когда один из них улыбнулся, Бровальский и на своем лице почувствовал готовность к улыбке: они были здесь гости и по новому договору — друзья, а он — хозяин, в некотором смысле — представитель страны. И вот этой улыбке и готовности встать и предложить им стулья он до сих пор простить себе не мог. Немцы вдруг остановились, и тот, что улыбался только что, сказал достаточно громко по-немецки:

— Стой, Курт! Тут сидит еврей. Пойдем отсюда.

И они прошли в глубину зала. Бровальский до крови прокусил себе губу, чтобы не подойти и не дать по морде. Будь это несколько лет назад, он бы не задумался. Но за эти годы привычка соразмерять свои действия с чьим-то незримым регламентирующим мнением, которое пусть даже и не высказано к данному случаю, а все равно существует как некий незримый эталон, эта привычка видеть вещи не своими глазами уже вошла в кровь. Он, полковой комиссар, бьет в ресторане летчика дружественной державы... И он сидел, облитый позором, мужчина, не трус, физически сильный человек, полковой комиссар Красной Армии. Они, фашисты, в чужой стране вели себя как дома, а он, у себя дома, должен был учитывать нежелательные последствия. Он видел, как официант стоит перед ними в почтительной позе, как потом оба они, откинувшись, сквозь дым сигарет смотрят на женщин в ресторане оценивающими взглядами, переговариваясь между собой.

В эту ночь он, может быть, впервые так думал о запрещенном. Он не был наивен. Он знал, что там, где творится высокая политика, там нет места чувствам, там действует разум, и где-то приходится отступать и идти на компромиссы во имя достижения дальних целей. Совесть, мораль — для дипломата не могут существовать в том виде, как для обычных смертных. Но сегодня он на себе испытал результат. В своей стране получил оскорбление от фашиста и не мог на него ответить. И впервые в эту ночь Бровальский подумал о том, достаточно ли четкой осталась грань, где кончается тактика и начинаются принципы. Как бы ни был этот договор нужен, быть может, даже необходим, он еще повлечет за собой многие непредвиденные последствия, которые легко вызвать и трудно устранить.

Но даже со Щербатовым Бровальский не мог сейчас об этом говорить. Во всем случившемся было что-то постыдное для него лично. Он получил пощечину там, где должен был ее дать. И это жгло.

А Сорокин с ужасом видел, что они говорят о чем-то неглавном, несущественном, когда с минуты на минуту может случиться непоправимое. И движимый единственным стремлением спасти Щербатова, пока не поздно, помочь, он сказал умоляющим голосом:

— Иван Васильевич, я, может быть, недостаточно ясно выразил... Сюда едут член Военного совета армии и прокурор. С минуты на минуту.

Щербатов снизу посмотрел на него, сказал мягко, потому что он понимал:

— Езжайте в штаб. В такое время штаб не должен оставаться без начальника штаба. И проверьте, подготовлена ли связь и все необходимое на запасном КП.

Какое-то время Сорокин еще стоял. В нем все боролось, но только вздернутые плечи и шевелящиеся пальцы рук говорили о его желании и беспомощности. Скованный дисциплиной, он чувствовал себя человеком, присутствующим при самоубийстве, видящим все и лишенным средств помочь.

Когда он уехал, Бровальский подошел к Щербатову, сел около него на траву. Так они сидели и курили. Потом Бровальский, глядя снизу в глаза, положил ему руку на колено, дружески и твердо. И Щербатов понял: что бы ни случилось, плечо комиссара будет рядом.

В штаб они вернулись, когда было темно, и почти тотчас же Щербатова вызвали к аппарату. Он взял трубку.

— Щербатов?

Говорил Лапшин, и все понимали, что будет сказано сейчас. Стоя с трубкой в руке, Щербатов зачем-то поднял валявшуюся крышку чернильницы, поставил ее на место. Мысль его была не здесь, а руки сами по привычке делали свое. Бровальский и Сорокин смотрели на него. Он стоял у аппарата и со стороны казался таким спокойным, что становилось страшно на него смотреть. В тишине заглянул в дверь дежурный и поспешно скрылся. Но Щербатов ничего этого не видел. Он слышал только дыхание на том конце провода и ждал. Он был готов ко всему. Но только не к тому, что услышал в следующий момент:

— Щербатов! Немедленно поднять дивизии по тревоге. Боеприпасы иметь при войсках. Но помни, не исключена провокация. Может создаться сложная обстановка. На руки личному составу боеприпасы до особого распоряжения не выдавать!

Бровальский, не отрываясь смотревший на него, увидел, как Щербатов вдруг резко побледнел. Положив трубку, он медленно снимал с головы фуражку, сам не замечая, что делает. Свершилось! Не было мыслей о себе, было только сознание огромной обрушившейся беды. Он сел, и никто не решался ни о чем спрашивать его.

— Ну вот,— сказал он и взглянул на Бровальского.— Чего ждали — дождались. Приказано поднять войска по тревоге.

В эту ночь, отдав все распоряжения, он на короткое время заехал к себе домой. Он жил один, по-походному сурово. Топчан, покрытый ковром, письменный стол с лампой, приемником и несколько полок книг. Умея отказывать себе во многом, книги Щербатов покупал всякий раз, когда видел их, читал ночами, придвинув тумбочку с настольной лампой к топчану, читал, курил и думал, прихлебывая из стакана холодный чай. И постепенно книги скапливались на полках в зависимости от того, как долго он на одном месте жил.

Глядя на них сейчас, Щербатов испытал странное чувство. Он вдруг почувствовал, как, в сущности, беззащитна сама по себе человеческая мысль! Сколько раз она уже оказывалась погребенной под обломками, и людям приходилось начинать все сначала, раскапывая остывшие пепелища.

Он трогал книги рукой, брал их, раскрывал и ставил обратно. И тут из одной книги выпало что-то. Щербатов нагнулся. Брошюрка. Он поднял ее. На серой со щепками грубой бумаге — плакатный черный шрифт двадцатых годов. Волнуясь, Щербатов раскрыл ее. Наискось по заглавию — шутливая надпись: «Мужу сестры — от мужа сестры. Читай, Иван, ибо чтение развивает». И длинная роспись, так, что каждую букву можно прочесть: «Ф. Емельянов». Четыре года назад вот эту брошюру они искали с женой, перерывали всю библиотеку. Искали, чтоб уничтожить, и не нашли. Волнуясь, Щербатов держал ее теперь в руках. И многое вспомнил он, глядя на эту надпись. Ему вспомнился последний приезд Емельянова.

Это был уже конец лета тридцать седьмого года, и события к тому времени приняли огромный размах. Как-то раз Щербатов возвращался домой пешком. Обычно стоило нажать кнопку лифта — и ты уже на шестом этаже. Но в этот день лифт испортился, и он шел по лестнице мимо квартир и видел сразу все то, что происходило постепенно. Он помнил людей, живших еще недавно за этими дверями, их лица, голоса. Лестница густонаселенного дома всегда была полна запахов, особенно в праздники: пеклось и жарилось на каждом этаже. Хлопали двери, с визгом, словно за ними гнались, выскакивали дети, лестница звенела их голосами, матери кричали из окон во двор: «Томочка! Витя! Ви-итя! Вот погоди, отец придет!..» Сейчас он видел пломбы на дверях, и шаги его гулко раздавались по каменным ступеням.

На втором этаже в большой квартире, соединенной из двух смежных квартир, жил дивизионный комиссар, человек сумрачный — дети во дворе почему-то его боялись. В гражданскую войну он был ранен шрапнелью, когда в пешем строю вел полк в атаку. Нога срослась плохо, рана болела, и, наверное, от этого он всегда был мрачен. Его взяли одним из первых в доме.

Напротив жил военный инженер с женой. Оба молодые, красивые, рослые, на редкость подходившие друг к другу. Она была в положении, ждали сына, и было хорошо смотреть, как вечерами, гуляя, он осторожно вел ее под руку. Она говорила: «Господи! В такое время я — беременна!» Его тоже взяли, почти одновременно с дивизионным комиссаром.

А третья дверь была не опечатана. Здесь жил известный неудачник, человек, которому всю жизнь не везло,

о чем жена его постоянно оповещала весь двор, жалуясь, какая она несчастная, что вышла за него замуж, и какая она дура, что родила ему четверых детей мучиться. В тридцать четвертом году, в компании он сказал: «Вы представляете, что будет, если товарищ Сталин умрет!..» Он не думал ничего плохого, он только хотел выразить свой ужас, если бы такое вдруг случилось, и хотел, чтоб люди этот его ужас и преданность его видели. Его исключили из партии, он долго нигде не мог устроиться на работу. Потом устроился мелким служащим в контору и тихо работал в ней по сей день.

Щербатов поднялся к себе на шестой этаж по гулкой каменной лестнице. С дверей напротив его квартиры уже сняли пломбу. Туда недавно вселился новый жилец. Возвращаясь поздно, он по утрам делал гимнастику на лестничной площадке. В нижней чистой рубашке, в тапочках на босу ногу, в галифе со спущенными с плеч подтяжками он приседал, разводя руки перед грудью. Раз! Раз! Натягивалось галифе на коленях. Вдох через нос. Выдох.

— Здравствуйте, полковник! — приветствовал он Щербатова. От его разогретого тела шел жар.— Ремонт у меня,— улыбался он многозначительно и кивал в направлении своей двери.— Не возражаете, что я здесь?

Он был дружелюбен и всячески ненавязчиво показывал свое расположение к соседу.

Щербатов поднял руку, позвонил. И ждал в тишине. Потом услышал быстрые, радостные, летящие к нему по коридору шаги жены. В передней он снял шинель, повесил на вешалку, а она стояла рядом. Он не был в бою, не вернулся из дальнего похода — просто со службы пришел домой. Но люди уже научились ценить обычные вещи. Он молча погладил ее по голове и поцеловал в волосы. За то, что она ждала его.

В этот вечер случилась неожиданная радость: приехал его старый друг Федор Емельянов. Находились они в отдаленном родстве — женаты были на двоюродных сестрах,— но Емельянов был в больших чинах, и потому Щербатов никогда о своих родственных связях не напоминал, сам к нему почти не ездил, разве что в дни рождений, когда неудобно было не ехать. Стоя высоко, Емельянов был человеком осведомленным, и потому Щербатов сейчас особенно обрадовался ему. Тот приехал по-семейному, с женой, веселый, достал из карманов шинели две

бутылки коньяка: «Держи! Из своих винных погребов!», и у Щербатова шевельнулась надежда: может, перемены? Аня радостно суетилась на кухне: теперь не часто вот так просто ездили люди друг к другу. А тут еще такой гость! Емельянова она любила. Могучего сложения, рослый, с трезвым, ясным умом, он был из тех людей, которые во множестве всегда есть в народе, но становятся видны только в крутые, поворотные моменты истории. В такие поворотные моменты они приходят хозяйски умелые, уверенные, знающие, что им делать, не спрашивая, сами подставляют широкое плечо под тот угол, где тяжелей. Таких во множестве подняла революция, поставив на виду.

Емельянов и жил запоем, и работал запоем. Оказываясь дома после долгой разлуки, баловал жену, по-мужски баловал сыновей. Они чистили, смазывали ружья, набивали патроны — готовились на охоту: младший Емельянов, средний уже школьник и старший. И разговоры в доме велись мужские: о приемах дзюдо, о боксе, о стрельбе. А в воскресенье — мать еще спала — все трое бесшумно уходили на лыжах. Возвращались к завтраку. Средний — своим ходом, младший Емельянов вместе с лыжами — на горбу у старшего. От всех троих сквозь шерстяные свитера валил пар.

Широкий во всем, Емельянов отличался одной необъяснимой слабостью, над которой много потешались его друзья: никому никогда книг из своей библиотеки не давал. Он был абсолютно убежден, что всякий нормальный человек, к которому попала в руки хорошая книга, добровольно ее не отдаст. Ему не пришлось учиться в молодости, и он наверстывал взрослым человеком, читая ночи напролет, пристрастив к этому и Щербатова.

Вот он и приехал в тот вечер по-семейному с женой, с двумя бутылками коньяка в карманах, веселый, как бывало. Но скоро Щербатов увидел за столом, что веселье его не очень веселое. Несколько раз жена Емельянова со страхом указывала на него глазами, он ее взгляда как будто не замечал. Усадив рядом с собой Андрюшку, путал его вопросами, сбивал с толку и хохотал, довольный. Но вдруг сказал, оборвав смех:

— А ну покажи библиотеку!

Щербатов понял: хочет поговорить. В кабинете они закурили, сидя друг против друга.

— Новостей ждешь? — спросил Емельянов в упор. — Новостей сейчас ждут больше, чем правды. — Он усмехнулся. — Вот так и сидим по углам, ждем: «Может, меня минует...» Мы как учим солдата? В бою под огнем не лежать! Вперед! И другие за тобой! Да, в бою просто. Там смелому если и смерть, так слава. А здесь — позор! Ну-ка выйди, скажи громко... Так завтра, кто знал тебя, имени твоего будут бояться.

Сломав папиросу, вдавил в пепельницу, заходил по кабинету, хрустя пальцами за спиной.

— И ты, коммунист, исчезнешь бесследно, как враг своего народа. И люди поверят, что ты — враг. Вот что страшно.

Он стоял у окна, смотрел сквозь стекла во двор. Тяжелые плечи опущены, руки заложил за спину. Сквозь коротко подстриженные волосы на затылке блестит чистая загорелая кожа. А Щербатов слушал его и томился от мысли, что они вот так разговаривают, а отдушина отопления открыта. Он знал, какие тонкие стены. Он не мог не думать так: это уже вошло в кровь. И сознавая весь стыд этого, он все же не мог не мучиться.

— Страшные жертвы, — сказал Щербатов. — Безвинные — всё так. Но если подумать, сколько врагов, каким окружением сжата страна. Да даже не в этом дело. Я только думаю, если суждено нам во имя идеи пожертвовать собой, так даже это не страшно.

И вдруг понял: он говорит это не Емельянову, не себе даже, он говорит так потому, что их могут слышать. И похолодел от мысли, что Емельянов мог это понять. Ведь он сейчас, в сущности, предавал его. И тем страшней было это предательство, что оно негласное, незаметное, не вынужденное обстоятельствами. Ведь он же в бою не задумываясь заслонил бы Емельянова собой. Так как же случилось, что он предает его перед тем незримым, что поселилось в душе? Но Емельянов не понял. Этого он думать не мог. Обернувшись от окна, он пристально посмотрел на Щербатова, погрозил пальцем:

— Не ври! Этой надежды нам не дано. Идея давно уже не в жертвах нуждается, защиты просит. Человечество не сегодня на свет родилось, оно многое видело, о многом успело подумать.

Он подошел к книжной полке, указал через стекло:

— Вон у тебя Анатолий Франс. Сегодня среди ночи взял случайно и читал всю ночь. Есть у него речь в де-

вятьсот пятом году: «За русский народ». И там он говорит о деле Дрейфуса. Сейчас даже читать странно. Казалось бы, из-за чего шум? Не тысячи на каторгу идут, всего один человек. Вот обожди, я найду сейчас. Это место. Слова даже непривычные какие-то: «Невинный страдалец»... Мы уж отвыкли от таких слов... Вот! — Он нашел по оглавлению, раскрыл том. — Слушай. Это он молодежи говорит:

«Защищая невинного страдальца против всех сил власти и общественного мнения, мы научили вас не подчинять их доводам доводы своего разума. Мы научили вас не подавлять в себе голоса совести. Мы научили вас не сгибаться перед могущественным преступлением. Мы научили вас провозглашать истину так, чтобы голос ее звучал сильнее бряцания сабель и рева толпы. Мы научили вас, как должны поступать мужественные люди, когда судьи безмолвствуют, а министры лгут.» Вот!

Емельянов некоторое время издали смотрел ему в лицо.

— Страшно, что мы сами помогли укрепить слепую веру в него и теперь перед этой верой бессильны. Святая правда выглядит страшной ложью, если она не соответствует сегодняшним представлениям людей. Ты можешь представить, что было бы, если б нашелся сейчас человек, который по радио, например, сказал бы на всю страну о том, что творится, о Сталине? Знаешь, что было бы? С этой минуты даже тот, кто колеблется, поверил бы. И уже любая жестокость была бы оправдана. То-то и беда, что последствия огромных событий сказываются не сразу, через годы и страдания доходят до людей.

И тут на площадке стукнула дверь лифта. И оба, замолчав, некоторое время вслушивались, пока не затихли шаги. Емельянов первый усмехнулся: над ним и над собой.

— Вот тебе и всё,— сказал он и, поставив книгу на место, закрыл шкаф.— Вдуматься — сам начинаешь не верить себе. Мы, два коммуниста, и, чего уж там говорить, дороже советской власти ничего для нас нет, а не то что слов — мыслей своих боимся другой раз. Слышал новый анекдот? Вечер. Сидит семья дома. Вдруг, — он показал в сторону хлопнувшего лифта, — звонок в дверь. Поглядели друг на друга: кому идти? Самый старый — дедушка. Пошел он открывать. До-олго идет по коридору. Вдруг бежит обратно радостный, ноги за ним не поспевают: «Не волнуйтесь! Это — пожар!»

Они только улыгнулись. Смеяться как-то не хотелось.

Уже уходя и взявшись за ручку двери, Емельянов помедлил, впервые за весь вечер мягко, грустно и дружески посмотрел на Щербатова. Долго так, словно прощаясь. Потом глаза его снова посуровели и он сказал:

— Будет война, но поражение мы терпим уже сейчас. И будут погибшие безымянные герои, которых могло не быть.

Он ушел, оставив в доме тяжелое предчувствие беды. Это предчувствие томило Щербатова даже ночью, во сне. И когда жена вошла будить, он, словно не спал вовсе, сел быстро и тихо. Было еще темно, только начинали сереть окна в стенах. Он увидел белое лицо ее и — шелестящий в темноте шепот:

— Федя застрелился...

Все опустилось в нем куда-то вниз до тошнотного чувства в животе. Дрожащей рукой, на ощупь, в темноте, нашел папиросы, закурил. Кто-то всхлипывал в коридоре, но это ни болью, ни сочувствием не отзывалось в нем. Он сидел оглушенный, тупо уставясь в пол. Емельянов решил. И прав он, не прав ли — теперь уж прав. Ни совесть, ничто больше не мучит его.

Последующие дни были оглушены опустившейся на всех тяжестью. Даже страха не было. В служебном кабинете и в доме Емельянова той же ночью произвели обыск, придирчиво рылись в его бумагах, самоубийцу увезли, словно арестовав посмертно, и хоронили негласно. Входя к нему в дом, Щербатов ясно чувствовал, как переступает через нечто отделившее эту семью ото всех. Он подолгу сидел с осиротевшими ребятами: рассказывал им всякие истории, больше про войну, а хотелось ему посидеть в кабинете Емельянова, подумать среди его книг. Но кабинет был опечатан. И всего-то одна прищепнута на дверях желтая восковая печать, но тверда она, как закон. При ней все чувствовали себя поднадзорными, оставленными здесь жить до выяснения обстоятельств. Как потерянные слонялись жена и дети по квартире, опасаясь притрагиваться к вещам, словно все было уже не ихнее, беззвучно говорили в поселившейся тишине, и временами у Щербатова путалось, то ли он здесь это видит, то ли у себя.

Он знал: долго это уже не продлится. И как-то перед вечером ему позвонили. Он подошел к телефону:

— Щербатов слушает.

В трубке молчали. Потом — быстрый шепот:

— Дядя Ваня, это я. Толя Емельянов. Я не из дома, я из автомата говорю. Можно мне к вам прийти сейчас?

Щербатов сказал:

— Иди быстро. Мы ждем.

Толи долго не было, и все это время Аня то подходила к окну и смотрела во двор, то открывала дверь и ждала на площадке. Выскакивала на каждый стук лифта. И когда он вошел и она увидела его в передней, маленького, стриженного, всего как будто сторбленного — он неловко снимал пальто, — заплакала над ним, зажимая рукой рот, все сразу поняв.

Он был младше Андрея почти на пять лет. Но жизнь теперь не спрашивала, не смотрела в метрики. За одну ночь детей делала взрослыми. И так получилось, что Андрея, старшего, заперли в детской, а разговаривали втроем. Аня все подкладывала ему в тарелку, и он ел, стеснялся, чего не было в нем прежде, но ел, потому что был голоден. И рассказывал:

— Мама все эти ночи ждала. Проснешься, а она не спит. Все ходит, ходит по дому. Приложит вот так руки к вискам и ходит. Руки у нее холодные были. Она говорила, что ей вспомнить надо что-то. Но как же она могла вспомнить, когда она совсем не спала? Мы ее днем пробовали уложить, а она все равно заснуть не может. Какие-то вещи, носки папины начнет перебирать — и забудет. Сидит с носком в руках. Даже обед забывала готовить. А когда пришли за ней, она не волновалась. Разбудила нас, спокойная такая. Там штатский был один, главный над ними. Мама сказала ему, что хочет умыться. И пошла в ванную. А он разрешил, только дверь оставил приоткрытой и сам в двери стал. Вы не думайте, он не смотрел на маму. Он все квартиру нашу осматривал, окна пробовал, как закрываются. А когда они записывать стали, раскрыли папку, я увидел, там еще одна папка была, они ее сразу спрятали. Тоненькая такая, желтая, и на ней Борино имя написано: «Емельянов Борис». Мама и Боря не видели, я один увидел, но никому не сказал.

Что-то больно кольнуло Щербатова.

— Что ж ты к нам не прибежал сразу?

Толя опустил глаза в стол:

— Я боялся, что Борю без меня увезут, боялся оставлять его.

Но было и другое, что он не сказал им, словно пожалел их, он, мальчик. И они поняли это.

— А Боря не знал ничего, он все говорил: «Ничего, Толька, вот я на завод поступлю...» Он даже устраиваться ходил, только его почему-то не принимали. Мы с ним убрали весь дом, он заботливый такой был эти дни, сам завтраки клал мне в портфель. И из школы ждал меня, а вечером все уроки со мной делал. Они позавчера за ним пришли. Ночью тоже. Я сразу проснулся, как позвонили. А Боря спал, он же не знал ничего. Они с парадного хода пришли, а у нас еще из кухни ход есть. Я Борю разбудил, говорю ему: «Ты беги через черный ход, это — за тобой. Я долго буду открывать дверь». Я это еще давно подумал. Он сразу хотел бежать, стал быстро одеваться, а потом почему-то сел на диван и говорит: «Открывай...» И так его начало всего трясти, мне прямо страшно стало, он ботинки сам не мог надеть. Я когда открыл, они злые были, что мы долго не открывали, меня оттолкнули, к Боре сразу кинулись. Знаете, у нас кушетка такая жесткая, он на ней всегда спал, и боксерские перчатки его над ней висели. Вот он там сидел. А когда его уводили, он заплакал. Наверное, потому, что я один оставался. Он же не знал, что меня тоже увезут. Меня сразу после него в детприемник увезли. Там много таких детей. И все время еще привозят. Дядя Ваня, я сейчас оттуда прибежал. Только мне долго нельзя. Меня искать будут. Меня там сфотографировали. Вот так прямо, с фанеркой в руках. И вот так, — он повернулся в профиль, и только теперь поняли они, почему он свежестрижен наголо. — Тетя Аня, вы не плачьте. Вы не думайте, там кормят три раза. А малышам — у них отдельная группа до семи лет, — им там весело. Они не понимают ничего, качаются на качелях.

Он замолчал и опять, как тогда, сторбился и сидел перед ними, остриженный под машинку, словно малолетний преступник, почему-то с чернильным пятном на голове.

— Дядя Ваня, — сказал он и поднял на него глаза. И такое жалкое, слабое, такая мольба была в них, что свет их обжег. — Возьмите меня к себе. Кормите одной картошкой раз в день, только возьмите оттуда. Я скоро работать пойду. Я рисовать умею.

— Что ты, что ты! — Щербатов вскочил, отмахиваясь не от слов его, а от того, что было в душе во время раз-

говора, потому что он давно все понял и ждал.— Что ты! Возьмем, конечно!

И тогда Аня, не сдерживаясь больше, бросилась к нему, как мать прижала к груди его стриженую голову, обливая ее слезами:

— Да мы не отпустим тебя никуда!

Но Толя высвободился из ее рук.

— Нет, это нельзя. Вы просто не знаете, — он говорил с ней так, словно был старше и опытней. — Там порядок такой... Вы мне лучше дайте сейчас на трамвай, а то я и так долго. А утром вы придите за мной. Дядя Ваня, вы не думайте, это разрешают. У нас вчера за одним мальчиком родные пришли. Надо только сказать, что вы хотите меня взять к себе. И еще справки надо принести: с работы и о жилплощади, что санитарные условия позволяют. А то так не отдадут.

Вдвоем они проводили его на трамвай. И на остановке он еще раз попросил, как будто понимая все, что они должны чувствовать:

— Только вы утром сразу придите. А справки принесете потом. А то нас долго не держат там, могут отправить.

Но до утра была еще ночь. То, что говорилось сейчас в порыве чувств, завтра предстояло сделать обдуманно, сознавая все, что с этой минуты берешь и навлекаешь на себя. Утром нужно было пойти, взять все справки, сказав, куда, зачем и о чем.

Сколько прошло с того дня, как они разговаривали? Вот здесь у окна стоял Емельянов, заложив руки за спину, и смотрел вниз, где у подъезда под фонарем блестела его машина. Теперь Щербатов понимал, о чем он думал тогда. Теперь все его слова и сам приезд в тот вечер окрашивались иным светом, как всегда, когда человека уже нет. Смерть его давала всему свой смысл. Неужели только неделя прошла с того дня? И уже нет семьи, и прибежал к ним Толя, единственный уцелевший из всех, потому что был еще мал. Но в нем, десятилетнем человеке, Щербатов чувствовал жизнеспособность и силу, которые не дадут ему пропасть. Будет ли эта сила в Андрее? Не сговариваясь, они оберегали его от всего. Но перед жизнью Андрей оставался беззащитным, и они знали это.

Вот и подступило вплотную к Щербатову то, что до сих пор обходило его стороной. Поймут ли когда-нибудь люди, что в иные моменты легче быть героем, чем остать-

ся просто порядочным человеком? Из тех, что сгинули в эти годы бесследно, сколько бы с радостью, как великое избавление, как счастье, приняли бы на себя во имя родины любой, и тяжкий, и смертный, труд! И их именами после гордились бы. Но суждено им было иное.

Щербатов долго отступал, многим поступился. Этот рубеж был последним. И на нем, на последнем своем рубеже он был духом тверд. Одного он не мог только: защитить от неминуемого свою семью.

Всю эту ночь они с Аней не спали, а едва только зазвонили первые трамваи, они оделись, вышли из подъезда и через весь город отправились в детприемник, где ждал их Толя Емельянов. Так стало у них двое сыновей.

Что бы ни ждало впереди, Щербатову казалось, он готов ко всему. Но его ждали совсем другие испытания. Ему еще должна была выпасть удача, ему предстоял успех.

Случайно на маневрах Щербатов встретил старого товарища, с которым служба давно развела его. Он как-то не думал о нем последнее время. Был просто уверен, что его давно уже нет: тот был замечен и стоял на виду. И вдруг Сергачев приехал на маневры в роли инспектирующего, и они встретились. И обрадовались, заново воскресив друг друга. Сергачев недавно получил крупное назначение, ему нужны были люди, а за Щербатовым ничего компрометирующего не числилось. Правда, был у Щербатова выговор за политическую близорукость. Но такой выговор, хотя и не являлся поощрением ни в коей мере, все же означал, что владелец его определенную стадию проверки прошел сравнительно благополучно и мог надеяться. Иными словами, сам он ни к чему причастен не был, а только не сумел вовремя разглядеть врагов, орудовавших близко от него. Но, боже мой, кто ж не оказался в эти годы близорук! И Сергачев сказал уверенно:

— Выговор снимем! Походишь с ним, сколько положено, и — снимем.

Давно уже с ним никто так уверенно не говорил. Слово человек этот прибыл из другого мира, где люди прочно стоят на земле, где каждый знает себе цену. И в этот мир Щербатову предстояло теперь вступить равным среди равных.

Они расстались, уговорившись, что в самое короткое время Щербатова затребует Москва.

Он и верил, и боялся преждевременно спугнуть свою, так неожиданно замерцавшую, счастливую звезду. Но одно ощутил он ясно: он как бы поднялся и стал вдруг недостижим для тех, в чьих руках до сих пор полагал свою судьбу, все свое незащищенное будущее. Теперь он был не в их ведении. Это сразу почувствовали все. Он неожиданно перешел в круг людей проверенных, стоящих как бы выше подозрения. Это было не просто повышение, сослуживцы почувствовали силу, стоящую за ним, но видели ее в нем самом и смотрели на него новыми глазами, как бы теперь только в полной мере разглядев. И под их взглядами Щербатов ощутил, как давно уже не испытанная уверенность вливается в него.

Он долго смотрел на жизнь глазами человека, которому логикой событий предстояло из нее уйти. Сейчас он оставался жить. И масса фактов, которых он прежде не замечал, открылась ему. Да, многое меняется к лучшему. Передавали шепотом, что до Сталина дошли все же некоторые сведения, и он запросил: что же происходит? И когда ему доложили, сколько посажено, Сталин рассердился и сказал: «Хватит!» После Щербатов с великим стыдом вспоминал, как он слушал это и радовался, и сам передавал... Но в тот момент он увидел в этом факте только одно: наступила пора смягчения. Еще недавно печаталась карикатура: черная, железная, вся в шипах рукавица, в ней зажат жалкого вида человечешка с выдвинутым из него длинным языком. Это были «ежовые рукавицы». И вот Ежова не стало. И это тоже, должно быть, к лучшему.

Тот подъем, который Щербатов ощущал в себе, он чувствовал сейчас во всех людях. Страна встречала поляриков, славил своих героев. День начинался бодрой музыкой. Гремели марши, песни Дунаевского сами вливались в кровь. Под них легче дышалось, веселей было ступать по земле. И строила страна небывалыми темпами. Цифры поражали, если сравнивать, что было, с тем, что есть. Две сотни танков и бронемашин насчитывалось в Красной Армии к началу тридцатых годов, да и они годились больше для парада. Страна не выпускала ни тракторов, ни самолетов, ни автомобилей. Вся эта промышленность была создана, и тысячи танков, тысячи самолетов получила Красная Армия. Это же факт. Уже Европа осталась позади по общему объему производства, впереди маячила одна лишь Америка.

Глазами военного человека Щербатов видел происшедшие изменения и оценивал их. В глубоком тылу — на Волге, в предгорьях Урала, в степях Западной Сибири — создавалась новая мощная база металлургии, энергетики: второй Баку, второй Донбасс. Война грозила с Запада, и вот в самой глубине страны, недосыгаемой для авиации, закладывался новый фундамент боеспособности армии. А вскоре через всю страну Щербатов ехал на Дальний Восток к новому месту службы. Здесь отгремели последние залпы гражданской войны, здесь заканчивалась его боевая юность. И вот он снова ехал туда. И снова был молод, чувствовал подъем сил, хотелось ему трудного, настоящего дела. Как он истосковался по нему!

Соседями его по купе были три полковника, все милые люди, тоже, как и он, получившие новые назначения. Они ехали к месту службы, после туда должны были прибыть семьи, а сейчас они чувствовали себя холостяками, получившими неожиданную свободу. И во всем вагоне, где по коридору, по мягким ковровым дорожкам прогуливались пассажиры, покачиваясь в такт рессорам, останавливались у окон покурить перед мелькающими за стеклом телеграфными столбами и медленно поворачивающимися бесконечными пространствами, а матери вели умыть нарядных детей, опекая их по дороге и гордясь, — во всем этом вагоне вместе с запахами еды, одеколона и дорогих папирос стоял дух довольства, вежливости и благополучия. Но особенно весело было в их купе. За окном — мороз, снежные поля, а сквозь обтаявшие мокрые стекла светило и искрилось горячее солнце. И огромные южные груши на столе, будто ржавые на белой салфетке, и виноград из вагона-ресторана, холодный, весь еще в опилках. А под стол они, четыре полковника, словно школьники, прятали пустые бутылки. И на станциях кто-нибудь выбегал и возвращался, впрыгнув уже на ходу. Тогда отодвигались груши и виноград и ставилась посреди стола горячая картошка, которую только что в чугуне, укутанном в ватник, обеими варежками прижимала к груди заиндевелая баба, ставились морозные, прямо из рассола огурцы, хрустящие ледком... А потом другой кто-то хватался за шапку и выскакивал на станцию, чтобы не остаться в долгу.

Были ли дни сомнений? Он пережил и видел, как в их доме одно за другим гасли окна и дом пустел, а потом вновь начал заселяться. И уже другие люди, свежесвыбритые и позавтракавшие, по утрам выходили из подъездов,

садились в те самые персональные машины, сиденье которых еще не успело остыть от их предшественников, и ехали в те же, недавно опроставшиеся должности. И во всем их облике была поражающая неизбежность. Словно с ними не могло случиться то, что случилось с их предшественниками, а пульс жизни, бившийся до сих пор учащенно, неровно, теперь, при них, обретает свой нормальный ритм. И не видели, что они — перекладные, которых еще много будет сменено в пути.

Поезд дальнего следования в потоке жизни нес Щербатова через страну, укачивая все тревоги на своих мягких рессорах, в тепле и чистоте, и то самое ощущение прочности бытия, которое поражало в других, по каждой жилочке вливалось ему в кровь, наполняя уверенностью.

На маленькой сибирской станции посреди тайги он выскочил купить что-либо. Одна-единственная баба, прячась за вагонами, продавала курицу. Пока он рассчитывался, баба, закутанная в три платка, все озиралась быстрыми глазами, не идет ли милиционер, и это казалось почему-то смешно. Хлопьями отвесно падал снег, по ту сторону путей к приходу поезда играла музыка. Разогретый вином, выскочивший из тепла в одной гимнастерке, не чувствуя мороза, Щербатов обогнул последний вагон и с горячей, капающей бульоном и жиром курицей в руке, которую он держал за ножки, чтоб не обкапать себя, представляя заранее, какое оживление попутчиков вызовет сейчас, побежал по перрону вдоль поезда. Он не сразу понял, что происходит впереди. На столбе репродуктор передавал вальс Штрауса, а перед ним по всему дощатому перрону, на снегу стояли на коленях люди в арестантской одежде и без шапок. Вокруг них возвышалась охрана с винтовками, считая по головам. Щербатов увидел лицо ближнего к нему пожилого арестанта, на которого он чуть не наскочил. Снег падал на его желтый высокий лоб со втянутыми висками, на стриженную и неровно обросшую сединой голову. Подняв худое лицо с большими черными влажными глазами, он слушал музыку, и целый исчезнувший мир был сейчас в этих никого не видящих глазах.

На Щербатова, хрупая валенками по снегу, надвинулся конвойр в дубленом полушубке. Между бараньим мехом воротника и мехом ушанки — молодое, красное, дышащее паром, свирепое на службе лицо:

— Пройдите, товарищ полковник. Не скапливайтесь...
Запрещено.

Щербатова оттеснили на край платформы, и радостный зимний день с мягким светом солнца и хлопьями падающим снегом померк. Но много раз после Щербатов вспоминал эту платформу, людей, стоящих на коленях, и с мучительным стыдом видел себя, хорошо поевшего, красного от вина, счастливого, с горячей курицей в руке, набежавшего на них.

Щербатов поставил книгу на полку, втиснул рядом с ней брошюру, которую в свое время искал пескoлько ночей подряд, перерыв библиотеку. Стоя в дверях, оглядел комнату. В эту последнюю предвоенную ночь все вещи в ней стояли так, как они уже останутся в памяти.

Он взял с собой только бумаги и карточку сына со стола. А когда прятал их в планшетку, в дверь позвонили. Это Бровальский заехал за ним. Щербатов закрыл квартиру на ключ, посмотрел на него, держа на ладони, и, так и не решив, что с ним делать, сунул в карман.

Уже рассветало, когда они ехали по городу. Город спал крепким на заре сном. И взрослые люди, и дети, пригревшиеся в кроватях под утро, досматривая свои последние мирные сны.

В штабе молчали все телефоны, по линиям связи — ожидание и тишина. И все командиры были в сборе. Стоявший в углу лицом к карте начальник разведки корпуса сказал вдруг:

— А у меня сын родился.

— Что? — спросил Сорокин, не поняв.

— У меня сын родился. Прошлой ночью. Вот как раз в пять утра. Мы почему-то ждали дочь.

Бровальский посмотрел в окно, где было уже совершенно светло, и сказал:

— Пожалуй, пора выключить свет.

И подошел к выключателю, а все почему-то посмотрели на него. Дальнейшее произошло настолько одновременно, что в сознании слилось в одно действие. Бровальский поднял руку, дотронулся до выключателя — и во дворе из кирпичной стены гаража взлетел куст огня, словно это он рубильником включил взрыв.

Когда все вскочили на ноги, комната уже изменилась непоправимо. Опрокинутые вещи, выбитые взрывной вол-

ной стекла, запах тола. А за окном, повиснув на проводах, качался срубленный телеграфный столб.

Взрывы уже раздавались в городе, низко над домами свистело и выло, а со стороны границы надвигался тяжелый гул: шли самолеты.

— Всем на запасной КП! — крикнул Щербатов, и чувство, что он что-то забыл, заставило его оглянуться во круг себя.

В углу у карты все так же стоял начальник разведки Петренко, смертельно бледный, и смотрел на него.

— Беги к ним, — сказал Щербатов. — Отведешь в бомбоубежище — вернешься!

Из того, что после видел он на войне, быть может, самыми страшными были эти первые часы в гибнущем городе. Уже возникли пожары и горел на окраине спиртоводочный завод, и среди пожаров и взрывов из рушащихся домов выскакивали раздетые люди, успевшие только проснуться, кидались под защиту стен, и каменные стены рушились, погребая их под собой. Они металась и бежали под прицельным огнем артиллерии и попадали под огонь, а сверху, с неба, падали бомбы. И крики обезумевших матерей, среди бедствия и смерти сзывающих детей своих, вид беззащитности взрослых, бессильных даже собою закрыть, спасти детей, — это было самое страшное. Мгновения вмещали всю жизнь, — и прожитое, и то, о чем уже никто не узнает никогда.

Какая-то женщина в больничном халате, прижимая ребенка к груди, кинулась наперерез его машине. Он увидел одновременно ее и далеко за нею в центре города церковь. Из бока церкви дохнуло вдруг облако дыма, красной кирпичной пыли и известки, и белая, к богу вознесенная колокольня с куполом, уже горевшим в лучах взошедшего солнца, мягко и беззвучно осела вниз, разрушаясь на глазах.

— Иван Васильевич!

— Люба! — крикнул Щербатов, узнав ее. Это была жена Петренко, почти девочка, кончившая школу год назад, босая, с длинными по спине волосами, с грудным ребенком, которого она еще не умела держать на руках.

— Иван Васильевич, они бросили бомбу на роддом. На всех. Иван Васильевич, что же это? Где Коля?

— Люба! — крикнул Щербатов, стоя в машине и не слыша своего голоса, потому что над ними проходили

немецкие самолеты и рев их моторов глушил все. — Беги туда. Вон — бомбоубежище. Я скажу Коле, где вы.

Он сам показал ей рукой, куда бежать, и она послушно побежала. На короткий миг возникла она в темном проеме дверей — в больничном коротком халате, босая с ребенком впереди себя, — и там взлетел взрыв. На том месте, куда успела она ступить. И не было уже ничего, только дымилась воронка. Единственный след, оставшийся от них на земле, — был след ее босых ног на булыжнике мостовой, маленькие кровавые следы: она босиком бежала по стеклу.

Зная, что уже ничем нельзя помочь, Щербатов все же шел туда. За ним тенью шел его адъютант. И тут возник новый звук. Стремительный, врезающийся, острый, он несся с неба.

— Товарищ генерал!

Весь напрягаясь под визгом летящих сверху бомб, адъютант стоял перед ним, протягивая чистый платок и что-то говорил, со страхом указывая ему на лицо. Щербатов строго посмотрел на платок в руке адъютанта. Полуоглушенный взрывом, он плохо слышал, плохо соображал. Он увидел кровь у себя на рукаве и опять оглянулся на дом, к которому только что бежала Люба Петренко.

Улица вдоль была пуста. Все, что только что бежало и металось, — исчезло, распластанное под этим свистящим, в душу нацеленным, острым визгом бомб. Щербатов стоял посреди улицы, глядя вверх. Самолеты кружились над вокзалом, низко проходили над крышами домов, сбрасывали бомбы и снова заходили на круг, планомерно и методично. Они кружились в чистом небе, освещенные снизу восходящим солнцем, и никто по ним не стрелял. Ни один зенитный разрыв не потревожил их. А там, в районе вокзала, стоял отдельный зенитный дивизион, Щербатов знал это.

Он вскочил на подножку машины, рукой держась за дверцу, крикнул шоферу:

— Давай туда! Скорей!

Когда он примчался к зенитчикам, вокзал уже горел. И горел на путях пассажирский поезд, только что прибывший из Москвы.

Но то, что он увидел рядом с вокзалом, было еще страшней. Он увидел целые, приведенные к бою зенитные орудия и ни одной воронки вблизи них. Расчеты стояли у расчехленных орудий, смотрели в небо и не стреляли.

— Командира дивизиона ко мне!

К нему выскочил майор. Щербатов смотрел на него онемев.

— Ты... ты — живой? И не стреляешь?

Майор только вытягивался перед ним. А над ними в дыму носились немецкие самолеты и бомбили, и гонялись за людьми, хлынувшими от вагонов в поле.

— Товарищ генерал, мне приказ... Мне приказано не стрелять! Не отвечать на провокацию!

Не владея собой, Щербатов потянулся за пистолетом. В этот момент он не думал, не способен был думать о том, что перед ним стоит не виновник, а результат — бледный, изо всех сил тянущийся по стойке «смирно» майор, готовый вот так принять смерть, но уже не способный понимать что-либо.

Когда сбили первый самолет и привели выбросившихся на парашютах летчиков, Щербатов здесь же, на батарее, допросил их. И старший из летчиков, с обгорелыми волосами, в прожженном до тела обмундировании, на вопрос, почему они не бомбили зенитные орудия, сказал, презрительно усмехнувшись в глаза:

— Мы знали, что им дан приказ не стрелять.

А после, уже в окружении, Щербатов своими глазами прочел директиву наркома обороны. В ней среди прочего приказывалось:

«1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить».

Далеко позади отплыла граница. Только колонны пленных и встречно на восток идущая немецкая техника пересекали теперь ее. И Щербатова поразили эти слова: «Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить». Неужели еще в тот момент не появились всего.

Там, в директиве, был и такой пункт:

«Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск...»

Но уже не было самолетов, способных выполнить это. Они погибли под бомбами на своих аэродромах, не успев взлететь, и раньше, чем был подписан для них этот приказ.

Щербатов прочел эту директиву много дней спустя, потому что 22 июня в 7 часов утра, когда она была отдана, уже не существовало средств связи, чтобы передать ее войскам. Ее случайно нашли в лесу, в бумагах разбомбленного штаба, в зеленом сундучке, на котором, словно закрыв его своим телом, лежал убитый офицер.

ГЛАВА X

В тот час, когда приказано было корпусу стать в оборону и ждать, судьбы многих сотен и тысяч людей были решены. Жизнь их могла бы пойти одним путем, но слово было сказано, решение принято, и с этого момента им предстоял иной путь, иная судьба. Однако сами люди, чьи судьбы непоправимо переменялись в этот час, ничего об этом не знали и еще не чувствовали. И даже те из них, кто видел, как ранним утром командир дивизии Тройников уехал к командиру корпуса, а после возвратился оттуда злой, даже они не видели связи между этой поездкой и своей дальнейшей судьбой. Они были заняты своими заботами, радовались успеху, и летнее утро оставалось для них летним утром, а тишина была просто тишиной, в ней еще не чувствовалось тревоги. И для Гончарова ничего в это утро не переменялось. Закусив в зубах пшеничный колосок, он шел полем к себе на огневые позиции и думал о Наде, о том, как она сказала: «Ой, товарищ старший лейтенант, так напугали, прямо слова сказать не могу». Шел и улыбался.

Было с утра жарко и сухо, и в хлебах, стоявших ему по грудь, в безветрии и духоте, гимнастерка прилипла к спине. С выцветшего желтоватого неба солнце светило сквозь мглицу. Изредка у немцев бухало орудие. Гончаров на слух провожал невидимый полет снаряда, потом из спелого, блестящего соломой поля взлетало грязное облако дыма и земли и долго стояло над хлебами, росло, не колышное ветром. А за ним текла, струилась в прозрачных волнах плоская даль, словно это хлеба бесцветно дымилась, вот-вот готовые вспыхнуть под солнцем. Но когда с полдороги Гончаров свернул в березовый лес, сразу будто в другой мир попал. Тут еще только просыналось утро, сырое и сумеречное. Пока он шел, мелькая за деревьями, выскакивая из-за стволов, блестело в мокрой листве солнце, и вызревшая трава под ним матово дыми-

лась холодной росой. Мелкие семена налипали Гончарову на голенища, а позади по распрямляющейся траве тек за сапогами сочный зеленый след.

В кустах, среди которых, моя корни, тек мелкий ручей, Гончаров напился, ополоснул горячее лицо и уже подымался, упершись в землю ладонями, когда заметил в ручье бритву. Кем-то оброненная, она лежала, раскрывшись, на камнях под водой и в преломленном, попавшем на нее луче солнца блестела сквозь воду. Радуюсь неожиданной удаче, Гончаров ступил в ручей — вода сразу же замутилась от поднявшегося со дна черноземного ила, — поднял бритву. Стоя обеими ногами в воде, сквозь кожу сапог чувствуя родниковый холод и пар струи, он рассматривал блестящее на солнце мокрое лезвие, раскрывая и складывая его. Бритва была наша, обронена недавно: она еще не успела заржаветь.

Вдруг Гончаров почувствовал какое-то беспокойство и обернулся. Слово на него смотрели из леса. Но все было спокойно. Над ручьем в сырой тени кустов звенели потревоженные комары. Только подувший ветер донес запах падали. Наверное, где-то поблизости лежала убитая лошадь.

Гончаров перебрел ручей, впереди деревья редели, за ними была поляна, освещенная солнцем, и внезапно за стволами берез он увидел машину. Наша, крытая санитарная машина стояла, воткнувшись радиатором в кусты, один бок ее и стекло кабины с одной стороны блестели на солнце. И он опять, еще сильнее почувствовал смутное беспокойство. Во всем была неподвижность, особенно в этой брошенной машине, начавшей уже зарастать. Она стояла в высокой траве, нигде вокруг нее не было видно следов, и трава росла выше подножек. Гончаров осторожно обошел ее. Задние дверцы с разомкнутыми половинками красного креста были открыты, между ними на нитях паук распыл паутину. Вся в мельчайшей росной пыли, она блестела на солнце, а из глубины, из сумрака, с цинкового пола мученической улыбкой скалились белые зубы на распухшем черном лице. И тяжкий густой, разящий дух шел из-под прокаленной солнцем металлической крыши так, что Гончаров отступил, задержав дыхание. Он едва не споткнулся о другой труп, лежащий в траве. Это был молодой светловолосый красноармеец. Он лежал ничком, кто-то уже лежащему с близкого расстояния выстрелил ему в спину между лопаток, пригвоздив к земле. Края гимнастерки вокруг раны были обожжены и присох-

ли к спине. Так он и застыл в последнем усилии, пытаясь ползти.

И только тут Гончаров увидел, что по всей поляне лежат убитые. Уже поднялась и сомкнулась трава, но реденькая была она над ними. Гончаров шел от одного к другому, как по следу. Посреди поляны лежал капитан в одном хромовом сапоге, натянутом на сильную напряженную икру. Другая нога, перебитая выше колена, вся в бинтах, как в валенке, была неестественно вывернута в сторону от туловища пяткой вверх, из бинтов торчали осколки сломанной деревянной шины. Его волокли за раненую ногу, и по траве, размотавшись, протянулся бинт, белый, в кровавых пятнах. С желтого мертвого лица властно хмурились густые брови, и весь он как бы силился встать.

А рядом — почти мальчик, стриженный под машинку, голый по пояс и босой, всей грудью, руками, лицом приласкался к нагретой солнцем земле, будто спал. Между пальцами его босых ног пробилась трава, придавленный боком кустик земляники криво тянулся вверх, и на нем, рядом с мертвым телом, краснели темные перезревшие ягоды.

Не колышимаая ветром, блестя трава на солнце, круг синего неба смотрел сверху, как в колодец, жужжали пчелы над мокрыми от росы цветами. И Гончаров вдруг услышал особенную тишину над этой поляной, полной солнца и света. Тишину смерти. Словно на миг своими глазами увидел вымерший мир. И так же светило солнце и тянулась трава к свету. Но пустота и вечный покой были в этом сияющем немом мире.

Орудийный выстрел раскатился за лесом. Гончаров проследил его полет, снова оглядел поляну и тут, на самом ее краю, в кустах увидел еще одного убитого. Он подошел. Это была девушка. Медицинская сестра, наверное сопровождавшая машину. Португеза и гимнастерка на ее груди были разорваны, в траве белели раскинутые голые ноги в сапогах. С запрокинутого в куст лица узкими полосками белков глядели закатившиеся глаза, рот разбит, и из черных запекшихся губ белели эмалью обсохшие на ветру мертвые зубы. А по щеке, заползая в рот, по глазницам сновали рыжие лесные муравьи, и среди них, срываясь и жужжа, карабкалась оса. Вся земля вокруг была истоптана, изрыта каблуками сапог, как копытами, валялись выеденные жестянки из-под немецких мясных кон-

сервов. Гончарова вдруг затрясло. С отеками кровью кулаками он стоял над ней, раскачиваясь и стоная. Его душило. Он оглянулся вокруг себя тоскливыми глазами, впервые испытав такое нестерпимое желание бить.

Надо было взять у мертвых документы, надо было что-то сделать. Задерживая дыхание, он нагнулся, расстегнул карман гимнастерки. Когда доставал удостоверение, случайно коснулся пальцами ее мертвой, каменно-твердой груди и вздрогнул. А с фотографии на удостоверении глянуло на него оживленное личико в кудряшках, распахнутые навстречу нечаянной радости глаза.

Он пошел обратно к машине, заглянул в кабину, в кузов, под низ. Ему хотелось похоронить хотя бы девушку. Чтобы нищие глаза больше не видели ее. Он обыскал все вокруг — лопаты не было. Тогда он нарвал две большие охапки травы и завалил ее сверху.

Уже отойдя шагов сто, Гончаров достал портсигар, губами вытянул из него папиросу. Он выкурил ее в несколько затяжек, ничего не почувствовав. Выкурил следом вторую, только тогда немного отпустило в груди.

Когда он вышел на батарею, орудийные расчеты завтракали. Пушки стояли в вырытых ночью окопах, и ближнюю обхаживал наводчик с тряпкой в руке, обтирая росу с толстостенного, не прогревшегося на солнце ствола, маслено блестящего из-под тряпки. Батарейцы сидели тут же на огороде, посреди гряд, вокруг эмалированного таза. В него комом вывалили круто сваренную, еще горячую пшеничную кашу, и замковый прямо из подойника лил в таз парное, пенящееся молоко, а рядом стояла хозяйка, смотрела на бойцов добрыми глазами.

По всем деревням, отбитым ночью у немцев, шла сейчас особенная, возбужденная жизнь. Бойцы, как к себе домой, бегали в деревни, возвращались кто с крышкой молока, кто с хлебом под мышкой. Другим прямо в окопы несли. Еще не на километры даже отодвинулся фронт, но люди, надеждой опережая события, верили, что самое страшное позади, война, пройдя через них, пойдет теперь дальше и дальше от их мест. И в великой благодарности за избавление, с радушием и застенчивостью женщины готовили и несли в окопы, кормили и стирали, словно бы все это — и окопы, и деревня — стало теперь одним общим домом. Но среди большого и общего, среди тысяч бой-

цов у каждой теперь были свои, чем-то как бы родные: те, что окопались ближе к ее огороду. И в батарее Гончарова каждая пушка теперь была чья-то, не безнадзорная.

Хозяйка взяла подойник и пошла через подсолнухи к деревне, командир огневого взвода Седых, по годам едва ли не самый молодой во взводе, увидев комбата и гордясь, что у него все так по-хозяйски, по-семейному, а сам он как отец в семье, пригласил басом:

— Завтракать с нами, товарищ комбат!

Гончаров сел, посмотрел на молоко, посмотрел на ложку, которую подали ему. Встал:

— Слейте на руки кто-нибудь.

Тот же замковый, что лил из ведра парное молоко, сбегал с котелком, принес воды. Гончаров долго мыл руки, все что-то не мог с них смыть.

Когда он сел и все сели, он вдруг увидел на отдалении без охраны немца. Немец сидел на земле, а вокруг него стояли деревенские ребятишки, разглядывали его, шепчась между собой. Немец был тупого вида, пыльный, серый, и все на нем было тесное, особенно мундир был тесен в плечах. В косо торчащей вверх пилотке над оттопыренными толстыми ушами, с мясной, мокрой от пота складкой на затылке, он расширялся книзу — от головы и плеч к заду, которым сидел на рыхлой земле. Жгло сверху солнце, и немец был весь отсыревший, мокрыми ладонями он суетливо вытирал мокрые блестящие щеки, тесный потемневший воротник мундира впитывал в себя пот. Он обернулся, что-то почувствовав, и из глаз в глаза сквозь разделявшее их незнание языка, на котором каждый из них говорил и думал, Гончаров на короткий миг беспретственно заглянул в его смятенные, завилявшие под взглядом мысли, заглянул в чужую душу.

Долго после этого он сидел, слыша в ушах только удары своего сердца, следя за тем, чтобы рука, которой он нес ложку ко рту, не дрожала.

Командир орудия Королев, черный от загара, коренастый, с широкоскулым лицом, положил в отдельный котелок каши, ложкой отлил туда молока и с котелком направился к немцу.

— Назад! — крикнул Гончаров так, что тот, вздрогнув, остановился. Все испуганно оглянулись на командира батареи, перестав есть. Гончаров сидел белый. В наступившей тишине бойцы, чувствуя себя неловко, старались не смотреть друг на друга.

И тут стало слышно гудение самолетов. С поля — издали казалось, очень низко — шли «юнкеры». Они приближались, и все, на какой-то миг застыв, смотрели на них. Словно испугнутые воробьи с грядки, кинулись к деревне мальчишки; отчаянные женские голоса уже скликали их. И от дальнего орудия неслось протяжное:

— Во-оздух!

«Юнкеры» шли медленно, уверенно, от них невозможно было оторвать глаз.

— Всем — в ровики! — закричал Гончаров.

Самолеты, перестраиваясь, заходили на деревню со стороны солнца, и во всех окопах вслед им поворачивались головы.

— Сейчас дадут! — будто радуясь, говорил кто-то знающий быстрым, захлебывающимся голосом. — Сейчас они нам дадут!

Первый «юнкерс» пошел в пике, включив сирену. Гончаров сам не заметил, когда зажмурился, ткнулся лбом в колени. Вой сирены, металлический визг бомбы, уже оторвавшейся, нацеленной, пошедшей — все это неслось к земле. И меньше, меньше паверху оставалось воздуха, острый визг врезался в уши, в сердце, распирая его, и спиной, всем телом, затылком, вобравшимся в плечи, чувствовалось, как она летит... Гончаров пересилил себя, открыл глаза. Он увидел вдруг замерший, в последний раз сверкнувший солнцем мир. И с грохотом рванулась земля кверху.

Мимо окопа из черного дыма в дым промчалась корова. Она неслась безумным галопом, по всему ее боку от лопатки вниз блестела кровь.

С новым взрывом кто-то пахнувший потом, горячий, живой свалился сверху. Вздрагивая всем телом, прижимался сильнее. Грохнуло. Посыпалась земля сверху. Гончаров высвободился. В поднятой взрывом пыли на него смотрел командир взвода Седых. Пот каплями блестел в морщинах лба, в крупных порах кожи, на верхней губе. Из голубых распахнутых глаз рвалось безумное веселье. И тут за ним, на поле, Гончаров увидел, как с серой земли вскочил серый немец, побежал, притгнувшись.

Сверху шел в пике «юнкерс», блестя на солнце белыми вспышками. И еще раньше, чем Гончаров успел выхватить пистолет, пулеметная очередь косо хлестнула по земле, по брустверу окопа. Весь заламываясь назад, немец схватился за поясницу, оседая на подогнувшихся коленях, повалился на бок.

ГЛАВА XI

Из машины Щербатов видел, как кружатся вдали, устремляются вниз и снова кружатся над чем-то немецкие бомбардировщики. Но деревня, над которой они кружились, и сами взрывы на таком расстоянии снизу не были видны.

Щербатов сидел впереди, рядом с шофером, а сзади — адъютант и Тройников, сопровождавший командира корпуса, поскольку тот находился на участке его дивизии. За ними, соблюдая интервал, следовала машина Тройникова.

Две легковые защитного цвета «эмки» скатились в лощину, и оттуда уже не стало видно самолетов. Машины выскочили из лощины на другой ее стороне и врезались в хлеба, скрывшись в них целиком. Колосья били в ветровое стекло, по дверцам, по крыше, наполняя машину паром и стуком, падали, сбитые на капот, и узкий просвет неба впереди был весь в качающихся усатых, стремительно выраставших и несшихся навстречу колосьях. Вдруг хлеба с левой стороны упали, открылся простор скошенного поля. Впереди рассыпанной цепью на стену хлебов шли косари, за ними — бабы, подставляя согнутые спины солнцу. Издали показалось в первый момент, что это деревня, как в старину, дружно вышла на покос. Только уж очень на подбор молоды и необычно одеты были мужики — в солдатских сапогах, в военных галифе, в пилотках, в распахнутых гимнастерках, а иные вовсе в нательных рубашках. Неумело, вразнобой, по-городскому замахиваясь косами, они шли передом. А косившие с ними и вязавшие следом бабы были старше их по годам — солдатские жены, быть может уже вдовы солдатские. Щербатов, быстро обгоняя, проезжал мимо них, они оборачивались, иные не разгибаясь, и радость, молодившая и украшавшая их лица, брала за сердце. Это была радость несбывшегося, того, что должно и могло быть. Но работали они в этот выпавший среди войны мирный день, как, наверное, никогда до войны не работали, словно даже не знали, что так можно работать.

Щербатов остановил машину, и трое ближних к дороге косарей, шедших передом, обернулись на него с занесенными под шаг и в такт косами. Двое были молоды, стрижены под машинку, оба в гимнастерках с ремнями косо через плечо, в пилотках поперек головы. Потные и

веселые, они друг перед другом нажимали изо всех сил, как мальчишки наперегонки. Третий, в белой на ярком солнце рубашке, с низко надвинутым на лицо лаковым козырьком и морщинистой, высоко подстриженной коричневой шеей, был в годах, не так силен, но шел играючи, легко и, широко махая косой, настигал их. Они все трое обернулись на подъехавших, и в первый момент в их оживленных лицах было одинаковое от общей работы выражение азарта и как бы превосходства над теми, кто с ними сейчас не косил. Но уже в следующий момент старший, бросив косу и поправляясь на бегу, подбежал к командиру корпуса, с выправкой старого строевика взял под козырек.

— Товарищ генерал! Третий батальон девятьсот шестнадцатого стрелкового полка, — не робея под взглядом командира корпуса, докладывал он, — в перерыве между боями помогает гражданскому населению. Докладывает командир полка подполковник Прищемихин.

И, сделав положенный шаг в сторону, он как бы открыл обзору начальства все поле и солдат, только что работавших, а сейчас стоявших на нем, и баб, глазевших издали с любопытством. Щербатов продолжал смотреть на Прищемихина. То крестьянское, что не так замечалось в нем, одетом в полную форму, при знаках различия и ремнях, отчетливо проступало теперь, когда он под ярким солнцем в белой нательной рубахе и пыльных сапогах стоял в пшенице, загорелый дотемна тем особым загаром, каким загорают только работающие в поле крестьяне и солдаты. Рука его, коричневая с тыльной стороны и светлая на ладони, натертая древком косы, едва заметно дрожала у виска.

— Не слишком ли затянулся у вас тут перерыв между боями, а?

Никак не отвечая на вопрос, поскольку ответ начальство само знает и не для того спрашивает, чтобы советовать, Прищемихин отдернул руку от виска, стоял по стойке «смирно», не отрываясь смотрел командиру корпуса в глаза.

За долгую службу в армии, а может, просто потому, что характер был у него такой, Прищемихин всюду, где он оказывался старшим по званию, чувствовал себя ответственным за всех и за все, за подчиненных и не подчиненных. Когда ночью его полк взял эту деревню, полную попрятавшихся от боя баб, детишек и стариков, си-

девших по погребам и подпольям, и когда все они, натерпевшиеся страха, повылезали оттуда и он увидел их, с этих пор он уже не раздумывая отвечал и за них в полной мере. Для него не существовало вопроса, который с надеждой, как заклинание, задавали все жители подряд: «Теперь вы не уйдете?» Дело военное, а он — солдат. Как тут вперед загадывать? Но что мог он для них сделать, то мог. И, приказав двум батальонам и артиллерии окапываться, сам во главе третьего батальона ранним утром вышел убирать хлеб. Будут ли наступать или отступать, или надолго станет здесь оборона, но пока что бабы эти и детишки будут с хлебом. Тем более что о них и позаботиться некому. С той стороны, куда проводили они отцов и мужей, своих защитников, с этой самой стороны, не заставив долго ждать, нагрянул фронт. Впереди — немцы на танках, на машинах, за немцами, уже не днем, ночами пробираясь, — свои, пешие. Огородами, вадами, поодиночке. И уже не защищены от них было ждать, а самих накормить да с собой дать в дальнюю дорогу.

Прищемихин не спрашивал себя, правильно или неправильно он поступает, а делал то единственное, что по его понятиям надо было делать. Но сейчас, в присутствии командира корпуса, он вдруг почувствовал себя виноватым. Еще и потому особенно, что стоял перед ним не по форме одетый, а в натальной рубашке.

— Что, война кончилась? Все по домам?

— Виноват, товарищ командующий!

Коричневые кисти рук Прищемихина из белых рукавов рубашки сами тянулись по швам. Он заметно побледнел сквозь загар. Не от страха, а оттого, что это происходило в присутствии его солдат.

Но Щербатов уже ничего не видел. Приступ тяжелого генеральского гнева владел им. И тем сильнее, чем дольше он его сдерживал, носил в себе. Он единственный из всех здесь в полной мере сознавал опасность, с каждым часом надвигавшуюся на всех этих стоявших с косами на поле людей, его бойцов, издали в страхе глазевших на него, мечтая об одном только, чтобы гнев начальства пронесло мимо. Он один знал, что грозило им, но ничего не мог изменить, даже сказать им не имел права. И человек кричал в нем:

— Почему полк не окапывается?! Немцы ждать будут? Вы кто, командир полка или председатель колхоза?

Раскаты его голоса разносились по полю, и те, кого достигали они, делали единственное, что делают в присутствии разгневанного начальства: тянулись по стойке «мирно». Все они и их командир полка Прищемихин были сейчас одно целое, он же с того момента, как стал кричать, превратился в силу, стоящую над ними, которой надо было подчиняться, а не понимать ее.

— В полку безобразия! Распушенность! — выкрикивал он слова и в ослеплении сам верил в них. И то, что за спиной его спокойно стоял Тройников, который имел основания по-своему расценивать все происходящее, приводило Щербатова в совершенную ярость.

Вдруг он увидел, как по всему полю заматались бабы, куда-то бежали, пригибаясь, срывая с голов белые платки. И как только он увидел это, сейчас же услышал сверху приближающийся гул самолетов. Они заходили от леса, гудением своим сотрясая воздух. Передние уже заходили на бомбежку, накрываясь на острых крыльях, а от вершин леса все отрывались и отрывались новые самолеты, казавшиеся издали черточками на узкой полоске неба.

По всему полю, как стон, несясь крик: «Во-о-оздух! Ложись!» И все живое хлынуло врозь, в хлеба, в канавы, стремясь стать незаметным. Голый по пояс, мускулистый парень бежал, на ходу натягивая гимнастерку. Когда пробегал мимо Щербатова, голова его высунулась из ворота и глянуло молодое лицо. В нем было что-то пристыженное за себя и за всех, кто бежал сейчас, и вместе с тем оно было оживлено, потому что ему, физически здоровому молодому парню, бег сам по себе был радостен.

Поле опустело, как вымерло, томительное ожидание повисло над ним. И тут Щербатов увидел, что офицеры все так же стоят позади него.

— Всем — в рожь! — крикнул он под надвинувшимся гулом; дрожание воздуха уже ощущалось. Никто не сдвинулся с места. И понимая, что они будут стоять, пока он стоит, Щербатов побежал первый, придерживая на груди раскачивающийся бинокль. Но в противоположность тому парню, ему, генералу и немолодому уже человеку, бег не доставлял физического удовольствия, а был только стыд. Он бежал и видел со стороны, как они бегут на виду, на ярком солнце спотыкающейся группкой, и впереди он с биноклем, страшно медленные, почти непо-

движные по сравнению с тем, что уже косо несло на них сверху.

И тут из середины поля, из желтых на солнце шелковистых хлебов дохнул черный смерч взрыва, вместе с землей вырвав с корнем чью-то жизнь. Того, кто так же, как все, только что слушал, сжимался, ждал и, до самого конца надеясь, не верил. Комья земли, рушась сверху, застучали по спинам живых, по колосьям, поваленным взрывной волной.

Щербатова сбило с ног, прежде чем он успел упасть. Лежа, дотянувшись до откатившейся фуражки, не успев надеть, зажмурился: рвануло близко из глубины вздрогнувшей земли. Когда открыл глаза, нестерпимо ярким показался свет солнца, желтый блеск колосьев сквозь надвигавшееся сбоку косое и черное. И снова визг ударил сверху. Дрогнула земля. Короткий блеск живого солнца и душливая чернота. И прорезающий ее визг.

Но страшней этого, хуже этого было бессилие, безмерное унижение. Он, генерал, командир корпуса, слову которого подвластны десятки тысяч людей, лежал среди них на поле, придавленный к земле, а над ними над всеми, распластанными, сновали в дыму немецкие летчики, недосыгаемые, хоть камнем кидай в них, пикировали сверху, для устрашения включая сирены.

Обсыпанный глиной, Щербатов в какой-то момент поднялся на руках. По всей трясущейся, вздрагивающей, становящейся на дыбы земле лицами вниз, спинами кверху лежали бойцы. И тут новый, как свист снаряда, звук возник над полем. По самым хлебам, стремительно растая и расширяясь, предваряемый этим звенящим свистом, а сам как бы беззвучный, несся в воздухе самолет. «Ду-ду-ду-ду-ду!» — сквозь звон, сквозь толщу воздуха стучал его пулемет, и весь он, сверкая белыми вспышками на крыльях, раздвигаясь вширь, взмывал над хлебами.

— Огонь! — закричал Щербатов, видя его снизу близко, крупно и указывая рукой. — Из всех винтовок — огонь!..

Но гонимая пропеллером впереди самолета стена звука ударила по ушам, и сразу беззвучным в ней стал человеческий голос.

Когда, отбомбив, «юнкеры» улетели, отовсюду на поле стали подыматься из хлебов люди. Они говорили громкими голосами, смеялись, перебивая друг друга, размахивая

вали руками: И если бы трезвый был среди них, они сейчас показались бы ему пьяными. Оставшись в живых, они были пьяны жизнью, они чувствовали ее с небывалой остротой и не способны были еще в этот момент думать о мертвых.

К Щербатову, один за другим, подходили командиры с некоторой долей неуверенности. Задним числом каждый пытался взглянуть на себя со стороны и вспомнить, не было ли в его поведении под бомбежкой чего-либо такого, чего пришлось бы стесняться. И они с особенным усердием отряхивались, заправлялись, как бы случайно взглянув в глаза товарища, старались прочесть в них про себя. После пережитого унижения всем было неловко. Но еще более неловко было тем, кто во время бомбежки отбежал дальше и теперь на глазах у всех подходил последним. Они чувствовали себя так, словно дали повод заподозрить их в трусости.

Щербатов оглянулся, увидел Прищемихина и нахмурился. Ему тяжело и неприятно сейчас было видеть человека, на которого он кричал. Но Прищемихин оттого, что все это случилось с командиром корпуса на участке его полка, оттого, что в полку были убитые, теперь в полной мере чувствовал свою вину.

Отдав приказания и по-прежнему обходя глазами командира полка, Щербатов направился к машине, опасливо выползавшей к нему навстречу из кустов. Он сейчас, если бы и захотел, не смог вспомнить, что заставило его кричать. После бомбежки, как и все, он особенно остро чувствовал жизнь.

Щербатов шел впереди провожавших его командиров, сняв с головы фуражку, сбивал с нее пыль. И что-то молодцеватое было в его походке, во всей фигуре, в плечах, осыпанных землей, словно сбросил с них тяготивший груз. Он понимал, что означала эта бомбежка, под которую попал здесь случайно. Немцы бросили против него то, что быстрее всего можно было подкинуть к месту прорыва: авиацию. Теперь, преследуя каждый его шаг, они будут бомбить до тех пор, пока не подойдут сюда более медленные танки и пехота. Но ожидание кончилось. И уж хоть это было хорошо.

— Ну? — сказала Щербатов, взявшись за дверцу машины и оглядывая Тройникова. — Понял, что эта бомбежка означала? — Он кивнул на небо, где пока далеко еще слышен был звук новой волны летевших сюда бомбардиров-

щиков. — Зарывайся в землю. Теперь уж недолго ждать. Один полк и часть артиллерии отведи в резерв. Сейчас возьми, потом взять будет негде.

Щербатов сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу. Шофер, искоса сквозь стекло поглядывая на небо, развернул машину, дал полный газ. Две «эмки» от одного места помчались в разные стороны, оставив над дорогой, притихшей под надвигающимся на нее гулом, два медленно тающих пыльных хвоста.

ГЛАВА XII

К почти по всему горизонту, зажженные немецкими бомбами, горели деревни и хутора. Бойцы, все в копоги и саже, в прожженных гимнастерках, сновали из двора во двор, тушили пожары, но опять налетали самолеты и сверху, как в огромные костры, кидали бомбы в горящие деревни. И тут среди всеобщего разрушения, огня и гибели прошел слух, сразу подхваченный, что немцам подают сигналы с земли. И повсюду стали ловить предателей и переодетых шпионов. В одной из деревень поймали учителя. Был он не местный, за три года до войны переехал сюда с семьей, поселился на краю деревни, и кто-то — потом уже нельзя было установить кто — сам лично видел, как он во время налета светил немецким самолетам, указывая, куда кидать бомбы.

К нему ворвались ночью, полосуя лучами фонариков темноту дома, в первый момент показавшуюся нежилой. Зажгли свет, увидели его, бледного, как преступника, и сразу все поняли. Учителя схватили. Жена, беременная, простоволосая, кинулась отнимать его, хватала бойцов за руки, за гимнастерки, ползла за ними по полу и кричала, кричала, перепуганные дети подняли плач. Только в этот момент здесь можно было еще усомниться, поколебаться как-то. Но чтобы кончить скорей, не слышать ее сверлящий крик, учителя волокли к дверям, толкаясь, мешая друг другу в тесноте, отрывали от себя руки жены, кидая ей вначале, как надежду: «Там разберутся...», а потом уже молча, упорно, ожесточаясь от борьбы, от крика и плача. И если им, чужим людям, тяжело было делать свое дело в присутствии детей и они спешили, то ему сознавать, что дети видят, как отца схватили и силой волокут куда-то, было нестерпимо. И не думая в этот момент о себе,

ради детей, чтоб их защитить от страха, он вырывался, хватаясь за двери и косяки, и слабые усилия его только злили тех, кто его тащил.

— Товарищи, товарищи!.. Дети смотрят!.. Зачем хватать?.. Я сам, пожалуйста... Не надо толкать меня!.. И, схватившись рукой за дверь, не давая оторвать себя, он кричал, выворачивая шею: — Маша! Ты детей пугаешь! Не надо кричать!

Его оторвали от двери и подняли, но он успел ногой зацепиться за косяк и держался с силой, неожиданной в его слабом теле, одновременно и лицом и голосом стараясь показать, что ничего страшного не происходит, что все хорошо и прилично:

— Маша, успокой детей! Видишь, товарищи разберутся!..

И пытался улыбнуться испуганным лицом, как бы прося подтвердить, что они разберутся и ничего страшного не случится с ним.

Но разбираться можно было здесь, в доме, а когда его вытолкали на улицу, на красный свет пожара и люди с ожесточенными лицами увидели его на крыльце, пойманного и рвущегося из рук, другие законы вступили в свои права. Толкая в спину, его повели серединой улицы среди огня и треска горящего дерева. Мимо бежали жители, ведя за руку детей, таща на веревках коров, — крики, детский плач, мычание животных, треск и взрывы горящих бревен, жар, пылувший в лица, запах горящего мяса — во всем этом стоне, вопле общего бедствия потонула одна судьба, один голос, вызывавший к справедливости.

Из черноты ночи в свет огня выскакивали навстречу бойцы:

— Поймали?

— А-а, сволочь!..

— Отстреливался, гад!..

Толпа все увеличивалась, напирая и давя между горящими домами, дышала одним жадным дыханием пересохших ртов. И те, кто только что спрашивал, уже рассказывали другим, как очевидцы, где и при каких обстоятельствах был пойман этот человек, подававший сигналы немцам. Его начали бить. Чья-то рука дернула за воротник — пуговицы на горле отскочили. Доставая через спины конвойных, сбив фуражку, и множество саног и солдатских кованых ботинок, втаптывая и торопясь, прошло через нее. Он закрывал голову руками, стибаясь, жаясь

под защиту конвойных, тех самых людей, которые силой выволокли его из дома, а теперь загораживали его, поскольку на них лежала ответственность. И их тоже били по спинам и шеям, оттого что не могли достать его.

Многие забегали вперед, чтобы увидеть. Там, в центре толпы, закрываясь от ударов и всякий раз оборачиваясь на них, двигался, влекомый общим движением, согнутый человек. В нем, растерзанном, одетом в пиджачок, единственном штатском среди одинаковых военных гимнастеров, каждый безошибочно узнавал того, кого заранее ждал увидеть: переодетого немецкого шпиона, подававшего сигналы.

Все это множество распаленных людей, дышащих ртов, топчущих землю сапог, все это, слитое воедино, предваряемое криком: «Веду-ут!..» — катилось по освещенной пожаром улице под черным небом, куда летели искры горящих домов. Свернули в проулок, свернули еще раз, снова оказались на той же улице, возбужденные, с нарастающей решимостью шли теперь по ней в обратном направлении, не замечая того. Вдруг толпа стала, упершись во что-то. Задние, напирая, подымались на носки, вытягивали шеи. Впереди, освещенная пламенем, стояла легковая машина. Некоторые узнавали ее: это была «эмка» начальника особого отдела корпуса Шалаева.

Еще издали, увидев толпу и поняв сразу, кого ведут, Шалаев вышел из машины и ждал, держась за дверцу, блестящую от красного огня. Сегодня это уже был не первый, нескольких приводили к нему. Иные просили и плакали, пытались хватать его за колени, но запомнился последний, особенно яростный. Со связанными за спиной руками, в белой рубашке, он стоял в дверях, на вопросы не отвечал. Отвернув голову с заросшей, небритой скулой, глядел в окно. И вдруг прорвалось в нем: «Спрашиваешь? Может, грозить мне будешь? — крикнул он Шалаеву хриплым от ненависти голосом. — Чем ты мне угрозишь, когда я один. — Он дернул связанные за спиной руки, хотел вырвать их. — Один! С ракетницей ваш полк гнал!..» Он так и крикнул: «ваш полк», а сам был русский. И такая ненависть, такое презрение к Шалаеву, ко всему советскому было в нем, что больше ни о чем его спрашивать не стали.

Шалаев смотрел на приблизившуюся толпу, ждал. Толпа разомкнулась перед ним, и оттуда, вытолкнутый, появился измятый человек в штатском. Как только отпу-

стили его, он быстро встряхнулся, обдернулся самыми обычными человеческими движениями и, увидев перед собой машину и стоявшего рядом с ней начальника, вдруг улыбнулся разбитыми губами. Всю дорогу сюда его сжимали за плечи, гнули, больно выворачивали руку, сзади били по голове, и когда теперь отпустили и он пошевелил плечами, он непроизвольно улыбнулся от радостного чувства физической свободы. И еще он улыбнулся человеку, с которым в его представлении было связано освобождение.

У Шалаева, когда он увидел эту заискивающую улыбку, которой пытались его расположить, кровь прилила к сердцу, оно пропустило удар, так что он задохнулся на мгновение, потом забилось часто. Тяжелым взглядом смотрел на вытолкнутого к нему человека, тщедушного, испуганного, стиравшего кровь с губы. Сам крепкого сложения, способный много съесть, выпить, физически сильный, Шалаев с недоверием, с неосознанной брезгливостью, как к уродству, относился к людям хилым, болезненным и слабым. И когда при нем говорили, он, хотя сам и не говорил этого, в душе был согласен, что от них, от таких вот, чего угодно можно ждать. Здоровый человек — здоров, и доволен, и весел. А эти, которые умом живут, на всякую вещь умом своим посягают, подвергают сомнению, что им не положено, — эти точат жизнь, как жук дерево. Он не любил их и не доверял. И если это были его подчиненные, он своего отношения к ним не скрывал и никак не старался облегчить их службу. Не верил он, что они что-то могут понимать и судить о том, о чем он судить не мог. А все их рассуждения для того, чтобы взять себе в жизни что полегче и получше, а самую черную, неблагоприятную работу оставить другим людям, таким, как он, Шалаев. Да еще и попытаться стать над ними. От них, от таких вот, и предательство развелось. А его он ненавидел всей душой, ненавидел и искоренял.

Шалаева не ошеломили неудачи первых дней войны, но его до глубины души поразили открывшиеся размеры предательства. Чем же иначе, как не предательством, можно было объяснить разгром и отступление нашей армии, силу которой он знал? Чем объяснить, что мы, столько времени готовясь и будучи такими подготовленными, проявляя строжайшую бдительность и воспитав в духе бдительности народ, оказались застигнутыми врасплох, в первые часы потеряли на аэродромах чуть ли не всю авиа-

цию, причем, как уже только теперь выяснилось, баки многих самолетов не были даже заправлены горючим, а танки по чьему-то приказу перед самой войной стали разбирать и ремонтировать? Никакое другое объяснение ничего не объясняло. И только слова «измена», «предательство», только эти слова сразу объясняли все и находили отклик в душах людей. Тем, что после всей работы, проделанной в стране, после стольких процессов над изменниками родины измена все же проявилась, да еще в таких размерах,— этим с несомненностью подтверждалось то главное, что Шалаев и прежде знал: мало, мало искореняли ее до войны, не успели всех искоренить, остались кое-где невырванные корешочки и вот проросли, повиснули головы навстречу немцам, как поганки после дождя.

— Где взяли? — спросил Шалаев, глядя тяжелым взглядом исподлобья. Он не спросил, кто этот растерзанный, задыхающийся человек, вытолкнутый к нему, почему его схватили и ведут, он спросил только: «Где взяли?» После сегодняшней бомбежки, когда в огне погибло столько людей, детей, было несомненно, как всегда в такие моменты, что есть где-то попрятавшиеся предатели, которые с земли указывали немцам. И ярость людей сама поднялась против них. Каждый пойманный убеждал только, что где-то еще больше скрывается невыловленных. Шалаев к этой встрече был готов заранее и ждал ее.

— В доме взяли, не успел схорониться!

— Кругом дома сгорели, его целый стоит!

— Не ждал гостей!

Уже никто не помнил, кто первый указал на этого учителя, но в святой ярости, охватившей людей, каждый не сомневался, что это он подавал сигналы немцам. И громче всех кричали не те, кто брал его, а те, кто присоединился по дороге, сам ничего не видел и потому особенно горячился. Только один из всей толпы, сам преступник, не понимал и не мог поверить в то, что для остальных было несомненно. Стоя среди криков и ненависти, он вдруг улыбнулся разбитым ртом, робко и глуповато, не сознавая всей неуместности такой улыбки в его положении. Ему, единственному из всех знавшему себя, казалось, что и этот подъехавший в машине, наделенный властью человек, которому надлежало разобраться, понимает, не может не понимать всю очевидную нелепость происходящего, и он улыбнулся ему, как бы извиняясь за людей, за все то, что они кричали в ослеплении.

Шалаев, нахмурясь, задышал. У него похолодели опущенные вниз руки, пальцы сами зашевелились на них. Вот это человекоподобие в предателе особенно страшно поразило его сейчас. Зачем-то он поглядел на его ноги, худые, в повисших на них брюках и нечистых ботинках. Тот переступил ботинками по земле.

— Местный? — спросил Шалаев тихо.

— Местный уже. Три года здесь живу! — со всей искренностью, вкладывая в свой ответ больше, чем надежду, сказал учитель, не ощущая, как это приобретает иное звучание для окружающих его людей.

— Дети есть?

— Двое. Мальчик и девочка... Третьего ждем...

Стало вдруг тихо и страшно. В колеблющихся отблесках пламени разгоряченные, потные лица людей блестели, глаза глядели мутно и пьяно. Сильней стал слышен треск горящего дерева, жаждащее дыхание. Казалось, розовый пар подымается над людьми. И все это затряслось, задрожало в глазах Шалаева, и, увидев его глаза, учитель закричал:

— Товарищи, что вы де...

Сильная рука Шалаева схватила его за рубашку у горла, стянула ее так, что пресекалось дыхание. Но этот оборвавшийся крик страха услышали все. Он ударил по напряженным нервам людей, и общая крупная дрожь сотрясла толпу.

— Ждешь... Ждешь!.. — задыхаясь, говорил Шалаев, не слыша, что говорит, и тряс, тряс, изо всех сил сжимая, скручивая стянувшуюся у горла рубашку.

Все плыло, он не видел ясно лица этого человека, из глаз которого текли слезы удушья, но чувствовал в своей руке дрожь его бессильного, сотрясающегося тела и, входя в иступление, до хруста сжимал зубы.

— Ждешь, сволочь продажная!.. Немцев ждешь!

Внезапная боль прожгла его от колена. Вздрогнув, Шалаев выпустил человека, которого тряс, мутными глазами огляделся вокруг. Там, внизу, стоял укусивший его в ногу мальчишка. Белое обострившееся лицо, распахнутые от ужаса, увеличенные слезами глаза. Отступая под взглядом Шалаева, сам боясь, он кричал отчаянно:

— Не бейте его! Это мой, мой, мой папа! Не бейте его!..

И, загоразивая отца, обнимал его ноги, всем телом дрожащим жался к ним.

— Не бейте его!..

Шалаев стоял, нагнув голову, дыша, словно просыпаясь. И просыпались люди вокруг, начиная видеть мир и все происходящее иными глазами.

Мальчик, пролезший под ногами у них, среди сдавливавших друг друга напряженных тел, топчущих сапог, каждый из которых мог раздавить его, просверлил худым телом толпу и выскочил на свет пожара. Самый маленький и слабый из всех, вооруженный единственной силой — силой любви в своем замирающем сердчишке, он кричал одни и те же, ничего не объяснявшие слова: «Это мой папа! Не бейте его!..» И странным образом слова эти сейчас всё удостоверили, и люди, минуту назад в слепой ярости не сознававшие себя, трезвели и снова становились людьми.

Шалаев пошел из толпы. Перед ним расступались. Он шел и, сам того не замечая, отряхивал руку. Хотел стряхнуть с нее тот зуд, который еще чувствовал в ладони.

Он захлопнул за собой дверцу машины, усталость вдруг придавила его. Шофер, рядовой боец товарищ Петров, сигналив, повел машину среди расходящейся толпы. Несколько человек стояло около учителя. Мальчик вправлял ему рубашку в брюки, а один из конвойных держал перед ним найденную на земле растоптанную фуражку.

Поздно ночью, пропахший дымом горящих деревень, Шалаев вернулся в штаб. Из темноты сеней на ощупь открыл дверь — комната с побеленными стенами и потолком, с окнами, завешенными суконными одеялами, с застоявшейся тишиной и запахом керосина от лампы показала ярко освещенной. За столом над картой, почти соединясь головами, сидели Бровальский и Щербатов. Они не сразу обернулись на дверь.

Шалаев сел. Свет керосиновой лампы, стоявшей на блюдечке посреди карты, резал ему неосвоившиеся глаза. Отворачиваясь, он раздраженно косился на нее.

— Горят деревни. Уходит народ. Детишек несут, скот гонят — все дороги забиты.

Здесь, в закрытом помещении, от его гимнастерки особенно сильно чувствовался запах дыма, пожарища. Он тоже почувствовал его, зачем-то понюхал рукав.

— Днем деревни казались без людей. Откуда столько народу повысыпало? Жуткое дело смотреть. Еле пробился сюда.

Шалаев помолчал.

— Ну? Слыхали уже? Командующий фронтом изменил!..

И оглядел всех темным взглядом недобро прищуренных глаз, по произведенному впечатлению проверяя каждого из них. Глаза его остро блестели.

Бровальский повернулся, как сидел, лицо испуганное: «Не может быть!» — и по-женски махнул на Шалаева рукой, словно хотел сказать: «Уйди, не верю!..» Щербатов, успевший снова так крепко задуматься над картой, что ничего не расслышал, поднял лицо, строго посмотрел на Шалаева ничего не выражавшими глазами. И только тут смысл сказанного, задержавшийся в уголке сознания, дошел до него. Значительно позже, как звук после вспышки выстрела.

— Что? — спросил он, сделав горлом откашливающийся звук: «Кха-кхым».

— Что? Бежать хотел командующий фронтом. Генерал! — с жестоким удовольствием повторил Шалаев и бессознательно, но так, словно и они теперь становились подозрительны, глянул на генеральские петлицы Щербатова. — С картами, с планами, со всеми документами бежал. В легковой машине. Уже на шоссе танк догнал. С третьего снаряда из пушки расстрелял. В упор.

— Откуда сведения? — спросил Бровальский.

Шалаев по привычке посмотрел на него тем взглядом, после которого сразу становилось ясно, что проявлять излишний интерес не только неуместно и нежелательно, но и небезопасно. А уже не существовало секретных каналов, по каким он мог бы получить секретные сведения, обычная связь и та была прервана. Но оставались привычки.

— Вы вот что скажите мне. — Шалаев словно в улыбке оскалил белые на смуглом лице крепкие зубы. — Вы оба умней, ученей меня. Чего ему не хватало? Чего, говорю, не хватало ему? Генерал! Почет, уважение, слава, власть, деньги, черт их возьми! Служи только! Всего вот так дано! Кто дал? Советская власть! Народ дал! И он же, сукин сын, их предал! Ладно, не будем про совесть говорить, про партбилет, который носил небось вот здесь, на сердце, козырял им, пока лез вверх. Что ему немцы, больше дадут? Родину они ему дадут? Ведь он же — Коротков!.. Объясните вы мне, — может, я один такой дурной, что не понимаю?

Бровальский и Щербатов сидели молча, каждый наедине со случившимся. Из-под обрушившегося на них придавленная мысль выкарабкивалась с трудом.

— А ведь я Короткова еще по финской знал,— сказал Бровальский, честно признаваясь. И не то его смущало, что человека, которого он знал, обвиняют в предательстве, а смущало, что сам он прежде не смог его разглядеть, оказался таким близоруким.— Нас тогда двенадцать человек награжденных привезли к нему. Мороз был — водка замерзала. А он тоже, как все, в белом полушубке, в валенках, только ремни и кобура на нем белой кожи. Уверенный такой стоит под сосной, руки в нагрудных карманах держит. «Ну, орлы!..» Поздоровался с каждым за руку, и вот запомнил я: мороз, а у него рука горячая. Даже пар от нее идет, как вынул из кармана. И не сказать, чтобы крепкий такой был или роста огромного.

Бровальский для сравнения оглянулся вокруг себя не ко времени радостными глазами и, как на препятствие, налетел на сощуренный презрительно взгляд Шалаева. Тот покачал головой:

— То-то, что руки жмем без разбора. Жалеем!

— Ну, ты меня не учи пока что! — вспыхнул Бровальский.— Кому жать, кому не жать. Я тоже такой умный задним числом.

— Я не учу-у,— сказал Шалаев, глядя на него с сомнением.— Я по себе могу сказать. Также не всегда проявлял. Когда в тридцать седьмом году у сестры мужа репрессировали и она ко мне прибежала с тремя детьми, меньшому еще года нет, не нашел я в себе мужества сказать в тот момент честно и принципиально, как подобает коммунисту. Жалко ее стало. И его тоже. Пожалел! И даже засомневался. Потому что понять не мог. Он же рабочий! Наш! Из рабочей семьи. Этих бывших всяких, которые инженерами устроились, начальниками разными, директорами — этих мне никогда жалко не было. Сколько волка ни корми, он тебя же загрызть норовит. Мне не их, народных денег, какими платили им, жалко было. Но он рабочий, машинист-кривonosовец... Калинин лично ему орден «Знак Почета» вручал. А она, оказывается, вот даже куда, зараза, проникла. Я три года за него выговор носил. Но я смыл с себя. Смыл позорное пятно.

Синий угарный огонек зажегся и посвечивал в его глазах. Его не удивила, как их, измена командующего. Она только утверждала его в главном, делала очевидной

необходимость его бессонной работы, на которой он все нервы потерял.

— Дожалелись... Лучше десять невинных обезвредить, чем одного врага упустить. Сто невинных! Тогда б не пришлось сегодня расплачиваться тысячами!

Щербатов из-за лампы глянул на него. От Шалаева шло дыхание того губельного безумия, какое в моменты поражений овладевает людьми, перебрасываясь от одного к другому, как эпидемия, как пожар.

— А ну возьми себя в руки! — нагнувшись над ним, приблизив лицо, снизу освещенное лампой, Щербатов стучал пальцем по столу. — Чтоб никто. Ясно? Ни один человек чтоб не слышал от тебя! Иначе — как за распространение паники!.. Как за ложные слухи!..

Он отошел к окну, оттуда, не оборачиваясь, сказал Бровальскому брезгливо:

— Дай ему валерьянки, пусть успокоится.

И тут на улице лопнул выстрел. Еще один. На крыльце громко затопали, кто-то на коне вскачь пронесся мимо окон. А уже заливались в почти за околицей пулеметы. Дверь рванулась, с темноты на свет, ослепленно моргая, шагнул через порог адъютант, голос задыхающийся:

— Товарищ командующий!.. Там...

Глаза его растерянно бежали, ни на ком не останавливаясь. Все трое смотрели на него. И, оробев под взглядами, адъютант совсем тихо закончил:

— Немцы там прорвались... товарищ командующий!..

— Где немцы? Сам видел? Сколько? — повеселев, спрашивал Бровальский быстро. — А ну идем, покажи!..

Щербатов, руки назад, расставив ноги в сапогах, все так же стоял лбом к окну, завешенному одеялом. Шалаев, бледный, видел только его спину, перекрещенную ремнями. С прыгающими губами, обдергивая на себе гимнастерку, он хотел что-то сказать, надо было что-то сказать. Но так ничего и не сказав, вышел за спиной ни разу не обернувшегося Щербатова.

ГЛАВА XIII

В село, где стояла батарея Гончарова, немцы ворвались на рассвете. Переполошная стрельба вспыхнула сразу в нескольких концах и погасла, и тогда стал слышен треск мотоциклов. Потом опять вспыхнула стрельба. На

батарею, среди воронок, оставшихся от бомбежки, озябшие спросонок артиллеристы торопясь разворачивали пушки. Утро было серенькое, землю кутал туман.

Вспрыгнув на бруствер, Гончаров в бинокль пытался разглядеть немцев. Выгоревшая за ночь улица стала широкой. По одной стороне ее — редкие уцелевшие дома, другая лежала в пепле, и церковь, прежде стоявшая далеко, так, что из-за деревьев виднелась только макушка ее, первой ловившая восход солнца, теперь открылась целиком до подножия, и даже площадь, на которой она стояла, была видна. От огородов до церкви простерлось пепелище. Туман и дым, зарывая воронки, стекали в низину и в улицу. А из тумана могильными холмиками на месте бывших домов проступали груды обгорелой глины, кирпича и пепла; некоторые еще курились дымком. И запах гари, паленой шерсти, неистребимый запах сгоревшего хлеба витал надо всем. Им пропахли и земля, и туман, и одежда бойцов. Даже руки, в которых Гончаров держал бинокль, пахли гарью, он ощущал ее вкус во рту.

Из-за церкви с нарастающим треском моторов вырвались немцы. По широкой дуге мотоциклы с колясками въезжали в улицу. Серые на серых машинах, с широко расставленными по рулю руками, в серых до плеч касках, все на таком расстоянии без лиц, они казались вросшими в мотоциклы. Туман, заливавший улицу, был им вполколеса, и они двигались по нему, как по мелкой воде.

Из дома выскочили несколько бойцов и побежали, пригнувшись. Один обернулся, с колена выстрелил из винтовки. Немцы все так же двигались вперед в сплошном рокоте моторов. У переднего на руле брызнул красный огонь пулемета. Боец упал. Он лежал поперек дороги, проступая из тумана. Мотоциклы один за другим, не сворачивая, проезжали через него, и у каждого подсакивало на нем колесо коляски, и немец, сидевший в ней, переваливался. Из домов, из дворов, из-за куч щебня выскакивали бойцы, вспугнутые треском мотоциклов, перебегая, скрывались в тумане. Бежали те самые бойцы, от которых вчера бежали немцы.

Гончаров с жадностью смотрел, как едут немцы, и не мог оторваться. И что-то подымалось в нем, как озноб. Уже посвистывали пули, несколько со звоном ударились в щит. Он оглянулся. За щитом орудия, напряженные, согнутые, ждали огневики, ствол орудия, косо перемещаясь, сопровождал мотоциклистов. В стороне, лежа грудью на

холодном бруствере, разведчик целился из ручного пулемета и ладонью отирал слезящийся глаз.

— Огонь! — крикнул Гончаров, махнув рукой.

Грохнуло. Воздух толкнулся в уши. Передний мотоциклист на всем ходу, как в куст, врезался в разрыв снаряда, вставший перед ним.

Четырехорудийная батарея с близкого расстояния была в упор, накрыв сразу и голову и хвост колонны. Земля взлетала из-под колес, и там, во все еще продолжавшемся движении, в коротких всплесках огня, мотоциклы словно проваливались в пустоту, и новые влетали на их место, и все это стремительно мчалось, мелькало, несло, не выскакивая за рубеж, положенный первым разрывом.

Гончаров выхватил у разведчика ручной пулемет, перепрыгнув через бруствер, побежал вперед, разряжая себя криком.

— Ура-а-а!

Туда, в неосевшую пыль и дым, где шевелилось посреди дороги, выкарабкивалось из-под обломков что-то единое, еще живое, всаживал он на бегу трассы пуль, и он бежал за ними, крича. В первого выскочившего из пыли немца он выстрелил в упор, и тут, набежав, обогнали его бойцы, впереди замелькали спины в гимнастерках.

Все было стремительно кончено. По улице, подгоняя прикладами, гнали немцев, и они бежали, некоторые с поднятыми руками, озираясь. Среди разбитых и целых брошенных мотоциклов сновали бойцы, разбирая трофеи, у многих на плечах уже болтались захваченные немецкие автоматы. И тут из кювета, перевалившись колесом через снарядную воронку, на глазах у всех, стояло только винтовку скинуть с плеча, выполз при общей растерянности и, разгоняясь, набрав скорость, умчался мотоциклист, сопровождаемый улюлюканьем, взглядами пленных и криками: «Стреляй! Ребята! Немец! Стреляй!..» Несколько запоздалых выстрелов ударило вслед, но мотоцикл с высоко подпрыгивающей пустой коляской скрылся уже за церковью.

Согнанных на край пепелища немцев построили, Гончаров шел, заглядывая в лица. Полчаса назад, в стальных касках, верхом на мотоциклах, с широко расставленными по рулю руками, все они казались крупной, больше. Сейчас перед ним стояли мальчишки, многие раненые, один плакал, размазывая по лицу слезы и кровь. Но

Гончаров только что видел, как они ехали. Через пепелище, по телам убитых, не сворачивая, уверенные в своих силе и праве. Вот так же, не поколебавшись, они проехали бы через него, через каждого, через весь мир.

Кончилось время раздумий. На войне убеждает пуля. Гончаров шел вдоль строя пленных, и не было среди них невиновных, не было жалости ни к одному.

ГЛАВА XIV

На выезде из деревни машину Шалаева задержали. Широкоскулый, приземистый сержант в обмотках, с каменными желваками и каменной складкой меж бровей, обняв сгибом локтя винтовку за ствол, долго читал документы, помаргивая белыми ресницами. Отрывал строгий взгляд, чтобы сличить фотокарточку, и снова читал. Прежде чем вернуть, заглянул внутрь машины и, захлопывая дверцу, все еще как бы не удостоверившись до конца, зачем-то оглядел еще и скаты. Но тут подошел лейтенант, узнал Шалаева в лицо и, возвращая удостоверение, козырнул.

— Простите, товарищ батальонный комиссар, — сказал он, извиняясь улыбкой, — приказано проверять документы у всех.

И зачем-то оглянувшись, наклонился к дверце, снизил голос:

— На участке двести восемьдесят первой дивизии слух прошел: немцы десант выбросили. Если срочной необходимости нет, может, не ездили бы, пока выяснится?..

Шалаеву вдруг расхотелось ехать. Но именно потому, что ему расхотелось, а шофер, товарищ Петров, глядя на него сбоку, ждал, как ждут судьбы, Шалаев остался непоколебим. И, вымещая на другом то, что на себе не вымещают, он пальцем поманил лейтенанта. Взявшись обеими руками за опущенное стекло, тот охотно всунулся в окошко.

— Старшим, лейтенант, когда полагается советовать? — спросил Шалаев почти ласково. — Когда спрашивают совета или по собственной инициативе?

Пальцы лейтенанта отлипли от стекла:

— Ясно, товарищ батальонный комиссар.

Выпрямившись, с опущенными ресницами, он сдержанно взял под козырек. Машина тронулась, оставив позади

себя отдалявшихся сержанта и лейтенанта. Сквозь пыль они смотрели ей вслед.

Неприятный осадок после вчерашнего, нехорошее что-то подымалось в Шалаеве со дна души. Вспомнит — и начинает мутить. Так бывает наутро после сильного перепоя, когда все, что говорил и делал, вспоминать стыдно — зажмуришься только да закричишь. И гнетет предчувствие всеобщей беды. Но так же, как после водки наутро лекарство одно — водка же, так и Шалаев не колеблясь направил мысль вслед вчерашнему гневу, и гнев вытеснил стыд.

— Смотрите, товарищ майор, — сказал шофер, — пушки куда у них развернуты.

Шалаев нахмурился, но тут необычный вид пушек отвлек его. Слева в хлебах по всему косоугору легкие пушки были развернуты не к фронту, а смотрели на дорогу нацеленными дулами, как бы провожая движущуюся по ней машину. И вдруг странно пустынной показалась Шалаеву дорога впереди. Ни по сторонам ее в хлебах, ни впереди ни души не было видно. Такой пустынной и настороженной земля бывает только у переднего края, где все скрыто, но отовсюду смотрят глаза и замаскированные дула.

В сущности, Шалаев мог бы не ехать. Но после вчерашнего ему тяжело было находиться рядом с командиром корпуса и Бровальским.

— Порядочки в двести восемьдесят первой! — сказал он с особенным удовольствием, потому что это была дивизия Тройникова, а он не забыв Тройникову, что произошло между ними на совете.

Тем временем шофер, пригнувшись к рулю, выворачивая шею, пытался сквозь ветровое стекло что-то разглядеть в небе, не выпуская дорогу из глаз. Из-за верхнего края ветрового стекла в поле зрения выскочили два «хейнкеля», удаляясь. Они обронули бомбы над артиллерийскими позициями, и из желтого поля впереди один за другим взлетели три черных взрыва. Шофер сбоку беспокойно взглянул на Шалаева, но тот, не отвлекаясь, смотрел перед собой в стекло. Чем нерешительней чувствовал он себя в душе, тем тверже и раздраженной было его лицо.

Самолеты уже были далеко над рощей и кружились над ней. По временам они исчезали за вершинами деревьев и снова появлялись, кружась. Большая тень облака с

хлебов сползла на дорогу, краем своим накрыла рощу; машина быстро нагоняла ее. Но еще раньше чем она приблизилась достаточно, тень облака упала с деревьев, обнажив их солнцу, сдвинулась с дороги, и на ней видны стали крошечные фигурки нескольких человек, выступившие из-за деревьев. Ни их самих, ни цвета их формы разглядеть отсюда было невозможно. Все это вместе — и деревья, и дорога, и люди на ней — тряслось и скакало в ветровом стекле машины, мчавшейся по ухабам. Но угрозу, исходящую от этих появившихся на дороге людей, Шалаев почувствовал на расстоянии. И самолеты продолжали кружиться над рощей и не бомбили ее. И люди эти открыто стояли на дороге... Все вместе это было странно. Шалаев вспомнил, как лейтенант предупредил его, и роща теперь показалась ему именно тем местом, куда и должны были сбросить десант. Но машина все так же несла их вперед. Твердый во всем, Шалаев не решался сейчас приказать шоферу остановиться. Ему казалось это малодушием, и он стыдился проявить его.

И тут впереди из серой пыли дороги всплеснулся разрыв. Шофер успел только упасть на руль, а когда поднял голову, увидел белые пробоины в стекле и обернувшееся назад, разъяренное, темное от гнева лицо Шалаева.

— Стой! — кричал Шалаев, поддаваясь первому сильному чувству: выскочить и наказать того, кто смел стрелять в них.

Но тут же сообразил, что останавливаться нельзя.

— Вперед! Быстро! Давай!..

Заскрежетало в коробке передач, машина рванулась вперед.

— Ч-черт! — говорил шофер, испуганно улыбаясь. Он знал, что за звуком мотора полет снаряда не будет слышен, быть может, уже летит, и не мог молча вынести этого страшного ожидания. — Встречает нас двести восемьдесят первая!..

Неловко, словно парализованную, поворачивая шею, он опасливо снизу вверх глянул на крышу кабины.

— Ухлопают, потом разбирайся. Скажут, фамилию перепутали... — пытался шутить он.

Черный взрыв взлетел перед стеклом, на миг заслонив дорогу. Машина дернулась, как живая. В ней что-то начало глохнуть, она подвигалась вперед рывками, встряхивая обоих.

Роща была уже близко. Свернув с дороги, весь пригибаясь шеей, как бы ожидая удара сзади, шофер гнал к кустам по кочковатой земле. Они почти воткнулись в куст, и машина стала. Оба выскочили из дверец. И тут в остановившейся машине, внутри нее, что-то дернулось сильно в последний раз, и, задрожав вся, затряслась и мотором, и крыльями, и распахнутыми дверцами, машина заглохла. В наступившей тишине издали еще стал слышен полет снаряда: ви-и-и-у-у!.. Ах! Ах! — встали два плоских разрыва значительно сзади по сторонам дороги.

Шалаев и шофер, вырвавшись из-под опасности, смотрели теперь издали на эти разрывы. Как после быстрого бега колотится сердце, так и сейчас в обоих билась радость. И впервые за всю совместную службу они чувствовали такую открытую душевную близость друг к другу, близость двух людей, оставшихся в живых.

— Ну что, товарищ Петров, живы?..

И оба рассмеялись. Достав платок, Шалаев вытирал потное, обсыхавшее на ветерке лицо. В этот момент оба они совершенно забыли о людях, появившихся на дороге и исчезнувших в роще во время обстрела: ближняя опасность заслонила дальнюю.

Шалаев еще вытирал лицо, как вдруг, что-то почувствовав за спиной, быстро обернулся. От деревьев, развернувшись в цепочку, шли на них четверо. А один, уже подошедший неслышно, из-под руки держал на ладони автомат, ремень которого натянулся от плеча вниз.

Только одно мгновение, когда Шалаев обернулся и увидел приближавшихся, лицо его оставалось напряженным. Но это мгновение поймал стоявший против него человек.

Они стояли друг против друга: тот — с немецким автоматом на ладони, Шалаев — с платком в левой руке, очень белым на солнце и чистым, и один раз человек, не сводя глаз, покосился на платок. А те четверо подходили. И за это короткое время, пока они так стояли и смотрели друг на друга, мысль общая, одна и та же, успела проскочить между ними из глаз в глаза и быть понятой, и снова проскочить.

— Свои! — закричал шофер обрадованно. — А мы напугались!..

Человек улыбнулся одной стороной лица, обращенной к шоферу, но головы на его голос не повернул и остался таким же серьезным. Даже еще серьезней оттого, что на

секунду улыбнулся без выражения, не спуская с Шалаева карауливших каждое его движение глаз. И снова что-то не понравилось Шалаеву в его лице. Здоровое, розовое, с выступившей из кожи золотящейся на солнце щетиной, с жесткими рыжими бровями. Под ними — голубые глаза. И они смотрели на Шалаева. В этих смотревших пристально глазах, из глубины их рвалось наружу неудержимое, хитрое, как у сумасшедшего, веселье, еле сдерживаемый смех. Это были не русские глаза. Это были глаза немца!

Шалаев похолодел: «Влип!..» И уже в новом, в истинном свете он увидел всех пятерых. Он увидел, как на них не сидела красноармейская форма, в которую они были одеты, словно была она с чужого плеча. И во всех них, рослых, тренированных, в том, как они подходили, вместе с настороженностью чувствовалась особая развязность, которая отличает отборные войска: разведчиков, парашютистов, обученных самостоятельности, — и которую редко встретишь у рядового пехотинца, сильного в массе, а не в одиночку.

— Двести восемьдесят первая? — без умолку говорил шофер, ошалевший от радости, что жив. — Тоже порядок завели: к ним едут, а они забаву нашли, из пушек стрелять! А ухлопали бы? Кто у вас командир полка? — повысил он голос.

Не отвлекаясь, никак не отвечая на то, что говорил шофер, человек с автоматом сказал:

— Разрешите проверить ваши документы.

Он сказал это по-русски, но с той бесцветностью и правильностью всех слов, что сразу чувствовался нерусский. Шалаев услышал едва уловимый акцент.

Мысль работала четко. Те четверо, подойдя, стали перед ним и справа. И пистолет его тоже был справа. С той самой стороны, где они стояли. В застегнутой кобуре. Сзади не стал ни один. Чтоб, если стрелять, не попали в своего.

Мельком, краем глаза Шалаев увидел вдруг помертвевшее лицо шофера с раскрытым ртом. Тот теперь только увидел, кто перед ним.

Рука Шалаева сама по привычке потянулась к левому нагрудному карману гимнастерки, где лежало у него удостоверение личности. Но, выигрывая время, он сначала расстегнул правый карман. Он делал это медленно, а мысль со страшной быстротой обегала круг, толкаясь во все

стороны, ища выход. Поискав в правом кармане и, как бы вспомнив, он расстегнул другой нагрудный карман, но уже левой рукой. А правая так и осталась у кармана на весу, чтобы только скользнуть вниз к пистолету. Пальцы ее застегивали пуговицу.

Он подал удостоверение левой рукой. Беря его, человек еще раз внимательно, фотографируя в памяти, глянул на Шалаева и раскрыл. И как только он заглянул в удостоверение, все тоже потянулись туда, вытягивая шеи. Поглядеть. В этот момент рука Шалаева скользнула к пистолету. Но он не успел вырвать его из кобуры: человек, взявший удостоверение, на слух стерек его. Даже не движение его — мысль!

Шалаева повалили. Молча, сопя над ним, сквозь стиснутые зубы, спиной вбивая в землю, выламывали руки. Кто-то коленом наступил на него.

— Сволочь! — победно сказал немец с жесткими рыжими бровями, еще тяжело дыша и весело очерчивая рот, а глаза блестели жестоко.

Первый встав, он подкинул на ладони отнятый пистолет — плоский «вальтер», которым Шалаев гордился, сунул в карман штанов.

— Я его, б..., сразу понял. Удостоверение сует...

Один за другим подымались остальные, отряхиваясь, разгоряченные борьбой. Последним постыдно встал Шалаев. Раздавленный, с разбитым в кровь лицом, на которое кто-то наступил каблуком.

— Стерва!..

— А так по морде вроде не скажешь!

— Ты на него сейчас погляди... Немец!

— А мы еще думаем, что за бесстрашный? Два немца над дорогой летят, а он хоть бы что, едет!

Шалаев смотрел на них, боясь верить. И вдруг со всей остротой прозрения, с какой он только что видел в них немцев, понял несомненно: свои! Это были свои. И голоса свои, родные, русские. И лица такие, что не спутаешь. Он весь подался вперед, к ним:

— Я — начальник особого отдела корпуса!

Слова его произвели неожиданное действие. Не столько слова сами, как то, что немец на глазах у всех заговорил по-русски. Бойцы стояли, не зная, чему верить. Но они видели его сейчас не таким, каким он все еще видел себя. Перед ними стоял избитый человек, с лица его, на котором отпечатался след каблука, на грудь гимнастерки

капала кровь. И вдруг кто-то из бойцов, самый догадливый, захохотал, хлопнув себя ладонью:

— От брешет, сволочь! «Начальник особого отдела...»

А ну, сбреси еще!

И тут — крик:

— Ребята! Второй где? Второй ушел!

Несколько рук схватили Шалаева. И вместе с ними, с людьми, державшими его, Шалаев видел, как далеко за дорогой мелькнула в хлебах голова. И скрылась. Бухнули винтовочные выстрелы. Др-р-р-р... — залился вслед автомат. Бойцы, державшие Шалаева, смотрели не дыша. В эти секунды, когда он, всей душой замерев, жадно ждал вместе с ними, решалась его судьба. От того, убежит или не убежит шофер, зависела вся его жизнь.

Много дальше того места, куда стреляли, мелькнула в последний раз в хлебах согнутая спина и скрылась в лощине. Ушел! Один за другим бойцы оборачивались на Шалаева с тем выражением, с каким они смотрели вслед убежавшему и пущенным в него очередям. Они возбужденно дышали, словно не мыслью, а сами пробежали все это расстояние. И Шалаев, оставшийся в руках у них, почувствовал, как необратимое надвинулось на него. И, понимая всю нелепость происходящего, потому что они — свои, он теперь убедился в этом, понимая, что надо спешить сделать что-то, сказать, остановить, он в то же время с обессиливающим ужасом чувствовал, как безразличие наваливается на него. Как будто во сне мчался на него поезд, и он видел его, надо было сдвинуться, сойти с рельсов, но опасность затягивала, и он только смотрел с жутким чувством на эту мчащуюся на него смерть, а ноги, вязкие и бессильные, словно вросли.

С необычной ясностью он чувствовал время в двух измерениях: страшную быстроту несшихся на него последних секунд, когда еще что-то можно было сделать, надо было сделать, и медленность, с которой мысль, застревая, протекала в его сознании. А потерей во всем этом была его жизнь и что-то еще, главное, к чему он приблизился, но что понять не хватит уже времени.

— Я — начальник особого отдела корпуса, — сказал он подавленно. И, подняв на них неуверенные глаза, слизнул с губы кровь. Он впервые слышал сам, как правда звучит ложью. Тем более страшной и явной, чем сильнее он настаивал на ней. Сейчас, после того как убежал шофер.

Красноармеец с рыжими бровями, белозубо ощерясь,

схватил его за грудь, потянул на себя. Шалаев дернулся, но руки его держали. И не в силах выдернуть их, он успел только зажмуриться. Блеснувший перед глазами приклад обрушился на него. Падая, он чувствовал, как рванули на нем гимнастерку, слышал над собой радостные голоса:

— Ребята! На нем белье шелковая!

— Они его от вшей надевают.

— Сверху-то наше все надел, а белье сымать не стал...

Боль, горячей молнией ослепившая Шалаева, подняла его с земли. Он вскочил с залитыми глазами, рванулся и вырвался из рук. Во рту его, полном крови и осколков, язык, обрезаясь об острые края выбитых зубов, заплелся, произнося что-то, быть может, самое главное в его жизни, но никто не разобрал его последний крик. Люди шаркнулись от него, и Шалаев, рванувшись вперед, налетел на белую вспышку выстрела.

ГЛАВА XV

Для того бойца, который, выскочив из избы, увидел въезжавших в улицу немецких мотоциклистов, успел выстрелить в них с колена и упал под пулеметной очередью, весь этот короткий миг от момента, когда он увидел их и побежал, а потом, остановившись, начал отстреливаться, до момента, когда он лежал уже на дороге и вся колонна, мотоцикл за мотоциклом, проехала через него,— все это, безмерно малое по времени, вместило и страх его, и решимость, и жизнь, и будущее, и смерть. Но на оперативной карте и он, и все, кто погиб в этом коротком ночном бою, и немцы, которых после артиллеристы Гончарова бегом гнали прикладами по улице села,— все это превратилось в тонкую, как булавоочный укол, синюю стрелу с загнутым концом. Множество таких острых синих стрел за ночь вонзилось с разных сторон в 3-й стрелковый корпус, оставшись торчать в нем. И по ним с достаточной точностью немцы могли очертить на карте пространство, занятое корпусом, масштабы прорыва и глубины.

Было несомненно, что все эти короткие бои — это бои с первыми успешными подходами подразделениями немцев, разведка боем. С какой стороны немцы нанесут главный удар, Щербатову было пока неясно, а произвести разведку на большую глубину он не мог, у него не было авиации.

Немцы же летали над его корпусом вот уже целые сутки, бомбили, обстреливали и, конечно, фотографировали. Был отдан строжайший приказ маскироваться, зарыться в землю, но это уже ничего не могло изменить. Сидя с Сорокиным над картой, они продумывали десятки вариантов, беря за исходное самую выгодную обстановку для немцев и самую невыгодную для себя. И только об одном варианте Щербатов боялся думать. Он боялся думать о том, что будет, если они вообще не станут наступать. Будут развивать успех на главном направлении, оставляя его корпус все глубже и глубже в тылу у себя. А эти мелкие подразделения, ночью завязавшие бой, спущены на него, как собаки на медведя. Они будут кусать, и лаять, и кусать, вцепляясь отовсюду, до тех пор, пока не подойдет охотник с ружьем. Этим охотником с ружьем могла стать соседняя немецкая армия, расположенная южнее, которая, перейдя в наступление, сразу оказывалась в тылу корпуса и отрезала его. Об этом Щербатов боялся думать, потому что тут выхода не было, это был конец. Выход мог бы быть только в одном: прямо сейчас, не ожидая, отвести корпус на исходные рубежи и там, повернувшись фронтом, встретить удар. Но он не имел права сделать это сам: спасая свой корпус, он мог подставить под удар другие соединения. Приказ Лапшина обязывал его закрепиться и ждать. И именно потому, что об этом единственном варианте он боялся думать, он думал о нем все время и даже предпринял первые шаги: ночью, растянув фланги, он начал перебрасывать дивизию Нестеренно в тыл.

А все могло быть иначе. Вот так же, как он сидит сейчас над картой, боясь подумать о самом худшем, сидел над картой командующий немецкой группировкой, у которого в тылу, нависнув над коммуникациями и быстро продвигаясь, появился русский стрелковый корпус с артиллерией и запасом снарядов. В тот неустойчивый момент, когда у немцев основные силы не высвободились на фронте, а тыл был пуст, в этот момент заколебалось военное счастье и нужно было решиться, нужен был новый удар. Но к этому удару Лапшин не был готов. Отступая, он не мог поверить, что нужно наступать. Он нанес корпусом удар во фланг и, не ощутив сразу перелома, видя только, что немцы продолжают наступать, испугался потерять и этот корпус. И приказал самое бессмысленное: остановиться и ждать. Развязал руки немцам.

Уже с утра не было связи с Лапиным. Под артиллерийскую канонаду заканчивался там бой. Это из всех стволов стреляла немецкая артиллерия, а разрывов ее отсюда уже и слышно не было. Слушать это отсюда и бездействовать было тяжелей всего, нервы у людей были напряжены, фронт отдалялся, и каждый боец понимал теперь: дальше очередь их. Немцы еще не начали наступать, но корпус уже оборонялся. И это было самое непоправимое.

Если бы в момент прорыва у немцев оказалось достаточно сил, и они бы контратаковали, и корпус понес потери, они не добились бы того, что делало сейчас за них время. Убить в бою одного, десять, сто солдат — это значит только уменьшить армию на определенное количество людей, а сила наступления при этом может не измениться. Но оставшийся в живых и зараженный паникой солдат один способен вызвать эпидемию страха. И вот это начиналось уже. Остановленные в момент наивысшего душевного подъема, вынужденные несколько суток бездействовать, слыша ежеминутно, как добивают их армию, люди начали томиться, поползли слухи, по ночам казалось, что немцы обкладывают корпус со всех сторон, стигают вокруг него силы. И уже не столько немцы, как страшен был сам страх, преумножавший всё десятикратно. Связи с командующим армией не было, сведений оттуда не было никаких. Щербатов послал несколько офицеров связи на мотоциклах, послал легкий танк — никто пока не вернулся.

К полудню на шоссе замечены были в бинокль две машины. Щербатову доложили. Он находился в лесу, где сосредоточивались отведенные ночью в тыл части дивизии Нестеренко. Шоссе разрезало лес. Когда Щербатов вышел на шоссе, машины были уже близко. Они шли с большой скоростью, быстро увеличивались, гудение их сильных моторов нарастало. Щербатов узнал переднюю машину: это был «ЗИС» командующего.

«ЗИС» остановился. Головой вперед, без фуражки вылез Лапшин, не ответив на приветствие, двинулся в лес. Из другой машины выгружались военные, беспечно поглядывая на небо. Они старались далеко не отходить, как беженцы, которых в последний момент могут забить, не взяв с собой в машину. Щербатов узнал прокурора, начальника оперативного отдела — они его почему-то не узнавали.

Идя вслед за командующим, Щербатов остановился у края поляны, как у дверей. По поляне, пока заправляли машины, взад-вперед ходил Лапшин, раздраженно косясь. В хромовых сапогах, в хромовом, несмотря на жару, черном пальто, — наверное, забыл снять, и никто не решался напомнить, — в коверкотовой гимнастерке с медалью XX-летия РККА и орденом Боевого Красного Знамени, он держал руки за спиной под пальто, и оно поднялось сзади, а концы пояса болтались. Щербатов стоял окаменев. Не перед командующим — перед размерами и непоправимостью бедствия, которые тот принес с собой. Перед тем, что уже свершилось. А за горизонтом, откуда, стремительно возникнув на шоссе, только что примчались две машины, еще погромыхивали раскаты дальнего артиллерийского грома, уже стихавшего.

Лапшин близко прошел мимо, опавнув ветром, и на его голой выбритой голове Щербатов увидел мокрую ссадину. Она кровоточила. Щербатов почувствовал эту ссадину физически. Он на минуту закрыл глаза. И вдруг услышал стон. Лапшин сидел на поваленном дереве. В луче солнца, косо сверху пробивавшем лесную тень, как наморщенное голенище, блестело его пальто, кожаный воротник насунулся на голый воспаленный затылок. И оттуда, из-под пальто, опять раздался долгий, как от зубной боли, стон. Щербатов оглянулся, быстро подошел к Лапшину. Что-то по-человечески толкнуло его к нему.

— Товарищ командующий! — позвал он, как больного, стоя над ним. — Павел Алексеевич!..

Лапшин поднял мутные глаза, глядел не видя.

— Думаешь, разбил он меня? Разбил? — говорил он, как ребенок, не стыдящийся няньки. — О-бо-жди!.. — Голая голова его покраснела, он погрозил кулаком. — Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!

— Павел Алексеевич! — вразумительно позвал Щербатов, стараясь взять командующего в руки, раз тот сам сейчас этого сделать не мог. И загораживал его спиной от взглядов. Каков бы ни был Лапшин, командующего армией в момент слабости никто видеть не должен. — Корпусу надо отходить на исходные позиции. Отходить срочно. Еще время есть. Завтра его не будет. Я посылаю к вам офицеров связи... Разрешите доложить обстановку...

И в этом «разрешите» докладывающего, в подчеркнутом соблюдении формы и тона была не просьба, не требование даже — было достоинство военного человека, кото-

рое не должно теряться ни при каких обстоятельствах и которое он хотел сейчас вдохнуть командующему.

Щербатов раскрыл планшетку с картой под целлулоидом. Привлеченный мельканием планшетки перед лицом, движениями рук по ней, Лапшин вздрогнул и некоторое время тупо смотрел в карту. Щербатов докладывал, наклонившись сверху, видя только воспаленную голову, мясистое красное ухо, блестящую от пота щеку и над ней жесткую, как ус, по привычке грозно надвинутую бровь. Казалось, командующий слушает. Сдерживая себя, чтоб не торопиться, Щербатов внушал, и это не могло не дойти до сознания. Лапшин поднял голову, снизу пристально поглядел на него. В осмыслившихся глазах прорезалось что-то острое. Он видел Щербатова. Того самого командира корпуса, своего подчиненного, с которым у него уже несколько раз были связаны минуты внутреннего позора.

При всей самоуверенности Лапшин знал, что в Щербатове есть что-то очень важное, чего нет в нем самом. А ему, командующему армией, оно было бы как раз нужней. Он никак не определял для себя словами это «что-то», но знал, что оно не выдается ни вместе с должностью, ни со званиями и орденами, его можно желать и никакими средствами нельзя приобрести. Оно либо есть, либо его нету. У Щербатова это было.

Никогда в мирное время Лапшин не ощущал, что у него чего-то нет. Нет — он мог приказать, и — будет. Он привык к своему положению и к уважению, которое оказывалось ему повсеместно. Оно было его принадлежностью, и он никогда не задумывался над тем: по праву ли оно ему принадлежит? Такие вещи утверждались наверху, и каждого, кто попробовал бы усомниться в его праве, он бы счел человеком, подрывающим основы. И только когда началась война и с первых же часов он увидел, как ничего не может сделать, он впервые испытал чувство своей неполноценности, о котором даже не подозревал раньше. Располагавший гораздо меньшими сведениями Щербатов каким-то способом угадывал и видел то, чего он, командующий, не видел.

И вот этот Щербатов просится отступить. Два дня назад наступать рвался, начальника штаба к нему присылал, а сейчас уже готов отступить. Ничто так не возвышает душу, как унижение человека, чье превосходство ты чувствовал над собой. Ничто так не излечивает ран!

Лапшин, сидя, снизу смотрел на своего командира корпуса. Острая, сумасшедшая радость рвалась из его глаз.

— Отступить, говоришь?

Весь кожано заскрипев, он обернулся. Ему нужен был свидетель его торжества. И, выхваченный взглядом командующего, двинулся к нему начальник оперативного отдела Марков, ступая кожаными подошвами по траве. Ширококостный и плоский в груди, огромного роста, со светлым взглядом прозрачных глаз, он приближался, уже издали участвуя.

— Видал? — командующий кивком головы приглашал полюбоваться на Щербатова. — Оре-ол! Это он просился ударить по тылам немцев. Рейд! Ты прежде в кавалерии, Щербатов, не служил, а? Не помню твоего личного дела. Случаем, не кавалерист? Вот не решились мы с тобой, Марков, приказ-то подписать, воевали, некогда было, а то б уж он под Берлин подходил со знаменами. Теперь небось нас винит. Не позволили.

Лапшин легко вскочил, кожаное пальто осталось стоять на земле, прислоненное к пию. Блестящая голова с грозными бровями, раздувшаяся шея, которую душил отложной воротник, были красны, коверкотовая гимнастерка без складок облегла покатые гладкие плечи, поднявшуюся грудь с косо влитой португеей. И весь он, с орденом, с широким глянцевым ремнем поперек живота, был разительно похож на кого-то.

— Вот из-за таких-то, Марков, из-за таких!.. — кричал Лапшин, весь поддегиваясь вверх от своего крика. — Два дня наступать рвался, теперь бежит! Мы там жизнь клали, а он чемоданы уложил! Еще и немцы не подошли, а он бежит! — И голос Лапшина заглушал дальний гром пушек, довершавших разгром его армии. Свои — не немцы, своих бить можно, привычно. Он бил, и постепенно отлегал от души. А Марков не строго даже — грустно так и сожалеюще — оглядывал Щербатова с ног до головы и качал головой.

Но ничего этого Щербатов не видел. Смертельно бледный от величайшего позора стоял он перед командующим, и пальцы его рук, вытянутых по швам, вздрагивали. Военный человек, он умел и знал, как воевать на поле боя. Но перед этой силой он был бессилён.

Кто-то из штабных, страшась и останавливаясь при каждом раскате голоса, приблизился на негнущихся ко-

ленях, заранее неся ладонь у виска. Выждав безопасный момент, доложил, что машины заправлены и ждут. И как только командующий двинулся, со всей почтительностью подхватил с земли и понес его кожаное пальто.

— Я вам поотступаю! — в последний раз сверкнул глазами Лапшин уже от машины и пальцем погрозил. — Я вам поотступаю! Стоять здесь! Насмерть стоять!

Взревев сильными моторами, машины резко взяли с места, а над дорогой осталось таять в воздухе воюющее бензиновое облако.

Он не разбил противника, не изменил коренным образом обстановку. Он всего лишь накричал на подчиненного, выместил на нем гнев. Но он дал себе физическую разрядку, и в его сознании необъяснимым образом все изменилось к лучшему. Положение уже не казалось безнадежным. Мотор гудел ровно и мощно, и все мелькало и уносилось назад, а он мчался хоть и в тыл, но вперед, и дорога, узкая вдаль, раздвигалась перед скошенным радиатором машины. И это непрерывное движение и осязаемая сила мотора, передававшаяся ему, возвращали Лапшина в привычное состояние уверенности.

Он давно уже ездил в машинах особого класса — самых сильных и самых больших, с особенным светом и особым сигналом. Правила и знаки, обязательные для всех остальных, для него не существовали. В городе, где до войны стоял штаб, машина его с повышенной скоростью шла по средней черте, и светофоры, издали завидев его черный «ЗИС», — испуганно мигали, и на всех перекрестках, на всем протяжении зеленый свет ковровой дорожкой сам стелился под колеса. Сидя на переднем сиденье, Лапшин мчался, распугивая пешеходов, глядя только перед собой в усвоенной им манере. Все было прочным, все казалось таким незыблемым, что любой враг, замысливший посягнуть, должен был прежде утратиться. И вдруг немцы одним ударом вышибли его из седла. Удар этот был так неожидан, так ошеломляющ, что Лапшин до сих пор не мог прийти в себя.

Но постепенно, чем дальше позади оставался фронт, тем меньшими начинали казаться Лапшину размеры постигнутого его поражения. Он уже оценивал события спокойно, мыслил масштабно. И действия его теперь не выглядели ни бессмысленными, ни торопливыми, ни жал-

кими. Он проявил главное: твердость. Наступающего врага встретил грудью, не дрогнув, не поколебавшись. Маневры всякие хороши, когда ты победил. Тогда и маневры зачтутся. Но если побежден ты, так вот их и припомнят тебе прежде всего: не выдержал, твердости не хватило, маневрировать начал... В дни, когда над родиной нависла смертельная опасность, страшны не жертвы, не отдельные поражения, страшно малодушие. В этом его не могли упрекнуть. И если все же он не одолел врага, так потому только, что враг силен. Еще не дали себя знать постоянно действующие факторы, от которых зависит конечный исход войны. Временно действующий фактор — внезапность — был все еще на стороне немцев, хотя действие его уже начинало заметно ослабевать.

Лапшин достал платок, вытер им охлаждавшуюся на ветру голову. И вдруг почувствовал боль и жжение на коже, когда с левой стороны провел платком. Он повернул к себе автомобильное зеркальце. С левой стороны была мокрая ссадина. Явиться с ссадиной на голове — это было неприятно. Он осторожно промокнул сукровицу платком, стараясь не задеть, посадил на голову фуражку и еще осанистей, значительней стал в ней. После этого Лапшин закурил толстую папиросу, отдыхая, затаился несколько раз подряд. Дым медленно вытягивало в щель над приспущенным стеклом и там смахивало встречным ветром, иногда заталкивая назад. И когда он, почти успокоенный, сощурился, смотрел вперед, вдруг знакомое сосущее чувство потянуло в груди тошнотно, и все опустилось, осело вниз. Это был страх. И сразу все, что он думал только что, показалось ничтожным, жалким, никого не способным убедить. Он сидел маленький, не шевелился, ждал, прислушиваясь к себе. Ждал, как ждут нового приступа боли, боясь неосторожным движением вызвать его. Новый приступ не возвращался. Лапшин робко подумал о человеке, чьей волей не уставал восхищаться, чье мнение было единственным мерилом всех поступков. О том, с кем связан был единым током крови. Неужели он отрубит собственный палец? И постепенно Лапшин успокоился. Страх прошел, только очень глубоко осталось что-то едва заметное, как предчувствие.

Сильная машина с особенным светом и особым сигналом несла его вперед, и дорога расступалась перед его мысленным взором. С той самой не всем дозволенной скоростью, с какой он мчался по жизни, мчался он те-

перь к своей гибели. Силы, в свое время поднявшие его и поставившие на эту высокую должность по причинам, меньше всего зависящим от его личных качеств, теперь, в момент поражения, требовали жертву. Пронесшийся было слух, что изменил командующий фронтом, слух, после не подтвержденный, не исчез бесследно. Нужен был виновник неудач. И мчавшийся с докладом Лапшин, все хорошо продумавший и подготовившийся, стечением многих обстоятельств, не зависевших от него так же, как и его возвышение, должен был стать одним из виновников.

ГЛАВА XVI

Андрей Щербатов сидел на камне за углом бревенчатого коровника и пил из котелка парное молоко. Отрывался, чтобы передохнуть, и опять пил, держа котелок в ладонях, жмурясь от удовольствия. За спиной, по ту сторону коровника, было некошеное клеверное поле, ветер и где-то в складках поля — немцы. А здесь, на припеке, — безветренно и тихо. Утреннее солнце грело серые бревна стены и белый ноздреватый камень, на котором сидел Андрей. Вся земля перед раскрытыми в темноту коровника дверьми была истыкана множеством телячьих копыт, следы их закаменели. Вытопанная, жирная, а сейчас задохшая, она пахла мочой и пометом; на жердях загонов, о которые терлись телята, остались клочки их шерсти. Ветер, выносясь из-за угла, дул меж жердей, сметая в пустых загонах пыль, сухой помет и солому.

В большом коровнике осталось всего две коровы. Одна телилась, лежа на соломе, мычание ее по временам слышалось из раскрытых дверей. У другой была геребита передняя нога. Пулеметчик Корягин взял ее ногу в лубок, прибинтовал хорошо и теперь доил ее. И весь этот коровник с коровой, которая никак не могла растелиться, и другой коровой, которую доили, с дулом пулемета, глядевшим из западной стены на поле, — был передний край обороны. Влево до сторевшей деревни и вправо до леса на горизонте были вырыты окопы, в них сидела пехота. Над окопами, над клеверным полем дул сильный ветер, и день от ветра казался прохладным. Только здесь, в затишке, было жарко.

Андрей поставил пустой котелок на землю у ног, вытер след молока на верхней губе и, увидев вышедшего из

дверей Корягина, улыбнулся ему. Корягин, подвязанный мешком, как фартуком, с засученными вместе с натальной рубашкой рукавами гимнастерки на сильных руках, в сапогах, обрызганных молоком, был за всех сразу: и за доярку, и за ветеринара, и за пулеметчика.

— Ну как? — спросил Андрей, смеясь.

— Да не стоит на месте, — пожаловался Корягин. — Все ж полведра надоил. Надо во взвод ребятам снести. Животная, а тоже благодарность, как у людей. Я ей ногу, можно сказать, в строй вернул, она меня рогом норовит пырнуть.

Нагнув крутую шею, Корягин стоял, весь освещенный солнцем, спутанный чуб повис на лоб, под черными бровями — синие со смешинкой глаза. Андрей достал портсигар, раскрыл на ладони. Он был туго набит папиросами, недавно только заложил в него пачку. И тут пулеметчик второй номер Фролов позвал его:

— Товарищ лейтенант!

Андрей протянул портсигар Корягину, потом взял сам папиросу. Прикурили от одной спички.

— Товарищ лейтенант!..

— Чего у него там стряслось? — щеголяя грубоватостью, Андрей поиграл басовыми нотками голоса. — Без няньки остался. Пойди глянь.

Но сам тоже встал, вслед за Корягиным вошел в сумеречную темноту коровника, где, как амбразуры, светились дневным светом окошки в западной бревенчатой стене. На соломе лежала на боку корова со вздутым животом, закинув рогатую голову. Она услышала вошедших и замычала; видно было, как мычание проходит в ее напрягшемся, вытянутом горле.

— Ну, чего?

Фролов повернул к ним освещенное из окошка лицо. В первый момент оно показалось Андрею радостным.

— Танки, товарищ лейтенант!

— Какие танки? — нахмурясь, бессознательно-строго переспросил Андрей, будто, запретив солдату произносить это слово, можно было запретить и сами танки.

Но в тот же момент далекий железный стрекот, который он уже слышал некоторое время, не воспринимая, ворвался в уши, словно стал громче. И он особенно резко увидел это освещенное окно в стене, около которого волосы надо лбом Фролова шевелились от ветра.

— А ну пусти!

Он взялся руками за стесанный край, глянул в узкое, прорубленное в бревнах отверстие, всем лицом, сощуренными глазами ощутив в нем напор ветра, дувшего с поля, и увидел высокое небо, зеленое поле и на нем — серые танки. Они шли по всему полю в поднятой ими сухой пыли. Андрей вскинул к глазам бинокль и эти же танки увидел притянутыми на близкое расстояние, в десять раз крупней. Освещенные солнцем, они блестели сквозь пыль, над башнями хлыстиками дрожали антенны. За каждым танком в хвосте пыли, прячась и прижимаясь к броне, кучками бежала пехота в касках. Ветер нес железное стрекотание и рокот моторов, казавшиеся уже близкими оттого, что танки были близко видны. Холодок этого ветра Андрей чувствовал на сохнувших губах, которые беспрестанно облизывал.

— Так!..

И продолжал смотреть не отрываясь.

— Так...

Он едва успел откачнуться: коротко свистнув, разорвался снаряд близко от стены. Осколки снаружи ударили в бревна, в шиферной крыше над головой засветились отверстия, дымом заволокло окно.

— Ну, ребята, началось! — с особенной остротой ощущения, которую давала близкая опасность, крикнул Андрей. И видел в этот момент обоих пулеметчиков и себя, как он им говорит. Все это еще было важным.

На соломе забилась корова, как под ножом, подымая с земли рогатую голову, выкатывая мокрый, горящий глаз. Низко просвистело над крышей, разорвалось за коровником.

— Теперь держись! — крикнул Андрей и опять подмигнул. Кругом уже грохотало. — Будем отсекай пехоту. Фролов, гранаты готовы!

Корягин сорвал с себя фартук, упал за пулемет под стеной. Вскочив ногами на кормушку, Андрей смотрел в узкое окно под крышей.

По полю среди взлетающих дымов мчались танки, с ходу стреляя. Передние были уже близко, у бегущей за ними пехоты видны были лица.

— Огонь! — Андрей сверху махнул рукой. И увидел, как на земле спина, плечи и вжатый в них затылок Корягина затряслись одной дрожью с пулеметом. На поле стали падать бегущие немцы. Их заслоняло взрывами.

Корягин что-то крикнул, показывая рукой.

— Что? — не понял Андрей. И не успел понять. Его сорвало, отбросило, ударив о землю. Со звоном в ушах он поднялся.

Вместо стены был дым, и в дыму косо висели бревна. Корягин лежал ничком, пальцы его рук последним усилием скребли землю. И, не схватывая сознанием, Андрей увидел посреди коровника маленького мокрого теленка, вскакивавшего с колен. Но тут в пролом стены сквозь дым стало вдвигаться большое, как копыта, в нем смутно угадывались очертания танка. Андрей выхватил связку гранат у Фролова, который подымался, упираясь в землю рукой, отпрыгнул к боковой стене. Темнея с каждой минутой и вырастая, танк надвигался на них. Андрей увидел все так же стоявшего на четвереньках Фролова, его белые, безумно расширившиеся глаза и, успев пожалеть его, крикнул: «Беги!» — и бросил связку гранат. Куст пламени взлетел из-под танка, но тут другой танк, отвернув башню с пушкой, всей массой, как стальной таран, ударил в стену, и крыша рухнула.

...В оседающей пыли танк, ворочаясь, выбрался из-под обломков — доски, бревна, расколотый шифер катились с него. Открылся люк, из башни по пояс поднялся танкист с загорелым, красным от жары и пота лицом, светловолосый, почти белый, в черном обмундировании. Стоя в башне, он оглядел поле боя. Несколько танков горело в клевере, но остальные, пробив оборону, шли на восток. В центре их задержала деревня. Оттуда, из садов, били противотанковые пушки. Немецкие танки, стоя дугой, вели огонь по деревне; их скошенные кормы окутывала пыль и выхлопные газы. Над полем в помощь танкам низко шли бомбардировщики с крестами. Танкист, стоя в башне, проводил их, поворачивая голову за ними вслед, и спрыгнул на землю. За ним спрыгнули остальные танкисты, разминая ноги, пошли к подорванному гранатой танку. Вокруг него уже стоял экипаж. Они поговорили, вместе соображая, что можно сделать.

На месте коровника лежали развалины: бревна, шлак, битый шифер и кирпич. Все было похоронено под ними. Уцелела только одна стена. И около нее из-под бревен видны были плечи и голова убитого лейтенанта. Ветер шевелил по истоптанной земле его длинные прямые волосы.

— О-о! — сказал танкист, первый выскочивший из башни. И все посмотрели туда, куда смотрел он. Посреди развалин, косо расставив слабые, плохо державшие его

ноги, стоял теленок, маленький, еще не облизанный матерью; мокрая шерсть на нем засохла на ветру и закурчавилась.

— О-о! — сказали и остальные немцы, увидев все то обилие, которое стояло перед ними пока еще в сыром виде. Светловолосый танкист подошел, поднял теленка и понес к танку, ноги его болтались на весу. Он посадил его на брону. В рокоте взревшего мотора не слышно было слабое мычание теленка, исчезнувшего в башне. Танк ринулся вперед, догоняя другие, уже устремившиеся с поля на деревню, придавленную авиацией. Ветер подхватил и понес следом взвихренную пыль. Ветер был на земле, а в ярко-синем высоком небе стояли неподвижные, ослепительной белизны облака.

ГЛАВА XVII

Взяли их днем, когда солнце стояло высоко. В бомбовой воронке, где они скрывались, тени давно уже не было, и командир взвода Седых, раненный в голову, на жаре впал в беспамятство. На глаза его, на распухшие, черные от запекшейся крови губы садились мухи; Борька Литвак отгонял их, не мог видеть, что они ползают по нему, как по мертвому. Лежа на животе, Борька плоским штыком от полуавтоматической винтовки раскапывал стену воронки, рыхлую после взрыва, полную осколков: хотел зачем-то докопаться до сырой земли. Двое бойцов — ездовой и заряжающий, — оба низкорослые, крепкие, сидели колено к колену и тихо говорили между собой по-казахски. Солнце жгло их черные, стриженные под машинку, блестящие коротким волосом головы. Гончаров курил, сощуренными глазами смотрел за край воронки. До самого горизонта, где в желтой дымке стояли неподвижные облака, поле было скошено. Хлеб не успели убрать, не успели связать в снопы. Он лежал волнами, и среди них на стерне видны были спины убитых в гимнастерках, сливавшихся с цветом поля.

Когда немецкие танки, пробив оборону, устремились на восток, в центре их задержала деревня. Батарея Гончарова, стоявшая на огородах, и две батареи легких противотанковых пушек, замаскированные в садах, встретили их в упор. Но налетела авиация, все смешала с землей, и танки снова пошли в атаку. И снова отползли,

оставив несколько машин гореть на поле перед деревней. Потом опять прилетели бомбардировщики, сверху пикировали на окопы, орудия смолкали одно за другим. А в это время танки зашли с тыла.

Расстреляв все снаряды и подорвав орудие, отрезанный от полка, от леса, с тремя оставшимися в живых бойцами, уведя раненого командира взвода под руки, Гончаров скрылся в поле. Танки, пройдя близко от бомбовой воронки, в тумане не заметили их. Потом в воронку приполз шестой: сержант-пехотинец.

До полудня сидели молча, каждый со своими мыслями. Солнце отвесно жгло. Не приходивший в сознание Седых бредил, временами кричал, и тогда оба бойца и сержант начинали тревожно оглядываться. Потом услышали рокот мотора. Гончаров выглянул. По полю толпой шли красноармейцы, человек восемь. За спинами их двигался бронетранспортер, в нем торчали пилотки немцев и ствол пулемета. Гончаров сполз вниз. Все смотрели на него. Он еще мог приказать, и слову его подчинились бы. Он посмотрел на людей. На шестерых было три карабина и наган. Хоть бы одна граната!..

Поняв, побледнев смертно, Борька Литвак стал вынимать все из карманов, дрожащими руками рвал бумаги и запихивал в норку. Каблуком завалил их. Встал. На краю воронки уже стояли красноармейцы, из-за спин их вышел маленький немец с наставленным автоматом, показал стволом: «Выходи!» Первым полез из воронки сержант. За ним — оба бойца. Лица их были серы. За ними — Борька Литвак. Гончаров видел снизу, как сержант остушился на краю воронки, но тут же молодежато вскочил, отряхивая ладони, испуганно улыбнулся немцу. Гончаров мучительно подбирал немецкие слова, которые вдруг забыл все сразу.

— Krank! ¹ — сказал он, показывая на раненого командира взвода. — Eg krank ²...

Немец подумал, потом на каблуках, по осыпающемуся откосу спустился вниз. Он посмотрел на раненого, снял высокую пилотку. Резко отделяясь от загорелого лба, обнажилась белая, отмокшая под пилоткой кожа лысой головы с прилипшими к ней волосиками, темными от пота. Человеческим усталым жестом он вытер голову загорелой

¹ Больной (нем.).

² Он болен (неправильн. нем.).

рукой, поглядел на мокрую ладонь и снова надел пилотку. Наверху, надвинувшись, стоял бронетранспортер, мотор его работал на малых оборотах. Немец стволом автомата показал Гончарову: «Лезь вверх!» Гончаров полез. И сейчас же за спиной его раздалась автоматная очередь. Он обернулся. И видел, как на земле вздрогнул, весь дернулся Седых.

Немец вылез из воронки одновременно с Гончаровым. Не взглянув на пленных, забрался в бронетранспортер, и бронетранспортер двинулся дальше по полю, гоня пленных впереди себя. Они проходили мимо убитых, лежавших под солнцем на жаре. Когда на поле попадалась валявшаяся винтовка, водитель гусеницей наезжал на нее. Потом пошла черная после пожара земля. И на этой земле, сгоревшей до корней трав, стояли сгоревшие немецкие танки. Гончаров и бойцы узнавали их. Бронетранспортер прибавил скорость. Пленные побежали. Он гнал их к лесу, все прибавляя скорость, и они бежали молча, и двое раненых среди них бежали, стараясь не отстать. На опушке стояло человек двадцать пленных. Бронетранспортер подогнал их сюда и свернул обратно в поле, а к ним подошли другие немцы. Двое, старый и молодой, переходя от одного к другому, заглядывали в лица. Пленные стояли вблизи траншеи, сутки назад вырытой ими же самими. Здесь была оборона полка, и воронки мин и снарядов сидели в земле одна на одной. В траншее, местами обвалившейся от взрывов, лежали убитые, серые, как засыпавшая их земля. Пленные старались не смотреть туда.

Немцы всё переходили от одного к другому. Остановились перед Литваком. Посмотрели на него, посмотрели друг на друга, и старый подмигнул молодому.

— Jude? ¹ — спросил он, глядя Литваку в глаза, не сомневаясь, что тот поймет.

Литвак молчал.

— Jude! — поощрял его немец, ожидающе улыбаясь и гримасничая.

Литвак молчал, только сильнее бледнел с каждой минутой.

Гончаров, стоявший через человека, шагнул вперед. Загораживая Литвака плечом, говорил:

— Это — боец мой. Солдат, понимаешь? Я — его командир. Я!

¹ Еврей? (нем.)

И, указывая себе в грудь, кивал немцу дружески, стараясь расположить его улыбкой.

— O-o, Kamrad! — сказал немец одобрительно, покачивая головой и тоже улыбаясь. — 'Ja, ja!

И вдруг, отскочив, сделал выпад, ткнул Гончарова дулом автомата, как штыком, в грудь.

— Zurück! ¹ — лязгнул он, весь оскаливаясь и дрожа. —

— Zurück!

Тем временем молодой немец, взяв Литвака двумя пальцами за гимнастерку на локте, перевел его через траншею. Там уже стояло несколько человек отобранных. Среди них был рослый плечистый командир с двумя шпалами и неспоротой звездой на рукаве гимнастерки.

Всего только узкая траншея отделила их от остальных, по все понимали, что это черта между жизнью и смертью.

Пленных погнали дальше большой толпой, а отобранные остались стоять на опушке леса у края вырытой траншеи. И Гончаров видел, какими глазами посмотрел ему вслед Борька Литвак.

ГЛАВА XVIII

Была ночь, поздно поднявшаяся луна светила косо из-за черных зубчатых вершин леса, и тень их лежала на траве, дымчатой от росы. И он увидел с закрытыми глазами, как из леса в лунный свет по росе вышел Андрей без пилотки, с рассыпавшимися волосами, и с ним была женщина. Он вел ее за руку, и они шли рядом, молодые, в лунном свете, а за ними по распрямляющейся траве стлался темный след. За двойными стеклами Щербатов тогда не слышал их голосов, видел только, что они смеются и счастливы, и отчего-то рассердился. На что он сердился тогда? Он не думал, что будет все это вспоминать. Сын тогда вошел с мокрыми от росы головками сапог, глаза его блестели, а от волос пахло вечерней сыростью, лесной хвоей, туманом — молодостью пахло. Невозможно представить себе, поверить невозможно, что нет уже этих блестящих молодостью глаз, нет этих волос, а он все чувствует их запах.

¹ Назад! (нем.)

Щербатов не слышал, как появился Сорокин, но он почувствовал вдруг рядом другого человека. И как сидел в тени стога, нахмурился, чтобы не видели его мокрых глаз. Сорокин подошел с тем виноватым лицом, с той осторожностью, с какой они все теперь обращались к нему, как к больному. Они скрывали от него, как погиб Андрей, они только рассказывали то, чем он, отец, мог бы гордиться и что тем самым должно было утешить его. Но там было и еще что-то ужасное, он знал, чувствовал это, а они скрывали...

«...И кровь его впитала земля...» — подумал Щербатов, а быть может, вспомнил строку забытого стиха или псалма, которых не помнил и не знал. Но она явственно звучала в нем. И, глядя в лицо Сорокину, он увидел эту сухую землю, на которой остался Андрей, увидел Андрея и зажмурился. Даже похоронить его он не мог. Все это место, на котором сражался со своим взводом Андрей и умер, не отступив, — все это было у немцев. И он остался там.

Звук голоса Сорокина сквозь мысли опять дошел до него, и он увидел его лицо. Луна невысоко стояла над полем, освещая с одной стороны прошлогодние, потемневшие от дождей стога, и при свете ее только выступавшие части лица — лоб с надбровьями, скулы, нос, шевелящиеся губы — были видны и блестели, а виски, глазницы и щеки от резких теней казались запавшими, и все лицо выглядело больным. И страдание, сделавшее Щербатова мягче к людям, доступней, как маятник часов рукой, тронуло и подтолкнуло его сердце, и он впервые так близко и больно почувствовал Сорокина, своего начальника штаба, почувствовал, что делается сейчас в его душе. Но он никак не выразил это внешне, оставшись сидеть с наклоненной головой, так, что глаз его не было видно. А Сорокину казалось, он ждет, когда тот кончит доклад.

То, чего боялся Щербатов, о чем предупреждал Лапшина, случилось вчера на рассвете, когда соседняя немецкая армия, никак до сих пор не проявлявшая активности, перешла в наступление. Она перешла в наступление в тылу, и сразу корпус оказался в глубоком окружении, а часть танков и пехоты немцев, нанося вспомогательный удар, разрежала его. На направлении этого удара, быть может, даже на острие его оказался батальон, в который входил взвод Андрея. И теперь там был коридор,

пробитый немецкими танками. По ту сторону его остался весь корпус, а по эту — отрезанный от корпуса штаб, несколько тыловых подразделений и около полка пехоты дивизии Нестеренко. Две попытки прорваться к своим ни к чему не привели, коридор только расширился к ночи, и внутри него текли и текли к фронту немецкие войска. Там осталась штабная рация, раздавленная танками, и связи с корпусом не было вот уже четырнадцать часов. Сорокин докладывал сейчас о мерах, которые были приняты, о посланных на ту сторону разведчиках, из которых пока не вернулся ни один. Он предлагал попытаться еще раз на рассвете внезапной атакой пробиться к своим. Щербатов поднял голову, внимательно посмотрел на него. И по глазам Сорокина увидел, что тот, так же как и он сам, понимает и знает: пробиться не удастся.

— Будем драться здесь, — сказал он.

Решение это давно сложилось в нем, но он хотел, чтоб и другие пришли к нему. Был только один достойный выход: зарыться в землю и тут, в окружении, принять бой. Жертвуя собою, связать немцев и дать корпусу оторваться и уйти. После этого боя в живых останутся не многие. Ночью, мелкими группами им, может быть, удастся просочиться сквозь кольцо, уйти в лес и начать долгий путь к своим. Надо было сообщить об этом решении Тройникову и Бровальскому на ту сторону, передать им приказ срочно сняться и уходить, оставив заслоны.

Сорокин выслушал спокойно, оглядел носки своих сапог.

— Я скажу Нестеренке, чтобы сам отобрал добровольцев, которые пойдут на ту сторону. Прислать их к вам?

— Пусть пришлет... Поговорю с ними.

Сорокин ушел, а Щербатов остался один. И снова мысли и образы обступили его. И вдруг нечаянно вспомнил Андрея совсем крошечного с темной реденькой челкой на голой голове и примятыми мягкими ушами. От того времени осталась плохая фотография: запеленатый младенец, такой же, как все младенцы, с остановившимися стеклянными глазами, в них свет, как два бельма. А у Андрея были живые раскосые темные глазенки; это потом они стали серыми. Щербатов вспомнил, как в голодном двадцать втором году, в крестьянской избе, продувавшейся со всех углов, они купали его, придвинув деревянное корыто к теплому боку печи. И это крошечное тельце, когда

разворачивали парные пеленки, теплые его теплом, поджатые и скрещенные, как в утробе матери, сырые ножки о шевелящимися красными пальцами на них... Все такое маленькое, мягкое, неотвердевшее, что страшно было брать в руки. Он физически ощутил его и запах этот детский... Никому в целом свете не нужный еще, кроме них двоих, стоявших над корытом, спинами загораживая его от сквозняка... Много лет и много всего должно было пройти, пока Андрей понадобится стране и людям.

Кто-то великий сказал, что с рождением ребенка у человека появляется новый объект уязвимости. И жизнь была Щербатова в самое уязвимое место, безошибочно найдя его. Он знал, что станет с Андреем, если не будет его. Судьбы многих сыновей, не отвечавших за своих отцов, как утверждалось официально, прошли в эти годы перед глазами.

И опять, уже не впервые сегодня, Щербатов почувствовал жжение и боль в левой стороне груди и в лопатке. Он встал и начал ходить за стогом, чтобы боль не отвлекала его, не мешала думать, понять.

Что можно было сделать? Когда не ты решаешь, а решают за тебя? Не таких, как Щербатов, давило и не такие гнулись. Можно было только погибнуть без смысла и пользы. Но из кого это сложилось? Жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями, и будущие жертвы садились судить их. Одни помогали, другие не видели, молчали. И пришло время, когда уже необходимо стало молчать. Но раньше, раньше... Когда еще только рождалось и было слабым, как все новорожденное, то, что потом получило власть и стало над партией, над страной, над душами людей. Когда он первый раз, увидев опасность, хотел сказать, но оглянулся на соседей и промолчал. Не тогда ли он сделал первый шаг на длинном пути, который привел к сорок первому году и к гибели Андрея?

Когда Андрей был маленьким, казалось самым главным накормить его, «вложить в рот», как говорила жена. Потом стал больше, и уже другое тревожило: в рот вкладываем, а вкладываем ли в душу? В душу ему сумели вложить. Честные, чистые мальчики. Сквозь всё незапятнанным дошел до них свет Революции, и, неся его в сердце, пошли они в свой первый грозный бой...

Щербатов сел и вдруг зарыдал беззвучно, весь сотрясаясь, и слезы текли по его лицу, которое он изо всей силы сжимал ладонью.

Мать должна вкладывать ребенку в рот, пока он еще мал и слаб, отец — завоевывать для него жизнь. Не дом оставлять в наследство, а мир, в который сын, выросши, вступил бы равноправным гражданином.

Щербатов долго сидел зажмурясь. Он думал о жене. Ей еще предстояло узнать. С закрытыми глазами он увидел ее лицо, ее глаза, такие же, как были у Андрея, а теперь единственные родные глаза. Только они двое во всем мире знали, что потеряли они. И смерть сына болезней и сильней, чем жизнь его, родила их, навсегда осиротевших.

...Адъютант, по другую сторону стога стерегший каждый звук, не решаясь показываться на глаза, услышал долгий, сквозь зубы, больной стон. И опять шаги, шаги до утра.

За два часа до рассвета с той стороны пробрался разведчик, весь окровавленный, правой рукой, как ребенка, неся перед собой перебитую пулей левую руку. Он сообщил час, когда корпус пойдет на прорыв, на выручку к ним. Морщась от боли, разулся и из сапога, из-под стельки достал записку. Под ней стояла одна только подпись — Тройникова. Второй подписи, которую и Щербатов и Сорокин ожидали увидеть, — подписи Бровальского не было.

Они не знали, что немецкое наступление застало Бровальского не в дивизии Тройникова, а уже по дороге в штаб, в полку, на который обрушился главный удар.

ГЛАВА XIX

В скопище людей, запертых в сарае, оцепленных со всех сторон, всю ночь шли разговоры. Люди переползали в темноте, ища земляков по мирной жизни, ища однополчан, — в пустыне бедствия душа искала родную душу. Только под утро Гончаров на короткое время заснул. И увидел сон. Он увидел землю, всю залитую туманом. Земля вращалась, стеклянно блестя под луной голубые океаны и моря. И заворачиваясь в сырые туманы, она уносилась, становясь все меньше, одинокая в пустоте среди звезд. А они смотрели ей вслед, и одной щемящей болью болело сердце, и даже во сне он чувствовал плечом тепло Борькиного плеча. Но проснулся Гончаров один.

Мертвые только во сне с нами вместе, в явь мы возвращаемся без них.

Бровальский же в эту ночь не сомкнул глаз. Он сидел, опершись спиной о бревенчатую стену, и думал. Жгла рана в плече, горячая на ощупь даже сквозь гимнастерку. Но сильнее этой боли была другая боль. И мысль кружилась безостановочно, загнанная в один нескончаемый круг. И не раз среди пережитого, что само вставало перед глазами, вспоминал он старшего брата. Брата не тех лет, когда тот был в почете, малодоступен и суров, а последних лет, когда уже с ним все случилось и он из тюрьмы пришел к Бровальскому в его холостяцкую квартиру. В эти последние предвоенные годы он впервые за взрослую жизнь так близко почувствовал брата.

Когда бы Бровальский ни встал — очень ли рано или в воскресенье попозже, — брат уже не спал. Одетый, он сидел на заправленной кровати в немой позе человека, привыкшего подолгу ждать. Зимой светало поздно, и он сидел в темноте, не включая электричества.

На стриженной голове его постепенно отрастали волосы, и становилось видно, какие они теперь редкие. И еще продолжали лезть. С шишками на черепе, в этой позе ожидания он как-то сразу стал похож на их отца, и у Бровальского, глядя на него, сжималось сердце. Сквозь черты брата отчетливо проступали отцовские и то национальное, что раньше не было заметно в нем.

Он помнил брата два года назад, в последние месяцы перед арестом, с двумя ромбами в петлицах, с черными подкрученными усами, которые он завел еще в гражданскую войну, когда деникинская пуля выбила ему передние зубы. Не лишенный честолюбия, уверенный в себе, вечно занятый, он считал время на минуты. Сейчас, зажав ладони в коленях, он сидел с опущенными плечами, а время текло мимо него.

Бровальскому казалось, что именно теперь, когда он реабилитирован и восстановлен, брат, человек самолюбивый, с еще большим рвением будет служить, вернет себе то, что у него было отнято, хотя бы чтоб доказать всем, кто на протяжении этого времени втапывал его честное имя в грязь. Но брат неожиданно вышел в отставку. Он читал газеты, слушал радио, был в курсе событий, но на все происходящее в жизни смотрел сквозь что-то невидимое другим людям, и Бровальский чувствовал, что он весь там, он не вернулся оттуда. Как-то раз он застал

брата стоящим у окна. Тот стоял и смотрел на людей. Было воскресенье, и люди шли по улице веселые, шли семьями, и громко играла музыка, а брат смотрел на них из окна, как единственный человек, знающий, что с каждым из них может случиться. Словно должно было произойти землетрясение и исчезнуть мир, и потому особенно жуткими были эти последние минуты веселья идущих по улице, ничего не подозревающих людей.

Впервые Бровальский понял, что происходит в душе брата, и испугался. Потому что с этим невозможно жить. Он понял, что все его усилия вернуть брата к жизни, все это было бессмысленно и безнадежно. А в то же время сам он, человек физически и духовно здоровый, не мог стать иным. Он делал то же, что делает большинство людей, охраняя свое духовное здоровье: не замечал. Инстинктивно старался не соприкоснуться со всем тем, что могло это духовное здоровье нарушить. Спортсмен, лыжник, отличный наездник, не раз завоевывавший призы, он привык чувствовать себя человеком, показывающим пример. Но, входя в дом, он весь поникал в присутствии брата, начиная под его внимательным ироническим взглядом стыдиться в себе того, чем в обычной жизни гордился. И чем сильнее сознавал он свою вину, тем неудержимей хотелось ему вырваться на свежий воздух и там вздохнуть полной грудью.

Брат почти никогда не говорил о том, что было с ним. А если рассказывал все же, то не в связи с каким-то событием, что-то напомнимшим ему, а в связи со своим ходом мыслей, не прекращавшимся в нем. Так, однажды, шурясь на блестящий стеклами книжный шкаф, отчего казалось, что он улыбается, рассказал, как уже после всего, когда их троих — его, комиссара и начальника штаба — оправдали, председатель трибунала сказал начальнику штаба: «Как же вы сможете смотреть в глаза своим товарищам, которых оклеветали? Как вы с этим в душе останетесь жить?» И тот потом сел, стриженный и седой, и заплакал.

— Ты мне о нем не говори! — сказал Бровальский, покраснев. — Он — сволочь, и его слезы — вода!

Но брат странно как-то посмотрел на него:

— Да? Ты так думаешь? Тогда я тебе расскажу, как он подписал. Пока от него добивались показаний на комиссара и на меня, он держался. Но потом его привели

на вопрос, и он услышал в соседней комнате голос своей жены. И тогда он подписал все. Кстати, полковник, который спросил его, как он теперь сможет с этим в душе жить, я его, этого полковника, встречал раньше. Только он тогда был майор и допрашивал меня.

И брат улыбнулся своей тихой, страшной улыбкой.

— Между прочим, ордер на мой арест знаешь кто подписал?

Он назвал имя известнейшего военачальника, в свое время героя, а теперь расстрелянного как врага народа.

— Только не думай, пожалуйста, что он действительно враг. Он просто в какой-то момент решил, что можно пожертвовать мною и тем самым спасти себя. Не для себя — для великой цели. Для которой он важнее, чем я. И не понимал, что, подписывая мне приговор, он уже подписывает приговор себе. Так бывало. Когда люди, молча отвернувшись, приносили в жертву одного, они тем самым утверждали право с каждым из них расправиться в дальнейшем. Все начинается с одного. Важен этот один. Первый. Стоит людям отвернуться от него, молча подтвердить бесправие, и им всем в дальнейшем будет отказано в правах. Что трудно сделать с первым, то легко в дальнейшем сделать с тысячами.

...Только теперь смутное беспокойство, сознание ложности того, что он делал, внезапно поразило Бровальского. Всегда чем разительней и несовместимей с общим строем жизни были отдельные факты, тем сильнее подымалось в Бровальском противодействие. Не самим фактам, а возможности принять их за проявление чего-то более глубокого. Он гордился своим умением, а в силу своей должности и людей учил этому умению — видеть жизнь в ее поступательном развитии, не сосредоточивать внимания на отдельных, нехарактерных мелочах, чтобы деревья не заслоняли леса. И вдруг он впервые усомнился: не было ли это его постоянное стремление пройти мимо, не замечать, не соприкоснуться со всем тем, что как-то могло нарушить его духовное здоровье, стремление, такое естественное для людей, некая защитная реакция здорового организма, не было ли это еще и чем-то иным, таким, о чем сейчас страшно было подумать ясней?

Он завозился на земле, стараясь подавить в себе эту мысль, но мысль уже возникла в нем. И, как живая жизнь, которая, зародившись, уже не могла исчезнуть бескровно,

она росла в нем и развивалась тем больней, мучительней, чем яростней он сопротивлялся. И боль, производимая ею в душе, была сильнее боли от раны. Бровальский заскрипел зубами. Ему казалось, что он только стиснул зубы, а он застонал. Но в темноте сарая, пропитанного запахом конской мочи, невыветрившегося конского пота и человеческой крови, стоп этот никто не услышал. У каждого здесь болели свои раны. Потом из темноты кто-то нагнулся к нему, без голоса, одним хриповатым дыханием спросил:

— Прикурить не найдется?

Здоровой рукой Бровальский достал из кармана галифе никелированную немецкую зажигалку, подаренную ему кем-то из штабных, в свою очередь раздобывших ее у разведчиков, протянул. Вспыхнувший бензиновый огонек осветил снизу шевелящиеся ноздри, толстые, всасывающие воздух губы с сигаркой в них — верхняя была пересечена шрамом и раздвоена. В сумраке угадывались дюжего склада плечи и красноармейские петлицы на засалившемся от пота отложном воротнике.

Огонь погас, только светился в темноте красный уголек сигарки, роняя искры. И тот же, показавшийся Бровальскому приятным хриповатый голос, дыша махорочным дымком, сказал:

— Хороша у тебя зажигалочка... комиссар...

Он поигрывал ею на ладони, испытывая Бровальского, как бы раздумывая: отдавать или в карман положить? При свете разгоревшейся сигарки Бровальский близко увидел ежившиеся усмешкой двойные губы, узкие от ненависти чужие глаза. Глаза сказали: «А не скрылся, комиссар. Узнал я тебя...» Бровальский нераненой рукой перехватил его руку, выворачивая, потянул к себе. Зашуршала в сене упавшая зажигалка. Какой-то момент они боролись молча, только сигарка вычерчивала огненные зигзаги в темноте. Широкая в запястье рука вырвалась без большого усилия, и уже издали голос предупредил, грозясь:

— Но-но! Полегче!.. Ты эти привычки-то бросай!..

Никогда еще Бровальский не испытывал такого нестерпимого желания бить. И внезапная ненависть разрядила душу. Именно сейчас, когда не в его силах исправить, начать заново, он не отрекался ни от чего. Только предатели в момент поражения сразу начинают понимать всё задним числом. В его жизни было много такого, что

не раз еще повлечет за собой молодые, честные души, то главное, ради чего человеку стоит жить.

И всю эту тяжкую ночь среди засыпавших и просыпавшихся курить, мучимых тревогой людей, стонавших, бредивших, даже во сне не помирившихся с пленом, он не спал, терся спиной о бревенчатую стену, и жар от раны в растревоженном плече подымался в нем. Ссохшимися губами пил сквозь щель похолодавший к утру, несший привкус росы ветерок, пил его и не мог напиться.

Утром всех пленных выгнали из сарая. И в этот момент, когда они, скапливаясь в воротах, из темноты выходили на белый, бьющий в глаза свет жаркого утра, они чувствовали со сжимавшимися сердцами, как переступают невидимую грань, за которой каждый вооруженный немец становился властным в их жизни и смерти. Все, что до сих пор охраняло и защищало их — закон, порядок, привычки и умение, оружие, которое недавно еще было в их руках, — все это осталось в прошлой жизни, и не было ничего, кроме сознания своей незащитности. Не было еще сложившегося опыта, не было человека, который бы в эту первую страшную минуту сказал им, что и это можно пережить, а были немцы с автоматами на груди и в касках, редким оцеплением стоявшие от самых ворот, вольно расставив ноги, пропуская пленных сквозь строй. И каждый под их взглядом, глядящим поверх голов, инстинктивно жался в середину, стараясь стать незаметным.

Проходя в общей толпе, сжимаемый с боков и вместе с тем выдавливаемый из середины к краю, Бровальский, оборонявший свое раненое плечо от толчков, вглядывался в равнодушные под касками лица немцев и их протянувшийся строй. Потом пленных построили в две шеренги, и тут только Бровальский увидел, как непоправимо изменились люди за одну ночь. У многих, как они спали на сене, пилотки были натянуты на уши, иные были без обмоток, и концы портянок торчали вверх из зашнурованных ботинок. Он видел командиров со всеми знаками различия, подчеркнуто сохранявших здесь, в плену, достоинство и выправку, но больно поразили глаз двое-трое в красноармейском обмундировании не по росту, из которого они вылезали всеми суставами. Они старались выглядеть особо жалкими, а выглядели переодетыми. Но во всем этом многообразии и непохожести отдельных людей

было уже что-то общее, появившееся за эту ночь. Как за одну ночь на бритом лице проступает щетина, старящая и делающая его однообразно-серым, так в опущенных взглядах, в обостренном ожидании толпы проступило то главное, что отличает пленника от вольного человека.

Пленным красноармейцам казалось, что сейчас, когда их выгоняли из сарая, начнется самое страшное. И все их душевные силы к этому моменту напряглись. Но время шло, а они всё стояли посреди улицы на белой от солнца пыли, и солнце, подымавшееся все выше, палило сверху непокрытые затылки и мокрые, подсыхавшие раны, на которые во множестве, жужжа, липли мухи. По всем человеческим понятиям, от которых они не могли отрешиться, как не могли они сейчас не думать о себе, когда для каждого из них совершалось самое главное, по всем прежним понятиям не было никакого смысла и нужды в этом их бесконечном стоянии на жаре. И оттого, что смысл этот, казалось им, должен все же быть, они искали его, страшась и мучаясь, изнуряя себя, придумывая самое худшее.

Прямо против них на деревенской площади, где еще уцелели коновязи, изгрызенные лошадьми, среди сухого помета и воронок от снарядов стояла солдатская кухня и повар-немец мешал в котле что-то густое, обдающее паром. Тут же горели два высоких костра; пламя и искры взлетали выше немцев, окруживших огонь и стоявших лицами к нему. На одном, завалив соломой, опаливали целую свинью. На другом костре несколько немцев, скинув мундиры, в рубашках и голые по пояс, жарили большие куски свинины, то всовывая их в огонь на шомполах, то выхватывая и что-то крича. Сочащиеся свежей кровью куски мяса, облитые растопленным салом, блестели; блестели потом и жиром разгоревшиеся от огня лица немцев и их голые на солнце тела, а запах жарящейся свинины и дым относил в сторону пленных. И они, голодные, стоящие под солнцем с пересохшими от жажды ртами, старались не смотреть в ту сторону. Им казалось, что все это делается не просто так, а в какой-то пока еще непонятной связи с ними. Каждому из них, единственно знавшему, что такое была его жизнь, видевшему теперь весь мир и все происходящее сквозь нее, как сквозь увеличительное стекло, невозможно было ни отрешиться, ни понять, что немцы могут сейчас делать что-то не в связи с

ними. Что все обстоит проще и хуже. Не только отдельная жизнь кого-то из них, но и жизнь всех их вместе, стоящих под солнцем, просто не интересует их. Для немцев эти пленные были все на одно лицо и не отличались от сотен других пленных, которых они уже видели, и видели не раз, и еще увидят. Что с ними сделают — это не их дело. После вчерашнего боя, где каждый из них мог погибнуть и не погиб, они особенно остро ощущали полноту жизни в этой разрушенной русской деревне. И интересовало их только то, что имело отношение к ним самим: свинина, которую они жарили на костре и готовились есть. Присутствие пленных только сильнее давало почувствовать эту полноту жизни, их торжество и право, древнее право победителей пользоваться жизнью.

Постепенно жара, сушь и отвесно палящее солнце делали свое дело. Раненые начали падать тут же в пыль. И вид упавших возбуждал в живых защитное действие. Сосредоточиваясь на главном, суживая в себе будущее до нескольких часов, которые надо было выстоять, люди тунели, словно наяву впадали в спячку, не подозревая даже, что сейчас вырабатывается в них первый опыт, который наименее нервно организованным и самым сильным физически поможет пережить все и плен тоже.

Бровальский по всем приказам и действиям немцев хорошо знал, что ему — комиссару, еврею — жить осталось меньше других. Но хотя он не только знал это, но и нашел в себе мужество не обманываться, он в первые минуты пережил то же, что и все. И только после, поняв это, в душе усмехнулся над собой. В том высоком состоянии духа, в котором с ночи находился он, главным была не его собственная жизнь, а вот все же цеплялся за нее, как цепляется больной за руки врача, выдергивающего у него измучивший зуб.

Он стоял в общей толпе, по временам облизывая сухим языком растрескавшиеся от жара губы. Жар этот от раны он чувствовал во всем теле, особенно в костях, в глазах и голове, и ему с каждым часом все тяжелей было стоять под солнцем. И уже несколько раз бывали моменты, когда он словно засыпал вдруг, все уходило, и сразу становилось легко, начинало клонить, клонить, будто проваливался. Вздвогнув, очнувшись, он с сильно бьющимся сердцем испуганно оглядывался, боясь, что стоявшие рядом бойцы видели его слабость. Его мучило от запаха

жарящегося сала, и он единственно старался не смотреть туда, куда жадно смотрели глаза многих. Там, посреди площади, был низкий деревянный сруб колодца с журавлем и висевшей в воздухе деревянной бадьей, с вросшим в землю каменным обомшелым корытом для скота. А вокруг колодца мокрая земля была размешана в грязь множеством сапог и кое-где в следах блестела вода. На нее, на эту мокрую землю, смотрели сотни глаз пленных, стоящих на жаре. Бровальский усилием воли заставлял себя не смотреть туда.

Какне-то немцы в военной форме, особенно верткие, с фотоаппаратами и кинокамерами засновали в толпе пленных, кого-то отбирая и выводя. Они быстро приближались, и с ними вместе приближалась тревога по рядам. И вот один стал перед ним. Это был молодой немец, длинный, узкогрудый, с большим кожаным ящиком на боку и цыплячьей вытянутой вперед шеей. Бровальский близко от себя увидел его лицо, которое могло быть теперь лицом судьбы. Оно было все в коричневых, слившихся пятнами веснушках, даже оттопыренные под пилоткой уши были покрыты коричневыми пятнами. И на этом лице с рыжими глазами озабоченно моргали белые от корней ресницы. Глаза, перебежав, задержались на Бровальском, и Бровальский почувствовал, как из всего того, что составляло его сущность, они выбирают какой-то один пужный сейчас признак, по которому предстояло решить, подойдет он или не подойдет. И в бесконечную долю секунды, пока это решалось, все в нем папрглось и ждало.

Немец шагнул дальше и через несколько человек от Бровальского вывел из толпы красноармейца, маленького, черного, без пилотки и без ремня, необыкновенно грязного, в пропотелой и засалившейся на лопатках гимнастерке. Он вел его перед собой, как пойманную удачу, одной рукой уже расстегивая кожаный ящик на боку, другой цепко держа его за рукав. Остановив у колодца, где уже стояло несколько выведенных из рядов пленных, немец заслонил его спиной и, весь изгибаясь, нацелился на него фотоаппаратом и так, и так, и так. И отпустил. Он ничего не сделал, только сфотографировал его, а красноармеец шел обратно как пьяный. И когда подошел ближе, Бровальский увидел то решающее, тот самый признак, по которому выбрали не его, а этого человека. Лицо красноармейца с явными чертами монгольской расы было неправильной

формы. Словно в детстве, когда кости еще мягки, ему надавили на левую сторону лба, и все сместилось косо: и брови, и скулы, и широкий нос. Но на этом лице, бледном сквозь желтую от загара кожу, большие черные, растерянно смотрящие на людей глаза сияли таким счастьем, что, уродливое, оно казалось сейчас прекрасным. Это возвращался человек, оставшийся в живых.

Осененный догадкой, Бровальский вглядывался в лица бойцов, которых выводили из строя, фотографировали и возвращали назад. Во всех в них были следы каких-либо физических недостатков. При этом они, как правило, были коренастые, крепкие, способные нести тяжелую работу. И он понял, что происходит.

Он вдруг увидел эту огромную машину, начинавшуюся фронтом с его ползущими вперед танками и идущими в атаки автоматчиками, машину, переминавшую и выбрасывающую назад все, что попадало под ее гусеницы. Она кончалась где-то очень далеко позади, эта расплывшаяся по земле машина, но то, что он видел сейчас, здесь, было ее составными частями, крупными потому только, что он видел их вблизи, а единицей измерения была его жизнь. Как первые солдаты еще в бою снимают с пленных часы, отбирают авторучки и портсигары, так эти, из роты пропаганды, в ближнем тылу, снимали с пленных дальнейшее, продолжая процесс переработки. Они не стреляли ни в кого, не мучили, не убивали, иным пленным даже давали по сигарете. Они только фотографировали особым образом и по особому отбору. Но эти их фотографии и кинокадры, составленные вместе, должны были дать машине горючее, необходимое для ее бесперебойного действия. Показанные в тылу и в окопах кадры эти должны были возбуждать не только сознание расового превосходства, но и утвердить в мысли, что совершающееся убийство оправдано и необходимо. И те, кто на фронте стрелял в вооруженного противника, рискуя при этом собственной жизнью, с кого каждодневная опасность и сложные понятия солдатского долга и чести как бы полностью снимали ответственность и вину, и те, кто в тылу, в безопасности, расстреливал безоружных, руководствуясь приказами начальства и тоже понятиями долга и чести, — разные части одной машины уничтожения, не виноватые ни в чем, если бы это были пригнанные друг к другу металлические шестерни, и виновные, поскольку это были не шестерни,

а люди, соединившиеся вместе и вместе делавшие одно общее бесчеловечное дело, — всем им, и тем, кто приказывал, и тем, кто приказы выполнял, эти кинокадры и фотографии должны были дать еще одно необходимое подтверждение. Изготовленные особым образом, они должны были наглядно, осязаемо утвердить их всех в представлении, что люди, которых они вместе убивают, в сущности, не люди и к ним, к низшей расе, неприменимы те представления и нормы, которые они применяют к себе. Дерево не может чувствовать боли, как чувствует ее человек. И хотя внешнее человекоподобие смущает и вызывает ложные чувства, всех этих физических уродов с явными признаками вырождения и дегенерации, всех этих недочеловеков, как бы это ни было неприятно по причинам, не имеющим к ним никакого отношения, всех их надо уничтожать, как уничтожают крыс, вредных насекомых и сорняки, выпалывая, сжигая и тем очищая землю, чтобы на ней росло только сильное и здоровое, единственно имеющее право на жизнь.

Бровальский понял это внезапно, не столько мыслью даже, как чувством, внезапным озарением и ненавистью, поднявшейся в нем. Но пленный красноармеец, которого сфотографировали и отпустили, возвращался в строй с сигаретой в руке и счастливой, пристыженной улыбкой, мучительно комкавшей его лицо.

За деревней уже некоторое время раздавался треск мотоциклов и короткие пулеметные очереди. Как на мотодроме, он то усиливался кругообразно, то отдалялся. И вдруг в просвет между разрушенными домами вырвался мотоциклист с бегущим впереди красноармейцем. Мотоциклист гнался за ним по полю, по неровной земле, вилля передним колесом, и давал пулеметные очереди. Красноармеец кидался от них в стороны. В распоясанной гимнастерке, прилипшей от пота между лопаток, прижав локти к ребрам, он бежал горлом вперед, словно стремился вырваться из своих тяжелых, трудно отрывавшихся от земли сапог. И тут второй мотоциклист, налетев сбоку, погнался за ним в другую сторону.

Немцы на площади, давно кончившие опаливать свинью и обмывавшие ее у колодца, теперь стояли и смотрели. Один из них, огромный, в расстегнутом на жаре мундире, с мощным животом, как обмывал свинью, так сейчас держал ее в одной руке на весу, поставив мордой на землю, мокрую и белую, с перерезанным горлом, по кото-

рому растекалась размытая водой кровь. Бровальский не видел, когда к ним подъехала легковая машина и из нее вылез офицер. Расставив ноги в бриджах, в высокой фуражке на голове, с руками назад, он тоже стоял и смотрел.

Площадь вдруг взорвалась здоровым хохотом: это красноармеец упал и, оглядываясь на мчащегося на него мотоциклиста, поспешно и страшно медленно подымался с земли. Мотоциклистов было уже трое, вместе они гоняли его по кругу, передавая один другому и снова устремляясь на него издали и стреляя. Немцы на площади, войдя в азарт, хохотали и кричали, как на стадионе. Присутствие пленных, стоявших под охраной, придавало зрелищу особую остроту, и каждый из немцев в отдельности и все они вместе, со свиньей, которую держали за задние ноги вверх, были олицетворением солдатского немецкого духа, здоровой немецкой плоти.

Бровальский глянул на пленных. Десятки разных глаз со страшным напряжением смотрели на поле. И то, что происходило там, происходило в них самих. Но уже некоторые не смотрели туда. Отведя глаза, они стояли с замкнутым, беспокойным выражением, как бы не присутствуя при этом. Мысленно они уже отдали этого красноармейца и отделились, боясь только, как бы все связанное с ним не перенеслось на них. И вот это было самое страшное: разделение, начавшееся в людях, производимое одним из колес работавшей машины.

Красноармеец опять упал, но поднялся и теперь бежал сюда, а за ним, для большего устрашения пригибаясь к рулю, несся мотоциклист, под громкий хохот на площади. Бровальский увидел резко лицо красноармейца. Белое, выстиранное потом, с провалами глаз и щек, с черным провалом рта, захватывающего воздух, с выступавшими в расстегнутом воротнике мокрыми ключицами. Задышающийся, загнанный до той стадии, когда человек ничего уже не способен понимать, а может только бежать, пока не упадет, он бежал на них. Он был одним из них, такой же, как они, он был их частью, но только они стояли под охраной, а за ним гнались на их глазах. И он бежал сейчас к ним. Но тут другой мотоциклист, с треском вылетев из-за дома, перерезал ему путь и погнал обратно в поле.

И в тот же момент Бровальский, порвав в себе общую цепь, сковавшую всех, вышел из рядов мимо часового.

Он шел через площадь, неся прижатой к телу правую раненую руку, не думая о том, что в него могут выстрелить или остановить. Шел, как человек, имеющий право. Если бы он метнулся или побежал, в часовой сам собою сработал бы древний инстинкт, наиболее остро проявляющийся в собаках и в людях при виде бегущего. Но Бровальский не бежал и шел не от опасности, а к ней по прямой через площадь, сокращая расстояние. И часовой, для которого и он и все пленные только что были общей толпой, над которой он чувствовал неизмеримое превосходство вооруженного над невооруженными, шел за ним с наставленным автоматом, не решаясь сделать что-либо, словно конвоировал его.

На площади немцы тоже увидели и оборачивались, иные с интересом ожидая, что их еще повеселят. Они были все вместе и вооружены, а он один, ранен, и солдат с автоматом шел за ним, не отпуская далеко. И все же что-то в этом раненом командире, который один шел на них, было такое, что передавалось на расстоянии, как тревога.

Из всех лиц немцев, слившихся в одно, Бровальский видел сейчас только лицо офицера и в него смотрел мрачно блестящими глазами. Стал вдруг отчетливо слышен треск мотоцикла за деревней. В наступившей тишине все почувствовали: что-то должно случиться. Это чувствовали пленные, боясь и радуясь, чувствовали немцы.

— Прекратите представление! — тихо от душившей его ненависти сказал по-немецки Бровальский, настолько тихо, что никто из пленных на отдалении не расслышал. Они только видели, как он что-то сказал.

Бровальскому всегда казалось, что он живет ради людей, очень многим жертвуя для них. Он ограничивал себя во всем, что в обычном понимании называют личной жизнью. Но именно это самоограничение и четкость, постоянная внутренняя мобилизованность давно стали его личной жизнью. Он испытывал от них духовное удовлетворение такое же сильное, как и то возбуждающее на целый день физическое удовольствие, какое по утрам испытывало его тело после полтора-двух часов гимнастики на снарядах и обливания ледяной водой. И может быть, впервые он не думал ни о людях, «ради которых он живет», ни о себе, ни о том, какое действие на них окажет его поступок. Он так сильно чувствовал в себе их всех, стоявших

под автоматами, и того загнанного красноармейца, все еще бегавшего по полю, их позор, и боль, и придавленность, что все, что он делал сейчас, было его нравственной потребностью. Это была его ненависть, его позор, его боль. Он шагнул к офицеру. Среди немцев произошло какое-то движение, и краем сознания Бровальский почувствовал опасность, надвинувшуюся на него. Но на это уже не оставалось времени, он не оглянулся и не видел, что конвоир с упертым в живот, наставленным автоматом заходит сбоку. Шагнув, он увидел, как офицер высоко поднял брови, обернулся назад, словно ища кого-то, кто мог бы объяснить, чего хочет этот пленный. И Бровальский понял: немец боится позора, вооруженный боится его, безоружного, и за помощью обернулся назад. И с торжеством, с презрением и ненавистью он почувствовал в руке, как сейчас ударит его, собьет с ног. Но тут конвоир, приседая и клонясь назад, снизу вверх выпустил в его левый бок всю обойму.

С нахмуренным лицом Бровальский обернулся на него и увидел не конвоира, а увидел перед собой поле и небо. По этому полю, вставшему стеной, застыв на нем навсегда, бежал вверх красноармеец, а немец на мотоцикле преследовал его. И тут все вместе — и поле, и небо — повернулось и рухнуло.

Часа через два пленных слили с другой колонной и погнали по жаре. Конвойные, молодые немцы лет по двадцати, шли обочиной по раздавленной у края поля ржи, неся автоматы в оголенных до локтей руках. Впереди на рослом сытом коне качалась спина начальника конвоя.

Парило. Зной перед грозой стоял тягостный. Только первые ряды шагали на ветерку, а дальше поднятая погами пыль закрывала колонну с головой и люди шли в ней вслепую, смутно видя только спины идущих впереди. По сторонам дороги валялась разбитая техника, вздутые на жаре лошади.

Гончаров шел в ряду вторым с краю. На уровне их шеренги, не отставая и не уходя вперед, шел обочиной конвойный. Расстегнув мундир до пряжки пояса на животе, красный от жары и загара, лоснящийся потом, он оглядывал пленных яростными глазами. Вид беззащитности и оружие в руке горячили его. Пленные под его

взглядом опускали глаза. Впереди у них уже прошла одна колонна несколько часов назад, и в кюветах лежали застреленные.

Задним рядам еще ничего не было видно, когда передние стали сбиваться, уступать дорогу: встречно идущие танки оттесняли их. Танки шли к фронту. Один за другим они стремительно возникали, серые, с раскрытыми башнями, взвихряя за собой плотные клубы душной пыли. И оттуда, из пыли, покачивающейся пушкой вперед возникал следующий танк с танкистом, стоящим в башне перед откинутой крышкой люка. Оглушенные ревом моторов, обдаваемые выхлопными газами и жаром, пленные шли по трясущейся земле.

Вдруг один танк свернул в толпу. Люди шарахнулись от него, сыпанули в рожь. Живой крик ужаса взметнулся над ревом моторов. Танк выполз на дорогу, одна гусеница его была мокрой, мягкая пыль, прилипающая, наматывалась на нее.

Когда танки прошли, конвоиры, сами злые и вымещая зло на пленных, ударами прикладов и выстрелами согнали их на дорогу. И всех их, после пережитого страха, остро воняющих потом, погнали дальше. Проходя мимо этого места, пленные расступались, обходили то, что осталось в пыли. Позади колонны раздавались выстрелы.

Гроза, с утра собиравшаяся над полями, разразилась сразу. Стало темно, в блеске молний хлынул ливневый дождь, в момент вымочив всех до нитки. Люди шли, подставляя дождю лица, пили его, на ходу ловя струи раскрытыми ртами, обмывали дождем запекшиеся раны и ушибы.

А часом позже уже сияло солнце и от земли подымался пар. Сверкали каплями колосья, пар подымался от мокрых гимнастерок, от брони танков, ушедших уже далеко на восток. Дождь смыл с них пыль и грязь, и стальные тела их блестели.

Все ожило и запахло, и воздух стал легкий. Над дорогой, над мокрыми полями встала радуга. И под нее втягивалась мокрая колонна пленных.

Когда же солнце село и вполнеба сомкнулся багровый закат, отделенный от земли полосой тумана, из хлебов, там, где прошла колонна, осторожно, по одному стали подыматься люди. В тот момент, когда танк врезался в толпу и люди шарахнулись, давя друг друга, и живым

страх смерти слепил глаза, несколько человек успели все же скрыться во ржи. Они слышали, как конвоиры, стреляя и крича, вновь сбили колонну; лежа на земле, прижимаясь к ней бьющимися сердцами, ждали, пока колонна прошла и скрылась вдаль. В лесу Гончаров собрал их, всего одиннадцать человек. На месте старой обороны они отыскивали оружие, засыпанное в окопах, валявшееся на земле, и вот оно снова было у них в руках.

Дождавшись темноты, тронулись в путь. Туда, где шел бой, где была сейчас родина,— на восток, торопя восход солнца. Им предстоял путь великих испытаний и мужества, долгий путь, он только начинался. Они шли, чтобы пройти его до конца.

ГЛАВА XX

Сквозь туман уже ощущалось тепло солнца, но по-прежнему все в нем, как в воде, теряло и вес, и цвет и, удаляясь, становилось бесплотным. Ушли в засаду танки. Четыре кормы их, превратясь в серые тени, растаяли. Даже звук моторов заглох в тумане. Взвод за взводом в мокрых касках ушла по хлебам пехота в туман. И после оттуда, куда ушла она, раздались первые звуки боя.

В девятом часу туман согрелся и начал быстро подыматься. Стало видно на ближнем холме разбитое молнией дерево. Кривое и черное, оно стояло, как над обрывом на краю света, все в клубящемся тумане. Потом за ним открылась даль: ровное поле спелой ржи. Мокрое от росы и осевшего на колосьях тумана, оно, словно вобрав в себя свет, теперь излучало его, блестело и искрилось навстречу солнцу. И по этому полю на всем его пространстве бежала пехота, преследуемая взрывами.

— Гляди, гляди! — говорил Тройников, указывая рукой. Позади отступавшей пехоты на краю поля уже подымались из хлебов башни немецких танков. Он насчитал четырнадцать штук.— Гляди, Куропатенко! Неплохо идут!

Командир полка Куропатенко, гвардейского роста, шурился, постегивая себя сложенной плеткой по голенищу. Из-под рыжих усов хищно блестели прокуренные зубы.

Нога, по которой плеткой постегивал себя командир полка, дрожала мускулом. Куропатенко за козырек сердито дернул на лоб фуражку:

— Пошел!

Не отрываясь от бинокля, Тройников кивнул. Глянул уже вслед. Куропатенко, сбегав вниз, прыгнул на коня, которого в поводу держал его ординарец, и, клонясь щекой к конской гриве, поскакал напрямик через поле, под разрывами, к себе на правый фланг. За ним с немецким автоматом за спиной неловко и не в такт подпрыгивал задом на седле ординарец.

Уже в бинокль видны были лица пехотинцев. Это, смешавшись, отступал полк дивизии Нестеренко.

Две ночных попытки прорваться к окруженным были отбиты. Перед утром разведчики, ходившие к немцам, принесли оттуда младшего лейтенанта. Это был командир взвода конных разведчиков Крохалев, успевший прославиться в первые же дни войны. Смертельно раненный, он еще с километр полз. Разведчики нашли его без сознания; он умер, так и не придя в себя, ничего не сказав. Было ясно: его послали оттуда и что-то он должен был передать.

В самой глубине души Тройников уже понимал: есть сейчас только одно правильное решение. И это решение было жестоким: окруженным оставаться в окружении и вести бой, притянув на себя немцев, а корпусу срочно уходить. Но это решение могли принять только они сами, а он бросить их не мог. Не военная целесообразность, а законы воинского товарищества вступали в силу. И по этим законам уйти отсюда они могли или все вместе, или никто. Он послал к Щербатову разведчиков, назначив место прорыва и час.

После двух неудачных попыток искать счастья в третий раз на том же участке было не только бессмысленно, — это было губельно. Это значило заранее обречь себя на разгром. Но когда после двух попыток он не воспользовался ночью и не ушел, немцы должны были понимать, что он будет снова пытаться спасти окруженных. И в этой несложной партии они легко могли рассчитать все его ходы. Умным легко быть, когда ты силен. Когда у тебя авиация, танки. Но авиация и танки были у немцев, а у него из всей танковой бригады оставалось четыре латаных танка, и неизвестно даже было, что правильней: то ли в бой их бросить, то ли беречь.

Он мог бы стянуть на узком участке всю артиллерию, все силы и пойти на прорыв. И прорваться. Но на это можно было решиться один раз: если бы они уже пробивались через фронт к своим. Истратить снаряды, то есть фактически потерять артиллерию, пробиться к окруженным ценой огромных потерь и вместе с ними остаться в окружении — такая победа в тылу у немцев была бы гибелью.

Из всех вариантов он выбрал самый худший и самый простой: наступать еще раз там же, где наступал. Он не был сейчас силен, так пусть немцы представляют его слабей и глупей, чем он есть. Разведка подтвердила: немцы к этому готовились, они подтянули танки, они ждали. И весь расчет Тройникова был не на внезапность, а на то, что немцы заранее предвидят этот бой и будут действовать уверенно, не боясь неожиданностей. Ночью, в темноте они не стали его преследовать. Теперь они неминуемо развернут преследование, чтобы довершить разгром. Тройников поставил на флангах полки Прищемихина и Куропатенко со всей артиллерией, а в центре на широком фронте должен был продемонстрировать наступление один полк дивизии Нестеренко, чтобы потом, отступая, увлечь за собой немцев в мешок. И когда они достаточно углубятся, с тыла должны были ударить Прищемихин и Куропатенко.

И вот бой этот разворачивался. Стоя на холме, Тройников видел его в бинокль. Он видел, как по полю в высоких некошенных хлебах бежит пехота, и среди бегущих взлетают из земли взрывы, и люди падают, и из тех, кто упал, многие остаются лежать, а другие пробегают мимо. На плане стрелки и значки были условного цвета, а отступление это было ложным. Но для людей, которые бежали, смешавшись под огнем немецкой артиллерии, смерть оставалась смертью и кровь была своего единственного красного цвета. Не некие безымянные потери, а живые люди бежали по полю, и в бинокль попадали их лица, запаленные, облитые потом, хватающие воздух раскрытыми ртами. Они оборачивались на бегу назад, откуда танки стреляли им вдогон.

Туман растаял в вышине под напором солнца, и пасмурный поначалу день осветился. Поле ржи было видно теперь до края; там показались уже мотоциклисты. Нырля в хлебах, давя их колесами, мотоциклисты входили в прорыв. Они уже достигли той черты, на которой остались

лежать первые убитые в бою красноармейцы. Наши батареи через головы бегущих били по немцам заградительным огнем, кучно взлетали разрывы, но мотоциклисты, как нагрянувшая саранча, скакали по неровной пахотной земле из разрыва в разрыв, мчались вперед, оставляя позади опустошение: вытопанные, поваленные хлеба. Пыль, поднятая каждым колесом, относимая ветром назад, разрастаясь и сливаясь, сплошной косою завесой, подымавшейся к небу, закрывала даль. И из этой пыли выскакивали всё новые мотоциклисты, маленькие и верткие, а сзади уже маячили, как в дыму, тяжелые крытые машины с пехотой. Вся эта масса войск, разлившаяся на широком пространстве, устремилась в преследование, не слезая с колес. Брешь в обороне засасывала их, втягивала в себя.

Каменно сжав челюсти, Тройников смотрел не отрываясь, боясь только одного: как бы немцы не изменили своих уже обнаружившихся намерений.

— Хорошо идут! — сказал он и, обернувшись, оглядел командиров светлыми глазами. — Слаженно действуют, сволочи!

— Еще б не слаженно! — обиделся стоявший рядом подполковник-танкист. Упершись руками в бруствер траншеи, он смотрел на немецкие танки, вздрагивая от возбуждения большим телом, как от озноба. — У них все команды по радио, а у меня четыре танка осталось, и те нерадийные. Надо команду передать — высовываешься из люка, машешь флажками: «Делай, как я!» Вот он меня вчера и сжег в этот самый момент.

Но тут какой-то артиллерист удачными выстрелами поджег сразу две машины с пехотой, и внимание всех переметнулось туда. Было видно, как из огня выскакивают уцелевшие немцы.

— Обнаглели окончательно.

— Воюют прямо с машин... Чтoб и сапог не запылить...

Тройникова соединили с Прищемихиным. Он говорил, а внимание и мысль были прикованы к бою.

— Прищемихин? Ну как у тебя? Спокойно? Угу...

Во фланг немцам выскакала по хлебам батарея семидесятишестимиллиметровых длинноствольных пушек — четыре конных запряжки. Командир батареи, не слезая с седла, — под ним была тяжелая артиллерийская лошадь с белым животом и белым боком — на виду у немцев смело разворачивал орудия.

— Тебе движение пехоты и танков видно?

Ударили орудия во ржи. Командир батареи на коне, поднявшись на стремянах, что-то кричал и яростно, плетью указывал на танки. В какой-то момент он обернулся, и Тройников увидел его молодое в азарте боя лицо.

— Молодец! — сказал он в трубку, наблюдая стрельбу. — Не тебе, Прищемихин, это тут... А ты — дай, дай втянуться ему. Пусть втянется... Не горячись...

Один из танков заметался по полю, из кормы его тек черный дым. Резко меняя направление, он кидался в стороны, словно это, дымившее сзади, жгло его. Батарейку заметили, несколько танков повернули на нее. Но орудия стреляли безостановочно.

Вдруг между батареей и танками Тройников увидел ползущую во ржи медсестру. В каске на голове она ползла на четвереньках, коленями и ладонями переступая по земле, а на спине ее, ничком, с повисшими вниз волочащимися руками лежал раненый, забинтованная голова его, как неживая, перекатывалась по ее голове.

Из желтой ржи перед батареей взлетели вверх черные взрывы, танки били по ней. Медсестра остановилась. Как собака со щенком в зубах, она озиралась загнанно, стоя на четвереньках. Хлеба стеной обступали ее, она ничего не видела в них ни перед собой, ни сзади. И встать тоже не могла: раненый лежал на ее спине.

С трубкой в руке, забыв про Прищемихина, Тройников обернулся, ища глазами, кого бы послать к ней, но увидел только запрокинутые вверх головы: донышки фуражек и пилотки, придерживаемые руками. На высоту, зайдя с тыла, пикировал самолет. Тройников увидел его в тот момент, когда от него оторвалась и косо летела вниз бомба.

— Кажись, наша!.. — пристыженно засуетился вдруг подполковник-танкист, оглядываясь на всех. И эта растерянная улыбка на грубом мужественном лице и виноватый голос — было последнее, что видел и слышал Тройников. Дальше был свист, удар и удушливая темнота.

Стоя в окопах, лежа в хлебах, пехота ждала на расстоянии одного броска от немцев. Рассвело. Туман держался, затонив лога и низины, но на поле он заметно

редел. Из него проступали мокрые дымящиеся спины стогов. Бой шел на той стороне уже около получаса. И вот ударили орудия на фланге: Прищемихин начал артподготовку. Полковые пушки отсюда жиденько поддерживали его; снарядов было мало.

Стоя в траншее, Щербатов вслушивался в звуки боя. От толчков воздуха с наклоненной фуражки его осыпался песок. Солнце, вставшее до половины из тумана, светило ему под козырек, и этот утренний мягкий свет не смягчал его сурового лица, изменившегося за одну ночь.

На той стороне смолкла артиллерия. Наступила мгновенная тишина: это пехота пошла в атаку. Щербатов поднял голову и прямо перед собой увидел солнце, которого сегодня уже не увидел его сын. В этот момент он не думал об Андрее, он все время чувствовал его в себе. Сощуренными глазами он оглянулся вокруг. Ближе от него стоял Нестеренко с биноклем на груди, нахмуренный и решительный; на его красном лице отчетливой была седина на висках. Он увидел молодые лица солдат, освещенные утренним светом. Он был старше их не на годы — на целую жизнь, и он вел их в бой. Он всех их чувствовал сейчас своими сынами, вобрав их в себя. И сильный, страстный свет зажегся в его душе.

Только адъютант, стоявший рядом, услышал, как он сказал: «Пошли!» — и, вздрогнув радостно, сдернул с шеи автомат. Но все увидели, как командир корпуса поднял в вытянутой руке пистолет и махнул им. И люди полезли из траншеи, из окопов, спеша друг перед другом.

Они шли в пшенице по грудь, цепью, подравнивая шаг, а впереди них еще взлетали последние разрывы. Кто-то сунул в руки Щербатову винтовку, и он, спрятав пистолет, взял ее. И когда он почувствовал ее в руках — ствол с накладкой в одной и шейку приклада в другой, у бедра, что-то прежнее, привычное, что невозможно забыть, сквозь годы вспыхнуло в нем. Словно было это не теперь, а давно, и вот так же в пшенице шли они цепью в атаку с винтовками наперевес. И вместе с ним шли все те, кого уже не было в живых.

Он явственно ощутил их сейчас рядом, тех, с кем связан был жизнью навсегда. Они шли с ним в одном строю, нерасстрелянные, оставшиеся живыми среди живых, старые коммунисты, правдой своей, верой своей ведя в бой молодых. И снова знал сейчас непреложно — через страда-

ния и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстраданная ими победа.

Кто-то побежал вперед, сломав строй. Но Нестеренко оглянулся свирепо и крикнул. Они встретились глазами. И ту страсть, которая горела в нем, Щербатов увидел в орлином, веселом взгляде Нестеренко. Они шли в бой. И только одного счастья лишила его судьба: идти в этот бой рядом с сыном.

ГЛАВА XXI

Очнулся Тройников под вечер в лесу. Сквозь черный движущийся жирный дым он увидел красное солнце. Оно повисло неподвижно между стволами голых сосен, и дым тек по нему, заслоняя. Впечатление красного света солнца и черного дыма и то, что сам он лежит на земле, тревожно действовало на Тройникова. Упираясь ладонями в землю, он сел, и сразу тошнота поднялась в нем, все закружилось, поплыло перед глазами. К онемевшему лицу, к губам горячо, до выступившего пота прихлынула кровь, горячим звоном налились уши. Он сидел слабый, привалившись к дереву спиной, постепенно приходя в себя.

Солнце висело низко. Он видел в последний раз это поле, когда по нему ползли танки, мчались в хлебах мотоциклисты и под разрывами бежала пехота... Сейчас только черный дым подымался от земли. У Тройникова от слабости кружилась голова, и освещенное красным светом поле боя медленно поворачивалось перед глазами. Сквозь звон и глушь в ушах он услышал в лесу громкие приближающиеся голоса.

— ...Где он? Живого видеть хотим!

Это был голос Нестеренко. Он и командир корпуса шли сюда по лесу.

— Живой, Тройников? — издали кричал Нестеренко. — Вот живого тебя видеть рад. На своих ногах. До чего ж мне сегодня лежачих видеть надоело — сказать тебе не могу!

Он еще что-то говорил, но Тройников разбирал не все. Стыдясь своей слабости, он пытался встать перед командиром корпуса.

— Сиди! — приказал Щербатов.

— Земля подо мной что-то... — словно оправдываясь, сказал Тройников. Но в груди его задрожало, затряслось непривычно, будто он вскрикнул, и Тройников с испугом почувствовал, что заикается, не может выговорить слова. — ...Земля подо мной непрочная...

— Сиди, раз качается! — стоя перед ним, шумно говорил Нестеренко. И, заметив напряженный, как у глухих, взгляд Тройникова, смотревшего не в глаза ему, а на его шевелящиеся губы, Нестеренко повысил голос: — Тут тебя, рассказывают, как того фараона египетского при раскопках, откопали. Доставали из-под земли по частям.

Красное в свете солнца старое лицо Нестеренко улыбалось ему. Но Тройников, пораженный тем, что произошло с ним, с большой осторожностью и медленно, весь сосредоточиваясь, снова повторил ту же фразу:

— Земля подо мной непрочная что-то... Качается.

И посмотрел на них, читая по их лицам.

— Теперь-то уж она утвердилась, не качается больше, — сказал Нестеренко, отведя глаза. — А весь день ее, правда, трясло.

— Значит, пробились, — произнес Тройников, сильно растягивая слова.

— Пробились. Тряханули немца неплохо. Вложили ему памяти на данном этапе, чтоб забыл не враз.

А Щербатов смотрел на него.

— Хорошо воевал, полковник, — сказал он. — Умно воевал.

Вдруг лицо командира корпуса переменилось, выражение боли отчетливо проступило в нем. Тройников посмотрел туда, куда смотрел он. Но ничего, что бы могло это вызвать, не увидел. Около них стояла медсестра, доставая бинты из санитарной сумки.

А Щербатов странно как-то смотрел на нее. Девушка была без шапки, короткие волосы с затылка падали ей на глаза. Нагнув черноволосую голову, расставив ноги в сапожках, она рылась в санитарной сумке у себя на бедре. Холщовая лямка косо перерезала ей грудь, наклоненное лицо было освещено красным светом солнца, а на верхней губе блестели капельки пота.

На миг она показалась ему той, что шла с Андреем в лунном свете, держась за его руку. Если б она была та,

она стала б ему сейчас родней дочери. Но та была светленькая, вся в кудряшках.

Гибким движением медсестра стала перед Тройниковым на колени. Какое-то время Щербатов смотрел, как она перевязывает, потом прежнее суровое выражение легло на его лицо.

Так случилось, что не его кровь, а кровь сына пролилась первой. Вместе с кровью многих сыновей. Но впереди была вся война, и в этой войне кровь пролитая призывала живых.

Над полем боя — туман. И лес стоит как в молоке, торчат только верхушки затопленных кустов. Пахнет уже не гарью, не порохом, а туманом, непобедимым запахом снова ожившей к вечеру влажной земли. Многие из тех, кто утром в розовом свете солнца ушел сквозь туман, взвод за взводом, блестя мокрыми касками, остались лежать на поле, и вечерний туман общим покрывалом укрыв их.

Над полем, над лесом, над туманом — ночь, темное небо, яркие звезды. В их синем свете высится из молочного моря вершина холма, дочерна облизанная огнем.

Туман глушит звуки. И мягко ступают по лесу врезающиеся шипы конских подков, катятся за ними мягко по траве резиновые колеса пушек. Шаг пехоты по влажной земле увалист и тяжел. Приглушенно звякает снаряжение, глухо звучат голоса. Тень за тенью между деревьев — течет по лесу людской поток, лес втягивает его в себя. С мокрых листьев каплями стекает туман. На миг цигарка осветит присосавшиеся к ней губы и скроется в рукаве. В свежем лесном воздухе — ощутимой струей запах солдатского пота, махорки, ружейного масла и кожи.

Из белесого половодья всплыл из глубины оранжевый край месяца, и синеватая поверхность тумана задымилась в его скользющем свете. Черней стали тени, ясней лица. И тех, кто уходил, и тех, кто оставался.

Оставался Прищемихин. К нему по очереди подходили прощаться. За его спиной по опушке леса солдаты его полка рыли себе окопы. Хруст песка под лонатами, голоса их доносились оттуда, из тумана. Корпус уходил, они оставались. Скроются последние повозки, мелькнет уноси-

мый в рукаве огонек сигарки отставшего солдата, бегом нагоняющего своих, и они останутся одни. Завтра к рассвету, кроме них, в опустевшем лесу уже никого не будет. И все, что немцы обрушили бы на корпус, обрушится на них.

Командиры по одному подходили к Прищемихину прощаться. Меньше многих из них ростом и щуплый, он сейчас вырастал в глазах людей. Они уходили, а он, чтобы они могли уйти, оставался здесь на великий подвиг самопожертвования. Они не знали, что их ждет, но что бы ни ждало, их дела были впереди, его дело уже началось.

Начальник штаба корпуса Сорокин подошел прощаться первым. Он пожал руку Прищемихина своей холодной рукой, в груди его что-то поднялось, хорошие какие-то слова, но он сказал только: «Значит, маршрут вам известен!..» — и отошел, закашлявшись, разволновавшись, быть может, даже не о Прищемихине. Просто он особенно ясно чувствовал сейчас, как сам он стар и слаб.

Подошел Нестеренко: «Ну, орел?» — и, взяв Прищемихина за плечи, потерся о его щеку своей колючей, в отросшей седой щетине щекой. Стоявший рядом Куропатенко смотрел на них сильно блестящими глазами. Он завидовал Прищемихину. Он знал, что из тех, кто останется с Прищемихиным, хорошо, если завтра после боя из каждых двадцати в живых будет один. И все-таки он завидовал ему.

Уже все простились, последним подошел Щербатов.

— Не знаю, увидимся ли,— сказал он, держа руку Прищемихина в своей руке.— На великое дело остаешься. Хочу, чтоб знал: достойней тебя оставить мне было некого.

И так же спокойно, как он принял приказ остаться, принял Прищемихин и эти слова. Другие заботы уже владели им теперь. Утром ждал его бой, а летняя ночь коротка, много нужно было успеть до рассвета.

Пока было видно, уходившие все оборачивались. На опушке леса, в тумане, стоял Прищемихин, издали похожий на подростка. Таким он и остался в памяти у всех.

Уже перед утром — только-только начинало светать — Щербатов и те, кто шел с ним, услышали первые выстрелы пушек. Много километров осталось позади, и выстре-

лы раздались глухо, но каждый услышал их, потому что ждал. И тысячи людей шли, оборачиваясь и вслушиваясь, а раненые приподымались с носилок и подвод. Это вступил в бой полк Прищемихина. Потом кто-то из разведчиков забрался на сосну и, стоя высоко над головами людей, издали увидел зарево. Оно разгоралось все сильнее и ярче под артиллерийскую канонаду, и скоро все увидели его. Еще не взошло солнце, и вслед им светило зарево далекого боя, и несмолкавший грохот пушек провожал их, уходивших все дальше и дальше.

КАК Я ПОТЕРЯЛ ПЕРВЕНСТВО

Невыдуманый рассказ

В дальнейшем я не раз испытывал ревность, но тот случай запомнился мне навсегда. Возможно потому, что лет мне тогда было восемнадцать и сама ревность оказалась несколько необычной.

В то время, зимой сорок второго года, еще не было дважды Героев, трижды Героев, в ту пору на фронте орденоседец был редкостью. Это позже, к концу войны, к победе, стали щедро раздавать ордена. А в сорок втором году, в феврале месяце, еще далеко было до побед. В нашем артполку был человек, награжденный орденом Ленина. Первый. Один-единственный. Это был командир батареи. О нем знали все. Я тоже был первый. И тоже один-единственный. Дело в том, что я был самый молодой в полку. И вдруг прибыло пополнение, и в этом пополнении боец — моложе меня. Когда-то это должно было случиться. Но тем не менее в тот день я испытал настоящую ревность.

Наморенный дальней пешей дорогой, напуганный близостью фронта, он, наверное, сидел в землянке, хлебал остывший суп из котелка, не подозревая даже, что одним фактом своего появления лишил меня первенства, к которому я уже прочно привык. Ему это не стоило никаких усилий, он пришел — и я стал никем. Вернее, я стал вторым. Но люди так устроены, что второй или двадцатый — это уже для всех безразлично. Интересен только первый.

Надо сказать, что из своего первенства я не извлекал никаких выгод. Более того, оно и для человечества, как я теперь понимаю, не представляло никакого практического смысла. Им нельзя было начать всенародное движение, на его основе нельзя было никого и ни к чему призвать, его даже нельзя было показать в отчетах. Но я был первый, и это мне было важно. Зачем — я и до сих пор не

знаю. Наверное, затем же, зачем вообще люди стремятся занимать место в сознании других людей. И в зависимости от этого бывают либо счастливы, либо несчастны.

Один раз, правда, я почувствовал выгоду своего положения. Но это было связано с наилучшими воспоминаниями. Меня вдруг вызвали к командиру полка. И когда я по глубокому снегу, по морозу, весь мокрый под телогрейкой от пота, явился по приказанию, робея и гордясь, что предстану сейчас перед майором Мироновым, командиром нашего полка, из землянки вылез на белый зимний свет солнца ординарец, весь пропахший керосином, пощурился, зевнул с паром изо рта:

— Прибыл? Вольно, сам такой дурак был... Скидай карабин, приказано тебя накормить.

Фронт наш, Северо-Западный, был голодный фронт. Тремя армиями окружили мы здесь Шестнадцатую немецкую армию, по численности равную нашим трем. А в середине окруженных немцев, в лесах, прочно держался партизанский край. От нас к ним и от партизан к нам ночью над лесами, над немцами летали самолеты.

Мы то окончательно смыкали кольцо, то немцы опять пробивали коридор к своим в районе фанерного завода. Эти так называемые бои местного значения шли, не прекращаясь. Но там действовала не наша, а две другие армии, и нам говорили, что все продукты отсылают им. Позже, в училище, я встретил ребят из этих армий. Они также чистосердечно были уверены, что все продукты отсылают к нам в Тридцать четвертую армию, потому что основные бои идут у нас.

Мы действительно и зиму, и весну, и лето наступали на станцию Лычково и на деревню Белый Бор. Сколько под ними безвестно полегло народу — я не знаю, живет ли там столько сейчас! В ясные погожие дни по ту сторону окруженной немецкой армии бывал слышен грохот этих боев.

Сотни машин, тысячи лошадей по жутким дорогам, по топям, по лежневке, с бревна на бревно, измочаливая их колесами, надрываясь, везли к фронту патроны, снаряды, продукты, чтоб армия могла воевать. Горы хлеба, горы мяса. И все это, растекаясь по окопам, съедалось мгновенно. Пятьдесят граммов консервов на человека на день, сколько-то сушеной картошки или пшена — это должны были доставлять — и маленькие, по девятьсот граммов, буханочки хлеба. Вот их, правда, доставляли. И выдавали

регулярно, каждый день. Весной — мокрые, раскисшие, зимой замерзшие, хоть топором руби. Мы отогревали их у костров. Первой отмокала и снималась корка: невозможно было сразу же ее не съесть, — она пахла хлебом. Потом постепенно отпаривался мякиш, мокрый, липнувший к пальцам. И так до самой сердцевины, замерзшей в лед.

Партизаны рассказывали, что немцы по утрам пьют кофе и едят бутерброды: вот такой тоненький кусочек хлеба и вот такой толстый слой масла... Мы не понимали, как можно наестся бутербродами? Если в покинутых разбитых деревнях нам удавалось найти зарытую в землю пшеницу, мы варили ее по целому котелку и чаще съедали недоваренную: что не доварилось в котелке, доварится в животе. Но однажды разведчики принесли конину. После бомбежки на дороге лежала убитая артиллерийская лошадь, у нее, замерзшей, они отрубили ногу. Варил ее в ведре комиссар батареи, сам родом из-под Казани. Конина вскипала лиловыми пузырями, в них переливались все те цвета, какими переливается пятно нефти в луже воды. Зажмуриваясь, комиссар пробовал алюминиевой ложкой бульон и рассказывал о жеребятках, пасущихся под солнцем на шелковистой траве, зеленый сок которой у них на зубах. О жеребятках с пушистыми хвостами, мягкой шерстью и нежным сладким мясом. А в ведре варилось черное мясо убитой артиллерийской лошади. Страшно бывало смотреть, как эти лошади по топким дорогам Северо-Западного фронта везут пушки, утопающие в грязи, почти волоком, вытягивая из себя жилы, упираясь ногами и дрожа... Даже когда мясо сварилось, оно было все из жил и неистребимо пахло потом.

Потом уже на юге, куда я попал после училища, бывало тоже и холодно, и голодно, и тяжело — война есть война, — но я не помню, чтоб так вспоминали и говорили о еде, как на нашем голодном Северо-Западном фронте, где не решался исход войны, а шли бои местного значения. Это были жестокие воспоминания: о том, кто что любил и ел и как и сколько всего готовилось. А мне почему-то вспоминалось не то, что я ел, а то, что осталось несъеденным, что мог бы съесть и не съел. И среди всего этого особенно вот что. Это была уже осень сорок первого года, немцы подходили к нашему городу, и мы эвакуировались. И вот когда все было собрано и готово, мы ночью последний раз в своих стенах ели перед дорогой. Я положил в чай сахару столько, сколько нам никогда раньше класть

не разрешали: все равно сахарница и все, что в ней было, оставалось на столе. Но мне еще хотелось коркой хлеба вылизать жаровню, стоявшую прямо на клеенке. В ней жарилось мясо в дорогу и осталось от него на дне застывшее коричневое желе. Но я постеснялся.

Наверное, старшим, кто прожил в этих стенах жизнь, каждую вещь наживал и внес сюда своими руками, теперь должен был все бросить и уходить, нестерпимо было смотреть, как мальчишка спешит в последний момент допить чай, густой от сахара. И на меня в конце концов закричали.

Он так и остался на столе, недопитый стакан чая, самый сладкий за всю мою жизнь. Больше терялось потом и забывалось с легкостью, а вот его почему-то помню.

...Ординарец вынес из землянки котелок, от которого шел пар, поставил на снег, сразу начавший под ним таять:

— Рубай!

Если бы тут был командир полка, я бы, наверное, превозмог себя и доложил, что сыт. И на том бы стоял. Но нас с ординарцем было двое. Я сел в снег у входа в землянку, воткнул рядом с собой карабин и достал из-за голенища всегда готовую к бою ложку.

Ординарец курил, глядя на меня сверху. Несчитанные вольные хлеба, при которых служил он на войне бесконтрольно, с урчанием переваривались в нем, и ему было жарко на морозе, он вышел прохладиться. А я ел, не подымая глаз, стыдясь того, что не смог отказаться.

Но еще стыдней мне было моих товарищей, когда я после возвращался на батарею. Если б не это — день был бы чудесен. Я шел, отпустив ремень на одну дырочку, и мороз казался мне мягким, и воздух легким, а вокруг под зимним солнцем нестерпимо сверкали снега, и при каждом орудийном выстреле с белых сосен от сотрясения воздуха падал иней. Я чувствовал в тот день то, что у нас выражалось словами: «Порядок в артиллерии!..» Я был бойцом артиллерийского полка и гордился этим. И конечно же, полк наш был самый лучший, хотя до сих пор почему-то не гвардейский, а артиллерия была именно тот род войск, который единственно в полной мере достоин человека.

Правда, перед тем как стать артиллеристом, я чуть не стал пехотинцем. Далеко за Пермью, на станции, куда эвакуировалась наша семья, формировалась пехотная ди-

визия. Я все пытался обратиться к кому-то из командиров, но не знал, к кому, а часовые в штаб не пускали. И вдруг дивизию, еще не до конца сформированную, подняли по тревоге. Ее срочно отправляли на фронт. С утра на площади, на вытоптанном снегу, строились роты и батальоны, станцию оглашали гудки паровозов, лязгал буферами порожняк, по улицам все бежало и несло вскачь, в домах плакали, а из окрестных деревень по зимним дорогам ехали санями и шли, спешили с узелками бабы, которых уже облетела весть. Они плотным дышащим черным кольцом стояли вокруг вокзала, вокруг площади — жены, любушки, невесты, сестры. Стояли матери и старики. А в середине их плотного кольца на снегу, уже не ихние, строились с оружием их сыновья, подвластные голосу командиров, не смеющие глаз скосить в их сторону. И вот в такое время пробрался я к одному из командиров и попросил, чтобы меня взяли с собой. Он глянул на меня обалделыми глазами:

— Что?!

А когда понял, о чем речь, рывкнул таким офицерским голосом, что меня просто не стало.

Но еще раньше мы с моим школьным другом Димкой Мансуровым едва не сделали летчиками. Это было на второй месяц войны, планировался особенно ускоренный выпуск летного училища, и объявили новый набор. Мы пришли на комиссию. Вот там мы впервые увидели симулянта. Посреди комнаты на крашеном полу корчился голый человек. Вокруг него стояли четверо военных, ждали спокойно и серьезно. Поверх гимнастеров на них были накинуты белые халаты, неподвижно стоявшие хромовые сапоги их блестели, блестел на свету масляный пол, и на нем в лучах солнца выгибалось мускулистое человеческое тело, пятками доставая плеч.

Сейчас, когда с того дня прошло больше лет, чем мне тогда было, я иногда сомневаюсь, был ли он симулянтом, тот человек? Но время было суровое, и я отчетливо помню брезгливый страх, который, глядя на него, почувствовали мы с Димкой.

В темной комнате я прошел за Димку комиссию по зрению. Но мускулы были лучше у него. То есть даже не то что лучше, а если б не война, со мной бы, видимо, и разговаривать не стали. Но тут особенно раздумывать не приходилось, и врачи решили по-деревенски: была бы кость. А это как раз было.

Помню, мы возвращались с комиссии, свысока глядя на все прочие попадавшиеся нам навстречу рода войск. Мы уже видели себя летчиками и были патриотами авиации. Но среди того, чему в 41-м году не суждено было свершиться, не состоялся и выпуск училища в сверхсверхускоренные сроки.

Позже, на фронте, я получил от Димки письмо. Он писал, что учится в училище непробиваемых КВ. А я уже видел не однажды, как они горят. Наверное, в форме танкиста Димка Мансуров, широкогрудый, весь крупный, с большими, даже в мороз теплыми мужскими руками, был как бог. Добрый и грозный бог. Мне больше уже никогда не пришлось видеть его и не придется: он сгорел в танке. А мне суждено было стать артиллеристом, провоевать всю войну и остаться живым.

На ту самую станцию, куда мы эвакуировались и о которой я уже говорил, прибыл вырвавшийся из окружения артполк. Вернее, то, что осталось от него в боях и что должно было образовать костяк будущего полка. Вскоре же начали поступать с заводов новые пушки и тракторы, а во дворе военкомата уже толпились новобранцы, во всем еще домашнем, но уже остриженные под шапками наголо.

Я и теперь не понимаю, как пропустили меня к командиру полка, да еще в тот момент, когда у него находился представитель, приехавший из Москвы. Сильно худой от голода, в зимнем пальто, которое на мне повисло, я предстал перед ними. По прошествии многих лет могу свидетельствовать с полной объективностью: это было жалкое зрелище. Даже после, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: «Господи, и таких уже берут...»

Надо полагать, командир полка видел то, что ему предлагали, но тем не менее он терпеливым тихим голосом расспрашивал меня:

— Вы буссоль знаете?

Представитель из Москвы, подполковник, в расстегнутом коротком белом полушубке, которых не хватало на фронте, в туго натянутых хромовых сапогах, курил, хмурил брови, ждал. Я не знал, что такое буссоль, и ни разу в жизни ее не видел.

— Стереотрубу знаете?.. Телефонный аппарат?..

Я понял, что сейчас меня не возьмут. И тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и что я хочу на фронт. Подполковник в полушубке, сидевший нога на ногу боком к столу, скосил глаза на мою руку:

— На что он тебе нужен? Мы тебе знаешь каких мужиков пришлем? Какие еще ни разу паровозного крика не слышали!..

Он был начальство и старший по званию, а я, ничего не умеющий, действительно не был нужен командиру полка. Но он коротко глянул на меня и сказал своим тихим голосом, которым в окружении подымал полк в атаку, на прорыв, сам идя впереди с пистолетом:

— Человек — это такой материал, из которого все можно лепить, тем более если он сам кочет.

Не знаю, содержится ли в этих словах высшая мудрость, или это самые обычные общеизвестные слова, но мне они показались выражением высшей мудрости: в них была моя судьба. И я всю жизнь благодарен майору Миронову за то, что он их сказал.

А сказав, он вышел со мной в соседнюю комнату, отдал распоряжение о зачислении меня на все виды довольствия. Человек, которому это распоряжение было дано, написал тут же записку, объяснил мне, куда с этой запиской идти, чтобы мне выдали обмундирование, приказал запомнить фамилию старшины, который меня накормит. Я тут же пошел, получил по записке полное обмундирование, но искать старшину, который мог меня накормить, я постеснялся.

Теперь, когда я был в армии, куда столько времени не удавалось мне попасть, я никуда не торопился. И трое суток в обмундировании расхаживал по улицам, встречал патрулей, приветствовал их и чувствовал себя очень хорошо. Будь я шпионом или человеком, преследующим определенные цели, я бы уже давно попался на этой крошечной станции, где все друг у друга на глазах. Но мне и на ум не шло, что я делаю нечто противозаконное, строго наказуемое в военное время. А между тем начальник разведки полка, который, как выяснилось, с первого взгляда заподозрил во мне афериста, сообщил вскоре в милицию, и меня искали, но не находили, наверное, потому, что я был весь тут, у всех на глазах.

Значит, где-то высоко, невидимая мне самому среди бесчисленных звезд, горела надо мной и моя крохотная

звездочка. Много раз бывало так, что, казалось, уже пришло время погаснуть ей. А вот не погасла, горит до сих пор, и временами я чувствую ее незримый свет.

На третий день я сам явился в штаб полка, вошел и сказал: «Здравствуйте...» В штабе был начальник штаба полка, помощник начальника штаба, писаря — целый служебный организм, взаимосвязанный и взаимоподчиненный — и вот я, ни у кого не спросив разрешения обратиться, никому ничего не докладывая о себе, вхожу и говорю всем свое общее, насквозь гражданское «Здравствуйте...» На взгляд военного человека я, наверное, в тот момент выглядел радостным идиотом. Во всяком случае, все, оторвавшись от своих занятий, смотрели на меня, а я, очень довольный, стоял в дверях, доброжелательно улыбаясь, словно ждал, что сейчас скажут: «Смотрите, кто пришел!..»

Наконец один из писарей узнал меня, шепнул другому, и они тайком от начальства начали посмеиваться и прыскать, ожидая дальнейшей потехи. Они понимали, что мне предстоит.

Как раз было время обеденного перерыва, все вскоре встали и ушли, но начальник разведки по собственной доброй воле остался со мной. Он сел, сказал мне, где и как перед ним стать, и начал подробно рассказывать, что меня ждет в дальнейшем, если я так начинаю свою службу. Среди того, что ждало меня, военный трибунал был не самым страшным.

У начальника разведки от насморка слезились красные глаза. Он часто вынимал платок, сморкался, посмотрев в платок, качал головой и опять занимался мною. Он говорил медленно и тягуче около получаса, жертвуя своим обеденным временем, и хотя перечислял страшные кары, я почему-то понял сразу, что мне ничего не будет.

Вот так, надолго вперед обо всем предупрежденный, я стал рядовым гаубичного 387-го артиллерийского полка. А уже после кто-то вычислил и доказал, что я — самый молодой в полку. Еще не понимая хорошенько, к чему это применить, я сильно возвысился в своих глазах и даже в глазах окружающих. Я не подозревал в то время, какие огорчения ждут меня впереди. Потому что первенство мое было особого коварного свойства. Даже при самом большом старании, при максимальном усердии с моей стороны, я все равно не мог не утратить его со временем. И я его утерял.

Мне так никогда и не пришлось видеть человека, который отнял у меня первенство. Но он дал мне почувствовать, что́ я имел. Я понял вкус этого слова: «Первый». И уже не смог его забыть. Я стал на ту тропу, с которой люди добровольно не сходят. А если срываются, то вновь и вновь, всеми силами, обрывая ногти в кровь, карабкаются на нее. Грех познания, древнейший из человеческих грехов, по-прежнему мстит вкусившим.

1965

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Л. Лазарев. По одним и тем же нравственным законам... Заметки о творчестве Бакланова . .</i>	5
ЮЖНЕЕ ГЛАВНОГО УДАРА. <i>Повесть</i>	29
ПЯТЬ ЗЕМЛИ. <i>Повесть</i>	155
МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ. <i>Повесть</i>	307
ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА. <i>Рассказ</i>	373
ИЮЛЬ 41 ГОДА. <i>Роман</i>	391
КАК Я ПОТЕРЯЛ ПЕРВЕНСТВО. <i>Невыдуманный рассказ</i>	563

Бакланов Г. Я.

Б 19. Избранные произведения: В 2-х т. Вступит. статья Л. Лазарева, — М.: Худож. лит., 1979. — Т. 1. — 574 с.

Большое место в творчестве известного советского прозаика Г. Я. Бакланова занимает тема Великой Отечественной войны. Сам участник событий, писатель сумел с удивительной достоверностью показать предельное напряжение духовных и физических сил солдат и офицеров, подлинный советский патриотизм.

В повестях, представленных в первом томе Избранных произведений, рассказывается о первых суровых днях войны, о боях за плацдарм на Днестре, об освобождении венгерского города Секешфехервара, о мужестве и находчивости советских воинов, попавших в окружение, о первых днях мира, на освобожденной земле Германии и других событиях войны.

Б 70302-426
028 (01)-79 64-80

4702010200

P2

**Григорий Яковлевич
Бакланов**
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Том 1

Редактор
О. Афанасьева
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Л. Свинцова
Корректоры
Г. Володина
М. Поляк

ИБ № 1638

Подписано в печать 12.12.79. А 11732
кодиров. ориг.-макет. Сдано в тип.
07.01.80. Формат 84×108^{1/32}. Бумага
типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновен-
ная». Печать высокая. 30,24+1 вкл.=
=30,293 усл. печ. л. 31,567+1 вкл.=
=31,614 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз.

Заказ № 1235. Цена 2 р. 30 к.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

Издательство

«Художественная литература»
107078 Москва, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Москва, М-54,
Валовал, 28

2p.301c.